

ГАНС  
ХРИСТИАН  
АНДЕРСЕН

СКАЗКИ  
И  
ИСТОРИИ

2









ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»



Ленинградское  
отделение  
Ленинград

1977





ГАНС  
ХРИСТИАН  
АНДЕРСЕН

СКАЗКИ  
И  
ИСТОРИИ

*Перевод с датского*

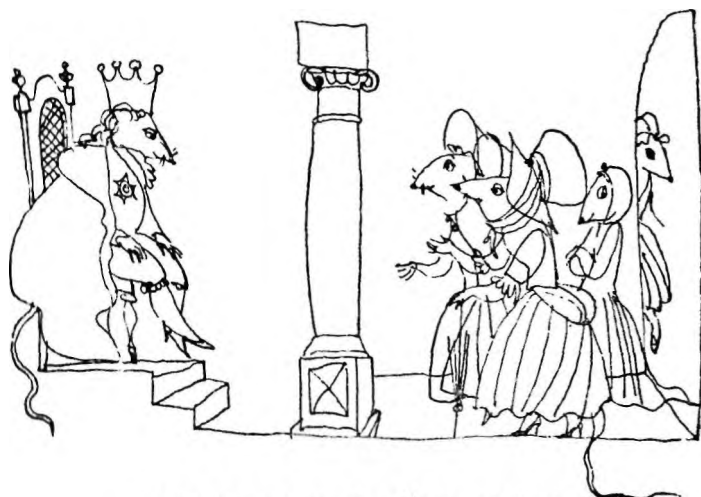
ТОМ II

И (Дат)  
А65

Художники  
Г. А. В. ТРАУГОТ

© Издательство  
«Художественная литература»,  
1977, оформление

70304-077  
А  $\frac{\quad}{028(01)-77}$  158-77



## СУП ИЗ КОЛБАСНОЙ ПАЛОЧКИ

### I. СУП ИЗ КОЛБАСНОЙ ПАЛОЧКИ



**Н**у и пир задали нам вчера во дворце! — сказала одна пожилая мышь другой мыши, которой не довелось побывать на придворном пиршестве. — Я сидела двадцать первой от нашего старого мышиного царя, а это не так уж плохо! И чего только там не подавали к столу! Заплесневелый хлеб, кожу от окорока, сальные свечи, колбасу, — а потом все начиналось сызнова. Еды было столько, что мы словно два обеда съели! А какое у всех было чудесное настроение, как непринужденно велась беседа, если бы ты только знала! Обстановка была самая домашняя. Мы сгрызли все подчистую, кроме колбасных палочек — это на которых колбасу жарят; о них-то и зашла потом речь, и кто-то вдруг вспомнил про суп из колбасной палочки. Оказалось, что слышать-то про этот суп слышали все, а вот попробовать его или тем более сварить самой не приходилось никому. И тогда был предложен замечательный тост за мышь, которая сумеет сварить суп из колбасной палочки, а значит, сможет стать начальницей приюта для бедных.



Ну скажи, разве не остроумно придумано? А старый мышинный царь поднялся со своего трона и заявил во всеуслышание, что сделает царицей ту молоденькую мышь, которая сварит самый вкусный суп из колбасной палочки. Срок он назначил — год и один день.

— Ну что ж, срок достаточный, — сказала другая мышь. — Но как же его варить, этот самый суп, а?

Да, как его варить? Об этом спрашивали все мыши, и молодые и старые. Каждая была бы не прочь попасть в царицы, да только ни у кого не было охоты странствовать по белу свету, чтобы разузнать, как готовят этот суп. А без этого не обойтись: сидя дома, рецепта не выдумаешь. Но ведь не всякая мышь может оставить семью и родной уголок; да и житье на чужбине не слишком сладкое: там не отведаешь сырной корки, не понюхаешь кожи от окорока, иной раз придется и поголодать, а чего доброго, и в лапы кошке угодишь.

Многие кандидатки в царицы были так встревожены всеми этими соображениями, что предпочли остаться дома, и лишь четыре мыши, молодые и шустрые, но бедные, стали готовиться к отъезду. Каждая избрала себе одну из четырех сторон света — авось хоть кому-нибудь повезет, — и каждая запаслась колбасной палочкой, чтобы не забыть по дороге о цели путешествия; к тому же палочка могла заменить дорожный посох.

В начале мая они тронулись в путь и в мае же следующего года вернулись обратно, но не все, а только три; о четвертой не было ни слуху ни духу, а назначенный срок уже близился.

— В любой бочке меда всегда найдется ложка дегтя, — сказал мышинный царь, но все-таки велел созвать мышей со всей округи.

Собраться им было приказано в царской кухне; здесь же, отдельно от прочих, стояли рядом три мыши-путешественницы, а на место пропавшей без вести придворные поставили колбасную палочку, обвитую черным крепом. Всем присутствующим велели молчать, пока не выскажутся путешественницы и мышинный царь не объявит своего решения.

Ну, а теперь послушаем.

## II. ЧТО ВИДЕЛА И ЧЕМУ НАУЧИЛАСЬ ПЕРВАЯ МЫШЬ В О ВРЕМЯ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

— Когда я отправилась странствовать по белу свету, — начала мышка, — я, как и многие мои сверстницы, воображала, что давно уже разжевала и проглотила всю земную премудрость. Но жизнь показала мне, что я жестоко заблуждалась, и понадобился целый год и один день, чтобы постичь истину. Я отправилась на север и сначала плыла морем на большом корабле. Мне говорили, что коки должны быть изобретательны, однако нашему коку, по-видимому, не было в этом ровно никакой нужды: корабельные трюмы ломились от корейки, солонины и прекрасной заплесневелой муки. Жилось мне восхитительно, ничего не скажешь. Но посудите сами — могла ли я там научиться парить суп из колбасной палочки? Много дней и ночей мы всё плыли и плыли, нас качало и заливало волнами; но в конце концов корабль все-таки прибыл в далекий северный порт, и я выбралась на берег.

Ах, как все это странно: уехать из родного уголка, сесть на корабль, который вскоре тоже становится для тебя родным уголком, и вдруг очутиться за сотни миль от родины, в совершенно незнакомой стране! Меня обступили дремучие леса, еловые и березовые, и как ужасно они пахли! Невыносимо! Дикие травы издавали такой пряный запах, что я все чихала и чихала и думала про колбасу. А огромные лесные озера! Подойдешь поближе к воде — она кажется прозрачной, как хрусталь; а отойдешь подальше — и вот уже она темна, как чернила. В озерах плавали белые лебеди; они держались на воде так неподвижно, что сначала я приняла их за пену, но потом, увидев, как они летают и ходят, сразу поняла, что это птицы; они ведь из гусиного племени, по походке видно, а от родни своей не отречешься! И я поспешила отыскать свою собственную родню — лесных и полевых мышей, хотя они, сказать правду, мало что смыслят по части угощения, а я только за этим и поехала-то в чужие края. Когда здесь услышали о том, что из колбасной палочки можно сварить суп — а разговор об этом пошел по всему лесу, — всем это показалось невозможным, ну а мне-то откуда было знать, что я в ту же ночь буду посвящена в тайну супа из колбасной палочки.

Лето было в самом разгаре, и мне объяснили, что именно поэтому леса так благоухают, травы так душисты, а озера, в которых плавают белые лебеди, так прозрачны и в то же время так темны. На опушке леса, между тремя-четырьмя домиками, был установлен лес высокой с корабельную мачту. Это был майский шест — его верхушку украшали венки и ленты. Девушки и парни без устали плясали вокруг него и пели под скрипку бродячего музыканта. Когда солнце закатилось, веселье продолжалось при свете месяца, но я не принимала в нем участия — какое дело мышке до лесного бала! — я сидела в мягком мху и крепко держала свою колбасную палочку. Луна освещала лужайку, на которой росло дерево, а лужайка была покрыта мягким и нежным мхом — таким нежным, как, осмелюсь заметить, шкурка мышиноного царя, только зеленого цвета, очень приятного для глаз. Вдруг, откуда ни возьмись, появились прелестные маленькие существа ростом мне по колено. Они были совсем как люди, только гораздо красивее. Человечки называли себя эльфами и были одеты в нарядные платица из цветочных лепестков с отделкой из мушиных и комариных крылышек. Это выглядело очень мило. Я сразу же заметила, что они что-то ищут, но не могла понять, что именно.

Вот несколько эльфов подошли ко мне, и самый знатный сказал, указывая на мою колбасную палочку:

«Это как раз то, что нам нужно. Конец заострен превосходно!»

И чем дальше он смотрел на мой дорожный посох, тем больше восторгался им.

«Я, пожалуй, могу одолжить его вам на время, но не навсегда», — сказала я.

«Ну конечно, не навсегда, только на время!» — закричали все, выхватили у меня колбасную палочку и пустились с ней, приплясывая, прямо к тому месту, где зеленел нежный мох; там ее и установили. Эльфам, видно, тоже хотелось иметь свой майский шест, а моя колбасная палочка так подошла им, как будто ее сделали по заказу. Они тут же принялись ее наряжать и убрали на славу. Вот это, скажу вам, было зрелище!

Крошечные паучки обвили шест золотыми нитями и украсили развевающимися флагами и прозрачными тка-



нями. Ткань эта была такая тонкая и при лунном свете сияла такой ослепительной белизной, что у меня в глазах зарябило. Потом эльфы собрали с крыльев бабочек разноцветную пыльцу и посыпали ею белую ткань, и в тот же миг на ней засверкали тысячи цветов и алмазов. Теперь мою колбасную палочку и узнать было нельзя — другого такого майского шеста, наверное, в целом мире не было!

Тут, словно из-под земли, появилась несметная толпа эльфов. На них не было никакой одежды, но мне они казались еще более красивыми, чем самые нарядные из одетых. Меня тоже пригласили взглянуть на все это великолепие, но только издали, потому что я слишком велика.

Потом заиграла музыка, и какая музыка! Словно тысячи хрустальных колокольчиков наполнили воздух своим мелодичным звоном. Сначала я подумала, не лебеди ли это поют. Но потом мне почудилось, будто кукует кукушка и чирикает дрозд, а под конец — будто запел весь лес! Звучали детские голоса, звон колоколов, пение птиц, чудеснейшие мелодии — и все эти дивные звуки неслись с майского шеста эльфов. А ведь этим волшебным инструментом была всего-навсего моя колбасная палочка. Я никак не думала, что из колбасной палочки можно извлечь такие звуки, но оказалось, что все зависит от того, к кому она попадет. Я была глубоко взволнована и плакала от избытка чувств, как может плакать только маленькая мышка.

Ночь была очень короткая, — на севере в эту пору они и не бывают длиннее. На рассвете подул ветерок, зеркальная поверхность лесного озера подернулась рябью, прозрачные ткани и флаги разлетелись в разные стороны, а качающиеся гирлянды из паутины, висячие мосты и балюстрады — или как там они еще называются, — перекинутые с листа на листок, вдруг исчезли, словно их никогда и не было. Шесть эльфов принесли мне мою колбасную палочку и спросили, нет ли у меня какого-нибудь желания, которое они могли бы исполнить; и я тут же попросила их рассказать, как сварить суп из колбасной палочки.

«Да так, как мы это только что делали, — сказал с улыбкой самый знатный эльф. — Ты сама все видела, но вряд ли даже узнала свою колбасную палочку».

«Ах, вот о чем они говорят», — подумала я и рассказала им все начистоту: зачем я отправилась путешествовать и чего ждут от меня на родине.

«Ну скажите, — закончила я свой рассказ, — какой будет прок мышиному царю и всему нашему великому государству от того, что я видела все эти чудеса? Ведь не могу же я вытряхнуть их из колбасной палочки и сказать: «Вот палочка, а вот и суп!» Таким блюдом не насытишься, разве что после обеда».

Тогда эльф провел своим крошечным пальчиком по лепесткам голубой фиалки, потом дотронулся до колбасной палочки и сказал:

«Смотри! Я прикасаюсь к ней, а когда ты вернешься во дворец мышиноного царя, прикоснись этим своим дорожным посохом к теплой царской груди — и тотчас на посохе расцветут фиалки, хотя бы на дворе была самая лютая стужа. Значит, ты вернешься домой не с пустыми руками. А вот тебе и еще кое-что».

Но прежде чем мышка показала это «кое-что», она дотронулась палочкой до теплой груди мышиноного царя — и действительно, в тот же миг на палочке вырос прелестный букет фиалок. Они так благоухали, что мышинный царь приказал нескольким мышам, стоявшим поближе к очагу, сунуть хвосты в огонь, чтобы покурить в комнате паленой шерстью: ведь мыши не любят запаха фиалок, для их тонкого обоняния он невыносим.

— А что еще дал тебе эльф? — спросил мышинный царь.

— Ах, — ответила маленькая мышка, — просто он научил меня одному фокусу.

Тут она повернула колбасную палочку — и все цветы мгновенно исчезли. Теперь мышка держала в лапке простую палочку и, как дирижер поднимая ее над головой, говорила:

— «Фиалки улаждают наше зрение, обоняние и осязание, — сказал мне эльф, — «но ведь остаются еще вкус и слух».

Мышка начала дирижировать, и в тот же миг послышалась музыка, однако совсем непохожая на ту, которая звучала в лесу на празднике эльфов: эта музыка сразу напомнила всем о шумах в обыкновенной кухне. Вот это был концерт так концерт! Он начался внезапно — словно ветер вдруг завыл во всех дымоходах сразу; во всех кот-

лах и горшках вдруг закипела вода и, шипя, полилась через край, а кочерга застучала по медному котлу. Потом столь же внезапно наступила тишина: слышалось лишь глухое бормотанье чайника, такое странное, что нельзя было понять, закипает он или его только что поставили. В маленьком горшке хлопотала вода, и в большом тоже, — и они хлопотали, не обращая ни малейшего внимания друг на друга, словно обезумели. А мышка размахивала своей палочкой все быстрее и быстрее. Вода в котлах хлопотала, шипела и пенилась, ветер дико завывал, а труба гудела: у-у-у! Мышке стало так страшно, что она даже выронила палочку.



— Вот так суп! — воскликнул мышиным царь. — А что будет на второе?

— Это все, — ответила мышка и присела.

— Ну и хватит, — решил мышиный царь. — Послушаем теперь, что скажет вторая мышь.

### III. ЧТО РАССКАЗАЛА ВТОРАЯ МЫШЬ

— Я родилась в дворцовой библиотеке, — начала вторая мышь. — Мне и всему нашему семейству за всю жизнь так ни разу и не удалось побывать в столовой, а уж про кладовку и говорить нечего. Кухню я впервые увидела лишь во время моего путешествия да вот еще сейчас вижу. По правде говоря, в библиотеке нам частенько приходилось голодать, но зато мы приобрели большие познания. И когда до нас дошли слухи о царской награде за



суп из колбасной палочки, моя старая бабушка разыскала одну рукопись. Сама она эту рукопись, правда, прочитать не могла, но слышала, как ее читали другие, и запомнила такую фразу: «Если ты поэт, то сумеешь сварить суп даже из колбасной палочки». Бабушка спросила меня, есть ли у меня поэтический дар. Я за собой ничего такого не знала, но бабушка заявила, что я непременно должна стать поэтессой. Тогда я спросила, что для этого нужно, — ибо стать поэтессой мне было не легче, чем сварить суп из колбасной палочки. Бабушка прослушала на своем веку множество книг и сказала, что для этого нужны три вещи: разум, фантазия и чувство.

«Добудь все это, и ты станешь поэтессой, — закончила она, — а тогда наверняка сварить суп даже из колбасной палочки».

И вот я отправилась на запад и стала странствовать по свету, чтобы стать поэтессой.

Я знала, что во всяком деле разум — это самое важное, а фантазия и чувство имеют лишь второстепенное значение, — так что прежде всего я решила обзавестись разумом. Но где его искать? «Иди к муравью и набирайся от него мудрости», — сказал великий царь иудейский, об этом я слышала еще в библиотеке; и я ни разу не остановилась, пока наконец не добралась до большого муравейника. Там я притаилась и стала набираться мудрости.

Что за почтенный народ эти муравьи, и до чего же они мудрые! У них все рассчитано до мелочей. «Работать и класть яйца, — говорят муравьи, — означает жить в настоящем и заботиться о будущем», — и они так и поступают. Все муравьи делятся на благородных и рабочих. Положение каждого в обществе определяется его номером. У царицы муравьев — номер первый, и с ее мнением обязаны соглашаться все муравьи, ибо она уже давным-давно проглотила всю земную премудрость. Для меня было очень важно узнать об этом. Царица говорила так много и так умно, что ее речи даже показались мне заумными. Она утверждала, например, что во всем мире нет ничего выше их муравейника, а между тем тут же, рядом с ним, стояло дерево куда более высокое; этого, конечно, никто не мог отрицать, так что приходилось просто помалкивать. Как-то раз, вечером, один муравей вскарабкался по стволу очень высоко и заблудился на этом дереве; он, правда, не добрался до верхушки, но залез выше, чем когда-

либо залезал любой другой муравей. А когда он вернулся домой и стал рассказывать, что на свете есть кое-что и повыше их муравейника, то остальные муравьи сочли его слова оскорбительными для всего муравьиного рода и приговорили наглеца к наморднику и долговременному одиночному заключению. Вскоре после этого на дерево залез другой муравей, совершил такое же путешествие и тоже рассказал о своем открытии, но более осторожно и как-то неопределенно; и потому, что он был весьма уважаемый муравей, к тому же из благородных, ему поверили, а когда он умер, ему поставили памятник из яичной скорлупы — в знак уважения к науке.

— Мне часто приходилось видеть, — продолжала мышка, — как муравьи переносят яйца на спине. Однажды муравей уронил яйцо, и как он ни пытался поднять его, у него ничего не получалось. Подросли два других муравья и, не щадя сил, принялись ему помогать. Но они чуть не уронили своей собственной ноши, а когда одумались, бросили товарища в беде и убежали, потому что ведь свое добро всякому дороже чужого. Царица муравьев увидела в этом лишнее доказательство тому, что муравьи обладают не только сердцем, но и разумом. «Оба эти качества ставят нас, муравьев, выше всех разумных существ, — сказала она. — Разум, впрочем, стоит на первом месте, и я наделена им больше всех!» С этими словами царица величественно поднялась на задние лапки, и я проглотила ее: она так отличается от остальных, что ошибиться было невозможно. «Иди к муравью и набирайся у него мудрости!» — я и вобрала в себя мудрость вместе с самой царицей.

Потом я подошла поближе к большому дереву, которое росло у муравейника. Это был высокий, развесистый дуб, должно быть очень старый. Я знала, что на нем живет женщина, которую зовут дриадой. Она рождается, живет и умирает вместе с деревом. Об этом я слышала еще в библиотеке, а теперь своими глазами увидела лесную деву. Заметив меня, дриада громко вскрикнула: как и все женщины, она очень боялась нас, мышей; но у нее были на это гораздо более веские причины, чем у других: ведь я могла перегрызть корни дерева, от которого зависела ее жизнь. Я заговорила с ней ласково и приветливо и успокоила ее, а она посадила меня на свою нежную ручку. Узнав, зачем я отправилась странствовать по свету, она

предсказала мне, что, быть может, я в тот же вечер добуду одно из тех двух сокровищ, которые мне осталось найти. Дриада объяснила, что дух фантазии — ее добрый приятель, что он прекрасен, как бог любви, и подолгу отдыхает под сенью зеленых ветвей, а ветви тогда шумят над ними обоими громче обычного. Он называет ее своей любимой дриадой, говорила она, а ее дуб — своим любимым деревом. Этот узловатый, могучий, великолепный дуб пришелся ему по душе. Его корни уходят глубоко в землю, а ствол и верхушка тянутся высоко к небу, им ведомы и снежные холодные метели, и буйные ветры, и горячие лучи солнца.

«Да, — продолжала дриада, — там, на верхушке дуба, поют птицы и рассказывают о заморских странах. Только один сук на этом дубе засох, и на нем свил себе гнездо аист. Это очень красиво, и к тому же можно послушать рассказы аиста о стране пирамид. Духу фантазии все это очень нравится, а иногда я и сама рассказываю ему о жизни в лесу: о том времени, когда я была еще совсем маленькой, а деревцо мое едва поднималось над землей, так что даже крапива заслоняла от него солнце, и обо всем, что было с тех пор и по сей день, когда дуб вырос и окреп. А теперь послушай меня: спрячься под ясенник и смотри в оба. Когда явится дух фантазии, я при первом же удобном случае вырву у него из крыла перышко. А ты подбери это перо — лучшего нет ни у одного поэта! И больше тебе ничего не нужно».

— Явился дух фантазии, перо было вырвано, и я его получила, — продолжала мышка. — Мне пришлось опустить его в воду и держать там до тех пор, пока оно не размякло, а тогда я его сгрызла, хотя оно было не слишком удобоваримым. Да, нелегко в наши дни стать поэтом, сначала нужно много чего переварить. Теперь я приобрела не только разум, но и фантазию, а с ними мне уже ничего не стоило найти и чувство в нашей собственной библиотеке. Там я слышала, как один великий человек говорил, что существуют романы, единственное назначение которых — избавлять людей от лишних слез. Это своего рода губка, всасывающая чувства. Я вспомнила несколько подобных книг. Они всегда казались мне особенно аппетитными, потому что были так зачитаны и засалены, что, наверное, впитали в себя целое море чувств.



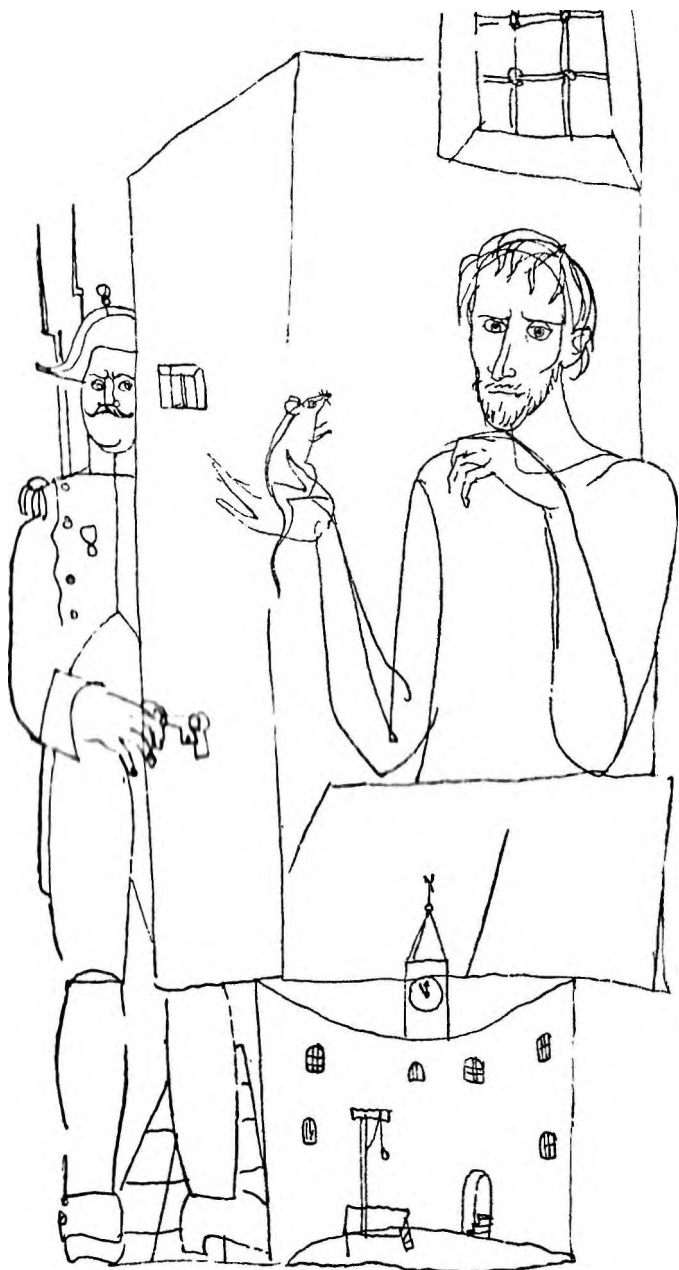
Вернувшись на родину, я отправилась домой, в библиотеку, и сразу же взялась за большой роман — вернее, за его мякоть, или, так сказать, сущность; корку же, то есть переплет, я не тронула. Когда я переварила этот роман, а потом еще один, я вдруг почувствовала, что у меня внутри что-то зашевелилось. Тогда я отъела еще кусочек от третьего романа — и стала поэтессой. Я так и сказала всем. У меня начались головные боли, колики в животе — вообще где у меня только не болело! Тогда я стала придумывать: что бы такое рассказать о колбасной палочке? И тотчас же в голове у меня закрутилось великое множество всяких палочек — да, у муравьиной царицы, как видно, ум был необыкновенный! Сначала я вдруг ни с того ни с сего вспомнила про человека, который, взяв в рот волшебную палочку, становился невидимкой; потом вспомнила про палочку-выручалочку, потом про то, что «счастье не палка, в руки не возьмешь»; потом — что «всякая палка о двух концах»; наконец про все, чего я боюсь, «как собака палки», и даже про «палочную дисциплину»! Итак, все мои мысли сосредоточились на всевозможнейших палках и палочках. Если ты поэт, то сумей воспеть и простую палку! А я теперь поэтесса, и не хуже других. Отныне я смогу каждый день угощать вас рассказом о какой-нибудь палочке — это и есть мой суп!

— Послушаем третью, — сказал мышинный царь.

— Пи-и, пи-и! — послышалось за дверью, и в кухню стрелой влетела маленькая мышка, четвертая по счету, — та самая, которую все считали погибшей. Впопыхах она опрокинула колбасную палочку, обвитую черным крепом. Она бежала день и ночь, ехала по железной дороге товарным поездом, на который едва успела вскочить, и все-таки чуть не опоздала. По дороге она потеряла свою колбасную палочку, но язык сохранила, и вот теперь, вся взъерошенная, протиснулась вперед и сразу же начала говорить, словно только ее одну и ждали, только ее и хотели послушать, словно на ней одной весь мир клином сошелся. Она трещала без умолку и появилась так неожиданно, что никто не успел ее остановить вовремя, и мышке удалось выговориться до конца. Что ж, послушаем и мы.

#### IV. ЧТО РАССКАЗАЛА ЧЕТВЕРТАЯ МЫШЬ, КОТОРАЯ ГОВОРИЛА ПОСЛЕ ВТОРОЙ

— Я сразу же направилась в огромный город. Как он называется, я, впрочем, не помню: у меня плохая память на имена. Прямо с вокзала я вместе с конфискованными товарами была доставлена в городскую ратушу, а оттуда побежала к тюремщику. Он много рассказывал об узниках, особенно об одном из них, угодившем в тюрьму за неосторожно сказанные слова. Было состряпано громкое дело, но в общем-то оно и выведенного яйца не стоило. «Вся эта история — просто суп из колбасной палочки, — заявил тюремщик, — но за этот суп бедняге, чего доброго, придется поплатиться головой». Понятно, что я заинтересовалась узником, и, улучив минутку, проскользнула к нему в камеру: ведь нет на свете такой запертой двери, под которой не нашлось бы щели для мышки. У заключенного были большие сверкающие глаза, бледное лицо и длинная борода. Лампа коптила, но стены уже привыкли к этому и чернее стать не могли. Узник царапал на стене картинки и стихи, белым по черному, но я их не разглядывала. Он, видимо, скучал, и я была для него желанной гостьей, поэтому он подманивал меня хлебными крошками, посвистывал и говорил мне ласковые слова. Должно быть, он очень мне обрадовался, а я почувствовала к нему расположение, и мы быстро подружились. Он делил со мной хлеб и воду, кормил меня сыром и колбасой — словом, жилось мне там великолепно, но всего приятней мне было, что он очень полюбил меня. Он позволял мне бегать по рукам, даже залезать в рукава и карабкаться по бороде; он называл меня своим маленьким другом. И я его тоже очень полюбила, ведь истинная любовь должна быть взаимной. Я забыла, зачем отправилась странствовать по свету, забыла и свою колбасную палочку в какой-то щели, — наверное, она там лежит и по сю пору. Я решила не покидать моего нового друга: ведь уйди я от него, у бедняги не осталось бы никого на свете, а этого он бы не перенес. Впрочем, я-то осталась, да он не остался. Когда мы виделись с ним в последний раз, он казался таким печальным, дал мне двойную порцию хлеба и сырных корок и послал мне на прощанье воздушный поцелуй. Он ушел — и не вернулся. Ничего больше мне так и не удалось о нем узнать. Я вспомнила слова тюремщика: «Со-



стряпали суп из колбасной палочки». Он сперва тоже поманил меня к себе, а потом посадил в клетку, которая вертелась, как колесо. Это просто ужас что такое! Бежишь и бежишь, а все ни с места, и все над тобой потешаются.

Но у тюремщика была прелестная маленькая внучка с золотистыми кудрями, сияющими глазками и вечно смеющимся ротиком.

— Бедная маленькая мышка, — сказала она однажды, заглянув в мою противную клетку, потом отодвинула железную задвижку — и я тут же выскочила на подоконник, а с него прыгнула в водосточный желоб. «Свободна, свободна, снова свободна!» — ликовала я и даже забыла от радости, зачем я сюда прибежала.

Однако стало темно, надвигалась ночь. Я устроилась на ночлег в старой башне, где жили только сторож да сова. Сначала я немного опасалась их, особенно совы — она очень похожа на кошку, и, кроме того, у нее есть один большой порок: как и кошка, она ест мышей. Но ведь кто из нас не ошибается! На этот раз ошиблась и я. Сова оказалась весьма почтенной и образованной особой. Много повидала она на своем долгом веку, знала больше, чем сторож, и почти столько же, сколько я. Ее соваты принимали всякий пустяк слишком близко к сердцу. «Не варите супа из колбасной палочки, — поучала их в таких случаях старая сова, — не шумите по пустякам», — и больше не бранила их! Она была очень нежной матерью. И я сразу же почувствовала к ней такое доверие, что даже пискнула из своей щели. Это ей очень польстило, и она обещала мне свое покровительство. Ни одному животному она отныне не позволит съесть меня, сказала она, и уж лучше сделает это сама, поближе к зиме, когда больше нечего будет есть.

Сова была очень умная. Она, например, доказала мне, что сторож не мог бы трубить, если бы у него не было рога, который висит у него на поясе. А он еще важничает и воображает, что он ничуть не хуже совы! Да что с него взять! Воду он решетом носит! Суп из колбасной палочки!.. Тут-то я и попросила ее сказать, как его надо варить, этот суп. И сова объяснила: «Суп из колбасной палочки — это всего только поговорка; каждый понимает ее по-своему, и каждый думает, что он прав. А если толком во всем разобраться, то никакого супа-то и нет». — «Как нет?» — изумилась я. Вот так новость! Да, истина не

всегда приятна, но она превыше всего. То же самое сказала и старая сова. Подумала я, подумала и поняла, что если я привезу домой высшее, что только есть на свете, то есть истину, то это будет гораздо ценнее, чем какой-то там суп. И я поспешила домой, чтобы поскорее преподнести вам высшее и лучшее — истину. Мыши — народ образованный, а мышиный царь образованнее всех своих подданных. И он может сделать меня царицей во имя истины.

— Твоя истина — ложь! — вскричала мышь, которая еще не успела высказаться. — Я могу сварить этот суп, да и сварю!

#### V. КАК ВАРИЛИ СУП..

— Я никуда не ездила, — сказала третья мышь. — Я осталась па родине — это надежнее. Незачем шататься по белу свету, когда все можно достать у себя дома. И я осталась! Я не водилась со всякой нечистью, чтобы научиться варить суп, не глотала муравьев и не приставала к совам. Нет, до всего я дошла сама, своим умом. Поставьте, пожалуйста, котел на плиту. Вот так! Налейте воды, да пополюе. Хорошо! Теперь разведите огонь, да пожарче. Очень хорошо! Пусть вода кипит, пусть забурлит белым ключом! Бросьте в котел колбасную палочку... Не соблаговолите ли вы теперь, ваше величество, сунуть в кипяток свой царственный хвост и слегка помешивать им суп! Чем дольше вы будете мешать, тем наваристее будет бульон, — ведь это же очень просто. И не надо никаких приправ — только сидите себе да помешивайте хвостиком! Вот так!

— А нельзя ли поручить это кому-нибудь другому? — спросил мышиный царь.

— Нет, — ответила мышка, — никак нельзя. Ведь вся сила-то в царском хвосте!

И вот вода закипела, а мышиный царь примостился возле котла и вытянул хвост, — так мыши обычно снимают сливки с молока. Но как только царский хвост обдало горячим паром, царь мигом соскочил на пол.

— Ну, быть тебе царицей! — сказал он. — А с супом давай обождем до нашей золотой свадьбы. Вот обрадуются бедняки в моем царстве! Но ничего, пусть пока ждут да облизываются, хватит им времени на это.



Сыграли свадьбу, да только многие мыши по дороге домой ворчали:

— Ну разве это суп из колбасной палочки? Это скорее суп из мышиного хвоста!

Они находили, что кое-какие подробности из рассказанного тремя мышами были переданы, в общем, не плохо, но, пожалуй, все нужно было рассказать совсем иначе. Мы бы-де рассказали бы это так-то вот и этак.

Впрочем, это критика, а ведь критик всегда задним умом крепок.

Эта история обошла весь мир, и мнения о ней разделились; но сама она от этого ничуть не изменилась. Она верна во всех подробностях от начала и до конца, включая и колбасную палочку. Вот только благодарности за сказку лучше не жди, все равно не дожدهшься!





## БУТЫЛОЧНОЕ ГОРЛЫШКО



**В** узком, кривом переулке, в ряду других жалких домишек, стоял узенький, высокий дом, наполовину каменный, наполовину деревянный, готовый расползтись со всех концов. Жили и нем бедные люди; особенно бедная, убогая обстановка была в каморке, ютившейся под самую крышей. За окном каморки висела старая клетка, в которой не было даже настоящего стаканчика с водой: его заменяло бутылочное горлышко, заткнутое пробкой и опрокинутое вниз закупоренным концом. У открытого окна стояла старая девушка и угощала коноплянку свежим мокричником, а птичка весело перепрыгивала с жердочки на жердочку и заливалась песенкой.

«Тебе хорошо петь!» — сказала бутылочное горлышко, конечно не так, как мы говорим, — бутылочное горлышко не может говорить — оно только подумало, сказала это про себя, как иногда мысленно говорят сами с собою люди. «Да, тебе хорошо петь! У тебя небось все кости целы! А вот попробовала бы ты лишиться, как я, всего туловища,

остаться с одной шейей да ртом, к тому же заткнутым пробкой, небось не запела бы! Впрочем, и то хорошо, что хоть кто-нибудь может веселиться! Мне не с чего веселиться и петь, да я и не могу нынче петь! А в былые времена, когда я была еще целою бутылкой, и я запевала, если по мне водили мокрою пробкой. Меня даже звали когда-то жаворонком, большим жаворонком! Я бывала и в лесу! Как же, меня брали с собою в день помолвки скорняковой дочки. Да, я помню все так живо, как будто дело было вчера! Много я пережила, как подумаю, прошла через огонь и воду, побывала и под землею и в поднебесье, не то что другие! А теперь я опять парю в воздухе и греюсь на солнышке! Мою историю стоит послушать! Но я не рассказываю ее вслух, да и не могу».

И горлышко рассказало ее самому себе, вернее, продумало ее про себя. История и в самом деле была довольно замечательная, а коноплянка в это время знай себе распевала в клетке. Внизу, по улице шли и ехали люди, каждый думал свое или совсем ни о чем не думал, — зато думало бутылочное горлышко!

Оно вспоминало огненную печь на стеклянном заводе, где в бутылку вдунули жизнь, помнило, как горяча была молодая бутылка, как она смотрела в бурлящую плавильную печь — место своего рождения, — чувствуя пламенное желание броситься туда обратно. Но мало-помалу она остыла и вполне примирилась с своим новым положением. Она стояла в ряду других братьев и сестер. Их был тут целый полк! Все они вышли из одной печки, но некоторые были предназначены для шампанского, другие для пива, а это разница! Впоследствии случается, конечно, что и пивная бутылка наполняется драгоценным *lacrimae Christi*, а шампанская — ваксою, но все же природное назначение каждой сразу выдается ее фасоном, — благородная останется благородной даже с ваксой внутри!

Все бутылки были упакованы; наша бутылка тоже; тогда она и не предполагала еще, что кончит в виде бутылочного горлышка в должности стаканчика для птички, — должности, впрочем, в сущности, довольно почтенной: лучше быть хоть чем-нибудь, нежели ничем! Белый свет бутылка увидела только в ренсковом погребе; там ее и других ее товарок распаковали и выполоскали — вот странное было ощущение! Бутылка лежала пустая, без пробки, и ощущала в желудке какую-то пустоту, ей как

будто чего-то недоставало, а чего — она и сама не знала. Но вот ее налили чудесным вином, закупорили и запечатали сургучом, а пробку наклеили ярлычок: «Первый сорт». Бутылка как будто получила высшую отметку на экзамене; но вино и в самом деле было хорошее, бутылка тоже. В молодости все мы поэты, вот и в нашей бутылке что-то так и играло и пело о таких вещах, о которых сама она и понятия не имела: о зеленых, освещенных солнцем горах с виноградниками по склонам, о веселых девушках и парнях, что с песнями собирают виноград, целуются и хохочут... Да, жизнь так хороша! Вот что бродило и пело в бутылке, как в душе молодых поэтов, — они тоже зачастую сами не знают, о чем поют.

Однажды утром бутылку купили, — в погреб явился мальчик от скорняка и потребовал бутылку вина самого первого сорта. Бутылка очутилась в корзине рядом с окороком, сыром и колбасой, чудеснейшим маслом и булками. Дочка скорняка сама укладывала все в корзинку. Девушка была молоденькая, хорошенькая; черные глазки ее так и смеялись, на губах играла улыбка, такая же выразительная, как и глазки. Ручки у нее были тонкие, мягкие, белые-пребелые, но грудь и шейка еще блее. Сразу было видно, что она одна из самых красивых девушек в городе и — представьте — еще не была просватана!

Вся семья отправлялась в лес; корзинку с припасами девушка везла на коленях; бутылочное горлышко высовывалось из-под белой скатерти, которою была накрыта корзина. Красная сургучная головка бутылки глядела прямо на девушку и на молодого штурмана, сына их соседа-живописца, товарища детских игр красоты, сидевшего рядом с нею. Он только что блестяще сдал свой экзамен, а на следующий день уже должен был отплыть на корабле о чужие страны. Об этом много толковали во время сборов в лес, и в эти минуты во взоре и в выражении личика хорошенькой дочки скорняка не замечалось особенной радости.

Молодые люди пошли бродить по лесу. О чем они беседовали? Да, вот этого бутылка не слыхала: она ведь оставалась в корзине и успела даже соскучиться, стоя там. Но наконец ее вытащили, и она сразу увидела, что дела успели за это время принять самый веселый оборот: глаза у всех так и смеялись, дочка скорняка улыбалась, но говорила как-то меньше прежнего, щечки же ее так и цвели розами.

Отец взял бутылку с вином и штопор... А странное ощущение испытываешь, когда тебя откупоривают в первый раз! Бутылка никогда уже не могла забыть той торжественной минуты, когда пробку из нее точно вышибло и у нее вырвался глубокий вздох облегчения, а вино забулькало в стаканы: клю-клю-клюк!

— За здоровье жениха и невесты! — сказал отец, и все опорожнили свои стаканы до дна, а молодой штурман поцеловал красотку невесту.

— Дай бог вам счастья! — прибавили старики.

Молодой моряк еще раз наполнил стаканы и воскликнул:

— За мое возвращение домой и нашу свадьбу ровно через год! — И когда стаканы были осушены, он схватил бутылку и подбросил ее высоко-высоко в воздух: — Ты была свидетельницей прекраснейших минут моей жизни, так не служи же больше никому!

Дочке скорняка и в голову тогда не приходило, что она опять увидит когда-нибудь ту же бутылку высоко-высоко в воздухе, а пришлось-таки.

Бутылка упала в густой тростник, росший по берегам маленького лесного озера. Бутылочное горлышко живо еще помнило, как она лежала там и размышляла: «Я угостила их вином, а они угощают меня теперь болотной водой, но, конечно, от доброго сердца!» Бутылке уже не было видно ни жениха, ни невесты, ни счастливых старичков, но она еще долго слышала их веселое ликование и пение. Потом явились два крестьянских мальчугана, заглянули в тростник, увидели бутылку и взяли ее, — теперь она была пристроена.

Жили мальчуганы в маленьком домике в лесу. Вчера старший брат их, матрос, приходил к ним прощаться — он уезжал в дальнейшее плавание; и вот мать возилась теперь, укладывая в его сундук то то, то другое, нужное ему в дорогу. Вечером отец сам хотел отнести сундук в город, чтобы еще раз проститься с сыном и передать ему благословение матери. В сундук была уложена и маленькая бутылочка с настойкой. Вдруг явились мальчики с большой бутылкой, куда лучше и прочнее маленькой. В нее настойки могло войти гораздо больше, а настойка-то была очень хорошая и даже целебная — полезная для желудка. Итак, бутылку наполнили уже не красным вином, а горькою настойкой, но и это хорошо — для желудка. В сундук вместо маленькой была уложена большая бутылка, которая, таким

образом, отправилась в плавание вместе с Петером Иенсеном, а он служил на одном корабле с молодым штурманом. Но молодой штурман не увидел бутылки, да если бы и увидел — не узнал бы; ему бы и в голову не пришло, что это та самая, из которой они пили в лесу за его помолвку и счастливое возвращение домой.

Правда, в бутылке больше было не вино, но кое-что не хуже, и Петер Иенсен частенько вынимал свою «аптеку», как величали бутылку его товарищи, и наливал им лекарства, которое так хорошо действовало на желудок. И лекарство сохраняло свое целебное свойство вплоть до последней своей капли. Веселое то было времечко! Бутылка даже пела, когда по ней водили пробкой, и за это ее прозвали «большим жаворонком» или «жаворонком Петера Иенсена».

Прошло много времени; бутылка давно стояла в углу пустою; вдруг стряслась беда. Случилось ли несчастье еще на пути в чужие края, или уже на обратном пути — бутылка не знала — она ведь ни разу не сходила на берег. Разразилась буря; огромные черные волны бросали корабль, как мячик, мачта сломалась, образовалась пробоина и течь, помпы перестали действовать. Тьма стояла непроглядная, корабль накренился и начал погружаться в воду. В эти-то последние минуты молодой штурман успел набросать на клочке бумаги несколько слов: «Господи помилуй! Мы погибаем!» Потом он написал имя своей невесты, свое имя и название корабля, свернул бумажку в трубочку, сунул в первую попавшуюся пустую бутылку, крепко заткнул ее пробкой и бросил в бушующие волны. Он и не знал, что это та самая бутылка, из которой он наливал в стаканы доброе вино в счастливый день своей помолвки. Теперь она, качаясь, поплыла по волнам, унося его прощальный, предсмертный привет.

Корабль пошел ко дну, весь экипаж тоже, а бутылка понеслась по морю, как птица: она несла ведь сердечный привет жениха невесте! Солнышко вставало и садилось, напоминая бутылке раскаленную печь, в которой она родилась и в которую ей так хотелось тогда кинуться обратно. Испытала она и штить и новые бури, но не разбилась о скалы, не угодила в пасть акуле. Больше года носилась она по волнам туда и сюда; правда, она была в это время сама себе госпожой, но и это ведь может надоесть.

Исписанный клочок бумаги, последнее прости жениха невесте, принес бы с собой одно горе, попади он в руки



той, кому был адресован. Но где же были те беленькие ручки, что расстлали белую скатерть на свежей травке в зеленом лесу в счастливый день обручения? Где была дочка скорняка? И где была самая родина бутылки? К какой стране она теперь приближалась? Ничего этого она не знала. Она носилась и носилась по волнам, так что под конец даже соскучилась. Носиться по волнам было вовсе не ее дело, и все-таки она носилась, пока наконец не приплыла к берегу чужой земли. Она не понимала ни слова из того, что говорилось вокруг нее: говорили на каком-то чужом, незнакомом ей языке, а не на том, к которому она привыкла на родине; не понимать же языка, на котором говорят вокруг, — большая потеря!

Бутылку поймали, рассмотрели, увидели и вынули записку, вертели ее и так и сяк, но разобрать не разобрали, хоть и поняли, что бутылка была брошена с погибающего корабля и что обо всем этом говорится в записке. Но что именно? Да, вот в том-то вся и штука! Записку сунули обратно в бутылку, а бутылку поставили в большой шкаф, что стоял в большой горнице большого дома.

Всякий раз, как в доме появлялся новый гость, записку вынимали, показывали, вертели и разглядывали, так что буквы, написанные карандашом, мало-помалу стирались и под конец совсем стерлись, — никто бы и не сказал теперь, что на этом клочке было когда-то что-либо написано. Бутылка же простояла в шкафу еще с год, потом попала на чердак, где вся покрылась пылью и паутиной. Стоя там, она вспоминала лучшие дни, когда из нее наливали красное вино в зеленом лесу, когда она качалась на морских волнах, нося в себе тайну, письмо, последнее прости!..

На чердаке она простояла целых двадцать лет; простояла бы и дольше, да дом вздумали перестраивать. Крышу сняли, увидели бутылку и заговорили что-то, но она по-прежнему не понимала ни слова — языку ведь не выучишься, стоя на чердаке, стой там хоть двадцать лет! «Вот если бы я оставалась внизу, в комнате, — справедливо рассуждала бутылка, — я бы, наверное, выучилась!».

Бутылку вымыли и выполоскали, — она в этом очень нуждалась. И вот она вся прояснилась, просветлела, словно помолодела вновь; зато записку, которую она носила в себе, выплеснули из нее вместе с водой.

Бутылку наполнили какими-то незнакомыми ей семенами; заткнули пробкой и так старательно упаковали, что ей не стало видно даже света божьего, не то что солнца или месяца. «А ведь надо же что-нибудь видеть, когда путешествуешь», — думала бутылка, но так-таки ничего и не увидала. Главное дело было, однако, сделано: она отправилась в путь и прибыла куда следовало. Тут ее распаковали.

— Вот уж постарались-то они там, за границей! Ишь, как упаковали, и все-таки она, пожалуй, треснула! — услышала бутылка, но оказалось, что она не треснула.

Бутылка понимала каждое слово; говорили на том же языке, который она слышала, выйдя из плавильной печи, слышала и у виноторговца, и в лесу, и на корабле, словом — на единственном, настоящем, понятном и хорошем родном языке! Она опять очутилась дома, на родине! От радости она чуть было не выпрыгнула из рук и едва обратила внимание на то, что ее откупорили, опорожнили, а потом поставили в подвал, где и позабыли. Но дома хорошо и в подвале. Ей и в голову не приходило считать, сколько времени она тут простояла, а ведь простояла она



больше года! Но вот опять пришли люди и взяли все находившиеся в подвале бутылки, в том числе и нашу.

Сад был великолепно разукрашен; над дорожками перекидывались гирлянды из разноцветных огней, бумажные фонари светились, словно прозрачные тюльпаны. Вечер был чудный, погода ясная и тихая. На небе сияли звездочки и молодая луна; виден был, впрочем, не только золотой, серповидный краешек ее, но и весь серо-голубой круг, — виден, конечно, только тому, у кого были хорошие глаза.

В боковых аллеях тоже была устроена иллюминация, хоть и не такая блестящая, как в главных, но вполне достаточная, чтобы люди не спотыкались впотьмах. Здесь, между кустами, были расставлены бутылки с воткнутыми в них зажженными свечами; здесь-то находилась и наша бутылка, которой суждено было в конце концов послужить стаканчиком для птички. Бутылка была в восторге; она опять очутилась среди зелени, опять вокруг нее шло веселье, раздавались пение и музыка, смех и говор толпы, особенно густой там, где качались гирлянды разноцветных лампочек и отливали яркими красками бумажные фонари. Сама бутылка, правда, стояла в боковой аллее, но тут-то и можно было помечтать; она держала свечу — служила и для красоты и для пользы, а в этом-то вся и суть. В такие минуты забудешь даже двадцать лет, проведенных на чердаке, — чего же лучше!

Мимо бутылки прошла под руку парочка, ну, точь-в-точь, как та парочка в лесу — штурман с дочкой скорняка; бутылка вдруг словно перенеслась в прошлое. В саду гуляли приглашенные гости, гуляли и посторонние, которым позволено было полюбоваться гостями и красивым зрелищем; в числе их находилась и старая девушка, у нее не было родных, но были друзья. Думала она о том же, о чем и бутылка; ей тоже вспоминался зеленый лес и молодая парочка, которая была так близка ее сердцу, — ведь она сама участвовала в той веселой прогулке, сама была тою счастливою невестой! Она провела тогда в лесу счастливейшие часы своей жизни, а их не забудешь, даже став старою девой! Но она не узнала бутылки, да и бутылка не узнала ее. Так случается на свете сплошь да рядом: старые знакомые встречаются и расходятся, не узнав друг друга, до новой встречи.

И бутылку ждала новая встреча со старою знакомою, — они ведь находились теперь в одном и том же городе!

Из сада бутылка попала к виноторговцу, опять была наполнена вином и продана воздухоплателю, который в следующее воскресенье должен был подняться на воздушном шаре. Собралось множество публики, играл духовой оркестр; шли большие приготовления. Бутылка видела все это из корзины, где она лежала рядом с живым кроликом. Бедняжка кролик был совсем растерян, — он знал, что его спустят вниз с высоты на парашюте! Бутылка же и не знала, куда они полетят — вверх или вниз; она видела только, что шар надувался все больше и больше, потом приподнялся с земли и стал порываться ввысь, но веревки все еще крепко держали его. Наконец их перерезали, и шар взвился в воздух вместе с воздухоплателем, корзиною, бутылкою и кроликом. Музыка гремела, и народ кричал «ура».

«А как-то странно лететь по воздуху! — подумала бутылка. — Вот новый способ плавания! Тут по крайней мере не наткнешься на камень!»

Многотысячная толпа смотрела на шар; смотрела из своего открытого окна и старая девушка; за окном висела клетка с коноплянкой, обходившейся еще, вместо стакан-



чика, чайною чашкой. На подоконнике стояло миртовое дерево; старая девушка отодвинула его в сторону, чтобы не уронить, высунулась из окна и ясно различила в небе шар и воздухоплатателя, который спустил на парашюте кролика, потом выпил из бутылки за здоровье жителей и подбросил бутылку вверх. Девушке и в голову не пришло, что это та самая бутылка, которую подбросил высоко в воздух ее жених в зеленом лесу в счастливейший день ее жизни!

У бутылки же и времени не было ни о чем подумать, — она так неожиданно очутилась в зените своего жизненного пути. Башни и крыши домов лежали где-то там, внизу, люди казались такими крохотными!..

И вот она стала падать вниз, да куда быстрее, чем кролик; она кувыркалась и плясала в воздухе, чувствовала себя такою молодою, такою жизнерадостною, вино в ней так и играло, но недолго — вылилось. Вот так полет был! Солнечные лучи отражались на ее стеклянных стенках, все люди смотрели только на нее, — шар уже скрылся; скоро скрылась из глаз зрителей и бутылка. Она упала на крышу и разбилась. Осколки, однако, еще не сразу успокоились — прыгали и скакали по крыше, пока не очутились во дворе и не разбились о камни на еще более мелкие кусочки. Уцелело одно горлышко; его словно срезало алмазом!

— Вот славный стаканчик для птицы! — сказал хозяин погребка, но у самого у него не было ни птицы, ни клетки, а обзаводиться ими только потому, что попало ему бутылочное горлышко, годное для стаканчика, было бы уж чудесно! А вот старой девушке, что жила на чердаке, оно могло пригодиться, и бутылочное горлышко попало к ней; его заткнули пробкой, перевернули верхним концом вниз — такие перемены часто случаются на свете, — налили в него свежей воды и подвесили к клетке, в которой так и заливалась коноплянка.

— Да, тебе хорошо петь! — сказала бутылочное горлышко, а оно было замечательное — оно летало на воздушном шаре! Остальные обстоятельства его жизни не были известны никому. Теперь оно служило стаканчиком для птицы, качалось в воздухе вместе с клеткой, до него доносились с улицы грохот экипажей и говор толпы, из каморки же — голос старой девушки. К ней пришла в гости ее старая приятельница-ровесница, и разговор шел не о бутылочном горлышке, но о миртовом деревце, что стояло на окне,

— Право, тебе незачем тратить двух риксдалеров на свадебный венок для дочки! — говорила старая девушка. — Возьми мою мирту! Видишь, какая чудесная, вся в цветах! Она выросла из отростка той мирты, что ты подарила мне на другой день после моей помолвки. Я собиралась свить из нее венок ко дню своей свадьбы, но этого дня я так и не дождалась! Закрылись те очи, что должны были светить мне на радость и счастье всю жизнь! На дне морском спит мой милый жених!.. Мирта состарилась, а Я еще больше! Когда же она начала засыхать, я взяла от нее последнюю свежую веточку и посадила ее в землю. Вот как она разрослась и попадет-таки на свадьбу: мы сошьем из ее ветвей свадебный венок для твоей дочки!

На глазах у старой девушки навернулись слезы; она стала вспоминать друга юных лет, помолвку в лесу, тост на их здоровье, подумала о первом поцелуе... но не упомянула о нем, — она была ведь уже старою девой! О многом вспоминала и думала она, только не о том, что за окном, так близко от нее находится еще одно напоминание о том времени — горлышко той самой бутылки, из которой с таким шумом вышибло пробку, когда пили за здоровье обрученных. Да и само горлышко не узнало старой знакомой, отчасти потому, что оно и не слушало, что она рассказывала, а главным образом потому, что думало только о себе.





## НОЧНОЙ КОЛПАК СТАРОГО ХОЛОСТЯКА



**В** Копенгагене есть улица с забавным названием — Хюсхенстредде. Почему она так называется и что означает это название? Слывет оно немецким, но немецкое слово сильно пострадало. Следовало бы выговаривать Häuschen, а выговаривают Хюсхен; Häuschenstraede же значит улица Маленьких домиков. На ней в старину, и правда, ютились домишки, вроде деревянных ярмарочных балаганчиков, разве чуть побольше да с окошками. Но стеклов в окнах не было, их заменяли роговые пластинки или бычачьи пузыри, — в то время стекло было еще так дорого, что не всем по карману было вставлять его в окна. Давно ведь это было, так давно, что даже прадедушкин прадед, рассказывая о тех временах, называл их «старыми временами». Не одно столетие прошло с тех пор.

В Копенгагене вели в те времена торговлю богатые купцы из Бремена и Любека, разумеется не сами, а через своих приказчиков. Вот они-то и селились в этих деревянных лачугах на улице Маленьких домиков; в нижнем этаже

каждого домика находилась лавочка, где шла торговля пивом и пряностями. Немецкое пиво в те времена славилось, и сколько сортов его было! И бременское, и прусское, и эмское, и брауншвейгское. Из пряностей же бойко торговали шафраном, анисом, имбирем, а бойчее всего — перцем: перец являлся главным предметом торговли, оттого и немецких приказчиков прозвали в Дании перечными молодцами. Хозяева брали с них обязательство не жениться на чужбине, они и не женились, доживали до старости холостяками. Некому было о них позаботиться — обшить, обмыть; самим приходилось им хлопотать по хозяйству, самим тушить огонь в очагах — тем, у кого он разводился. Многие, как сказано, доживали так до глубокой старости; у них заводились свои вкусы, свои привычки, и старые холостяки кое-как коротали свой век. С тех пор-то и вошло в обычай величать пожилых неженатых мужчин «перечными молодцами»<sup>1</sup>.

Все это нужно знать, чтобы понять рассказ.

Над старыми холостяками все подсмеиваются, они дескать, знают одно — нахлобучить свой ночной колпак да завалиться на боковую! О холостяках даже песенку сложили:

Пили, пили дрова  
Ты, старый холостяк!  
Седая голова,  
Твой друг — ночной колпак!

Да, вот что поют о них! Смеются и над холостяком и над его колпаком, а что о них знают? Ах, пусть никто не пожелает обзавестись этим «ночным колпаком»! Почему так? А вот послушай!

В те времена на улице Маленьких домиков не было мостовой, и люди попадали из колдобины в колдобину, словно на изрытой проезжей дороге. А что за теснота там была! Домишки лепились один к другому, и между двумя противоположными рядами их оставался такой узенький проход, что летом с одного домика на другой перекидывали парусину; надо всей улицей образовывался навес, под которым так славно пахло перцем, шафраном и имбирем. За прилавком мало попадалось молодых приказчиков, больше все старики. Но не подумай, что все

---

<sup>1</sup> По-датски старый холостяк — «pebersvend», то есть перечный молодец.

они носили парики или ночные колпаки, короткие кожаные панталоны до колен и куртки или кафтаны, застегнутые на все пуговицы. Нет, так одевался прадедушкин прадед, в таком костюме он и на портрете написан. Перечным молодцам не по карману было заказывать своя портреты, а стоило бы списать портрет хоть с одного из почтенных стариков в то время, как он стоял за прилавком или шел в праздник к обедне! Наряд их состоял из широкополой, с высокой тульей, шляпы (приказчики помоложе часто украшали свои шляпы перышками), шерстяной рубашки с отложным полотняным воротником, куртки, застегнутой наглухо, плаща и панталон, всунутых в широконосые башмаки, — чулок они не носили. За поясом у каждого были заткнуты нож, ложка и еще большой нож для защиты, — в те времена случалась и в этом нужда. Так одевался по праздничным дням и старый Антон, один из старейших обитателей улицы Маленьких домиков, только вместо шляпы он носил шапку с длинными наушниками, а под ней вязаный колпак, настоящий ночной колпак. Старик так привык к колпаку, что не мог обойтись без него ни днем, ни ночью, и у него так и было заведено два колпака для смены. Вот с Антона-то и стоило писать портрет перечного молодца: худ он был как щепка, вокруг рта и глаз ежились сотни морщинок, пальцы были длинные, костлявые, над глазами нависли густые седые брови, над левым же торчал целый пучок длинных волос, который если и не красил Антона, то служил зато характерною приметой. Люди считали Антона бременцем, но в Бремене жил только его хозяин, сам же он был из Тюрингии, из города Эйзенаха, что близ Вартбурга. Но о родине своей Антон не любил особенно распространяться — зато много думал о ней.

Старые приказчики не часто виделись друг с другом, каждый больше держался в своем уголке. Запирались лавочки рано, и домишки сразу погружались в мрак; лишь из крошечного рогового окошечка чердачной каморки, под самой крышей, чуть светился огонек; старичок обитатель каморки чаще всего сидел в это время на своей постели, с немецким молитвенником в руках, и напевал вечерней псалом или же далеко за полночь хлопотал по хозяйству, прибирая то одно, то другое. Не сладко-то жилось ему: чужой всем, на чужбине — что уж за житье! Никому до него нет дела, разве станет кому поперек дороги!

Улица в глухую, темную, ненастную ночь выглядела такую пустынную, мрачную; на всю улицу приходился один фонарь, да и тот висел в самом конце ее, перед нарисованным на стене образом божьей матери. Слышался лишь плеск воды, сбегавшей по деревянной обшивке на бережной, — другой конец улицы выходил на канал. Таким вечерам и конца не бывает, если не займешься чем-нибудь. А чем заняться старому холостяку? Развертывать и завертывать товары, свертывать фунтики, чистить весы не приходится ведь каждый день; надо, значит, заняться чем-нибудь другим. Старый Антон и находил себе занятия — сам чинил свое платье, сам ставил заплатки на сапоги. Улегшись же наконец в постель в своем неизменном колпаке, он обыкновенно нахлобучивал его пониже, но вслед затем опять приподнимал его, чтобы посмотреть, хорошо ли погашена свечка, ощупывал ее на столике и прижимал фитиль двумя пальцами, потом ложился опять, повертывался на другой бок и опять надвигал колпак на брови. Но часто в эту самую минуту ему приходило на мысль: а прогорели ли все уголья в жаровне, оставленной внизу, в лавочке, потухла ли зола? Довольно ведь одной искорки — и не миновать беды! И вот он вставал с постели, осторожно слезал по приставной лесенке — лестницей ее и назвать было нельзя — и, добравшись до жаровни, убеждался, что в ней не тлело ни уголька. Теперь можно было вернуться обратно в свою каморку, но часто еще на поддороге его брало сомнение: заперты ли на крюк двери и ставни? — и он снова ковлял на своих тонких ногах вниз. Дрожь прохватывала его, зубы так и стучали, когда он опять добирался до постели; известно ведь, что дрожь тогда-то и принимается хорошенько трепать человека, когда видит, что тот спасся от нее в теплую постель. Антон повыше натягивал на себя пуховик, нахлобучивал колпак на глаза, и мысли его наконец отрывались от дневных хлопот и забот, но не на радость ему! На смену тревогам и заботам настоящего являлись воспоминания прошлого и развешивали перед ним на стене свои узорчатые ковры. Но в них часто попадаются острые булавки, уколуют так, что невольно закричишь от боли, а если воткнут тебе в живое тело поглубже — даже слезы прошибут! С Антоном это случалось не раз. Падая на пуховик или на пол, эти чистые, прозрачные, как жемчужины, слезы звенят, словно лопаются наболевшие сердечные струны. Слезы



скоро испаряются, но вспыхивают перед тем ярким пламенем и успевают осветить картину прошлого, одну из тех, что никогда не изглаживаются из памяти. Антон отирал эти слезы ночным колпаком — и слеза и картина стирались, но источник их, разумеется, оставался, — источником было ведь сердце старика. Картины жизни являлись ему не в том порядке, в каком они следовали друг за другом в действительности; чаще всего рисовались самые печальные, мрачные, но являлись и светлые, радостные; эти-то и наводили на него самую сильную грусть, сгущая тени настоящего.

«Хороши датские буковые леса!» — говорят у нас, но для Антона буковые леса в окрестностях Вартбурга были куда лучше! Мощнее, почтеннее датских казались ему родные немецкие дубы, росшие вокруг гордого рыцарского замка, где выющиеся растения обвивали каменистые склоны; слаще благоухали для него родные цветущие яблони, нежели датские! Он все еще как будто вдыхал их аромат!.. Слеза скатилась, зазвенела и вспыхнула, ярко осветив двух играющих детей: мальчика и девочку. У мальчика были красивые щеки, светлые кудри и честные голубые глаза; он был сыном богатого торговца, звали его Антоном... Да, это он сам! У девочки же были черные глаза и черные волосы, умный и смелый взгляд; это была дочка городского головы, Молли. Дети играли яблоком; трясли его и прислушивались, как гремят в нем зернышки. Потом они разрезали яблоко, и каждому досталась половинка. Зернышки они тоже поделили и съели все, кроме одного. Его надо было закопать в землю, — так придумала девочка.

— Вот увидишь потом, что из него выйдет! Ты и не отгадаешь — что! Целая яблоня, только не сразу!

И дети принялись хлопотать: достали цветочный горшок с землей, мальчик проткнул в земле пальцем ямку, девочка положила туда зернышко, и оба старательно закопали его.

— Только смотри, не вздумай завтра вытаскивать зернышко, чтобы поглядеть, пустило ли оно ростки! — сказала Молли Антону. — Этого нельзя делать! Я вот так сделала со своими цветочками всего два раза, — я хотела поглядеть, растут ли они, тогда я еще не понимала, что этого нельзя, — и цветочки погибли!

Цветочный горшок остался у Антона, и мальчик каждый день подходил к нему поглядеть, не выросло ли чего-

нибудь, но, кроме черной земли, в горшке ничего не было. Наконец настала весна, солнышко стало пригревать теплее, и из земли выглянули два крошечных зеленых листочка.

— Это я с Молли! — сказал Антон. — Вот чудесно-то!

Скоро появился и третий листочек, — а это кто же? Потом еще и еще! День за днем, неделя за неделей, и из зернышка выросло целое деревцо. Все это осветила одна слезинка; вот ее стерли, и все исчезло. Но источник слез был неиссякаем, — источником было ведь сердце старого Антона.

Близ Эйзенаха проходит гряда каменистых возвышенностей; круглая вершина одной из них совершенно оголена — ни деревца, ни кустика, ни травки; зовут ее горой Венеры: по преданию, здесь жила Венера, древняя языческая богиня; но немцы переименовали ее в госпожу Голле, которую знает в Эйзенахе каждый ребенок. Она заманила к себе благородного рыцаря Тангейзера, миннезингера из Вартбурга.

Молли и Антон часто подходили к горе, и раз девочка сказала:

— Ну-ка, постучи и крикни: «Госпожа Голле, госпожа Голле! Отвори Тангейзеру!»

Антон не посмел, а Молли посмела, но громко и ясно она сказала только: «Госпожа Голле, госпожа Голле», остальное же пробормотала так невнятно, что, по мнению Антона, ничего, собственно, не сказала. Смелая была эта Молли! Такая смелая, что одна из всей толпы сверстниц целовала Антона, хотя хотелось всем — именно потому, что он не хотел и отбивался от поцелуев руками и ногами.

— А я его поцелую! — говорила Молли гордо и обвиняла шею Антона рукой.

Это было ее торжеством, Антон же покорялся ей, все не думая о том, что делает. Ах, какая она была хорошенькая, какая смелая!

Госпожа Голле, что жила в горе, тоже, говорят, была хороша собою, но ее красота была соблазнительною красотой зла. Вышею красотой считалась красота святой Елизаветы, покровительницы страны, благочестивой тюрингской герцогини, добрые дела которой живут в легендах и сказаниях, прославлявших здешние места. В часовне висел ее образ, а перед ним — серебряная лампада. Но святая Елизавета несколько не была похожа на Молли.

А яблонька, которую посадили дети, росла да росла, так что наконец пришлось пересадить ее в сад, под открытое небо, где ее кропило росой, пригревало солнышком, и она окрепла настолько, что могла выдержать и зиму. Весной же, словно от радости, что пережила суровую зиму, она зацвела и осенью принесла два яблочка: одно для Молли и одно для Антона, — меньше уж никак нельзя было.

Дерево торопилось расти, Молли не отставала; она напоминала свою свежестью цветок яблони, но недолго Антону пришлось любоваться на этот цветок. Все проходит, все изменяется! Отец Молли оставил родные места и уехал с Молли далеко-далеко. В наше время торжества пара понадобилось бы всего несколько часов, тогда же надо было ехать больше суток, чтобы добраться до того города, куда они уехали. Он находился к востоку от Эйзенаха, совсем в другом конце страны — это был город Веймар.

Молли плакала, и Антон плакал — все эти слезы соединились теперь в одну, отливавшую яркими, радужными красками: Молли ведь сказала Антону, что любит его больше всех прелестей жизни в Веймаре!

Прошел год, два, три. За это время от Молли пришло два письма; одно привез с собой торговый комиссионер, другое какой-то приезжий. Дорога была длинная, трудная, извивавшаяся мимо разных городов и местечек.

Всякий раз как Антон с Молли слушали легенду о Тристане и Изольде, ему почему-то казалось, что говорят про него и Молли, хотя имя Тристан означало «рожденный для скорби», а это совсем не подходило к Антону. Ему ведь не придется, как Тристану, вздыхать: «Она забывала меня!» Изольда, впрочем, и не забывала друга сердца, и, когда оба умерли и были похоронены по разные стороны церкви, на могилах их выросли две липы и сплелись ветвями над церковною крышей. История эта казалась Антону такою поэтической и такою печальною... Но в его отношениях к Молли не могло быть ничего печального, и он принимался насвистывать песенку миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде:

Ах, под липой, в степи!..

Особенно дивно звучали следующие строки:

Раздается из леса душистого —

Тиндарaday! —

Трель певца, соловья голосистого!

Песня эта вечно вертелась у него на языке; он напевал и насвистывал ее и в ту ясную, лунную ночь, когда несся на коне в Веймар навестить Молли; он хотел явиться неожиданным гостем — так и вышло.

Приняли его ласково; вино запенилось в бокалах; он встретил здесь веселое знатное общество, нашел уютную комнатку и мягкую постель, и все же — не того ожидал он, не о том мечтал! Он сам не понимал себя, не понимал других, но мы-то пойдем, в чем было дело! Можно быть хорошо принятым в доме, в семействе, и все-таки чувствовать себя чужим; разговоры ведешь, как в почтовой карете, знакомишься, как в почтовой карете, стесняешься, желаешь или сам уйти, или как-нибудь спровадить своего доброго соседа! Нечто подобное испытал и Антон.

— Я честная девушка! — сказала ему Молли. — И сама хочу сказать тебе все. Многое изменилось с той поры, как мы были детьми. Перемены эти и внешние и внутренние. Привычка и желание ничего не могут поделаться с сердцем! Антон! Ты уезжаешь далеко-далеко, и я не желала бы расстаться с тобою как с недругом! Верь мне, я расположена к тебе, но любить тебя так, как, я знаю теперь, можно любить другого человека, я тебя никогда не любила! Примирись с этим!.. Прощай, Антон!

И Антон отвечал: «Прощай!» Ни одной слезинки не выступило у него на глазах, но он понял, что перестал быть другом Молли. И раскаленная и замерзшая пластинки железа одинаково сдирают кожу с губ, если станешь целовать их, Антон же одинаково крепко целовался и с любовью и с ненавистью!

Не прошло и суток, как Антон был уже дома. Зато он и загнал лошадей.

— Пусть! — сказал он. — Я сам загнан и хотел бы загнать все, уничтожить все, что напоминает мне о ней — госпоже Голле, госпоже Голле, госпоже Венере, проклятой язычнице!.. Яблоню я вырву с корнем, изломаю в куски! Не цвести ей больше, не приносить плодов!

Но не дерево было сломлено, а сам Антон: жестокая лихорадка уложила его в постель. Что же могло поставить его на ноги? Подоспело лекарство, самое горячайшее из всех, которое встряхивает больное тело и изнывающую душу — удар судьбы: отец Антона разорился. Тяжелые дни, дни испытаний стучались в дверь, беда уже вломилась в нее, хлынула в когда-то богатый дом волною.

Отец Антона обеднел, горе и заботы надломил его здоровье, и у Антона нашлись занятия, кроме любовной хандры да злобы на Молли. Теперь он должен был заменить в доме и хозяина и хозяйку, распорядиться всем, привести в порядок все. Потом пришлось покинуть родину, идти на чужую сторону зарабатывать кусок хлеба. Отправился он в Бремен, немало изведаль нужды и горя, а это либо закаляет душу, либо расслабляет ее — иной раз даже чересчур. Как, однако, не соответствовали свет и люди сложившемуся у него в пору детства представлению о них! «А песни миннезингеров, что они такое? — рассуждал он теперь. — Звук пустой!» Но иногда в его душе опять звучала сладкая мелодия, и он смягчался.

«Бог все устраивает к лучшему! — говорил он себе. — И хорошо сделал он, что не дал Молли привязаться ко мне сердечно. К чему бы это привело теперь, когда счастье отвернулось от меня? Она оттолкнула меня раньше, чем могла знать или предполагать о моем разорении. Бог оказал мне милость! Все было к лучшему! Он устраивает все премудро! Она не была виновата ни в чем, а я-то возненавидел ее!»

Годы шли. Отец Антона умер; чужие люди поселились в родном доме. Антону пришлось все-таки увидеть его еще раз. Хозяин послал его по торговым делам, и ему случилось проезжать через свой родной город Эйзенах. Старый замок Вартбург стоял на скале по-прежнему; по-прежнему окружали его каменные «монахи» и «монахини» и мощные дубы; все было, как во времена его детства. Гора Венеры по-прежнему блестела на солнце своею серою голою вершиною. Как охотно постучался бы в нее Антон и сказал: «Госпожа Голле, госпожа Голле! Отвори мне, укрой меня в недрах родной земли!»

Грешная это была мысль, и он осенил себя крестом; тут в кустах запела птичка, и Антону вспомнилась старая песня:

Раздается из леса душистого —  
Тиндарадай! —  
Трель певца, соловья голосистого!

Сколько воспоминаний пробудилось в его душе при виде города, где протекло его детство; слезы застлали его глаза. Отцовский дом стоял все на том же месте, но часть сада была уничтожена, отошла под проезжую дорогу, и яблоня, которой он так и не вырвал, очутилась не

в саду, а по ту сторону дороги. Но солнышко по-прежнему пригревало ее, роса кропила, и ветви ее гнулись под обилием плодов к самой земле.

— Растет себе! — сказал Антон. — Что ей делается!

Но одна из самых больших ветвей яблони была надломлена чьєю-то шальной рукой; дерево стояло ведь у проезжей дороги!

«Обрывают ее цветы, не говоря даже спасибо, крадут плоды и ломают ветви! Да, и про дерево можно сказать то же, что говорится иногда про человека: «Не пели над его колыбелью, что ему придется когда-нибудь стоять вот так!» Заря его жизни занялась так ярко, красиво, а что дала ему судьба? Садовому дереву пришлось расти возле канавы, в открытом поле, у проезжей дороги! Стоит оно тут одинокое, забытое, незащищенное! Все его теребят, ломают! Оно еще не вянет от этого, но с годами цветов на нем будет все меньше, плодов не будет вовсе, а потом и дереву конец».

Вот что думал Антон под деревом; те же мысли часто бродили у него в голове в долгие бессонные ночи, которых немало провел он в своей одинокой каморке, в деревянной лачуге, на чужой стороне, на улице Маленьких домиков в Копенгагене, куда послал его богатый бременский купец, хозяин его, взяв с него сначала слово никогда не жениться.

— Жениться! Хе, хе! — рассмеялся он странным, глухим смехом.

Зима установилась в этот год рано; мороз так и трещал; на дворе разыгралась такая вьюга, что все, кто только мог, сидели у себя в теплом углу. Оттого соседи Антона и не заметили, что лавочка старика не отпирается вот уже два дня, — кто бы высунул нос в такую погоду, если только можно было оставаться дома?

Дни стояли серые, мрачные, и в жилище Антона с маленьким, подслеповатым оконцем долгая ночь сменялась лишь тоскливыми сумерками. Старый Антон два дня не вставал с постели, — силы его оставили. Непогода давала себя знать ломотой во всем теле. Одинокий, беспомощный, оставленный всеми, лежал старый холостяк в кровати и едва мог даже дотянуться до кружки с водой, которую поставил у изголовья. Но вот в кружке не осталось больше ни капли. Уложила Антона в постель не лихорадка, не другая болезнь, а старость. Для Антона как

бы наступила долгая-долгая ночь. Маленький паучок, которого Антон не мог видеть, весело и прилежно пряд над ним свою паутинку, словно спеша приготовить новый, свежий траурный креп к тому времени, когда старик закроет глаза.

Антон одолевала тяжелая дремота. Слез у него не было, боли он тоже не чувствовал, о Молли и не вспоминал. Ему казалось, что мир с его шумом и жизнью был уже не для него, — он остался как-то в стороне: никому не было до него дела. Вдруг ему показалось, что он голоден и хочет пить... Да, правда, он ощущал и голод и жажду. Но никто не приходил утолить их, никто и не придет. И он вспомнил о других голодающих и о святой Елизавете, покровительнице его родины и детства, благородной герцогине тюрингенской, которая сама заходила в жалкие лачуги и приносила страждущим надежду и облегчение. Благочестивые дела ее сияли в его памяти: он вспомнил, как она являлась к страдальцам со словами утешения, омывала их раны, приносила голодным пищу, хотя ее суровый муж и гневался на нее за это. Антон вспомнил и легенду о святой Елизавете. Однажды она отправилась, по обыкновению, с корзиной, наполненной съестными припасами, как вдруг ей преградил дорогу муж, следивший за каждым ее шагом, и спросил, что у нее в корзинке. Святая в испуге отвечала: «Розы из сада». Муж сорвал салфетку, и — чудо совершилось ради благочестивой женщины: вино и хлеб превратились в розы!

Святая Елизавета не выходила из головы Антона; как живая стояла она перед его усталым взором, возле его кровати, в жалкой каморке, в чужой земле. Он обнажил голову, взглянул в ее кроткие глаза, и — все вокруг него вдруг засияло, каморка наполнилась розами... Как они благоухали! К их аромату примешивался запах цветов яблони... Антон очутился под яблоней, осенявшей его своими ветвями. Она выросла из семечка, которое посадили когда-то в землю Антон с Молли.

Дерево роняло свои благоухающие листья на пылающий лоб Антона, и они освежали его, на его запекшиеся губы, и ему казалось, что он вкушает хлеб и вино, на его грудь, и ему вдруг стало так легко, так захотелось забыться сладким сном.

— Теперь я засну! — прошептал он. — Сон подкрепляет! Завтра я опять буду здоров, опять встану! Как хо-

рошо, как хорошо! Я вижу, как великолепно расцвела яблоня, выросшая из зернышка любви.

И он заснул.

На другой день — это был уже третий день, что лавка Антона не отпиралась — вьюга утихла, и соседи хватились старика. Его нашли мертвым в постели; в руках он крепко сжимал свой старый ночной колпак. Но его не положили с Антоном в гроб: в запасе был еще один, чистый, ненадеванный.



Куда же девались теперь все слезы Антона? Куда исчезли эти жемчужины? Они остались в его ночном колпаке, их ведь нельзя было отмыть никаким мылом, они остались в колпаке скрытыми и забытыми. Все мечты, все мысли тоже остались в колпаке старого холостяка. Не вздумай примерить такой колпак! Лоб твой разгорячится, пульс забьется ускоренно, и тебе приснятся сны, похожие на действительность. Это пришлось испытать первому же, кто надел колпак, а случилось это спустя целых пятьдесят лет! Надел его сам городской судья, человек женатый, отец одиннадцати детей, живший в свое удовольствие, и ему



сейчас же приснились во сне несчастная любовь, банкротство и страдания из-за куска хлеба!

— Фу, как этот колпак греет! — сказал он, срывая его с себя, и из колпака выкатилась жемчужина, потом другая; как они зазвенели и заблестели! — Это ревматизм! — решил голова. — И в ушах звенит, и из глаз искры сыплются!

А это были слезы, пролитые пятьдесят лет тому назад стариком Антоном из Эйзенаха.

И кому ни попадал этот колпак на голову, тому сейчас снились подобные же сны; он как будто сам переживал историю Антона. Выходила целая сказка, да и не одна. Но пусть рассказывают их другие, а мы одну уж рассказали и кончим ее словами: «Пусть никто не пожелает обзавестись колпаком старого холостяка!»





## КОЕ-ЧТО



**Х**очу добиться чего-нибудь! — сказал самый старший из пяти братьев. — Хочу приносить пользу! Пусть мое положение в свете будет самое скромное, — раз я делаю что-нибудь полезное, я уже не даром копчу небо. Займусь выделкою кирпичей. Они нужны всем, — значит, я сделаю кое-что.

— Но очень мало! — сказал второй. — Выделка кирпичей — дело самое пустое. Стоит ли браться за такой труд, который может выполнить и машина? Нет, вот сделаться каменщиком — это кое-что повыше; каменщиком я и буду. Это все-таки цех, а попав в цех, сделаешься гражданином, у тебя будет свое знамя и свой кабачок! Если же повезет счастье, я стану держать и подмастерьев. И меня будут звать мастером, хозяином, а жену мою хозяйскою! Вот это кое-что повыше!

— И все же не бог весть что! — сказал третий. — Каменщик никогда не может возвыситься до более почетного положения в обществе, чем простой ремесленник. Ты

можешь быть честнейшим человеком, но ты «мастер», значит — из «простых». Нет, я добиваюсь кое-чего повыше! Я хочу быть строителем, вступить в область искусства, достигнуть высших степеней в умственных сферах. Конечно, придется начать снизу, сознаюсь откровенно: придется поступить в ученики, носить фуражку, хотя я и привык к цилиндру, бегать за пивом и водкой, словом, быть на побегушках у простых подмастерьев, которые станут меня тыкать, — что и говорить, обидно! Но я буду думать, что все это один маскарад, маскарадные вольности, а завтра, то есть когда я сам выйду в подмастерья, я пойду своєю дорогой; до других мне и дела не будет! Я поступлю в академию, научусь рисовать, добьюсь звания архитектора — вот это уже кое-что повыше! Я могу сделаться «высокоблагородием», получить приставку к имени и спереди и сзади и буду строить, строить, как и другие до меня! Вот что называется занять настоящее положение в обществе!

— Ну, а мне ничего такого не нужно! — сказал четвертый. — Не хочу идти по проторенной дорожке, не хочу быть копией! Я гений и перещеголяю вас всех! Я изобрету новый стиль, новый вид построек, соответствующий климату и материалам страны, нашей национальности и современному развитию общества! А ко всему этому я прибавлю еще один этаж ради моей собственной гениальности!

— А если и климат и материалы никуда не годны? — сказал пятый. — Будет худо! Это ведь сильно влияет! Национальность тоже может развиваться в ущерб естественности, а желание идти в уровень с веком заставит тебя, пожалуй, забежать вперед, как это часто и случается с молодежью. Нет, как вижу, никто из вас не добьется ничего путного, сколько вы там ни воображайте о себе! Но делайте как знаете! Я не стану подражать вам, буду держаться в стороне и обсуждать ваши дела! В каждой вещи найдется изъянчик, вот я и стану выискивать его да рассуждать о нем! Вот это — кое-что повыше!

Так он и сделал, и люди говорили о нем: «В нем есть кое-что! Умная голова! Одно вот — ничего не делает!» Таким образом, и он добился кое-чего.

Вот вам и история; не велика она, а конца ей нет, пока держится мир!

Но разве из пяти братьев так и не вышло ничего особенного? Стоило тогда и заводить о них разговор! А вот послушайте, что вышло. Целая сказка!

Самый старший из братьев, тот, что выделявал кирпичи, скоро узнал, что из каждого готового кирпича высквакивает скиллинг, правда медный, но много медных скиллингов, сложенных вместе, дают уже серебряный далер, и стоит только постучать им в дверь к булочнику, мяснику, портному, к кому хочешь, — дверь сейчас настезь, и получай, что нужно. Так вот на что годились кирпичи; некоторые из них шли, конечно, и в брак, так как трескались или ломались пополам, но и эти пригодились.

Бедной бабушке Маргрете хотелось выстроить хижинку на самой плотине, на берегу моря. И вот старший брат отдал ей все обломки кирпичей, да еще несколько штук целых на придачу, — он был человек добрый, даром что простой рабочий. Старушка сама кое-как слепила себе из кирпичей лачужку; тесненька она вышла, единственное оконце смотрело криво, дверь была слишком низка, а соломенная крыша могла бы быть пригнана лучше, но все-таки в лачужке можно было укрыться от дождя и непогоды, а из оконца открывался вид на море, бившееся о плотину. Соленые брызги частенько окачивали жалкую лачугу, но она держалась крепко; умер и тот, кто пожертвовал для нее кирпичи, а она все стояла.

Второй брат, тот умел строить получше! Выйдя в подмастерья, он вскинул котомку на спину и запел песенку подмастерьев:

Конец ученью! В путь-дорогу  
Искать работы я пушусь!  
Здоров я, молод, слава богу,  
Работник знатный, побожусь!

Когда ж на родину вернуся,  
Женюсь на любушке своей!  
Сидеть без хлеба не боюся:  
Ведь мастер нужен всем, ей-ей!

Так он и сделал. Вернувшись в родной город и став мастером, он строил дом за домом и застроил целую улицу. Дома стояли крепко, а улица украшала собою город — и вот все эти дома выстроили, в свою очередь, домик

самому мастеру. Разве дома могут строить? А вот спроси у них; они-то не ответят, но люди скажут: «Конечно, это улица выстроила ему дом!» Домик был невелик, с глиняным полом, но, когда мастер плясал по этому полу с своею невестой, он заблестел, что твой паркет, а из каж-дого кирпичика в стене выскочил цветок, — не хуже дорогих обоев вышло!

Да, славный это был домик и счастливая парочка! Над домиком развеялся цеховой значок, а подмастерья и ученики кричали хозяину «ура!» Вот он и добился кое-чего, а потом умер — добился кое-чего еще!

Теперь очередь за архитектором, третьим братом, который был сначала мальчиком-учеником, ходил в фуражке и был на побегушках у подмастерьев. Побывав в академии, он в самом деле стал архитектором и высокооблагородем! Дома в улице выстроили домик второму брату, каменщику, а сама улица получила имя третьего брата, и самый красивый дом на улице принадлежал ему. Вот этот брат добился кое-чего, добился даже длинного титула и впереди и после имени. Дети его стали благородными, и вдова его, когда он умер, числилась благородною вдовой. Имя же его осталось на углу улицы и не сходило с уст народа. Да, этот добился кое-чего!

За ним шел четвертый брат, гений, который стремился создать нечто новое, особенное, да еще один этаж сверх того. Увы! Этот этаж обрушился, и гений сломал себе шею. Зато ему устроили пышные похороны с музыкой, знаменами и цветами красноречия в газетах и живыми — на мостовой. Над могилою же были произнесены три речи, одна длиннее другой. Чего же ему больше? Он ведь так желал заставить говорить о себе. Со временем ему поставили и памятник на могиле, правда, одноэтажный, но и это кое-что значит!

Итак, умер и четвертый брат, как первые три, но пятый, критик, пережил их всех. Оно так и следовало, чтобы последнее слово осталось за ним; это было для него важнее всего. Недаром он слыл «умною головой»! Но вот пробил и его час, он тоже умер и явился к вратам рая. А здесь подходят всегда попарно, вот и с ним рядом очутилась другая душа, которой тоже хотелось войти в рай. Это была как раз бабушка Маргрете с плотины.

— Эту душонку поставили со мною в пару, верно, ради контраста! — сказал резонер. — Ну, кто ты такая, бабушка? И тебе тоже хочется туда? — спросил он.

Старушка присела чуть не до земли, подумав, что с нею говорит сам святой Петр.

— Я бедная, безродная старуха Маргрете с плотины.

— Ну, а что же ты сделала, что совершила на земле?

— Ох, ничего я такого не сделала, за что бы мне отворили двери рая! Разве уж из милости впустят!

— Как же ты распростилась с жизнью? — спросил он, чтобы как-нибудь скоротать время; он уж соскучился стоять тут и ждать.

— Да и сама не знаю как! Больная я была, старая, ну, верно, и не вынесла мороза да стужи, как выползла за порог! Зима-то ведь нынче какая лютая была, натерпелась я всего! Ну да теперь все уж прошло! Денька два выдались таких тихих, но страсть морозных, как сами знаете, ваша милость. Все море, куда ни взглянешь, затянуло льдом, весь город и высыпал на лед, кататься на коньках и веселиться было. Играла музыка, затеяли пляс да угощение. Мне все это слышно было из моей каморки. Дело было к вечеру; месяц уж выглянул, но еще не вошел в полную силу. Я лежала в постели и глядела в окошко на море; вдруг вижу там, где небо сливается с морем, стоит какое-то диковинное белое облако с черной точкой в середине! Точка стала расти, и тогда я догадалась, что это за облако. Стара ведь я была и много видала на своем веку! Такое знамение не часто приходится видеть, но я все-таки видела его уже два раза и знала, что облако это предвещает страшную бурю и внезапный прилив, которые могут застигнуть всех этих бедных людей! А они-то так веселятся, пьют и пляшут на льду! Весь город ведь, все, и стар и млад, были там! Что, если никто из них не заметит и не узнает того, что видела и знала я?! От испуга я просто помолодела, ожила, смогла даже встать с постели и подойти к окну. Растворила я его и вижу, как люди бегают и прыгают по льду, вижу красивые флаги, слышу, как мальчишки кричат «ура», девушки и парни поют... Веселье так и кипело, но облако подымалось все выше и выше, черная точка все росла... Я крикнула, что было сил, но никто не услышал меня — далеко было! А скоро ударит буря, лед разобьется в куски, и все провалятся — спасения нет! Услышать меня они не могли,

дойти туда самой мне тоже было невмочь! Как же мне выманить их на берег? Тут-то и надоумил меня господь поджечь мою постель. Пусть лучше сгорит весь дом, чем погибнет столько людей такую ужасною смертью! Я подождала постель, солома ярко вспыхнула, а я — скорее за порог, да там и упала... Дальше отойти я уж не смогла. Огненный столб взвился вслед за мною из дверей и из окна, пламя охватило крышу!.. На льду увидели пожар и пустились со всех ног на помощь мне, бедной старухе, — они думали, что я сгорю заживо!.. Все до одного прибежали ко мне; я слышала, как они обступили меня, и в ту же минуту в воздухе засвистело, загремело, точно из пушки выпалило; лед взломало, но весь народ был уже на плотине, где меня обдавало дождем искр. Я спасла их всех. Только мне-то, верно, не под силу было перенести холод и весь этот страх, вот я и очутилась тут, у ворот рая. Говорят, они открываются даже для таких бедняг, как я! На земле у меня нет больше крова, но, конечно, это еще не дает мне права войти в рай!

Тут врата райские открылись, и ангел позвал старуху. Входя туда, она обронила соломинку из своей постели, которую подожгла, чтобы спасти столько людей, и соломинка превратилась в чисто золотую, стала расти и принимать самые причудливые, красивые очертания.

— Вот что принесла с собою бедная старуха! — сказал ангел. — А ты что принес? Да, да, знаю, ты не ударил пальцем о палец во всю свою жизнь, не сделал даже ни единого кирпичика. Ах, если бы ты мог вернуться на землю и принести оттуда хоть такой кирпич! Кирпич твоей работы навряд ли годился бы куда-нибудь, но все же он показывал бы хоть доброе желание сделать кое-что. Но возврата нет, и я ничего не могу сделать для тебя!

Тогда вступилась за него бедная старуха с плотины:

— Брат его сделал и подарил мне много кирпичей и обломков; из них я слепила свою убогую лачужку, и это уж было огромным счастьем для меня, бедняги! Пусть же все эти обломки и кирпичи сочтутся ему хоть за один кирпич! Его брат оказал мне милость, теперь этот бедняга сам нуждается в милости, а тут ведь царство высшей милости!

— Брат твой, которого ты считал самым ничтожным, — сказал ангел, — честное ремесло которого находил уни-  
зительным, вносит теперь за тебя лепту в небесную со-  
кровищницу. Тебя не отгонят прочь, тебе позволят стоять  
тут, за дверями, и придумывать, как бы поправить твою  
земную жизнь, но в рай тебя не впустят, пока ты воисти-  
ну не совершишь кое-чего.

«Ну, я бы сказал все это куда лучше!» — подумал  
резонер, но не высказал этого вслух, — и это уже было  
с его стороны кое-что.

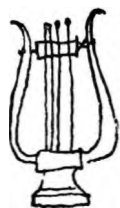






## ПОСЛЕДНИЙ СОН СТАРОГО ДУБА

(Рождественская сказка)



**В** лесу, на крутом берегу моря, рос старый-старый дуб; ему было ни больше ни меньше, как триста шестьдесят пять лет, но это ведь для дерева все равно, что для нас, людей, столько же суток. Мы бодрствуем днем, а спим и видим сны ночью, дерево же бодрствует три времени года и спит только зимою. Зима — время его сна, ночь, сменяющая длинный день: весну, лето и осень.

В теплые летние дни около дуба кружились и плясали мухи-поденки. Каждая жила, порхала и веселилась, а устав, опускалась в сладкой истоме отдохнуть на один из больших свежих листьев дуба. И дерево всякий раз говорило крошечному созданию:

— Бедняжка! Вся твоя жизнь — один день! Как коротко, как печально твое существование!

— Печально?! — отвечала муха. — Что ты говоришь? Гляди, как светло, тепло и чудесно! Мне так весело!

— Да ведь всего один день, и — конец!

— Конец! — говорила муха. — Кому конец? И тебе разве тоже?

— Нет, я-то проживу, может быть, тысячи твоих дней; мой день равен ведь трем четвертям года! Ты даже и представить себе не можешь, как это долго!

— Нет, я и не понимаю тебя вовсе! Ты живешь тысячи моих дней, а я живу тысячи мгновений, и каждое несет мне с собою радость и веселье!.. Ну, а с твоею смертью придет конец и всему этому великолепию, всему свету?

— Нет! — отвечало дерево. — Свет будет существовать куда дольше, так бесконечно долго, что я и представить себе не могу!

— Ну, так нам с тобою дана одинаково долгая жизнь, только мы считаем по-разному!

И муха-поденка плясала и кружилась в воздухе, радуясь своим нежным, изящным, прозрачно-бархатистым крылышкам, радуясь теплему воздуху, напоенному запахом клевера, шиповника, бузины и каприфолий; а как пахли дикий яминник, примулы и душистая мята! Воздух был такой душистый, что муха словно пьянела от него слегка. Что за длинный, чудный был день, полный радости и сладких ощущений! Когда же солнце заходило, мушка чувствовала такую приятную усталость, крылья отказывались ее носить, и она тихо опускалась на мягкую волнующую траву, кивала головой и сладко засыпала — навеки.

— Бедняжка! — говорил дуб. — Чересчур уж короткая у них жизнь!

И каждый летний день повторялась та же история: та же пляска, те же речи, вопросы и ответы; мухи-поденки жили и умирали у старого дуба, и все они были веселы и счастливы. Дерево бодрствовало весеннее утро, летний день и осенний вечер; теперь дело шло к ночи, ко сну — приближалась зима.

Вот запели бури: «Покойной ночи, покойной ночи! Листья опали, листья опали! Их мы оборвали, их мы оборвали! Усни теперь, усни! Мы тебя убаюкаем, мы тебя укачаем! Старые ветви трещат от удовольствия! Спи же, усни! Скоро настанет твоя триста шестьдесят пятая ночь! Для нас же ты только годовалый ребенок! Спи, усни! Облака посыпят тебя снегом, накинут на твои ноги мягкое, теплое покрывало! Спи, усни!»

И дерево сбросило с себя свою зеленую одежду, собираясь на покой, готовясь уснуть, провести в грезах всю долгую зиму, видеть во сне картины пережитого, как видят их во сне люди.

И дуб когда-то был крошкой; колыбелью ему служил маленький желудь. По человеческому счету он переживал теперь четвертое столетие. Больше, великолепнее его не было дерева во всем лесу! Вершина его высоко возносила над всеми деревьями и была видна с моря издалека, служила приметой для моряков. А дуб и не знал о том, сколько глаз искало его! В ветвях дуба гнездились лесные голуби, куковала кукушка, а осенью, когда листья его казались выкованными из меди, на ветви присаживались и другие перелетные птицы, отдохнуть перед тем, как пуститься через море. Но вот настала зима, дерево стояло теперь голое, без листьев и было видно, какие у него кривые, сучковатые ветви; вороны и галки садились на них и толковали о тяжелых временах, о том, как трудно будет зимою добывать прокорм!

В ночь под рождество дубу приснился самый чудный сон из всех, виденных им в жизни. Послушаем же!

Дерево как будто чувствовало, что время праздничное, слышало звон колоколов, и ему грезился теплый, тихий летний день. Оно пышно раскинуло свою зеленую мощную верхушку; солнечные зайчики бегали между листьями и ветвями; воздух был напоен ароматом трав и цветов; пестрые бабочки гонялись друг за другом; мухи-поденки плясали, как будто все только существовало для их пляски и веселья. Все, что пережило и видело вокруг себя дерево за всю свою долгую жизнь, проходило теперь перед ним в торжественном шествии. Оно видело, как через лес проезжали верхом благородные рыцари и дамы; на шляпах их развевались перья; у каждого всадника, у каждой всадницы сидел на руке сокол; звучали охотничьи рога, лаяли собаки. Видело дерево и неприятельские войска в блестящих латах и пестрых одеждах; вооруженные копьями и алебардами воины разбивали и опять снимали палатки; ярко пылали сторожевые огни; воины располагались под деревом на ночлег, пели и отдыхали в тени его ветвей. Видело оно и влюбленных, встречавшихся около него при свете луны и вырезывавших свои инициалы на его серо-зеленой коре. На ветвях его как будто опять висели цитры и золотые арфы, которые раз-

вешивали, бывало, веселые странствующие подмастерья, и ветер опять играл на них нежные мелодии. Лесные голуби ворковали, точно хотели рассказать, что чувствует могучее дерево, а кукушка куковала, сколько еще лет оставалось ему жить.

И вот словно новый, могучий поток жизни заструился по всем, даже мельчайшим корешкам, по всем ветвям и листьям дерева. Оно потянулось и почувствовало всеми своими корнями, что и внизу, под землею, струится жизнь и тепло. Оно почувствовало прилив новых сил, почувствовало, что растет все выше и выше. Ствол быстро, безостановочно тянулся вверх, вершина его становилась все раскидистее и кудрявее... Дерево росло, росла в нем и радостная жажда вырасти еще выше, подняться к самому горячему солнцу!

Вершина дуба уже поднялась выше облаков, которые, как стаи перелетных птиц или белых лебедей, неслись внизу.

Дерево видело каждым листком своим, словно в каждом были глаза. Оно видело и звезды, хотя стоял ясный день. Какие они были большие, блестящие! Каждая светила, точно пара ясных, кротких очей. И дубу вспомнились другие знакомые милые глаза: глаза детей и глаза влюбленных, встречавшихся под его сенью в ясные, лунные ночи.

Дуб переживал чудные, блаженные мгновения. И все-таки ему недоставало его лесных друзей! Ему так хотелось, чтобы и все другие деревья, все кусты, растения и цветы поднялись так же высоко, ощутили бы ту же радость, видели тот же блеск, что и он! Могучий дуб даже и в эти минуты блаженного сна не был вполне счастлив: ему хотелось разделить свое счастье со всеми — и малыми и большими; он желал этого так страстно, так горячо, каждую свою ветвь, каждым листком, как желают иногда чего-нибудь люди всеми фибрами своей души!

Вершина дуба качалась в порыве тоскливого томления, смотрела вниз, словно ища чего-то, и вдруг до него явственно донеслось благоухание дикого яминника, потом сильный аромат каприфолий и фиалок; ему показалось даже, что он слышит кукование кукушки!

И вот сквозь облака проглянули зеленые верхушки леса! Дуб увидал под собою другие деревья; они тоже росли и тянулись к небу; кусты и травы тоже. Некоторые

даже вырывали из земли свои корни, чтобы лететь к облакам быстрее. Впереди всех была береза; гибкий ствол ее, извилистый, как зигзаги молнии, тянулся все выше и выше, ветви развевались, как зеленые флаги. Все лесные растения, даже коричневые султаны тростника, поднимались к облакам; птицы с песнями летели за ними, а на стебельке травки, развевавшемся по ветру, как длинная зеленая лента, сидел кузнечик и наигрывал крылышком на своей тонкой ножке. Майские жуки гудели, пчелы жужжали, каждая птица заливалась песенкой; в небесах все пело и ликовало!

— А где же красный водяной цветок? Пусть и он будет с нами! — сказал дуб. — И голубой колокольчик и малютка ромашка! — Дуб всех хотел видеть возле себя.

— Мы тут, мы тут! — зазвучало со всех сторон.

— А прошлогодний дикий яминник? А чудный ковер ландышей, что расстилался в лесу три года тому назад? А прелестная дикая яблонька и все другие растения, украшавшие лес в течение этих многих, многих лет? Ах, если бы и они все дожили до этого мгновения, были бы вместе с нами!

— Мы тут, мы тут! — зазвучало в вышине, как будто отвечавшие были уже впереди.

— Нет, до чего же хорошо, просто не верится! — ликовал старый дуб. — Они все тут, со мной, и малые и большие! Ни один не забыт! Возможно ли такое блаженство?

— В небесах все возможно! — прозвучало в ответ.

И старый дуб, не переставший расти, почувствовал вдруг, что совсем отделяется от земли.

— Вот это лучше всего! — сказал он. — Теперь я совсем свободен! Все узы порвались! Я могу взлететь к самому источнику света и блеска! И все мои дорогие друзья со мною! И малые и большие, все!

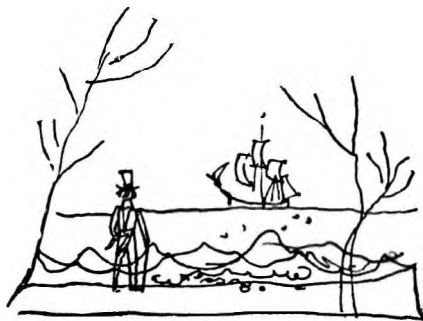
— Все!

Пока дуб грезил, над землей и морем разразилась в рождественскую ночь страшная буря. Мощные волны морские дико бились о берег, дерево трещало, качалось и наконец было вырвано с корнями в ту самую минуту, когда ему снилось, что оно отделяется от земли. Дуб рухнул. Триста шестьдесят пять лет минули для него, как день для мухи-поденки.

В рождественское утро, на рассвете буря утихла; слышался праздничный звон церковных колоколов; из всех труб, даже из трубы самого бедного домика, вился дымок, голубой — словно жертвенный фимиам в праздник друидов. Море успокоилось, и на большом корабле, выдержавшем ночную бурю, взвились флаги.

— А дерева-то нет больше! Ночная буря сокрушила наш могучий дуб, нашу приметку на берегу! — сказали моряки. — Кто нам заменит его? Никто!

Вот какую надгробную речь, кратко, но сказанную от чистого сердца, почтили моряки старый дуб, поверженный бурей на снежный ковер. Донесся до дерева и старинный псалом, пропетый моряками. Они пели о рождестве, и звуки псалма возносились высоко-высоко к небу, как возносился к нему в своем последнем сне и старый дуб.





## ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ



**М**ного сказок рассказывают аисты своим птенцам — все про болота да про трясины. Сказки, конечно, приравливаются к возрасту и понятиям птенцов. Малышам довольно сказать «крибле, крабле, плурремурре», — для них и это куда как забавно; но птенцы постарше требуют от сказки кое-чего побольше, по крайней мере того, чтобы в ней упоминалось об их собственной семье. Одну из самых длинных и старых сказок, известных у аистов, знаем и мы все. В ней рассказывается о Моисее, которого мать пустила в корзинке по волнам Нила, а дочь фараона нашла и воспитала. Впоследствии он стал великим человеком, но где похоронен — никому неизвестно. Так оно, впрочем, сплошь да рядом бывает.

Другой сказки еще никто не знает, может быть, именно потому, что она родилась у нас, здесь. Вот уже с тысячу лет, как она переходит из уст в уста, от одной аисти-мамаши к другой, и каждая аистиха рассказывает ее все лучше и лучше, а мы теперь расскажем лучше их всех!

Первая пара аистов, пустившая эту сказку в ход и сама принимавшая участие в описываемых в ней событиях, всегда проводила лето на даче в Дании, близ Дикого болота, в Венсусселе, то есть в округе Йёринг, на севере Ютландии — если уж говорить точно. Гнездо аистов находилось на крыше бревенчатого дома викинга. В той местности и до сих пор еще есть огромное болото; о нем можно даже прочесть в официальном описании округа. Местность эта — говорится в нем — была некогда морским дном, но потом дно поднялось; теперь это несколько квадратных миль топких лугов, трясин и торфяных болот, поросших морошкой да жалким кустарником и деревцами. Над всей местностью почти постоянно клубится густой туман. Лет семь — десять тому назад тут еще водились волки — Дикое болото вполне заслуживало свое прозвище! Представьте же себе, что было тут тысячу лет тому назад! Конечно, и в те времена многое выглядело так же, как и теперь: зеленый тростник с темно-лиловыми султанчиками был таким же высоким, кора на березках так же белела, а мелкие их листочки так же трепетали; что же до живности, встречавшейся здесь, так мухи и тогда щеголяли в прозрачных платьях того же фасона, любимыми цветами аистов были, как и теперь, белый с черным, чулки они носили такие же красные, только у людей в те времена моды были другие. Но каждый человек, кто бы он ни был, раб или охотник, мог проваливаться в трясину и тысячу лет тому назад, так же как теперь: ведь стоит только ступить на зыбкую почву ногой — и конец, живо очутишься во владениях болотного царя! Его можно было бы назвать и трясиным царем, но болотный царь звучит как-то лучше. К тому же и аисты его так величали. О правлении болотного царя мало что и кому известно, да оно и лучше, пожалуй.

Недалеко от болота, над самым Лим-фиордом, возвышался бревенчатый замок викинга, в три этажа, с башнями и каменными подвалами. На крыше его свили себе гнездо аисты. Аистиха сидела на яйцах в полной уверенности, что сидит не напрасно!

Раз вечером сам аист где-то замешкался и вернулся в гнездо совсем взъерошенный и взволнованный.

— Что я расскажу тебе! Один ужас! — сказал он аистихе.



— Ах, перестань, пожалуйста! — ответила она. — Не забывай, что я сижу на яйцах и могу испугаться, а это отразится на них!

— Нет, ты послушай! Она таки явилась сюда, дочка-то нашего египетского хозяина! Не побоялась такого путешествия! А теперь и поминай ее как звали!

— Что? Принцесса, египетская принцесса? Да она ведь из рода фэй! Ну, говори же! Ты знаешь, как вредно заставлять меня ждать, когда я сижу на яйцах!

— Видишь, она, значит, поверила докторам, которые сказали, что болотный цветок исцелит ее больного отца, — помнишь, ты сама рассказывала мне? — и прилетела сюда, в одежде из перьев, вместе с двумя другими принцессами. Эти каждый год прилетают на север купаться, чтобы помолодеть! Ну, прилететь-то она прилетела, да и тю-тю!

— Ах, как ты тянешь! — сказала аистиха. — Ведь яйца могут остыть! Мне вредно так волноваться!

— Я видел все собственными глазами! — продолжал аист. — Сегодня вечером хожу это я в тростинке, где трясина понадежнее, смотрю, летят три лебедки. Но видна птица по полету! Я сейчас же сказал себе: гляди в оба, это не настоящие лебедки, они только нарядились в перья! Ты ведь такая же чуткая, мать! Тоже сразу видишь, в чем дело!

— Это верно! — сказала аистиха. — Ну, рассказывай же про принцессу, мне уж надоели твои перья!

— Посреди болота, ты знаешь, есть что-то вроде небольшого озера. Приподымись чуточку, и ты отсюда увидишь краешек его! Там-то, на поросшей тростником трясине, лежал большой ольховый пенёк. Лебедки уселись на него, захлопали крыльями и огляделись кругом; потом одна из них сбросила с себя лебединые перья, и я узнал нашу египетскую принцессу. Платья на ней никакого не было, но длинные черные волосы одели ее, как плащом. Я слышал, как она просила подруг присмотреть за ее перьями, пока она не вынырнет с цветком, который померещился ей под водою. Те пообещали, схватили ее оперение в клювы и взвились с ним в воздух. «Эге! Куда же это они?» — подумал я. Должно быть, и она спросила их о том же. Ответ был яснее ясного. Они взвились в воздух и крикнули ей сверху: «Ныряй, ныряй! Не летать тебе больше лебедкой! Не видать родины! Сиди в боло-

те! — и расщипали перья в клочки! Пушинки так и за-порхали в воздухе, словно снежинки, а скверных принцесс и след простыл!

— Какой ужас! — сказала аистиха. — Сил нет слушать!.. Ну, а что же дальше-то?

— Принцесса принялась плакать и убиваться! Слезы так и бежали ручьями на ольховый пенек, и вдруг он зашевелился! Это был сам болотный царь — тот, что живет в трясине. Я видел, как пенек повернулся, глядь — уж это не пенек! Он протянул свои длинные, покрытые тиной ветви-руки к принцессе. Бедняжка перепугалась, прыгнула и пустилась бежать по трясине. Да где! Мне не сделать по ней двух шагов, не то что ей! Она сейчас же провалилась вниз, а за ней и болотный царь. Он-то и втянул ее туда! Только пузыри пошли по воде, и — все! Теперь принцесса похоронена в болоте. Не вернуться ей с цветом на родину. Ах, ты бы не вынесла такого зрелища, жenuшка!

— Тебе бы и не следовало рассказывать мне такие истории! Ведь это может повлиять на яйца!.. А принцесса выпутается из беды! Ее-то уж выручат! Вот случись что-нибудь такое со мной, с тобой или с кем-нибудь из наших, тогда бы — пиши пропало!

— Я все-таки буду настороже! — сказал аист и так и сделал.

Прошло много времени.

Вдруг в один прекрасный день аист увидел, что со дна болота тянется кверху длинный зеленый стебелек; потом на поверхности воды показался листочек; он рос, становился все шире и шире. Затем выглянул из воды бутон, и, когда аист пролетел над болотом, он под лучами солнца распустился, и аист увидел в чашечке цветка крошечную девочку, словно сейчас только вынутую из ванночки. Девочка была так похожа на египетскую принцессу, что аист сначала подумал, будто это принцесса, которая опять стала маленькой, но, рассудив хорошенько, решил, что, вернее, это дочка египетской принцессы и болотного царя. Вот почему она и лежит в кувшинке.

«Нельзя же ей тут оставаться! — подумал аист. — А в нашем гнезде нас и без того много! Постой, придумал! У жены викинга нет детей, а она часто говорила, что ей хочется иметь малютку... Меня все равно обвиняют, что

я приношу в дом ребятишек, так вот я и взаправду при-  
тащу эту девочку жене викинга, то-то обрадуется!»

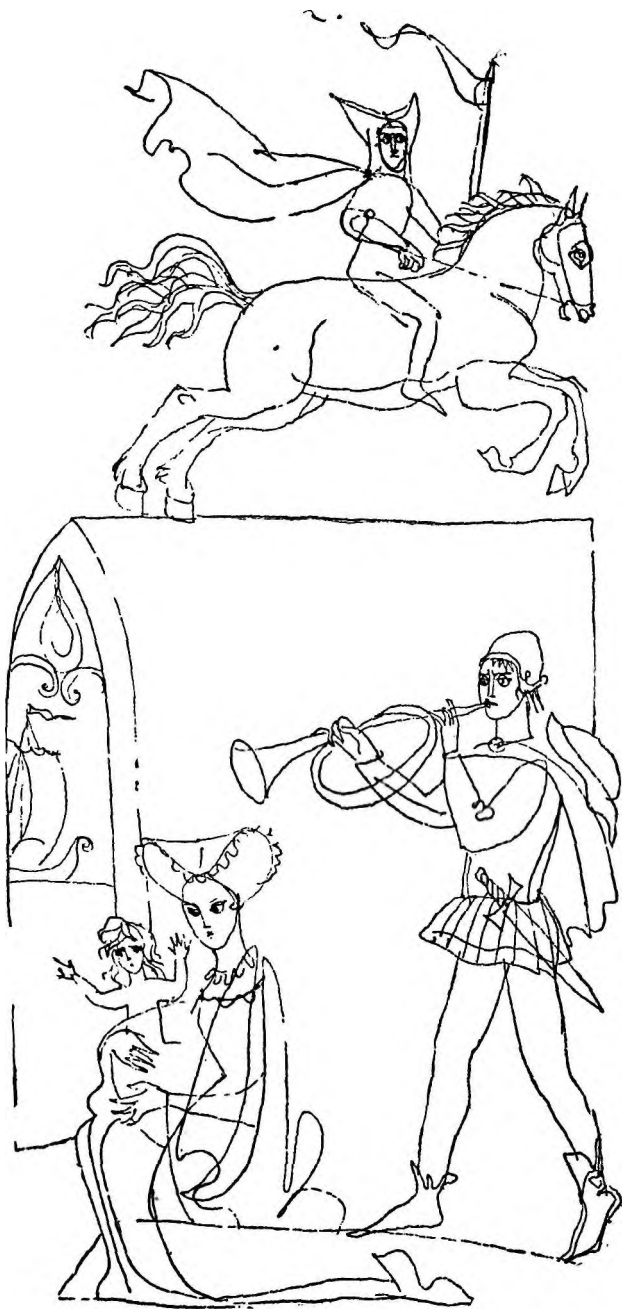
И аист взял малютку, полетел к дому викинга, про-  
ткнул в оконном пузыре клювом отверстие, положил ре-  
бенка возле жены викинга, а потом вернулся в гнездо и  
рассказал обо всем жене. Птенцы тоже слушали — они  
уж подросли.

— Вот видишь, принцесса-то не умерла — прислала  
сюда свою дочку, а я ее пристроил! — закончил свой рас-  
сказ аист.

— А что я твердила тебе с первого же раза? — отве-  
чала аистиха. — Теперь, пожалуйста, подумай и о своих  
детях! Отлет-то ведь на носу! У меня даже под крыльями  
чесаться начинает. Кукушки и соловьи уже улетели, а пе-  
репелки поговаривают, что скоро начнет дуть попутный  
ветер. Птенцы наши постоят за себя на маневрах, уж я-то  
их знаю!

И обрадовалась же супруга викинга, найдя утром  
у свой груди крошечную прелестную девочку! Она приня-  
лась целовать и ласкать малютку, но та стала кричать и  
отбиваться ручонками и ножонками; ласки, видимо, были  
ей не по вкусу. Наплакавшись и накричавшись, она нако-  
нец уснула, и тогда нельзя было не залюбоваться пре-  
лестным ребенком! Жена викинга не помнила себя от ра-  
дости; на душе у нее стало так легко и весело, — ей при-  
шло на ум, что и супруг ее с дружиной явится так же  
нежданно, как малютка. И вот она поставила на ноги  
весь дом, чтобы успеть приготовиться к приему желанных  
гостей. По стенам развешали ковры собственной ее ра-  
боты и работы ее служанок, затканые изображениями  
тогдашних богов Одина, Тора и Фрейи. Рабы чистили  
старые щиты и тоже украшали ими стены; по скамьям  
были разложены мягкие подушки, а на очаг, находив-  
шийся посреди главного покоя, навалили груды сухих  
поленев, чтобы сейчас же можно было развести огонь.  
Под вечер жена викинга так устала от всех этих хлопот,  
что уснула как убитая.

Проснувшись рано утром, еще до восхода солнца, она  
страшно перепугалась: девочка ее исчезла! Она вскочила,  
засветила лучину и осмотрелась: в ногах постели лежала  
не малютка, а большая отвратительная жаба. Жена ви-  
кинга в порыве отвращения схватила тяжелый железный  
дверной болт и хотела убить жабу, но та устремила на нее



такой странный, скорбный взгляд, что она не решилась ее ударить. Еще раз осмотрелась она кругом; жаба испустила тихий стон; тогда жена викинга отскочила от постели к отверстию, заменявшему окно, и распахнула деревянную ставню. В эту минуту как раз взошло солнце; лучи его упали на постель и на жабу... В то же мгновение широкий рот чудовища сузился, стал маленьким, хорошеньким ротиком, все тело вытянулось и преобразилось — перед женой викинга очутилась ее красавица дочка, жабы же как не бывало.

— Что это? — сказала жена викинга. — Не злой ли сон приснился мне? Ведь тут лежит мое собственное дитя, мой эльф! — И она прижала девочку к сердцу, осыпая поцелуями, но та кусалась и вырывалась, как дикий котенок.

Не в этот день и не на другой вернулся сам викинг, хотя и был уже на пути домой. Задержал его встречный ветер, который теперь помогал аистам, а им надо было лететь на юг. Да, ветер, попутный одному, может быть противным другому!

Прошло несколько дней, и жена викинга поняла, что над ребенком тяготели злые чары. Днем девочка была прелестна, как эльф, но отличалась злым, необузданным нравом, а ночью становилась отвратительной жабой, но с кротким и грустным взглядом. В девочке как бы соединялись две натуры: днем ребенок, подкинутый жене викинга аистом, наружностью был весь в мать, египетскую принцессу, а характером в отца; ночью же, наоборот, внешностью был похож на последнего, а в глазах светились душа и сердце матери. Кто мог снять с ребенка злые чары? Жена викинга и горевала и боялась, и все-таки привязывалась к бедному созданию все больше и больше. Она решила ничего не говорить о колдовстве мужу: тот, по тогдашнему обычаю, велел бы выбросить бедного ребенка на проезжую дорогу — пусть берет кто хочет. А жене викинга жаль было девочку, и она хотела устроить так, чтобы супруг ее видел ребенка только днем.

Однажды утром над замком викинга раздалось шумное хлопанье крыльев, — на крыше отдыхали ночью, после дневных маневров, сотни пар аистов, а теперь все они взлетели на воздух, чтобы пуститься в дальний путь.

— Все мужа готовы! — прокричали они. — Жены с детьми тоже!

— Как нам легко! — говорили молодые аисты. — Так и щекочет у нас внутри, будто нас набили живыми лягушками! Мы отправляемся за границу! Вот счастье-то!

— Держитесь стаей! — говорили им отцы и матери. — Да не болтайте так много — вредно для груди!

И все полетели.

В ту же минуту над степью прокатился звук рога: викинг с дружиной пристал к берегу. Они вернулись с богатою добычей от берегов Галлии, где, как и в Британии, народ в ужасе молился: «Боже, храни нас от диких норманнов!»

Вот пошло веселье в замке викинга! В большой покой вкатили целую бочку меда; запылал костер, закололи лошадей, готовился пир на весь мир. Главный жрец окропил теплою лошадиною кровью всех рабов. Сухие дрова затрещали, дым столбом повалил к потолку, с балок сыпалась на пирующих мелкая сажа, но к этому им было не привыкать стать. Гостей богато одарили; раздоры, вероломство — все было забыто; мед лился рекою; подвыпившие гости швыряли друг в друга обглоданными костями в знак хорошего расположения духа. Скальд, нечто вроде нашего певца и музыканта, но в то же время и воин, который сам участвовал в походе и потому знал, о чем поет, пропел песню об одержанных ими в битвах славных победах. Каждый стих сопровождался припевом: «Имущество, родные, друзья, сам человек — все минет, все умрет; не умирает одно славное имя!» Тут все принимались бить в щиты и стучать ножами или обглоданными костями по столу; стон стоял в воздухе. Жена викинга сидела на почетном месте, разодетая, в шелковом платье; на руках ее красовались золотые запястья, на шее — крупные янтари. Скальд не забывал прославить и ее, воспел и сокровище, которое она только что подарила своему супругу. Последний был в восторге от прелестного ребенка; он видел девочку только днем во всей ее красе. Дикость ее нрава тоже была ему по душе. Из нее выйдет, сказал он, смелая воительница, которая сумеет постоять за себя. Она и глазом не моргнет, если опытная рука одним взмахом острого меча сбросит у нее в шутку густую бровь!

Бочка с медом опустела, вкатили новую, — в те времена люди умели пить! Правда, и тогда уже была известна поговорка: «Скотина знает, когда ей пора оставить

пастбище и вернуться домой, а неразумный человек не знает своей меры!» Знать-то каждый знал, но ведь знать — одно, а применять знание к делу — другое. Знали все и другую поговорку: «И дорогой гость надоест, если засидится не в меру», и все-таки сидели себе да сидели: мясо да мед — славные вещи! Веселье так и кипело! Ночью рабы, растянувшись на теплой золе, раскапывали жирную сажу и облизывали пальцы. То-то хорошее было времечко!

В этом же году викинг еще раз отправился в поход, хотя и начались уже осенние бури. Но он собирался нагрянуть с дружиной на берега Британии, а туда ведь было рукой подать: «Только через море махнуть», — сказал он. Супруга его опять осталась дома одна с малюткою, и скоро безобразная жаба с кроткими глазами, испускавшая такие глубокие вздохи, стала ей почти милее дикой красавицы, отвечавшей на ласки царапинами и укусами.

Седой осенний туман, «беззубый дед», как его называют, все-таки обгладывающий листву, окутал лес и степь. Бесперые птички-снежинки густо запорхали в воздухе; зима глядела во двор. Воробьи завладели гнездами аистов и судили да рядили о бывших владельцах. А где же были сами владельцы, где был наш аист со своею аистихой и птенцами?

Аисты были в Египте, где в это время солнышко светило и грело, как у нас летом. Тамаринды и акации стояли все в цвету; на куполах храмов сверкали полумесяцы; стройные минареты были облеплены аистами, отдыхавшими после длинного перелета. Гнезда их лепились одно возле другого на величественных колоннах и полуразрушившихся арках заброшенных храмов. Финиковые пальмы высоко подымали свои верхушки, похожие на зонтики. Темными силуэтами рисовались сероватые пирамиды в прозрачном голубом воздухе пустыни, где щеголяли быстротою своих ног страусы, а лев посматривал большими умными глазами на мраморного сфинкса, наполовину погребенного в песке. Нил снова вошел в берега, которые так и кишели лягушками, а уж приятнее этого зрелища для аистов и быть не могло. Молодые аисты даже глазам своим верить не хотели — уж больно хорошо было!

— Да, вот как тут хорошо, и всегда так бывает! — сказала аистиха, и у молодых аистов даже в брюшке защекотало.

— А больше мы уж ничего тут не увидим? — спрашивали они. — Мы разве не отправимся туда, вглубь, в самую глубь страны?

— Там нечего смотреть! — отвечала аистиха. — За этими благословенными берегами — лишь дремучий лес, где деревья растут чуть не друг на друге и опутаны ползучими растениями. Одни толстоногие слоны могут пролагать там себе дорогу. Змеи же там чересчур велики, а ящерицы — прытки. Если же вздумаете пробраться в пустыню, вам засыплет глаза песком, и это еще будет хорошо, а то прямо попадете в песочный вихрь! Нет, здесь куда лучше! Тут и лягушек и саранчи вдоволь! Я останусь тут, и вы со мною!

Они и остались. Родители сидели в гнездах на стройных минаретах, отдыхали, охорашивались, разглаживали себе перья и обтирали клювы о красные чулки. Покончив со своим туалетом, они вытягивали шеи, величественно раскланивались и гордо подымали голову с высоким лбом, покрытую тонкими глянцевитыми перьями; умные карие глаза их так и сверкали. Молоденькие барышни-аистихи степенно прохаживались в сочном тростнике, поглядывали на молодых аистов, знакомились и чуть не на каждом шагу глотали по лягушке, а иногда забирали в клюв змейку и ходили да помахивали ею, — это очень к ним шло, думали они, а уж вкусно-то как было!.. Молодые аисты заводили ссоры и раздоры, били друг друга крыльями, щипали клювами — даже до крови! Потом, глядишь, то тот, то другой из них становился женихом, а барышни одна за другою — невестами; все они для этого только ведь и жили. Молодые парочки принимались вить себе гнезда, и тут опять не обходилось без ссор и драк — в жарких странах все становятся такими горячими, — ну, а вообще-то жизнь текла очень приятно, и старики жили да радовались на молодых: молодежи все к лицу! Изо дня в день светило солнышко, в еде недостатка не было, — есть не хочу, живи да радуйся, вот и вся забота.

Но в роскошном дворце египетского хозяина, как звали его аисты, радостного было мало.

Могущественный владыка лежал в огромном покое с расписными стенами, похожими на лепестки тюльпана;



руки, ноги его не слушались, он высох, как мумия. Родственники и слуги окружали его ложе. Мертвым его еще назвать было нельзя, но и живым тоже. Надежда на исцеление с помощью болотного цветка, за которым полетела на далекий север та, что любила его больше всех, была теперь потеряна. Не дожидаться владыке своей юной красавицы дочери! «Она погибла!» — сказали две вернувшиеся на родину принцессы-лебедки. Они даже сочинили о гибели своей подруги целую историю.

— Мы все три летели по воздуху, как вдруг заметил нас охотник и пустил стрелу. Она попала в нашу подружку, и бедная медленно, с прощальной лебединой песнью, опустилась на воды лесного озера. Там, на берегу, под душистой плакучею березой, мы и схоронили ее. Но мы отомстили за ее смерть: привязали к хвостам ласточек, живших под крышей избушки охотника, пучки зажженной соломы, — избушка сгорела, а с нею и сам хозяин ее. Зарево пожара осветило противоположный берег озера, где росла плакучая березка, под которой покоилась в земле наша подруга. Да, не видать ей больше родимой земли!

И обе заплакали. Аист, услышав их речи, зашелкал от гнева клювом.

— Ложь, обман! — закричал он. — Ох, так бы и вошил им в грудь свой клюв!

— Да и сломал бы его! — заметила аистиха. — Хорошо бы ты был тогда! Думай-ка лучше о себе самом да о своем семействе, а все остальное побоку!

— Я все-таки хочу завтра усесться на краю открытого купола того покоя, где соберутся все ученые и мудрецы совещаться о больном. Может быть, они и доберутся до истины!

Ученые и мудрецы собрались и завели длинные разговоры, из которых аист не понял ни слова; да не много толку вышло из них и для самого больного, не говоря уже о его дочери. Но послушать речи ученых нам все же не мешает, — мало ли что приходится слушать!

Вернее, впрочем, будет послушать и узнать кое-что из предыдущего, тогда мы поближе познакомимся со всею историей; во всяком случае, узнаем из нее не меньше аиста.

«Любовь — родоначальница жизни! Высшая любовь рождает и высшую жизнь! Лишь благодаря любви, может больной возродиться к жизни!» Вот что изрекли

мудрецы, когда дело шло об исцелении больного владыки; изречение было необыкновенно мудро и хорошо изложено — по уверению самих мудрецов.

— Мысль недурна! — сказал тогда же аист аистихе.

— А я что-то не возьму ее в толк! — ответила та. — И, уж конечно, это не моя вина, а ее! А, впрочем, меня все это мало касается; у меня есть о чем подумать и без того!

Потом ученые принялись толковать о различных видах любви: любовь влюбленных отличается ведь от любви, которую чувствуют друг к другу родители и дети, или от любви растения к свету — например, солнечный луч целует тину, и из нее выходит росток. Речи их отличались такою глубиной и ученостью, что аист был не в силах даже следить за ними, не то что пересказать их аистихе. Он совсем призадумался, прикрыл глаза и простоял так на одной ноге весь день. Ученость была ему не по плечу.

Зато аист отлично понял, что болезнь владыки была для всей страны и народа большим несчастьем, а исцеление его, напротив, было бы огромным счастьем, — об этом толковал весь народ, все — и бедные и богатые. «Но где же растет целебный цветок?» — спрашивали все друг у друга, рылись в ученых рукописях, старались прочесть о том по звездам, спрашивали у всех четырех ветров — словом, добивались нужных сведений всевозможными путями, но все напрасно. Тут-то ученые и мудрецы, как сказано, и изрекли: «Любовь — родоначальница жизни; она же возродит к жизни и владыку!» В этом был глубокий смысл, и хоть сами они его до конца не понимали, но все-таки повторили его еще раз и даже написали вместо рецепта: «Любовь — родоначальница жизни!» Но как же приготовить по этому рецепту лекарство? Да, вот тут-то все и стали в тупик. В конце концов все единогласно решили, что помощи должно ожидать от молодой принцессы, так горячо, так искренно любившей отца. Затем додумались и до того, как следовало поступить принцессе. И вот ровно год тому назад, ночью, когда серп новорожденной луны уже скрылся, принцесса отправилась в пустыню к мраморному сфинксу, отгребла песок от двери, что находилась в цоколе, и прошла по длинному коридору внутрь одной из больших пирамид, где покоилась мумия древнего фараона, — принцесса должна была склониться головой на грудь умершего и ждать откровения.

Она исполнила все в точности, и ей было открыто во сне, что она должна лететь на север, в Данию, к глубокому болоту — место было обозначено точно — и сорвать там лотос, который коснется ее груди, когда она нырнет в глубину. Цветок этот вернет жизнь ее отцу.

Вот почему принцесса и полетела в лебедином оперении на Дикое болото. Все это аист с аистихой давно знали, а теперь знаем и мы получше, чем раньше. Знаем мы также, что болотный царь увлек бедную принцессу на дно трясины и что дома ее уже считали погибшею навеки. Но мудрейший из мудрецов сказал то же, что и аистиха: «Она выпутается из беды!» Ну, и решили ждать, — иного ведь ничего и не оставалось.

— Право, я стащу лебединые оперения у этих мошенниц, — сказал аист. — Тогда небось не прилетят больше на болото да не выкинут еще какой-нибудь штуки! Перья же их я припрячу там на всякий случай!

— Где это там? — спросила аистиха.

— В нашем гнезде, близ болота! — ответил аист. — Наши птенцы могут помочь мне перенести их; если же будет чересчур тяжело, то ведь по дороге найдутся места, где их можно припрятать до следующего перелета в Данию. Принцессе хватило бы и одного оперения, но два все-таки лучше: на севере не худо иметь в запасе лишнюю одежду.

— Тебе и спасибо-то за все это не скажут! — заметила аистиха. — Но ты ведь глава семьи! Я имею голос, лишь когда сижу на яйцах!

Девочка, которую приютили в замке викинга близ Дикого болота, куда каждую весну прилетали аисты, получила имя Хельги, но это имя было слишком нежным для нее. В прекрасном теле обитала жестокая душа. Месяцы шли за месяцами, годы за годами, аисты ежегодно совершали те же перелеты: осенью к берегам Нила, весной к Дикому болоту, а девочка все подрастала; не успели опомниться, как она стала шестнадцатилетнею красавицей. Прекрасна была оболочка, но жестко самое ядро. Хельга поражала своею дикостью и необузданностью даже в те суровые, мрачные времена. Она тешилась, купая руки в теплой, дымящейся крови только что зарезанной жертвенной лошади, перекусывала в порыве дикого

нетерпения горло черному петуху, приготовленному в жертву богам, а своему приемному отцу сказала однажды совершенно серьезно:

— Приди ночью твой враг, поднимись по веревке на крышу твоего дома, сними самую крышу над твоим покоем, я бы не разбудила тебя, если бы даже могла! Я бы не слышала ничего — так звенит еще в моих ушах пощечина, которую ты дал мне много лет тому назад! Я не забыла ее!

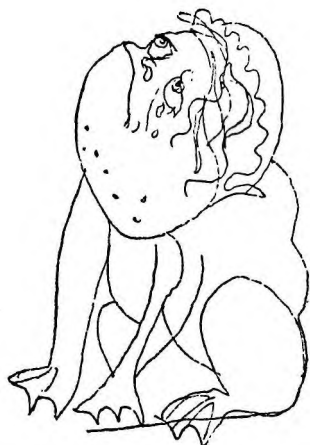
Но викинг не поверил, что она говорит серьезно; он, как и все, был очарован ее красотой и не знал ничего о двойственности ее души и внешней оболочки. Без седла скакала Хельга, словно приросшая, на диком коне, мчавшемся во весь опор, и не соскакивала на землю, даже если конь начинал грызться с дикими лошадьми. Не раздеваясь, бросалась она с обрыва в быстрый фиорд и плыла навстречу ладье викинга, направлявшейся к берегу. Из своих густых, чудных волос она вырезала самую длинную прядь и сплела из нее тетиву для лука.

— Все надо делать самой! Лучше выйдет! — говорила она.

Годы и привычка закалили душу и волю жены викинга, и все же в сравнении с дочерью она была просто робкою, слабою женщиной. Но она-то знала, что виной всему были злые чары, тяготевшие над ужасною девушкой.

Хельга часто доставляла себе злое удовольствие помучить мать: увидав, что та вышла на крыльцо или на двор, она садилась на самый край колодца и сидела там, болтая руками и ногами, потом вдруг бросалась в узкую, глубокую яму, ныряла с головой, опять выплывала и опять ныряла, точно лягушка, затем с ловкостью кошки выкарабкивалась наверх и являлась в главный покой замка вся мокрая; потоки воды бежали с ее волос и платья на пол, смывая и унося устилавшие его зеленые листья.

Одно только немного сдерживало Хельгу — наступление сумерек. Под вечер она утихала, словно задумывалась, и даже слушалась матери, к которой влекло ее какое-то инстинктивное чувство. Солнце заходило, и превращение совершалось: Хельга становилась тихою, грустною жабою и, съезжившись, сидела в уголке. Тело ее было куда больше, чем у обыкновенной жабы, и тем ужаснее на вид. Она напоминала уродливого тролля с головой жабы и плавательною перепонкой между пальцами. В глазах



светилась кроткая грусть, из груди вылетали жалобные звуки, похожие на всхлипывание ребенка во сне. В это время жена викинга могла брать ее к себе на колени, и невольно забывала все ее уродство, глядя в эти печальные глаза.

— Право, я готова желать, чтобы ты всегда оставалась моею немой дочкой-жабой! — нередко говорила она. — Ты куда страшнее, когда красота возвращается к тебе, а душа мрачнее!

И она чертила руны, разрушающие чары и исцеляющие недуги, и перебрасывала их через голову несчастной, но толку не было.

— Кто бы поверил, что она умещалась когда-то в чашечке кувшинки! — сказал аист. — Теперь она совсем взрослая и лицом — вылитая мать, египетская принцесса. А ты мы так и не видели больше! Не удалось ей, видно, выпутаться из беды, как вы с мудрецом предсказывали. Я из года в год то и дело летаю над болотом вдоль и поперек, но она до сих пор не подала ни малейшего признака жизни! Да уж поверь мне! Все эти годы я ведь прилетал сюда раньше тебя, чтобы починить наше гнездо, поправить кое-что, и целые ночи напролет — словно я филин или летучая мышь — летал

над болотом, да все без толку! И два лебединых оперения, что мы с таким трудом в три перелета перетащили сюда, негодились! Вот уж сколько лет они лежат без пользы в нашем гнезде. Случись пожар, загорись этот бревенчатый дом — от них не останется и следа!

— И от гнезда нашего тоже! — сказала аистиха. — Но о нем ты думаешь меньше, чем об этих перьях да о болотной принцессе! Отправлялся бы уж и сам к ней в трясины. Дурной ты отец семейства! Я говорила это еще в ту пору, когда в первый раз сидела на яйцах! Вот подожди, эта шальная девчонка еще угодит в кого-нибудь из нас стрелой! Она ведь сама не знает, что делает! А мы-то здесь подольше живем, чем она, — хоть бы об этом вспомнила! И повинности наши мы уплачиваем честно: перо, яйцо и одного птенца в год, как положено! Думаешь, мне придет теперь в голову слететь вниз, во двор, как бывало в старые годы или как и нынче в Египте, где я держусь на дружеской ноге со всеми — нисколько не забываясь, впрочем, — и сую нос во все горшки и котлы? Нет, здесь я сижу в гнезде да злуюсь на эту девчонку! И на тебя тоже! Оставил бы ее в кувшинке, пусть бы себе погибла!

— Ты гораздо добрее в душе, чем на словах! — сказал аист. — Я тебя знаю лучше, чем ты сама!

И он подпрыгнул, тяжело взмахнул два раза крыльями, вытянул ноги назад, распустил оба крыла, точно паруса, и полетел так, набирая высоту; потом опять сильно взмахнул крыльями и опять поплыл по воздуху. Солнце играло на белых перьях, шея и голова вытянулись вперед... Вот это был полет!

— Он и до сих пор красивее всех! — сказала аистиха. — Но ему-то я не скажу этого!

В эту осень викинг вернулся домой рано. Много добычи и пленных привез он с собою. В числе пленных был молодой христианский священник, один из тех, что отвергали богов древнего Севера. В последнее время в замке викинга — и в главном покое и на женской половине — то и дело слышались разговоры о новой вере, которая распространилась по всем странам Юга и, благодаря святому Ансгарю, проникла даже сюда, на Север. Даже

Хельга уже слышала о боге, пожертвовавшем собою из любви к людям и ради их спасения. Она все эти рассказы, как говорится, в одно ухо впускала, а в другое выпускала. Слово «любовь» находило доступ в ее душу лишь в те минуты, когда она в образе жабы сидела, съезжившись, в запертой комнате. Но жена викинга чутко прислушивалась к рассказам и преданиям, ходившим о сыне единого истинного бога, и они будили в ней новые чувства.

Воины, вернувшись домой, рассказывали о великолепных храмах, высеченных из драгоценного камня и воздвигнутых в честь того, чьим заветом была любовь. Они привезли с собой и два тяжелых золотых сосуда искусной работы, из которых исходил какой-то удивительный аромат.

Это были две кадильницы, которыми кадили христианские священники перед алтарями, никогда не окроплявшимися кровью. На этих алтарях вино и хлеб превращались в кровь и тело Христовы, принесенные им в жертву ради спасения всех людей — даже не родившихся еще поколений.

Молодого священника связали по рукам и ногам веревками из лыка и посадили в глубокий, сложенный из камней подвал замка. Как он был прекрасен! «Словно сам Бальдур!» — сказала жена викинга, тронутая бедственным положением пленника, а Хельге хотелось, чтобы ему продернули под коленками толстые веревки и привязали к хвостам диких быков.

— Я бы выпустила на них собак: то-то бы травля пошла! По лесам, по болотам, прямо в степь! Любо! А еще лучше — самой нестись за ними по пятам!

Но викинг готовил пленнику иную смерть: христианин, как отрицатель и поноситель могучих богов, был обречен в жертву этим самым богам. На жертвенном камне, в священной роще, впервые должна была пролиться человеческая кровь.

Хельга выпросила позволение обрызгать кровью жертвы изображения богов и народ, отточила свой нож и потом с размаху всадила его в бок пробегавшей мимо огромной свирепой дворовой собаке.

— Для пробы! — сказала она, а жена викинга сокрушенно поглядела на дикую, злую девушку. Ночью, когда

---

<sup>1</sup> Бальдур — в скандинавской мифологии бог света.

красота и безобразие Хельги, по обыкновению, поменялись местами, мать обратилась к ней со словами горячей укоризны, которые сами собою вырвались из наболевшей души.

Безобразная, похожая на тролля жаба устремила на нее свои печальные карие глаза и, казалось, понимала каждое слово, как разумный человек.

— Никогда и никому, даже супругу моему, не проговорила я о том, что терплю из-за тебя! — говорила жена викинга. — И сама не думала я, что так жалею тебя! Велика, видно, любовь материнская, но твоя душа не знает любви! Сердце твое похоже на холодную тину, из которой ты явилась в мой дом!

Безобразное создание задрожало, как будто эти слова затронули какие-то невидимые нити, соединявшие тело с душой; на глазах жабы выступили крупные слезы.

— Настанет время и твоего испытания! — продолжала жена викинга. — Но много горя придется тогда изведать и мне!.. Ах, лучше бы выбросили мы тебя на проезжую дорогу, когда ты была еще крошкой; пусть бы ночной холод усыпил тебя навеки!

Тут жена викинга горько заплакала и ушла, полная гнева и печали, за занавеску из звериной шкуры, подвешенную к балке и заменявшую перегородку.

Жаба, съжившись, сидела в углу одна; мертвая тишина прерывалась лишь ее тяжелыми, подавленными вздохами; казалось, в глубине сердца жабы с болью зарождалась новая жизнь. Вдруг она сделала шаг к дверям, прислушалась, потом двинулась дальше, схватилась своими беспомощными лапами за тяжелый дверной болт и тихонько выдвинула его из скобы. В горнице стоял зажженный ночник; жаба взяла его и вышла за двери; казалось, чья-то могучая воля придавала ей силы. Вот она вынула железный болт из скобы, прокралась к спавшему пленнику и дотронулась до него своею холодною, липкою лапой. Пленник проснулся, увидел безобразное животное и задрожал, словно перед наваждением злого духа. Но жаба перерезала ножом связывавшие его веревки и сделала ему знак следовать за нею.

Пленник сотворил молитву и крестное знамение — наваждение не исчезало; тогда он произнес:

— Блажен, кто разумно относится к малым сим, — господь спасет его в день несчастья!.. Но кто ты? Как



может скрываться под оболочкой животного сердце, полное милосердного сострадания?

Жаба опять кивнула головой, провела пленника по единенному проходу между спускавшимися с потолка до полу коврами в конюшню и указала на одну из лошадей. Пленник вскочил на лошадь, но вслед за ним вскочила и жаба и примостилась впереди него, уцепившись за гриву лошади. Пленник понял ее намерение и пустил лошадь вскачь по окольной дороге, которой никогда бы не нашел один.

Скоро он забыл безобразие животного, понял, что чудовище было орудием милости божьей, и из уст его полились молитвы и священные псалмы. Жаба задрожала — от молитв ли, или от утреннего предассветного холодка? Что ощущала она — неизвестно, но вдруг приподнялась на лошади, как бы желая остановить ее и спрыгнуть на землю. Христианин силою удержал жабу и продолжал громко петь псалом, как бы думая победить им злые чары. Лошадь понеслась еще быстрее: небо заалело, и вот первый луч солнца прорвал облако. В ту же минуту произошло превращение: жаба стала молодой красавицей с демонски злою душой! Молодой христианин увидал, что держит в объятиях красавицу девушку, испугался, остановил лошадь и соскочил на землю, думая, что перед ним новое наваждение. Но и Хельга в один прыжок очутилась на земле; короткое платье едва доходило ей до колен; выхватив из-за пояса нож, она бросилась на остолбеневшего христианина.

— Постой! — крикнула она. — Постой, я прокалю тебя ножом насквозь. Ишь, побледнел, как солома! Раб! Безбородый!

Между нею и пленником завязалась борьба, но молодому христианину, казалось, помогали невидимые силы. Он крепко стиснул руки девушки, а старый дуб, росший у дороги, помог ему одолеть ее окончательно: Хельга запуталась ногами в узловатых, переплетающихся корнях дуба, вылезших из земли. Христианин крепко охватил ее руками и повлек к протекавшему тут же источнику. Окропив водою грудь и лицо девушки, он произнес заклинание против нечистого духа, сидевшего в ней, и осенил ее крестным знаменем, но одно крещение водою не имеет настоящей силы, если душа не омыта внутренним источником веры.

И все-таки во всех действиях и словах христианина, совершавшего таинство, была какая-то особая, сверхчеловеческая сила, которая и покорила Хельгу. Она опустила руки и удивленными глазами, вся бледная от волнения, смотрела на молодого человека. Он казался ей могущественным волшебником, посвященным в тайную науку. Он ведь чертил над ней таинственные знаки, творил заклинания! Она не моргнула бы глазом перед занесенным над ее головой блестящим топором или острым ножом, но когда он начертил на ее челе и груди знак креста, она закрыла глаза, опустила голову на грудь и присмирела, как прирученная птичка.

Тогда он кратко заговорил с нею о подвиге любви, совершенном ею в эту ночь, когда она, в образе отвратительной жабы, явилась освободить его от уз и вывести из мрака темницы к свету и жизни. Но сама она — говорил он — опутана еще более крепкими узами, и теперь его очередь освободить ее и вывести к свету и жизни. Он повезет ее в Хедебю, к святому Ансгарию, и там, в этом христианском городе, чары с нее будут сняты. Но он уже не смел везти ее на лошади перед собою, хотя она и покорила ему.

— Ты сядешь позади меня, а не впереди! Твоя красота обладает злою силой, и я боюсь ее! Но с помощью Христа победа все-таки будет на моей стороне.

Тут он преклонил колена и горячо помолился; безмолвный лес как будто превратился в святой храм: словно члены новой паствы, запели птички; дикая мята струила аромат, как бы желая заменить ладан. Громко прозвучали слова священного писания:

«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет!»

И он стал говорить девушке о духовной тоске, о стремлении к высшему всей природы, а ретивый конь в это время стоял спокойно, пощипывая листики ежевики; сочные, спелые ягоды падали в руку Хельги, как бы предлагая ей утолить ими жажду.

И девушка покорно дала христианину усадить себя на круп лошади; Хельга была словно во сне. Христианин связал две ветви наподобие креста и высоко поднял его перед собою. Затем они продолжали путь по лесу, который все густел и густел, дорожка становилась все уже и уже, а где и вовсе пропадала. Терновые кусты прегра-

ждали путь, точно опущенные шлагбаумы; приходилось объезжать их. Источник превратился не в быстрый ручей, а в стоячее болото; и его надо было объехать. В лесной чаще веяло отрадною, подкрепляющею и освежающею душу прохладой, но не меньше подкрепляли и освежали душу кроткие, дышащие верою и любовью, речи христианина, воодушевленного желанием вывести заблудшую из мрака к свету и жизни.



Говорят, дождевая капля долбит твердый камень, волны морские обтачивают и округляют оторванные обломки скал — роса божьего милосердия, окропившая душу Хельги, также продолжила ее жесткую оболочку, сгладила шероховатости. Но сама Хельга еще не отдавала себе отчета в том, что в ней совершается: ведь и едва выглянувший из земли росток, впивая благотворную влагу росы и поглощая теплые лучи солнца, тоже мало ведает о заложенном в нем семени жизни и будущем плоде.

И, как песня матери незаметно западает в душу ребенка, ловящего одни отдельные слова, не понимая их смысла, который станет ему ясным лишь с годами, так западали в душу Хельги и животворные слова христианина.

Вот они выехали из леса в степь, потом опять углубились в дремучий лес и под вечер встретили разбойников.

— Где ты подцепил такую красотку? — закричали они, остановили лошадь и стащили всадника и всадницу; сила была на стороне разбойников.

У христианина для защиты был лишь нож, который он вырвал в борьбе у Хельги. Один из разбойников замахнулся на него топором, но молодой человек успел отскочить в сторону, иначе был бы убит на месте. Топор глубоко врезался в шею лошади; кровь хлынула ручьем, и животное упало. Тут Хельга словно очнулась от глубиной задумчивости и припала к издыхающей лошади. Христианин тотчас заслонил девушку собою, но один из разбойников раздробил ему голову секирой. Кровь и мозг брызнули во все стороны, и молодой священник пал мертвым.

Разбойники схватили Хельгу за белые руки, но в эту минуту солнце закатилось, и она превратилась в безобразную жабу. Бледно-зеленый рот растянулся до самых ушей, руки и ноги стали тонкими и липкими, а кисти рук превратились в веерообразные лапы с перепонкой между пальцами. Разбойники в ужасе выпустили ее. Чудовище стояло перед ними с минуту, затем высоко подпрыгнуло и скрылось в лесной чаще. Разбойники поняли, что это или Локе<sup>1</sup> сыграл с ними злую шутку, или перед ними совершилось страшное колдовство, и в ужасе убежали прочь.

Полный месяц осветил окрестность, и безобразная жаба выползла из кустов. Она остановилась перед трупами христианина и коня и долго смотрела на них полными слез глазами; из груди ее вырвалось тихое кваканье, похожее на всхлипывание ребенка. Потом она начала бросаться то к тому, то к другому, черпала своею глубокою перепончатой горстью воду и брызгала на убитых. Но мертвых не воскресишь! Она поняла это. Скоро набегут дикие звери и растерзают их тела! Нет, не бывать этому! Она выроет для них такую глубокую могилу,

---

<sup>1</sup> Локе — в скандинавской мифологии бог, олицетворяющий собою коварство и хитрость.

какую только сможет. Но у нее был только толстый обломок ветви, а перепончатые лапы плохо рыли землю. В пылу работы она разорвала перепонку; из лап полилась кровь. Тут она поняла, что ей не справиться; она опять зачерпнула воды и обмыла лицо мертвого; затем прикрыла тела свежими, зелеными листьями, на них набросала больших ветвей, сверху еще листьев, на все это навалила тяжелые камни, какие только в силах была поднять, а все отверстия между ними заткнула мхом. Она надеялась, что под таким могильным курганом тела будут в безопасности. За эту тяжелую работу прошла вся ночь; выглянуло солнышко, и Хельга опять превратилась в красавицу девушку, но руки ее были все в крови, а по розовым девичьим щекам в первый раз в жизни струились слезы.

За минуту до превращения обе ее природы словно слились в одну. Она задрожала всем телом и тревожно оглянулась кругом, словно только пробудясь от страшного сна, затем бросилась к стройному буку, крепко уцепилась за ветви, ища точку опоры, и в один миг, как кошка, вскарабкалась на вершину. Там она крепко примостилась на ветвях и сидела, как пугливая белка, весь день одна-одинешенька среди пустынного безмолвия леса. Пустынное безмолвие леса! Да, тут было и пустынно и безмолвно, только в воздухе кружились бабочки, не то играя, не то борясь между собою; муравьиные кучи кишмя кишели крохотными насекомыми; в воздухе плясали бесчисленные рои комаров, носились тучи жужжащих мух, божьих коровок, стрекоз и других крылатых созданий; дождевой червяк выползал из сырой почвы; кроты выбрасывали комья земли, — словом, тихо и пустынно здесь было лишь в том смысле, в каком принято говорить и понимать это. Никто из лесных обитателей не обращал на Хельгу внимания, кроме сорок, с криком летавших над вершиной дерева, где она сидела. Они даже перепрыгивали с ветки на ветку, подбираясь поближе к ней, — такие они смелые и любопытные! Но довольно было ей метнуть на них взгляд, и они разлетались; так им и не удалось разгадать это странное явление, да и сама Хельга не могла разгадать себя!

Перед закатом солнца предчувствие приближавшегося превращения заставило Хельгу слезть с дерева; последний луч погас, и она опять сидела на земле в виде съезжив-

шейся жабы с разорванною перепонкою между пальцами. Но глаза безобразного животного сияли такою красотою, какую вряд ли отличались даже глаза красавицы Хельги. В этих кротких, нежных глазах светились глубоко чувствующая душа и человеческое сердце; ручьями лились из них слезы, облегчая переполненную горем душу.

На кургане лежал еще крест — последняя работа умершего христианина. Хельга взяла его, и ей сама собою пришла в голову мысль утвердить крест между камнями над курганом. При воспоминании о погребенном под ним слезы заструились еще сильнее, и Хельга, повинувшись какому-то внутреннему сердечному влечению, вздумала начертить знаки креста на земле вокруг всего кургана — вышла бы такая красивая ограда! Но едва она начертила обеими лапами первый же крест, перепонка слетела с них, как разорванная перчатка. Она омыла их в воде источника и удивленно посмотрела на свои белые тонкие руки, невольно сделала ими тот же знак в воздухе между собою и могилою, губы ее задрожали, и с языка слетело имя, которое она столько раз во время пути слышала от умершего: «Господи Иисусе Христе»!

Мгновенно оболочка жабы слетела с Хельги, и она опять стала молодою красавицей девушкой; но голова ее устало склонилась на грудь, все тело просило отдыха — она заснула.

Недолго, однако, спала она; в полночь она пробудилась: перед нею стояла убитая лошадь, полная жизни, вся окруженная сиянием; глаза ее метали пламя; из глубокой раны на шее тоже лился свет. Рядом с лошадью стоял и убитый христианин, «прекраснее самого Бальдура» — сказала бы жена викинга. Он тоже был весь окружен сиянием.

Кроткие глаза его смотрели испытующе-серьезно, как глаза праведного судии, проникающего взглядом в самые сокровенные уголки души. Хельга задрожала, память ее пробудилась мгновенно, словно в день последнего суда. Все доброе, что выпало ей на долю, каждое ласковое слово, слышанное ею, — все мгновенно ожило в ее памяти, и она поняла, что в эти дни испытаний ее, дитя живой души и мертвой тины, поддержала одна любовь. Она со знала, что повиновалась при этом лишь голосу внутреннего настроения, а сама для себя не сделала ничего. Все было ей дано, все она совершила не сама собою, а

руководимая чьею-то высшею волею. Сознавая все свое ничтожество, полная стыда, смиренно преклонилась она перед тем, кто читал в глубине ее сердца. В ту же минуту она почувствовала, как зажглась в ней, как бы от удара молнии, светлая, божественная искра, искра духа святого.

— Дочь тины! — сказал христианин. — Из тины, из земли ты взята, из земли же ты и восстанешь! Солнечный луч, что животворит твое тело, сознательно стремится слиться со своим источником; но источник его не солнце, а сам бог! Ни одна душа в мире не погибает; но медленно течет вся жизнь земная и есть лишь единый миг вечности. Я явился к тебе из обители мертвых; некогда и ты совершишь тот же путь через глубокие долины в горные светлые селения, где обитают Милость и Совершенство. Я поведу тебя теперь, но не в Хедебю для восприятия крещения, — ты должна сначала прорвать плену, стелющуюся над глубоким болотом, и освободить живой корень твоей жизни и колыбели, выполнить свое дело, прежде нежели удостоишься посвящения!

И, посадив ее на лошадь, он протянул ей золотую кадьлицу, похожую на ту, что Хельга видела раньше в замке викинга; из кадьлицы струился ароматный фиам. Рана на лбу убитого христианина сияла, точно диадема. Он взял крест, возвышавшийся над курганом, и высоко поднял его перед собою; они понеслись по воздуху над шумящим лесом, над курганами, под которыми были погребены герои, верхом на своих добрых конях. И могучие тени поднялись, выехали и остановились на вершинах курганов; лунный свет играл на золотых обручах, красовавшихся на лбах героев; плащи их развевались по ветру. Дракон, страж сокровищ, поднял голову и смотрел воздушным путникам вслед. Карлики выглядывали на них из холмов, из борозд, проведенных плугом, мелкая голубыми, красными и зелеными огоньками, — словно сотни искр перебегали по золе, оставшейся после сгоревшей бумаги.

Они пролетали над лесами, степями, озерами и трясинами, направляясь к Дикому болоту. Долетев до него, они принялись реять над ним: христианин высоко поднимал крест, блестящий, точно золотой, а из уст его лились священные песнопения; Хельга вторила ему, как дитя вторит песне матери, и кадила при этом золотою кадьлицою.

ницей. Из камина струился такой сильный, чудодейственный фимиам, что осока и тростник зацвели, а со дна болота поднялись зеленые стебли, все, что только носило в себе зародыш жизни, пустило ростки и вышло на свет божий. На поверхности воды раскинулся роскошный цветочный ковер из кувшинок, а на нем покоилась в глубоком сне молодая женщина дивной красоты. Хельга подумала, что видит в зеркале вод свое собственное отражение, но это была ее мать, супруга болотного царя, египетская принцесса.

Христианин повелел спящей подняться на лошадь, и та опустилась под новую тяжесть, точно свободно висающий в воздухе саван, но христианин осенил ее крестным знаменем, и тень вновь окрепла. Все трое выехали на твердую почву.

Пропел петух во дворе замка викинга, и видения рассеялись в воздухе, как туман от дуновения ветра. Мать и дочь очутились лицом к лицу.

— Не себя ли я вижу в глубокой воде? — спросила мать.

— Не мое ли это отражение в водяном зеркале? — промолвила дочь.

Они приблизились друг к другу и крепко обнялись. Сердце матери забилося сильнее, и она поняла почему.

— Мое дитя, цветок моего сердца, мой лотос из глубины вод!

И она опять обняла дочь и заплакала; эти слезы были для Хельги новым крещением, возрождавшим ее к жизни и любви.

— Я прилетела на болото в лебедином оперении и здесь сбросила его с себя! — начала свой рассказ мать. — Ступив на зыбкую почву, я погрузилась в болотную тину, которая сразу же сомкнулась над моею головой. Скоро я почувствовала приток свежей воды, какая-то неведомая сила увлекала меня все глубже и глубже; веки мои отяжелели, и я заснула... Во сне мне грезилось, что я опять внутри египетской пирамиды, но передо мной — колеблющийся ольховый пенек, который так испугал меня на поверхности болота. Я рассматривала трещины на его коре, и они вдруг засветились и стали иероглифами — передо мной очутилась мумия. Наружная оболочка ее вдруг распалась, и оттуда выступил древний царь, покоившийся тысячи лет, черный как смоль, лоснящийся, как лесная



улитка или как жирная, черная болотная грязь. Был ли передо мною сам болотный царь или мумия — я уж перестала понимать. Он обвил меня руками, и мне показалось, что я умираю. Очнувшись, почувствовав на своей груди что-то теплое: на груди у меня сидела, трепеща крыльями, птичка, щебетала и пела. Потом она взлетела с моей груди вверх, к черному, тяжелому своду, но длинная зеленая лента привязывала ее ко мне. Я поняла ее тоскливое щебетанье: «На волю, на волю, к отцу!» Мне вспомнился мой отец, залитая солнцем родина, вся моя жизнь, моя любовь... И я развязала узел, отпустила птичку на волю, к отцу! С той минуты я уже не видела никаких снов и спала непробудно, пока сейчас меня не вызвали со дна болота эти звуки и аромат!

Где же развевалась, где была теперь зеленая лента, привязывавшая птичку к сердцу матери? Видел ее лишь аист, лентой был ведь зеленый стебель, узлом — яркий цветок — колыбель малютки, которая теперь превратилась в юную красавицу девушку и опять покоилась на груди у матери.

А в то время, как они стояли обнявшись на берегу болота, над ними кружился аист. Он быстро слетал назад, в гнездо, за спрятанными там давным-давно оперениями и бросил их матери с дочерью. Они сейчас же накинули их на себя и поднялись на воздух в виде белых лебедей.

— Теперь поговорим! — сказал аист. — Теперь мы пойдем друг друга, хотя клюв и не у всех птиц скроен одинаково!.. Хорошо, что вы явились как раз сегодня ночью: днем нас бы уж не было тут. И я, и жена, и птенцы — все улетаем поутру на юг! Я ведь старый знакомый ваш с нильских берегов! И жена моя тут же, со мною; сердце у нее добрее, чем язык! Она всегда говорила, что принцесса выпутается из беды! А я и птенцы наши перенесли сюда лебединые перья!.. Ну, очень рад! Ведь это просто счастье, что я еще здесь! На заре мы улетаем всей компанией! Мы полетим вперед, только не отставайте, и вы не собьетесь с дороги! Мы с птенцами будем, впрочем, присматривать за вами.

— И я принесу с собою на родину лотос! — сказала египетская принцесса. — Он летит рядом со мною в лебедином оперении! Цветок моего сердца со мною — вот как это все разрешилось! Домой теперь, домой!

Но Хельга сказала, что не может покинуть Данию, не повидавшись со своєю приемною матерью, доброю женою викинга. Хельга припомнила всю ее доброту, каждое ее ласковое слово, каждую слезу, пролитую ею из-за приемной дочери, и в эту минуту девушке казалось даже, что она любит ту мать сильнее, чем эту.

— Да нам и надо слетать в замок викинга! — ответил аист. — Там ведь ждет нас жена с птенцами! Вот-то заворочают они глазами и затрещат! Жена — та, пожалуй, не много скажет! Она вообще скупа на слова, выражается кратко и вразумительно, а думает еще лучше! Сейчас я затрещу, чтобы предупредить их о нашем приближении!

И он затрещал, защелкал клювом. Скоро они подлетели к замку викинга.

В замке все было погружено в глубокий сон. Забылась снам и жена викинга, но только позднюю ночью: страх и беспокойство долго не давали ей уснуть. Прошло ведь уже три дня, как Хельга исчезла вместе с пленным христианином; должно быть, это она помогла ему бежать: в конюшне недоставало именно ее лошади. Но как могло все это случиться? И жене викинга невольно припомнились рассказы о чудесах, которые творил сам белый Христос и веровавшие в него. Все эти мысли, бродившие в ее голове наяву, облеклись во сне в живые образы, и вот ей пригрезилось, что она по-прежнему сидит на постели, погруженная в думы о Хельге; все кругом тонет в сплошном мраке, надвигается буря. С обеих сторон — и со стороны Северного моря и со стороны Каттегата — слышится грозный шум прибоя. Чудовищная змея, обвивающая в глубине морской кольцом всю землю, бьется в судорогах. Приближается страшная ночь — рагнарок, как древние называли последнюю ночь, когда рухнет мир и погибнут самые боги. Вот слышится громкий звук рога и по радуге выезжают верхом на конях боги, закованные в светлые доспехи, выезжают на последнюю битву! Перед ними летят крылатые валькирии, а замыкается поезд рядами умерших героев. Небо залито северным сиянием, но мрак победит. Приближается ужасный час.

А рядом с испуганной женой викинга сидит на полу Хельга в образе безобразной жабы, дрожит от страха и жметя к ней. Она берет жабу на колени и с любовью прижимает к себе, хоть она и безобразна. Вот воздух

задрожал от ударов мечей и палиц, засвистели стрелы — словно град посыпался с неба. Настал тот час, когда земля и небо должны были рухнуть, звезды упасть с неба, и все погибнуть в пламени Суртура<sup>1</sup>.

Но жена викинга знала, что после того возникнут новое небо и новая земля, и хлебная нива заволнуется там, где прежде катило свои волны по желтому песчаному дну сердитое море. Она знала, что воцарится новый неведомый бог, и к нему вознесется кроткий, светлый Бальдур, освобожденный из царства теней. И вдруг она видит его перед собою! Она узнала его с первого взгляда — это был пленный христианин.

— Белый Христос! — воскликнула она и, произнося это имя, поцеловала в лоб свое безобразное дитя-жабу. В ту же минуту оболочка с жабы спала, и перед ней очутилась Хельга, прекрасная, как всегда, но такая кроткая и с таким сияющим любовью взглядом! Хельга поцеловала руки жены викинга, как бы благодаря ее за все заботы и любовь, которыми она окружала свою приемную дочь в тяжелое время испытания, за все добрые мысли и чувства, которые она пробудила в ее душе, и за произнесенное ею сейчас имя белого Христа. Хельга повторила это имя и вдруг поднялась на воздух в виде лебедя: белые крылья распустились и зашумели, словно взлетала на воздух целая стая птиц.

Тут жена викинга проснулась. На дворе в самом деле слышалось хлопанье крыльев. Она знала, что настала пора обычного отлета аистов, и догадалась, что это они шумели крыльями. Ей захотелось еще раз взглянуть на них и попрощаться с ними. Она встала, подошла к отверстию, заменявшему окно, распахнула ставню и выглянула во двор. На крыше пристройки сидели рядышком сотни аистов, а над двором, над высокими деревьями, летали стаями другие; прямо же против окна, на краю колодца, где так часто сиживала, пугая свою приемную мать, красавица Хельга, сидели две лебедки, устремив свои умные глаза на жену викинга. Она вспомнила свой сон, который произвел на нее такое глубокое впечатление, что почти казался ей действительностью, вспомнила Хельгу в образе лебедя, вспомнила христианина, и сердце ее вдруг радостно забилося.

---

<sup>1</sup> Суртур — в скандинавской мифологии владыка тьмы.

Лебедки захлопали крыльями и изогнули шеи, точно кланяясь ей, а она, как бы в ответ на это, протянула к ним руки и задумчиво улыбнулась им сквозь слезы.

Аисты, шумя крыльями и щелкая клювами, взвились в воздух, готовясь направить свой полет к югу.

— Мы не станем ждать этих лебедек! — сказала аистиха. — Коли хотят лететь с нами, пусть не мешкают! Не оставаться же нам тут, пока не соберутся лететь кулики! А ведь лететь так, как мы, семьями, куда пристойнее, чем так, как летят зяблики или турухтаны: у тех мужья летят сами по себе, а жены сами по себе! Просто неприлично! А у лебедей-то, у лебедей-то что за полет?!

— Всяк летит по-своему! — ответил аист. — Лебеди летят косою линией, журавли — треугольником, а кулики — змеею!

— Пожалуйста, не напоминай теперь о змеях! — заметила аистиха. — У птенцов может пробудиться аппетит, а чем их тут накормишь?

— Так вот они, высокие горы, о которых я слышала! — сказала Хельга, летевшая в образе лебедки.

— Нет, это плывут под нами грозовые тучи! — возразила мать.

— А что это за белые облака в вышине? — спросила дочь.

— Это вечно снежные вершины гор! — ответила мать, и они, перелетев Альпы, продолжали путь по направлению к Средиземному морю.

— Африка! Египет! — ликовала дочь нильских берегов, завидев с высоты желтую волнистую береговую полосу своей родины.

Завидели берег и аисты и ускорили полет.

— Вот уж запахло нильскою тиной и влажными лягушками! — сказала аистиха птенцам. — Ох, даже защекало внутри! Да, вот теперь сами попробуете, каковы они на вкус, увидите марабу, ибисов и журавлей. Они все нашего же рода, только далеко не такие красивые. А важничают! Особенно ибисы — их избаловали египтяне; они делают из ибисов мумии, набивая их душистыми травами. А по мне, лучше быть набитой живыми лягушками!

Вот вы узнаете, как это приятно! Лучше при жизни быть сытым, чем после смерти попасть в музей! Таково мое мнение, а оно самое верное!

— Вот и аисты прилетели! — сказали обитатели дворца на нильском берегу. В открытом покое на мягком ложе, покрытом шкурой леопарда, лежал сам царственный владыка, по-прежнему ни живой, ни мертвый, ожидая целебного лотоса из глубокого северного болота. Родственники и слуги окружали ложе.

И вдруг в покой влетели две прекрасные белые лебедки, прилетевшие вместе с аистами. Они сбросили с себя оперения, и все присутствовавшие увидели двух красавиц, похожих друг на друга, как две капли воды. Они приблизились к бледному, увядшему старцу и откинули назад свои длинные волосы. Хельга склонилась к деду, и в ту же минуту щеки его окрасились румянцем, глаза заблестали, жизнь вернулась в окоченевшее тело. Старец встал помолодевшим, здоровым, бодрым! Дочь и внучка взяли его за руки, точно для утреннего приветствия после длинного тяжелого сна.

Что за радость воцарилась во дворце! В гнезде аистов тоже радовались — главным образом, впрочем, хорошему корму и обилию лягушек. Ученые впопыхах записывали историю обеих принцесс и целебного цветка, принесшего с собою счастье и радость всей стране и всему царствующему дому, аисты же рассказывали ее своим птенцам, но, конечно, по-своему, и не прежде, чем все наелись досыта, — не то у них нашлось бы иное занятие!

— Теперь и тебе перепадет кое-что! — шепнула аистиха мужу. — Уж не без того!

— А что мне нужно? — сказал аист. — И что я такое сделал? Ничего!

— Ты сделал побольше других! Без тебя и наших птенцов принцессам вовек не видать бы Египта и не исцелить старика. Конечно, тебе перепадет за это! Тебя, наверно, удостоят степени доктора, и наши следующие птенцы уже родятся в этом звании, их птенцы — тоже и так далее! По мне, ты и теперь ни дать ни взять — египетский доктор!

А ученые и мудрецы продолжали развивать основную мысль, проходившую, как они говорили, красною нитью через все событие, и толковали ее на разные лады. «Любовь — родоначальница жизни» — это была основная

мысль, а истолковывали ее так: «Египетская принцесса, как солнечный луч, проникла во владения болотного царя, и от их встречи произошел цветок...»

— Я не сумею как следует передать их речей! — сказал подслушавший эти разговоры аист, когда ему пришлось пересказать их в гнезде. — Они говорили так длинно и так мудрено, что их сейчас же наградили чинами и подарками; даже лейб-повар получил орден — должно быть, за суп!

— А ты что получил? — спросила аистиха. — Не следовало бы им забывать самое главное лицо, а самое главное лицо — это ты! Ученые-то только языком трепали! Но дойдет еще очередь и до тебя!

Позднюю ночью, когда весь дворец, все его счастливые обитатели спали сладким сном, не спала во всем доме лишь одна живая душа. Это был не аист — он хоть и стоял возле гнезда на одной ноге, но спал на страже, — не спала Хельга. Она вышла на террасу и смотрела на чистое, ясное небо, усеянное большими блестящими звездами, казавшимися ей куда больше и ярче тех, что она привыкла видеть на севере. Но это были те же самые звезды! И Хельге вспомнились кроткие глаза жены викинга и слезы, пролитые ею над своею дочкой-жабой, которая теперь любовалась великолепным звездным небом на берегу Нила, вдыхая чудный весенний воздух. Она думала о том, как умела любить эта язычница, какими нежными заботами окружала она жалкое создание, скрывавшее в себе под человеческого оболочкой звериную натуру, а в звериной — внушавшее такое отвращение, что противно было на него и взглянуть, не то что дотронуться! Хельга смотрела на сияющие звезды и вспоминала блеск, исходивший от чела убитого христианина, когда они летели вместе над лесом и болотом. В ушах ее снова раздавались те звуки и слова, которые она слышала от него тогда, когда сидела позади него на лошади: он говорил ей о великом источнике любви, высшей любви, обнимающей все поколения людские!..

Да, чего только не было ей дано, чего она не достигла! Дни и ночи думала Хельга о выпавшем на ее долю счастье, созерцала свою жизнь, которая вела ее чудесными путями все к высшей радости и блаженству, и так и застыла в этом созерцании, как ребенок, который быстро переносит взор от дарящего к подаркам. Она вся

ушла в думы о своем настоящем счастье и о будущем, которое ожидало ее, должно было ожидать ее впереди, и совсем забыла о том, кто даровал ей это счастье. В ней кипела отвага молодости, глаза ее блистали от восторга. Но вот слух ее был привлечен страшным шумом на дворе. Она взглянула туда и увидела двух больших, сильных страусов, бегавших сломя голову кругом по двору. Хельга в первый раз видела этих огромных, тяжелых, неуклюжих птиц с точно обрубленными крыльями. Они бегали, встревоженные, испуганные, словно их кто обидел. Хельга спросила, что с ними случилось, и впервые услышала египетское предание о страусе.

Когда-то страусы славилась красотой; крылья их были велики и сильны. Однажды вечером другие могучие лесные птицы сказали страусу: «Брат, завтра, бог даст, полетим к реке напиться!» И страус ответил: «Захочу и полечу!» На заре птицы полетели. Все выше и выше взвивались они, все ближе и ближе к солнцу, божьему оку. Страус летел один, впереди всех, горделиво, стремясь к самому источнику света и полагаясь лишь на свои силы, а не на подателя их; он говорил не «бог даст», а «захочу», и вот ангел возмездия сдернул с раскаленного солнечного диска тонкую пелену — в ту же минуту крылья страуса опалило, как огнем, и он, бессильный, уничтоженный, упал на землю. Никогда больше он и весь его род не могли подняться с земли! Испугавшись чего-нибудь, они мечутся как угорелые, описывая все один и тот же узкий круг, и служат нам, людям, живым напоминанием и предостережением.

Хельга задумчиво опустила голову, посмотрела на страусов, мечущихся не то от ужаса, не то от глупой радости при виде своей собственной тени на белой, освещенной луною, стене, и душою ее овладело серьезное настроение. Да, ей выпала на долю богатая счастьем жизнь, что же ждет ее впереди? Еще высшее счастье — «даст бог!»

Раннею весною, перед отлетом аистов на север, Хельга взяла золотое кольцо, начертила на нем свое имя и подзвала к себе своего знакомого аиста. Когда тот приблизился, Хельга надела ему кольцо на шею, прося отнести

его жене викинга, — кольцо скажет ей, что приемная дочь ее жива, счастлива и помнит о ней.

«Тяжеленько это будет нести! — подумал аист. — Но золото и честь не выбросишь на дорогу! «Аист приносит счастье», — скажут там на севере!..»

— Ты несешь золото, а я яйца! — сказала аистиха. — Но ты-то принесешь его только раз, а я несу яйца каждый год! Благодарности же не дождется ни один из нас! Вот что обидно!

— Довольно и собственного сознания, женушка! — сказал аист.

— Ну, его не повесишь себе на шею! — ответила аистиха. — Оно тебе ни корму, ни попутного ветра не даст!

И они улетели.

Маленький соловей, распевавший в тамариндовой роще, тоже собирался улететь на север; в былые времена Хельга часто слышала его возле Дикого болота. И она дала поручение и соловью: с тех пор, как она полетала в лебедином оперении, она могла объясняться на птичьем языке и часто разговаривала и с аистами и с ласточками, которые понимали ее. Соловей тоже понял ее: она просила его поселиться на Ютландском полуострове в буковом лесу, где возвышался курган из древесных ветвей и камней, и уговорить других певчих птичек ухаживать за могилой и, не умолкая, петь над нею свои песни.

Соловей полетел стрелой, полетело стрелой и время!

Осенью орел, сидевший на вершине пирамиды, увидел приближавшийся богатый караван; двигались нагруженные сокровищами верблюды, гарцевали на горячих арабских конях разодетые и вооруженные всадники. Серебристо-белые кони с красными раздувающимися ноздрями и густыми гривами, ниспадавшими до тонких стройных ног, горячились и фыркали. Знатные гости, в числе которых был и один аравийский принц, молодой и прекрасный, каким и подобает быть принцу, въехали во двор могучего владыки, хозяина аистов, гнездо которых стояло теперь пустым. Аисты находились еще на севере, но скоро должны были вернуться.

Они вернулись в тот самый день, когда во дворце царила шумная радость, кипело веселье — праздновали свадьбу. Невестой была разодетая в шелк, сиявшая



драгоценными украшениями Хельга; женихом — молодой арабийский принц. Они сидели рядом за свадебным столом, между матерью и дедом.

Но Хельга не смотрела на смуглое мужественное лицо жениха, обрамленное черною курчавою бородой, не смотрела и в его огненные черные глаза, не отрывавшиеся от ее лица. Она устремила взор на усеянный светлыми звездами небесный свод.

Вдруг в воздухе послышались шум и хлопанье крыльев — вернулись аисты. Старые знакомые Хельги были тут же, и как ни устали они оба с пути, как ни нуждались в отдыхе, сейчас же спустились на перила террасы, зная, что за праздник идет во дворце. Знали они также — эта весть долетела до них, едва они приблизились к границам страны, — что Хельга велела нарисовать их изображение на стене дворца: аисты были ведь тесно связаны с историей ее собственной жизни.

— Очень мило! — сказал аист.

— Очень и очень мило! — объявила аистиха. — Меньшего уж нельзя было и ожидать!

Увидав аистов, Хельга встала и вышла к ним на террасу погладить их по спине. Старый аист наклонил голову, а молодые смотрели из гнезда и чувствовали себя польщенными.

Хельга опять подняла взор к небу и засмотрелась на блестящие звезды, сверкавшие все ярче и ярче. Вдруг она увидела, что между ними и ею витает прозрачный, светлый, светлее самого воздуха образ. Вот он приблизился к Хельге, и она узнала убитого христианина. И он явился к ней в этот торжественный день, явился из небесных чертогов!

— Небесный блеск и красота превосходят все, что может представить себе смертный! — сказал он.

И Хельга стала просить его так кротко, так неотступно, как никогда еще никого и ни о чем не просила, взять ее туда, в небесную обитель, хоть на одну минуту, позволить ей бросить хоть один-единственный взгляд на небесное великолепие!

И он вознесся с нею в обитель блеска, света и гармонии. Дивные звуки и мысли не только звучали и светились вокруг Хельги в воздухе, но и внутри ее, в глубине ее души. Словами не передать, не рассказать того, что она чувствовала!

- Пора вернуться! Тебя ищут! — сказал он.
- Еще минутку! — молила она. — Еще один миг!
- Пора вернуться! Все гости уже разошлись!
- Еще одно мгновение! Последнее...

И вот Хельга опять очутилась на террасе, но... все огни и в саду и в дворцовых покоях были уже потушены, аистов не было, гостей и жениха — тоже; все словно ветер развеял за эти три кратких мгновения.

Хельгу охватил страх, и она прошла через огромную, пустынную залу в следующую. Там спали чужеземные воины! Она отворила боковую дверь, которая вела в ее собственный покой, и вдруг очутилась в саду, — все стало тут по-другому! Край неба алел, занималась заря.

В три минуты, проведенные ею на небе, протекла целая земная ночь!

Тут Хельга увидела аистов, подозвала их к себе, заговорила с ними на их языке, и аист, подняв голову, прислушался и приблизился к ней.

— Ты говоришь по-нашему! — сказал он. — Что тебе надо? Откуда ты, незнакомка?

— Да ведь это же я, Хельга! Ты не узнаешь меня? Три минуты тому назад я разговаривала с тобой тут, на террасе!

— Ты ошибаешься! — ответил аист. — Ты, верно, видела все это во сне!

— Нет, нет! — сказала она и стала напоминать ему о замке викинга, о Диком болоте, о полете сюда...

Аист заморгал глазами и сказал:

— А, это старинная история! Я слышал ее еще от моей пра-пра-прабабушки! Тут, в Египте, правда, была такая принцесса из Дании, но она исчезла в самый день своей свадьбы много-много лет тому назад! Ты сама можешь прочесть об этом на памятнике, что стоит в саду! Там же высечены лебедки и аисты, а на вершине памятника стоишь ты сама, изваянная из белого мрамора!

Так оно и было. Хельга увидела памятник, поняла все и пала на колени.

Взошло солнце, и как прежде с появлением его спадала с Хельги безобразная оболочка жабы и из нее выходила молодая красавица, так теперь из брэнной телесной оболочки, очищенной крещением света, вознесся к небу прекрасный образ, чище, прозрачнее воздуха; солнечный луч вернулся к отцу!

А тело распалось в прах; на том месте, где стояла коленапреклоненная Хельга, лежал теперь увядший лотос.

— Новый конец истории! — сказал аист. — И совсем неожиданный! Но ничего, мне он нравится!

— А что-то скажут о нем детки? — заметила аистиха.

— Да, это, конечно, важнее всего! — сказал аист.





## СКОРОХОДЫ



**Б**ыл назначен приз, даже два, один большой, другой маленький, за наибольшую быстроту — не на состязании, а вообще за быстроту в течение целого года.

— Я получил первый приз! — сказал заяц. — Можно ведь, я думаю, ожидать справедливости, если судьи — твои близкие друзья и родные. Но присудить второй приз улитке?! Мне это даже обидно!

— Но ведь надо же принимать во внимание и усердие и добрую волю, как справедливо рассудили высокоуважаемые судьи, и я вполне разделяю их мнение! — заметил заборный столб, бывший свидетелем присуждения призов. — Улитке, правда, понадобилось полгода, чтобы переползти через порог, но все-таки она очень спешила. И даже сломала себе второпях бедренную кость! Она всею душой и телом отдавалась своему делу, да еще таскала при этом на спине весь свой дом! Такое усердие достойно всякого поощрения, вот она и получила второй приз.

— Могли бы, кажется, и на меня обратить внимание! — сказала ласточка. — Быстрее меня на лету, смею думать, никого нет! И где только я не побывала! Везде, везде!

— То-то вот и горе ваше, — сказал столб. — Уж больно много вы рыскаете! Вечно рветесь в чужие края, чуть здесь холодком пахнет. Вы не патриотка! Нечего на вас и обращать внимание!

— А если бы я проспала всю зиму в болоте, тогда на меня обратили бы внимание? — спросила ласточка.

— Принесите удостоверение от самой болотницы, что проспала на родине хоть полгода, и на вас сейчас же обратят внимание!

— Я-то заслуживала первого приза, а не второго! — заметила улитка. — Я ведь знаю, что заяц бегает, только когда думает, что за ним гонятся, — из трусости! А я смотрела на движение как на свою жизненную задачу и пострадала на службе! Да уж если кому следовало присудить первый приз, так это мне! Но я не охотница кричать о себе! Я это презираю!

И она плюнула.

— Я могу засвидетельствовать, что каждый приз — по крайней мере с моей стороны — был присужден справедливо! — заявила межевая вежа, одна из судей. — Я вообще держусь порядка, меры, расчета. Я уже восьмой раз имею честь участвовать в присуждении призов, но только на этот раз поставила на своем. Дело в том, что я всегда присуждаю призы по алфавиту: для первого приза беру букву с начала, для второго — с конца. Потрудитесь теперь обратить внимание на мой счет: восьмая буква с начала — «з», я и подала голос за зайца, а шестнадцатая, то есть дважды восьмая, с конца — «у», и вот я присудила второй приз улитке. В следующий раз первый приз назначу букве «и», а второй — букве «с». Главное дело, всегда и во всем порядок! Иначе не на что и опереться.

— Не будь я сам в числе судей, я бы подал голос за себя! — сказал осел. — Надо обращать внимание не на одну быстроту, но и на другие качества, например на груз. На этот раз я, впрочем, не хотел упирать на это обстоятельство, равно и на ум зайца или на ловкость, с какою он путает свои следы, спасаясь от погони.

Нет, есть еще одно обстоятельство, на которое вообще принято обращать внимание и которое никоим образом нельзя упускать из виду — красота. Я взглянул на прелестные, хорошо отросшие уши зайца — а на них, право, залюбуешься, — и мне показалось, что я вижу самого себя в детском возрасте! Я и подал голос за зайца!

— Дз-з! — зажужжала муха. — Я не собираюсь держать речь, я хочу только сказать несколько слов. Я-то уж попроворнее всякого зайца, это я хорошо знаю! Недавно я даже раздробила одному зайчишке заднюю ногу! Я сидела на паровозе, я это часто делаю — таким образом лучше всего следить за собственной быстротой. Заяц долго бежал впереди поезда: он и не подозревал моего присутствия! Наконец ему пришлось свернуть в сторону; тут-то паровоз и переехал ему заднюю ногу — я ведь сидела на нем. Заяц остался на месте, а я помчалась дальше. Кто же победил? Полагаю — я! Но я не нуждаюсь в призе!

«А по-моему, — подумала дикая роза, вслух она ничего не сказала: это было не в ее характере, хотя и лучше было бы, если бы она высказалась, — по-моему, и первого и второго приза заслуживал солнечный луч! Он в одно мгновение пробегает бесконечное пространство, отделяющее землю от солнца, и пробуждает от сна всю природу. Поцелуи его дарят красоту — мы, розы, алеем и благоухаем от них! А высокие судьи, кажется, совсем и не заметили его! Будь я лучом, я бы отплатила им солнечным ударом... нет, это бы отняло у них последний ум, а они и без того им небогаты! Лучше промолчу! В лесу мир и тишина! Как хорошо вести, благоухать, упиваться светом и росой и жить в сказаниях и песнях! Но солнечный луч переживет нас всех!

— А какой первый приз? — спросил дождевой червяк; он проспал событие и сейчас только явился на сборный пункт.

— Свободный вход в огород с капустой! — ответил осел. — Я сам назначал призы! Первый приз должен был получить заяц — я, как мыслящий и деятельный член комиссии, и обратил надлежащее внимание на потребности и нужды зайца. Теперь он обеспечен. А улитке мы

предоставили право сидеть на придорожном камне и греться на солнышке да лизать мох. Кроме того, она избрана в главные члены нашей комиссии — как это принято называть у людей. Комиссии ведь вообще нуждаются в специалистах! И, скажу прямо, судя по такому прекрасному началу, можно ожидать от нашей комиссии многого!





## КОЛОКОЛЬНЫЙ ОМУТ



**Б**ом-бом! — раздается звон из колокольного омута реки Одессы. «Это что за река?» Ее знает любой ребенок в городе Одессе; она огибает сады и пробегает под деревянными мостами, стремясь из шлюзов к водяной мельнице. В реке плавают желтые кувшинки, колышутся темно-коричневые султанчики тростника и высокая бархатная осока. Старые, дуплистые, кривобокие, скорчившиеся ивы, растущие возле монастырского болота и дуга белильщика, нависают над водой. По другому берегу тянутся сады. И все они разные. В одних растут чудесные цветы, красуются чистенькие, словно игрушечные, беседки, в других виднеется одна капуста, а иных так и самих не видно: густые, раскидистые кусты бузины теснятся к самой реке, которая местами так глубока, что веслом и не достать до дна. Самое глубокое место — против Девичьего монастыря; зовется оно колокольным омутом, и в бездне этой живет водяной. Весь день, пока солнечные лучи проникают в воду, он спит,



а ночью, при свете месяца и звезд, всплывает на поверхность. Он очень стар. Еще бабушка моя слышала от своей бабушки, что он живет один-одинешенек и нет у него другого собеседника, кроме огромного старого церковного колокола. Когда-то колокол этот висел на колокольне церкви Санкт-Альбани; теперь ни от колокольни, ни от церкви не осталось и следа.

Бом-бом-бом! — звонил колокол, когда еще висел на колокольне, и раз вечером, на закате солнца, раскачался хорошенько, сорвался и полетел... Блестящая медь так и засверкала пурпуром в лучах заходящего солнца.

«Бом-бом! Иду спать!» — зазвонил колокол и полетел прямо в реку Одессе, в самое глубокое место, которое и прозвали с тех пор колокольным омутом. Но не удалось колоколу уснуть, успокоиться: он звонит в жилище водяного так, что слышно иной раз и на берегу. Люди говорят, что звон его предвещает чью-нибудь смерть, но это неправда. Колокол звонит, беседуя с водяным, и тот теперь уже не так одинок, как прежде.

О чем звонит колокол? Колокол очень стар; говорят, что он звонил на колокольне еще раньше, чем родилась бабушкина бабушка, и все-таки он ребенок в сравнении с самым водяным, диковинным стариком, в штанах из угриной кожи и чешуйчатой куртке с желтыми кувшинками вместо пуговиц, в волосах у него тростник, борода покрыта зеленою тиной, а это не слишком красиво!

Чтобы пересказать все, о чем звонит колокол, понадобились бы целые годы. Он звонит о том, о сем, повторяет одно и то же не раз и не два, иногда пространно, иногда кратко — как ему вздумается. Он звонит о старых, мрачных, суровых временах...

«На колокольню церкви Санкт-Альбани взбирался монах, молодой, красивый, но задумчивый, задумчивее всех... Он смотрел в слуховое оконце на реку Одессе, русло которой было тогда куда шире, на болото, бывшее тогда озерцом, и на зеленый Монастырский холм. Там возвышался Девичий монастырь; в келье одной монахини светился огонек... Он знал ее когда-то!.. И сердце его билось сильнее при воспоминании о ней!.. Бом-бом!»

Так вот о чем звонит колокол.

«Подымался на колокольню и слабоумный послушник настоятеля. Я мог бы разбить ему лоб своим тяжелым медным краем: он садился как раз подо мною, да еще

в то время, когда я раскачивался и звонил. Бедняк колотил двумя палочками по полу, словно играл на цитре, и пел: «Теперь я могу петь громко о том, о чем не смею и шептать, петь обо всем, что скрыто за тридевятью замками!.. Холодно, сыро!.. Крысы пожирают их заживо!.. Никто не знает о том, никто не слышит — даже теперь, — колокол гудит: бом-бом!»

«Жил-был король, звали его Кнудом. Он низко кланялся и епископам и монахам, но, когда стал теснить ютландцев тяжелыми поборами, они взялись за оружие и прогнали его, как дикого зверя. Он укрылся в церкви, запер ворота и двери. Разъяренная толпа обложила церковь; я слышал ее рев; вороны и галки совсем перепугались и в смятении то взлетали на колокольню, то улетали прочь, тарасились на толпу, заглядывали в окна церкви и громко вопили о том, что видели. Король Кнуд лежал распростертый перед алтарем и молился; братья его, Эрик и Бенедикт, стояли возле него с обнаженными мечами, готовясь защищать короля; но вероломный слуга Блаке предал своего господина.

Толпа узнала, где находится король, и в окно был пущен камень, убивший его на месте... То-то редела и выла дикая толпа, птицы кричали, а я гудел, а я пел: бом-бом-бом!»

Церковный колокол висит высоко, видит далеко! Его навещают птицы, и он понимает их язык! Посещает его и ветер, врываясь в слуховые окна, во все отверстия и щели, а ветер знает обо всем от воздуха, — воздух же есть всюду, где есть жизнь, проникает даже в легкие человека и воспринимает каждый звук, каждое слово, каждый вздох!.. Воздух знает обо всем, ветер рассказывает, колокол внимает ему и звонит на весь мир: бом-бом-бом!..

«Но уж слишком много приходилось мне слушать и узнавать, сил не хватало звонить обо всем! Я устал, ожеледел, и балка обломилась, а я полетел по сияющему воздуху прямо в глубину реки, где живет водяной! Он одинок, и вот я рассказываю ему из года в год о том, что слышал и видел: бом-бом-бом!»

Так вот какой звон раздается из колокольного омуты реки Оденсе, — я слышал об этом от бабушки.

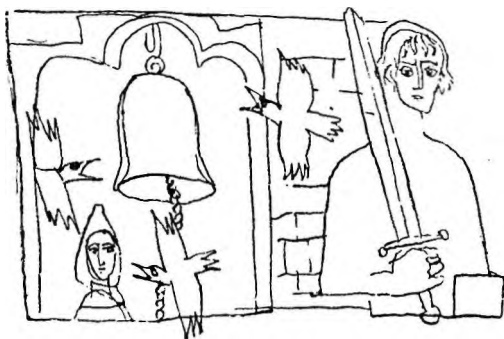
А школьный учитель наш говорит: «Какой там может звонить колокол? Никакого там нет колокола! Нет и водяного — водяных совсем нет!» Когда же слышится

веселый звон церковных колоколов, он говорит, что это звучат, собственно, не колокола, а воздух; воздух производит звук.

То же ведь говорила и бабушка со слов церковного колокола; в этом учитель сошелся с нею, значит, это так и есть.

«Гляди в оба и на себя оглядывайся!» — говорят и бабушка и учитель.

Да, воздух знает обо всем! Он и вокруг нас и в нас, он оглашает все наши мысли, все наши деяния и будет разносить их куда дальше, чем колокол, что лежит в глубине реки у водяного. Воздух разглашает все в небесной глубине, и звуки уносятся выше, дальше, бесконечно далеко, пока не дойдут до небесных колоколов и те, в свою очередь, не зазвонят: бом-бом-бом!





## ВЕТЕР РАССКАЗЫВАЕТ О ВАЛЬДЕМАРЕ ДО И ЕГО ДОЧЕРЯХ



**П**ронесется ветер над травой, и по ней пробежит легкая зыбь, словно по водяной поверхности; пронесется над нивой, и она взволнуется, как море; это пляска ветра. А послушай его рассказы! Он поет их, и голос его звучит на разные лады: в лесу — так, в доме, куда он врывается через слуховые окна, щели и дыры, — иначе. Гляди, как ветер гонит облака; они несутся, точно стадо овец! А слышишь, как он воет в воротах? Будто сторож трубит в рог! Как странно свищет он в трубе и в камине! Дрова трещат и разбрасывают искры; яркий отблеск пламени забирается даже в самые дальние углы комнаты. Как тут тепло, как уютно, как приятно сидеть у камелька и слушать! Пусть только рассказывает сам ветер! Он один знает историй и сказок больше, чем мы все вместе. Слушай же, он начинает:

«У-у-у-у! Проносись!» — это его припев.

— На берегу Большого Бельта есть старая усадьба с красным кирпичным господским домом! — начал ветер. —

Мне там знаком каждый кирпич: я видел их все, когда еще из них сложен был замок Марска Стига; замок разрушился, а кирпичи опять пошли в дело, — из них построили новые ступы, новый дом в усадьбе Борребю; он стоит и посейчас.

Знавал я и всех высокородных владетелей и владельцев усадьбы; много поколений сменилось на моих глазах! Я расскажу теперь о Вальдемаре До и его дочерях!

Высоко держал он свою голову, — в нем текла королевская кровь! И умел он не только оленей травить да кубки осушать, а кое-что получше! Что же именно? «А вот со временем выяснится!» — говорил он.

Супруга его, разодетая в парчовое платье, гордо выступала по блестящему мозаичному полу; обстановка дома была роскошная: гобелены, дорогая резная мебель. А сколько серебряной и золотой посуды принесла госпожа с собой в приданое! В погребах хранилось немецкое пиво — пока там вообще что-то хранилось! В конюшнях ржали великолепные вороные кони. Да, богат был владелец Борребю — пока богатство не ушло.

Были у него и дети, три нежных цветка: Ида, Йоханна и Анна Дортея; я еще помню, как их звали!

Тут мне не случалось видеть, как в других старинных усадьбах, чтобы высокородная госпожа сидела в парадной зале вместе со своими девушками за прялкой. Нет, она играла на звучной лютне и пела, да не одни старые датские песни, а чужеземные, на чужих языках. В усадьбе жилось весело, наезжали знатные гости и из ближних и из дальних мест, раздавалась музыка, звенели бокалы, стон стоял в воздухе, и даже мне не под силу было заглушить его! Да, много тут было шума и треска, здесь царил господская спесь, тут были господа, но не было господа!..

— Был майский вечер, — продолжал ветер, — я только что вернулся с запада; видел, как разбивались о ютландский берег корабли, пронесся над степью и покрытым зелеными лесами берегом, прошумел, просвистел над островом Фюн и водами Большого Бельта и успокоился только у берегов Зеландии. Здесь я улегся возле Борребю в великолепном дубовом лесу — он был еще цел тогда.

По лесу бродили молодые парни из окрестностей и собирали сухой хворост и сухие большие ветви. Набрав охапку, они возвращались в селение, складывали хворост

и ветви в кучи, поджигали их и с песнями принимались плясать вокруг костров. Девушки не отставали от парней.

— Я лежал смиренно, — рассказывал ветер, — и только тихонько дул на ветку, положенную самым красивым молодым парнем. Она вспыхнула ярче всех, и парня выбрали в майские короли, а он выбрал себе из девушек королеву. То-то было веселья, то-то радости! Побольше, чем в богатом господском доме!

А к господскому двору направлялась запряженная пятью лошадьми золоченая карета. В ней сидели сама госпожа и ее дочери, три нежных, юных, прелестных цветка: роза, лилия и бледный гиацинт. Сама мать была пышным тюльпаном; она сидела, вытянувшись в струнку, и не отвечала ни на один поклон, ни на один книксен, которыми приветствовали ее приостановившие пение и пляску поселяне; она словно боялась переломить свою стройную талию, если поклонится!

«А вы, роза, лилия и бледный гиацинт, — да, я, как сейчас, вижу их перед собою, — чьими королевами будете со временем вы? — подумал я. — Вашими избранниками будут благородные рыцари, может быть, принцы!»

У-у-у! Проносись, проносись!

Карета проехала, и поселяне вновь пустились в пляс.

Так-то встречали лето в Борребю, в Тьерребю и других окрестных селениях!

— А ночью, когда я поднялся, — продолжал ветер, — высокородная госпожа слегла и уж больше не вставала. С нею случилось то же, что случается со всеми людьми, — нового тут нет ничего. Вальдемар До постоял с минуту в серьезном раздумье, но «гордое дерево лишь гнется, а не ломается», — звучало в его душе. Дочери плакали, дворня тоже ходила с мокрыми глазами. Но госпожа До все-таки унеслась, унесся и я! У-у-у! — прогудел ветер.

— Я вернулся назад — я часто возвращался назад, пронось над островом Фюн и водами Бельта, — и улегся на берегу моря, в Борребю, возле великолепного дубового леса. В лесу вили себе гнезда морские орлы-рыболовы, лесные голуби, иссиня-черные вороны и даже черные аисты. Стояла ранняя весна; в одних гнездах лежали яйца, в других уже пищали птенцы, а птичьи стаи кричали и летали над лесом как шальные! В лесу раздавались

удары топоров; высокие дубы были обречены на сруб: Вальдемар До собирался выстроить дорогой трехпалубный военный корабль, — его, наверное, купит король! Вот отчего и вырубали лес, примету моряков, убежище птиц. Сорокопугы в ужасе летали взад и вперед: гнезда их были опустошены; морские орлы и другие лесные птицы тоже лишились своих жилищ и кружились в воздухе, крича от страха и злобы. Я понимал их! А вороны и галки выпускали насмешливые крики: «Крах! Разорение! Крах, крах!»

В лесу возле толпы рабочих стоял сам Вальдемар До с тремя дочерьми. Все они смеялись над дикими криками птиц, все, кроме младшей дочери, Анны Дортеи. Ей было жаль птиц, и когда дело дошло до полужасохшего дуба, на голых ветвях которого свил себе гнездо черный аист, она со слезами на глазах стала просить отца не давать рубить дерево, не губить птенцов, высовывавших из гнезда головки. И дуб был пощажён ради черного аиста, — стояло разговаривать об одном дереве!

Пошла рубка и пилка; строили трехпалубный корабль. Сам строитель был не из важного, но все-таки благородного рода. Глаза и лоб обличали его ум, и Вальдемар До охотно слушал рассказы молодого человека. Заслушивалась их и молоденькая Ида, старшая, пятнадцатилетняя дочка владельца Борребю. Строитель же, строя корабль для Вальдемара До, строил воздушный замок для самого себя и для Иды: они сидели в этом замке рядышком, как муж с женою! Оно бы так и случилось, будь его замок настоящим, с каменными стенами, валами, рвами, лесами и садами. Но куда уж воробью соваться в журавлиную пляску! Как ни умен был молодой строитель, все же он был бедняком. У-у-у! Я умчался, и он умчался, — он не смел тут больше оставаться, а Ида примирилась с своею судьбой, что же ей было делать?

— В конюшнях ржали вороные кони, — продолжал ветер, — стояло на них посмотреть! На них и смотрели. Адмирал, посланный самим королем для осмотра и покупки нового военного корабля, громко восхищался ретивыми конями. Я отлично слышал все, — я ведь проходил вслед за господами в открытые двери и сыпал им под ноги золотую солому. Вальдемару До желательно было

получить золото, адмиралу же — вороных коней, оттого-то он и выхвальял их. Но его не поняли, и покупка не состоялась. Корабль как стоял, так и остался стоять на берегу, прикрытый досками, как ноев ковчег; не суждено было ему плавать по синему морю! У-у-у! Проносись! Проносись! — прогудел ветер. — Жалко было смотреть на него!

Зимою, когда снежный ковер покрыл поле, а по Бельту поплыли льдины, а я погнал волны на берег, на корабль налетали стаи черных воронов и ворон, одни чернее других; птицы садились на пустое, брошенное, одинокое судно и злобно шипели и вопили о срубленном лесе, о разоренных, дорогих им гнездах, о лишенных приюта старых птицах и молодых птицах. И все ради чего? Ради этого хлама, этого гордого корабля, которому никогда не суждено быть спущенным на воду!

Я поднял снежный вихрь, и хлопья ложились вокруг корабля волнами. Я дал ему послушать мое пенне и музыку бури: пусть привыкает, на то он и корабль! У-у-у! Проносись!

Пронеслась и зима; зима и лето пронесются, как пронесушь я, как сыплется снег, осыпаются цветы яблони, опадает листва. Проноситесь! Проноситесь! И люди тоже!

Но дочери были еще молоды. Ида по-прежнему цвела, словно роза, как и в то время, когда любовался ею строитель корабля. Я часто играл ее длинными русыми локонами, когда она задумчиво стояла под яблонюю, не замечая, что я осыпаю ее распустившиеся волосы дождем цветов. Она смотрела на красное солнышко и золотой небесный свод, просвечивавший между густыми деревьями сада.

Сестра ее Йоханна была похожа на стройную, блестящую лилию, с гордо откинутою назад головкой и такою же тонкою, хрупкою талией, какая была у матери. Она любила заходить в огромный покой, где висели на стенах портреты ее предков. Знатные дамы были изображены в бархатных и шелковых платьях и унизированных жемчугом шапочках, прикрывавших заплетенные в мелкие косы волосы. Как они были прекрасны! Мужья их носили панцири и латы или плащи на белищем меху с высокими стоячими голубыми воротниками. Мечи у них висели на бедрах, а не у пояса. Где-то будет красоваться со временем портрет Йоханны, и каков-то будет на вид ее благородный супруг? Да, вот о чем она думала, вот что тихо



шептали ее губы. Я подслушал все это, носясь взад и вперед по длинному коридору и врываясь в огромный покой.

Анна Дортея, бледный гиацинт, еще четырнадцатилетняя девочка, была тиха и задумчива. Большие светло-голубые глаза смотрели серьезно и грустно, но на устах порхала улыбка. Я не мог ее сдуть, да и не хотел.

Я часто встречал Анну Дортею в саду, на дороге и в поле; она собирала цветы и травы, которые могли, как она знала, пригодиться ее отцу: он готовлял из них питье и капли. Вальдемар До был горд и смел, но также и знающ! Он много знал! Все это видели, все об этом шептались. Огонь пылал в его комнате даже летом, а дверь всегда была на замке; он работал там дни и ночи, но не любил разговаривать о своей работе: силы природы нужно испытывать в тиши; скоро, скоро он найдет самое лучшее, самое драгоценное на свете — красное золото!

— Вот почему валил из трубы дым, трещали дрова и пылал в камине огонь! Я сам помогал раздувать его! — рассказывал ветер. — «Будет! Будет! — гудел я в трубу Вальдемару До. — Все станет дымом, сажей, золой, пеплом! Ты прогоришь! У-у-у! Проносись! Проносись! Будет! Будет!» Но Вальдемар До стоял на своем.

Куда же девались из конюшен великолепные лошади? Куда девалась из шкафов серебряная и золотая посуда, с полей — коровы, все добро и имение? Да, все это можно расплавить, растопить... расплавить в золотом тигле, но золота из того не получится!

Пусто стало в кладовых, в погребках и на чердаках. Убавилось людей, прибавилось мышей. Одно стекло треснет, другое лопнет, и мне уже не нужно входить непременно в двери! «Где дымится труба, там готовится еда», а тут дымилась такая труба, что пожирала всю еду ради красного золота!

Я гудел в воротах усадьбы, словно сторож трубил в рог, но тут не было больше сторожа! Я вертел башенный флюгер, и он скрипел, будто сторож храпел на вышке, но и там не было больше сторожа! Там были только крысы да мыши. Нищета накрывала в господском доме стол, нищета разместились в шкафах и буфетах; двери соскочили с петель, всюду появились щели и дыры — мне на руку:



доступ стал свободнее! Оттого-то я и знаю, что там творилось.

От дыма и пепла, от забот и бессонных ночей волосы и борода владетеля Борребю поседели, кожа на лице сморщилась и пожелтела, но впалые глаза по-прежнему горели жадным блеском в ожидании золота, желанного золота!

Я дул и обдавал ему лицо и бороду дымом и пеплом; золото все не являлось, зато являлись долги. Я пел свои песни в разбитые окна, щели и дыры, пробирался и в сундуки дочерей, где лежали их полинявшие, изношенные платья, — носить их пришлось без конца, без перемены! Да, не то сулили девушкам песни, что пелись над их колыбелями! Господское житье стало горемычным житьем. Лишь я один пел там громко! — рассказывал ветер. — Я осыпал весь дом снегом, говорят, что снег греет; дров же у них не было, лес был ведь вырублен. Мороз так и трещал. Я носился взад и вперед по всему дому, врвался в слуховые окна и щели, носился над крышей и стенами, — надо было поддержать в себе бодрость! А благородные девицы попрятались от холода в постели; сам отец заполз под меховое одеяло. Ни еды, ни топлива, — вот так господское житье! У-у-у! Проносись! Будет! Будет! Но господину До все было мало.

«За зимою идет весна! — говорил он. — Нужда смениится довольством! Но оно заставляет себя ждать! Теперь имение заложено, ждать больше нельзя, но золото явится скоро... к пасхе!»

Я слышал, как он шептал пауку: «Ты прилежный, маленький ткач, ты учишь меня терпению! Разорвут твою ткань, ты начинаешь сначала и опять доводишь ее до конца! Разорвут опять — опять начинаешь сначала, сначала, сначала! Так и следует! Награда же впредь!»

Но вот и первый день пасхи; зазвонили колокола, в небе заиграло солнышко. Вальдемар До лихорадочно работал всю ночь, варил, охлаждал, мешал, перегонял. Я слышал, как он тяжело вздыхал, как горячо молился, я видел, как он сидел за работой, боясь перевести дух. Лампа его потухла — он не замечал. Я раздул уголья, они загтели и осветили его бледное как мел лицо и впалые глаза. Вдруг они расширились, еще, еще... глаза готовы были выскочить!

Гляди в стеклянный сосуд! Блестит. Горит, как жар... Что-то яркое, тяжелое! Он подымает сосуд дрожащею

рукою и, задыхаясь от волнения, восклицает: «Золото! Золото!» Он шатался, я мог бы свалить его с ног одним дуновением! Но я только раздул горячие угли и проводил его в комнату, где мерзли дочери. Платье его все было в золе, борода и всклокоченные волосы — тоже. Он выпрямился и высоко поднял сокровище, лежавшее в хрупком стеклянном сосуде. «Нашел! Нашел! Золото!» — закричал он и протянул им сосуд, заискрившийся на солнце, но... рука его дрогнула, сосуд упал на пол и разбился вдребезги! Последний радужный мыльный пузырь надежды лопнул! У-у-у! Пронось! И я унесся из дома алхимика.

Позднею осенью, когда настали короткие дни, а туман развесил свои мокрые лохмотья и выжимал их над красными ягодами и обнаженными ветвями деревьев, я вернулся, свежий и бодрый, подул и прочистил небо да, кстати, пообломал гнилые ветви — работа не бог весть какая, но сделать ее все-таки нужно. В господском доме в Борребю тоже было чисто, словно ветром выметено, но на другой лад. Недруг Вальдемара До, Ове Рамель из Баснеса, явился в Борребю с закладным листом на имение: теперь и дом и все имущество принадлежали ему! Я изо всех сил принялся гудеть в разбитые окна, хлопать сорвавшимися с петель дверями, свистеть в щели и дыры: у-у-у! Пусть не захочется господину Ове остаться тут! Ида и Анна Дортея заливались горькими слезами; Йоханна стояла, гордо выпрямившись, бледная как смерть, и так стиснула зубами свой палец, что брызнула кровь. Но помощи от этого было мало! Ове Рамель позволил господину До остаться жить в доме до самой смерти, но ему и спасибо за это не сказали. Я ведь все слышал и видел, как бездомный дворянин гордо вскинул голову и выпрямился. Тут я с такою силою ударил по крыше и по старым липам, что сломал самую толстую и вовсе не гниющую ветвь; она упала возле ворот и осталась там лежать, словно метла, на случай, если понадобится что-нибудь вымести. И вывели — прежних владельцев!

Тяжелый выдался день, горький час, но душа была тверда, спина не гнулась.

Ничего у них не осталось, кроме того, что было на теле да вновь купленного стеклянного сосуда, в который собрали с пола рассыпавшееся сокровище, так много обещавшее, но не сдержавшее своих обещаний. Вальдемар До спрятал его на груди, взял посох в руки; и вот некогда

богатый владделец поместья вышел со своими тремя дочерьми из Борребю. Я охлаждал своим дуновением его горячие щеки, гладил по бороде и длинным седым волосам и пел, как умел: «У-у-у! Проносись! Проносись!» Вот каков был конец дворянского великолепия!

Ида и Анна Дортея шли рядом с отцом; Йоханна, выходя из ворот, обернулась назад. К чему? Счастье ведь не обернется! Она посмотрела на красные кирпичные стены, выстроенные из кирпичей замка Марека Стига, и вспомнила о его дочерях.

И старшая, младшую за руку взяв,  
Пустилась бродить с ней по свету.

Вспомнила ли Йоханна эту песню? Теперь изгнанниц было три да четвертый отец. И они поплелись по дороге, по которой, бывало, ездили в карете, поплелись в поле Смидструпа, к жалкой мазанке, нанятой ими за десять марок в год. Новое господское жилье, пустые стены, пустая посуда. Вороны и галки летали над ними и насмешливо кричали: «Крах! Крах! Разорение! Крах!» — так же кричали они в лесу Борребю, когда деревья падали под ударами топора.

Господин До и его дочери хорошо поняли эти крики, хоть я и дул им в уши изо всех сил, — стоило ли слушать?!

Они вошли в мазанку, а я понесся над болотами и полями, над голыми кустами и общипанными лесами, к открытому морю, в другие страны. У-у-у! Проносись! Проносись! И так из года в год.

Но что же случилось с Вальдемаром До, что случилось с его дочерьми? А вот сейчас ветер расскажет.

— Последней я видел Анну Дортею, бледный гиацинт, но она была уже сгорбленной старухой, — прошло ведь целых пятьдесят лет. Она пережила всех и знала обо всем.

В степи, близ города Виборга, стоял новый красивый красный кирпичный дом священника. Густой дым вился из трубы. Кроткая жена священника и красавицы дочери сидели у окна и смотрели через кусты садового терна в степь. Что же они видели там? Они смотрели на гнездо аиста, лепившееся на крыше полуразвалившейся избушки.

Крыша вся поросла мхом и диким чесноком, и покрывалато избушку главным образом не она, а гнездо аиста! Оно только одно ведь и чинилось; держал его в порядке сам аист.

— На избушку эту можно было только смотреть, но уж никак не дотрагиваться до нее! Даже мне приходилось дуть здесь с опаскою! — сказал ветер. — Только ради гнезда аиста избушку и оставляли стоять, а то бы такой хлам давно сломали. Семья священника не хотела выгнать аиста, и вот избушка уцелела, а в ней жила бедная старуха. За приют она могла благодарить египетскую птицу, или, может быть, это аист благодарил ее за то, что она вступилась когда-то за гнездо его черного брата, жившего в лесу Борребю? В те времена нищая старуха была нежным ребенком, бледным гиацинтом из дворянского цветника. И Анна Дортея помнила все.

«О-ох! — Да, и люди вздыхают, как ветер в тростнике и осоке. — О-ох! Не звонили колокола над твоею могилою, Вальдемар До! Не пели бедные школьники, когда бездомного владельца Борребю опускали в землю!.. Да, всему, всему наступает конец, даже несчастью!.. Сестра Ида вышла замуж за крестьянина. Вот это нанесло отцу жесточайший удар! Муж его дочери — жалкий раб, которого господин может посадить на кобылку!.. Теперь и он, наверно, в земле и сестра Ида!.. Да, да! Только мне, бедной, бог конца не посылает! Ох, освободи же меня, Иисусе Христе!»

Так молилась Анна Дортея в своей жалкой избушке, уцелевшей лишь благодаря аисту.

— О самой же здоровой и смелой из сестер я сам позаботился! — продолжал ветер. — Она надела платье, которое больше было ей по вкусу: переделась парнем и нанялась в матросы на корабль. Скупа была она на слова, сурова на вид, но с делом своим справлялась, только лазить не умела! Ну, я и сдул ее в воду, пока не узнали, что она женщина, и хорошо сделал!

Был первый день пасхи, как и тогда, когда Вальдемар До думал, что нашел золото, и я услышал под крышей с гнездом аиста пение псалма, последнюю песнь Анны Дортеи.

В избушке не было даже окна, а просто круглое отверстие в стене; взошло солнце, словно золотой шар, и лучи его проникли в отверстие. Что за блеск разлился по

избушке! Взор Анны Дортеи не вынес и закрылся навеки, сердце перестало биться! Солнце, впрочем, было тут ни при чем; случилось бы то же, если бы оно и не восходило в то утро.

Аист давал Анне Дортеи кров до самой ее смерти. Я пел и над ее могилою и над могилою ее отца, — я знаю, где и та и другая, а кроме меня, не знает никто.

Новые времена, другие времена! Старая проезжая дорога упирается теперь в огороженное поле, по могилам проходит новая, а скоро пронесется тут и паровоз, таща за собою ряд вагонов и шумно гремя над забытыми могилами. У-у-у! Проносись!

— Вот вам и вся история про Вальдемара До и его дочерей. Расскажи ее лучше, кто сумеет! — закончил ветер и повернул в другую сторону.

И след его простыл.





## ДЕВОЧКА, НАСТУПИВШАЯ НА ХЛЕБ



**В**ы, конечно, слышали о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачков, слышали и о том, как плохо ей потом пришлось. Об этом и написано и напечатано.

Она была бедная, но гордая и спесивая девочка. В ней, как говорится, были дурные задатки. Крошкой она любила ловить мух и обрывать у них крылышки; ей нравилось, что мухи из летающих насекомых превращались в ползающих. Ловила она также майских и навозных жуков, насаживала их на булавки и подставляла им под ножки зеленый листик или клочок бумаги. Бедное насекомое ухватывалось ножками за бумагу, вертелось и изгибалось, стараясь освободиться от булавки, а Инге смеялась:

— Майский жук читает! Ишь, как переворачивает листок!

С годами она становилась скорее хуже, чем лучше; к несчастью своему, она была прехорошенькая, и ей хоть и доставались щелчки, да все не такие, какие следовало.



— Крепкий нужен щелчок для этой головы! — говорила ее родная мать. — Ребенком ты часто топтала мой передник, боюсь, что, выросши, ты растопчешь мне сердце! Так оно и вышло.

Инге уехала и поступила в услужение к знатным господам, в помещичий дом. Господа обращались с нею как с своею родной дочерью, и в новых нарядах Инге, казалось, еще похорошела, зато и спесь ее все росла да росла. Целый год прожила она у хозяев, и вот они сказали ей:

— Ты бы навестила своих стариков, Инге!

Инге отправилась, но только для того, чтобы показаться родным в полном параде. Она уже дошла до окрестности родной деревни, да вдруг увидала, что около пруда стоят и болтают девушки и парни, а неподалеку на камне отдыхает ее мать с охапкой хвороста, собранного в лесу. Инге — марш назад: ей стало стыдно, что у нее, такой нарядной барышни, такая оборванная мать, которая вдобавок сама таскает из лесу хворост. Инге даже не пожалела, что не повидалась с родителями, она только разозлилась.

Прошло еще полгода.

— Надо тебе навестить своих стариков, Инге! — опять сказала ей госпожа. — Вот тебе белый хлеб, снеси его им. То-то они обрадуются тебе!

Инге нарядилась в самое лучшее платье, надела новые башмаки, приподняла платьице и осторожно пошла по дороге, стараясь не запачкать башмачков, — ну, за это и упрекать ее нечего. Но вот тропинка свернула на болото; идти надо было по грязи. Не долго думая, Инге бросила в грязь свой хлеб, чтобы наступить на него и перейти лужу, не замочив ног. Но едва она ступила на хлеб одною ногой, а другую приподняла, собираясь шагнуть на сухое место, хлеб начал погружаться с нею все глубже и глубже в землю, — только черные пузыри пошли по луже!

Вот какая история!

Куда же попала Инге? К болотнице в пивоварню. Болотница приходится теткой лешим и лесным девам; это всем известно: про них и в книгах написано, и песни сложены, и на картинах их изображали не раз, о болотнице же известно очень мало; только когда летом над лугами подымается туман, люди говорят: «болотница пиво варит!» Так вот, к ней-то в пивоварню и провалилась Инге, а тут долго не выдержишь! Помойка — светлый, роскошный покой в сравнении с пивоварней болотницы!



От каждого чана разит так, что человека тошнит, а таких чанов тут видимо-невидимо, и стоят они плотно-плотно один возле другого; если же между некоторыми и отыщется где щелочка, то тут сейчас наткнешься на съжившихся в комок мокрых жаб и жирных лягушек. Да, вот куда попала Инге! Очутившись среди этого холодного, липкого, отвратительного живого месива, Инге задрожала и почувствовала, что ее тело начинает коченеть. Хлеб крепко прильнул к ее ногам и тянул ее за собой, как янтарный шарик соломинку.

Болотница была дома; пивоварню посетили в этот день гости: черт и его прабабушка, ядовитая старушка. Она никогда не бывает праздною, даже в гости берет с собою какое-нибудь рукоделие: шьет из кожи башмаки, надев которые, человек теряет покой, или вышивает сплетни, или, наконец, вяжет необдуманные слова, срывающиеся у людей с языка, — все во вред и на пагубу людям! Да, чертова прабабушка — мастерица шить, вышивать и вязать!

Она увидала Инге, поправила очки, посмотрела на нее еще и сказала:

— Да она с задатками! Я попрошу вас уступить ее мне на память о сегодняшнем посещении! Из нее выйдет отличный истукан для передней моего правнука!

Болотница уступила ей Инге, и девочка попала в ад, — люди с задатками могут попасть туда и не прямым путем, а окольным!

Передняя уходила в бесконечность; поглядеть вперед — голова закружится, оглянуться назад — тоже. И вся она запружена изнемогающими грешниками, ожидавшими, что вот-вот двери милосердия отворятся. Долгонько приходилось им ждать! Большущие, жирные, переваливающиеся с боку на бок пауки оплели их ноги тысячелетнею паутиной; она сжимала их, точно клещами, сковывала крепче медных цепей. Кроме того, души грешников терзались вечно мучительною тревогой. Скупой, например, терзался тем, что оставил ключ в замке своего денежного ящика, другие... да и конца не будет, если примемся перечислять терзания и муки всех грешников!

Инге пришлось узнать, как мучительно быть истуканом; ноги ее были словно привинчены к хлебу.

«Вот и будь опрятной! Мне не хотелось запачкать башмаков, и вот какво мне теперь! — говорила она самой себе. — Ишь, тарачатся на меня!» Действительно, все

грешники глядели на нее; дурные страсти так и светились в их глазах, говоривших без слов; ужас брал при одном взгляде на них!

«Ну, на меня-то приятно и посмотреть! — думала Инге. — Я и сама хорошенькая и одета нарядно!» И она постаралась скосить глаза и поглядеть на себя, ведь шея у нее не ворочалась. Ах, как она выпачкалась в пивоварне болотницы! Об этом она и не подумала! Платье ее все сплошь было покрыто слизью, уж вцепился ей в волосы и хлопал ее по шее, а из каждой складки платья выглядывали жабы, лаявшие, точно жирные охрипшие моськи. Очень было неприятно! «Ну, да и другие-то здесь выглядят не лучше моего!» — утешала себя Инге.

Но хуже всего было чувство страшного голода. Неужели ей нельзя нагнуться и отломить кусочек хлеба, на котором она стоит? Нет, спина не сгибалась, руки и ноги не двигались, она вся будто окаменела и могла только поводить глазами во все стороны, даже выворачивать их из орбит и глядеть назад. Фу, как это выходило гадко! И вдобавок ко всему явились мухи и начали ползать по ее глазам взад и вперед; она моргала глазами, но мухи не улетали, — крылья у них были общипаны, и они могли только ползать. Вот была мука! А тут еще этот голод! Под конец Инге стало казаться, что внутренности ее пожрали самих себя и внутри у нее стало пусто, ужасно пусто!

— Ну, если это будет продолжаться долго, я не выдержу! — сказала Инге, но выдержать ей пришлось; перемены не наступало.

Вдруг на голову ей капнула горячая слеза, скатилась по лицу на грудь и потом на хлеб; за нею другая, третья, целый град слез. Кто же мог плакать об Инге?

А разве у нее не оставалось на земле матери? Горькие слезы матери, проливаемые ею из-за своего ребенка, всегда доходят до него, но не освобождают его, а только жгут, увеличивая его муки. Ужасный, нестерпимый голод был, однако, хуже всего! Топтать хлеб ногами и не быть в состоянии отломить от него хоть кусочек! Ей казалось, что все внутри ее пожрало само себя, и она стала тонкою, пустою тростинкой, втягивавшею в себя каждый звук. Она явственно слышала все, что говорили о ней там, наверху, а говорили-то одно дурное. Даже мать ее, хоть и горько, искренно оплакивала ее, все-таки повторяла: «Спесь до добра не доводит! Спесь и сгубила тебя, Инге! Как ты огорчила меня!»

И мать Инге и все там, наверху, уже знали о ее грехе, знали, что она наступила на хлеб и провалилась сквозь землю. Один пастух видел все это с холма и рассказал другим.

— Как ты огорчила свою мать, Инге! — повторяла мать. — Да я другого и не ждала!

«Лучше бы мне и не родиться на свет! — думала Инге. — Какой толк из того, что мать теперь хнычет обо мне!»

Слышала она и слова своих господ, почтенных людей, обращавшихся с нею как с дочерью: «Она большая грешница! Она не чтит даров господних, попирает их ногами! Не скоро откроются для нее двери милосердия!»

«Воспитывали бы меня получше, построже! — думала Инге. — Выгоняли бы из меня пороки, если они во мне сидели!»

Слышала она и песню, которую сложили о ней люди, песню «о спесивой девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать башмаков». Ее распевали по всей стране.

«Чего только мне не приходится выслушивать! Как я страдаю за мою провинность! — думала Инге. — Пусть бы и другие поплатились за свои! А скольким бы пришлось! У, как я терзаюсь!»

И душа Инге становилась еще грубее, еще ожесточеннее.

— В таком обществе, как здесь, лучше не станешь! Да я и не хочу! Ишь, таращатся на меня! — говорила она и вконец озлобилась на всех людей. — Обрадовались, нашли теперь, о чем галдеть! У, как я терзаюсь!

Слышала она также, как историю ее рассказывали детям, и малютки называли ее безбожницею.

— Она такая гадкая! Пусть теперь помучается хорошенько! — говорили дети.

Только одно дурное слышала о себе Инге из детских уст.

Но вот раз, терзаясь от голода и злобы, слышит она опять свое имя и свою историю. Ее рассказывали одной невинной маленькой девочке, и малютка вдруг залилась слезами о спесивой, суетной Инге.

— И неужели она никогда не вернется сюда, наверх? — спросила малютка.

— Никогда! — ответили ей.

— А если она попросит прощения, обещает никогда больше так не делать?

— Да она вовсе не хочет просить прощения!

— Ах, как бы мне хотелось, чтобы она попросила про-

щения! — сказала девочка и долго не могла утешиться. — Я бы отдала свой кукольный домик, только бы ей позволили вернуться на землю! Бедная, бедная Инге!

Слова эти дошли до сердца Инге, и ей стало как будто полегче: в первый раз нашлась живая душа, которая сказала: «бедная Инге!» и не прибавила ни слова о ее грехе. Маленькая невинная девочка плакала и просила за нее!.. Какое-то странное чувство охватило душу Инге; она бы, кажется, заплакала сама, да не могла, и это было новым мучением.

На земле годы летели стрелою, под землю же все оставалось по-прежнему. Инге слышала свое имя все реже и реже, — на земле вспоминали о ней все меньше и меньше. Но однажды долетел до нее вздох: «Инге! Инге! Как ты огорчила меня! Я всегда это предвидела!» Это умирала мать Инге.

Слышала она иногда свое имя и из уст старых хозяев. Хозяйка, впрочем, выражалась всегда смиренно: «Может быть, мы еще свидимся с тобою, Инге! Никто не знает, куда попадет!»

Но Инге-то знала, что ее почтенной госпоже не пасть туда, куда попала она.

Медленно, мучительно медленно ползло время.

И вот Инге опять услышала свое имя и увидела, как над нею блеснули две яркие звездочки: это закрылась на земле пара кротких очей. Прошло уже много лет с тех пор, как маленькая девочка неутешно плакала о «бедной Инге»; малютка успела вырасти, состариться и была отозвана господом богом к себе. В последнюю минуту, когда в душе вспыхивают ярким светом воспоминания целой жизни, вспомнились умирающей и ее горькие слезы об Инге, да так живо, что она невольно воскликнула: «Господи, может быть, и я, как Инге, сама того не ведая, попирала ногами твои всеблагие дары, может быть, и моя душа была заражена спесью, и только твое милосердие не дало мне пасть ниже, но поддержало меня! Не оставь же меня в последний мой час!»

И глаза умирающей закрылись, но очи души ее отверзлись, и так как об Инге была ее последняя мысль, то она и узрела своим духовным взором то, что было скрыто от земного — увидала, как низко пала Инге. При этом зрелище благочестивая душа залилась слезами и явилась к престолу царя небесного, плача и молясь о грешной душе так же искренно, как плакала ребенком. Эти рыдания

и мольбы отдались эхом в пустой оболочке, заключавшей в себе терзающуюся душу, и душа Инге как бы переродилась от этой неожиданной любви к ней. Божий ангел плакал о ней! Чем она заслужила это? Измученная душа оглянулась на всю свою жизнь, на все содеянное ею и залилась слезами, каких никогда не знавала Инге. Жалость к самой себе наполнила ее: ей казалось, что двери милосердия останутся для нее запертыми на веки вечные! И вот едва она с сокрушением осознала это, в подземную пропасть проник луч света, сильнее солнечного, который растопляет снеговика, слепленного на дворе мальчуганами, и быстрее, чем тает на теплых губах ребенка снежинка, растаяла окаменелая оболочка Инге. Маленькая птичка молнией взвилась из глубины на волю. Но, очутившись на белом свете, она съежилась от страха и стыда, — она всех боялась и стыдилась и поспешно спряталась в темную трещину в какой-то полуразрушенной стене. Тут она и сидела, съежившись, дрожа всем телом, не издавая ни звука, — у нее и не было голоса. Долго сидела она так, прежде чем осмелилась оглядеться и полюбоваться всем, что ее окружало. Да, было чем полюбоваться! Воздух был свеж и мягок, ярко сиял месяц, деревья и кусты благоухали; в уголке, где укрылась птичка, было так уютно, а платьице из перышек на ней было такое чистенькое, нарядное. Какая любовь, какая красота были разлиты в божьем мире! И все мысли, что шевелились в груди птички, готовы были вылиться в песне, но птичка не могла петь, как ей ни хотелось этого; не могла она ни прокуковать, как кукушка, ни защелкать, как соловей! Но господь слышит даже немую хвалу червяка и услышал и эту безгласную хвалу, что мысленно неслась к небу, как псалом, звучавший в груди Давида, прежде нежели он нашел для него слова и мелодию.

Немая хвала птички росла день ото дня и только ждала случая вылиться в добром деле.

Настал сочельник. Крестьянин поставил у забора шест и привязал к верхушке его необмолоченный сноп овса — пусть и птички весело справят праздник рождества!

В рождественское утро встало солнце и осветило сноп; живо налетели на угощение щбетуньи птички. Из щелины в стене тоже раздалось: пи-пи! Мысль вылилась в звук, слабый писк был настоящим гимном радости; мысль готовилась воплотиться в добром деле, и птичка

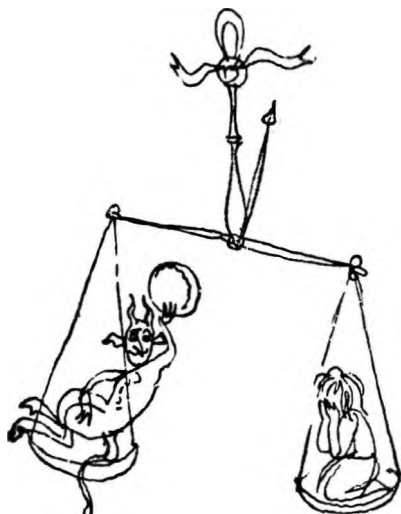
вылетела из своего убежища. На небе знали, что это была за птичка.

Зима стояла суровая, воды были скованы толстым льдом, для птиц и зверей лесных наступили трудные времена. Маленькая птичка летела над дорогой, отыскивая и находя в снежных бороздах, проведенных санями, зернышки, а возле стоянок для кормежки лошадей — крошки хлеба; но сама она съедала всегда только одно зернышко, одну крошку, а затем сзывала кормиться других голодных воробышков. Летала она и в города, осматривалась кругом и, увидев накрошенные из окна милосердную рукой кусочки хлеба, тоже съедала лишь один, а все остальное отдавала другим.

За зиму птичка собрала и роздала так много хлебных крошек, что все они вместе весили столько же, сколько хлеб, на который наступила Инге, чтобы не запачкать башмаков. И когда была найдена и отдана последняя крошка, серые крылья птички превратились в белые и широко распустились.

— Вон летит морская ласточка! — сказали дети, увидав белую птичку. Птичка то ныряла в волны, то взвивалась навстречу солнечным лучам и вдруг исчезла в этом сиянии. Никто не видал, куда она делась.

— Она улетела на солнышко! — сказали дети.







## КОЛОКОЛЬНЫЙ СТОРОЖ ОЛЕ



**В** мире все идет то в гору, то под гору, то под гору, то в гору! Мне уж выше не подняться! — говаривал колокольный сторож Оле. — В гору — под гору, под гору — в гору, это всем приходится испытать! Под конец же все мы, в сущности, становимся колокольными сторожами — смотрим на жизнь и вещи сверху вниз.

Так говаривал мой приятель Оле, колокольный сторож, веселый, словоохотливый старик. Казалось, у него что на уме, то и на языке, но он много чего таил у себя на душе. Происхождения он был хорошего; поговаривали, что он сын важного чиновника или мог бы быть им; он получил образование, побывал помощником учителя, потом помощником пономаря, но толку из того не вышло! Оле жил у пономаря на всем готовом, а он был в те времена еще молод и любил-таки шегольнуть, как говорится; ну вот он и требовал для своих сапог глянец-ваксы, а пономарь отпускал ему только простую смазку, оттого они и не ладили. Один заговорил о скупости, другой — о сует-

мости; вакса стала черною причиной их ссоры, и они расстались. Но требования Оле остались те же: он и от всего света требовал глянец-ваксы, а получал всегда только простую смазку; вот он и ушел от людей, сделался отшельником. Но отшельническую келью, да еще с куском хлеба, можно найти в большом городе только на колокольне. Туда-то и забрался Оле и прохаживался по вышке один-одинешенек, покуривая свою трубочку. Глядел он вниз, глядел и вверх и рассказывал о том, что видел и чего не видел, что прочел в книгах и что — в своей душе. Я часто снабжал его книгами, только хорошими: скажи, с кем водишься, и я скажу, кто ты таков! Оле не любил назидательных английских романов, не любил и французских, состряпанных из ветра и розовых лепестков. Он просил у меня описаний жизни людей и чудес природы. Я навещал Оле по крайней мере раз в год, обыкновенно вскоре после Нового года: в это время у приятеля моего всегда находилось о чем поговорить, всегда было в запасе что-нибудь такое, имеющее связь с переменой года.

Расскажу здесь о двух посещениях, стараясь, по возможности, держаться собственных слов Оле.

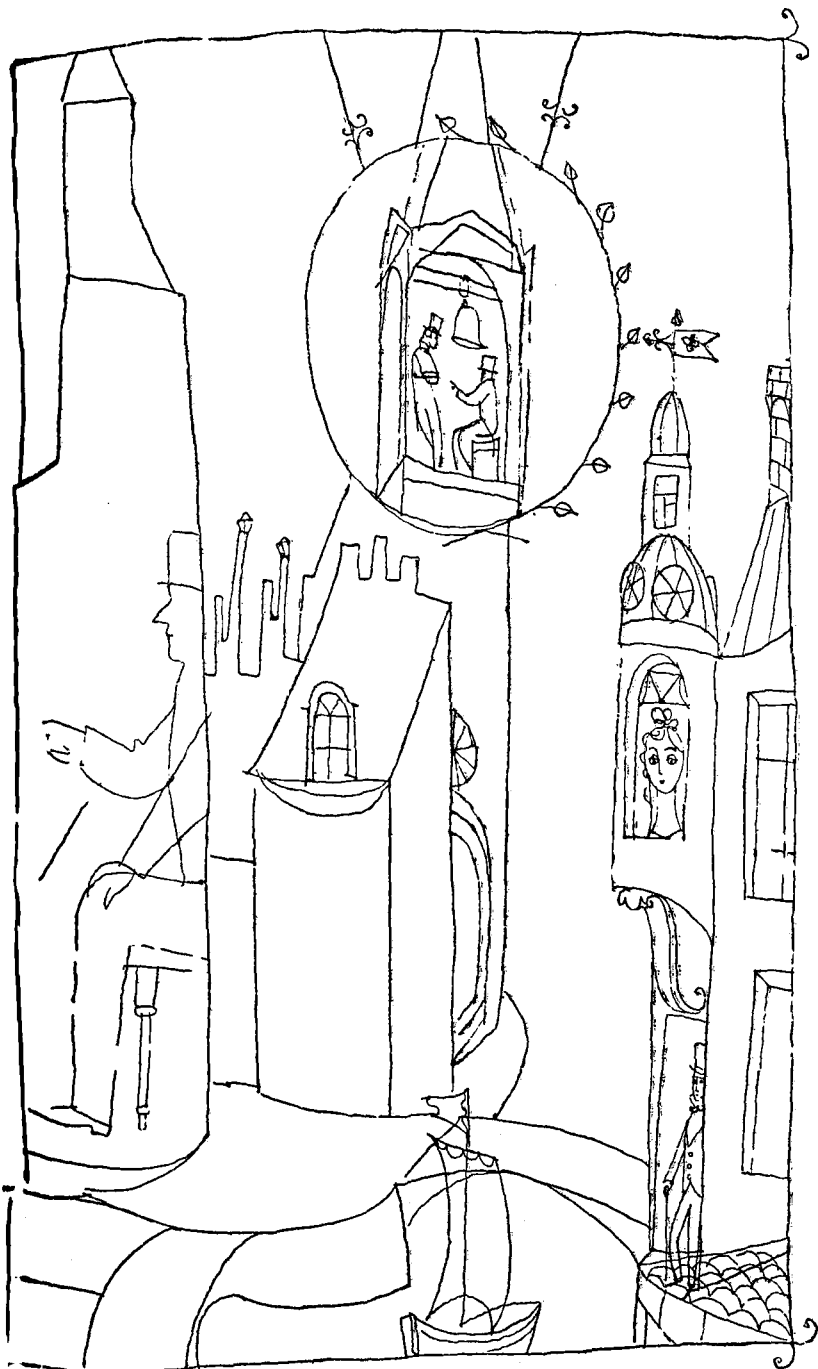
#### ПОСЕЩЕНИЕ ПЕРВОЕ

В числе книг, которые я принес Оле в последний раз, была одна о валунах; она-то особенно и понравилась ему.

— Вот чей юбилей следует отпраздновать — юбилей валунов! — сказал мне Оле. — А мимо них проходят, даже не замечая их. Я сам так делал, гуляя по полю и по берегу, где их лежат сотни. На мостовой же эти остатки седой старины равнодушно попираются ногами! И я делал то же! Но теперь я смотрю на каждый камень мостовой с глубоким почтением! Спасибо за эту книжку! Она захватила меня, оттеснила все привычные мысли, и мне теперь не терпится прочесть побольше таких книг. Роман земли все-таки интереснее всех романов! Жаль только, что нельзя прочесть первых его глав: они написаны на таком языке, которому мы не учились; приходится читать по слоям, кремневым пластам различных земных периодов, а действующие лица, Адам и Ева, появляются только в шестой главе. Некоторым читателям такое появление кажется несколько запоздалым: им подавай живых лиц

в самом начале земного романа, ну, а мне все равно. Да, это роман самый что ни на есть увлекательный, и все мы выведены в нем! Мы барактаемся, копошимся, ползаем и — все ни с места, а шар-то вертится себе да вертится, не выливая на нас океана. Корка, по которой мы ходим, тверда, так что мы не проваливаемся, и вот роман тянется миллионы лет, а продолжение все впереди. Спасибо за книгу о валунах! Вот молодцы! Умей они говорить, они бы рассказали кое о чем! Право, забавно этак, сидя тут, на вышке, превратиться в нуль, вспомнив, что все мы со всею нашею глянец-ваксой, орденами, продвижением вперед — только минутные муравьи на земной куче! Да, чувствуешь себя таким молокососом в сравнении с этими миллионнолетними валунами, что просто неловко становится. Я читал книгу как раз под Новый год и так углубился в нее, что позабыл доставить себе обычное удовольствие — поглядеть, как «мчится на Амагер дикая орда». Да, вы-то, пожалуй, об этом и не знаете!

О полете ведьм на шабаш знают все; это бывает в Иванову ночь, и слетаются они на гору Брокен. Но у нас бывает свой, туземный и современный шабаш на Амагере в ночь под Новый год. Все плохие поэты и поэтессы, музыканты, журналисты и другие никуда не годные артистические величины мчатся в ночь под Новый год по воздуху на Амагер; летят они верхом на кисточках или гусяных перьях, — стальные не годятся: слишком тверды, не гнутся. Я, как сказано, смотрю на эту дикую орду каждый год и многих из путешественников мог бы назвать вам по именам — не стоит только связываться! Им смерть не хочется, чтобы люди знали об их ежегодном ночном путешествии верхом на перьях на Амагер, но у меня есть одна дальняя родственница, торговка рыбой и поставщица бранных слов в три уважаемые газеты, как она говорит, — и она раз присутствовала на таком шабаше в качестве гостьи. Ее принесли туда, так как сама она не держит в руках пера и верхом ездить не умеет. Так вот, она-то мне обо всем и рассказала. Половина ее рассказов — ложь, но и остальной половины довольно. Начался праздник песнями; каждый из гостей написал свою и пел свою, — она ведь была лучше всех! Да и не все ли равно? Все пели на один лад! Затем «труженики языка» маршировали небольшими отрядами. Тут были и звонари, что звонят по домам, и маленькие барабанщики, что барабанят



в семействах. Потом те, кому нужно было, познакомились с писаками, что пускают свои статейки без подписи — чтобы смазка могла сойти за глянец-ваксу! Между ними были палач и его подручный; подручный-то и был самым резким на язык, — иначе на него ведь не обратили бы внимания! Был тут и мусорщик, который вываливал из ящика мусор, приговаривая: «Хорошо, очень хорошо, замечательно хорошо!» В самый разгар «веселья» из помойной ямы вырос стебель, дерево, чудовищный цветок, огромный гриб, целая крыша; это была «елка» честного собрания; на ней было навешано все, что они в продолжение старого года дали миру. От нее сыпались искры — словно блуждающие огоньки летали; это были заимствованные мысли и взятые напрокат идеи, которыми участники веселья пользовались; теперь они освободились и взлетели на воздух фейерверком. Началась игра в «жгут горит», поэтишки же играли в «сердце горит», краснобай сыпали остротами — иначе они не могут, — и остроты гремели, точно разбивались о двери пустые горшки или горшки с золою. Ужасно весело было, по словам моей родственницы! Собственно говоря, она высыпала еще с три короба злых, но остроумных замечаний, но я не стану повторять их: надо быть добрыми людьми, а не критиками. Теперь вы поймете, что я, зная о таком празднике, не упускаю случая ежегодно в ночь под Новый год посмотреть, как мчится дикая орда. Иной год случается мне хватиться некоторых прошлогодних путешественников, зато прибавляется обыкновенно и несколько новых. Нынешний же год я прозевал зрелище. Я катился вместе с валунами через миллионы лет, видел, как они отрывались от скал Севера, скатывались вниз, плавали на льдинах задолго до построения Ноева ковчега, падали в воду, погружались на дно и вновь подымались на поверхность вместе с песчаной отмелью, которая говорила: «Здесь будет Зеландия!» Я видел, как эти камни служили прибежищем для неизвестных нам пород птиц, тронем для предводителей диких дружин, имен которых мы тоже не знаем; видел, наконец, как на некоторых из камней вырубил топором рунические знаки. Этим камням, таким образом, отведено место в счислении времени, зато сам я окончательно потерял всякое представление о времени, превратился в нуль... В это время с неба упали три-четыре прелестные звездочки, и мысли мои приняли другой оборот. Вы знаете, что



такое падающие звезды? Ученые ведь этого не знают! Я смотрю на них по-своему.

Как часто посылают люди тайное, немое спасибо человеку, совершившему нечто прекрасное, доброе; спасибо это беззвучно, но оно не пропадает даром. По-моему, это молчаливое, тайное спасибо подхватывается солнечным лучом, который затем и возлагает его на голову благодетеля. Если же случается, что целый народ посылает такое спасибо давно умершему благодетелю, с неба падает на его могилу яркий букет — звездочка. И мне доставляет истинное удовольствие угадывать, особенно в ночь под Новый год, кому назначается этот благодарственный букет. В последний раз звезда упала на юго-западный берег; это было спасибо многим, многим! Кому же именно? По-моему, звезда упала на крутой берег Фленсбургского фиорда, где развевается Даннеброг над могилами Шлэпнегреля, Лэссё и их товарищей<sup>1</sup>. Потом раз я видел, как скатилась звезда в самую середину страны — в Сорё, на

---

<sup>1</sup> Речь идет о датских офицерах, павших геройскую смертью в первую датско-прусскую войну (1848—1850).

могилу Хольберга. Это было спасибо от многих читателей его дивных комедий!

И что за великая, радостная мысль — сознавать, что на твою могилу скатится такая звездочка!.. На мою-то не упадет ни одна, ни один солнечный луч не принесет мне спасибо — не за что! Мне не удалось добиться глянца-ваксы; моя судьба — довольствоваться простою смазкой.

#### ПОСЕЩЕНИЕ ВТОРОЕ

В первый день Нового года я поднялся на колокольню, и Оле заговорил о тостах, под которые осушаются бокалы по случаю перехода от старой канители — как он назвал год — к новой. Тут я услышал от него историю о бокалах, и в ней была недурная мысль.

— Едва часы в ночь под Новый год пробьют двенадцать, люди встанут с мест с полными бокалами в руках и пьют за Новый год. Год начинают с бокалами в руках — недурное начало для пьяниц! Начинают год тем, что ложатся спать, — хорошее начало для лентяев! И сон и бокалы действительно играют в течение года немалую роль! А знаете вы, что в бокалах? — спросил меня Оле. — В них здоровье, радость и веселье! Но в них же и злополучие и величайшие несчастья! Считаю бокалы, я, конечно, подразумеваю степени опьянения.

Вот первый бокал, бокал здоровья! В нем растет цветок здоровья; посади его в своем доме и к концу года будешь сидеть в беседке здоровья!

Возьмете второй бокал — из него вылетает птичка; она невинно-радостно щебечет; человек прислушивается и невольно подпевает ей: «Жизнь прекрасна! Не надо вешать носа! Смело вперед!»

Из третьего бокала вылетает маленькое крылатое существо; ангелочком его назвать нельзя — он из породы домовых, но не издевается, а только шутит. Он прильнет к уху человека и начнет шептать забавные выдумки, уляжется у его сердца и так согревает его, что человеку хочется шалить и острить, и он действительно становится остряком — по мнению других таких же остряков.

В четвертом бокале нет ни цветка, ни птички, ни крылатого шалуна; в нем черта, проводимая разумом, и за нее никогда не следует переходить.

Если же возьмешь пятый бокал, заплачешь над самим собою, растрогаешься или, наоборот, расшумишься: из

бокала выскочит с треском принц Карнавал, невоздержанный на язык, шальной!.. Он увлечет тебя, ты забудешь свое достоинство — если оно у тебя есть! Забудешь многое, больше чем можешь и смеешь. Пляска, пение, звон бокалов!.. Маски увлекают тебя в бешеный вихрь... Перед тобой дочери сатаны в газе и шелке, с распушенными волосами, стройные, красивые... Оторвись от них, коли сможешь!

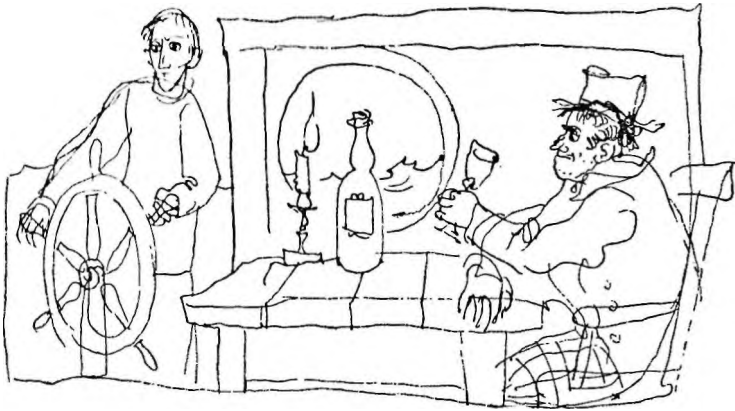
Шестой бокал!.. Ну в этом уж сидит сам сатана, прекрасно одетый, красноречивый, привлекательный, в высшей степени приятный человек! Он вполне понимает тебя, находит, что ты прав всегда и во всем, он — второе «я»; он является с фонарем, чтобы проводить тебя восвояси. Да, в одной старой легенде рассказывается о святом, который должен был выбрать один из семи смертных грехов, и выбрал, как ему казалось, наименьший — пьянство, но благодаря ему впал и во все остальные. В шестом бокале — кровь сатаны, смешанная с человеческою. Только выпей его — все дурные семена, что прячутся в твоей душе, пустят ростки, и каждое разрастется, подобно евангельскому горчичному зерну, в целое дерево, которое может покрыть свою тенью весь свет. Большинству людей остается после этого только отправиться в переплавку!

— Вот вам история бокалов! — заключил Оле. — Ее можно подавать под соусом и из глянец-ваксы и из простой смазки. Я подаю ее под обоими.

Это было мое второе посещение Оле; захочешь послушать еще, придется продолжать посещения.







## АННЕ ЛИСБЕТ



**А**нне Лисбет была красавица, просто кровь с молоком, молодая, веселая. Зубы сверкали ослепительною белизной, глаза так и горели; легка была она в танцах, еще легче в жизни! Что же вышло из этого? Дрянной мальчишка! Да, некрасив-то он был, некрасив! Его и отдали на воспитание жене землекопа, а сама Анне Лисбет попала в графский замок, поселилась в роскошной комнате; одели ее в шелк да в бархат. Ветерок не смел на нее пахнуть, никто — грубого слова сказать: это могло расстроить ее, она могла заболеть, а она ведь кормила грудью графчика! Графчик был такой нежный, что твой принц, и хорош собою, как ангелочек. Как Анне Лисбет любила его! Ее же собственный сын ютился в избушке землекопа, где не каша варилась, а больше языки трещали, чаще же всего мальчишка орал в пустой избушке один-одинешенек. Никто не слышал его криков, так некому было и пожалеть! Кричал он, пока не засыпал, а во сне не чувствуешь ведь ни голода, ни холода; сон вообще чудесное изобретение! Годы шли, а с годами и сор-

ная трава вырастает, как говорится; мальчишка Анне Лисбет тоже рос, как сорная трава. Он так и остался в семье землекопа, Анне Лисбет заплатила за это и развязалась с ним окончательно. Сама она стала горожанкой, жилось ей отлично, она даже носила шляпки, но к землекопу с женой не заглядывала никогда — далеко было, да и нечего ей было у них делать! Мальчишка принадлежал теперь им, и так как есть-то он умел, говорили они, то и должен был сам зарабатывать себе на харчи. Пора было ему взяться за дело, вот его и приставили пасти рыжую корову Мадса Йенсена.

Цепной пес на дворе белильщика гордо сидит в солнечные дни на крыше своей конуры и лает на прохожих, а в дождь забирается в конуру; ему там и сухо и тепло. Сынишка Анне Лисбет сидел в солнечные дни у канавы, стругая кол, и мечтал: весною он заприметил три цветка земляники, — «наверно, из них выйдут ягоды!» Мысль эта была его лучшую радостью, но ягоды не поспели. В дождь и непогоду он промокал до костей, а резкий ветер просушивал его. Если же случалось ему забраться на барский двор, его угостили толчками и пинками; он такой дрянной, некрасивый, говорили девушки и парни, и он уже привык не знать ни любви, ни ласки!

Так как же сынку Анне Лисбет жилось на белом свете? Что выпало ему на долю? Не зная ни любви, ни ласки!

Наконец его совсем сжили с земли — отправили в море на утлом судне. Он сидел па руле, а шкипер пил. Грязен, прожорлив был мальчишка; можно было подумать, что он отроду досыта не наедался! Да так оно и было.

Стояла поздняя осень, погода была сырая, мглистая, холодная; ветер пронизывал насквозь, несмотря на толстое платье, особенно на море. А в море плыло однопарусное утлое судно всего с двумя моряками на борту, можно даже сказать, что их было всего полтора: шкипер да мальчишка. Весь день стояли мглистые сумерки, к вечеру стало еще темнее; мороз так и щипал. Шкипер принялся прихлебывать, чтобы согреться; бутылка не сходила со стола, рюмка — тоже; ножка у нее была отбита, и вместо нее к рюмке приделана деревянная, выкрашенная в голубой цвет подставка. «Один глоток — хорошо, два — еще лучше», — думал шкипер. Мальчик сидел на руле, держась за него обеими жесткими, запачканными в дегте руками.

Некрасив он был: волоса жесткие, унылый, забитый вид... Да, вот какво приходилось мальчишке землекопа, по церковным книгам — сыну Анне Лисбет.

Ветер резал волны по-своему, судно по-своему! Парус надулся, ветер подхватил его, и судно понеслось стрелою. Сырость, мгла... Но этим еще не кончилось! Стоп!.. Что такое? Что за толчок? Отчего судно взметнулось? Что случилось? Вот оно завертелось... Что это, хлынул ливень, обдало судно волною?.. Мальчик-рулевой вскрикнул: «Господи Иисусе!» Судно налетело на огромный подводный камень и погрузилось в воду, как старый башмак в канаву, потонуло «со всеми людьми и мышами», как говорится. Мышей-то на нем было много, а людей всего полтора человека: шкипер да сынишка землекопа. Никто не видал крушения, кроме крикливых чаек и рыб морских, да и те ничего не разглядели хорошенько, испуганно метнувшись в сторону, когда вода с таким шумом ворвалась в затонувшее судно. И затонуло-то оно всего на какую-нибудь сажень! Скрыты были под водой шкипер и мальчишка, скрыты и позабыты! На поверхность всплыла только рюмка с голубою деревянною подставкой, — подставка-то и заставила всплыть рюмку. Волны понесли ее и, разбив, выкинули на берег. Когда, где? Не все ли равно; она отслужила свой век, была любима, не то что сын Анне Лисбет! Но, вступив в небесные чертоги, ни одной душе не приходится больше жаловаться на то, что ей суждено было век не знать ни любви, ни ласки!

Анне Лисбет жила в городе уже много лет, и все звали ее «сударыней». А уж как подымала она нос, если речь заходила о старых временах, когда она жила в графском доме, разъезжала в карете и имела случай разговаривать с графинями да баронессами! И что за красавчик, ангелочек, душка был ее графчик! Как он любил ее, и как она его! Они целовали друг друга, гладили друг друга; он был ее радостью, половиной ее жизни.

Теперь он уж вырос, ему было четырнадцать лет, и он обучался разным наукам. Но она не видала его с тех пор, как еще носила на руках; ни разу за все это время она не побывала в графском замке: далеко было, целое путешествие!

— Когда-нибудь да все-таки надо собраться! — сказала Анне Лисбет. — Надо же мне взглянуть на мое сокровище, моего графчика! И он-то, верно, соскучился

обо мне, думает обо мне, любит по-прежнему! Бывало, уцепится своими ручонками за мою шею да и лепечет: «Ан Лис!» Голосок — что твоя скрипка! Да, надо собраться взглянуть на него!

И она отправилась; где проедет конец дороги на возке с телятами, где пешком пройдет, так помаленьку и добралась до графского замка. Замок был все такой же огромный, роскошный; перед фасадом по-прежнему расстился сад, но слуги все были новые. Ни один из них не знал Анне Лисбет, не знал, что она значила когда-то здесь,



в доме. Ну, да сама графиня скажет им, объяснит все, и графчик тоже. Как она соскучилась по нем!

Ну, вот Анне Лисбет и вошла. Долго пришлось ей ждать, а когда ждешь, время тянется еще дольше! Перед тем как господам сесть за стол, ее позвали к графине, которая приняла ее очень благосклонно. Дорогую же графчика своего Анне Лисбет могла увидеть только после обеда. Господа откушали, и ее позвали опять.

Как он вырос, вытянулся, похудел! Но глазки и ротик все те же! Он взглянул на нее, но не сказал ни слова. Он, кажется, не узнал ее. Он уже повернулся, чтобы уйти, как она вдруг схватила его руку и прижала ее к губам. «Ну, ну, хорошо, хорошо!» — сказал он и вышел из комнаты. Он, ее любовь, ее гордость, сокровище, так холодно обошелся с нею!

Анне Лисбет вышла из замка очень печальная. Он встретил ее как чужую, он совсем не помнил ее, не сказал ей ни слова, ей, своей кормилице, носившей его на руках день и ночь, носившей его и теперь в мыслях!

Вдруг прямо перед ней слетел на дорогу большой черный ворон, каркнул раз, потом еще и еще.

— Ах ты зловещая птица! — сказала Анне Лисбет.

Пришлось ей идти мимо избушки землекопа; на пороге стояла сама хозяйка, и женщины заговорили.

— Ишь ты, как раздобрела! — сказала жена землекопа. — Толстая, здоровая! Хорошо живется, видно!

— Ничего себе! — ответила Анне Лисбет.

— А судно-то с ними погибло! — продолжала та. — Оба утонули — и шкипер Ларс и мальчишка! Конец! А я-то думала, мальчишка вырастет, помогать станет нам! Тебе-то ведь он грош стоил, Анне Лисбет!

— Так они потонули! — сказала Анне Лисбет, и больше они об этом не говорили. Она была так огорчена — графчик не удостоил ее разговором! А она так любила его, пустилась в такой дальний путь, чтобы только взглянуть на него, в такие расходы вошла!.. Удовольствия же — на грош. Но, конечно, она не проговорила о том ни словом, не захотела излить сердца перед женою землекопа: вот еще! Та, пожалуй, подумает, что Анне Лисбет больше не в почете у графской семьи!.. Тут над ней опять каркнул ворон.

— Ах ты черное пугало! — сказала Анне Лисбет. — Что ты все пугашь меня сегодня!

Она захватила с собою кофе и цикорию; отсыпать щепотку на угощение жене землекопа значило бы оказать бедной женщине сущее благодеяние, а за компанию и сама Анне Лисбет могла выпить чашечку. Жена землекопа пошла варить кофе, а Анне Лисбет присела на стул да задремала. И вот диковина: во сне ей приснился тот, о ком она никогда и не думала! Ей приснился собственный сын, который голодал и ревел в этой самой избушке, рос без призора, а теперь лежал на дне моря, бог ведает где. Снилось ей, что она сидит, где сидела, и что жена землекопа ушла варить кофе; вот уже вкусно запахло, как вдруг в дверях появился прелестный мальчик, не хуже самого графчика, и сказал ей:

«Теперь конец миру! Держись за меня крепче — все-таки ты мне мать! У тебя есть на небесах ангел-заступник! Держись за меня!»

И он схватил ее; в ту же минуту раздался такой шум и гром, как будто мир допнул по всем швам. Ангел взвился на воздух и так крепко держал ее за рукав сорочки, что она почувствовала, как отделяется от земли. Но вдруг на ногах ее повисла какая-то тяжесть, и что-то тяжелое навалилось на спину. За нее цеплялись сотни женщин и кричали: «Если ты спасешься, так и мы тоже! Цепляйтесь за нее, цепляйтесь!» И они крепко повисли на ней. Тяжесть была слишком велика, рукав затрещал и разорвался, Анне Лисбет полетела вниз. От ужаса она проснулась и чуть было не упала со стула. В голове у нее была путаница, она и вспомнить не могла, что сейчас видела во сне, — что-то дурное!

Попили кофе, поговорили, и Анне Лисбет направилась в ближний городок; там ждал ее крестьянин, с которым она хотела нынче же вечером доехать до дому. Но когда она пришла к нему, он сказал, что не может выехать раньше вечера следующего дня. Она порассчитала, что будет ей стоить прожить в городе лишний день, пораздумала о дороге и сообразила, что если она пойдет не по проезжей дороге, а вдоль берега, то выиграет мили две. Погода была хорошая, ночи стояли светлые, лунные, Анне Лисбет и решила идти пешком. На другой же день она могла уже быть дома.

Солнце село, но колокола еще звонили... Нет, это вовсе не колокола звонили, а лягушки квакали в прудах. Потом и те смолкли; не слышно было и птичек: маленькие певчие улеглись спать, а совы, должно быть, не было дома.

Безмолвно было и в лесу и на берегу. Анне Лисбет слышала, как хрустел под ее ногами песок; море не плескалось о берег; тихо было в морской глубине: ни живые, ни мертвые не подавали голоса.

Анне Лисбет шла, как говорится, не думая ни о чем; да, она-то могла обойтись без мыслей, но мысли-то не хотели от нее отстать. Мысли никогда не отстают от нас, хотя и выдаются минуты, когда они спокойной дремлют в нашей душе, дремлют как те, что уже сделали свое дело и успокоились, так и те, что еще не просыпались в нас. Но настает час, и они просыпаются, начинают бродить в нашей голове, заполняют нас.

«Доброе дело и плод приносит добрый!» — сказано нам. «А в грехе — зародыш смерти», — это тоже сказано. Много вообще нам сказано, но многие ли об этом помнят? Анне Лисбет по крайней мере к таким не принадлежала. Но для каждого рано или поздно наступит минута просветления.

В нашем сердце, во всех сердцах, и в моем и в твоём, скрыты зародыши всех пороков и всех добродетелей. Лежат они там крошечными, невидимыми семенами; вдруг в сердце проникает солнечный луч или прикасается к нему злая рука, и ты сворачивашь вправо или влево — да, вот этот-то поворот и решает все: маленькое семечко всраживается, разбухает, пускает ростки, и сок его смешивается с твоею кровью, а тогда уж дело сделано. Страшные это мысли! Но пока человек ходит как в полусне, он не сознает этого, мысли эти только смутно бродят в его голове. В таком-то полусне бродила и Анне Лисбет, а мысли, в свою очередь, начинали бродить в ней! От сретения до сретения сердце успевает занести в свою расчетную книжку многое; на страницах ее ведется годовая отчетность души; все внесено туда, все то, о чем сами мы давно забыли: все наши грешные слова и мысли, грешные перед богом и людьми и перед нашею собственною совестью! А мы и не думаем о них, как не думала и Анне Лисбет. Она ведь не совершила преступления против государственных законов, слыла почтенною женщиной, все уважали ее, о чем же ей было думать?

Она спокойно шла по берегу, вдруг... что это лежит на дороге?! Она остановилась. Что это выброшено на берег? Старая мужская шапка. Как она попала сюда? Видно, смыло ее за борт. Анне Лисбет подошла ближе и опять остановилась... Ах! Что это?! Она задрожала от испуга, а пугаться-то вовсе было нечего: перед ней лежал большой продолговатый камень, опутанный водорослями, — на первый взгляд казалось, что на песке лежит человек. Теперь она разглядела ясно и камень и водоросли, но страх ее не проходил. Она пошла дальше, и ей припомнилось поверье, которое она слышала в детстве, поверье о береговике, призраке непогребенных утопленников. Сам утопленник никому зла не делает, но призрак его преследует одинокого путника, цепляется за него и требует христианского погребения. «Цепляйся! Цепляйся!» — кричит призрак. Как только Анне Лисбет припомнила это, в ту

же минуту ей вспомнился и весь ее сон. Она словно наяву услышала крик матерей, цеплявшихся за нее: «Цепляйтесь! Цепляйтесь!» Вспомнила она, как рушился мир, как разорвался ее рукав, и она вырвалась из рук своего сына, хотевшего поддержать ее в час Страшного суда. Ее сын, ее собственное, родное, нелюбимое дитя, о котором она ни разу не вспоминала, лежал теперь на дне моря и мог явиться ей в виде берегового призрака с криком: «Цепляйся! Цепляйся! Зарой меня в землю по-христиански!» От этих мыслей у нее даже в пятках закололо, и она прибавила шагу. Ужас сжимал ее сердце, словно кто давил его холодной, влажной рукой. Она готова была лишиться чувств.

Туман над морем между тем все густел и густел; все кусты и деревья на берегу тоже были окутаны туманом и приняли странные, диковинные очертания. Анне Лисбет обернулась взглянуть на месяц. У, какой холодный, мертвенный блеск, без лучей! Словно какая-то страшная тяжесть навалилась на Анне Лисбет, члены ее не двигались. «Цепляйся, цепляйся!» — пришло ей на ум. Она опять обернулась взглянуть на месяц, и ей показалось, что его бледный лик приблизился к ней, заглянул ей в самое лицо, а туман повис у нее на плечах, как саван. Она прислушалась, ожидая услышать: «Цепляйся! Цепляйся! Зарой меня!» — и в самом деле раздался какой-то жалобный, глухой стон... Это не лягушка квакнула в пруде, не ворона каркнула — их не было видно кругом. И вот ясно прозвучало: «Зарой меня!» Да, это призрак ее сына, лежащего на дне морском. Не знаять ему покоя, пока его тело не отнесут на кладбище и не предадут земле! Скорее, скорее на кладбище, надо зарыть его! Анне Лисбет повернула по направлению к церкви, и ей сразу стало легче. Она было хотела опять повернуть назад, чтобы кратчайшей дорогой добраться до дому, — не тут-то было! На нее опять навалилась та же тяжесть. «Цепляйся! Цепляйся!» Опять словно квакнула лягушка, жалобно прокричала какая-то птица, и явственно прозвучало: «Зарой меня! Зарой меня!»

Холодный, влажный туман не редел; лицо и руки Анне Лисбет тоже были холодны и влажны от ужаса. Все тело ее сжимало, как в тисках; зато в голове образовалось обширное поле для мыслей — таких, каких она никогда прежде не знавала.



Весной на севере буковые леса, бывает, распускаются в одну ночь; взойдет солнышко, и они уже в полном весеннем уборе. Так же, в одну секунду, может пустить ростки и вложенное в нас нашу прошлую жизнь — мыслью, словом или делом — семя греха; и в одну же секунду может грех сделаться для нас видимым, в ту секунду, когда просыпается наша совесть. Пробуждает ее господь, и как раз тогда, когда мы меньше всего того ожидаем. И тогда нет для нас оправдания: дело свидетельствует против нас, мысли облакаются в слова, а слова звучат на весь мир. С ужасом глядим мы на то, что носили в себе, не стараясь заглушить, на то, что мы в нашем высокомерии и легкомыслии сеяли в своем сердце. Да, в тайнике сердца кроются все добродетели, но также и все пороки, и те и другие могут развиться даже на самой бесплодной почве.

У Анне Лисбет бродило в мыслях как раз то, что мы сейчас высказали словами; под бременем этих мыслей она опустилась на землю и проползла несколько шагов. «Зарой меня! Зарой меня!» — слышалось ей. Она лучше бы зарылась в могилу сама — в могиле можно было найти вечное забвение! Настал для Анне Лисбет серьезный, страшный час пробуждения совести. Суеверный страх бросал ее то в озноб, то в жар. Многое, о чем она никогда и думать не хотела, теперь пришло ей на ум. Беззвучно, словно тень от облачка в яркую лунную ночь, пронеслось мимо нее видение, о котором она слыхала прежде. Близко-близко мимо нее промчалась четверка фыркающих коней; из очей и ноздрей их сверкало пламя; они везли горевшую как жар карету, а в ней сидел злой помещик, который больше ста лет тому назад бесчинствовал тут, в окрестностях. Рассказывали, что он каждую полночь въезжает на свой двор и сейчас же поворачивает обратно. Он не был бледен, как, говорят, бывают все мертвецы, но черен как уголь. Он кивнул Анне Лисбет и махнул рукой: «Цепляйся, цепляйся! Тогда опять сможешь ездить в графской карете и забыть свое дитя!»

Анне Лисбет опрометью бросилась вперед и скоро достигла кладбища. Черные кресты и черные вороны мелькали у нее перед глазами. Вороны кричали, как тот ворон, которого она видела днем, но теперь она понимала их карканье. Каждый кричал: «Я воронья мать! Я воронья

мать!» И Анне Лисбет знала, что это имя подходит и к ней: и она, быть может, превратится вот в такую же черную птицу и будет постоянно кричать, как они, если не успеет вырыть могилы.

Она бросилась на землю и руками начала рыть в твердой земле могилу; кровь брызнула у нее из-под ногтей.

«Зарой меня! Зарой меня!» — звучало без перерыва. Анне Лисбет боялась, как бы не раздалось пение петуха, не показалась на небе красная полоска зари, прежде чем она выроет могилу, — тогда она погибла! Но вот петух пропел, загорелась заря, а могила была вырыта только наполовину!.. Холодная, ледяная рука скользнула по ее голове и лицу, соскользнула на сердце. «Только полмогилы!» — послышался вздох, и видение опустилось на дно моря. Да, это был береговой призрак! Анне Лисбет, подавленная, упала на землю без сознания, без чувств.

Она пришла в себя только среди бела дня; двое парней подняли ее с земли. Анне Лисбет лежала вовсе не на кладбище, а на самом берегу моря, где выкопала в песке глубокую яму, до крови порезав себе пальцы о разбитую рюмку; острый осколок ее был прикреплен к голубой деревянной подставке. Анне Лисбет была совсем больна. Совесть перетасовала карты суеверия, разложила их и вывела заключение, что у Анне Лисбет теперь только половина души: другую половину унес с собою на дно моря ее сын. Не попасть ей в царство небесное, пока она не вернет себе этой половины, лежащей в глубине моря! Анне Лисбет вернулась домой уже не тем человеком, каким была прежде; мысли ее словно смотались в клубок, и только одна нить осталась у нее в руках: мысль, что она должна отнести береговой призрак на кладбище и предать его земле — тогда она опять обретет всю свою душу.

Много раз схватывались ее по ночам и всегда находили на берегу, где она ожидала береговой призрак. Так прошел целый год. Однажды ночью она опять исчезла, но найти ее не могли; весь следующий день прошел в бесплодных поисках.

Под вечер пономарь пришел в церковь звонить к вечерне и увидел перед алтарем расprostертую на полу Анне Лисбет. Тут она лежала с раннего утра; силы почти совсем оставили ее, но глаза сияли, на лице горел розоватый отблеск заходящего солнца; лучи его падали и на

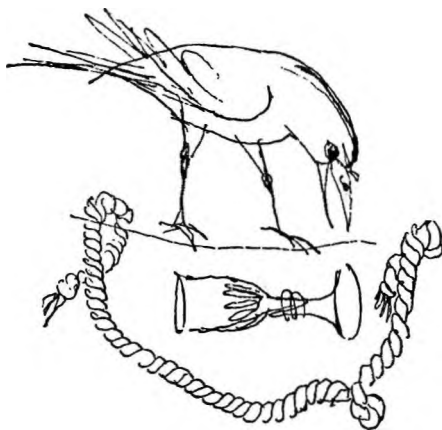
алтарь и играли на блестящих застёжках Библии, которая была раскрыта на странице из книги пророка Иоиля: «Раздерите сердца наши, а не одежды, и обратитесь к господу!»

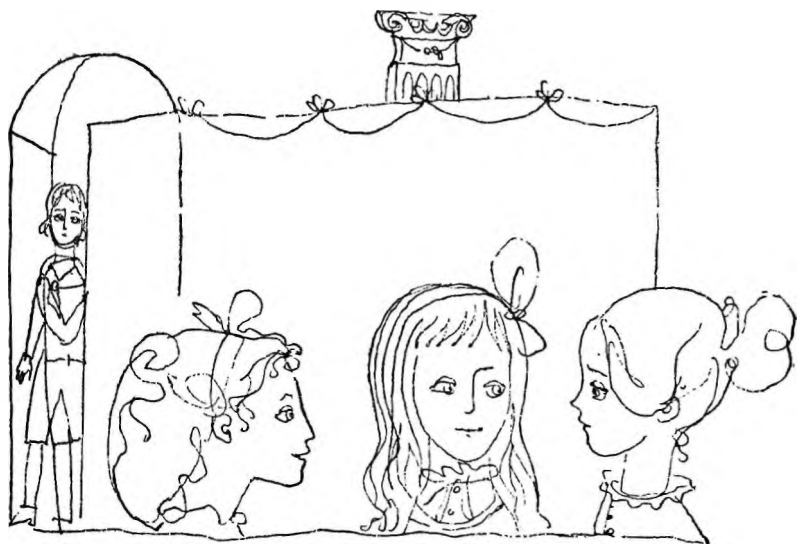
— Ну, случайно так вышло! — говорили потом люди, как и во многих подобных случаях.

Лицо Анне Лисбет, освещенное солнцем, дышало ясным миром и спокойствием; ей было так хорошо! Теперь у нее отлегло от сердца: ночью береговой призрак ее сына явился ей и сказал: «Ты вырыла только полмогилы для меня, но вот уж год ты носишь меня в своем сердце, а в сердце матери самое верное убежище ребенка!» И он вернул ей другую половину ее души и привел ее сюда, в церковь.

«Теперь я в божьем доме, — сказала она, — а тут спасение!»

Когда солнце село, душа ее вознеслась туда, где нечего бояться тому, кто здесь боролся и страдал до конца, как Анне Лисбет.





## РЕБЯЧЬЯ БОЛТОВНЯ



**У** богатого купца был детский вечер; приглашены были все дети богатых и знатных родителей. Дела купца шли отлично; сам он был человек образованный, даже в свое время окончил гимназию. На этом настоял его почтенный отец, который был сначала простым прасолом но честным и трудолюбивым человеком и сумел составить себе капиталец, а сын еще приумножил его. Купец был человек умный и добрый, хоть люди не так много говорили об этих качествах, как о его богатстве.

Он вел знакомство и с аристократами крови и с аристократами ума, как это говорится, а также с аристократами и крови и ума вместе, и, наконец, с теми, которые не могли похвалиться ни тем, ни другим аристократизмом.

Итак, у него в доме собралось большое общество, но исключительно детское; дети болтали без умолку; у них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая. Спесь не вбили, а «вцеловали» в нее, и не родители, а слуги, — родители были для этого слишком разумны.

Отец малютки был камер-юнкером, и она знала, что это нечто «ужасно важное».

— Я камер-юнкерская дочка! — сказала она.

Она точно так же могла бы быть лавочниковой дочкой — и то и другое одинаково не во власти самого человека. И вот она рассказывала другим детям, что в ней течет «настоящая кровь», а в ком ее нет, из того ничего и не выйдет. Читай, старайся, учись сколько хочешь, но, если в тебе нет настоящей крови, толку не выйдет.

— А уж из тех, чье имя кончается на «сен», — прибавила она, — никогда ничего не выйдет путного. Надо упереться руками в бока, да и держать себя подальше от всех этих «сен, сен»!

И она уперлась прелестными ручонками в бока и выставила острые локотки, чтобы показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была премиленькая!

Но дочка купца обиделась: фамилия ее отца была Мадсен, а она знала, что эта фамилия тоже кончается на «сен», и вот она гордо закинула головку и сказала:

— Зато мой папа может купить леденцов на целых сто риксдалеров и разбросать их народу! А твой может?

— Ну, а мой папа, — сказала дочка писателя, — может и твоего папу, и твоего, и всех пап на свете пропечатать в газете! Все его боятся, говорит мама: ведь это он распоряжается газетой!

И девочка прегордо закинула головку — ни дать ни взять принцесса крови!

А за полуотворенною дверью стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щелочку; мальчуган не смел войти в комнату; куда было такому бедняку соваться к богатым и знатым детям! Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть на разряженных, веселящихся детей в щелку; и это уж было для него огромным счастьем.

«Вот бы мне быть на их месте!» — думалось ему. Вдруг он услышал болтовню девочек, а, слушая ее, можно было упасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша; у них не было средств даже выписать газету, а не то что самим издавать ее. Хуже же всего было то, что фамилия его отца, а значит, и его собственная, как раз

кончалась на «сен»! Из него никогда не выйдет ничего путного! Вот горе-то! Но кровь в нем все-таки была самая настоящая, как ему казалось; иначе и быть не могло.

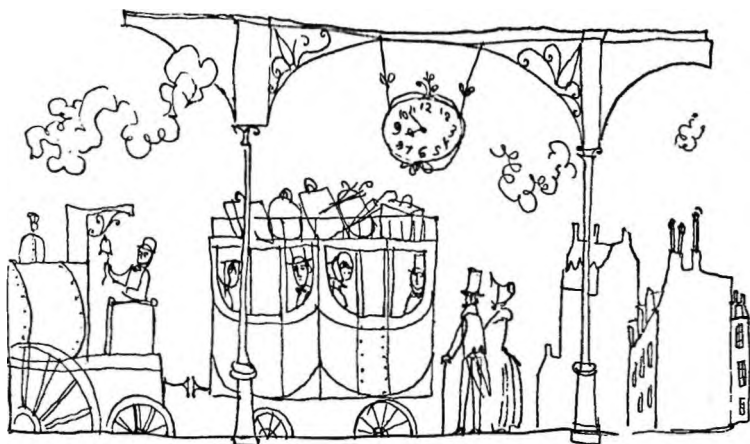
Так вот что произошло в тот вечер!

Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми.

В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его; для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Ну, это легко угадать! Нет, не очень! Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него таки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на «сен» — Торвальдсен.

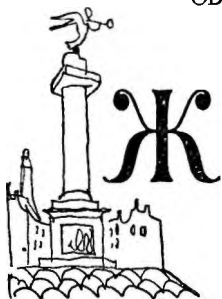
А другие дети? Дети кровной, денежной и умственной спеси, из них что вышло? Да, все они друг друга стоили, все они были дети как дети! Вышло из них одно хорошее: задатки-то в них были хорошие. Мысли же и разговоры их в тот вечер были ребячьей болтовней!





## ОБРЫВОК ЖЕМЧУЖНОЙ НИТИ

### I



**Ж**

елезная дорога в Дании пролегла еще только от Копенгагена до Корсёра — ниточка, на которую нанизаны жемчужины. В Европе их несметное число, и самые драгоценные зовутся Париж, Лондон, Вена, Неаполь! Однако же немало найдется людей, которые прекраснейшей жемчужиной назовут не эти великие города, а какой-нибудь незаметный городок, роднее которого нет для них в родном краю, потому что там живут дорогие им люди; порою это просто одинокий крестьянский двор, домик, спрятавшийся среди зеленых зарослей, ниточка, мелькнущая мимо мчащегося поезда.

Так сколько же таких жемчужин нанизано от Копенгагена до Корсёра? Мы с вами посмотрим на шесть жемчужин, на них всякий заглядится, ведь поэзия и предания старины озарили их своим сиянием, потому и сверкают они в нашей памяти. Возле холма, на котором стоит замок Фредерика VI, на родине Эленшлегера, блистает под сенью лесов одна из этих жемчужин, ее называют хижиной Филемона и Бавкиды, а это значит — домом любя-

щей старой четы. Здесь жил Рабек со своей женою Каммой. Сюда, под их гостеприимный кров, на протяжении целого века человеческого стекались из шумного Копенгагена люди, прославленные своим умом. А ныне? Нет, не говорите: «как все переменилось!» Здесь по-прежнему обитель разума — теплица для чахлах растений! В почках, которым не суждено было распуститься, все же таятся побеги цветов и листьев. Солнце ума озарило здесь приют разума, этот свет живителен, и окружающий мир проливается через глаза в неисповедимые глубины души. Приют для слабоумных, хранимый человеческой любовью, — святое место, теплица для слабых растений, которые тоже расцветут потом в божьем саду. Слабоумные собраны ныне там, где прежде встречались умнейшие люди, обменивались мыслями и воспаряли высоко — и по-прежнему высоко возносится пламя души из хижины Филемона и Бавкиды.

А вот перед нами город, где почилы короли, где течет источник Роара — древний Роскилле перед нами. Стройные шпили собора высятся над приземистым городком, отражаясь в Иссе-фиорде. Здесь мы навестим только одну могилу, озаренную жемчужным блеском, то не могила великой создательницы унии королевы Маргариты — нет, на кладбище за белыми стенами, мимо которых мы как раз проносимся, есть другая могила, лежит на ней простой камень — под ним покоится король органистов, незабвенный обновитель датского романа. Старинные предания звучат теперь в нашей душе, облеченные в прекрасные мелодии, мы слышим, как «катятся прозрачные волны» и как «жил-был в Лейле король».

Роскилле, город королевских могил! Чтобы узреть твою жемчужину, мы смотрим на эту простую могилу, на камне, что лежит на ней, высечена лира да имя — Вейсе.

Мы подъезжаем к Сигерстеду, близ города Рингстеда, река обмелела, желтые хлеба колосятся там, где неподалеку от девичьей светлицы Сигне причаливал челн Хагберта. Кто не знает этого предания — про то, как Хагберта повесили на дубу и как сразу загорелась светелка Сигне, кто не знает этого предания о могучей любви!

«Прекрасный Сорё в венце из лесов!» Мирный, монастырски тихий городок, ты кажешься таким молодым среди поросших мохом деревьев! Юношеским взором смотришь ты из окна академии на проезжую дорогу, что



пролегла за озером и ведет в далекий мир, и слышишь пыхтенье железного дракона, пролетающего мимо лесов. Сорё — жемчужина поэзии, хранящая прах Хольберга. Словно могучий лебедь, покоится над лесным глубоким озером твой храм науки, рядом с ним, в той стороне, куда обращен наш взор, стоит среди леса, словно белый цветок лесной, маленький домик; благочестивые псалмы разносятся отсюда по всей стране, звучат там слова, к которым и крестьянин прислушивается и познает давно минувшие времена Дании. Как зеленый лес и пение птиц, неразрывно связаны Сорё и Ингеманн.

А теперь — в город Слагельсе! Что запечатлелось в блеске этой жемчужины? Давно исчез монастырь Антворсков, исчезли роскошные покои замка, исчез стоящий на отшибе заброшенный флигель, но по-прежнему стоит еще, как памятник старины, не раз уже обновленный деревянный крест, вон там — на холме, где в седую старину пробудился ото сна святой Андерс — священник города Слагельсе, перенесенный сюда за одну ночь из Иерусалима.

Корсёр! Здесь ты родился, подаривший нам в своих песнях правду с шуткой пополам, Кнут Зеландский дя-дюшка.<sup>1</sup>

Ты мастер слова и шутки! Осевшие, древние валы заброшенных укреплений — последние зримые свидетели, выдавшие твой отчий дом; на закате тень от них попадет туда, где он стоял; с этого самого вала ты смотрел на остров Спроге и, «дитя еще тогда», видел, как «луна за островом зашла», и потом воспел ее в бессмертной песне, как позже воспевал горы Швейцарии. Ты воспел их, но, странствуя в мирском лабиринте, ты понял, что

Нигде, нигде так ярко не алеют розы,  
Нигде не сыщем мельче мы шипов,  
Нигде нас не баюкают так сладко грезы.  
Как там, где наш родной, наш отчий кров!

Певец легкой, веселой шутки! Мы сплетем тебе венок из дикого Яминника и бросим его в море, а волна отнесет его в Кильский залив, на берегу которого покоится твой прах, она принесет тебе привет от молодого поколения, от родного города Корсёра, города, возле которого обрывается жемчужная нить.

---

<sup>1</sup> Псевдоним датского поэта Иена Баггесена (1764—1826).

— И верно, дорога от Копенгагена до Корсёра — настоящая жемчужная нить, — сказала бабушка, услышав то, что и мы с вами только что прочитали. — Для меня она навсегда осталась жемчужной нитью, а было это сорок лет тому назад. Паровых машин тогда еще и в помине не было. У вас вон на эту поездку уходит всего несколько часов, а нам нужно было несколько дней на нее потратить. Было это в тысяча восемьсот пятнадцатом году, мне тогда двадцать один год минуло. Славный это возраст! Да, впрочем, и седьмой десяток — тоже славный возраст, да и счастливый! В мои-то годы побывать в Копенгагене считалось в диковинку, не то что теперь, для нас он был всем городам город. Родители мои решили тогда во второй раз за двадцать лет навеститься в столицу и меня свозить; об этой поездке у нас уж несколько лет шли разговоры, и вот наконец-то мы и взаправду поедем! Мне казалось, что с этой поездки все переменится, словно какая-то новая жизнь начнется; для меня-то оно, можно сказать, так и вышло.

Вот пошло у нас шитье да сборы, а когда настало время в путь отправляться, сколько тут собралось добрых друзей попрощаться с нами! Шутка ли, такая поездка! Утром мы выехали в старинной голштинской колымаге моих родителей, и когда проезжали по улице, то из всех окон нам кивали знакомые, пока мы не миновали ворота святого Йоргена. Погода стояла чудесная, распевали птички, и так все было радостно, что поневоле забывалось, какая долгая трудная дорога предстоит нам до Ньюборга. Туда мы приехали под вечер. Почта прибывала поздней ночью, а без нее паром не отправлялся, но вот мы сели на паром, перед нами, сколько видит глаз, раскинулось море, до самого горизонта гладкое как зеркало. Легли мы одетые и заснули. Поутру, когда я проснулась и вышла на палубу, кругом было ни зги не видать, такой стоял туман, услышала я петушиный крик и догадалась, что солнце встает; тут зазвонили колокола, — да где же это мы? Туман рассеялся, а мы все еще были в виду Ньюборга. Днем подул наконец ветерок, да только встречный, стали мы лавировать туда-сюда, пока часу в двенадцатом ночи

не добрались наконец до Корсёра. Вот и получилось, что за двадцать два часа мы проплыли всего четыре мили.

Хорошо было ступить на землю, только темень была хоть глаз выколи, фонари светили тускло и все было совсем чужое, незнакомое: ведь, кроме Оденсе, я ни в одном городе еще не бывала.

— Гляди! Здесь родился Баггесен, — сказал отец. — И Биркнер тут жил.

И сразу же старинный городок с маленькими домиками показался мне и больше и светлей, а вдобавок мы так рады были, что под ногами опять твердая земля. Уснуть я в ту ночь так и не смогла, очень уж много нового я повидала и узнала с тех пор, как третьего дня мы выехали из дому.

Встали мы спозаранку, предстояла трудная езда по ухабам и колдобинам до самого Слагельсе, да и после Слагельсе будет не легче, а мы хотели пораньше добраться до гостиницы «Рак», чтобы засветло успеть в Сорё и проведать там Эмиля Меллера, мы звали его по имени; да, да, это был ваш дедушка, мой покойный муж, пробст, а тогда он был студентом, и учился в Сорё, и только что сдал свой второй экзамен.

Полудни приехали мы в гостиницу «Рак», она была тогда самая модная — лучшая гостиница на всем пути, да и окрестности прелестные, вы и сами, наверное, согласитесь, что они и сейчас хороши. Хозяйка там была рачительная — мадам Пламбек, весь дом у нее сверкал как стеклышко. На стене висело в рамке и под стеклом письмо, это письмо прислал ей сам Баггесен, посмотреть на него действительно было интересно! Для меня это была большая примечательность. Отсюда мы отправились пешком в Сорё и разыскали там Эмиля. Уж и обрадовался он нам, а мы ему. Как он был добр и внимателен! Вместе с ним мы посмотрели могилу Абсалона и гробницу Хольберга, видели старинные надписи, начертанные монахами, и на парусной лодке переплыли озеро, чтобы побывать на «Парнасе»; это был самый чудесный вечер на моей памяти! По-моему, уж если можно где-то на земле стать поэтом, так это скорее всего в Сорё, на лоне его мирной и прекрасной природы. Потом при дуне мы гуляли по Аллее философов, которая по берегу озера и реки Флом вывела нас на проезжую дорогу, где стоит гостиница «Рак». Эмиль остался с нами ужинать, матушка с отцом потом

сказали, до чего же он стал умен и собою хорош. Эмиль пообещал, что через пять дней тоже придет к своим родственникам в Копенгаген и там встретится с нами, дело было тогда на троицу. Те часы в Сорё и в гостинице «Рак» — прекраснейшие жемчужины моей жизни.

Наутро мы выехали чуть свет, потому что до Роскилле путь дальний, а приехать туда надо было пораньше, чтобы церковь осмотреть, да еще отец хотел вечером навестить старого школьного товарища. Так мы и поступили, заночевали в Роскилле, а на следующий день, правда только к обеду, потому что дорога тут пошла самая плохая, самая разъезженная, приехали в Копенгаген. Доехали мы из Корсёра до Копенгагена за три дня, а теперь вы добираетесь туда за три часа. Жемчужины прекрасней не стали, это просто невозможно, зато нанизаны они теперь на новую, удивительную нить. Три недели я прожила с родителями в Копенгагене, и целых восемь дней с нами там был Эмиль, а когда мы поехали назад, на Фюн, то он провожал нас до самого Корсёра, там, перед тем как расстаться, мы обручились! Вот и судите сами, удивительно ли, что я называю дорогу от Копенгагена до Корсёра жемчужной нитью.

Потом, когда Эмиль стал пастором в Ассенсе, мы поженились. Не раз мы поговаривали, что хорошо бы, мол, съездить в Копенгаген, но тут появилась на свет сначала ваша мама, а потом пошли ее братцы да сестрицы, и за всеми нужен был глаз да присмотр. А там отец стал пробстом, и такая настала благодать! Только в Копенгаген мы так и не съездили. Не довелось мне там больше побывать, хотя мы частенько подумывали и говорили об этом. А теперь я уже стара стала, не те у меня силы, чтобы по железной дороге разъезжать, но я все равно на нее не нарадуюсь: ведь какая благодать, что есть железная дорога! Вот и вам теперь быстрее до меня доехать! Теперь, пожалуй, от Оденсе до Копенгагена не намного дальше, чем в дни моей молодости было от Оденсе до Ньюборга! Вам теперь и в Италию съездить — все равно, что нам, бывало, до Копенгагена добраться! А это не шутка! Только я-то уж лучше посижу дома, пускай другие ездят, пускай сами ко мне приезжают! И не улыбайтесь, что я, мол, такая домоседка. Я-то задумала путешествие, не чета поездке по железной дороге, куда скорее:

когда призовет меня господи, отправлюсь я к дедушке. И вы тоже, исполнив тут свое предназначение и нарадовавшись на этой прекрасной земле, тоже, я знаю, придете к нам туда, на небо, и как зайдет у нас там разговор о днях нашей земной жизни, так — поверьте мне, дети! — и там я скажу, как сейчас: что верно, то верно, дорога от Копенгагена до Корсёра — настоящая жемчужная нить.





## ПЕРО И ЧЕРНИЛЬНИЦА



**К**то-то сказал однажды, глядя на чернильницу, стоявшую на письменном столе в кабинете поэта: «Удивительно, чего-чего только не выходит из этой чернильницы! А что-то выйдет из нее на этот раз?.. Да, поистине удивительно!»

— Именно! Это просто непостижимо! Я сама всегда это говорила! — обратилась чернильница к гусиному перу и другим предметам на столе, которые могли ее слышать. — Замечательно, чего только не выходит из меня! Просто невероятно даже! Я и сама, право, не знаю, что выйдет, когда человек опять начнет черпать из меня! Одной моей капли достаточно, чтобы исписать полстраницы, и чего-чего только не уместится на ней! Да, я нечто замечательное! Из меня выходят всевозможные поэтические творения! Все эти живые люди, которых узнают читатели, эти искренние чувства, юмор, дивные описания природы! Я и сама не возьму о толк — я ведь совсем не знаю природы, — как все это вмещается во мне? Однако же это так! Из меня

вышли и выходят псе эти воздушные, грациозные девичьи образы, отважные рыцари на фыркающих конях и кто там еще? Уверяю вас, все это получается совершенно бессознательно!

— Правильно! — сказало гусиное перо. — Если бы вы отнеслись к делу сознательно, вы бы поняли, что вы только сосуд с жидкостью. Вы смачиваете меня, чтобы я могло высказать и выложить на бумагу то, что ношу в себе! Пишет перо! В этом не сомневается ни единый человек, а полагаю, что большинство людей понимают в поэзии не меньше старой чернильницы!

— Вы слишком неопытны! — возразила чернильница. — Сколько вы служите? И недели-то нет, а уж почти совсем износились. Так вы воображаете, что это вы творите? Вы только слуга, и много вас у меня перебывало — и гусиных и английских стальных! Да, я отлично знакома и с гусиными перьями и со стальными! И много вас еще перебывает у меня в услужении, пока человек будет продолжать записывать то, что почерпнет из меня!

— Чернильная бочка! — сказало перо.

Поздно вечером вернулся домой поэт; он пришел с концерта скрипача-виртуоза и весь был еще под впечатлением его бесподобной игры. В скрипке, казалось, был неисчерпаемый источник звуков: то как будто катились, звеня, словно жемчужины, капли воды, то щебетали птички, то ревела буря в сосновом бору. Поэту чудилось, что он слышит плач собственного сердца, выливавшийся в мелодии, похожей на гармоничный женский голос. Звучали, казалось, не только струны скрипки, но и все ее составные части. Удивительно, необычайно! Трудна была задача скрипача, и все же искусство его выглядело игрою, смычок словно сам порхал по струнам; всякий, казалось, мог сделать то же самое. Скрипка пела сама, смычок играл сам, вся суть как будто была в них, о мастере же, управлявшем ими, вложившем в них жизнь и душу, попросту забывали. Забывали все, но не забыл о нем поэт и написал вот что:

«Как безрассудно было бы со стороны смычка и скрипки кичиться своим искусством. А как часто делаем это мы, люди — поэты, художники, ученые, изобретатели, полководцы! Мы кичимся, а ведь все мы — только инструменты в руках создателя. Ему одному честь и хвала! А нам гордиться нечем!»

Так вот что написал поэт и озаглавил свою притчу «Мастер и инструменты».

— Что, дождались, сударыня? — сказала перо чернильнице, когда они остались одни. — Слышали, как он прочел вслух то, что я написало?

— То есть то, что вы извлекли из меня! — сказала чернильница. — Вы вполне заслужили этот щелчок своей спесью! И вы даже не понимаете, что над вами посмеялись! Я дала вам этот щелчок из собственного нутра. Уж позвольте мне узнать свою собственную сатиру!

— Чернильная душа! — сказала перо.

— Гусь лапчатый! — ответила чернильница.

И каждый решил, что ответил хорошо, а сознавать это приятно; с таким сознанием можно спать спокойно, они и заснули. Но поэт не спал; мысли волновались в нем, как звуки скрипки, катились жемчужинами, шумели, как буря в лесу, и он слышал в них голос собственного сердца, ощущал дыхание Великого мастера...

Ему одному честь и хвала!







## ДВОРОВЫЙ ПЕТУХ И ФЛЮГЕРНЫЙ



**С**тояли два петуха; один на навозной куче, другой на крыше, но спесивы оба были одинаково. Кто же из них совершил больше? Ну, кто, по-твоему? Скажи, а мы... все-таки останемся при своем мнении.

Птичий двор был отделен от другого двора деревянным забором, а на том дворе была навозная куча, и на ней рос большой огурец, сознававший, что он — растение парниковое.

«А парниковым нужно родиться! — рассуждал он сам с собою. — Но не всем же родиться огурцами, надо существовать и другим породам. Куры, утки и все население птичьего двора тоже ведь живые твари. Вот дворовый петух стоит на заборе. Он будет почище флюгерного! Тот хоть и высоко сидит, а даже и скрипеть не может, не то что петь! Нет у него ни кур, ни цыплят, он занят только самим собою и потеет ярью-медянкой! Нет, дворовый петух — вот это так петух! Как выступает!словно танцует! А как поет — музыка! Послушаешь, так узнаешь, что значит настоящий трубочка! Да, приди он сюда, проглоти

меня целиком со стеблем и листьями — вот была бы блаженная смерть!»

Ночью разыгралась непогода; куры, цыплята и сам петух — все попрыгались. Забор повалило ветром; шум, треск! С крыши попадали черепицы, но флюгерный петух усидел. Он даже с места не двигался, не вертелся — он не мог, хоть и был молод, недавно отлит. Флюгерный петух был очень разумен и степенен, он уж так и родился стариком и не имел ничего общего с птичками небесными, воробьями и ласточками, которых презирал, как «ничтожных, вульгарных пискуний». Голуби — те побольше, и перья у них отливают перламутром, так что они даже немножко смахивают на флюгерных петухов, но толстые и глупые они ужасно! Только и думают о том, как бы набить себе зобы! Прескучные создания! Перелетные птицы тоже навещали флюгерного петуха и рассказывали ему о чужих странах, о воздушных путешествиях, о разбойничьих нападениях хищных птиц... Это было ново и интересно в первый раз, но затем пошли повторения одного и того же, а это куда как скучно! Надоели ему и птицы, надоело и все на свете. Не стоило ни с кем и связываться, все такие скучные, пошлые!..

— Свет никуда не годится! — говорил он. — Все — одна ерунда!

Флюгерный петух был, что называется, петухом разочарованным и, конечно, очень заинтересовал бы собою огурец, знай тот об этом, но огурец был занят одним дворовым петухом, а этот как раз и пожаловал к нему в гости.

Забор был повален ветром, но гром и молния давно прекратились.

— А что вы скажете о ночном петушином крике? — спросил у куриц и цыплят дворовый петух. — Грубоват он был, ни малейшего изящества!

За петухом взобрались на навозную кучу и куры с цыплятами; петух шагал вперевалку, как кавалерист.

— Садовое растение! — сказал он огурцу, и тот сразу уразумел высокое образование петуха и даже не заметил, что тот клюет его.

«Блаженная смерть!»

Подбежали куры и цыплята, — куры ведь всегда так: куда одна, туда и другая. Они кудахтали, пищали, любовались на петуха и гордились, что он из их породы.

— Ку-ка-ре-ку! — запел он. — Цыплята сейчас же сделаются большими курами, если я прокукарекаю об этом на весь мировой курятник!

Куры и цыплята кудахтали и пищали. А петух объявил великую новость:

— Петух может снести яйцо! И знаете, что в нем? Василиск! Никто не может вынести его взгляда! Люди это знают, а теперь знаете и вы, знаете, что есть во мне, знаете, что я всем петухам петух!

И дворовый петух захлопал крыльями, поднял гребешок и опять закукарекал. Куриц и цыплят даже озноб прошиб, но как им было лестно, что один из их семейства — петух из петухов! Они кудахтали и пищали так, что даже флюгерному петуху было слышно, но он и не шевельнулся.

«Все ерунда! — говорил он сам себе. — Никогда дворовому петуху не снести яйца, а я не хочу! А если бы захотел, я бы снес ветряное яйцо! Но мир не стоит ветряного яйца! Все ерунда! Я и сидеть-то здесь больше не хочу!»

И флюгерный петух надломился и слетел вниз, но не убил дворового петуха, хоть и рассчитывал на это, как уверяли куры.

Мораль?

«Лучше петь петухом, чем разочароваться в жизни и надломиться!»





«КАК ХОРОША!»



**Т**ы ведь знаешь скульптора Альфреда? Все мы знаем его: он получил золотую медаль, ездил в Италию и опять вернулся на родину; тогда он был молод, да он и теперь не стар, хотя, конечно, состарился на десять лет.

Вернувшись на родину, он поехал погостить в один из зеландских городков. Весь город узнал о приезде, узнал, кто он такой. Одно из богатейших семейств города дало в честь его большой вечер. Все, кто хоть мало-мальски чем-нибудь выдавался — деньгами или положением в свете, — были в числе приглашенных. Вечер являлся настоящим событием; весь город знал о том, и без барабанного оповещения. Мальчишки-мастеровые и другие ребята мелких горожан, а с ними кое-кто и из родителей, стояли пред освещенными окнами и глядели на спущенные занавески. Ночной сторож мог вообразить, что на его улице праздник, такое тут собралось большое общество. На улице и то было интересно, а уж там, в доме-то, как было весело! Там ведь находился сам господин Альфред, скульптор!

Он говорил, рассказывал, а все остальные слушали его с удовольствием и чуть ли не с благоговением, особенно одна пожилая вдова-чиновница. Она напоминала собою промокательную бумагу — впитывала в себя каждое слово господина Альфреда и просила еще и еще. Невероятно восприимчивая была барыня, но и невежественная до невероятия — настоящий Каспар Гаузер в юбке.

— Вот Рим бы я посмотрела! — сказала она. — То-то, должно быть, чудесный город! Сколько туда наезжает иностранцев! Опишите нам Рим! Что видишь, въезжая в ворота?

— Ну, это не так-то легко описать! — ответил молодой скульптор. — Видите ли, там большая площадь, а посреди ее возвышается обелиск; ему четыре тысячи лет.

— Вот так василиск! — проговорила барыня; она отроду не слыхивала слова «обелиск». Многим, в том числе и самому скульптору, стало смешно, но усмешка его мгновенно испарилась, как только он увидал рядом с барыней пару больших синих, как море, очей. Очи принадлежали дочке барыни, а матушка такой дочки не может, конечно, быть глупою!..

Матушка была неисчерпаемым источником вопросов, дочка — прекрасною молчаливою наядою источника. Как она была хороша! Скульптору легко было заглядеться на нее, но не заговорить с ней, — она совсем не говорила или по крайней мере очень мало!

— А у папы большая семья? — спросила барыня.

И молодой человек ответил, как следовало бы ответить при более умной постановке вопроса:

— Нет, он не из большой семьи.

— Я не про то! — возразила барыня. — Я спрашиваю, есть ли у него жена и дети?

— Папа не имеет права жениться! — ответил скульптор.

— Ну, это не в моем вкусе! — сказала она.

Конечно, и вопросы и ответы могли бы быть поумнее, но если бы они не были так глупы, стала ли бы дочка выглядывать из-за плеча матери с такою трогательною улыбкою?

И господин Альфред продолжал рассказывать. Рассказывал о ярких красках Италии, о синееющих горах, о голубом Средиземном море, о южном небе. Подобную синеву можно встретить здесь, на севере, разве только в очах

северных дев! Сказано это было с ударением, но та, к кому относился намек, не подала и вида, что поняла его. И это тоже вышло чудо как хорошо!

— Италия! — вздыхали одни. — Путешествовать! — вздыхали другие. — Как хорошо, как хорошо!

— Вот когда я выиграю пятьдесят тысяч, — сказала вдова, — мы с дочкой поедем путешествовать! И вы, господин Альфред, с нами! Поедем втроем, да еще прихватим с собою кое-кого из добрых друзей! — И она благосклонно кивнула всем окружающим, так что каждый получал право надеяться, что именно его-то она и прихватит с собою. — Мы поедем в Италию, только не туда, где водятся разбойники. Будем держаться Рима да больших дорог, где безопаснее.

Дочка слегка вздохнула. Что может заключаться в одном маленьком вздохе или что можно вложить в него! Молодой человек вложил в этот вздох многое! Голубые очи осветили ему в этот вечер скрытые сокровища сердца и души, богаче всех сокровищ Рима! И он оставил общество сам не свой, он весь принадлежал красавице.

С тех пор дом вдовы особенно полюбился господину Альфреду, скульптору; но ясно было, что он посещал его не ради мамы — хотя с нею только и вел беседу, — а ради дочки. Звали ее Кала; то есть, собственно говоря, ее звали Карен Малена, а уж из этих двух имен сделали одно — Кала. Как она была хороша! «Только немножко вялая», — говорили про нее. Она таки любила по утрам понежиться в постели.

— Так уж она привыкла с детства! — говорила мама. — Она у меня балованное дитя, а такие легко утомляются. Правда, она любит полежать в постели, но оттого у нее и ясные глазки!

И что за сила была в этих ясных, синих, как море, тихих и глубоких глазах! Наш скульптор и утонул в их глубине. Он говорил, он рассказывал, а матушка расспрашивала с такою же живостью и развязностью, как и в первый раз. Ну, да и то сказать, послушать рассказы господина Альфреда было настоящим удовольствием. Он рассказывал о Неаполе, о восхождениях на Везувий и показывал раскрашенные картинки, на которых было изображено извержение Везувия. Вдова ни о чем таком сроду не слыхивала, ничего такого ей и в голову не приходило.

— Господи помилуй! — сказала она. — Вот так огнедышащие горы! А вреда от них не бывает?

— Как же! Раз погибли целых два города: Геркуланум и Помпея!

— Ах, несчастные люди! И вы сами все это видели?

— Нет, извержений, что изображены на этих картинках, я не видал, но вот я покажу вам мой собственный набросок одного извержения, которое было при мне.

И он вынул карандашный набросок, а мамаша, насмотревшись на ярко раскрашенные картинки, удивленно воскликнула:

— Так при вас он извергал белый огонь!

Уважение господина Альфреда к мамаше пережило критический момент, но присутствие Калы скоро придало сказанному иную окраску, — он сообразил, что матушка ее просто не обладает глазом, чутьем красок, вот и все! Зато она обладала лучшим, прекраснейшим сокровищем — Калою.

И вот Альфред обручился с Калою; этого и следовало ожидать. О помолвке было оповещено в местной газете. Мамаша достала себе тридцать номеров, вырезала печатное оповещение и разослала его в письмах друзьям и знакомым. Жених с невестой были счастливы, теща тоже; она, по ее словам, будто породнилась с самим Торвальдсеном!

— Вы ведь его преемник!

И Альфред нашел, что она сказала довольно умную вещь. Кала не говорила ничего, но глаза ее сияли, улыбка не сходила с уст, каждое движение дышало пленительной грацией. Как она была хороша, как хороша!..

Альфред вылепил бюсты Калы и мамашы. Они сидели перед ним и смотрели, как он мял и сглаживал мягкую глину.

— Ах, ради нас вы взялись сами за эту грубую работу! — сказала мамаша. — Пусть бы мальчик мял глину!

— Нет, мне необходимо лепить самому! — сказал он.

— Ну да, ведь вы всегда так любезны! — сказала матушка, а дочка тихонько пожала ему руку, запачканную в глине.

Во время работы Альфред толковал им о красоте природы и всего мироздания, о превосходстве живого над мертвым, растения над минералом, животного над расте-

нием, человека над животным; объяснял, что скульптор воплощает высшее проявление красоты в земных образах.

Кала молчала, убаюканная его речами, а теща изрекала:

— Трудно, знаете, уследить за вашими словами! Но хоть я и медленно соображаю, а мысли так и жужжат у меня в голове, я все-таки держу их крепко.

И его тоже крепко держала красота; она наполняла все его помыслы, завладела им всецело. Красотой дышало все существо Калы — и глаза и ротик, даже каждое движение пальцев. Все это было по части скульптора, и он говорил только о красавице, думал только о ней. Оба они составляли теперь одно, поэтому много говорила и она, раз говорил много он.

Так прошел день помолвки, затем настал и день свадьбы. Явились подруги невесты, пошли подарки, о которых было упомянуто в поздравительных речах, словом — все, как водится.

Мамаша поместила за свадебным столом, в качестве почетного гостя, бюст Торвальдсена в шлафроке, — это была ее собственная идея. Пели задравные песни, осушали бокалы, веселая была свадьба и чудесная пара! «Пигмалион обрел свою Галатею», — говорилось в одной из песен.

— Ну, это что-то из мифологии! — сказала мамаша.

На другой день молодая чета отправилась в Копенгаген; мамаша последовала за ними — взять на себя грубую часть семейной жизни, хозяйство. Кала пусть живет, как в кукольном домике! Все такое новое, блестящее, красивое! Ну, вот наконец все трое и сидели в своем домике. Альфред — тот сидел, по пословице, словно епископ в гусином гнезде.

Его околдовала красота форм, он видел только футляр, а не то, что в нем, а это большой промах, особенно если дело идет о браке! Износится футляр, сотрется позолота, и пожалеешь о покупке. Ужасно неприятно заметить в гостях, что у тебя оторвались пуговицы у подтяжек, что пряжки ненадежны, что их совсем нет, но еще неприятнее замечать, что жена твоя и теща говорят глупости, и не быть уверенным, что всегда найдешь случай заглушевать глупость остроумною шуткой.

Часто молодая чета сидела рука об руку; он говорил, она изредка роняла слово, — тот же тон, те же два-три



мелодичных звука... София, подруга новобрачной, вносила с собою в дом освежающую струю.

София красотою не отличалась, но и изъянов не имела. Правда, по словам Калы, она была слегка кривобока, но это мог заметить лишь глаз подруги. София была девушка умная, но ей и в голову не приходило, что она может стать опасною. Она вносила в кукольный домик струю свежего воздуха, а здесь-таки чувствовался в нем недостаток. Все понимали это, всем хотелось проветриться, и решили проветриться: теща и молодые новобрачные отравились в Италию.

— Слава богу, вот мы и опять дома! — сказали мамаша и дочка, вернувшись через год вместе с Альфредом на родину.

— Ничего нет хорошего в путешествии! — говорила мамаша. — Даже скучно! Извините за откровенность! Я просто соскучилась, хотя со мною и были дети. А как это дорого, как дорого! Все-то галереи надо осмотреть, все обегать! Нельзя же: приедешь домой, спросят обо всем! И все-таки в конце концов узнаешь, что самого-то лучшего и не видали! А эти бесконечные, вечные мадонны надоели мне вот до чего!.. Право, того и гляди, сама станешь мадонной!

— А стол-то! — говорила Кала.

— Даже порядочного бульона не достанешь! — подхватывала мамаша. — Просто беда с их стряпней!

Кала была очень утомлена путешествием, сильно утомлена и — что хуже всего — никак не могла оправиться. София переселилась к ним совсем и была очень полезна в доме.

Мамаша отдавала Софии должное — она была весьма сведущей в хозяйстве и в искусстве, во всем, отдаться чему она до сих пор не могла за неимением средств. Вдобавок, она была девушка вполне порядочная, искренне преданная, что и доказала во время болезни Калы.

Если футляр — все, то футляр должен быть прочен, не то беда; так оно и вышло — Кала умерла.

— Как она была хороша! — говорила мамаша. — Не то, что всякие античные статуи, те все побились да по-

трескались, а Кала была цельная! Вот это настоящая красота!

Альфред плакал, мамаша тоже; оба надели траур. Черный цвет особенно шел мамаше, и она носила его дольше, дольше и грустила, тем более что грусть ее нашла новую пищу: Альфред женился на Софии, не отличавшейся приятной внешностью.

— Он ударился в крайность! — говорила мамаша. — От красоты перешел к безобразию! И он мог забыть свою первую жену! Вот вам мужское постоянство! Нет, мой муж был не таков! Он и умер-то прежде меня!



— «Пигмалион обрел свою Галатею», так говорилось в свадебной песне! — сказал Альфред. — Да, я в самом деле влюбился в прекрасную статую, которая ожила в моих объятиях. Но родственную душу, которую посылает нам само небо, одного из тех ангелов, что живут одними чувствами, одними мыслями с нами, поддерживают нас в минуты слабости, я обрел только теперь. Тебя, София! Ты явилась мне не в ореоле внешней красоты, но ты добра и красива, даже более чем необходимо! Суть все же остается сутью! Ты явилась и научила скульптора, что творение его — только глина, прах, оболочка внутреннего ядра, которое нам следует искать прежде всего. Бедная Кала! Наша совместная жизнь прошла, как свадебная поездка. Там, где встречаются родственные души, мы, быть может, окажемся чуждыми друг другу.

— Ну, это нехорошо с твоей стороны говорить так! — возразила София. — Не по-христиански! Там, на небе,

где не женятся и не выходят замуж, но где, как ты говоришь, встречаются родственные души, где всякая красота развертывается в полном блеске, ее душа, может быть, расцветет так пышно, что совсем затмит меня, и ты опять воскликнешь, как в первом любовном порыве: «Как хороша! Как хороша!»





## НА ДЮНАХ



**Р**ассказ пойдет о ютландских дюнах, но начинается он не там, а далеко, далеко на юге, в Испании; море ведь соединяет все страны, перенесись же мыслью в Испанию! Как там тепло, как чудесно! Среди темных лавровых деревьев мелькают пурпуровые гранатные цветы; прохладный ветерок веет с гор на апельсиновые сады и великолепные мавританские галереи с золочеными куполами и расписными стенами. По улицам двигаются процессии детей со свечами и развевающимися знаменами в руках, а в вышине, над улицами города, раскинулось ясное, чистое небо, усеянное сияющими звездами! Лютуют звуки песен, шелкают кастаньеты, юноши и девушки кружатся в пляске под сенью цветущих акаций; нищий сидит на ступенях мраморной лестницы, утоляет жажду сочным арбузом и затем опять погружается в привычную дремоту, сладкий сон! Да и все здесь похоже на какой-то чудный сон! Все манит к сладкой лени, к чудным грезам! Таким грезам наяву предавалась и юная новобрачная чета, осыпанная всеми благами

земными; все было ей дано: и здоровье, и счастье, и богатство, и почетное положение в обществе.

— Счастливей нас никого и быть не может! — искренне говорили они. И все же им предстояло подняться по лестнице человеческого благополучия еще на одну ступень, если бы бог даровал им ожидаемое дитя, сына, живое физическое и духовное изображение их самих.

Счастливое дитя! Его бы встретили общее ликование, самый нежный уход и любовь, все благополучие, какое только может дать человеку богатство и знатная родня.

Вечным праздником была для них жизнь.

— Жизнь — милосердный дар любви, почти необъятный! — сказала супруга. — И представить себе, что эта полнота блаженства должна еще возрасти там, за пределами земной жизни, возрасти до бесконечности! Право, я даже не в силах справиться с этою мыслью, до того она необъятна!

— Да она и чересчур самонадеянна! — ответил муж. — Ну, не самонадеянно ли, в сущности, воображать, что нас ожидает вечная жизнь, как богов? Стать подобными богам — ведь эту мысль внушил людям змий, отец лжи!

— Но не сомневаешься же ты в будущей жизни? — спросила молодая супруга, и словно темное облачко скользнуло впервые по безоблачному горизонту их мыслей.

— Религия обещает нам ее, священники подтверждают это обещание! — сказал молодой муж. — Но именно теперь, чувствуя себя наверху блаженства, я и сознаю, насколько надменно, самонадеянно с нашей стороны требовать после этой жизни еще другой, требовать продолжения нашего блаженства! Разве не дано нам уже здесь, в этой жизни, так много, что мы не только можем, но и должны вполне удовлетвориться ею?

— Да, нам-то дано много, — возразила жена, — но для скольких тысяч людей земная жизнь — сплошное испытание; сколько людей от самого рождения бывают обречены на бедность, унижение, болезни и несчастье! Нет, если бы за этою жизнью не ждала людей другая, земные блага были бы распределены слишком неровно и бог не был бы судьею всеправедным!

— И у нищего бродяги есть свои радости, по-своему не уступающие радостям короля, владельца пышного дворца! — ответил молодой человек. — И разве не чувствует, по-твоему, тяжести своей земной участи рабочий

скот, которого бьют, морят голодом и работою? Значит, и животное может требовать себе загробной жизни, считать несправедливостью свое низкое положение в ряду других созданий?

— «В доме отца моего небесного есть много обителей», сказал Христос! — возразила молодая женщина. — Царство небесное беспредельно, как и любовь божья! Животные — тоже его творения, и, по-моему, ни одно живое существо не погибнет, но достигнет той ступени блаженства, на какую только способно подняться!

— Ну, а с меня довольно и этой жизни! — сказал муж и обнял свою красавицу жену. Дым от сигареты уносился с открытого балкона в прохладный воздух, напоенный ароматом апельсиновых цветов и гвоздики; с улицы доносились звуки песен и шелканье кастаньет; над головами их сияли звезды, а в глаза мужу глядели нежные очи, сияющие огнем бесконечной любви, очи его супруги.

— Да, одна такая минута стоит того, чтобы человек родился, пережил ее и исчез! — продолжал он улыбаясь.

Молодая женщина ласково погрозила ему пальцем, и темное облачко пронеслось, — они были чересчур счастливы!

Обстоятельства складывались для них так благоприятно, что жизнь сулила им впереди еще большие блага. Правда, их ждала перемена, но лишь места, а не счастливого образа жизни. Король назначил молодого человека посланником при императорском российском дворе, — происхождение и образование делали его вполне достойным такого почетного назначения.

Молодой человек и сам имел большое состояние, да и молодая супруга принесла ему не меньшее: она была дочерью богатого, уважаемого коммерсанта. Один из его самых больших и лучших кораблей как раз должен был в этом году идти в Стокгольм. На нем-то и решили отправить дорогих детей, дочь и зятя, в Петербург. Корабль был разубран с королевскою роскошью, всюду мягкие ковры, шелк и бархат.

В одной старинной, всем нам, датчанам, известной песне об английском королевиче говорится, как королевич этот отплывает на богато разубранном корабле, с якорями из чистого золота и шелковыми снастями. Вот об этом-то корабле и вспоминалось, глядя на испанский корабль; та же роскошь, те же мысли при отплытии: «О, дай же нам, боже, счастливо вернуться!»

Подул сильный попутный ветер, минута прощания была коротка. Через несколько недель корабль должен был достигнуть конечной цели путешествия. Но когда он был уже далеко от земли, ветер улегся, сияющая ровная поверхность моря, казалось, застыла; вода блестела, звезды сияли, а в богатой каюте словно праздник шел.

Под конец, однако, все стали желать доброго попутного ветра, но он и не думал являться, если же временами и дул ветер, то не попутный, а встречный. Недели шли за неделями, прошло целых два месяца, пока дождались благоприятного ветра с юго-запада. Корабль находился в это время между Шотландией и Ютландией; ветер надул паруса и понес корабль — совсем как в старинной песне об английском королевиче:

И ветер подул, небеса потемнели;  
Куда им укрыться? Где берег, где порт?  
Свой якорь на дно золотой опустили,  
Но к Дании злобный их ветер несет!

Это было очень давно. В те времена на троне Дании сидел юный король Кристиан VII. Много событий совершилось за это время, многое изменилось, переменилось. Озера и болота стали сочными лугами, степи — обработанными полями, а на западном берегу Ютландии, под защитой стен крестьянских избушек, выросли яблоки и розы. Но их приходится отыскивать глазами, так ловко они прячутся от резкого западного ветра. И все же тут, на этом берегу, легко перенестись мыслью даже во времена еще более отдаленные, нежели царствование Кристиана VII: в Ютландии и теперь, как в старину, стелется необозримая бурая степь, родина миражей, усеянная могильными курганами, изрезанная перекрещивающимися кочковатыми песчаными дорогами. На западе же, где большие реки впадают в заливы, по-прежнему расстилаются дуга и болота, защищенные со стороны моря высокими дюнами. Зубчатые вершины дюн тянутся по берегу, словно горная цепь, прерываемая в иных местах глинистыми откосами; море из года в год откусывает от них кусок за куском, так что выступы и холмы наконец рушатся, точно от землетрясения. Такова была Ютландия и в те времена, когда счастливая чета плыла на богатом корабле.

Сентябрь был на исходе; погода стояла солнечная; было воскресенье; звуки колоколов догоняли друг друга, разносясь вдоль берега Ниссум-фиорда. Церкви в этих местах напоминали обтесанные каменные глыбы, — каждая была высечена в скале. Море перекаtywало через них свои волны, а они себе стояли да стояли. Большинство из них было без колоколен; колокола, укрепленные между двумя столбами, висели под открытым небом.



Служба в церкви кончилась, и народ высыпал на кладбище, на котором и тогда, как теперь, не виднелось ни деревца, ни кустика, ни цветка, ни даже венка на могилах. Только небольшие холмы указывали места, где покоились усопшие; все кладбище поросло острой, жесткою травю; ветер так и трепал ее. Кое-где на могилах попадались и памятники — полусгнившие обломки бревен, обтесанные в виде гроба. Обломки эти доставлял «прибрежный лес» — открытое море. В море «растут» для берегового жителя и готовые балки, и доски, и деревья; доставляет же их на берег прибой. Но ветер и морской туман скоро заставляют их сгнить.

Такой обломок лежал и на детской могилке, к которой направилась одна из женщин, вышедших из церкви.



Она стояла молча, устремив взор на полуистлевший деревянный обломок. Немного погодя к ней присоединился ее муж. Они не обменялись ни словом, он взял ее за руку, и они пошли по бурой степи и болоту к дюнам. Долго шли они молча, наконец, муж промолвил:

— Хорошая была сегодня проповедь! Не будь у нас господа, у нас не было бы ничего!

— Да, — ответила жена, — он посылает нам радости, он же посылает и горе! И он прав всегда. А сегодня нашему мальчугану исполнилось бы пять лет, будь он жив.

— Право, напрасно ты так горюешь! — сказал муж. — Он счастливо отделался и находится теперь там, куда и нам надо проситься у бога.

Больше они не говорили и направились к дому. Вдруг над одною из дюн, на которой песок не был укреплен никакою растительностью, поднялся как бы столб дыма: сильный вихрь взрыл и закрутил мелкий песок. Затем пронесся новый порыв ветра, и развешенная на веревках для просушки рыба забарабанила в стены дома; потом опять все стихло; солнце так и пекло.

Муж с женой вошли в свою избушку и, живо снимав с себя праздничные платья, поспешили опять на дюны, возвышавшиеся на берегу, словно чудовищные, внезапно остановившиеся на пути песчаные волны. Некоторое разнообразие красок вносили росшие на белом песке голубовато-зеленые острые стебельки песочного овса и песчанки. На берег собралось еще несколько соседей, и мужчины соединенными силами втащили лодки повыше на песок. Ветер все крепчал, становился все резче и холоднее, и, когда муж с женою повернули обратно домой, песок и острые камешки так и полетели им прямо в лицо. Сильные порывы ветра срезывали белые гребешки волн и рассыпали их мелкою пылью.

Свечерело; в воздухе как будто выл, свистел и стонал целый легион проклятых духов. Муж с женою не слышали даже грохота моря, а избушка их стояла чуть не на самом берегу. Песок так и летел в оконные стекла, порывы ветра грозили иногда повалить избушку. Стемнело, но около полуночи должна была проглянуть луна.

Небо прояснилось, но буря бушевала на море с прежнею силой. Муж и жена давным-давно улеглись в постели, но нечего было и думать заснуть в такую непогоду; вдруг

в окно к ним постучали, дверь приотворилась, и кто-то сказал:

— На дальнем рифе стоит большой корабль!

В одну минуту муж и жена вскочили и оделись.

Луна светила довольно ярко, но бушующий песчаный вихрь слепил глаза. Ветер дул такой, что хоть ложись на него; только с большим трудом, чуть не ползком, пользуясь паузами между порывами урагана, можно было перебраться через дюны. На берег, словно лебяжий пух, летела с моря соленая пена; море с шумом и ревом катило кипящие волны. Надо было иметь опытный глаз, чтобы сразу различить в море судно. Это был великолепный двухмачтовый корабль; его несло к берегу через рифы, но на последнем он сел.

Подать помощь кораблю или экипажу нечего было и думать, — море слишком разбушевалось; волны нещадно хлестали корпус судна и перекатывались через него. Рыбакам чудились крики и вопли отчаяния; видно было, как люди на корабле беспомощно, растерянно суетились. Вот встал огромный вал и обрушился на бушприт. Миг — и бушприта как не бывало; корма высоко поднялась над водою, и с нее спрыгнули в этот момент две обнявшиеся человеческие фигуры, спрыгнули и исчезли в волнах... Миг еще, и огромная волна выкинула на дюны тело молодой женщины, по-видимому бездыханное. Несколько рыбаков окружили ее, и им показалось, что она еще подает признаки жизни. Сейчас перенесли ее в ближайшую избушку. Как хороша и нежна была бедняжка! Верно, знатная дама!

Ее уложили на убогую кровать без всякого белья, прикрытую одним шерстяным одеялом, но в него-то и следовало укутать незнакомку — чего уж теплее!

Ее удалось вернуть к жизни, но она оказалась в жару и не сознавала ничего: ни того, что случилось, ни того, куда попала. Да и слава богу: все, что было ей дорого и жизни, лежало теперь на дне морском. Все случилось, как в песне об английском королевиче:

Ужаснее вида и быть не могло:  
Разбилось судно о риф, как стекло.

Море выбросило на берег обломки корабля, из людей же уцелела одна молодая женщина. Ветер все еще выл, но в избушке на несколько мгновений воцарилась тишина:

молодая женщина забылась; потом начались боли и крики, она раскрыла свои дивные глаза и сказала что-то, но никто не понял ни единого слова.

И вот в награду за все перенесенные ею страдания в объятиях ее очутилось новорожденное дитя. Его ожидала великолепная колыбель с шелковым пологом, роскошное жилище, ликование, восторги и жизнь, богатая всеми благами земными, но господь судил иначе: ему довелось родиться в бедной избушке, и даже поцелуя матери не суждено было ему принять.

Жена рыбака приложила ребенка к груди матери, и он очутился возле сердца, которое уже перестало биться, мать умерла. Дитя, которое должно было встретить в жизни одно богатство, одно счастье, было выброшено морем на дюны, чтобы испытать нужду и долю бедняка.

Испанский корабль разбился немного южнее Ниссум-фиорда. Жестокие, бесчеловечные времена, когда береговые жители промышляли грабежом, обирая потерпевших кораблекрушение, давным-давно миновали. Теперь несчастные встречали тут любовное, сердечное отношение, широкую готовность прийти на помощь. Наше время может гордиться истинно благородными чертами характера! Умиряющая мать и несчастный ребенок нашли бы приют и уход в любом домике на берегу, но нигде не отнеслись бы к ним участливее, сердечнее, чем в том именно, куда они попали: у бедной рыбацки, так грустно стоявшей вчера возле могилы своего ребенка, которому в этот день должно было бы исполниться пять лет.

Никто не знал, кто такая была умершая женщина или откуда она. Корабельные обломки были немые.

В Испании, в доме богатого купца, так и не дождались ни письма, ни весточки о дочери или зяте. Узнали только, что они не достигли места назначения и что в последние недели на море бушевали страшные бури. Ждали месяцы, наконец пришла весть: «Корабль разбился; все погибли».

А в рыбацкой избушке на дюнах появился новый жилец.

Там, где господь посылает пищу для двоих, хватит и на третьего; на берегу моря хватит рыбы для голодного рта. Мальчика назвали Юргеном.

— Это, верно, еврейское дитя! — говорили про него. — Ишь, какой смуглый!

— А может быть, он испанец или итальянец! — сказал священник.

Но все эти три народности были в глазах жены рыбака одним и тем же, и она утешалась, что дитя крещено. Ребенок подрастал; благородная кровь питалась бедною пищей; отпрыск благородного рода вырастал в бедной избушке. Датский язык, вернее западно-ютландское наречие, стал для него родным языком. Гранатное зернышко с испанской почвы выросло на западном берегу Ютландии песчанкой. Вот как может приспособляться человек! Он сросся с новою родиной всеми своими жизненными корнями. Ему суждено было изведать и голод, и холод, и другие невзгоды, но также и радости, выпадающие на долю бедняка.

Детство каждого человека имеет свои радости, которые бросают светлый отблеск на всю его жизнь. В играх и забавах у Юргена недостатка не было. На морском берегу было раздолье для игр: весь берег был усеян игрушками, выложен, словно мозаикою, разноцветными камешками. Тут попадались и красные, как кораллы, и желтые, как янтари, и белые, кругленькие, как птичьи яички, словом, всевозможные мелкие обточенные и отшлифованные морем камешки. Высохшие остовы рыб, сухие водоросли и другие морские растения, белевшие на берегу и опутывавшие камни точно тесемками, тоже служили игрушками, забавой для глаз, пищей для ума. Юрген был мальчуган способный, богато одаренный. Как он запоминал разные истории и песни! А уж что за руки у него были — просто золотые! Из камней и ракушек мастерил он кораблики и картинки для украшения стен. Мальчик мог, по словам его приемной матери, выразить свои мысли резьбой на кусочке дерева, а он был еще невелик. Как чудесно звенел его голосок; мелодии так сами собой и лились из его горлышка. Да, много струн было натянуто в его душе; они могли бы зазвучать на весь мир, сложись его судьба иначе, не забрось она его в эту глухую рыбацью деревушку.

Однажды поблизости разбился корабль, и на берег выбросило волнами ящик с редкими цветочными луковичками. Некоторые из них были искрошены в похлебку — рыбаки сочли их съедобными, другие остались гнить на песке. Им не суждено было выполнить свое назначение — развернуть взорам всю скрытую в них роскошь

красок. Будет ли Юрген счастливее? Луковицы скоро погнили, его же ожидали долгие годы испытания.

Ни ему, ни кому другому из окружающих никогда и в голову не приходило, что дни тянутся здесь скучно и однообразно: здесь было вдоволь работы и рукам, и глазам, и ушам. Море являлось огромным учебником и каждый день открывало новую страницу, знакомило береговых жителей то со штилем, то с легким волнением, то с ветром и штормом. Кораблекрушения были крупными событиями, а посещения церкви — настоящими праздниками. Из посещений же родных и знакомых особенную радость доставлял семейству рыбака приезд дяди, продавца угрей из Фьяльтринга, что близ Бовбьерга. Он приезжал сюда два раза в год на красной тележке, полной угрей; тележка представляла собою ящик с крышкой и была расписана по красному фону голубыми и белыми тюльпанами; тащила ее пара чалых волов. Юргену позволялось покататься на них.

Торговец угрями был остряк, весельчак, и всегда привозил с собою бочонок водки. Всякому доставался полный стаканчик или кофейная чашечка, если не хватало стаканов; даже Юргену, как ни мал он был, давалась порция с добрый наперсток. Надо же выпить, чтобы удержать в желудке жирного угря, говорил торговец и при этом всякий раз рассказывал одну и ту же историю, а если слушатели смеялись, рассказывал еще раз сначала. Такая уж слабость у словоохотливых людей! И так как Юрген сам зачастую руководился этой историей и в отчужденности и даже в зрелом возрасте, то надо и нам познакомиться с нею.

«В реке плавали угри; дочери все просились у матери погулять на свободе, подняться вверх по реке, а мать говорила им: «Не заходите далеко! Не то придет злой рыбак и всех вас заколет!» Но они все-таки зашли слишком далеко, и из восьми дочерей вернулись к матери только три. Они принялись жаловаться: «Мы только чуть-чуть вышли из дома, как явился злой рыбак и заколол сестриц своим трезубцем до смерти!» — «Ну, они еще вернутся к нам!» — сказала мать. — «Нет! — ответили дочери. — Он ведь содрал с них кожу, разрезал их на куски и зажарил!» — «Вернутся!» — повторила мать. «Да ведь он съел их!» — «Вернутся!» — повторила мать. «Да он запил их водкой!» — сказали дочери. «Ай! Ай! Значит,

они никогда не вернутся! — завывала мать. — Водка хоронит угрей!»

— Вот и следует всегда запивать это блюдо водочкою! — прибавлял торговец.

История эта прошла через всю жизнь Юргена красною нитью, давая обширный материал для забавных острот, поговорок и сравнений. И Юргену по временам страсть как хотелось выглянуть из дома, погулять по белу свету на корабле, а мать его тогда говорила: «На свете много злых людей — рыбаков!» Ну, а недалеко от дюн, в степи, побывать было можно, и он побывал. Четыре веселых дня осветили собой все его детство; в них отразилась для него вся красота Ютландии, вся радость и счастье родного края. Родителей Юргена пригласили на пир — правда, на похоронный.

Умер один из их состоятельных родственников. Жил он в степи, к северо-востоку от рыбачьей слободки. Родители взяли Юргена с собою. Миновав дюны, степь и болото, они пошли по зеленому лугу, где прорезывает себе путь река Скерум, изобилующая угрями. В ней-то и жила угриная матка со своими дочками, которых злые люди убили, ободрали и разрезали на куски. Но часто люди поступали не лучше и с себе подобными. Вот и рыцарь Бугге, о котором говорится в старинной песне, был убит злыми людьми, да и сам он, как ни был добр, собирался убить строителя, что воздвигнул ему толсто-стенный замок с башнями. Замок этот стоял на том самом месте, где приостановился теперь Юрген со своими родителями, при впадении реки Скерум и Ниссум-фиорд. Валу еще виднелись, и на них — остатки кирпичных стен. Рыцарь Бугге, посылая своего слугу в погоню за ушедшим строителем, сказал: «Догони его и скажи: «Мастер, башня падает!» Если он обернется, сруби ему голову и возьми деньги, что он получил от меня, а если не обернется, оставь его идти с миром».

Слуга догнал строителя и сказал, что было велено, но тот, не оборачиваясь, ответил: «Башня еще не падает, но когда-нибудь придет с запада человек в синем плаще и заставит ее упасть». Так оно и случилось сто лет спустя: море затопило страну, и башня упала, но владелец замка Предбьерн Гюльденстьерне выстроил себе новую, на более высоком месте; она стоит и посейчас в Северном Восборге.

Мимо этого замка им тоже пришлось проходить. Все эти места давно были знакомы Юргену по рассказам, услаждавшим для него долгие зимние вечера, и вот теперь он сам увидел и двор, окруженный двойными рвами, деревьями и кустами, и вал, поросший папоротником. Но лучше всего были здесь высокие липы, достававшие вершинами до крыши и наполнявшие воздух сладким ароматом. В северо-западном углу сада рос большой куст, осыпанный цветами, что снегом. Это была бузина, первая цветущая бузина, которую видел Юрген. И она да цветущие липы запечатлелись в его памяти на всю жизнь; ребенок запасая на старость воспоминаниями о красоте и благоухании Дании.

Остальную часть пути совершили гораздо скорее и удобнее: как раз у Северного Восборга, где цвела бузина, Юргена с родителями нагнали другие приглашенные на пир, ехавшие в тележке, и предложили подвезти их. Конечно, всем троим пришлось поместиться позади, на деревянном сундуке, окованном железом, но это было все-таки лучше, чем идти пешком. Дорога шла по кочковатой степи; волны, тащившие тележку, время от времени останавливались, встретив среди вереска клочок земли, поросший свежей травкой; солнышко припекало, и над степью курился диковинный дымок. Он вился клубами и в то же время был прозрачнее самого воздуха; казалось, солнечные лучи клубились и плясали над степью.

— Это Локеман гонит свое овчье стадо! — сказали Юргену, и ему было довольно — он сразу перенесся в сказочную страну, но не терял из виду и окружающей действительности. Какая тишина стояла в степи!

Во все стороны разбегалась необозримая степь, похожая на драгоценный ковер; цвел вереск; кипарисово-зеленый можжевельник и свежие отпрыски дубков выглядывали из него как букеты. Так и хотелось броситься на этот ковер поваляться — не будь только тут множества ядовитых гадуек!.. Об них-то да о волках и пошла речь; последних водилось тут прежде столько, что всю местность звали Волчьей округой. Старик возница рассказывал, что в старину, когда еще жив был его покойный отец, лошадям часто приходилось жестоко отбиваться от кровожадных зверей, а раз утром и ему самому случилось набрести на лошадь, попиравшую ногами убитого ею волка, но ноги ее были все изгрызены.

Слишком скоро для мальчика проехали они кочковатую степь и глубокие пески и прибыли в дом, где было полным-полно гостей. Повозки жались друг к другу; лошади и волы пощипывали тощую травку. За хутором возвышались песчаные дюны, такие же высокие и огромные, как и в родной слободке Юргена. Как же они попали сюда с берега, ведь оттуда три мили? Ветер поднял и перенес их; у них своя история.

Пропели псалмы, двое-трое старичков и старушек пролезались, а то было очень весело, по мнению Юргена: ешь и пей вволю, — угощали жирными угрями, а их надо было запивать водочкой. «Она удерживает угрей!» — говаривал старик торговец, и тут крепко держались его слов.

Юрген шнырял повсюду и на третий день чувствовал себя тут совсем как дома. Но здесь, в степи, было совсем не то, что у них в рыбацкой слободке, на дюнах: степь так и кишела цветочками и голубикой; крупные, сладкие ягоды прямо топтались ногами, и вереск орошался красным соком.

Там и сям возвышались курганы; в тихом воздухе курился дымок; горит где-нибудь степь, говорили Юргену. Вечером же над степью подымалось зарево — вот было красиво!

На четвертый день поминки кончились, пора было и домой, на приморские дюны.

— Наши-то настоящие, — сказал отец, — а в этих никакой силы нет.

Зашел разговор о том, как они попали сюда, внутрь страны. Очень просто. На берегу нашли мертвое тело; крестьяне схоронили его на кладбище, и вслед за тем началась страшная буря, песок погнало внутрь страны, море дико лезло на берег. Тогда один умный человек посоветовал разрыть могилу и поглядеть, не сосет ли покойник свой большой палец. Если да, то это водяной, и море требует его. Могилу разрыли: покойник сосал большой палец. Сейчас же взвалили его на телегу, запрягли в нее двух волов, и те, как ужаленные, помчали ее через степь и болото прямо в море. Песчаная метель прекратилась, но дюны, как их намело, так и остались стоять внутри страны. Юрген слушал и сохранял все эти рассказы в своей памяти вместе с воспоминаниями о счастливейших днях детства, о поминках.



Да, то ли дело вырваться из дома, увидеть новые места и новых людей! И Юргену предстояло-таки вырваться опять. Ему еще не минуло четырнадцати лет, а он уже нанялся на корабль и отправился по белу свету. Узнал он и непогоду, и море, и злых, жестоких людей. Недаром он был юнгой! Скучная пища, холодные ночи, плеть и кулаки — всего пришлось ему отведать. Было от чего иногда вскипеть его благородной испанской крови; горячие слова просились на язык; но умнее было прикусить его, а для Юргена это было то же, что для угря позволить себя ободрать и положить на сковороду.

«Ну, да я возьму свое!» — говорил он сам себе.

Довелось ему увидеть и испанский берег, родину его родителей, даже тот самый город, где они жили в счастье и довольстве, но он ведь ничего не знал ни о своей родине, ни о семье, а семья о нем и того меньше.

Парнишке не позволяли даже бывать на берегу, и он ступил на него в первый раз только в последний день стоянки: надо было закупить кое-какие припасы, и его взяли с собою на подмогу.

И вот Юрген, одетый в жалкое платьишко, словно выстиранное в канаве и высушенное в трубе, очутился в городе. Он, уроженец дюн, впервые увидел большой город. Какие высоченные дома, узенькие улицы, сколько народа! Толпы сновали туда и сюда; по улицам как будто неслась живая река: горожане, крестьяне, монахи, солдаты... Крик, шум, гам, звон бубенчиков на ослах и мулах, звон церковных колоколов, пение и щелканье кастаньет, стук и грохот: ремесленники работали на порогах домов, а то так и прямо на тротуарах. Солнце так и пекло, воздух был тяжел и душлив; Юргену казалось, что он в раскаленной печи, битком набитой жужжащими и гудящими навозными и майскими жуками, пчелами и мухами; голова шла кругом. Вдруг он увидал перед собою величественный портал собора; в полутьме под сводами мерцали свечи, курился фимиам. Даже самый оборванный нищий имел право войти в церковь. Матрос, с которым послали Юргена, и направился туда; Юрген — за ним. Яркие образа сияли на золотом фоне. На алтаре, среди цветов и зажженных свечей, красовалась божья мать с младенцем Иисусом. Священники в роскошных облачениях пели, а хорошенькие, нарядные мальчишки кадрили. Вся эта красота и великолепие произвели на Юргена глубокое впечатление; вера и рели-

гия его родителей затронули самые сокровенные струны его души; на глазах у него выступили слезы.

Из церкви они направились на рынок, закупили нужные припасы, и Юргену пришлось тащить часть их. Идти было далеко, он устал и приостановился отдохнуть перед большим великолепным домом с мраморными колоннами, статуями и широкими лестницами. Юрген прислонил свою ношу к стене, но явился раззолоченный швейцар в ливрее и, подняв на него палку с серебряным набалдашником, прогнал прочь — его, внука хозяина! Но никто ведь не знал этого. Сам Юрген — меньше всех.

Корабль отплыл. Опять потянулась та же жизнь, толчки, ругань, недосыпанье, тяжелая работа. Что ж, не мешает отведать всего! Это ведь, говорят, хорошо пройти суровую школу в юности. Хорошо-то хорошо — если потом ждет тебя счастливая старость!

Рейс кончился, корабль опять стал на якорь в Рингкёппингс-фиорде, и Юрген вернулся домой, в рыбацью слободку, но, пока он гулял по свету, приемная мать его умерла.

Настала суровая зима. На море и суше бушевали снежные бури; просто беда была пробираться по степи. Как в самом деле разнятся между собою разные страны: здесь — леденящий холод и метель, а в Испании — страшная жара! И все же, увидав в ясный, морозный день



большую стаю лебедей, летевших со стороны моря к Северному Восборгу, Юрген почувствовал, что тут все-таки дышится легче, что тут по крайней мере можно наслаждаться прелестями лета. И он мысленно представил себе степь всю в цветах, усеянную спелыми, сочными ягодами, и цветущие липы у Северного Восборга. Ах, надо опять побывать там!

Подошла весна, началась ловля рыбы, Юрген помогал отцу. Он сильно вырос за последний год, и дело у него спорилось. Жизнь так и была в нем ключом; он умел плавать и сидя и стоя, даже кувыркаться в воде, и ему часто советовали остерегаться макрелей, — они плавают стадами и нападают на лучших пловцов, увлекают их под воду и пожирают. Вот и конец! Но Юргену судьба готовила иное.

У соседей был сын Мортен; Юрген подружился с ним, и они вместе нанялись на одно судно, которое отплывало в Норвегию, потом в Голландию. Серьезно ссориться между собою им вообще было не из-за чего, но мало ли что случается! У горячих натур руки ведь так и чешутся; случилось это раз и с Юргеном, когда он повздорил с Мортеном из-за каких-то пустяков. Они сидели в углу за капитанскою рубкой и ели из одной глиняной миски; у Юргена был в руках нож, и он замахнулся им на товарища, причем весь побледнел и дико сверкнул глазами. А Мортен только промолвил:

— Так ты из тех, что готовы пустить в дело нож!

В ту же минуту рука Юргена опустилась; молча доел он обед и взялся за свое дело. По окончании же работ он подошел к Мортену и сказал: «Ударь меня по лицу — я стою! Кровь во мне, право, вечно так и бурлит, точно горшок с кипятком!»

— Ну ладно, забудем это! — отвечал Мортен, и с тех пор дружба их стала чуть не вдвое крепче. Вернувшись домой, в Ютландию, на дюны, они рассказывали о житебытье на море, рассказали и об этом происшествии. Да, кровь в Юргене бурлила через край, но все же он был славный надежный горшок.

— Только не ютландский<sup>1</sup> — ютландцем его назвать нельзя! — сострил Мортен.

---

<sup>1</sup> Так называемая ютландская посуда изготавливается из темной глины и отличается огнеупорностью и прочностью.

Оба были молоды и здоровы, оба — парни рослые, крепкого сложения, но Юрген отличался большею ловкостью.

На севере, в Норвегии, крестьяне пасут свои стада на горах, где и имеются особые пастушьи шалаши, а на западном берегу Ютландии, на дюнах, понастроены хижины для рыбаков; они сколочены из корабельных обломков и крыты торфом и вереском; по стенам внутри идут нары для спанья. У каждого рыбака есть своя девушка-помощница; обязанности ее — насаживать на крючки приманки, встречать хозяина, возвращающегося с лова, теплым пивом, готовить ему кушанье, вытаскивать из лодок пойманную рыбу, потрошить ее и прочее.

Юрген, отец его и еще несколько рыбаков с их работницами помещались в одной хижине. Мортен жил в соседней.

Между девушками была одна, по имени Эльсе, которую Юрген знал с детства. Оба были очень дружны между собою; в их нравах было много общего, но наружностью они резко отличались: он был смугл и черноволос, а она беленькая; волосы у нее были желтые, как лен, а глаза светло-голубые, как освещенное солнцем море.

Раз они шли рядом; Юрген держал ее руку в своей и крепко пожимал ее. Вдруг Эльсе сказала ему:

— Юрген, у меня есть что-то на сердце! Лучше бы мне работать у тебя — ты мне все равно, что брат, а Мортен, к которому я нанялась, мой жених. Не надо только болтать об этом другим!

Песок словно заколыхался под ногами Юргена, но он не проронил ни слова, только кивнул головой — согласен, мол. Большого от него и не требовалось. Но он-то в ту же минуту почувствовал, что всем сердцем ненавидит Мортена. Чем больше он думал о случившемся, — а раньше он никогда так много не думал об Эльсе, — тем яснее становилось ему, что Мортен украл у него любовь единственной девушки, которая ему нравилась, то есть Эльсе; вот оно как теперь выходило!

Стоит посмотреть, как рыбаки переносятся в свежую погоду по волнам через рифы. Один из рыбаков стоит на носу, а гребцы не спускают с него глаз, выжидая знака положить весла и отдаться надвигающейся волне, которая должна перенести лодку через риф. Сначала волна подымает лодку так высоко, что с берега виден киль

ее; минуту спустя она исчезает в волнах; не видно ни самой лодки, ни людей, ни мачты; море как будто поглотило все. Но еще минута, и лодка вновь показывается на поверхности по другую сторону рифа, словно вынырнувшее из воды морское чудовище; весла быстро шевелятся — ни дать ни взять ноги животного. Перед вторым, перед третьим рифом повторяется то же самое; затем рыбаки спрыгивают в воду и подводят лодку к берегу; удары волны помогают им, подталкивая ее сзади.

Не подать вовремя знака, ошибиться минутой, и лодка разобьется о риф.

«Тогда бы конец и мне и Мортену!» — эта мысль мелькнула у Юргена, когда они были на море. Отец его вдруг серьезно занемог, лихорадка так и трепала его; между тем лодка приближалась к последнему рифу; Юрген вскочил и крикнул: — Отец, пусти лучше меня! — и взгляд его скользнул с лица Мортена на волны. Вот приближается огромная волна. Юрген взглянул на бледное лицо отца и не мог исполнить злого намерения. Лодка счастливо миновала риф и достигла берега, но злая мысль крепко засела в голове Юргена; кровь в нем так и кипела; со дна души всплывали разные соринки и волокна, запавшие туда за время дружбы его с Мортеном, но он не мог выпрясть из них цельную нить, за которую бы мог ухватиться, и он пока не приступал к делу. Да, Мортен испортил ему жизнь, он чувствовал это! Так как же ему было не возненавидеть его? Некоторые из рыбаков заметили эту ненависть, но сам Мортен не замечал ничего и оставался тем же добрым товарищем и словоохотливым — пожалуй, даже чересчур словоохотливым — парнем.

А отцу Юргена пришлось слечь; болезнь оказалась смертельною, и он через неделю умер. Юрген получил в наследство дом на дюнах, правда, маленький, но и то хорошо, у Мортена не было и этого.

— Ну, теперь не будешь больше наниматься в матросы! Останешься с нами навсегда! — сказал Юргену один из старых рыбаков.

Но у Юргена как раз было в мыслях другое — ему именно и хотелось погулять по белу свету. У торговца угрями был дядя, который жил в Старом Скагене. Он тоже занимался рыболовством, но был уже зажиточным купцом и владел собственным судном. Слыл он милым

стариком; у такого стоило послужить. Старый Скаген лежит на крайнем севере Ютландии, далеко от рыбацкой слободки и дюн, но это-то обстоятельство особенно и было по душе Юргену. Он не хотел пировать на свадьбе Эльсе и Мортена, а ее готовились сыграть недели через две.

Старый рыбак не одобрял намерения Юргена, — теперь у него был собственный дом, и Эльсе, наверно, склонится скорее на его сторону.

Юрген ответил на это так отрывисто, что не легко было добраться до смысла его речи, но старик взял, да и привел к нему Эльсе. Не много сказала она, но все-таки сказала кое-что:

— У тебя дом... Да, тут задумаешься!..

И Юрген сильно задумался.

По морю ходят сердитые волны, но сердце человеческое волнуется иногда еще сильнее: его бушуют страсти. Много мыслей пронеслось в голове Юргена, наконец он спросил Эльсе:

— Если бы у Мортена был такой же дом, кого из нас двоих выбрала бы ты?

— Да ведь у Мортена нет и не будет дома!

— Ну, представь себе, что он у него будет?

— Ну, тогда я, верно, выбрала бы Мортена, — люб он мне! Но этим сыт не будешь!

Юрген раздумывал об этом всю ночь. Что такое толкало его, он и сам не мог дать себе отчета, но безотчетное влечение оказалось сильнее его любви к Эльсе, и он повиновался ему — пошел утром к Мортену. То, что Юрген сказал Мортену при свидании, было строго обдуманно им в течение ночи. Он уступил товарищу свой дом на самых выгодных для того условиях, говоря, что сам предпочитает наняться на корабль и уехать. Эльсе, узнав обо всем, расцеловала Юргена прямо в губы — ей ведь был люб Мортен.

Юрген собирался отправиться в путь на другой же день рано утром. Но вечером, хотя и было уже поздно, ему вздумалось еще раз навестить Мортена. Он пошел и на пути, на дюнах, встретил старого рыбака, который не одобрял его намерения уехать. «У Мортена, верно, зашит в штанах утиный клюв, что девушки так льнут к нему!» — сказал старик. Но Юрген прервал разговор, простился и пошел к Мортену. Подойдя поближе, он услышал в

доме громкие голоса; у Мортена кто-то был. Юрген остановился в нерешимости; с Эльсе ему вовсе не хотелось встречаться. Подумав хорошенько, он не захотел и выслушивать лишний раз изъявлений благодарности Мортена и повернул назад.

Утром, еще до восхода солнца, он связал свой узелок, взял с собой корзинку со съестными припасами и сошел с дюн на самый берег; там идти было легче, чем по глубокому песку, да и ближе: он хотел пройти сначала в Фьяльтринг к торговцу угрями, благо обещал навестить его.

Ярко синела блестящая поверхность моря; берег был усеян ракушками и раковинами; игрушки, забавлявшие его в детстве, так и хрустели под его ногами. Вдруг из носу у него брызнула кровь — пустячное обстоятельство, но и оно, случается, приобретает важное значение. Две, три крупные капли упали на рукав его рубашки. Он затер их, остановил кровь и почувствовал, что от кровотечения ему стало как-то легче и в голове и на сердце. В песке вырос кустик морской капусты; он отломил веточку и воткнул ее в свою шляпу. «Смело, весело вперед! Белый свет посмотреть, выглянуть из дома — как говорили угри. — Берегитесь людей! Они злые, убьют вас, разрежут и зажарят на сковороде!» — повторил он про себя и рассмеялся. — Ну, я-то сумею сберечь свою шкуру! Смелость города берет!»

Солнце стояло уже высоко, когда он подошел к узкому проливу, соединявшему западное море с Ниссум-фиордом. Оглянувшись назад, он увидел вдали двух верховых, а на некотором расстоянии за ними — еще нескольких пеших людей; все они, видимо, спешили. Ну, да ему-то что за дело?

Лодка была у другого берега; Юрген кликнул перевозчика; отчалили, но не успели выехать на середину пролива, как мчавшиеся во весь опор верховые доскакали до берега и принялись кричать, приказывая Юргену именем закона вернуться обратно. Юрген в толк не мог взять, что им от него надо, но рассудил, что лучше всего вернуться, сам взялся за одно весло и принялся грести обратно к берегу. Едва лодка причалила, люди, толпившиеся на берегу, вскочили в нее и скрутили Юргену руки веревкою; он и опомниться не успел.

— Погоди! Поплатишься головой за свое злодейство! — сказали они. — Хорошо, что мы поймали тебя!

Обвиняли его ни больше, ни меньше, как в убийстве: Мортена нашли с перерезанным горлом. Один из рыбаков встретил вчера Юргена поздно вечером на пути к жилищу Мортена, Юрген уже не раз угрожал последнему ножом — значит, он и убийца! Следовало крепко стечь его; в Рингкёпинге — самое верное место, да не скоро туда доберешься. Дул как раз западный ветер; в какие-нибудь полчаса, а то и меньше, можно было переправиться через залив и выехать на реку Скерум, а оттуда уж всего четверть мили до Северного Восборга, где тоже есть крепкий замок с валами и рвами. В лодке был вместе с другими брат старосты, и он полагал, что им разрешат посадить Юргена в яму, где сидела вплоть до самой своей казни Долговязая Маргарита.

Оправданий Юргена не слушали: капли крови на рубашке уличали его. Сам-то он знал, что невинен, но дружке этому не верили, и он решил покориться судьбе.

Лодка пристала как раз у того вала, где возвышался некогда замок рыцаря Бугге и где останавливались отдохнуть Юрген и его родители по пути на пир, на поминки. Ах, эти четыре счастливых, светлых дня детства! Теперь его вели по той же самой дороге, по тем же лугам к Северному Восборгу, где по-прежнему стояли осыпанная цветами бузина и цветущие, душистые липы. Он словно только вчера проходил тут.

В левом надворном крыле замка, под одною из высоких лестниц, открывался спуск в низкий сводчатый подвал. Оттуда выведена была на казнь Долговязая Маргарита. Она съела пять детских сердец и думала, что, если съест еще два, приобретет умение летать и делаться невидимкою. В стене была пробита крошечная отдушина, но освежающий аромат душистых лип не мог через нее пробраться. Сырость, плесень, голые доски вместо постели — вот что нашел Юрген в подвале. Но чистая совесть, говорят, мягкая подушка, — значит, Юргену спалось хорошо.

Толстая дверь была заложена тяжелым железным болтом, но призраки суеверия проникают и через замочную скважину, проникают и в барские хоромы и в рыбацьи хижины, а сюда, к Юргену, пробирались и по-прежнему. Он сидел и думал о Долговязой Маргарите, о ее злодеяниях.



В воздухе как будто витали еще ее последние мысли, мысли, которым она предавалась в ночь перед казнью. Приходили Юргену на ум и рассказы о чудесах, какие совершались тут при жизни помещика Сванведела: собаку, сторожившую мост, каждое утро находили повешенною на цепи на перилах моста. Все эти мрачные мысли осаждали и пугали Юргена, и лишь одно воспоминание озаряло подвал солнечным лучом — воспоминание о цветущей бузине и липах.

Впрочем, недолго сидел он тут: его перевели в Рингкёпинг, в такое же суровое заточение.

В те времена было не то, что в наши, — плохо приходилось бедному человеку. У всех еще в памяти было, как крестьянские дворы и целые селения обращались в новые господские поместья, как любой кучер или лакей становился судьей и присуждал бедняка крестьянина за самый ничтожный проступок к лишению надела или к плетям. Кое-что подобное и продолжало еще твориться в Ютландии. Вдали от королевской резиденции и просвещенных бюстителей порядка и права с законом поступали довольно произвольно. Так это было еще сполна, что Юргену пришлось потомиться в заключении!

Что за холод стоял в помещении, куда его засадили! Когда же будет конец всему этому? Он невиновен, а его предали позору и бедствиям — вот его судьба! Да, тут он мог поразмыслить о ней на досуге. За что она так преследовала его?.. Все выяснится там, в будущей жизни, которая ждет нас всех! Юрген вырос с этою верою. То, чего не мог уяснить себе отец, окруженный роскошною, залитою солнцем природою Испании, то светило отрадным лучом сыну среди окружавшего его мрака и холода. Юрген твердо уповал на милость божью, а это упование никогда не бывает обмануто.

Весенние бури опять давали себя знать. Грохот моря слышен на много миль кругом, даже в глубине страны, но лишь после того, как буря уляжется. Море грохотало, словно катились по твердому, взрытому грунту сотни тяжелых телег. Юрген чутко прислушивался к этому грохоту, который вносил в его жизнь хоть какое-нибудь разнообразие. Никакая старинная песня не доходила так до его сердца, как музыка катящихся волн, голос бурного моря. Ах, море, дикое, вольное море! Ты да ветер носите человека из страны в страну, и всюду он

носятся вместе с домом своим, как улитка, всюду носит с собою часть своей родины, клочок родной почвы!

Как прислушивался Юрген к глухому ропоту волн, и как в нем самом волновались мысли и воспоминания! «На волю! На волю!» На воле — рай, блаженство, даже если на тебе башмаки без подошв и заплатанное грубое платье! Кровь вскипала в нем от гнева, и он ударял кулаком о стену.

Так проходили недели, месяцы, прошел и целый год. Вдруг поймали вора Нильса, по прозвищу Барышник, и для Юргена настали лучшие времена: выяснилось, как несправедливо с ним поступили.

К северу от Рингкёпингского залива была корчма; там-то и встретились вечером, накануне ухода Юргена из слободки, Нильс и Мортен. Выпили по стаканчику, выпили по другому, и Мортен не то чтобы опьянел, а так... разошелся больно, дал волю языку, — рассказал, что купил дом и собирается жениться. Нильс спросил, где он взял денег, и Мортен хвастливо ударил по карману:

— Там, где им и следует быть!

Хвастовство стоило ему жизни. Он пошел домой, Нильс прокрался за ним и всадил ему в шею нож, чтобы отобрать деньги, которых не было.

Все эти обстоятельства были изложены в деле подробно, но с нас довольно знать, что Юргена выпустили на волю. Ну, а чем же вознаградили его за все, что он вытерпел, — годовое заключение, холод и голод, отторжение от людей? Да вот, ему сказали, что он, слава богу, невиновен и может уходить. Бургомистр дал ему на дорогу десять марок, а несколько горожан угостили пивом и хорошею закуской. Да, водились там и добрые люди, не все они такие, что готовы «заколоть, ободрать да на сковородку положить»! Лучше же всего было то, что в город приехал в это время по делам тот самый купец Бренне из Скагена, к которому Юргену хотелось поступить год тому назад.

Купец узнал всю историю и захотел вознаградить Юргена за все перенесенное им; сердце у старика было доброе, он понял, чего должен был натерпеться бедняга, и собирался показать ему, что есть на свете и добрые люди.

Из темницы на волю, на свет божий, где его ожидали любовь и сердечное участие! Да, пора ему было испытать и это. Чаша жизни никогда не бывает наполнена одною

попыню — такой не поднесет ближнему ни один добрый человек, а уж тем меньше сам господь — любовь всеобъемлющая.

— Ну, поставь-ка ты на все это крест! — сказал купец Юргену. — Вычеркнем этот год, как будто его и не было, сожжем календарь, и через два дня — в путь, в наш мирный, богоспасаемый Скаген! Его зовут медвежьим углом, но это уголок уютный, благословенный, с открытыми окнами на весь белый свет!

Вот была поездка! Юрген вздохнул полною грудью. Из холодной темницы, из душного, спертого воздуха вновь очутиться на ярком солнышке!

Вереск цвел, вся степь была в цвету; на кургане сидел пастушонок и наигрывал на самодельной дудочке из бараньей кости. Фата-моргана, чудные воздушные видения степи: висячие сады и плавающие в воздухе леса, диковинное колебание воздушных волн — явление, о котором крестьяне говорят: «Это Локеман гонит свое стадо», — все это увидел он вновь.

Путь их лежал к Лим-фиорду, к Скагену, откуда вышли «длиннобородые люди», лонгобарды. В царствование короля Сню здесь был голод, и порешили избить всех стариков и детей, но благородная женщина Гамбарук, владельница одного из северных поместий, предложила лучше выселить молодежь из пределов страны. Юрген знал это предание — настолько он был учен — и если не знал вдобавок и самой страны лонгобардов, лежащей за высокими Альпами, то знал по крайней мере, на что она приблизительно похожа. Он ведь еще мальчуганом побывал на юге, в Испании, и помнил сваленные горами плоды, красные гранаты, шум, гам и колокольный звон в огромном городе, напоминавшем собою улей. Но самой лучшей страной остается все-таки родина, а родиной Юргена была Дания.

Наконец они достигли и Вендил-Скага, как называется Скаген в старинных норвежских и исландских рукописях. Уже и в те времена тянулась здесь по отмели, вплоть до маяка, необозримая цепь дюн, прерываемая обработанными полями, и находились города: Старый Скаген, Вестербю и Эстербю. Дома и усадьбы и тогда были рассыпаны между наносными, подвижными песчаными холмами, и тогда взметал буйный ветер ничем не укрепленный песок, и тогда оглушительно кричали здесь чайки, мор-

ские ласточки и дикие лебеди. Старый Скаген, где жил купец Бренне и должен был поселиться Юрген, лежит на милю юго-западнее мыса Скагена. Во дворе купца пахло дегтем; крышами на всех надворных строениях служили перевернутые кверху дном лодки; свиные хлева были склочены из корабельных обломков; двор не был огорожен — не от кого и нечего было огораживать, хотя на длинных веревках, развешанных одна над другою, и сушилась распластанная рыба. Весь морской берег был покрыт гнилыми сельдями: не успевали закинуть в море невод, как он приходил битком набитый сельдями: их и девать было некуда — приходилось бросать обратно в море или оставлять гнить на берегу.

Жена, и дочь купца, и все домочадцы радостно встретили отца и хозяина, пошло пожимание рук, крик, говор. А что за славное личико и глазки были у дочки купца!

В самом доме было просторно и уютно. На столе появились рыбные блюда, — такие камбалы, какими бы полакомился сам король! А вина были из «скагенских виноградников» — из великого моря: виноградный сок притекает в Скаген прямо в бочках и бутылках.

Когда же мать и дочь узнали, кто такой Юрген, услышали, как жестоко и безвинно пришлось ему пострадать, они стали глядеть на него еще ласковее; особенно ласково смотрела дочка, милая Клара. Юрген нашел в Старом Скагене уютный, славный семейный очаг; теперь сердце его могло успокоиться, а много таки этому бедному сердцу пришлось изведать, даже горечь несчастной любви, которая либо ожесточает его, либо делает еще мягче, чувствительнее. Сердце Юргена не ожесточилось, оно было еще молодо, и теперь в нем оставалось незанятое местечко. Кстати подоспела поездка Клары в гости к тетке, в Кристиансанн, в Норвегию. Она собиралась отправиться туда на корабле недели через три и прогостить там всю зиму.

В последнее воскресенье перед отъездом Клары все отправилось в церковь причащаться. Церковь была большая, богатая; построили ее несколько столетий тому назад шотландцы и голландцы; недалеко от нее выстроился и самый город. Церковь уже несколько обветшала, а дорога к ней вела очень тяжелая, с холма на холм, то вверх, то вниз, по глубокому песку, но жители все-таки охотно шли в божий храм пропеть псалмы и послушать проповедь.

Песчаные заносы достигали уже вершины кладбищенской ограды, но могилы постоянно очищались.

Это была самая большая церковь к северу от Лим-фиорда. На алтаре, словно живая, стояла божья мать с младенцем на руках; на хорах помещались резные деревянные изображения апостолов, а наверху, по стенам, висели портреты старых скагенских бургомистров и судей; под каждым портретом красовалась условная подпись данного лица. Кафедра тоже была вся резная. Солнце весело играло на медной люстре и на маленьком кораблике, подвешенном к потолку.

Юргена охватило то же чувство детского благоговения, которое он испытал еще мальчиком в богатом соборе в Испании, но здесь к этому чувству присоединилось еще сознание, что и он принадлежит к пастве.

После проповеди началось причащение. Юрген тоже вкусил хлеба и вина, и случилось так, что он преклонил колена как раз рядом с Кларою. Но мысли его были обращены к богу, он всецело был занят совершавшимся таинством и заметил, кто была его соседка, только тогда, когда уже встал с колен. Взглянув на нее, он увидел, что по щекам ее струятся слезы.

Два дня спустя она уехала в Норвегию, а Юрген продолжал исправлять разные работы по дому, участвовал и в рыбной ловле, а в те времена там-таки было что ловить, побольше, чем теперь. Стада макрелей оставляли за собою по ночам светящийся след, выдававший их движение под водою; керцы хрипели, а крабы издавали жалобный вой, когда попадались ловцам; рыбы вовсе не так немые, как о них рассказывают. Вот Юрген, тот был помолчаливее их, хранил свою тайну глубоко в сердце, но когда-нибудь и ей суждено было всплыть наружу.

Сидя по воскресеньям в церкви, он набожно устремлял взоры на изображение божьей матери, красовавшееся на алтаре, но иногда переводил их ненадолго и на то место, где стояла рядом с ним на коленях Клара. Она не выходила у него из головы. Как она была добра к нему!

Вот и осень пришла; сырость, мгла, слякоть. Вода застаивалась на улицах города, песок не успевал ее всасывать, и жителям приходилось пускаться по улицам вброд, если не вплавь. Бури разбивали о смертоносные рифы корабль за кораблем. Начались снежные и песчаные метели;

песок заносил дома, и обывателям приходилось зачастую вылезать из них через дымовые трубы, но им это было не в диковинку. Зато в доме купца было тепло и уютно; весело трещали в очаге торф и корабельные обломки, а сам купец громко читал из старинной хроники сказание о датском принце Амлете, вернувшемся из Англии и давшем битву при Бозбьерге. Могила его находится близ Рамме, всего милях в двух от того места, где жил старый торговец угрями; в необозримой степи возвышались сотни курганов; степь являлась огромным кладбищем. Купец Бренне сам бывал на могиле Амлета. Наскучит читать, принимались за беседу; толковали о старине, о соседях, англичанах и шотландцах, и Юрген пел старинную песню об английском королевиче, о том, как был разубран корабль:

Борта золоченые ярко сияют,  
Написано слово господне на них;  
А нос корабля галлион украшает.  
Принц девицу держит в объятьях своих.

Эту песню Юрген пел с особенным чувством; глаза его так и блстели; они уж с самого рождения были у него такие черные, блестящие.

Итак, пели, читали; в доме царила тишь, да гладь, да божья благодать; все чувствовали себя, как в родной семье, даже домашние животные. А уж что за порядок был в доме, что за чистота! На полках блстела ярко вычищенная оловянная посуда, к потолку были подвешены колбасы и окорока — обильные зимние запасы. В наши времена все это можно увидеть на западном берегу Ютландии в богатых крестьянских домах: такое же обилие съестных припасов, такое же убранство в горницах, веселье и здравый смысл; вообще дела у них поправились. И гостеприимство здесь царит такое же, как в шатрах арабов.

Никогда еще не жилось Юргену так хорошо, так весело, если не считать тех веселых четырех дней детства, проведенных в гостях на поминках. А между тем здесь еще не было Клары. То есть не было ее дома, а в мыслях и разговорах она присутствовала постоянно.

В апреле купец решил послать в Норвегию свое судно; на нем отправлялся и Юрген. Вот-то повеселел он! Ну, да и в теле он за это время поправился, как говорила сама матушка Бренне, приятно было взглянуть на него.

— И на тебя тоже! — сказал ей муж. — Юрген оживил наши зимние вечера, да и тебя, старушка! Ты даже помолодела за этот год. Ишь, какая стала — любо посмотреть. Ну, да ведь ты и была когда-то первую красавицей в Выборге, а это много значит: нигде я не видал таких красивых девушек, как там.

Юрген не проронил ни слова, да и не следовало, а только подумал об одной девушке из Скагена. К ней-то он и отправлялся теперь. Судно, подгоняемое свежим ветром, прибыло в Кристиансанн, пробыв в пути всего полдня.

Рано утром купец Бренне отправился на маяк, что возвышается далеко в море, близ самой крайней точки мыса Скагена. Когда он поднялся на вышку, огонь был уже давно потушен, солнце стояло высоко. На целую милю от берега тянулись в море песчаные мели. На горизонте показалось в этот день много кораблей, и купец надеялся с помощью подозрной трубы отыскать между ними и свою «Карен Бренне». В самом деле, она приближалась; на ней были и Клара с Юргеном. Вот они уже увидели вдали Скагенский маяк и церковную колокольню, казавшиеся издали цаплей и лебедем на голубой воде. Клара сидела у борта и смотрела, как на горизонте вырисовывались одна за другою родные дюны. Продолжай дуть попутный ветер, они бы меньше чем через час были дома. Так близка была радость встречи — так близок был и страшный час смерти.

В одном из боков судна сделалась пробоина, и вода хлынула в трюм. Бросились выкачивать воду, затыкать отверстие, подняли все паруса, выкинули флаг, означавший, что судно в опасности. До берега оставалось плыть всего какую-нибудь милю, вдали уже показались рыбацьи лодки, спешившие на помощь, ветер гнал судно к берегу, течение помогало, но судно погружалось в воду с ужасающей быстротою. Юрген обвил правою рукою стан Клары.

Как она посмотрела ему в глаза перед тем, как он, призывая имя божье, бросился с нею в волны! Она вскрикнула, но ей нечего было бояться — он не выпустит ее. Помните слова старинной песни:

Принц девицу держит в объятьях своих!

Юрген тоже решил на это в час страшной опасности. Умение плавать пригодилось ему теперь; он то работал обеими ногами и свободною рукой — другою он крепко прижимал к себе девушку, — то отдавался течению,

лишь слегка шевеля ногами, словом, пользовался всеми приемами, какие знал, чтобы сберечь силы и достигнуть берега. Вдруг он почувствовал, что Клара глубоко вздохнула и судорожно затрепетала... Он прижал ее к себе еще крепче. Волны перекатывались через их головы; течение подымало их; вода была так чиста и прозрачна. Одну минуту ему казалось, что он видит в глубине стаю блестящих макрелей, или, может быть, это было само морское чудовище, готовившееся поглотить их?.. Облака, проплывая по небу, бросали на воду легкую тень, потом на ней опять играли лучи солнца. Стаи птиц с криком носились над головой Юргена; сонливо покачивавшиеся на волнах дикие утки при его приближении испуганно взлетали кверху. А силы пловца все падали... Он чувствовал это. До берега оставалось плыть еще немало, но помощь была близка, лодка подходила. Вдруг он ясно увидел под водою белую, смотревшую на него в упор фигуру... Волна подхватила его, фигура приблизилась... Он почувствовал удар... все померкло в глазах!..

На рифе под водою засел обломок корабля с галлионом, изображавшим женщину, опиравшуюся на якорь. Об его-то острие, торчавшее кверху, и ударился Юрген, подгоняемый течением. Без чувств погрузился он в воду вместе со своею ношей, но следующая волна опять вскинула их кверху.

Рыбаки втащили обоих в лодку; лицо Юргена было все и крови; он лежал как мертвый, но девушку держал так крепко, что ее едва высвободили у него из рук. Безжизненную, бледную положили ее на дно лодки и поплыли к Скагену.

Были пущены в ход все средства, но вернуть Клару к жизни не удалось. Давно уже плыл Юрген с трупом в объятиях, боролся и изнемогал, спасая мертвую.

А сам Юрген еще дышал, и его отнесли в ближайший дом за дюнами. Какой-то фельдшер, бывший в то же время и кузнецом и мелочным торговцем, перевязал его рану, а лекаря, за которым послали в Гьерринг, ждали только на следующий день.

У больного был затронут мозг; он лежал в бреду, испуская дикие крики, но на третий день впал в забытие. Жизнь, казалось, висела в нем на волоске, и, по словам лекаря, лучше было бы, если бы волосок этот порвался:

— Дай бог, чтобы он умер! Ему не бывать больше человеком!



Но он не умер, волосок не порвался; зато порвалась нить воспоминаний, были подрезаны и корне все умственные способности — вот что ужасно! Осталось одно тело, которое готовилось выздороветь и жить по-своему.

Купец Бренне взял Юргена к себе.

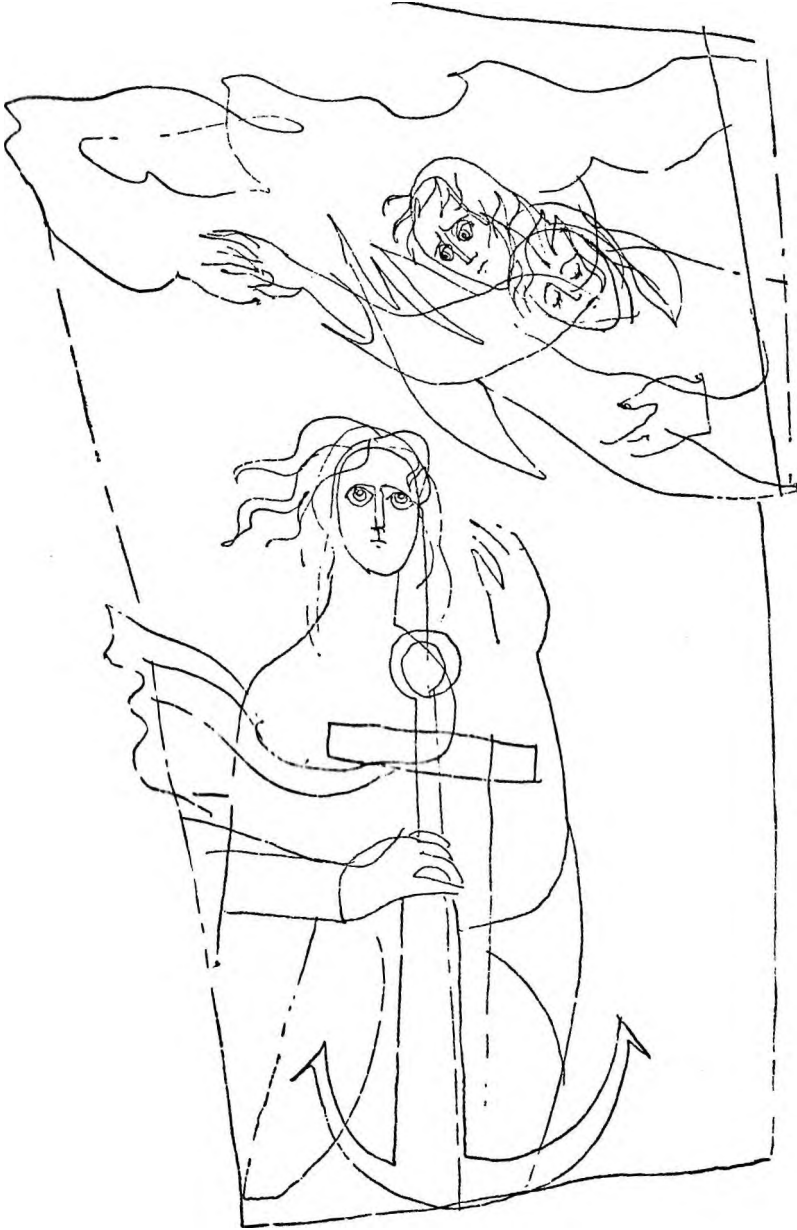
— Он пострадал, спасая наше дитя! — сказал старик. — Теперь он наш сын.

Юргена стали звать полоумным. Но это было не совсем верно; он походил на инструмент с ослабевшими, переставшими звучать струнами. Лишь на какое-нибудь мгновение, в редкие минуты, они обретали прежнюю упругость и звучали, да и то раздавалось всего несколько отдельных аккордов старых мелодий. Картины прошлого всплывали и опять исчезали, и Юрген снова сидел, бессмысленно вперив в пространство неподвижный взор. Надо думать, что он по крайней мере не страдал. Черные глаза утратили свой блеск, смотрели безжизненно, тускло.

«Бедный слабоумный Юрген!» — говорили про него.

Так вот до чего дожило дитя, которое мать носила под сердцем для жизни, столь богатой счастьем, что было бы «непростительной гордостью желать, не говоря уже — ожидать, за пределами ее другой!» Итак, все богатые способности души пошли прахом? Нужда, горе и бедствие были его уделом. Он, как роскошная цветочная луковица, был выдернут из богатой почвы и брошен на песок — гнить! Разве не достойно было лучшей участи творение, созданное по образу и подобию божьему? Значит, все в жизни игра случая? Нет! Милосердный господь, несомненно, готовил ему в другой жизни награду за все, что он выстрадал в этой. «Милосердие божье превыше всех дел его!» Эти слова псалмопевца Давида с верою повторяла благочестивая жена купца, и сердечную молитвой ее была молитва о скорейшем переселении Юргена в царство божьей милости, где царит вечная жизнь.

Клару похоронили на кладбище, которое все больше и больше заносило песком. Но Юрген, казалось, и не сознавал этого; это не входило в узкую сферу его мыслей; они ловили только обрывки прошлого. Каждое воскресенье сопровождал он семейство купца в церковь и сидел смиренно, уставившись перед собою бессмысленным взором. Но однажды, слушая пение псалмов, он вздохнул, глаза его заблестели и остановились на том месте близ алтаря, где он год тому назад стоял на коленях рядом со своею



умершею возлюбленною. Он назвал ее имя, побледнел как полотно и заплакал.

Ему помогли выйти из церкви, и он сказал, что ему совсем хорошо. Он уже не помнил, что с ним случилось, не помнил ничего. Да, господь тяжело испытывал его! Но может ли кто сомневаться в мудрости и милосердии творца нашего? Наше сердце, наш разум говорят нам о его мудрости и милосердии, а Библия подтверждает: «Милосердие его превыше всех дел его!»

А в Испании, где теплый ветерок ласкает апельсиновые и лавровые деревья, веет на мавританские золоченые купола, где льются звуки песен, щелкают кастаньеты, где по улицам движутся процессии детей со свечами и развевающимися знаменами, сидел в роскошном доме бездетный старик, богатейший купец. Чего ни отдал бы он из своего богатства, чтобы только вернуть своих детей, дочь или ее ребенка, которому, может быть, и не суждено было увидеть света, а следовательно, и жизни вечной? «Бедное дитя!»

Да, бедное дитя! Именно дитя, хотя ему и шел уже тридцатый год; вот до какого возраста дожил Юрген в Скагене.

Песчаные заносы уже покрывали кладбище до самой стены церкви, но умирающие все же хотели быть погребенными рядом с ранее отошедшими в вечность родными и милыми их сердцу. Купец Бренне и его жена тоже легли под белый песок возле своей дочери.

Пришла весна, время бурь; дюны курились, море высоко вздымало волны, птицы тучами летали над дюнами, испуская крики. О рифы разбивался корабль за кораблем.

Однажды вечером Юрген сидел в комнате один, и в его груди вдруг вспыхнуло какое-то беспокойное влечение, стремление вдаль, которое так часто увлекало его еще в детстве из дома на дюны и в степь.

— Домой, домой! — твердил он. Никто не слышал его; он вышел из дома и направился на дюны; песок и мелкие камешки летели ему в лицо, крутились вокруг него столбами. Вот он дошел до церкви. Песок занес всю стену и даже окна до половины, но проход к дверям был прочищен. Двери не были заперты и легко отворились; Юрген вошел.

Ветер выл над городом. Разразился страшный ураган, какого не запомнили жители, но Юрген был уже в доме божьем. Вокруг стояла темная ночь, а на душе у него было светло, в ней разгорался духовный огонь, который никогда не потухает совсем. Он почувствовал, что тяжелая глыба,

давившая его голову, вдруг с треском свалилась. Ему чудились звуки органа, но это была буря и стонало море. Юрген сел на свое место; церковь осветилась огнями; одна свеча вспыхивала за другою; такой блеск он видел только раз в жизни, в испанском соборе. Старые портреты бургомистров и судей ожили, сошли со стен, где висели годы, и заняли места на хорах. Церковные ворота и двери растворились, и вошли все умершие прихожане в праздничных платьях, какие носили в их время. Они шествовали под звуки чудной музыки и усаживались на свои места. Хор запел псалмы; мощными волнами полились звуки. Старики, приемные родители Юргена, купец Бренне с женою, тоже были тут, а рядом с Юргеном сидела и милая, любящая дочь их Клара. Она протянула Юргену руку, и они пошли вместе к алтарю, преклонили колена, и священник соединил их руки, благословил их жить в мире и любви! Раздались звуки труб; полные звуки блаженно рыдали, словно сотни детских голосов, разрастались в мощные, возвышающие душу, бурные аккорды органа и снова переходили в нежные, чарующие, но вместе с тем способные потрясти могильные склепы!

Кораблек, что висел под потолком, спустился вниз, стал вдруг таким большим, великолепно разубранным, с шелковыми парусами, золочеными реями, золотыми якорями и шелковыми канатами, как тот корабль, о котором поется в старинной песне. Новобрачные взошли на корабль, все остальные прихожане — за ними; всем нашлось место, всем было хорошо. Стены и своды церковные зацвели, как бузина и душистые липы, и ласково протянули к кораблю свои ветви и листья, сплелись над ним зеленою беседкою. Корабль поднялся и поплыл по воздуху. Все свечи в церкви превратились в звездочки, ветер пел псалмы, пели и самые небеса: «Любовь! Блаженство! Ни одна жизнь не погибнет, но спасется! Блаженство! Аллилуйя!..» Слова эти и были последними словами Юргена: порвалась нить, удерживавшая бессмертную душу... В темной церкви лежало только безжизненное тело, а вокруг него по-прежнему бушевала буря, вихрем крутился песок.

Следующий день был воскресный; утром прихожане и священник отправились в храм. Трудно было туда пробиться; дорога сделалась почти непроходимую. Наконец

добрались, но церковные двери оказались заваленными песком; перед ними возвышался целый холм. Священник прочел краткую молитву и сказал, что господь закрыл для них дверь этого своего дома, и им надо воздвигнуть ему в другом месте новый.

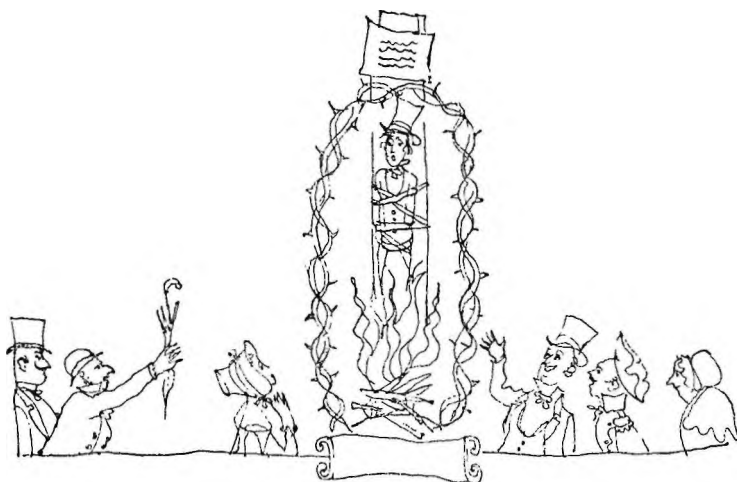
Пропели псалом и разошлись по домам.

Юргена не нашли ни в городе, ни на дюнах и решили, что его смыло волнами.

А его тело было погребено в огромном саркофаге — в самом храме. Господь повелел буре забросать его гроб землю, и он остается под тяжелым песчаным покровом и поныне.

Пески покрыли величественные своды храма, и над ним растут теперь терн и дикие розы. Из песка выглядывает лишь одна колокольня — величественный памятник над могилой Юргена, видный издали за несколько миль. Ни один король не удаивался более великолепного памятника! Никто не нарушит покоя умершего; никто и не знает, или по крайней мере не знал до сих пор, где он погребен. Мне же рассказал обо всем ветер, разгуливающий над дюнами.





## ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ СЛАВЫ



**В** старом сказке говорится: «Тернист был путь славы для егеря Брюде; он хоть и достиг славы к почестей, но лишь после многих мытарств и бедствий». Многие из нас, конечно, слышали эту сказу в детстве, может быть, читали ее уже взрослыми и думали о своем, никем не замеченном, тернистом пути и о многих мытарствах. Сказка и действительность очень схожи; но в сказке счастливая развязка наступает здесь же, на земле, тогда как в действительности человек может рассчитывать на нее чаще всего лишь там, в жизни вечной и бесконечной.

Всемирная история — волшебный фонарь, показывающий нам на темном фоне жизни светлые образы благодетелей человечества, мучеников ума, пробиравшихся по тернистому пути славы.

На этом фоне отражаются картины всех времен, всех стран, каждая — лишь на мгновение, но это мгновение охватывает всю земную жизнь человека с ее борьбою и победами. Взглянем же хоть на некоторых из длинного,

бесконечного ряда мучеников, которому и не будет конца, пока держится мир.

Перед нами переполненный зрителями амфитеатр. «Облака» Аристофана отравляют толпу ядом остроумной издевки. Со сцены осмеивают — и нравственные и физические качества — замечательнейшего мужа Афин, спасшего народ от тридцати тиранов, спасшего в пылу битвы Алкивиада и Ксенофонта, осмеивают Сократа, воспарившего духом выше богов древности. Сам он тоже в числе зрителей. И вот он встает со своего места и выпрямляется во весь рост — пусть видят хохочущие афиняне, похожа ли на него карикатура. Твердо, несокрушимо стоит он, возвышаясь надо всеми.

Сочная, зеленая, ядовитая цикута! Тебе, а не оливковой ветви служить эмблемою Афин.

Семь городов спорили о чести считаться родиной Гомера после его смерти. А при жизни? Он проходил эти города, распевая свои песни ради куска хлеба; волосы его седели при мысли о завтрашнем дне! Он, могучий провидец, был слеп и одинок! Острый терн рвал в клочья плащ царя поэтов.

А песни его живы и поныне, и в них одних живут древние боги и герои.

Картина за картиною выступает на темном фоне. В одной отражается восток, в другой запад, в одной седая древность, в другой недавнее прошлое; но, несмотря на все различие их по времени и месту, все они изображают одно — тернистый путь славы, на котором терн зацветает лишь к тому времени, когда нужно украсить цветами моголу.

В тени пальм движутся верблюды, нагруженные индиго и другими драгоценными товарами; они посланы владельцем страны в дар тому, чьи песни — радость народа, слава страны, тому, кого зависть и клевета изгнали из родной страны. Караван приближается к маленькому городку, где певец нашел убежище; из города выносят навстречу каравану бедный гроб. Хоронят как раз того, кого ищет караван, — Фирдоуси! Тернистый путь славы пройден им до конца!

На мраморной лестнице дворца в столице Португалии сидит негр с грубыми чертами лица, с толстыми губами и черными жесткими волосами и просит милостыню.

Это верный раб Камознса; без него и без тех грошей, что бросают ему прохожие, господин его, певец «Лузиады», умер бы с голода.

Теперь над могилою Камознса — великолепный памятник.

Еще картина.

За железною решеткой виднеется человек: лицо его бледно, длинная борода всклокочена. «Я сделал величайшее открытие! — кричит о н . — А меня больше двадцати лет держат в заключении!»

Кто он? «Безумец! — говорит сторож. — Чего ведь не взбредет на ум человеку! Он воображает, что можно двигаться вперед силою пара!» Это Саломон де Ко, открывший силу пара, но не сумевший растолковать неясно брезжившей в его уме идеи могущественному Ришелье. Несчастный провел весь остаток жизни в сумасшедшем доме.

Вот Колумб! Над ним глумились когда-то даже уличные мальчишки: он ведь хотел открыть Новый Свет! Он и открыл его! И звон колоколов встречает торжественный въезд его, но колокола зависти звучат еще громче, и вот того, кто открыл Новый Свет, кто как бы поднял золотой американский материк со дна моря и подарил его своему королю, награждают железными цепями! Он велит положить их с собою в гроб, как знаменательное выражение благодарности света и современников.

Картина сменяет картину; никогда не пустеет тернистый путь славы!

Вот в глубоком мраке сидит тот, кто измерил лунные горы, кто как бы пронизал мировое пространство своим острым духовным взором, уловил могучим умом сокровенное природы, понял, что земля движется под ним, — Галилей. Слепой, глухой старец как бы пригвожден к месту колючками терна, — так терзает его отречение. Теперь он не в силах даже поднять ногу, которою когда-то, и минуто душевной боли, при виде попираемой истины, топнул о землю и вскричал: «А все-таки она вертится!»

Вот стоит женщина, дитя душою, исполненная божественного восторга и веры; знамя несет она перед воинствующею ратью и дарует своему отечеству победу и спасение. Раздаются крики ликования, и разгорается костер. Жанну д'Арк, колдунью, сжигают. А следующие



поколения забрасывают белую лилию грязью: Вольтер, сатирично остроумия, воспевает «La piselle».<sup>1</sup>

Вот в Выборге датское дворянство сжигает законы короля. Они горят ярким пламенем, освещая эпоху и самого законодателя, отбрасывая сияние во внутрь мрачной темницы, где он сидит, седой, согбенный, проводя пальцем борозду вокруг каменного стола. Это он — некогда повелитель трех северных государств, любимец народа, друг крестьян и горожан — Кристиан Второй. Суровая была в нем душа, да и в суровое время жил он. Враги писали его историю. Но мы, вспоминая его кровавые деяния, припомним и двадцать семь лет его заключения.

От берегов Дании отплывает корабль. Прислонясь к высокой мачте, стоит человек и бросает прощальный взгляд на остров Вен. Это Тихо Браге. Он вознес имя Дании к звездам и вознагражден за то обидами и огорчениями. Теперь он отплывает в чужую землю, говоря: «Небо есть везде, чего же мне больше?» Он покидает родную землю, наш знаменитейший муж; в чужой земле ждут его почести и свобода.

«Ах, свобода... Свобода — хотя бы от невыносимых страданий тела!» — долетает до нас стон из глубины времен. Это что за картина? Гриффенфельд<sup>2</sup>, датский Прометей, прикованный к скалистому острову Мункгольму!

Мы в Америке, у одной из больших рек. По берегам толпится народ: сейчас должен поплыть корабль против течения и ветра, преодолевая сопротивление стихий. Роберт Фултон верит в возможность этого. Корабль трогается, и вдруг — стоп! Толпа хохочет, свищет, — в том числе и отец самого Фултона. «И поделом тебе, гордец, безумец! Под замок сумасброда!» Но вот маленький гвоздик, остановивший на минуту движение машины, ломается, колеса вертятся, лопасти преодолевают сопротивление волн, и корабль плывет! Паровой челн превращает часы в минуты, проплывая расстояния между землями с неведомою доселе быстротой.

Род человеческий! Понятно ли тебе блаженство такой минуты — высокого просветления духа, сознания им

---

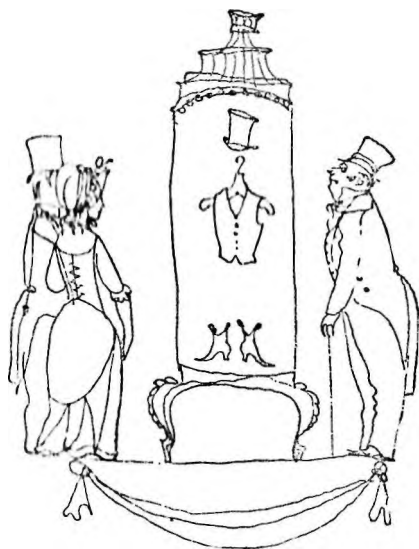
<sup>1</sup> «Девственницу» (франц.).

<sup>2</sup> Гриффенфельд, Педер (1635—1699) — датский государственный деятель, провел в заключении двадцать два года.

своей миссии, минуты, когда все истязания, перенесенные на тернистом пути славы, становятся целебным бальзамом, дающим здоровье, силу и ясность, когда дисгармония становится гармонией, и люди видят откровение божье, данное одному, а через него ставшее достоянием всех?

Тернистый путь славы опоясывает землю сияющей лентой; блаженны избранные, идущие по нему, без заслуг поставленные на этот мост, созданный великим зодчим, чтобы соединить землю с небом.

На мощных крылах несется дух истории через тьму времен и показывает нам — чтобы ободрить, утешить нас, пробудить в нас кротость — сияющие на черном фоне тернистого пути славы яркие картины. Путь этот не завершается, как в сказке, блеском и радостью здесь же, на земле, но ведет туда, в жизнь вечную и бесконечную.





## ДВЕНАДЦАТЬ ПАССАЖИРОВ



**М**ороз так и трещал. Вывездило; воздух словно застыл. Бумс! — о двери разбился горшок. Паф! — выстрел приветствовал Новый год. Это было в ночь под Новый год, и часы как раз пробили двенадцать.

Тра-та-та-ра! Пришла почта. У городских ворот остановился почтовый дилижанс, привезший двенадцать пассажиров. Больше в нем и не умещалось: все места были заняты.

«Ура! Ура!» — раздавалось в домах, где люди собрались праздновать наступление Нового года. Все встали из-за стола с полными бокалами в руках и принялись пить за Новый год, приговаривая:

«С Новым годом, с новым счастьем!» — «Вам славою жену!» — «Вам денег побольше!» — «Конец старым дрязгам!»

Вот какие раздавались пожелания! Люди чокались, а дилижанс, привезший гостей, двенадцать пассажиров, остановился в эту минуту у городских ворот.

Что это были за господа? У них были с собой и паспорта, и багаж, и даже подарки для тебя и для меня, для всех в городе. Кто же такие были эти гости? Что им надо было тут и что они привезли с собою?

— С добрым утром! — сказали они часовому у ворот.

— С добрым утром! — ответил он: часы ведь уже пробили двенадцать.

— Ваше имя? Звание? — спросил часовой у первого вылезшего из дилижанса.

— Взгляни на паспорт! — ответил тот. — Я — я!

Это был здоровый парень, в медвежьей шубе и меховых сапогах.

— Я тот самый, на кого уповаешь столько людей. Приди ко мне утром, получишь на чай! Я так и швыряю деньгами, дарю подарки, задаю балы! Тридцать один бал! Больше ночей я тратить не могу. Корабли мои, правда, замерзли, но в конторе у меня тепло. Я коммерсант, зовут меня Январь. У меня с собою только счета.

Затем вылез второй — «увеселительных дел мастер», театральный директор, распорядитель маскарадов и других веселых затей. В багаже у него была огромная бочка.

— Из нее мы на масленице выколотим кое-что получше кошки!<sup>1</sup> — сказал он. — Я люблю повеселить других, да и себя самого, кстати! Мне ведь уделен самый короткий срок! Мне дано всего двадцать восемь дней, разве иногда прикинут лишний денек! Но все равно! Ура!

— Нельзя так громко кричать! — заявил часовой.

— Мне-то? Я принц Карнавал, а путешествую под именем Февралья!

Вышел и третий. Вид у него был самый постный, но голову он задирает высоко: он ведь был в родстве с сорока мучениками и числился пророком погоды. Ну, да эта должность не из сытных, вот он и восхвалял воздержание. В петлице у него красовался букет фиалок, только крошечных-прекрошечных!

— Март, марш! — закричал четвертый, и толкнул третье го. — Март, марш! Марш в караулку, там пунш пьют! Я чую.

---

<sup>1</sup> Старый обычай, долго державшийся в Дании: на масленицу в бочку сажали кошку и начинали изо всех сил колотить по днищу, пока наконец не вышибут его и кошка как угорелая не выскочит из бочки.

Однако это была неправда: Апрелью все бы только обманывать — он с этого и начал. Выглядел он парнем разудалым, делами много не занимался, а все больше праздновал. С расположением духа он вечно играл то на понижение, то на понижение, то на понижение, то на повышение. Дождь и солнце, переезд из дома, переезд в дом.

— Я ведь к тому же состою распорядителем, и на свадьбах и на похоронах, готов и посмеяться и поплакать! В чемодане у меня есть летнее платье, но надеть его было бы глупо! Да вот я! Ради парада я щеголяю в шелковых чулках и с муфтой!

Затем из дилижанса вышла барышня.

— Девушка Май! — отрекомендовалась она. На ней были легкие летнее платье и калоши; платье шелковое, буково-зеленое, в волосах анемоны; от нее так пахло диким яминником, что часовой не выдержал, чихнул.

— Будьте здоровы! — сказала она в виде приветствия. Как она была мила! И какая певица! Не театральная, а вольная, лесная. Да и не из тех, что поют в увеселительных палатках, нет, она бродила себе по свежему зеленому лесу и пела для собственного удовольствия. В ридикюле у нее лежали «Гравюры на дереве» Христиана Винтера — они поспорят свежестью с буковым лесом, и «Стишки» Рихарда — эти благоухают, что твой дикий яминник!

— Теперь идет молодая дама! — закричали из дилижанса. И дама вышла. Молодая, изящная, гордая, прелестная! Она задавала пир в самый длинный день года, чтобы гостям хватило времени покончить с многочисленными блюдами. Средства позволяли ей ездить и в собственной карете, но она приехала в дилижансе вместе со всеми, желая показать, что совсем не спесива. Но, конечно, она ехала не одна: ее сопровождал младший брат Июль.

Июль — мужчина в расцвете сил; одет по-летнему, в шляпе-панаме. У него с собою очень небольшой запас дорожной одежды: в такую жару да возиться еще! Он и взял с собою только купальные панталоны да шапочку.

За ним вылезла матушка Август, оптовая торговка фруктами, владетельница многочисленных рыбных садков, земледелец в кринолине. Толстая она и горячая, до всего сама доходит, даже сама обносит пивом работников в поле. «В поте лица своего ешь хлеб свой, — приговаривает она. —

Так сказано в Библии! А вот осенью — милости просим! Устроим вечеринку на открытом воздухе, пирушку!» — Она была молодец баба, хозяйка хоть куда.

За нею следовал опять мужчина, живописец по профессии. Он собирался показать лесам, что листья могут и переменить цвета, да еще на какие чудесные, если ему вздумается! Стоит ему взяться за дело, и леса запестрят красными, желтыми и бурыми листьями. Художник насвистывал, что твой черный скворец, и мастер был работать! Пивную кружку его украшала ветка хмеля — он вообще знал толк в украшениях. Весь его багаж заключался в палитре с красками.

Вылез и десятый пассажир, помещик. У него только и дум было, что о пашне, о посевах, о жатве, да еще об охотничьих забавах. Он был с ружьем и собакою, а в сумке у него гремели орехи. Щелк! Щелк! Багажа у него



было пропасть, между прочим — даже английский плуг. Он что-то говорил о сельском хозяйстве, но его почти и не слышно было из-за кашля и пыхтения следующего пассажира — Ноября.

Что за насморк у него был, ужасный насморк! Пришлось вместо носового платка запастись целою простынею! А ему, по его словам, приходилось еще сопровождать служанок, поступающих на места! Ну, да простуда живо пройдет, когда он начнет рубить дрова. А он это непременно сделает — он ведь старшина цеха дровосеков. Вечерами он вырезывал коньки, зная, что эта веселая обувь скоро понадобится.

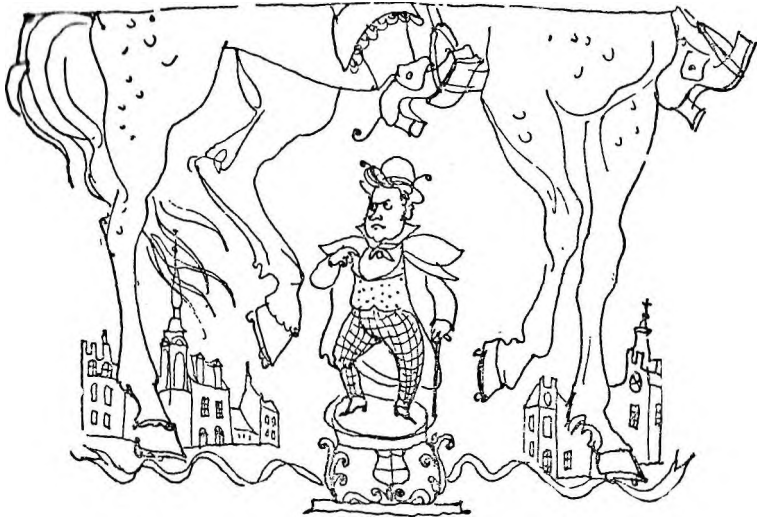
Вышел и последний пассажир — бабушка Декабрь с грелкою в руках. Она дрожала от холода, но глаза ее так и сияли, словно звезды. Она несла в цветочном горшочке маленькую елочку. «Я ее выхожу, вырасту к сочельнику! Поднимется от пола до потолка, обрастет зажженными свечками, вызолоченными яблоками и разноцветными сеточками с гостинцами. Грелка согревает не хуже печки, я вытащу из кармана книжку со сказками и буду читать вслух. Все детки в комнате притихнут, зато куколки на елке оживут, восковой ангелочек на самой верхушке ее затрепещет золочеными крылышками, слетит и расцелует всех, кто в комнате, и малюток, и взрослых, и даже бедных детей, что стоят за дверями и славят Христа и звезду вифлеемскую.

— Теперь дилижанс может отъехать! — сказал часовой. — Вся дюжина тут! Пусть подъезжает следующая карета!

— Пусть сначала войдут эти двенадцать! — сказал дежурный капитан. — По одному! Паспорта остаются у меня. Каждому паспорт выдан на один месяц; по истечении срока я сделаю пометку о поведении каждого. Пожалуйста, господин Январь! Не угодно ли вам войти?

И тот вошел.

Когда год кончится, я скажу тебе, что эти двенадцать пассажиров принесли тебе, и мне, и всем остальным. Теперь я этого еще не знаю, да и сами они не знают, — удивительные ведь времена у нас настали!



## НАВОЗНЫЙ ЖУК



Лошадь императора удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу.

За что?

Она была чудо как красива: с тонкими ногами, умными глазами и шелковистою гривой, ниспадавшей на ее шею длинною мантией. Она носила своего господина в пороховом дыму, под градом пуль, слышала их свист и жужжание и сама отбивалась от наступавших неприятелей. Она защищалась от них, одним прыжком перескочила со своим всадником через упавшую лошадь врага и тем спасла золотую корону императора и самую жизнь его, что подороже золотой короны. Вот за что она и удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу.

А навозный жук тут как тут.

— Сперва великие мира сего, потом уж малые! — сказал он. — Хотя и не в величине, собственно, тут дело! — И он протянул свои тощие ножки.

— Что тебе? — спросил кузнец.

— Золотые подковы! — ответил жук.



— Ты, видно, не в своем уме! — сказал кузнец. — И ты золотых подков захотел?

— Да! — ответил жук. — Чем я хуже этой огромной скотины, за которую еще надо ухаживать? Чисть ее, корми да пои! Разве я-то не из императорской конюшни?

— Да за что лошади дают золотые подковы? — спросил кузнец. — Вдомек ли тебе?

— Вдомек? Мне вдомек, что меня хотят оскорбить! — сказал навозный жук. — Это прямая обида мне! Я не стерплю, уйду куда глаза глядят!

— Проваливай! — сказал кузнец.

— Невежа! — ответил навозный жук, выполз из конюшни, отлетел немножко и очутился в красивом цветнике, где благоухали розы и лаванда.

— Правда ведь, здесь чудо как хорошо? — спросила жука жесткокрылая божья коровка, красная и в черных крапинках. — Как тут сладко пахнет, как все красиво!

— Ну, я привык к лучшему! — ответил навозный жук. — По-вашему, тут прекрасно?! Даже ни одной навозной кучи!..

И он отправился дальше, под сень большого левкоя. По стеблю ползла гусеница.

— Как хорош божий мир! — сказала она. — Солнышко греет! Как весело, приятно! А после того как я наконец засну, или умру, как это говорится, я проснусь уже бабочкой!

— Да, да, воображай! — сказал навозный жук. — Так вот мы и полетим бабочками! Я из императорской конюшни, но и там никто, даже любимая лошадь императора, которая донашивает теперь мои золотые подковы, не воображает себе ничего такого. Получить крылья, полететь?! Да, вот мы так сейчас улетим! — И он улетел. — Не хотелось бы сердиться, да поневоле рассердишься!

Тут он бухнулся на большую лужайку, полежал-полежал, да и заснул.

Батюшки мои, какой припустил дождь! Навозный жук проснулся от этого шума и хотел было поскорее уползти в землю, да не тут-то было. Он барахтался, барахтался, пробовал уплыть и на спине и на брюшке — улететь нечего было и думать, но все напрасно. Нет, право, он не выберется отсюда живым! Он и остался лежать, где лежал.

Дождь приостановился немножко; жук смахнул воду с глаз и увидал невдалеке что-то белое: это был холст, что разложили белить. Жук добрался до него и заполз в складку мокрого холста. Конечно, это было не то, что зарыться в теплый навоз в конюшне, но лучшего ничего здесь не представлялось, и он остался тут на весь день и на всю ночь, — дождь все лил. Утром навозный жук выполз; ужасно он сердит был на климат.

На холсте сидели две лягушки, глаза их так и блестели от удовольствия.

— Славная погодка! — сказала одна. — Какая свежесть! Этот холст чудесно задерживает воду! У меня даже задние лапки зачесались: так бы вот и поплыла!

— Хотела бы я знать, — сказала другая, — нашла ли где-нибудь ласточка, что летает так далеко, лучший климат, чем у нас? Этакие дожди, сырость — чудо! Право, словно сидишь в сырой канаве! Кто не радуется такой погоде, тот не сын своего отечества!

— Вы, значит, не бывали в императорской конюшне? — спросил их навозный жук. — Там и сыро, и тепло, и пахнет чудесно! Вот к чему я привык! Там климат по мне, да его не возьмешь с собою в дорогу! Нет ли здесь, в саду, хоть парника, где бы знатные особы, вроде меня, могли найти приют и чувствовать себя как дома?

Но лягушки не поняли его или не хотели понять.

— Я никогда не спрашиваю два раза! — заявил навозный жук, повторив свой вопрос три раза и все-таки не добившись ответа.

Жук отправился дальше и наткнулся на черепок от горшка. Ему не следовало бы лежать тут, но раз он лежал, под ним можно было найти приют. Под ним и жило несколько семейств уховерток. Им простора не требовалось — было бы общество. Уховертки необыкновенно нежные матери, и у них поэтому каждый малютка был чудом ума и красоты.

— Наш сынок помолвлен! — сказала одна мамаша. — Милая невинность! Его заветнейшая мечта — заползти в ухо к священнику. Он совсем еще дитя; помолвка удержит его от сумасбродств. Ах, какая это радость для матери!

— А наш сын, — сказала другая, — едва вылупился, а уж сейчас за шалости! Такой живчик! Ну, да надо же молодежи перебеситься! Дети — большая радость для матери!

Не правда ли, господин навозный жук? — Они узнали пришельца по фигуре.

— Вы обе правы! — сказал жук, и ухвертки пригласили его проползти к ним, если только он мог подлезть под черепок.

— Надо вам взглянуть и на моих малюток! — сказала третья, а потом и четвертая мамаша. — Ах, это милейшие малютки и такие забавные! Они всегда ведут себя хорошо, если только у них не болит животик, а от этого в их возрасте не убережешься!

И каждая мамаша рассказывала о своих детках; детки тоже вмешивались в разговор и пускали в ход свои клещи на хвостиках — дергали ими навозного жука за усы.

— Чего только не выдумают эти шалунишки! — сказали мамаша, потея от умиления; но все это уже надоело навозному жуку, и он спросил, далеко ли еще до парника.

— О, далеко, далеко! Он по ту сторону канавы! — сказали в один голос ухвертки. — Надеюсь, что ни один из моих детей не вздумает отправиться в такую даль, а то я умру!

— Ну, а я попробую добраться туда! — сказал навозный жук и ушел не прощаясь — это самый высший тон.

У канавы он встретил своих сродников, таких же навозных жуков.

— А мы тут живем! — сказали они. — У нас уютно! Милости просим в наше злачное местечко! Вы, верно, утомились в пути?

— Да! — ответил жук. — Пока дождь лил, я все лежал на холсте, а такая чистота хоть кого уходит, не то что меня. Пришлось постоять и под глиняным черепком на сквозняке, ну и схватил ревматизм в надкрылье! Хорошо наконец очутиться среди своих!

— Вы, может быть, из парника? — спросил старший из навозных жуков.

— Подымай выше! — сказал жук. — Я из императорской конюшни; там я родился с золотыми подковами на ногах. И путешествую я по секретному поручению. Но вы не спрашивайте меня, я все равно ничего не скажу.

И навозный жук уполз вместе с ними в жирную грязь. Там сидели три молодые барышни их же породы и хихикали, не зная, что сказать.

— Они еще не просватаны! — сказала мать, и те опять захихикали, на этот раз от смущения.

— Прекраснее барышень я не встречал даже в императорской конюшне! — сказал жук-путешественник.

— Ах, не испортийте мне моих девочек! И не заговаривайте с ними, если у вас нет серьезных намерений!.. Впрочем, они у вас, конечно, есть, и я даю вам свое благословение!

— Ура! — закричали остальные, и жук стал женихом. За помолвкой последовала и свадьба — зачем откладывать?

Следующий день прошел хорошо, второй — так себе, а на третий уже приходилось подумать о пропитании жены, а может быть, и деток.

«Вот-то поддели меня! — сказал он себе. — Так и я ж их поддену!»

Так и сделал — ушел. День нет его, ночь нет его — жена осталась вдовою. Другие навозные жуки объявили, что приняли в семью настоящего бродягу. Еще бы! Жена теперь осталась у них на шее!

— Так пусть она опять считается барышней! — сказала мамаша. — Пусть живет у меня по-прежнему. Плюнем на этого негодяя, что бросил ее!

А он переплыл канаву на капустном листке. Утром явились двое людей, увидели жука, взяли его и принялись вертеть в руках. Оба были страсть какие ученые, особенно мальчик.

— «Аллах видит черного жука на черном камне черной скалы» — так ведь сказано в Коране? — спросил он и, назвав навозного жука по-латыни, сказал, к какому классу насекомых он принадлежит.

Старший ученый не советовал мальчику брать жука с собою домой — не стоило, у них уже имелись такие же хорошие экземпляры. Жуку такая речь показалась невежливою, он взял да и вылетел из рук ученых. Теперь крылья у него высохли, и он мог отлететь довольно далеко, долетел до самой теплицы и очень удобно проскользнул в нее, — одно окно стояло открытым. Забравшись туда, жук поспешил зарыться в свежий навоз.

— Ах, как славно! — сказал он.

Скоро он заснул и увидел во сне, что лошадь императора пала, а сам господин навозный жук получил ее золотые подковы, причем ему пообещали дать и еще две. То-то было приятно! Проснувшись, жук выполз и огляделся. Какая роскошь! Огромные пальмы веерами раскинули

в вышине свои листья, сквозь которые просвечивало солнце; внизу же всюду зеленела травка, пестрели цветы, огненно-красные, янтарно-желтые и белые, как свежее-павший снег.

— Бесподобная растительность! То-то будет вкусно, когда все это сгниет! — сказал навозный жук. — Знатная кладовая! Здесь, верно, живет кто-нибудь из моих родственников. Надо отправиться на поиски, найти кого-нибудь, с кем можно свести знакомство. Я ведь горд и горжусь этим! — И жук пополз, думая о своем сне, о павшей лошади и о золотых подковах.

Вдруг его схватила чья-то рука, стиснула, принялась вертеть и поворачивать...

В теплицу пришел сынишка садовника с товарищем; они увидели навозного жука и вздумали позабавиться с ним. Жука завернули в виноградный листок и положили в теплый карман панталон. Он было принялся там вертеться, карабкаться, но мальчик притиснул его рукой и побежал вместе с товарищем в конец сада, к большому пруду. Там они посадили жука в старый сломанный деревянный башмак, укрепили в середине его щепочку вместо мачты, привязали к ней жука шерстинкой и спустили башмак на воду. Теперь жук попал в шкиперы и должен был отправиться в плавание.

Пруд был большой-пребольшой; навозному жуку казалось, что он плывет по океану, и это до того его поразило, что он упал навзничь и задрогал ножками.

Башмак относило от берега течением, но как только он отплыл чуть подальше, один из мальчуганов засучивал штанишки, шлепал по воде и притягивал его обратно. Но вот башмак отплыл опять, и как раз в эту минуту мальчуганов так настойчиво позвали домой, что они впопыхах забыли и думать о башмаке. Башмак же уносило все дальше и дальше. Какой ужас! Улететь жук не мог — он был привязан к мачте.

В гости к нему прилетела муха.

— Какая славная погода! — сказала она. — У вас тут можно отдохнуть, погреться на солнышке! Вам тут очень хорошо.

— Болтаете, сами не знаете что! Не видите, что ли, я привязан?

— А я нет! — сказала муха и улетела.

— Вот когда я узнал свет! — сказал навозный жук. — Как он низок! Я один только порядочный! Сначала меня обходят золотыми подковами, потом мне приходится лежать на мокром холсте, стоять на сквозняке, и, наконец, мне навязывают жену! Едва же я делаю смелый шаг в свет, осматриваюсь и приглядываюсь, является мальчишка, и пускает меня, связанного, в бурное море! А лошадь императора щеголяет себе в золотых подковах! Вот что меня больше всего мучит. Но на этом свете справедливости не жди! История моя очень поучительна, а что толку, если ее никто не знает? Да свет и недостоин знать ее, иначе он дал бы золотые подковы мне, когда лошадь императора протянула за ними ноги. Получи я золотые подковы, я бы стал украшением конюшни, а теперь я погиб для всех, свет лишился меня, и всему конец!

Но конец всему, видно, еще не наступил: на пруду появилась лодка, а в ней сидели несколько молодых девушек.

— Вот плывет деревянный башмак! — сказала одна.

— И бедный жук привязан крепко-накрепко! — сказала другая.

Они поравнялись с башмаком, поймали его, одна из девушек достала ножницы и осторожно обрезала шерстинку, не причинив жуку ни малейшего вреда. Выйдя же на берег, она посадила его на траву.

— Ползи, ползи, лети, лети, коли можешь! — сказала она ему. — Свобода — великое благо!

И навозный жук полетел прямо а открытое окно какого-то большого строения, а там устало опустился на тонкую, мягкую, длинную гриву любимой лошади императора, стоявшей в конюшне, родной конюшне жука. Жук крепко вцепился в гриву лошади, стараясь отдышаться и прийти в себя от усталости.

— Ну, вот я и сижу на любимой лошади императора, как всадник! Что я говорю?! Теперь мне все ясно! Вот это мысль! И верная! «За что лошадь удостоилась золотых подков?» — спросил меня тогда кузнец. Теперь-то я понимаю! Она удостоилась их из-за меня!

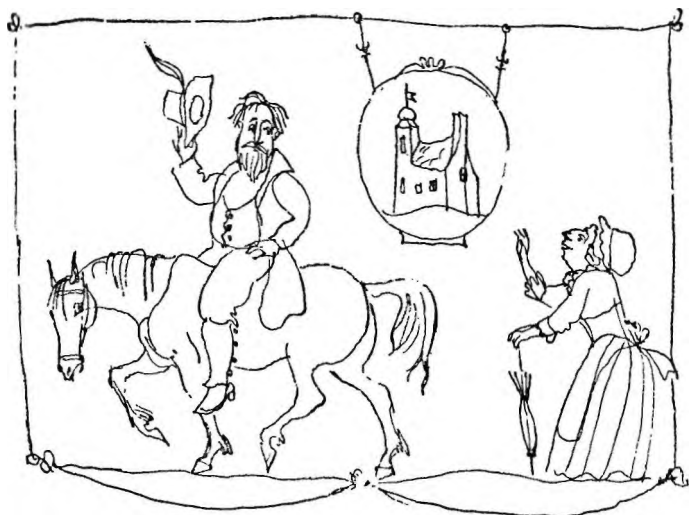
И жук опять повеселел.

— Путешествие проясняет мысли! — сказал он. Солнышко светило прямо на него и светило так красиво! — Свет, в сущности, не так-то уж дурен! — продолжал рассуждать навозный жук. — Надо только уметь за него взяться!

Да и как не быть свету хорошим, если любимая лошадь императора удостоилась золотых подков из-за того только, что на ней ездил верхом навозный жук?

— Теперь я поползу к другим жукам и расскажу, что для меня сделали! Расскажу и обо всех прелестях заграничного путешествия и скажу, что отныне буду сидеть дома, пока лошадь не износит своих золотых подков.





## ЧТО МУЖЕНЕК НИ СДЕЛАЕТ, ВСЕ ХОРОШО



**Р**асскажу я тебе историю, которую сам слышал в детстве. Всякий раз, как она мне вспоминалась потом, она казалась мне все лучше и лучше: и с историями ведь бывает то же, что со многими людьми, и они становятся с годами все лучше и лучше, а это куда как хорошо!

Тебе ведь случалось бывать за городом, где ютятся старые-престарые крестьянские избышки с соломенными кровлями? Крыши у них поросли мхом, на коньке непременно гнездо анста, стены покосились, окошки низенькие, и открывается всего только одно. Хлебные печи выпячивают на улицу свои толстенные брюшка, а через изгородь перевешивается бузина. Если же где случится лужа, по которой плавает утка или утята, там уж, глядишь, приткнулась и корявая ива. Возле избышки есть, конечно, и цепная собака, что лает на всех и каждого.

Вот точь-в-точь такая-то избышка и стояла в одной деревне, а в ней жили старички, муж с женой. Как ни



скромно было их хозяйство, а кое без чего они все же могли бы и обойтись, — была у них лошадь, целыми днями она щипала траву, что росла у придорожной канавы. Муж ездил на лошадке в город, одалживал ее соседям, ну, а уж известно, за услугу оплачивают услугой! Но все-таки выгоднее было бы продать эту лошадь или променять на что-нибудь более полезное. Только на что бы такое?

— Ну, уж тебе это лучше знать, муженек! — сказала жена. — Теперь как раз ярмарка в городе, поезжай туда, да и продай лошадку или променяй с выгодой! Уж что ты сделаешь, то всегда хорошо! Поезжай с богом!

И она повязала ему на шею платок — это-то она все-таки умела делать лучше мужа, завязала его двойным узлом; очень шикарно вышло! Потом она пригладила шляпу старика ладонью и поцеловала его прямо в губы. И вот он поехал на лошади, которую надо было или продать, или променять в городе. Уж он-то знал свое дело!

Солнце так и пекло, на небе не было ни облачка! Пыль на дороге стояла столбом, столько ехало и шло народу — кто в тележке, кто верхом, а кто и просто пешком. Жара была страшная; солнцепек, и ни малейшей тени по всей дороге.

Шел тут и какой-то человек с коровой; вот уж была корова так корова, чудесная! «Верно, и молоко дает чудесное! — подумал наш крестьянин. — То-то была бы мена, если бы сменять на нее лошадь!»

— Эй, ты там, с коровой! — крикнул он. — Поговорим-ка! Видишь мою лошадь? Я думаю, она стоит подороже твоей коровы! Но так и быть: мне корова нужнее! Поменяемся?

— Ладно! — ответил тот, и они поменялись.

Дело было слажено, и крестьянин мог повернуть во свояси — он ведь сделал, что было нужно. Но раз уж он вздумал побывать на ярмарке, так и надо было — хотя бы для того только, чтобы поглядеть на нее. Вот он и пошел с коровой дальше. Шагал он быстро, корова не отставала, и они скоро нагнали человека, который вел овцу. Овца была добрая, в теле, с густою шерстью.

«Вот от такой бы я не отказался! — подумал крестьянин. — Этой бы хватило травы на нашем краю канавы, а зимою ее можно держать в избе. По правде-то, нам сподручнее держать овцу, чем корову. Поменяться разве?»

Владелец овцы охотно согласился, мена состоялась, и крестьянин зашагал по дороге с овцой. Вдруг у придорожного плетня он увидел человека с большим гусем под мышкой.

— Ишь, гусище-то у тебя какой! — сказал крестьянин. — У него и жира и пера вдоволь! А ведь любо было бы поглядеть, как он стоит на привязи у нашей лужи! И старухе моей было бы для кого собирать объедки да очистки! Она часто говорит: «Ах, кабы у нас был гусь!» Ну вот теперь есть случай добыть его... и она его получит! Хочешь меняться? Я дам тебе за гуся овцу да спасибо в придачу!

Тот не отказался, и они поменялись; крестьянин получил гуся. Между тем он дошел до городской заставы. Тут была толкотня, всюду люди и скотина — ступить некуда; вот многие и шагали прямо по дну канавы и даже по картофельному полю сторожа. В поле бродила курица сторожа, но ее привязали к изгороди веревочкою, чтобы она не испугалась народа, и не отбилась от дома. Она была короткохвостая, подмигивала одним глазом и вообще на вид была курица хоть куда. «Кок, кок!» — бормотала она; что хотела она этим сказать, я не знаю, но крестьянин, увидев ее, подумал: «Лучше этой курицы я и не видывал. Она красивее наседки священника; вот бы нам ее! Курица везде сыщет себе зернышко, почитай что сама себя прокормит! Право, хорошо было бы сменять на нее гуся».

— Хочешь меняться? — спросил он у сторожа.

— Меняться? Отчего ж! — ответил тот, и они поменялись. Сторож взял себе гуся, а крестьянин курицу.

Немало-таки дел сделал он на пути в город, а жара стояла ужасная, и он сильно умаялся. Не худо было бы теперь и перекусить да выпить! А постоянный двор тут как тут. К нему он и направился, а оттуда выходил в эту минуту работник с большим, туго набитым мешком, и они встретились в дверях.

— Что у тебя там? — спросил крестьянин.

— Гнилые яблоки! — ответил работник. — Несу полный мешок свиньям!

— Такую-то уйму?! Вот бы поглядела моя старуха! У нас в прошлом году уродилось на старой яблоне всего одно яблочко, так мы берегли его в сундуке, пока оно не сгнило! «Все же это говорит о достатке в доме!» —

говорила старуха. — Вот бы посмотрела она, какой бывает достаток! Хотел бы я порадовать ее!

— А что вы дадите за мешок? — спросил парень.

— Что дам? Да вот курицу! — И он отдал курицу, взял мешок с яблоками, вошел в горницу и — прямо к прилавку, а мешок свой прислонил к печке. Она топилась, но он и не подумал о том. В горнице было пропасть гостей: барышники, торговцы скотом и два англичанина. Эти были такие богатые, что карманы у них чуть не лопались



от золота, и большие охотники до пари. Теперь слушайте!

«Зу-сс! Зу-сс!» Что это за звуки раздались у печки? А это яблоки начали печься.

— Что это такое? — спросили гости и сейчас же узнали всю историю о мене лошади на корову, коровы на овцу и так далее, — вплоть до мешка с гнилыми яблоками.

— Ну и попадет тебе от старухи, когда вернешься! — сказали они. — То-то крик поднимет!

— Поцелует она меня, вот и все! — сказал крестьянин. — Старуха моя скажет: «Что муженек ни сделает, все хорошо!»

— А вот посмотрим! — сказали англичане. — Ставим бочку золота! В мере сто фунтов!

— И полной мерки золота довольно! — сказал крестьянин. — А я могу поставить только полную мерку яблок да нас со старухой в придачу! Так мерка-то выйдет уж с верхом!

— Ну-ну! — сказали те и ударили по рукам.

Подъехала тележка хозяина, англичане влезли, крестьянин тоже, взвалили и яблоки, и тележка покатила к избушке крестьянина.

— Здравствуй, старуха!

— Здравствуй, муженек!

— Ну, я променял!

— Да ведь ты уж знаешь свое дело! — сказала жена, обняла его и забыла и о мешке и об англичанах.

— Я променял лошадь на корову!

— Слава богу! С молоком будем! — сказала жена. — Будем кушать и масло и сыр. Вот это так мена!

— Так-то так, да я корову-то сменял на овцу!

— Да оно и лучше! — ответила жена. — Ты обо всем подумаешь! У нас и травы-то как раз на овцу! Теперь у нас будут овечье молоко и сыр, да еще шерстяные чулки и даже фуфайки! А от коровы-то этого не получишь! Она линяет! Вот какой ты, право, умный!

— Я и овцу променял — на гуся!

— Как, неужели у нас в этом году будет к Мартынову дню жареный гусь, муженек?! Все-то ты думаешь, чем бы порадовать меня! Как ты это славно придумал! Гуся можно будет держать на привязи, чтобы он еще больше разжирел к Мартынову дню!

— Я и гуся променял — на курицу! — сказал муж.

— На курицу! Вот это дело! Курица нанесет яиц, высидит цыплят, и обзаведемся мы целым птичником! Вот чего мне давно хотелось!

— А курицу-то я променял на мешок гнилых яблок!

— Ну, так дай же мне расцеловать тебя! — сказала жена. — Спасибо тебе, муженек! Вот ты послушай, что я расскажу тебе. Ты уехал, а я и подумала: «Дай-ка приготовлю ему к вечеру что-нибудь повкуснее — яичницу с луком! Яйца-то у меня были, а луку не было. Я и пойдю к жене школьного учителя. Я знаю, что у них есть лук, но она ведь скупая-прескупая, хоть и строит из себя святую! Я попросила ее одолжить мне луку, а она: «Луку? Ничего у нас в саду не растет, даже гнилого яблока не отыщешь!» Ну, а я теперь могу одолжить ей хоть десяток,

хоть целый мешок! Вот смеху-то, муженек! — И она опять поцеловала мужа прямо в губы.

— Вот это нам нравится! — вскричали англичане. — Всё хуже да хуже, а ей всё нипочем! За это и деньги отдать не жаль! — И они отсыпали крестьянину за то, что ему достались поцелуи, а не трепка, целую мерку червонцев.

Да уж, если жена считает мужа умнее всех на свете и все, что он ни делает, находит хорошим, — это без награды не останется!

Так вот какая история! Я слышал ее в детстве, а теперь рассказал ее тебе, и ты теперь знаешь, про то, «что муженек ни сделает, все хорошо!»





## СНЕГОВИК



**Т**ак и хрустит во мне! Славный моро-  
зище! — сказал снеговик. — Ветер-то,  
ветер-то так и кусает! Просто любо!  
А эта что глазеет, пучеглазая? — Это  
он про солнце говорил, которое как раз  
заходило. — Нечего, нечего! Я и не  
моргну! Устоим!

Вместо глаз у него торчали два  
осколка кровельной черепицы, вместо  
рта — обломок старых граблей; зна-

чит, он был и с зубами.

На свет он появился при радостных «ура» мальчи-  
шек, под звон бубенчиков, скрип полозьев и шелканье  
извозничьих кнутов.

Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, пол-  
ная, ясная!

— Ишь, с другой стороны ползет! — сказал снего-  
вик. Он думал, что это опять солнце показалось. — Я все-  
таки отучил ее паялить на меня глаза! Пусть себе висит  
и светит потихоньку, чтобы мне видно было себя!.. Ах,  
кабы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться! Так бы

и побежал туда на лед покататься, как давеча мальчишки! Беда — не могу двинуться с места!

— Вон! Вон! — залаял старый цепной пес; он немножко охрип — ведь когда-то он был комнатною собачкой и лежал у печки. — Солнце выучит тебя двигаться! Я видел, что было в прошлом году с таким, как ты, и в позапрошлом тоже! Вон! Вон! Все убрались вон!

— Что ты толкуешь, дружище? — сказал снеговик. — Вон та пучеглазая выучит меня двигаться? — Снеговик говорил про луну. — Она сама-то удрала от меня давеча: я так пристально посмотрел на нее в упор! А теперь вон опять выползла с другой стороны!

— Много ты смыслишь! — сказал цепной пес. — Ну да, ведь тебя только что вылепили! Та, что глядит теперь, луна, а то, что ушло, солнце; оно опять вернется завтра. Ужо оно подвинет тебя — прямо в канаву! Погода переменится! Я чую — левая нога заныла! Переменится, переменится!

— Не пойму я тебя что-то! — сказал снеговик. — А сдается, ты сулишь мне недоброе! Та пучеглазая, что зовут солнцем, тоже не друг мне, я уж чую!

— Вон! Вон! — пролаяла цепная собака, три раза повернулась вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать.

Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым, тягучим туманом; потом подул резкий, ледящий ветер и затрещал мороз. А что за красота была, когда взошло солнышко!

Деревья и кусты в саду стояли все осыпанные инеем, точно лес из белых кораллов! Все ветви словно покрылись блестящими белыми цветочками! Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны; от каждой ветки как будто лилось сияние! Плакучая береза, колеблемая ветром, казалось, ожила; длинные ветви ее с пушистою бахромой тихо шевелились — точь-в-точь как летом! Вот было великолепие! Встало солнышко... Ах, как все вдруг за сверкало и загорелось крошечными ослепительно белыми огоньками! Все было точно осыпано алмазною пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты!

— Что за прелесть! — сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они останови-

лись как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья.

— Летом такого великолепия не увидишь! — сказала она, вся сияя от удовольствия.

— И такого молодца — тоже! — сказал молодой человек, указывая на снеговика. — Он бесподобен!

Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой снеговика и пустилась с молодым человеком по снегу вприпрыжку; так и захрустело у них под ногами, точно они бежали по крахмалу.

— Кто такие приходили эти двое? — спросил снеговик цепную собаку. — Ты ведь живешь тут подольше меня; знаешь ты их?

— Знаю! — сказала собака. — Она гладила меня, а он бросал косточки; таких я не кусаю.

— А что же они из себя изображают? — спросил снеговик.

— Паррочку! — сказала цепная собака. — Вот они поселятся в конуре и будут вместе глотать кости! Вон! Вон!

— Ну, а значат они что-нибудь, как вот я да ты?

— Да ведь они господа! — сказал пес. — Куда как мало смыслит тот, кто только вчера вылез на свет божий! Это я по тебе вижу! Вот я так богат и годами и знанием! Я всех, всех знаю здесь! Да, я знал времена получше!.. Не мерз тут а холоде на цепи! Вон! Вон!

— Славный морозец! — сказал снеговик. — Ну, ну, рассказывай, рассказывай! Только не греми цепью, а то меня просто коробит!

— Вон! Вон! — залаял цепной пес. — Я был щенком, крошечным хорошеньким щенком, и лежал на бархатных креслах там, в доме, лежал на коленях у знатных господ! Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками! Звали меня Милкой, Крошкой!.. Потом я вырос, велик для них стал, и меня подарили ключнице, я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда; с твоего места отлично видно. Так вот, в той каморке я и зажил как барин! Там хоть и пониже было, да зато спокойнее, чем наверху: меня не таскали и не тискали дети. Ел я тоже не хуже, если еще не лучше! У меня была своя подушка и еще... там была печка, самая чудеснейшая вещь на свете в такие холода! Я совсем уползал под нее!.. О, я и теперь еще мечтаю об этой печке! Вон! Вон!



— Разве уж она так хороша, печка-то? — спросил снеговик. — Похожа она на меня?

— Ничуть! Вот сказал тоже! Печка черна как уголь; у нее длинная шея и медное пузо! Она так и пожирает дрова, огонь пышет у нее изо рта! Рядом с нею, под нею — настоящее блаженство! Ее видно в окно, погляди!

Снеговик посмотрел и в самом деле увидал черную блестящую штуку с медным животом; в животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило какое-то странное желание, — в нем как будто зашевелилось что-то... Что такое нашло на него, он и сам не знал и не понимал, хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик.

— Зачем же ты ушел от нее? — спросил снеговик пса, он чувствовал, что печка — существо женского пола. — Как ты мог уйти оттуда?

— Пришлось поневоле! — сказал цепной пес. — Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего барчука — он хотел отнять у меня кость! — «Кость за кость!» — думаю себе... А они осердились, и вот я на цепи! Потерял голос... Слышишь, как я хриплю? Вон! Вон! Вот тебе и вся недолга!

Снеговик уж не слушал, он не сводил глаз с подвального этажа, с каморки ключницы, где стояла на четырех ножках железная печка величиной с самого снеговика.

— Во мне что-то так странно шевелится! — сказал он. — Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание, отчего ж бы ему и не сбыться? Это мое самое заветное, мое единственное желание! Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда, к ней... Прижаться к ней во что бы то ни стало, хоть бы пришлось разбить окно!

— Туда тебе не попасть! — сказал цепной пес. — А если бы ты и добрался до печки, то тебе конец! Вон! Вон!

— Мне уж и так конец подходит, того и гляди свалюсь!

Целый день снеговик стоял и смотрел в окно; в сумерки каморка выглядела еще приветливее: печка светила так мягко, как не светить ни солнцу, ни луне! Куда им! Так светит только печка, если брюшко у нее набито. Когда дверцу открыли, из печки так и метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице снеговика. В груди у него тоже горело пламя.

— Не выдержу! — сказал он. — Как мило она высывает язык! Как это идет к ней!

Ночь была длинная, длинная, только не для снеговика; он весь погрузился в чудные мечты, — они так и трещали в нем от мороза.

К утру все окна подвального этажа покрылись чудесным ледяным узором, цветами; лучших снеговика нечего было и требовать, но они скрывали печку! Стекла не оттаивали, и он не мог видеть печку! Мороз так и трещал, снег хрустел, снеговика радоваться бы да радоваться, так нет! Он тосковал о печке! Он был положительно болен.

— Ну, это опасная болезнь для снеговика! — сказал пес. — Я тоже страдал этим, но поправился. Вон! Вон! Будет перемена погоды!

И погода переменилась, началась оттепель.

Капли поприбавилось, а снеговик поубавился, но он не говорил ничего, не жаловался, а это плохой признак.

В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки; на ней-то мальчишки и укрепили его.

— Ну, теперь я понимаю его тоску! — сказал цепной пес. — У него внутри была кочерга! Вот что шевелилось в нем! Теперь все прошло! Вон! Вон!

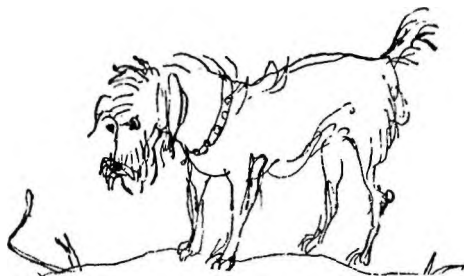
Скоро прошла и зима.

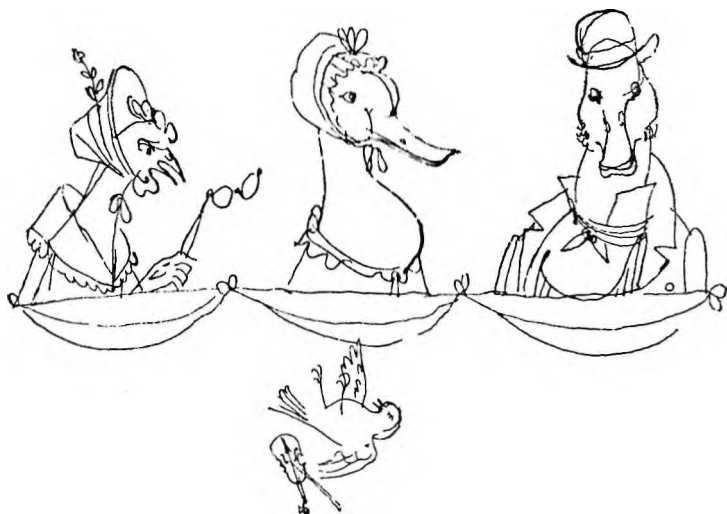
— Вон! Вон! — лаял цепной пес, а девочки на улице пели:

Цветочек лесной, поскорей распускайся!  
Ты, вербочка, мягким пушком одевайся!

Кукушки, скворцы прилетайте,  
Весну нам красну воспевайте!  
И мы вам подтянем: ай, люли-люли,  
Деньки наши красные снова пришли!

О снеговике же и думать забыли!





## НА УТИНОМ ДВОРЕ



**И**з Португалии — а кто говорит из Испании, но это все едино — вывезли утку; прозвали ее Португалкою; она несла яйца, потом ее зарезали, зажарили и подали на стол, — вот и вся ее история. Выводков из ее яиц тоже звали Португалками, и это кое-что значило. Наконец из всего потомства первой Португалки осталась на утином дворе только одна утка. На этот утиный двор допускались и куры с петухом, неизменно задиравшим нос.

— Он просто оскорбляет меня своим неистовым криком! — говорила Португалка. — Но он красив — этого нельзя у него отнять, хоть и не сравнится с селезнем. Ему бы следовало быть посдержаннее, но ведь сдержанность — это целое искусство, требующее высшего образования. Этим отличаются певчие птички, что гнездятся вон там, в соседском саду на липах! Как мило они поют! В их пении есть что-то такое трогательное, португальское — как я это называю! Будь у меня такая певчая

птичка, я бы заменила ей мать, была бы с нею ласкова, добра! Это уж у меня в крови, в моем португальстве.

И как раз в эту минуту к ней и свалилась с крыши певчая птичка. Она шархнула отсюда, спасаясь от кошки, и отделалась сломанным крылом.

— Как это похоже на кошку, на эту кровопийцу! — сказала Португалка. — Я знаю ее еще с той поры, как у меня самой были утята! И подумать, что такому созданию позволяют жить и бегать тут по крышам! Нет, уж в Португалии, я думаю, этого не увидишь!

И она принялась соболезновать бедной певчей птичке. Соболезновали и простые утки, не португальские.

— Бедная крошка! — говорили они, подходя к ней одна за другой. — Сами мы не из певчих, но в нас есть внутренний резонанс, или как это назвать иначе? Мы чувствуем, хоть и не говорим о том!

— Так я поговорю! — сказала Португалка. — И сделаю для нее кое-что! Это прямой долг каждого! — С этими словами она подошла к корыту и зашлепала по воде крыльями, так что чуть не потопила птичку под дождем брызг, но от доброго сердца. — Вот это доброе дело! — сказала Португалка. — Пусть смотрят и берут пример.

— Пип! — пискнула птичка; сломанное крылышко не давало ей встряхнуться хорошенько; но она все-таки понимала, что ее выкупали от доброго сердца. — Вы очень добры, сударыня! — прибавила она, но о повторении душа не просила.

— Я никогда не думала о своей доброте! — ответила Португалка. — Но я знаю, что люблю всех моих ближних, кроме кошки! А этого уж от меня и требовать не вправе. Она съела у меня двух утят!.. Ну, будьте же теперь здесь как дома! Это можно! Сама я тоже не здешняя, что вы, конечно, видите по моей осанке и оперению. А селезень мой здешний, не моей крови, но я не спесива!.. Если вас вообще кто-нибудь поймет здесь, во дворе, то, смею думать, это я!

— У нее Портулакия в зобу! — сострил один маленький простой утенок; остальные простые утки нашли это бесподобным: Портулакия звучит ведь совсем как Португалия! И они подталкивали друг друга, крикая:

— Кряк! Вот остряк! — Потом они опять заговаривали с певчею птичкой.

— Португалка — мастерица поговорить! — сказали они. — У нас нет таких громких слов в клюве, но и мы принимаем в вас не меньшее участие! И если мы ничего не делаем для вас, то не кричим об этом! По-нашему, так благороднее.

— У вас прелестный голос! — сказала одна из пожилых уток. — То-то, должно быть, приятно сознавать, что радуешь многих, как вы! Я, впрочем, мало смыслю в пении! Оттого и держу язык в клюве. Это лучше, чем болтать глупости, каких вам столько приходится выслушивать.

— Не надоедайте ей! — вмешалась Португалка. — Ей нужен отдых и уход. Хотите, я опять вас выкупаю, маленькая певунья?

— Ах нет, нет! Позвольте мне остаться сухой! — просила та.

— А мне только водяное лечение и помогает! — продолжала Португалка. — Развлечения тоже очень полезны! Вот скоро придут в гости соседки куры; между ними есть две китайки; они ходят в панталончиках и очень образованны. Они тоже не здешние, и это очень подымет их в моих глазах.

Куры явились; явился и петух. На этот раз он был настолько вежлив, что не грубиянил.

— Вы настоящая певчая птица! — сказал он птичке. — И делаете из своего крохотного голоска что можете. Но надо иметь свисток посильнее, чтобы слышно было, что ты мужчина!

Обе китайки пришли от птички в восторг: она после купанья была вся взъерошенная и напомнила им китайского цыпленка. — Как она мила! — сказали они и вступили с нею в беседу. Говорили они шепотом, да еще и пришепывали, как и полагается знатным китайкам.

— Мы ведь вашей породы! А утки, даже сама Португалка, принадлежат к водяным птицам, как вы, вероятно, заметили. Вы нас еще не знаете, но и многие ли нас здесь знают или дают себе труд узнать? Никто, даже из кур никто, хотя мы и рождены для более высокого наesta, нежели большинство! Ну, да пусть! Мы мирно идем своею дорогой среди других, хотя у нас и другие принципы: мы смотрим только на одно хорошее, говорим только о хорошем, хотя и трудно найти его там, где нет ничего! Кроме нас двух да петуха, во всем курятнике нет

даровитых и в то же время честных натур. Об утином дворе и говорить нечего. Мы предостерегаем вас, милая певунья! Не верьте вон той короткохвостой утке — она хитрая! А вот та, пестрая, с кривым узором на крыльях, страшная спорщица, никому не дает сказать последнего слова, и сама всегда неправа! Та жирная утка обо всех отзывается дурно, а это противно нашей природе: уж если нельзя сказать хорошего, лучше молчать! Португалка одна отличается хоть некоторым образованием, и с нею еще можно водиться, но она тоже пристрастна и слишком много говорит о своей Португалии.

— И что эти китайки расшептались! — удивлялись две простые утки. — На нас они наводят скуку; мы никогда с ними не разговариваем.

Вот явился и селезень. Он принял певчую птичку за воробья.

— Ну да, я много не разбираю! — сказал он. — Все едино! Она из породы шарманок; есть они — ну и ладно.

— Пусть себе говорит, а вы не обращайтесь внимания! — шепнула птичке Португалка. — Он зато весьма деловитый селезень, а дела ведь главное!.. Ну, а теперь я прилягу отдохнуть. Это прямой долг по отношению к самой себе, если хочешь разжиреть и быть набальзамированной яблоками и черносливом.

И она улеглась на солнышке, подмаргивая одним глазом. Улеглась она хорошо, сама была хороша и заснула хорошо. Певчая птичка почесала сломанное крылышко и прилегла к своей покровительнице. Солнышко так славно пригревало, тут было чудесное местечко.

Соседские куры принялись рыться в земле; они, в сущности, и приходили сюда только за кормом. Потом они стали расходиться; первые ушли китайки, за ними и остальные. Остроумный утенок сказал про Португалку, что старуха скоро впадет в «утиное детство». Другие утки закрикали от смеха. «Утиное детство!» Ах, он бесподобен! Вот остряк! И они повторяли и прежнюю его остроуту: «Портулакья». Ужасно забавно было! Затем улеглись и они.

Прошел час, вдруг на двор выплеснули помои и всякие кухонные отбросы. От этого всплеска вся спящая компания проснулась и забила крыльями. Проснулась и Португалка, перевалилась на другой бок и пребольно придавила певчую птичку.

— Пип! — пискнула та. — Вы наступили на меня, сударыня!

— Не попадайтесь под ноги! — ответила Португалка а . — Да не будьте такою неженкой! У меня тоже есть нервы, а я никогда не пишу!

— Не сердитесь! — сказала птичка. — Это у меня так вырвалось!

Но Португалка не слушала, бросилась на поживу и отлично пообедала. Покончив с едой, она опять улеглась. Птичка снова подошла к ней и хотела было доставить ей удовольствие своим пением:

Чу-чу-чу-чу!  
Уж я не промолчу,  
Я вас воспеть хочу!  
Чу-чу-чу-чу!

— Теперь мне надо отдохнуть после обеда! — сказала утка. — Пора вам привыкать к здешним порядкам! Я спать хочу!

Бедная птичка совсем растерялась: она ведь хотела услужить! Когда же госпожа Португалка проснулась, птичка уж опять стояла перед нею и поднесла ей найденное зернышко. Но утка не выспалась как следует и, разумеется, была не в духе.

— Отдайте это цыпленку! — крикнула она. — Да не стойте у меня над душой!

— Да вы сердиты на меня? — спросила птичка. — Что же я сделала?

— Сделала! — повторила Португалка. — Выражение не из изящных, позвольте вам заметить!

— Вчера светило солнышко, — сказала птичка, — а сегодня так серо, темно! Мне так грустно!

— Вы не сильны во времяисчислении! — сказала Португалка. — День еще не кончился! Да не смотрите же так глупо!

— Теперь у вас точь-в-точь такие же злые глаза, как те, от которых я спаслась сюда!..

— Ах, бесстыдница! — сказала Португалка. — Вы меня приравниваете к кошке, этой хищнице? В моей крови нет ни единой злой капельки! Я приняла в вас участие и научу вас приличному обхождению!

И она откусила птичке голову; птичка упала мертвая.

— Это еще что?! — сказала Португалка. — И этого перенести не могла? Ну, так она и не жилица была на

этом свете! А я была для нее матерью, это я знаю! Сердце у меня есть!

Соседский петух просунул голову на двор и закукарекал, что твой паровоз.

— Вы изводите меня своим криком! — сказала утка. — Это все вы виноваты! Она потеряла голову, да и я свою скоро потеряю!

— Не много-то места она теперь занимает! — сказал петух.

— Говорите о ней почительнее! — сказала Португалка. — У нее был голос, она умела петь, была образованна! Она была нежная и любящая, а это так же приличествует животным, как и так называемым людям!

Вокруг мертвой птички собрались все утки; утки вообще сильно чувствуют и выражают свои чувства — и зависть и жалость. Тут завидовать было нечему, так они жалели. Пришли и куры-китаянки.

— Такой певчей птички у нас больше не будет! Она была почти что китаянка! — И они всхлипывали; другие куры тоже, а утки ходили с красными глазами.

— Сердце-то у нас есть! — говорили они. — Этого уж у нас не отнимут!

— Сердце! — повторила Португалка. — Да, этого-то добра у нас здесь почти столько же, сколько и в Португалии!

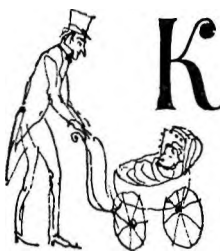
— Подумаем-ка лучше, чем бы набить зобы! — заметил селезень. — Это важнее всего! А если и разбилась одна шарманка, что ж? Их еще довольно осталось на свете!







## МУЗА НОВОГО ВЕКА



**К**огда же проявит свое существование Муза нового века, которую узрят наши правнуки, а может быть, и еще более поздние поколения? Какова будет она? О чем споет? Каких душевных струн коснется? На какую высоту подымет свой век?

Да можно ли задавать столько вопросов в наше суетливое время, когда поэзия является чуть ли не помехой, когда ясно сознают, что от большинства «бессмертных» произведений современных поэтов останется в будущем много-много что-то вроде надписей углем, встречающихся на тюремных стенах и привлекающих внимание разве некоторых случайных любопытных?

При таком положении дел поэзии поневоле приходится принимать известное участие в политике, играть хотя бы роль пыжа в борьбе партий, когда люди проливают кровь или чернила.

Это односторонний взгляд, скажут многие; поэзия не забыта и в наше время.

Нет, нет. Находятся еще люди, у которых в «ленивые понедельники» просыпается потребность в поэзии; испытывая от голода духовное урчание в соответствующих благотворных частях своего организма, они посылают слугу в книжный магазин купить поэзии, особенно рекомендуемой, на целых четыре скиллинга! Некоторые же довольствуются и тою поэзией, которую могут получить в придачу к покупкам, или удовлетворяются чтением тех листков, в которые лавочники завертывают им покупки. Так выходит дешевле, а в наше суетливое время нельзя обращать внимания на дешевизну. Итак, существующие потребности удовлетворяются — чего же еще? Поэзия же будущего, как и музыка будущего, — только донкихотство, и говорить о них, все равно что говорить о путешествии с научною целью на Уран!

Время слишком дорого, чтобы тратить его на фантазии, а ведь что такое, в сущности, если рассуждать трезво, что такое поэзия? Эти звучные изливания чувств и мыслей — только игра и колебание нервов. Восторг, радость, боль, даже материальные стремления — все это, по словам ученых, только колебание нервов. Каждый из нас, в сущности, нечто вроде арфы или другого струнного инструмента.

Но кто же затрагивает эти струны? Кто заставляет их колебаться и дрожать? Дух, незримый божественный дух; его голос приводит их в колебание; они колеблются, звучат, и мелодия их или сливается с основным звуком в один гармонический аккорд, или образует могучий диссонанс. Так оно было, так и будет всегда в великом прогрессе человечества на пути свободного сознания.

Каждый век, можно даже сказать — каждое тысячелетие, находит свое высшее выражение в поэзии. Рожденная в конце одной эпохи, она выступает и царствует только в следующую.

Муза нового века родилась в наше суетливое время под грохот и стук машин. Привет ей! Она услышит или, может быть, прочтет его когда-нибудь между только что упомянутыми надписями, сделанными углем.

Колыбель ее раскачивалась в пространстве, ограниченном с одной стороны крайнею точкой, которой касалась нога человека в его изысканиях на севере, а с другой — крайними пределами видимого человеку темного полярного горизонта. Мы не слышали скрипа ее колыбели

из-за шума стучащих машин, свиста паровозов, взрывов скал материализма и грохота сбрасываемых духовных оков.

Она родилась на великой фабрике, представляемой ныне нашею землею, в эпоху господства пара, в эпоху неустанной работы мастера «Бескровного» и его подручных.

У нее великое любвеобильное сердце женщины; в ее душе горит священное пламя весталки и огонь страсти. Одарена она быстрым, ярким, как молния, умом, проникающим через тьму тысячелетий; в нем, как в призме, отражаются все оттенки господствовавших когда-либо людских мнений, сменявшихся согласно моде. Силу и сокровище новой Музы составляет лебединое оперение фантазии, вытканное наукой и оживленное первобытными силами природы.

Она дитя народа по отцу; здравомыслящая, со здоровою душою, серьезными глазами и улыбкой на устах. По матери же она ведет род от знатных, академически образованных эмигрантов, хранящих память о золотой эпохе рококо. Муза нового века уродилась душой и телом в обоих.

На зубок ей положили в колыбель великолепные дары. В избытке были насыпаны туда, словно лакомства, загадки природы с их разгадками; из водолазного колокола высыпали ей разные безделушки и диковинки морского дна. На пологе была отпечатана карта неба, напоминающего океан с мириадами островов — миров. Солнце рисовало ей картинки; фотография должна была доставлять игрушки.

Кормилица пела ей песни северного скальда Эйвинда и восточного певца Фирдоуси, песни миннезингеров и те песни, что выливались из глубины истинно поэтической души шаловливого Гейне. Много, даже слишком много рассказывала ей кормилица. Муза знает и наводящие ужас предания прапрабабушки Эдды, предания, в которых как бы слышится свист кровавых крыл проклятий. Она прослушала в четверть часа и всю восточную фантазию — «Тысячу и одну ночь».

Муза нового века еще дитя, но она уже выпрыгнула из колыбели; она полна стремления, но еще и сама не знает, к чему ей стремиться.

Она еще играет в своей просторной детской, наполненной сокровищами искусств и безделушками стиля ро-

коко. Тут же и чудные мраморные изваяния греческой трагедии и римской комедии; по стенам развешаны, словно сухие травы, народные песни разных стран; стоит ей поцеловать их, и они пышно распусятя, свежие, благоухающие! Вокруг нее раздаются бессмертные созвучия Бетховена, Глюка, Моцарта и других великих мастеров. На книжной полке теснятся произведения авторов, считавшиеся в свое время бессмертными, но на ней хватило бы места и для трудов всех тех, чьи имена передаются нам по телеграфной проволоке бессмертия, но замирают вместе с передачей телеграммы.

Много, слишком много она читала; она ведь родилась в наше время, многое придется ей забыть, и она сумеет позабыть.

Она еще не думает о своей песне, которая будет жить в новом веке, как живут теперь вдохновенные творения Моисея и золотые басни Бидпая о хитростях лиса. Она еще не думает о своей миссии, о своем будущем, она играет под шум борьбы наций, потрясающий воздух и образующий разные звуковые фигуры из гусиных перьев или из ядер — руны, которые трудно разгадать.

Она носит гарибальдийскую шапочку, читает Шекспира, и у нее мелькает мысль: «А ведь его еще можно будет ставить, когда я вырасту!» Кальдерон покоится в саркофаге своих произведений; надпись на нем говорит о его славе. Хольберга же — да, Муза ведь космополитка — она переплело и один том с Мольером, Плавтом и Аристофаном, но охотнее всего она читает все-таки Мольера.

Ей незнакомо то беспокойство, которое гонит горную серну, но и ее душа жаждет соли жизни, как горная серна — раздолья гор. В сердце ее разлит такой же покой, каким дышат сказания древних евреев, этих номадов, кочевавших в тихие звездные ночи по зеленым равнинам, и все же, когда она поет их, сердце ее бьется сильнее, чем билось оно у вдохновенного древнего воина с фессалийских гор.

Ну, а насчет ее религии как? Она изучила все философские таблицы, сломала себе на «происхождении первоначальных сил» один из молочных зубов, но получила взамен новый, вкусила плода познания еще в колыбели и стала так умна, что бессмертие кажется ей гениальнейшей мыслью человечества.

Когда же настанет новый век поэзии? Когда выступит его Муза? Когда мы услышим ее?

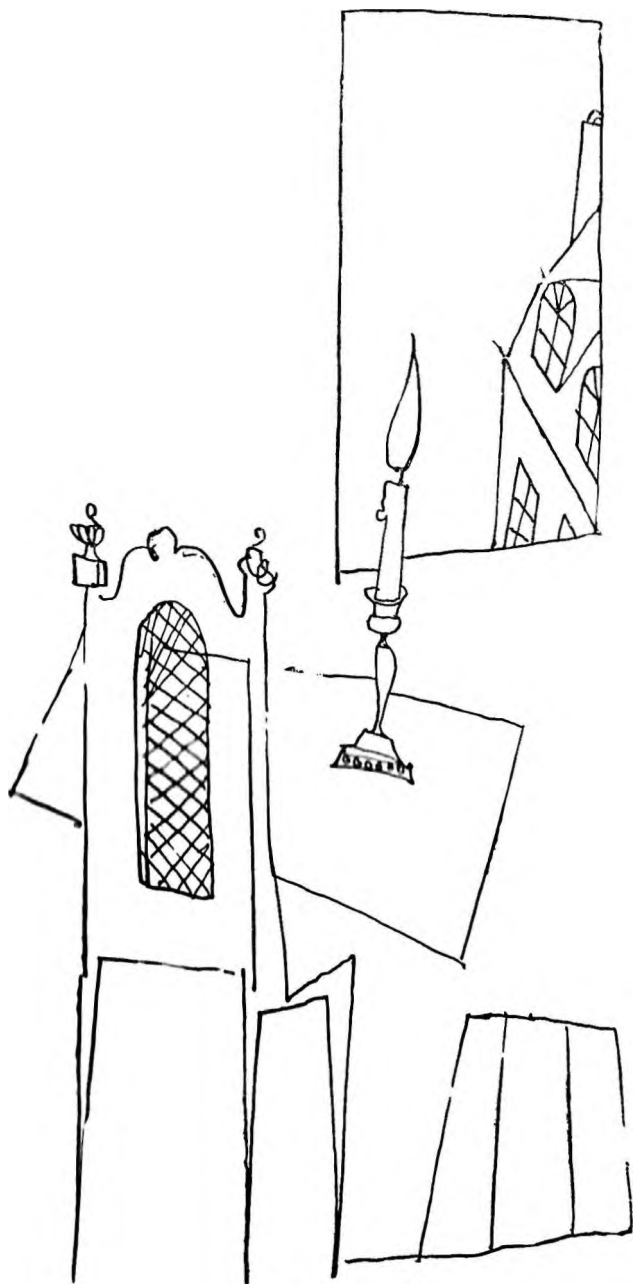
В одно прекрасное весеннее утро она примчится на паровом драконе, с шумом пронесется по туннелям, по мостам над пропастями, или по бурному морю на пыхтящем дельфине, или по воздуху на птице Рок Монгольфера и спустится на землю, откуда и раздастся впервые ее приветствие человечеству. Откуда же? Не из земли ли Колумба, страны свободы, где туземцы стали гонимыми зверями, а африканцы — выючными животными, страны, откуда прозвучала «Песнь о Гайавате»? Или из земли наших антиподов, золотого острова в южном море, страны контрастов, где наша ночь является днем, где в мимозовых лесах поют черные лебеди? Или из той страны, где звенит и поет нам колосс Мемнона, хотя мы и не понимаем пения сфинкса пустыни? С каменноугольного ли острова, где со времен Елизаветы господствует Шекспир? Из отчизны ли Тихо Браге, где его не оценили, или из страны сказочных приключений, Калифорнии, где возносит к небу свою главу царь лесов — Веллингтоново дерево?

Когда же заблестит звезда с чела Музы? Когда распустится цветок, на лепестках которого будет начертан символ красоты века, красоты форм, красок и благоухания?

«А какова будет программа новой Музы? — спросят сведущие депутаты от нашего времени. — Чего она хочет?»

Спросите лучше, чего она не хочет.

Она не хочет выступить тенью истекшего времени! Не хочет мастерить новые драмы из сданных в архив сценических эффектов или прикрывать убожество драматической архитектуры ослепительными лирическими драпировками! Она на наших же глазах шагнет в этой области так же далеко, как далеко шагнул мраморный амфитеатр от колесницы Фесписа. Она не хочет разбивать в куски естественную человеческую речь и потом лепить из них затейливые колокольчики с вкрадчивыми звуками времен состязаний трубадуров. Она не захочет признать поэзию дворянкой, а прозу мещанкой — она сделает и стихи и прозу равными по звучанию, полноте и силе. Не захочет она и вновь взять старых богов из могучих, как скалы, исландских саг! Те боги умерли, и у нового века нет к ним сочув-



ствия; они чужды ему! Не захочет она и приглашать своих современников отдыхать мыслью в вертепах французских романов. Не захочет и усыплять их «обыкновенными историями»! Она хочет поднести современникам жизненный эликсир! Песнь ее и в стихах и в прозе будет сжата, ясна и богата содержанием! Биение сердца каждой национальности явится для нее лишь буквою в великой азбуке мирового развития, и она возьмет каждую букву с одинаковой любовью, составит из них слова, и они ритмично польются в гимне, который она воспевает своему веку!

Когда же наступит это время?

Для нас, еще живущих здесь, на земле, не скоро, а для улетевших вперед — очень скоро.

Скоро рухнет китайская стена; железные дороги Европы достигнут недоступных культурных архивов Азии, и два потока культуры сольются! Они зашумят, может быть, так грозно, что мы, престарелые представители современности, затрепещем, почуяв наступление рагнарока, гибель старых богов. Но нам не следовало бы забывать, что эпохи и поколения человеческие должны сменяться и исчезать, что от них остаются лишь миниатюрные отражения, заключенные в рамки слова, которые и плывут по потоку вечности, словно цветы лотоса, говоря нам, что все эти поколения таких же людей, как и мы, только одетых иначе, действительно жили. Картина жизни древних евреев предстает со страниц Библии, греков — из «Илиады» и «Одиссеи», а нашей жизни? Спроси у Музы нового века, спроси у нее во время рагнарока, когда возникнет новая, преобразенная Гимле<sup>1</sup>.

Вся сила пара, всякое давление современности послужат для Музы рычагами! Мастер «Бескровный» и его юркие подручные, которые казались могучими господами нашего времени, явятся лишь слугами, черными рабами, украшающими залы, подносящими сокровища и накрывающими столы для великого празднества, на котором Муза, невинная, как дитя, восторженная, как молодая девушка, и спокойная, опытная, как матрона, высоко поднимет дивный светоч поэзии, этот бездонный сосуд — человеческое сердце, в котором горит божественный огонь.

---

<sup>1</sup> Гимле — по скандинавской мифологии, самая прекрасная и светлая из небесных обителей; во время рагнарока избегнет разрушения; предназначена для душ добрых и правдивых людей.

Привет тебе, Муза поэзии нового века! Привет наш вознесется и будет услышан, как бессловесный гимн червя, перерезанного плугом. Когда настанет новая весна, плуг опять пойдет взрезывать землю и перерезывать нас, червей, ради удобрения почвы для новой богатой жатвы, нужной грядущим поколениям.

Привет тебе, Муза нового века!







## ЛЕДЯНАЯ ДЕВА

### I

#### МАЛЫШ РУДИ



**А** теперь отправимся в Швейцарию и познакомимся с чудесной горной страной, где отвесные скалы поросли лесом; давайте заберемся на спящие взор снежные поляны и спустимся оттуда на зеленые луга, где шумливые речки и ручейки спешат, словно им страшно замешкаться и не успеть к морю, в котором положено исчезнуть навеки. Солнце греет долину, греет оно и тяжелые снежные глыбы на высотах, и с течением лет они сплавляются в сверкающие пласты льда, преобразаясь в грохочущие лавины и громогласящие ледники. Два таких ледника расположены у Шрекхора и Веттерхора в ущельях, неподалеку от горного городка Гриндельвальда; поглядеть на них любопытно, и ради этого летом сюда съезжается множество иностранцев; они проходят в ущелья через высокие заснеженные горы, проходят они сюда и долиной, и тогда они вынуждены несколько часов подниматься. Покуда они поднимаются, долина уходит все дальше вниз, и они видят ее словно бы с воздушного шара. Порой над ними, на вершинах гор,

словно плотные, тяжелые дымчатые гардины, повисают облака, а в долине, где раскидано множество бурых деревянных домиков, еще светит солнце, и зеленеющий в его лучах лоскуток становится совсем как бы прозрачным. Вода шумит, бурлит и бежит вниз, вода журчит и звенит наверху, кажется, что скалу обвивают серебряные ленты.

Вдоль дороги, ведущей в гору, стоят бревенчатые дома, перед каждым растет картофель, без него не обойтись: ртов за всякой дверью хватает, детишек полно, вот им и будет еда. Детишки выскакивают из любого домика и снуют вокруг иностранцев, пешком ли те пришли или в картах приехали; вся эта куча детей занята торговлей, они продают изящные резные домики вроде тех, что стоят в горах. И в дождь и в солнце ребячий рынок со своим товаром на месте.

Лет тому около двадцати здесь частенько видали, всегда, впрочем, поодаль от остальных ребят, маленького мальчика, который тоже торговал; он стоял с таким сосредоточенным видом и руки его так крепко сжимали норушку с товаром, словно он не хотел с ним расстаться; но именно из-за этой серьезности и из-за того, что мальчуган был совсем еще мал, его как раз и замечали и подзывали, и он зачастую торговал удачнее всех, сам не понимая почему. Чуть повыше, на горе, жил его дед, который и вырезал эти прелестные домики, и там у них в комнате стоял старый шкаф, где вдоволь было разной резьбы; были там и щипцы для орехов, и ножи, и вилки, и шкатулки с венками из листьев и скачущими сернами; всякий ребенок только бы радовался, глядя на них, но малыш — знали его Руди — с куда большим интересом поглядывал на старое ружье, висевшее под потолком; дед говорил, что ружье достанется ему, по сперва надо стать большим и сильным, иначе не сумеешь им пользоваться.

Как мальчик ни был мал, ему уже приходилось пасти коз, и если быть хорошим пастухом — значит скакать по горам как коза, то Руди был хорошим пастухом, он еще и повыше забирался, нравилось ему доставать с деревьев птичьи гнезда; лихой он был и отважный, а вот улыбался только у kloкочущего водопада или же внемля грохоту лавины. С другими детьми он никогда не играл; он бывал с ними, только если дед посылал с товаром, а Руди это не слишком любил, куда охотнее он бродил

в одиночку по горам или же сидел с дедом и слушал его рассказы о старом времени и о племени, жившем поблизости, в родном ему Мейрингене. Племя это жило тут не от сотворения мира, объяснял дед: оно было пришлое, а пришло с севера, где проживали его предки, которые звались шведами. Нужен все же кой-какой разум, чтобы такое понять, а Руди понимал, но еще больше ума он набирался у обитавших в доме животных. Там жила большая собака Айола, оставшаяся после отца Руди, да еще кот. Он сделал для Руди непомерно много уже тем, что выучил его лазанию.

— Залезем-ка на крышу, — говорил, бывало, кот, и все было ясно и понятно: ведь малое дитя, не умеющее говорить, превосходно понимает и кур, и уток, и кошек, и собак, их понимаешь ничуть не хуже, чем отца с матерью, надо только и впрямь быть младенцем. А тогда и дедушкина палка может заржать и превратиться во всамделишную лошадь с головой, копытами и хвостом. У некоторых детей такая понятливость держится дольше, чем у остальных, таких называют отставшими в развитии и говорят, что у них затянулось детство. Да мало ли что говорят!

— Залезем-ка, малыш, на крышу! — было первое, что понял Руди из кошачьих речей. — А насчет того, чтобы свалиться, это все фантазии: если не боишься, так и не свалишься. Пошли, ставь одну лапку сюда, другую туда! Цепляйся передними лапами! Гляди в оба и спину выгибай! Тут щель, так ты прыгай и крепко цепляйся, я так именно и поступаю.

И Руди тоже так поступал; вот он частенько и сидел с котом на гребне крыши, и на верхушках деревьев, и даже на краю скалы, куда кот не долезал.

— Выше! Выше! — говорили деревья и кустарники. — Видишь, как высоко мы забрались и как крепко держимся на самом откосе!

И Руди всходил на вершину, покуда солнце еще не встало, и там глотал свой утренний напиток — свежий, бодрящий горный воздух; напиток, изготовить который может один лишь господь, а людям дано только ознакомиться с рецептом, где сказано: свежий аромат горных трав и немного мяты и тмина с лугов. Все тяжелое вбирали в себя нависающие облака, ветер прочесывал их ело-

выми лесами, и от запаха хвои воздух становился еще чище и еще свежей. Его-то Руди и пил по утрам.

Солнечные лучи, благословенные отпрыски солнца, целовали его в щеки, а Головокружение было уже тут как тут, однако не смело приблизиться, и ласточки с дедушкиного дома, на котором было никак не меньше семи гнезд, летели к нему и его козам, щебеча: «И вы и мы! И вы и мы!» Они приносили приветы от домашних и



даже от двух кур, единственных птиц в доме, с которыми Руди, впрочем, не общался.

Как ни мал он был, ему уже пришлось попутешествовать и для такого малыша даже довольно далеко: родился он в кантоне Вале, и сюда его перенесли через горы; не так давно он пешком ходил к Штауббаху, который, словно серебряная вуаль, трепещет перед заснеженной, ослепительно белой сверкающей горой Девы — Юнгфрау. И в Гриндельвальде у большого ледника он тоже побывал, но это печальная история: там умерла его мать, и там, как говаривал дед, Руди утратил детскую веселость. Когда мальчонке и года не было, он, судя по письмам матери, чаще смеялся, чем плакал, а с тех пор, как побывал

в расщелине ледника, словно бы душу ему подменили; хоть дед и не много про то говорил, в горах всё знали в подробностях.

Отец Руди был, как известно, почтальоном; большая собака, что жила в доме, всегда сопровождала его в переходах через Симплон к Женевскому озеру. В долине Роны, в кантоне Вале, и теперь жили родные Руди с отцовской стороны, брат отца был храбрый охотник на косуль и прославленный проводник; чуть мальчику стукнул год, как он лишился отца, и мать решила вернуться с ребенком к своим родственникам на Бернское нагорье; отец ее прожил в нескольких часах пути от Гриндельвальда, был он резчик по дереву, и заработка ему хватало на жизнь. В июне пошла она с ребенком на руках вместе с двумя охотниками на косуль домой через Гемми, чтобы попасть в Гриндельвальд. Они прошли уже большую часть пути, перебрались через горный хребет и вышли на снежную равнину, уже видна была родимая долина и раскинувшиеся по ней знакомые домики; предстояла одна только трудность — перебраться через вершину большого ледника. Незадолго перед тем выпал снег, и расщелину, хотя и не доходившую до дна ложины, где шумела вода, однако же довольно глубокую, замело; молодая женщина с ребенком на руках поскользнулась, провалилась и пропала; не донеслось ни крика, ни вдоха, слышно было только, что плачет ребенок. Прошло больше часа, прежде чем два ее спутника сумели принести из ближайшего домика веревки и палки и, потратив немало сил, извлекли из расщелины, как им сперва показалось, два трупа. Они сделали все возможное, но к жизни удалось вернуть лишь ребенка, и у старого деда вместо дочери оказался в доме внук, малыш, который прежде больше смеялся, чем плакал, но теперь, казалось, и улыбнуться бы не сумел; преобразование свершилось, должно быть, в расщелине ледника, в волшебном ледяном мире, где, как верят швейцарские крестьяне, грешным душам пребывать до судного дня.

Словно бурный водопад, застывший стеклянными зеленоватыми пластами, ледник громоздит одну ледяную глыбу на другую, а внизу клокочет поток талого снега и льда. Глубокие ущелья и бескрайние пропасти — это чудесный хрустальный дворец, и живет в нем королева ледников — Ледяная дева. Она, убивающая и уничтожаю-

щ а я , — наполовину дитя воздуха, наполовину могущественная властительница вод; она быстрее лани подымается на заснеженные вершины высочайших гор, где самый искусный проводник, прежде чем сделать шаг, должен вырубить ступеньку, она переплывает бурную реку на тонкой сосновой ветке, прыгает с одной ледяной глыбы на другую, и ветер развеивает ее длинные белоснежные волосы и голубовато-зеленое одеяние, сверкающее подобно водам в глубинах швейцарских озер.

— Сотру в порошок! Не выпущу! Я тут хозяйка! — говорит она. — Украла у меня мальчика, красавца мальчика, которого я целовала, да вот не доцеловала до смерти. Опять он с людьми, он пасет в горах коз и лезет вверх, все выше, чтобы от всех уйти, да от меня-то не уйдет. Он мой, и я его достану.

Она уже и Головокружение молила исполнить ее просьбу. Ледяной деве в летнюю пору очень уж душно на лугах среди мяты, а Головокружению ведь не в тягость и подняться и нагнуться, и одному и втроем: у Головокружения много братьев, их целая стая. Ледяная дева выбрала самого сильного из всех, такого, что и в доме и па лоне природы дело свое справит. Сидят братцы на перилах или на парапетах, носят, как белки, по утесам, спрыгнут оттуда и на воздухе держатся, словно пловцы на воде, — так и увлекают обреченных в бездну. И Головокружение и Ледяная дева липнут к людям, как полипы ко всему липнут. Вот Головокружение и к Руди собралось пристать.

— Как же, пристанешь к нему! — говорило Головокружение. — Ничего не получается. Кот, подлец, научил его своим приемам. Есть в этом сыне человеческого какая-то сила, которая меня отстраняет, не могу достать мальчишку, даже если он над пропастью на ветке висит, а уж как бы я ему охотно пятки пощекотало или толкнуло, чтобы кубарем полетел. Да вот не выходит!

— Выйдет! — отвечала Ледяная дева. — У кого-то из нас двоих выйдет! У меня! У меня!

— Нет! Нет! — неслось по горам эхо церковного колокола, это была песня, это было слово, это был слитный голос всех других духов природы, нежных, добрых и любящих детей солнца. Каждый вечер повисают они над горными вершинами и простирают свои розовые крылья, которые, покамест солнце садится, пылают все красней

и красней, так что альпийские выси пламенеют. (Люди зовут это «альпийским заревом»). Когда же солнце заходит, они забираются на скалы, в белый снег, и спят, куда солнце опять не встанет, и тогда снова являются. Более всего им по душе цветы, мотыльки и люди, а из людей они особо отличали Руди.

— Не поймаете вы его! Не получите вы его! — говорили они.

— Мне и постарше и посильней ловить доводилось! — говорила Ледяная дева.

А дети солнца затягивали песню о страннике, у которого в бурю сорвало плащ и унесло вихрем.

— Ветер уносит покров, да не человека; вы, дети силы, его хоть и достанете, да не удержите. Он сильнее и вдохновеннее даже нас, духов! Он восходит выше солнца, нас породившего, он знает заповедное слово, чтобы повелевать ветрами и водами, и те ему служат и повинуются; за тяжелое вы взялись дело, за непосильное, а ему-то идти все выше.

Чудесен был хор, звучавший точно колокола!

И каждое утро солнечные лучи проникали сквозь маленькое окошко дедовского дома, падая на спящего ребенка. Дети солнца его целовали, они хотели отогреть, растопить, вытравить ледяные поцелуи девственной повелительницы ледников, полученные им, когда вместе с мертвой матерью он лежал в глубине ледяной расщелины, из которой спасся, пожалуй что, чудом.

## II НА НОВОЕ МЕСТО

И вот Руди стукнуло восемь. Дядя, живущий по ту сторону хребта, в долине Роны, пожелал взять малыша к себе; там легче было чему-нибудь выучиться, чтобы зарабатывать на жизнь. Дед признавал это и позволил мальчику уехать.

Пора было Руди отправляться. Но, и кроме деда, со многими надо было проститься, и прежде всего с Айолой, старой собакой.

— Твой отец был почтальон, а я — почтовая собака, — сказала Айола. — Мы с ним, бывало, и вверх и вниз хаживали; по ту сторону хребта я всех знаю — и собак и

людей. Тратить много слов не в моей натуре, но нынче, раз уж нам теперь долго не придется разговаривать, я хочу все же высказаться. Я тебе расскажу историю, о которой давно размышляю — мне все никак ее не осмыслить; у тебя это тоже не получится, да и не в том суть. Я из нее вот что извлекла: ничто в мире не разделено поровну ни между собаками, ни между людьми; не всем сидеть на ручках да лакать молоко! Сама-то я так не жила, но видала однажды, как молодой пес ехал в почтовой карете и занимал отдельное место. А его хозяйка, или, точнее, женщина, которой он был хозяином, везла с собой бутылку молока и все его поила и угощала пряниками, а он есть не желал, только все обнюхивал, а она за ним потом доедала. Я бежала рядом с каретой по грязи, голодная, как только собака может быть голодна, и меня грызла мысль, что не все тут ладно — да и мало где все ладно. Хорошо бы тебе сидеть на ручках да в экипаже ездить, только ведь этого своим трудом не добьешься; я вот не добилась, сколько ни выла, как ни брехала.

Таково было слово Айолы, и Руди обнял ее за шею, поцеловал ее влажную морду и взял на руки кота, но тот ошестинился.

— Хоть дружбе нашей и конец, не хочу пускать против тебя в ход когти. Лазай по горам — лазать-то я тебя выучил. Только никогда не думай, что сорвешься, и все будет в порядке! — И кот удрал: не мог же он допустить, чтобы Руди заметил печаль в его взоре.

Мимо прошли куры, одна была без хвоста — какой-то путешественник, возомнивший себя охотником, отстрелил ей хвост, приняв за хищную птицу.

— Руди решил жить за горами! — сказала курица.

— Вечно у него спешка, — сказала другая, — а я терпеть не могу прощаться. — И обе засеменяли прочь.

Он и с козами простился, и те заблели:

— Ме! Мы! Ме! — очень у них это вышло горестно.

В ту пору двум толковым проводникам надо было как раз перебраться на другую сторону Гемми, и Руди пешим ходом отправился с ними. Для такого малыша это был утомительный поход, но хватило у него и выдержки и сил, чтобы идти без устали.

Ласточки их немного проводили, распевая:

— И вы и мы, и вы и мы!

Дорога шла над бурливой Лючиной, вырывающейся



из черного ущелья гриндельвальдского ледника сотнями ручейков. Мостами служили опрокинутые стволы деревьев и каменные глыбы; дошли они до ольшаника и поднялись в гору в том самом месте, где ледник отделяется от скалы, а после двинулись по леднику, то обходя ледяные глыбы, то через них перебираясь; Руди карабкался по скалам, глаза его сверкали от счастья, и он так твердо ступал подбитыми железом горными ботинками, словно там, где он проходил, ему непременно надо было оставить след.

Горные потоки, намывая на поверхность ледника землю, вроде как покрывали его штукатуркой, но и сквозь нее просвечивало голубовато-зеленое стекло льда; приходилось обходить небольшие озера, таящиеся за торосами, случалось проходить и совсем рядом с огромным камнем, покачивающимся на краю расщелины, и камень вдруг терял равновесие, падал, катился, и эхо из глубоких ледяных ущелий отзывалось на его грохотанье.

Все выше они поднимались и выше; ледник тоже уходил ввысь, подобно неистовому потоку, внезапно застывшему ледяными глыбами меж крутых скал. Руди вспомнил, что когда-то, говорят, он лежал с матерью в глубине одной из этих обдающих морозным дыханием пропастей; но вскоре он отвлекся, и собственная история уже не выделялась среди других, которые довелось ему слышать. Когда мужчинам казалось, что подъем очень уж крут для мальчика, они протягивали ему руку, но он был вынослив и на скользком льду стоял не менее твердо, нежели косуля. Они шли вдоль подножия скалы, ступали по голым камням, проходили мимо низкорослых сосен и опять выбирались на зеленые поляны; все менялось кругом, все обновлялось, а над ними высились заснеженные горы, имена которых знает здесь каждый ребенок: Юнгфрау, Менх и Эйгер. Никогда еще Руди не забирался так высоко, никогда еще не видал он бескрайнего снежного моря, и вот оно простирало перед ним свои недвижные снеговые волны, с которых ветер сдувал порой белые клочья, словно пену с морских волн. Ледники тут стояли, если так можно сказать, рука об руку, и в каждом таился стеклянный дворец Ледяной девы, властью и волей которой вершились тут и расправа и погребение. Солнце сияло, снег слепил глаза, словно был осыпан сверкающими бело-голубыми алмазами. Несметные тьмы насекон-

мых, по преимуществу мотыльки и пчелы, лежали мертвыми на снегу: то ли они слишком высоко залетели, то ли ветер подымал их все выше, покуда они от холода не испустили дух. Над Веттерхорном, словно черный, искусно расчесанный клок шерсти, висело зловещее облако; оно опускалось и все ближе было то, что в нем таилось, готовое выплеснуться, — фён, неукротимый в своей ярости. Впечатления от этого путешествия — и дальний путь, и ночной привал в горах, и глубокие ущелья, где вода с незапамятных времен точит камень, — Руди никогда уже не мог забыть.

На другом берегу снежного моря стояла заброшенная каменная постройка, где можно было переночевать; там нашлись и сосновые ветки и древесный уголь; путники разожгли очаг и, как могли, расположились на ночь; мужчины сели у огня, они курили и пили теплый ароматный напиток, который сами приготовили; Руди тоже получил свою долю, и начался разговор о таинственных существах, живущих в Альпах, об огромных диковинных змеях, обитающих в глубинах озер, о скоплениях полночных призраков, во сне переносящих людей по воздуху в чудесный плавающий город Венецию, о диком пастухе, который гонит своих черных овец на луга, и пусть никто их не видал, все ведь слышали звон колокольчиков и зловещий рев стада. Руди слушал с интересом, но без боязни и, — он не ведал страха, и ему показалось, что он различает этот таинственный глухой рев. Да, рев становился все отчетливее, уже и мужчины его различали. Они прервали беседу, прислушались и велели Руди не засыпать.

Это подул фён, могучий ураган, врывающийся с гор в долину, сокрушающий деревья, словно тростинки, и переносящий строения с одного берега реки на другой, как мы переставляем шахматные фигуры.

Прошел час, и Руди сказали, что все миновало и можно спать; утомленный трудным походом, он заснул, как по команде.

Спозаранку они вышли в путь. В тот день солнце озарило для Руди новые горы, новые ледники и новые снежные равнины; они были уже в кантоне Вале, по другую сторону горного хребта, который виден из Гриндельвальда, но до нового жилья было еще далеко; иные ущелья, иные луга, леса и тропы предстали ему, явились иные дома, иные люди; и что за люди — сплошь уроды со

злобными, жирными, бело-желтыми лицами, и на шею у каждого торчит тяжелый, уродливый зоб; это были кретины, они едва передвигались и по-идиотски глядели на гостей; женщины выглядели особенно ужасающе. И с такими людьми придется жить?

### III Дядя

В доме у дяди, к которому он прибыл, жили, благодарение богу, такие же люди, каких он привык видеть; там был один лишь кретин, несчастный, слабоумный парень. Этим жалким созданиям, по их убогости и беспомощности, в кантоне Вале положено было жить по очереди месяца по два на попечении каждой семьи; бедняга Саперли жил как раз в доме дяди, когда Руди туда прибыл.

Дядя все еще был лихим охотником и, сверх того, знал толк в бочарном деле. Жена его оказалась крохотной подвижной женщиной с птичьим лицом, орлиными глазами и длинной, покрытой пушком шеей.

Все тут было для Руди ново — и наряды, и нравы, и привычки, и даже язык; впрочем, ребенку он вскоре стал понятен. Все тут выглядело не в пример богаче, нежели в доме деда. Жилая комната была больше, стены украшены рогами косуль и до блеска начищенными ружьями, над дверью висел образ божьей матери, а перед ним — свежие альпийские розы и заженная лампада.

Дядя, как уже говорилось, был в этом краю одним из самых умелых охотников и притом опытейшим проводником. Руди суждено было стать в его доме любимчиком; один любимчик там, впрочем, уже был — старый, ослепший и оглохший охотничий пес, который не мог, как бывало, ходить на охоту, но в доме не забывали его прежнее усердие, он считался как бы членом семьи, и жилось ему неплохо. Руди погладил пса, но тот не любил посторонних, а Руди был еще для него посторонним; правда, длилось это недолго, мальчик быстро нашел дорогу к сердцам.

— У нас в кантоне Вале не так уж худо! — говорил, бывало, дядя. — Серны покамест не вывелись, они вымирают помедленнее, чем каменные козлы. Нынче тут куда получше, чем в прежние времена. Хоть временам

этим и воздают с лихвой, в нашу-то пору получше будет, прорвали в мешке дыру, вот и просквозило долину, а то ведь со всех сторон заперта была.

— Новое всегда хорошо, если старое поизносилось, — говаривал он порой, и, когда бывал весел, рассказывал о своей юности и о годах, когда отец его еще был полон сил, а Вале, по его слову, — завязанным мешком со множеством несчастных, больных кретиннов. Да тут пришли французские солдаты — это уж были доктора что надо: разом болезнь истребили, и больных заодно. Уж насчет того, чтобы дать жару, они были мастера, они это на любой манер понимали, и девушки ихние не отставали. — Тут дядя подмигнул жене, по рождению французженке, и засмеялся. — Французы и по камню так давали, что ему не устоять было. Они пробили сквозь скалы Симплонскую дорогу, и теперь я трехлетнему дитяти могу сказать: «Отправляйся в Италию. Только держись большой дороги!» И дитя, если только с дороги не сойдет, до Италии доберется! — И дядя затянул французскую песню и закричал: — Да здравствует Наполеон Бонапарт!

Так Руди впервые узнал о француззах и о Лионе, огромном городе на Роне — дядя там бывал.

— За несколько лет Руди станет умелым охотником на серну, способности у него есть, — говорил дядя и учил мальчика держать ружье, целиться и стрелять; он брал его на охоту и велел пить теплую кровь убитой лани: кто ее пьет, у тех голова не закружится. Он открыл ему, в какую пору и с какой стороны ждть лавину — в обед или вечером, судя по тому, куда и как светит солнце; он советовал внимательно наблюдать за сернами и учиться у них прыгать, твердо удерживаясь на ногах; а если в ущелье не окажется опоры для ног, надобно упереться локтями, удержаться икрами и бедрами, и даже затылком, если придется, надо уцепиться. Серны не глупы, они выставляют дозорных, но охотник должен быть еще умней и заходить так, чтобы его не почуяли; он их и одурачить может — повесит куртку да шляпу на свою палку, вот и примут серны куртку за человека; этукую потеху дядя учинил однажды, когда они с Руди охотились.

Скалистая тропа была очень узка, да никакой тропы даже и не было, лишь едва заметный выступ над самой пропастью. Снег там наполовину растаял, порода крошилась, чуть на нее ступишь, поэтому дядя лег наземь

и пополз. Каждый камень, срывающийся с утеса, падал, ударялся, подпрыгивал и катился дальше, и так скакал с утеса на утес, покуда не затихал в черной глубине. Руди стоял шагах в ста от дяди, на последнем надежном уступе, и оттуда увидал, что над дядей парит могучий коршун, стремящийся взмахом крыла стряхнуть ползучего червя в пропасть и сделать своей добычей. Дядя смотрел только на серну да на козленка, показавшихся на той стороне ущелья, а Руди не спускал глаз с птицы, он понял, чего она хотела, и уже держал ружье наготове; серна вдруг отпрянула, дядя выстрелил, и животное сразила смертельная пуля, а козленок так прытко поскакал прочь, словно всю жизнь готовился бежать от опасности. Огромная птица, испугавшись выстрела, полетела дальше, но дядя ничего не заметил и только от Руди узнал, что ему угрожало.

И вот, когда они в чудесном настроении возвращались домой и дядя насвистывал песенку, памятную с детства, поблизости вдруг раздался странный звук; они огляделись, посмотрели ввысь и увидали, как там, на вершине, над откосом вздымается снежный покров, как он колышется, словно полотно на ветру. Снеговые гребни разламывались, точно надтреснутые мраморные плиты, и обращались в низвергающийся пенный поток, испускавший рокотание, подобное глухим раскатам грома; это шла лавина, валившая хоть и не прямо на Руди и дядю, но рядом, совсем рядом с ними.

— Держись, Руди! — закричал дядя. — Держись изо всех сил!

И Руди обхватил ствол ближайшего дерева, а дядя залез на ветку и крепко за нее держался, покамест лавина катила в отдалении, но воздушные волны, грозные плавники лавины, ломали и крушили окрест деревья и кусты, словно тростинки, и разбрасывали их далеко вокруг. Руди притиснуло к земле; ствол дерева, за который он ухватился, будто подпилили, крону его отшвырнуло далеко в сторону — там, среди поломанных веток, дядя лежал с размозженной головой, рука еще не остыла, но лица было не узнать. Руди стоял дрожащий и бледный; он впервые в жизни испугался, впервые довелось ему пережить миг ужаса.

Поздно вечером пришел он с печальной вестью домой, где отныне воцарилось горе. Жена дяди молчала, не

плакала, и лишь когда принесли покойника, боль ее излилась. Бедный кретин залез в постель, и весь день его не было видно; только под вечер подошел он к Руди.

— Напиши за меня письмо. Саперли не может писать, Саперли может письмо на почту снести!

— Письмо от тебя? — спросил Руди. — Кому же?

— Господу Христу.

— Кого ты имеешь в виду?

И полудурок, как они называли кретина, поглядел на Руди умиленным взором, сложил руки и торжественно и тихо вымолвил:

— Иисуса Христа! Саперли хочет письмо послать, попросить, чтобы это Саперли мертвый лежал, а не хозяин.

Руди пожал ему руку.

— Туда письма не доходят. Письмо нам его не вернет.

Тяжело было Руди объяснить эту невозможность.

— Теперь ты единственная наша опора! — сказала приемная мать, и Руди стал опорой семьи.

#### IV

#### БАБЕТТА

Кто в кантоне Вале стреляет лучше всех? Это всякая серна знает. Каждая скажет: «Остерегайся Руди!» А кто из стрелков красивей всех? «Конечно, Руди!» — говорят девушки, но уж они не скажут: «Остерегайся Руди!» Не скажут этого и почтенные их мамы — ведь он кланяется им столь же приветливо, сколь и молодым девушкам; он и смел и весел, щеки у него загорелые, зубы белые, сверкающие, глаза как уголья черные и полные огня, красивый он парень, и лет ему не больше двадцати. Ему и ледяная вода не страшна, он и в ней плавает, и притом чувствует себя в воде, как рыба, и как никто лазает по скалам, лепится к ним, точно улитка, такие у него мышцы и сухожилия; это и по прыжкам его видеть, — прыгать-то ведь его сперва кот учил, а после серны. Нет проводника лучше Руди, не сыскать другого, чтобы вполне на него положиться, он бы на этом мог целое состояние составить, а вот бондарная работа, которой дядя его тоже выучил, не пришлась ему по душе; его увлекала охота, она и денежки давала. Руди был, как говорится, хорошей

партией, только бы нос не вздумал задирать. На танцах о нем все девушки мечтали, а некоторые даже и во сне его видели.

— Он на танцах меня поцеловал, — сказала Анетта, дочка учителя, своей ближайшей подруге, хотя этого не следовало говорить даже и ближайшей подруге. Но трудно удержать такое в тайне, оно вырывается, как песок из дырявого мешка. И скоро стало известно, что Руди, такой приличный и порядочный, целуется на танцах, а он-то и поцеловал вовсе не ту, кого больше всего хотелось поцеловать.

— Будьте начеку! — сказал один старый охотник. — Он поцеловал Анетту — начал с буквы А, этак он скоро всю азбуку перецелует.

Один поцелуй на танцах — больше не о чем было сплетничать на его счет, и поцеловал-то Анетту, а ведь совсем не она была светом его души.

Неподалеку от Бе, на берегу бурной горной речушки, под огромными ореховыми деревьями жил богатый мельник; дом у него был большой, трехэтажный, с крохотными башенками, крытый сперва гонтом, а сверху листовым железом, которое сверкало на солнце и при луне. На самой высокой башенке блестел флюгер — стрела, пронзающая яблоко: это должно было напоминать о выстреле Телля. Мельница выглядела красиво и богато, словно нарочно, чтобы ее запечатлеть и описывать, но дочь мельника не удалось бы ни запечатлеть, ни описать — так, во всяком случае, казалось Руди, хотя в сердце его она запечатлелась: из глаз ее проникли туда столь жаркие лучи, что начался настоящий пожар, он вспыхнул неожиданно, как и всякий пожар, и самое удивительное было то, что дочь мельника, прелестная Бабетта, и понятия об этом не имела, они с Руди и двух слов не сказали.

Мельник был богат, и благодаря его богатству Бабетта занимала высокое положение, и добраться до нее было нелегко, но нет такой вершины, говорил себе Руди, до которой нельзя было бы добраться, надо только лезть вверх, а оттуда уже не свалишься, если думать об этом не будешь. Эту науку Руди еще дома постиг.

Надо было однажды Руди побывать по делу в Бе, а туда ехать — целое путешествие, железной дороги ведь еще не было. От ронского ледника к подножию Симплонских гор, меж крутых и отлогих хребтов, простирается

широкая долина Вале со своей могучей рекой Роной, которая часто выходит из берегов, все круша и затопляя поля и дороги. Между городами Сьоном и Сен-Морисом долина выгибается, вроде как рука в локте, и у Мориса становится до того тесно, что места хватает лишь для русла реки да узкой проезжей дороги. Охраняя кантон Вале, который здесь кончается, как часовой на горе, стоит старая башня и смотрит поверх каменного моста на другой берег, где помещается таможня. Там начинается кантон Во и сразу же будет город Бе. Это край изобилия и плодородия. Идешь словно по саду, везде каштаны и орех; куда ни глянь — высятся гранатовые деревья и кипарисы; тепло, как на юге, будто попал в Италию.

Руди пришел в Бе, справил свои дела и стал глазеть по сторонам, но даже и работники с мельницы, не говоря уже о Бабетте, не попадались ему навстречу. Не так все вышло, как должно бы.

Настал вечер, воздух дышал ароматом дикого тмина и цветущей липы, на поросшие зеленым лесом горы словно бы опустилась мерцающая голубоватая пелена; кругом стояла тишина, но то не была тишина сна или смерти, нет, природа, казалось, затаила дыхание, замерла, словно затем, чтобы сфотографироваться на голубом небосводе. Повсюду, среди деревьев и в открытом поле, стояли столбы, на которых висели провода телеграфа, проведенного через тихую долину; к одному столбу было прислонено что-то неподвижное, вроде бы высохшее бревно: это был Руди, притихший, как и всё кругом; он не спал и отнюдь не умер, но подобно тому, как вести об огромных мировых событиях или сообщения необычайной значимости для одного человека бегут по проводам, не выдающим этого ни дрожанием, ни даже звуком, точно так же и Руди пронзали пламенные мысли о счастье его жизни, в последнее время его не оставлявшие. Глаза его были прикованы к одной точке, едва различимой в листве, к огню, горевшему у мельника в доме, в комнате, где жила Бабетта. Руди стоял так тихо, что можно было подумать, будто он целится в серну, но в эти минуты сам он был подобен серне, которая порой на минуту замирает, точно высеченная из камня, перед тем, как внезапно, едва скатится камешек, прыгнуть и убежать; так встрепнулся и Руди — явилась мысль.



— Не надо унывать! — воскликнул он. — Надо пойти на мельницу! Здравствуйте, господин мельник, добрый день, Бабетта. Не упадешь, если думать об этом не станешь. Надо же Бабетте хоть раз меня увидеть, если я буду ее мужем.

И Руди улыбнулся, повеселел и отправился на мельницу, он знал, чего хочет, — он хотел жениться на Бабетте.

Река с шумом несла свои бело-желтые воды, над бушующим потоком нависли ивы и липы. Руди шел по тропке и, как поется в старой детской песенке, —

К мельнику явился в дом,  
Да хозяев не застал, —  
Побеседовал с котом.

Кошка стояла на ступеньках, выгибая спинку и говоря «мяу». Но для Руди ее речь не имела смысла, он постучался, никто не услышал, никто не отворил. «Мяу!» — сказала кошка. Будь Руди ребенком, он бы понимал язык животных и уразумел, что кошка сказала: «Никого дома нет». А так пришлось идти на мельницу, наводить справки; там он все и узнал. Хозяева уехали далеко, в город Интерлакен, «inter lacus» — «промеж озер», как втолковывал ему в школе учитель, отец Анетты. Вот как далеко был мельник, и Бабетта с ним вместе. Там нынче с утра началось состязание стрелков, и протянется оно восемь дней. Туда соберутся швейцарцы всех немецких кантонов.

Бедный Руди и впрямь неудачно выбрал день для визита в Бе, пришлось ему уходить ни с чем, что он и сделал, отправившись через Сен-Морис и Сьон к себе в горы, однако это его не обескуражило. Когда на следующее утро взошло солнце, хорошее настроение давно уже к нему вернулось, впрочем, оно никогда его и не оставляло.

«Бабетта в Интерлакене, в нескольких днях пути отсюда, — сказал он себе. — Путь туда далек, если идти по широкой большой дороге, но не так уж далек, если перевалить через горы, а это самая подходящая дорога для охотника на серну, этой дорогой я ходил уже прежде, она ведет ко мне на родину, туда, где я в детстве жил у дедушки, и к тому же в Интерлакене стрелковое состязание! Я хочу всех там победить, так же как хочу всех победить в сердце Бабетты, когда доведется с ней познакомиться!»

С легкой котомкой, куда он уложил свой праздничный наряд, с ружьем и ягдташем Руди отправился через горы кратчайшим путем, который был, однако, довольно длинен. Но это стрелковое состязание лишь началось и будет длиться еще неделю; все это время, как объяснили Руди, мельник с Бабеттой проведут у своих родных в Интерлакене; Руди пошел через Гемм — и он хотел выйти к Гриндельвальду.

Бодро и весело шагал он, вдыхая легкий, горный воздух. Долина уходила все ниже, горизонт отступал все дальше, вот снежная вершина, вот еще снежная вершина, и вот уже сверкающие белые хребты Альп. Руди знал каждую гору, он пошел к Шрекхорну, уткнувшему в небеса свой усыпанный белой пудрой каменный палец.

Наконец он перевалил через горы. Зеленые луга спустились в родную ему долину; дышать было легко, и на душе было легко; гора и долина блистали изобилием цветов и зелени, сердце переполняла уверенность юности: старости не будет, смерти не будет, надо жить, властвовать, наслаждаться. Он был свободен как птица, и легко ему было как птице. И ласточки порхали над ним и пели, как в детстве: «И мы и вы! И вы и мы!» Все парило и ликовало.

Внизу лежал зеленый бархатный луг, усеянный бурыми деревянными домишками, и воды Лючины шумели и гудели. Руди смотрел на ледник, зелеными стеклянными краями касавшийся грязного снега; заглядывал в глубокие трещины, поглядывал и на верхние и на нижние ледники; он слышал звон церковных колоколов, словно бы приветствовавших его возвращение на родину; сердце его билось сильнее и до того переполнялось, что Бабетте на какой-то миг даже не стало в нем места, так распирали сердце нахлынувшие воспоминания.

Он сызнова шел той самой дорогой, на которой, бывало, мальчиком стоял с другими детьми у края канавы, продавая резные деревянные домики. Там наверху, за соснами, все еще стоял дедушкин дом. Там жили чужие люди. По дороге бежали дети, они хотели что-нибудь продать, один протянул ему альпийскую розу. Руди принял это за добрый знак и подумал о Бабетте. Вскоре он был уже внизу и шел по мосту, висевшему над местом, где сливались два рукава Лючины; лиственных деревьев

становилось больше, ореховые роняли густую тень. И вот он увидел развевающийся флаг, белый крест на красном поле — цвета швейцарцев и датчан; перед ним был Ин-терлакен.

«Другого такого прекрасного города и нет», — подумал Руди. Швейцарский город в праздничном убранстве! Он не то что другие города, эти груды грузных каменных строений, тяжеловесных, неприветливых и высокомерных; нет, все здесь выглядит так, словно деревянные домики сами сбежали с гор в зеленую долину, к прозрачной стремительной речке и, один чуть впереди, другой чуть отступая, встали в ряд, образуя улицу, самую прекрасную на свете улицу; она, конечно, порядком выросла с тех пор, как Руди видал ее ребенком; ему казалось, что она составила из тех прелестных деревянных домиков, которые вырезал дед и которыми дома был полон шкаф, только они стали куда больше, как, впрочем, и старые каштаны. Каждый дом с резными наличниками на окнах, резьбой на балконе и выдающейся вперед крышей был гостиницей — так его называли, и был прелестен и грациозен; перед каждым была разбита клумба, глядевшая на широкую замощенную дорогу, дома стояли по одной стороне дороги, иначе они заслонили бы зеленую поляну, где паслись коровы с колокольчиками, звеневшими, словно на альпийских лугах. Поляна была окружена горами, которые как раз посредине расступались, так что была отчетливо видна сверкающая под снегом Юнгфрау, самая красивая из швейцарских гор.

Сколько там было нарядных господ и дам из чужих краев, сколько сошлось туда жителей из самых разных кантонов! У каждого стрелка в венке, надетом на шляпу, торчал номер его места в очереди стрелять. Слышались музыка и пение, шарманка и духовые, крики и шум. Дома и мосты были украшены стихами и эмблемами, развевались флаги и знамена, ружья стреляли одно за другим, и для ушей Руди это была самая лучшая музыка. В этой сумятице он совсем позабыл про Бабетту, ради которой сюда пришел.

Стрелки устремились к мишеням, и Руди вскоре оказался самым ловким, самым счастливым среди них, его пули ложились в самое яблочко.

— Кто этот неизвестный молодой охотник? — спрашивали кругом. — Он говорит по-французски, как в кан-

тоне Вале! Но и по-нашему, по-немецки он хорошо объясняется! — говорили некоторые.

— Он в детстве жил под Гриндельвальдом, — заметил кто-то.

Жизнь в парне кипела, глаза его сверкали, и взор и руки были уверенные, вот он и попадал в цель. Счастье прибавляет смелости, а смелости Руди и так хватало. Вскоре у него оказалось множество друзей, его чествовали, перед ним преклонялись, о Бабетте он и думать почти забыл. Вдруг чья-то тяжелая рука стукнула его по плечу и сиплый голос спросил по-французски:

— Вы из кантона Вале?

Руди обернулся и увидел толстого мужчину с красным убажренным лицом, это был богач мельник из Бе. Своим огромным телом он заслонил милую, изящную Бабетту, но она тотчас выглянула и сверкнула черными глазами. Богачу мельнику было приятно, что охотник из его кантона стреляет лучше всех и все его почитают. Руди и впрямь везло, те, ради кого он сюда шел и о ком тут почти что и позабыл, сами его отыскиали.

Когда земляки встречаются в чужом краю, они всегда узнают друг друга и заводят разговор. Руди стрелял так метко, что оказался первым на стрелковом празднестве, а у мельника было столько денег и такая хорошая мельница, что он был первым человеком дома, в Бе, поэтому мужчины пожали друг другу руки, чего они прежде никогда не делали. И Бабетта тоже доверчиво протянула Руди руку, и он так ее пожал и так поглядел, что девушка стала пунцовой.

Мельник рассказал о долгом пути, который они проделали, чтобы попасть сюда, и о больших городах, которые они видели; это было настоящее путешествие: они и пароходом плыли, и по железной дороге ехали, и в почтовой карете.

— Я прошел более коротким путем, — сказал Руди. — Я перевалил через горы. Нет таких дорог, по которым нельзя пройти.

— И шею себе свернуть, — сказал мельник. — Похоже, вы еще себе шею свернете, при вашей-то удали.

— Если думать об этом не будешь, то и не свалишься, — сказал Руди.

Родственники мельника в Интерлакене, у которых он с Бабеттой был в гостях, пригласили Руди к ним заглянуть,

ведь он же был из того же кантона, что их родные. Руди был рад этому приглашению, счастье ему благоприятствовало, как, впрочем, и всякому, кто полагается на самого себя и не забывает, что «господь дарует нам орехи, но колоть их за нас не станет».

И вот Руди сидел у родных мельника, словно тоже был членом семьи. Выпили за здоровье лучшего стрелка, Бабетта с ним чокнулась, и он ее поблагодарил.

Под вечер они все гуляли по чудесной дороге мимо нарядных гостиниц и старых ореховых деревьев, и столько там было людей и такая давка, что пришлось Руди дать Бабетте руку. Он сказал, что очень рад встретить жителей кантона Во. Во и Вале — добрые соседи. Он выказал свою радость столь сердечно, что Бабетта сочла нужным пожать ему руку. Они шли рядышком, словно давно уже были знакомы, и забавная она была, эта милая маленькая девушка!

«До чего легко ей удастся, — подумал Руди — подметить смешное и преувеличенное в платьях и манерах приезжих дам; и она это делала не затем вовсе, чтобы над ними поглумиться, — ведь это могли быть очень достойные и даже добрые, хорошие люди». Бабетта это понимала, потому что у нее крестная — англичанка, очень почтенная дама. Восемнадцать лет назад, когда Бабетту крестили, она жила в Бе и подарила Бабетте дорогую булавку, приколотую у девушки на груди. Крестная дважды написала, а в этом году они должны были повидаться здесь, в Интерлакене, с ней и ее дочерьми, которые, по мнению Бабетты, были уже старыми девами — ведь им было под тридцать, а ей восемнадцать.

Маленький ротик ни на миг не закрывался, и все, что Бабетта говорила, представлялось Руди необычайно важным, и он тоже рассказал то, что имел рассказать, — про то, как часто он бывал в Бе, как хорошо знает мельницу, как часто глядел на Бабетту, хотя она его, вероятно, никогда не замечала; и про то, как он в последний раз пришел на мельницу с мыслями, которых и выговорить не смеет, а она и ее отец были в отъезде, были далеко, но не так далеко, чтобы нельзя было перелезть через стену, преграждавшую путь.

Да, он сказал все это и сказал еще больше; сказал, что он ее любит и что пришел сюда только ради нее, а вовсе не ради стрелкового состязания.

Бабетта притихла — очень уж много открыл он ей сразу.

А покамест они шли, солнце опустилось за высокую скалистую стену, и Юнгфрау во всем великолепии и блеске стояла, окруженная зеленым венцом окрестных гор. Множество людей глядело на нее; и Руди с Бабеттой тоже глядели на эту красоту.

— Нет ничего красивее этого, — сказала Бабетта.

— Ничего, — сказал Руди и поглядел на Бабетту. — Завтра мне надо отправляться, — сказал он минутой позже.

— Приходи к нам в Бе, — прошептала Бабетта, — отцу это будет приятно.

## V

### НА ОБРАТНОМ ПУТИ

Ох, какую тяжесть пришлось Руди на себе тащить, когда на следующий день он шел через горы домой. У него было три серебряных кубка, два великолепных ружья и серебряный кофейник, который придется кстати, когда заведется свое хозяйство; но это было еще не самое драгоценное: нечто более драгоценное, более существенное нес он, или, вернее, несло его через горы. Погода, однако, была сырая, серая, скверная и дождливая; тучи, как траурный флер, повисли на горах, окутывая сияющие вершины. В лесу замирали последние удары топора, и стволы деревьев, издали казавшиеся тростинками, а вблизи превращавшиеся в тяжелые мачтовые сосны, катились по косягору. Лючина издавала свои монотонные аккорды, выл ветер, собирались тучи. Вдруг рядом с Руди зашагала молодая девушка; он не замечал ее раньше, пока она не оказалась совсем близко, она тоже хотела перебраться через горы. В глазах у нее была какая-то необычайная сила, взора от них не оторвать, а сами они удивительно ясные, глубокие, бездонные.

— А ты кого-нибудь любишь? — спросил Руди. Он думал теперь только о том, чтобы любить.

— Никого я не люблю, — отвечала девушка и засмеялась, но было видно, что она и словечка правды не скажет. — Незачем делать крюк! — продолжала она. — Нам надо взять левее, так будет ближе.

— К пропасти, конечно, ближе, — сказал Руди. — И с таким знанием дороги ты хочешь стать проводником?

— Я знаю дорогу, — сказала она, — и у меня голова на плечах, а ты потерял голову еще в долине; здесь, на высотах, надо помнить о Ледяной деве: говорят, она людей не очень-то жалует.

— Я ее не боюсь, — сказал Руди, — она меня не смогла удержать, когда я ребенком был, а теперь я не маленький, и подавно уйду.

А становилось все темней, хлынул дождь, и повалил снег, белый и блестящий.

— Дай мне руку, я помогу тебе подняться, — сказала девушка и коснулась его холодными как лед пальцами.

— Ты мне поможешь? — сказал Руди. — Я покамест не нуждаюсь в бабьей помощи, чтоб куда-нибудь залезть!

И, уходя от нее, он быстрее зашагал вперед. Вьюга обволокла его своей пеленой, ветер свистел, а за спиной слышались смех и девичье пение; странное оно было. Должно быть, это привидение из свиты Ледяной девы. Руди слышал о таких делах еще мальчиком, когда ночевал в горах, переходя в кантон Во.

Снег падал реже, облака остались внизу, он оглянулся — сзади никого, но он слышал смех и пение, и непохоже было, чтобы это смеялся и пел человек.

Когда Руди добрался наконец до самого высокого перевала, откуда горная тропа вела уже в долину Роны, он увидел в направлении Шамуни на чистой голубой полоске неба две светлые звезды, они сияли и сверкали, и он подумал о Бабетте, о себе, о своем счастье, и мысли эти его согрели.

## VI

### ВИЗИТ НА МЕЛЬНИЦУ

— Ну и роскошные вещи ты принес! — сказала старуха приемная мать, ее удивительные орлиные глаза вспыхнули, а тонкая шея стала чаще дергаться.

— Везет же тебе, Руди! Дай-ка я тебя поцелую, мальчик мой дорогой!

И Руди разрешил себя поцеловать, но по лицу его было видно, что он применяется к обстоятельствам, к небольшим домашним неудобствам.





— Какой ты красивый, Руди, — сказала старуха.

— Не выдумывай, — сказал Руди и засмеялся, но ему было приятно, что она так говорит.

— И опять я скажу, — сказала старуха, — везет же тебе.

— Тут ты, пожалуй, права, — сказал Руди и подумал о Бабетте.

Никогда еще не испытывал он подобной тоски по долине.

«Должно быть, они уже дома, — сказал он сам себе. Они уже два дня назад собирались быть дома. Надо сходиться в Бе!»

И Руди пошел в Бе и застал мельника с дочкой дома.

Его хорошо приняли и передали ему поклоны от родни из Интерлакена. Бабетта говорила не много, она стала совсем молчаливой, но говорили ее глаза. И Руди был этим совершенно удовлетворен. Мельник, который вообще-то любил поговорить сам — он привык, что его шутки и остроты вызывают смех, недаром же он богатый мельник, — на сей раз, казалось, предпочитал послушать Руди. А тот рассказывал об охотничьих приключениях, об опасностях и трудностях, которые подстерегают на скалистых утесах охотника за сернами, о том, как приходится перебираться по зыбким снежным выступам, какие вьюга налетит на краю скалы, и по неверным мосткам, какие она перекинет над пропастью. Руди выглядел очень храбрым, и меж тем как он рассказывал об охотничьей жизни, о мудрости косуль и об их отважных прыжках, о могучем фёне и о катящихся лавинах, глаза его сверкали; он ясно видел, что с каждой новой историей все больше располагает мельника к себе; особенно тому пришлось по вкусу рассказы о коршунах и бесстрашных королевских орлах.

Неподалеку отсюда, в кантоне Вале, есть орлиное гнездо, искусно свитое под нависающим краем утеса, а в гнезде — птенец, которого никак не достать. Недавно один англичанин предлагал Руди пригоршню золота, если тот согласится достать птенца живьем. «Но всему есть граница — сказал Руди. — Орленка не достать, глупо за это браться».

И вино лилось, и речь лилась, но вечер показался Руди очень коротким, хотя после первого посещения мельницы он воротился домой в полночь.

Какое-то время в окне еще горел свет, проникая сквозь зеленые ветви деревьев; на крышу из слухового окна вышла кошка, живущая в комнате, а по желобу пришла кошка, живущая на кухне.

— Знаешь, какая на мельнице новость? — спросила кошка, живущая в комнате. — Тайное обручение! Отец еще ничего не знает. Целый вечер Руди и Бабетта наступали под столом друг другу на лапы, они и на меня раза два наступили, но я не стала мяукать, чтобы не привлекать внимание.

— Я бы замяукала, — сказала кошка, живущая на кухне.

— Что пристало делать на кухне, не пристало делать в комнате, — сказала кошка, живущая в комнате. — Хотелось бы мне, однако, знать, что мельник скажет, когда узнает об обручении.

Да, Руди тоже хотелось бы знать, что скажет мельник, но долго дожидаться, покуда это выяснится, он не стал.

Несколько дней спустя над Роной, по мосту, соединяющему кантоны Вале и Во, громыхал омнибус, а в нем сидел Руди, как всегда веселый, предвкушая благословение, которое он получит нынче вечером.

А когда настал вечер и омнибус катил той же дорогой обратно, Руди опять сидел там, едучи домой, а на мельнице кошка, живущая в комнате, бегала с новостями:

— Эй ты, которая на кухне, слыхала? Мельник знает все! Хорошенький же это приняло оборот! Руди пришел сюда под вечер, и они с Бабеттой долго шушукались и шептались, стоя в коридоре у самой двери мельника. Я лежала у их ног, но они на меня и внимания не обращали. «Я иду прямо к твоему отцу, — сказал Руди, — у меня намерения честные». — «Пойти мне с тобой? — спросила Бабетта. — Ты будешь смелее». — «Я достаточно смел, — сказал Руди, — но если это будет при тебе, ему, хочешь не хочешь, придется быть полюбезнее». И они пошли. Руди при этом наступил мне на хвост! Руди ужасно неловок! Я крикнула «мяу!», но ни он, ни Бабетта и слушать не стали. Оба вошли, а я юркнула вперед и сразу прыгнула на спинку стула — откуда было мне знать, что тут Руди еще вытворит. Но мельник его сразу выдворил. Это было сделано недурно! За дверь, в горы, к сернам, пусть в них метит, а не в нашу Бабетту!

— Но что же они говорили? — спросила кошка, живущая на кухне.

— Что говорили? Всё говорили, что надо сказать, если идет сватовство. «Я люблю ее, она любит меня, и где хватает молока на одного, хватит и на двоих». — «Но она сидит для тебя слишком высоко, — сказал мельник, — она сидит на мешке с крупой, а крупа из чистого золота, и, сам понимаешь, тебе до нее не дотянуться!» — «Ничто не бывает слишком высоко, чтобы нельзя было дотянуться, если пожелаешь», — сказал Руди, очень уж он дерзкий. «Но ведь орленка ты не можешь достать, сам на днях говорил. А Бабетта сидит повыше!» — «Я достану их обоих», — сказал Руди. «Хорошо, я вручу тебе Бабетту, если ты вручишь мне живого орленка, — сказал мельник и засмеялся так, что слезы выступили у него на глазах. — А теперь, Руди, спасибо, что навестил, приходи завтра, дома никого не будет! Будь здоров, Руди!» И Бабетта тоже сказала ему «будь здоров!», но так жалобно, как котеночек, который еще слеп и не видит матери. «Даю слово, — сказал Руди. — Не плачь, Бабетта, я принесу орленка». — «И шею себе, надеюсь, свернешь, — сказал мельник, — так что мы от тебя избавимся». Вот это значит выдворить. Теперь Руди ушел, и Бабетта сидит и плачет, а мельник поет по-немецки — он выучил песню во время путешествия. Я не стану огорчаться, это ведь не поможет.

— Ну, надо все-таки сделать вид, что ты огорчена, — сказала кошка, живущая на кухне.

## VII

### ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

С горной тропы долетала песня, полная бодрости и благого духа. Это пел Руди. Он шел к своему другу Везинанду.

— Ты должен мне помочь. Мы еще Рагли прихватим. Мне надо достать орленка из-под края скалы.

— А пятна с луны ты сперва стереть не собираешься? Это столь же просто, — сказал Везинанд. — Ты, я вижу, сегодня развеселился.

— Так я ведь хочу жениться. Но довольно шутить. Ты должен знать, что у меня происходит.

Вскоре Везинанд и Рагли знали, чего Руди хочет.

— Отчаянный ты парень! — сказали о н и . — Тому не бывать. Шею себе свернешь!

— Кто про это не думает, тот не свалится, — сказал Руди.

За полночь пошли они с лестницами, канатами и шестами; дорога вела сквозь заросли по камням, каждую минуту готовым сорваться, все выше и выше, в ночную тьму. Внизу шумела вода,верху бежала вода, по небу плыли набухшие облака. Охотники приблизились к скалистому откосу, там было еще темней, каменные кручи почти смыкались, и лишь сквозь узкую щель вверх проглядывало небо; подле них и под ними простиралась пропасть, и в ее глубине бурлила вода. Все трое сидели тихо, намереваясь переждать утренние сумерки, когда орел улетит. Сперва надлежало покончить с ним, потом уже можно будет думать о том, чтобы схватить орленка. Руди замер и был безгласен, словно камень, на котором он сидел; держа ружье наготове, он не спускал глаз с верхнего разлома, где под нависающей скалой притаилось гнездо. Трое охотников долго ждали.

И вот высоко над ними возник резкий, свистящий звук, что-то огромное повисло в воздухе, заслоня свет. Едва орел вылетел из гнезда, на него были наведены два ствола; раздался выстрел, какое-то время простертые в воздухе крылья еще двигались, а после птица пошла вниз, словно желая заполнить всю расщелину своим телом и своими могучими крыльями и увлечь в своем падении охотников за собой. Орел упал на дно пропасти, и под ним затрещали деревья и кусты.

И тут началась настоящая облава; чтобы достать до гнезда, связали три самых длинных лестницы, поставили их на краю пропасти, на последней точке, за которой уже начинался откос, но до гнезда не достали. Оставался еще порядочный кусок до того места, где под нависшим краем утеса скрывалось гнездо, и этот кусок скалы был гладким, как стена. Посовещавшись, пришли к тому, что ничего не придумать лучше, нежели сбросить сверху в ущелье еще две лестницы, связав их хорошенько, чтобы потом прикрепить к тем трем. С трудом втащили эти лестницы на самый верх и там их связали: лестницы перекинули за выступающий край скалы, и они повисли, качаясь над пропастью; вскоре Руди уже стоял на нижней ступеньке. Было морозное утро. Над черным ущельем

подымался густой туман, Руди сидел, как муха на зыбкой соломинке, которую птица, сооружая гнездо, обронила на фабричную трубу. Но если соломинка сломается, муха может улететь, а Руди мог только свернуть себе шею. Ветер свистел, и в пропасти шумела вода, сбегавшая с таявшего ледника, дворца Ледяной девы.

Теперь, как паук, который хочет что-то зацепить своей длинной качающейся нитью, он привел лестницу в движение и, когда в четвертый раз задел верхушку лестницы, подымавшейся снизу, схватил ее. Твердой и сильной рукой привязал он эту лестницу к той, на которой стоял, и все же обе они шатались, точно дверь на ослабевших петлях.

Пять длинных лестниц, достигших гнезда, отвесно свисая вдоль стены утеса, казались тростинкой. Оставалось самое страшное: надо было лезть как кошка, но Руди это умел, кот его выучил. Он не ощущал Головокружения, которое шло за ним по воздуху и тянуло к нему свои руки, подобные полипам. Теперь он сидел на самой верхней ступеньке, и тут заметил, что этого еще мало, чтобы заглянуть в гнездо, — он мог только дотянуться до него рукой; он попробовал, насколько крепко держатся толстые переплетающиеся ветви, образующие низ гнезда, и, сыскав неподвижную, подтянулся на ней над лестницей; теперь его грудь и голова оказались над гнездом, и в нос ему ударил удушающий запах падали — внутри лежали разлагающиеся ягнята, косули и птицы. Головокружение, которое не могло с ним совладать, дышало ему этими ядовитыми испарениями в лицо, надеясь его одурманить, а внизу, в черной зияющей глубине, над бегущей водой сидела Ледяная дева со своими длинными зелено-белыми волосами, обратив к нему, как два ружейных ствола, свои смертоносные глаза.

«Теперь я тебя поймаю!»

В углу орлиного гнезда он увидел большого и сильного птенца, еще не умеющего летать. Не спуская с него глаз и держась изо всех сил одной рукой, другой он набросил силок на юного орленка. Орленок был пойман живьем; ноги его опутала веревка, и Руди перекинул силок с птицей за спину, так что силок висел под ним, покамест Руди, спускаясь с помощью брошенной ему веревки, не коснулся носками верхней ступеньки лестницы.

Держись твердо! Не думай, что свалишься, и никогда не свалишься! Таково было старое правило, и Руди следовал ему: он держался твердо, лез вверх, был убежден, что не упадет, и в самом деле не падал.

И вот зазвучала песня, сильная и радостная. Руди стоял на твердыне скалы, держа орленка.

## VIII

### КАКИЕ НОВОСТИ МОГЛА РАССКАЗАТЬ КОШКА, ЖИВУЩАЯ В КОМНАТЕ

— Получайте, что хотели! — сказал Руди, когда вошел к мельнику в Бе, поставил на пол большую корзину и снял платок. Показались два желтых, подведенных черным глаза, таких сверкающих, таких диких, словно они хотели спалить и пожрать все, что видели; короткий могучий клюв раскрылся, красная шея была покрыта пухом.

— Орленок! — воскликнул мельник.

Бабетта закричала и отпрянула, но не могла отвести взор ни от Руди, ни от орленка.

— Ты себя запугать не даешь! — сказал мельник.

— А вы зато твердо держите слово, — сказал Руди, — каждому свое.

— Почему же ты не свернул себе шею? — спросил мельник.

— Крепко держался. — ответил Руди. — Я теперь всегда буду так. Я Бабетту крепко буду держать.

— Сперва надо ее получить, — сказал мельник и засмеялся.

Бабетта знала, это был хороший знак.

— Давайте достанем орленка из корзины. Страшно смотреть, как он глаза таращит. Как ты его поймал?

Руди пришлось рассказать, и глаза у мельника делались все больше.

— С твоим мужеством и везением ты и трех жен прокормишь, — сказал мельник.

— Спасибо, спасибо вам! — воскликнул Руди.

— Впрочем, Бабетта покамест еще не твоя, — сказал мельник и шутя стукнул молодого охотника по плечу.

— Знаешь, какие на мельнице новости? — сказала кошка, живущая в комнате, кошке, живущей на кухне. —

Руди принес нам орленка и взамен получает Бабетту. Они целовались, не прячась от отца. Это все равно что обручение. Старик уже не брыкался и когти припрятал, после обеда лег поспать, а их оставил нежничать. Им столько надо сказать друг другу, что они и к сочельнику не кончат.

Они и в самом деле не кончили к сочельнику. Ветер кружил бурую листву, долину и горы заметало снегом. Ледяная дева сидела в своем огромном дворце, который зимой становится еще больше. На стенах утесов, где летом, низвергаясь водяной завесой, струятся горные потоки, повис ледяной покров и торчали саженные сосульки, подобные слоновьим бивням. Гирлянды фантастических ледяных кристаллов сверкали на усыпанных снегом соснах. Ледяная дева вместе с воющим ветром носилась над долиной. Снежный покров простирался до самого Бе, и Ледяная дева могла туда добраться и увидеть, что Руди теперь сидит в доме куда дольше обычного, ведь сидит он там с Бабеттой. Летом собирались сыграть свадьбу, и у них звенело в ушах от дружеских толков на сей счет. На мельнице сияло солнце, там цвела прекраснейшая альпийская роза — веселая, улыбающаяся Бабетта, красивая, как весна, с наступлением которой все птицы станут петь о лете и о дне свадьбы.

— Как это они могут столько сидеть, клонясь головами друг к другу? — сказала кошка, живущая в комнате. — Довольно уже с меня их мяуканья!

## IX

### ЛЕДЯНАЯ ДЕВА

Весной расцвели пышно-зеленые гирлянды ореховых и каштановых деревьев, особенно пышны они были от моста у Сен-Мориса до берегов Женевского озера, вдоль дороги, тянувшейся по Роне, выносившей свое могучее течение из-под зеленого ледника, ледяного дворца, где жила Ледяная дева, того дворца, откуда она вместе с быстрым ветром выбегает на заоблачные снежные равнины, чтобы полежать на солнышке, утопая в снеговой перине. Сидит она там, и зоркие очи ее глядят на долину, по которой, точно муравьи по озаренному солнцем камню, деловито снуют люди.

— Эй вы, избранники духа, как именуют вас дети солнца! — сказала Ледяная дева. — Черви вы ползучие! Прокатится снежный ком и сокрушит и опустошит ваши грады и дома! — И она еще выше подняла голову и поглядела напоенным смертью взором и вверх и вниз. Но снизу доносился грохот, скалы раскалывались. Это было дело рук человеческих! Это прокладывали туннель для железной дороги!

— Кротоми заделались! Проходы пробивают — вот стрельба отчего. Кабы я свои дворцы стала двигать, стоял бы грохот почище грома небесного!

Над долиной курился дым, тянувшийся подобно развешивающейся вуали: это был плюмаж паровоза, влекущего по новопроложенному пути поезд — извивающуюся змею, сочленениями которой были вагоны. Поезд несся как стрела.

— Эти избранники духа, — сказала Ледяная дева, — изображают владык. Но власть природы превышает их власть. — И она засмеялась, запела, и над долиной зазвенел ее голос.

— Лавина покатилась, — говорили люди.

Но дети солнца еще громче пели о человеческой мысли, власть которой огромна: она укрощает море, двигает горы, заселяет долины, мысль человеческая повелевает силами природы. В эту пору на снежную равнину, где нежилась Ледяная дева, вышла группа путешественников; люди привязались друг к другу канатами, образуя на скользком льду у края пропасти как бы единое тело.

— Черви вы ползучие! — сказала Ледяная дева. — Еще хотите властвовать над природой! — И она отвернулась и с презрением поглядела на долину, где пыхтел паровоз.

— Вот они где сидят, умники! Они сами во власти силы! Я вижу их всех: один сидит в стороне, надменный, как король. А вон их целое скопище. Половина спит. А когда пышущий паром дракон остановится, все вылезут, и каждый побежит своей дорогой. Разбегутся умники по земле. — И она захохотала.

— Опять катит лавина, — говорили внизу, в долине.

— Нас-то ей не достать, — сказали двое из сидевших на спине пышущего паром дракона. Эти двое были единая, как говорится, душа. Это были Руди и Бабетта, и мельник был тут же.



— Я тут в качестве багажа. — говорил он, — как неизбежное зло!

— Вот тоже пара! — сказала Ледяная дева. — Много косуль я погубила, миллионы альпийских роз переломала и самые корни их вытравила. Я их истреблю, этих умников, этих избранников духа. — И она захохотала.

— Опять катит лавина! — говорили внизу, в долине.

## Х

### КРЕСТНАЯ

В Монтре, небольшом городке, который вместе с Клараном, Ферне и Креном образует гирлянду, опоясывающую северо-восточный берег Женевского озера, жила Бабеттина крестная, знатная англичанка, с дочками и одним молодым родичем. Они только еще приехали, но мельник их уже посетил и рассказал о Бабеттином обручении, о Руди, об орленке, о посещении Интерлакена — короче говоря, рассказал всю историю. Им она пришлось по душе, и они почувствовали расположение к Руди, к Бабетте и к самому мельнику. Надо было с ними со всеми повидаться, и вот мельник, Бабетта и Руди ехали туда. Бабетта должна была повидать крестную, а крестная — Бабетту.

От расположенного на берегу Женевского озера городка Вильнева отправляется пароход, который за полчаса оказывается в Ферне, лежащем чуть ниже Монтре. Здешний берег воспет поэтами; под ореховыми деревьями у зелено-голубого озера сидел, бывало, Байрон, слагая звучную поэму об узнике, заточенном в угрюмый Шильонский замок. Там, где в воде отразился Кларан со своими печальными ивами, бродил Руссо, размышляя об Элоизе. Рона струит свои воды мимо высоких, одетых снегом савойских вершин; неподалеку от ее устья лежит островок, такой маленький, что с берега кажется, будто это челнок. Это утес. Какая-то дама лет сто назад приказала укрепить его камнями, обложить дерном и посадила там три акации, которые своей тенью одевают теперь весь островок. Бабетту поразил этот лоскуток земли, он был, на ее взгляд, самым прекрасным из всего, что они увидели за время путешествия. «Надо бы там побывать, обязательно надо бы там побывать, необыкновенно приятно

было бы там побывать», — подумала она. Но пароход прошел мимо и, как положено, прибыл в Ферне.

Отсюда небольшое общество двинулось в гору; дорога шла между белыми, озаренными солнцем стенами, ограждавшими виноградники, разбитые близ Монтре, где фиговые деревья роняют тень на крестьянские дома и в садах растут лавр и кипарис. На полпути до вершины находился пансион, в котором жила крестная.

Встретили их как нельзя более радушно. Крестная оказалась высокой приветливой дамой с круглым улыбающимся лицом; в детстве, должно быть, ее головка походила на Рафаэлева ангелочка, теперь же это была голова постаревшего ангела с пышными седыми волосами. Дочки были изящные, изысканные, длинные и стройные. А у молодого кузена, находившегося при них и с головы до ног одетого в белое, были рыжие волосы и такие же бакенбарды, до того огромные, что их хватило бы на троих джентльменов; он сейчас же обратил на маленькую Бабетту пристальное внимание.

Роскошно переплетенные книги, ноты и рисунки были раскиданы по столу; через открытую балконную дверь виднелось прекрасное, простирающееся вдаль озеро; оно было такое ровное и тихое, что савойские горы с городами, лесами и снежными вершинами, опрокинувшись, отражались в нем, как в зеркале.

Руди, обычно столь бодрый, жизнерадостный, непосредственный, был там, как говорится, не в своей стихии. Он двигался так, словно ступал по гороху, рассыпанному на скользком полу. Как медленно шло время! Он был как на каторге! А тут еще отправились гулять. И все шло тоже до крайности медленно. Руди приходилось делать два шага вперед и шаг назад, чтобы не отбиться от остальных. Они спустились к старому сумрачному Шильонскому замку на скалистом островке, поглядеть на кол для пыток и тюрьму для смертников, на ржавые цепи в каменных стенах, на каменные нары для приговоренных к смерти, на люк, сквозь который несчастных вываливали на железные зубья, торчавшие из пены прибоя. Видеть это почиталось за удовольствие. Место казни было вознесено поэмой Байрона к вершинам поэзии. Но Руди все равно чувствовал, что это место казни; он облокотился на широкий каменный подоконник и глядел вниз, на глубокие зеленовато-голубые воды, и дальше — на одинокий

маленький островок с тремя акациями: вот бы ему туда, подальше от этой болтливой компании! Но Бабетта была необыкновенно весела. Ей было очень приятно, сказала она потом, а кузена она сочла очень порядочным человеком.

— Балбес он порядочный! — сказал Руди, и это был первый случай, когда ей не понравилось то, что он сказал. Англичанин подарил ей на память о Шильоне книжечку — французский перевод поэмы Байрона «Шильонский узник», чтобы Бабетта могла ее прочесть.

— Книга, может, и недурна, — сказал Руди, — но этот прилизанный шалопад, который ее подарил, мне не по душе.

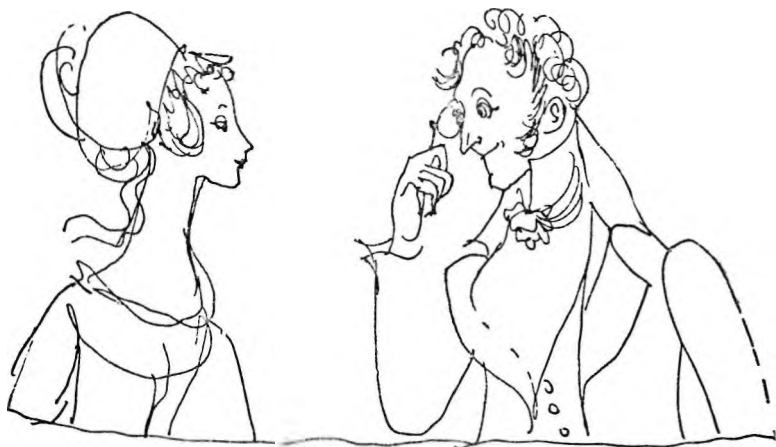
— Он выгладит, как мешок без муки, — сказал мельник и засмеялся собственной остроте. Руди тоже засмеялся и заметил, что это удачно и точно сказано.

## XI

### КУЗЕН

Когда несколько дней спустя Руди пришел на мельницу, он застал молодого англичанина там. Бабетта как раз угощала его вареной форелью, которую обложила листьями петрушки, чтобы рыба выглядела аппетитнее. Все это было отнюдь не обязательно. Чего англичанин добивался? Что ему здесь было нужно? Чтобы Бабетта ему угождала и его угощала? Руди ревновал, и Бабетте это доставляло удовольствие; ей приятно было постигать все стороны его души — и сильные и слабые. Любовь еще была для нее игрой, и она играла сердцем Руди, хоть он и был, надо это признать, ее счастьем, единственным смыслом ее жизни, лучшим и прекраснейшим на свете. И все же, чем он становился угрюмее, тем веселее сверкали ее глаза; она не остановилась бы и перед тем, чтобы поцеловать белокурого англичанина с рыжими баками, если бы Руди из-за этого в бешенстве ринулся прочь: ведь именно это показало бы ей, как сильно он ее любит. Это, конечно, нехорошо и неумно со стороны маленькой Бабетты, но ведь было-то ей всего-навсего девятнадцать лет. Она не думала ни о чем, и меньше всего о том, что ее поведение может показаться молодому англичанину куда более дерзким и легкомысленным, нежели это причисляет честной дочери мельника, к тому же обрученной.

Мельница стояла на дороге, которая шла из Бе мимо покрытых снегом скалистых вершин, именуемых на местном диалекте Бесорожем, неподалеку от бурного горного ручья, пенящегося как мыльная вода. Мельницу, однако, вертел не он; большой жернов вращал по преимуществу маленький ручей, сбегавший со скал по другую сторону реки; пройдя сперва по каменной трубе, он набирал силу, выбивался вверх и тек по широкому закрытому деревян-



ному желобу, перекинутому над бурной рекой. Желоб до того переполнялся водой, что она вытекала, но и этот мокрый, скользкий путь все же мог прельстить того, кому хотелось поскорей добраться до мельницы; такая идея и пришла молодому англичанину. Весь в белом, точно работник с мельницы, он пополз вечером по желобу, ориентируясь на свет из Бабеттина окошка. Лазанью он был не обучен, так что чуть не упал в реку, но обошлось мокрыми рукавами и замызганными брюками. Промокший и грязный явился он к Бабеттину окну, залез на старую липу и стал кричать совой; подражать другим птицам он не умел. Бабетта услышала крик и глянула сквозь тонкую занавеску наружу, но, увидав человека в белом, поняла, кто это может быть, и сердце ее забилося от страха, но также и от негодования. Она тотчас погасила свечку,

убедилась, что окно заперто на все задвижки, и представила англичанину и дальше кричать и выть.

Ужасно было бы, если бы в это время на мельнице оказался Руди, но Руди на мельнице не было, вышло, однако, еще хуже — он стоял под окном. Началась громкая, гневная перепалка, назревала драка, того и гляди дойдет и до убийства. Бабетта в страхе открыла окно, позвала Руди и попросила его уйти; она сказала, что не может допустить, чтобы он тут оставался.

— Ты не можешь допустить, чтобы я оставался? — крикнул он. — Стало быть, вы сговорились! Ты поджидаешь доброго дружка, получше меня. Стыдись, Бабетта!

— Ты отвратителен! — сказала Бабетта. — Я тебя ненавижу! — И она зарыдала. — Уходи, уходи!

— Я такого не заслужил, — сказал он и ушел, щеки его пылали, и сердце его пылало.

Бабетта бросилась на кровать и заплакала:

— Я так тебя люблю, Руди! А ты можешь обо мне так плохо думать!

И она разозлилась, страшно разозлилась, но это было для нее хорошо, иначе горе было бы очень уж глубоким, а так она сумела заснуть здоровым сном, свойственным юности.

## XII

### ЗЛЫЕ СИЛЫ

Руди покинул Бе и отправился домой, он стремился в горы, туда, где свежий морозный воздух, где лежит снег и властвует Ледяная дева. Далеко внизу остались лиственные деревья, похожие на картофельную ботву; сосны и кусты становились все ниже, альпийские розы росли прямо на снегу, пятна которого стлались, как полотно в белильне; голубела горечавка, Руди смял ее прикладом.

Наверху показались две косули. Глаза у него заблестели, мысли обрели новое направление, но он был еще слишком далеко, чтобы выстрелить наверняка. Он поднялся выше, туда, где меж камней росла одна жесткая трава; косули спокойно ходили по снежной равнине. Он прибавил шагу, кругом клубились облака, спускался туман, и Руди вдруг уткнулся в отвесную каменную стену. Хлынул дождь.

Он почувствовал сильную жажду, жар в голове и холод во всем теле; потянулся за фляжкой — она была

пуста: торопясь в горы, он о ней не подумал. Прежде он никогда не болел, но сейчас испытывал недомогание; он устал, хотелось повалиться и заснуть, но кругом бежала вода; он попытался собраться. Порой у него начинало дрожать перед глазами, и вдруг он заметил то, чего никогда здесь прежде не видал — новенький низенький домик, прилепившийся к скале, а в дверях стояла молодая девушка; ему показалось, что это Анетта, дочка учителя, которую он однажды поцеловал на танцах, но была это вовсе не Анетта, и все же он видал ее прежде — не в Гриндельвальде ли, когда возвращался вечером из Интерлакена со стрелкового состязания?

— Как ты сюда попала? — спросил Руди.

— Я здесь живу. Пасу свое стадо!

— Твое стадо? Где же оно пасется? Здесь только снег да скалы!

— Много ты знаешь! — сказала она и засмеялась. — Здесь внизу, чуть пониже, прекрасный луг. Там и пасутся мои козы. Я уж их стерегу. Ни одна не пропадет: что мое, при мне останется.

— Ты, я вижу, храбрая, — сказал Руди.

— Ты тоже, — ответила она.

— Дай молока, если у тебя есть. Пить хочется — мочи нет!

— Есть у меня кое-что получше молока, — сказала она. — Тут вчера были путешественники с проводником и оставили полбутылки вина, ты такого не пробовал. Они за вином не вернутся, я его не пью, так что выпей.

И она принесла вино, налила в деревянную чашу и подала Руди.

— Чудесно! — сказал он. — Никогда не пивал такого обжигающего вина! — Глаза его загорелись, жизнь и бодрость вернулись, а все печали и невзгоды словно испарились, опять пробудились бодрость и силы души.

— А ты все-таки Анетта, дочка учителя! — воскликнул он. — Поцелуй меня!

— Изволь, только отдай мне колечко, которое носишь на пальце.

— Мое обручальное кольцо?

— Ну да, — сказала девушка, налила в чашу вина, поднесла к его губам, и он выпил. Радость жизни заиграла у него в крови, весь мир, казалось, принадлежал ему, и огорчаться было нечего. Все сущее создано, чтобы нам на-

слаждаться, чтобы нам быть счастливыми! Река жизни — это река радости. Погрузиться в нее, отдаться ей — вот блаженство! Он поглядел на молодую девушку; это была Анетта и все же не Анетта, однако же и никак не привидение, как называл он ту, кого встретил у Гриндельвальда. Эта девушка здесь, в горах, была свежа, как только выпавший снег, пышна, как альпийская роза, легка, точно козочка, и все же сотворена была из Адамова ребра; она, как и Руди, была человеком. Он обхватил ее, глянул в ее дивные, ясные глаза; это длилось одно лишь мгновение, а вот подите объясните, выразите это словами — было ли то, что он испытал, воскрешением духа или смертью, возносился ли он ввысь, или погружался все глубже и глубже в мертвенную ледяную пасть: он видел ледяные стены зеленоватого стекла, вокруг зияли бездонные пропасти и, звеня, как колокольчик, стекала чистая, как жемчуг, вода, светившаяся голубым пламенем. Ледяная дева поцеловала его, и весь он до мозга костей ооченел, он закричал от боли, рванулся, пошатнулся и упал, у него потемнело в глазах, но он раскрыл их снова. Злые силы свое сделали.

Альпийская девушка исчезла, низенький домик исчез, вода текла по нагой скале, и кругом лежал снег. Руди дрожал от холода, он промок до нитки, и пропало кольцо, обручальное кольцо, которое ему дала Бабетта. Ружье лежало рядом на снегу, он взял его, хотел выстрелить — оно дало осечку. Набрякшие облака, словно снежные валы, спускались в ущелье, там сидело Головокружение, карауля ослабевшую жертву, а в глубине ущелья грохотало, словно рушилась скала, жаждавшая раздавить и унести в бездну все, что ни попадетя.

А на мельнице плакала Бабетта. Руди не являлся уже шесть дней, но ведь неправ был он, ему бы прощенья попросить — ведь она же его любит всем сердцем.

### ХIII

#### НА МЕЛЬНИЦЕ

— От людей все-таки ничего, кроме бессмыслицы, не дожدهшься! — сказала кошка, живущая в комнате, кошке, живущей на кухне. — У Руди с Бабеттой все теперь разладилось. Она плачет, а он о ней и не думает!

— Мне такое не по душе! — сказала кошка, живущая на кухне.

— Мне тоже, — сказала кошка, живущая в комнате, — но близко к сердцу я принимать это не стану! Бабетта ведь может стать невестой рыжих бакенбард. Он, правда, тоже не показывается с тех пор, как намеревался залезть на крышу.

Злые силы делают свое и вокруг нас и внутри нас. Руди это познал на собственной шкуре и призадумался; что происходило тогда на горе с ним и в нем? Было ли то наваждение, или он бредил в лихорадке? Никогда прежде не бывало у него ни лихорадки, ни других болезней. Осуждая Бабетту, он заглянул и себе в душу. Он подумал о неукротимой буре, бушевавшей у него в сердце, о диком фёне, который рвался оттуда. Готов ли он открыться Бабетте во всем, исповедаться в каждой мысли, которая в минуту искушения могла обратиться в реальность? Колечко ее он потерял, и благодаря этой потере она вновь обрела возлюбленного. А могла ли она ему исповедаться? Когда он думал о ней, казалось, что сердце рвется на части, столько вставало воспоминаний. Он словно бы видел ее перед собой, любящее, веселое, озорное дитя, и множество нежных слов, слетавших с ее уст от полноты сердца, согревали ему грудь, как солнечные лучи, и вскоре при воспоминании о Бабетте он видел лишь солнечный свет.

Да, она могла перед ним исповедаться, и она это делает.

Он пришел на мельницу, и дошло до исповеди: она началась с поцелуя и кончилась тем, что Руди кругом виноват; величайший его грех состоял в том, что он мог усомниться в Бабеттиной верности, это было с его стороны отвратительно. Подобная недоверчивость, подобная вспыльчивость могли повергнуть их обоих в беду. Ну разумеется! И потому Бабетта прочла ему проповедь, которая ей самой понравилась и к тому же впрямь была в ее устах прелестна. Но в одном Руди прав: родич крестной — балбес; она хотела сжечь книгу, которую он подарил, — пусть не останется даже и малости, чтобы ей о нем напоминать.

— Теперь все наладилось! — сказала кошка, живущая в комнате. — Руди опять здесь, они поняли друг друга, а это, они уверяют, и есть величайшее счастье!



— Я слышала нынче ночью от крыс, — сказала кошка, живущая на кухне, — что величайшее счастье грызть соевые свечи и вдоволь иметь прогорклого сала. Кому же верить — крысам или влюбленным?

— Ни тем, ни другим, — сказала кошка, живущая в комнате. — Так всего безопасней!

Величайшее счастье для Руди и Бабетты еще только должно было начаться. Они ожидали прекраснейшего дня — так они величали день свадьбы.

Но свадьбу предполагали справлять не в церкви Бе и не в доме мельника. Крестная пожелала, чтобы свадьбу праздновали у нее и венчание бы состоялось в прелестной церквушке в Монтре. Мельник настоял, чтобы это пожелание исполнить: он один знал, что крестная предназначала новобрачным. Подарок, который им предстояло получить, стоил этой небольшой уступки. День был назначен. Накануне вечером они собирались отправиться в Вильнев, желая утром заблаговременно доехать паромом до Монтре, — так чтобы дочери крестной успели одеть невесту.

— Надо думать, хоть на следующий день они сыграют свадьбу и здесь, в доме, — сказала кошка, живущая в комнате, — не то я и «мяу» не дам за все это дело.

— Будет и тут угощение! — сказала кошка, живущая на кухне. — Уток порезали, голубей передушили, и целый козел висит на стене. У меня зубы чешутся, когда я это вижу. Завтра они отправляются.

Завтра! А нынче вечером Руди и Бабетта в последний раз сидели на мельнице как нареченные.

За окном пылали Альпы, звонили вечерние колокола, и дочери солнечных лучей пели: «Все будет хорошо!»

#### XIV

#### НОЧНЫЕ ВИДЕНИЯ

Солнце село, облака спустились в долину Роны, южный ветер, ветер из Африки, пронесился над высокими Альпами, разрывая облака, и когда переставал дуть, на мгновение наступала тишина. Рваные облака повисали между поросшими лесом горами и быстротекущей рекой в виде каких-то фантастических созданий: вот морское чудовище доисторических времен, вот парящий в воздухе орел, вот лягушки, скачущие по трясине; они спускались

к бурлящему потоку, они как будто плыли по нему и, однако же, плыли по воздуху. Поток влачил вырванную с корнем сосну, перед ней возникали водовороты: это была работа Головокружения и его братьев — они вертелись в бушующем потоке. Луна озаряла снег на вершинах гор, темные леса и странные белые облака, видения ночи и духов природы — жители гор видели их в окно, они стаями проплывали перед Ледяной девой. Она вышла из своего ледяного дворца, она сидела на утлом корабле, на вырванной с корнем сосне, и воды ледников несли ее по реке прямо к озеру.

«Гости на свадьбу едут!» — гудело и мело и в воде и в воздухе.

Наваждениями был полон мир, наваждениями полна была душа: Бабетте приснился странный сон.

Ей представилось, будто они с Руди женаты, и уже много лет как женаты. Он ушел охотиться на косуль, а она дома, и у нее сидит молодой англичанин с рыжими баками; глаза его нежно светятся, слова его обладают волшебной силой. Он протягивает руку, и приходится идти за ним. Они уходят из дома. Они идут вниз!.. И Бабетте кажется, что на сердце у нее какой-то груз, который становится все тяжелее, это грех против Руди, грех против бога. И вдруг она оказывается брошенной, платье ее разорвано шипами терновника, волосы поседел; убитая горем, глядит она ввысь и на краю скалы видит Руди — она протягивает к нему руки, не решаясь, однако, ни окликнуть его, ни попросить, да это было бы и бесполезно, ибо вскоре она замечает, что это вовсе не он, а его охотничья куртка и шляпа висят на посохе: охотники вешают их, чтобы обмануть косуль. И, не ведая горю границ, Бабетта начинает голосить: «О, лучше бы я умерла в день моей свадьбы, в самый счастливый мой день! Господи боже, это было бы благодеяние, это было бы величайшее счастье. Это была бы величайшая милость, которую можно даровать мне и Руди! Никто не ведающего и не знает, что ему предстоит!» И в безысходной тоске она кинулась в глубокую пропасть. Струна лопнула, раздался глас печали...

Бабетта пробудилась, сон миновал и растворился, но она знала, что снилось ей что-то ужасное, и при этом молодой англичанин, которого она уже несколько месяцев не видела и о котором думать не думала. Может быть, он

в Монтре? Увидит ли она его у себя на свадьбе? Легкая тень тронула прелестные губки, брови нахмурились, но скоро у нее в очах опять сияла улыбка: на дворе светит солнце, и завтра она венчается с Руди.

Он был уже в доме, когда она спустилась, и вскоре они двинулись в Вильнев. Оба были безмерно счастливы, и мельник тоже: он смеялся и весь сиял, он был в хорошем настроении, он был добрым отцом и честным человеком.

— А теперь мы в доме хозяева! — сказала кошка, живущая в комнате.

## XV

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Еще не настал вечер, а трое баловней судьбы достигли Вильнева, где и поужинали. Мельник сел с трубкой в кресло, намереваясь немного подремать, а жених с невестой, взявшись за руки, вышли из города и пошли по большой дороге, тянущейся под поросшими кустарником скалами вдоль глубокого зеленовато-голубого озера; в прозрачной воде отражались серые стены и тяжелые башни мрачного Шильонского замка. Еще ближе был островок с тремя акациями, он выглядел как букет цветов, плывущий по воде.

— Хорошо там, должно быть! — сказала Бабетта. Ей очень захотелось туда попасть, и это желание могло тотчас же исполниться: у берега стояла лодка, канат, которым она была привязана, ничего не стоило отвязать. Не было видно никого, у кого бы спросить на это разрешения, и они без лишних слов сели в лодку, а грести Руди умел.

Весла, словно рыбы плавники, входили в упругую воду, такую податливую и, однако же, такую плотную, — у нее ведь есть и спина, чтобы тащить, и рот, чтобы глотать; сама кротость, она сладко улыбается и все же внушает ужас и грозит гибелью. Пенистый след тянулся за лодкой, в несколько минут достигшей островка, где нареченные сошли на берег. Там едва хватало места, чтобы потанцевать вдвоем.

Руди покружил Бабетту раза два или три, потом они сели на скамеечку под развесистой акацией, поглядели друг другу в глаза, взяли за руки, а все вокруг сияло



в лучах заходящего солнца; сосновые леса на горных склонах стали лилово-красными, как цветущий вереск, а там, где кончались деревья и обнажались камни, они словно бы прокалялись насквозь, облака горели красным огнем, а озеро было точно свежий, пылающий лепесток розы. Постепенно на покрытые снегом вершины Савойских гор начинали ложиться тени, окрашивая их в темно-синий цвет, но самые высокие пики сверкали, как красная лава; они на мгновение демонстрировали историю горообразования, когда эти расплавленные массы подымались из недр земли и еще не потухли. Руди и Бабетте показалось, что они еще никогда не видели альпийское зарево таким ярким. Покрытый снегом Дан-дю-Миди сиял как полная луна, когда она показывается на горизонте.

— Какая красота! Какое счастье! — говорили влюбленные.

— Ничего лучшего земля не может мне дать! — сказал Руди. — Вечер, подобный нынешнему, равен целой жизни. Не раз, как и сейчас, ощущал я, что счастлив, и думал, что если бы мне тут же пришел конец, как счастливо я все же жил. Как прекрасен этот мир! И день кончался, и начинался новый, и мне казалось, что этот еще прекраснее. Господь, Бабетта, бесконечно благ!

— Я счастлива! — сказала она.

— Ничего лучшего земля не может мне дать! — воскликнул Руди.

И вечерние колокола донеслись с Савойских гор и с Швейцарских гор, а на Западе в золотом венце высилась темно-зеленая Юра.

— Дай тебе бог, чтобы все было как лучше! — сказала Бабетта.

— Он даст! — сказал Руди. — Я завтра свое получу. Завтра ты будешь моей! Моей собственной любимой женой!

— Лодка! — закричала вдруг Бабетта.

Лодка, на которой они должны были вернуться, отвалилась и отплыла от острова.

— Я ее догоню! — сказал Руди, скинул куртку, снял сапоги, прыгнул в воду и быстро поплыл к лодке.

Холодна и глубока была зелено-голубая вода из горного ледника.

Руди глянул в глубину на одно только мгновение, и ему показалось, что он видит золотое кольцо, — оно кати-

лось, сверкало и играло. Он вспомнил кольцо, которое потерял, а кольцо становилось больше, оно обратилось в огромный искрящийся круг, внутри которого сиял прозрачный ледник. Бездонно-глубокие пропасти зияли по сторонам, и вода капала, звеня, как колокольчик, и светилась голубым огнем; за одно мгновение он увидел то, что придется описывать множеством слов: молодые охотники и молодые девушки, мужчины и женщины, пропавшие некогда в провалах ледника, стояли пред ним живые, открыв глаза и улыбаясь, а снизу шел колокольный звон из погребенных под лавинами городов; весь приход преклонил колена под сводами храма, органные трубы там были из льда, а гудели горные потоки; Ледяная дева сидела на чистом, прозрачном дне, она приблизилась к Руди, поцеловала ему ноги, и тело его пронзил смертельный, ледяющий трепет, электрический удар, огонь и лед — их ведь не различить при мгновенном касании.

«Мой! Мой! — звенело и вокруг и в нем. — Я целовала тебя, когда ты был ребенком, целовала тебя в губы! Теперь я целую пальцы твоих ног, целую твои стопы, ты мой, весь, целиком!»

И он исчез в прозрачной голубой воде.

Кругом было тихо, колокола отзвучали, последний звук пропал вместе с красным отблеском облаков.

«Ты мой!» — несло из глубины. «Ты мой!» — несло с высот, из бесконечности.

Вот истинная благодать — перейти от любви к любви, с земли на небеса.

Струна лопнула, раздался глас печали, ледяной поцелуй смерти покончил с бранным бытием, пролог завершился, пришел черед жизненной драмы, диссонанс обрел гармоническое разрешение.

Назовешь ли ты эту историю грустной?

Бедная Бабетта! Для нее это был ужасный час. Лодку относил все дальше. Никто на берегу не знал, что обрученные были на островке. Все ниже нависали облака, смеркалось. Она стояла одинокая, несчастная, отчаявшаяся. Над ней разразилась буря — молнии сверкали над Юрой, над Швейцарией, над Савойей, со всех сторон шли молнии на молнию, гром на гром, им не было конца, каждый тянулся долго. От молний становилось светло как днем, можно было разглядеть каждый листок, и снова все окутывала тьма. Молнии шли петлями, витками, зигза-

гами, они ударили в озеро, они вспыхивали повсюду, а эхо опять и опять повторяло удары грома. На той стороне втаскивали на берег лодки, все живое искало убежища — и тут хлынул дождь.

— Где же это Руди с Бабеттой в такую погоду? — сказал мельник.

Бабетта сидела, уронив голову, опустив руки, онемев от горя; она уже не плакала и не жаловалась.

— Под водой! — сказала она себе. — Он глубоко под водой, словно под ледником!

Она вспомнила, что рассказывал Руди о смерти своей матери и о своем спасении, — его ведь почти мертвым вытащили из расщелины ледника. «Ледяная дева его настигла!»

Сверкнула молния, ослепляющая, как солнечный свет на белом снегу. Бабетта вскочила, озеро в эту минуту поднялось, подобное сверкающему леднику, на нем стояла Ледяная дева, величественная, озаренная голубоватым сиянием, и у ног ее лежал мертвый Руди. «Мой!» — сказала она, и кругом опять были тьма, и мрак, и потоки воды.

«Лютая судьба! — стонала Бабетта. — Почему должен был он умереть, когда наступил день нашего счастья? Господи, проясни мне разум, просвети мне сердце! Я не постигаю твоего пути. Я бессильна пред твоим могуществом и мудростью».

И господь просветил ее. Как мгновенное воспоминание, как луч благодати, ей, словно въявь, точь-в-точь, как было, предстало все, что снилось минувшей ночью. Она припомнила каждое слово, которое произнесла, вспомнила, о какой милости просила для себя и для Руди.

«Горе мне! В сердце моем был росток греха. И сон мой предвещал будущее, струне которого надлежало обрваться ради моего спасения. Несчастливая я!»

Рыдая, она просидела на островке всю ночь. В полной тишине, казалось, еще звучали обращенные к ней слова Руди, последнее, что он сказал: «Ничего лучшего земля не может мне дать!» Они были сказаны от полноты счастья, они были повторены от безмерности страдания.

Прошло несколько лет. Озеро прекрасно, берега его тоже прекрасны, на виноградниках наливаются гроздья, мимо идут пароходы с развевающимися флагами, парусные лодки, как мотыльки, прячут над зеркальной водой;

открыта железная дорога через Шильон, она уходит далеко в долину Роны. На каждой станции слезают иностранцы, они приезжают с путеводителями в красных переплетках и там вычитывают, какие достопримечательности следует осмотреть. Они посещают Шильонский замок, глядят оттуда на островок с тремя акациями и читают в книжке про обрученных, которые в 1856 году пристали к нему как-то вечерней порой, про смерть жениха и про то, что «лишь на следующее утро с берега услышали отчаянные крики невесты».

В путеводителе не сказано о тихой жизни Бабетты у отца, но не на мельнице, где теперь живут чужие люди, а в красивом доме неподалеку от станции, из окон которого она каждый вечер глядит вверх каштанов на снежные вершины, где некогда бродил Руди; она глядит вечерами на альпийское зарево: там, вверх, живут дети солнца, и они по-прежнему поют о путнике, с которого вихрь сорвал плащ, но унес покров, а не человека.

Розовый свет горит на горных снегах, розовый свет горит в каждом сердце, которое знает, что «господь все для нас устроит к лучшему». Но не всегда это открывается нам так ясно, как во сне открылось Бабетте.







## МОТЫЛЕК



**М**отылек вздумал жениться. Конечно, ему хотелось взять за себя хорошенький цветочек.

Он посмотрел кругом: цветочки сидели на своих стебельках тихо, скромно, как и подобает еще непросватанным барышням; но выбрать было ужасно трудно — так много их тут росло.

Мотыльку скоро надоело раздумывать, и он порхнул к полевой ромашке. Французы зовут ее маргариткой и уверяют, что она умеет ворожить. По крайней мере влюбленные всегда прибегают к ней, обрывают лепесток за лепестком и приговаривают: «Любит всем сердцем? Всею душою? Очень? Чуть-чуть? Ни капли?» — или нечто в этом роде; всякий ведь спрашивает по-своему. И мотылек тоже обратился к ромашке, но не стал обрывать лепестков, а перцеловал их, думая, что всегда лучше действовать лаской.

— Матушка маргаритка, полевая ромашка, мудрейшая из цветов! — сказал он. — Вы умеете ворожить! Укажите же мне мою суженую! Тогда по крайней мере я сразу могу посвататься.



Но ромашка молчала — она обиделась. Она была девицей, а ее вдруг назвали матушкой — как вам это нравится?

Мотылек спросил еще раз, потом еще, ответа все не было. Он соскучился и полетел прямо свататься.

Это было раннею весной; всюду цвели подснежники и крокусы.

— Недурны! — сказал мотылек. — Миленькие под-росточки! Только... зеленоваты больно!

Мотылек, как и все юноши, искал девиц постарше.

Потом он оглядел других и нашел, что анемоны горьковаты, фиалки немножко сентиментальны, тюльпаны — щеголихи, нарциссы простоваты, липовые цветы и малы, да и родни у них пропасть, яблоневые цветы, конечно, чуть-чуть не розы, но уж чересчур недолговечны: ветром пахнуло, и нет их, стоит ли тут жениться? Горошек понравился ему больше всех: бело-розовый, просто кровь с молоком, нежный, изящный, да и на кухне не ударит лицом в грязь, — словом, девица хоть куда! Мотылек совсем было уж собрался посвататься, да вдруг увидел рядом стручок с увядшим цветком.

— Это... кто же? — спросил он.

— Сестрица моя! — отвечал горошек.

— Так потом и вы такая же будете?

Мотылек испугался и поскорее улетел прочь.

Через изгородь перевешивалась целая толпа каприфоллий; но эти барышни с вытянутыми желтыми физиономиями были ему совсем не по вкусу. Да, но что же было ему по вкусу? Подите узнайте!

Весна прошла, прошло и лето, настала осень, а мотылек не подвинулся со своим сватовством ни на шаг. Появились новые цветы в роскошных нарядах, но что толку? С годами сердце все больше и больше начинает тосковать о весенней свежести, об оживляющем аромате юности, а не искать же их у осенних георгин и штокроз! И мотылек полетел к кудрявой мяте.

— На ней нет никаких особых цветов, но она вся один сплошной благоухающий цвет, ее я и возьму в жены!

И он посватался.

Но мята не шелохнула листочком и только сказала:

— Дружба — и больше ничего! Мы оба старые; друзьями мы еще можем быть, но пожениться?.. Нет, что за дурачество на старости лет?

Так мотылек и остался ни с чем. Он уж чересчур много выбирал, а это не годится, — вот и остался старым холостяком.

Скоро налетела непогода с дождем и изморозью; поднялся холодный ветер; дрожь пробирала старые, скрипучие ивы. Не сладко было разгуливать по такому холоду в летнем платье. Но мотылек и не разгуливал, — ему как-то удалось залететь в комнату; там топилась печка, и было тепло, как летом. Жить бы да поживать здесь мотыльку. Но что это за жизнь?

— Мне нужны солнце, свобода и хоть маленький цветочек! — сказал мотылек, полетел и ударился об оконное стекло.

Тут его увидали, пришли от него в восторг и посадили на булавку в ящике с прочими редкостями. Большого для него уж не могли сделать.

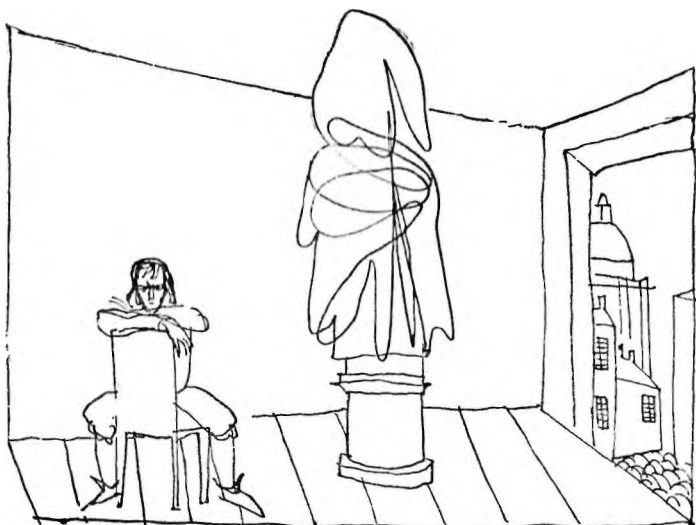
— Теперь и я сижу на стебельке, как цветок! — сказал мотылек. — Не особенно-то это сладко! Ну да зато это нечто вроде женитьбы: тоже сидишь крепко.

И он утешался этим.

— Плохое утешение! — сказали комнатные цветы.

«Ну, комнатным цветам не очень-то верь! — думал мотылек. — Они уж чересчур близко знаются с людьми».





## ПСИХЕЯ



**Н**а заре в румянном утреннем небе горит крупная, яркая звезда. Луч ее дрожит на белой стене, словно хочет начертить на ней рассказы обо всем, увиденном звездой там и сям на нашей вращающейся земле.

Послушай же один из ее рассказов!

— Недавно (недавнее для звезды для нас, людей, означает событие, совершившееся несколько столетий тому назад) лучи мои следили за одним молодым художником; жил он в папской столице, во всемирном городе Рима. Многое изменилось там с течением времени, хотя такие перемены и совершаются далеко не так быстро, как человек становится из ребенка стариком. Императорский дворец и тогда уже был в развалинах; между поверженными во прах мраморными колоннами и над расписанными золотом стенами полуразрушенных терм возвышались фиговые и лавровые деревья. Колизей тоже лежал в руинах. Но церковные колокола звонили; ладан курился; по улицам проходили процессии со свечами и сверкающими балдахинами. Рим был городом церковной пышности, но здесь так же процветало

и высоко почиталось искусство. В Риме жили величайший художник мира Рафаэль и величайший ваятель того времени Микеланджело. Сам папа отдавал честь обоим, удостоивал их своими посещениями. Искусство признавали, чтили и награждали. Но, конечно, не все достойное замечалось и удостоивалось награды.

В маленькой, узенькой улице стоял старый дом, бывший некогда храмом. В доме этом жил молодой ваятель, бедный, безызвестный. Но у него были друзья, тоже молодые художники, юные душою, богатые надеждами и мыслями. Они говорили ему, что у него большой талант и что он просто глуп, если сам этому никак поверить не может. А он и в самом деле постоянно разбивал вдребезги созданное им накануне, никогда не бывал доволен своею работою и не доводил ее до конца, а это необходимо: иначе кто же ее увидит, признает и заплатит за нее деньги?

— Ты мечтатель! — говорили ему друзья. — И в этом твое несчастье! Происходит же все это оттого, что ты еще не жил по-настоящему, не вкусил жизни, не пил жадными глотками жизненный нектар. А ведь в молодости-то именно и надо слиться с жизнью воедино! Вот тебе пример — величайший художник мира Рафаэль; его чтит сам папа, ему дивится весь свет, а он и ест и пьет как все, ни от чего не отказывается!

— Даже от самой булочки, прекрасной Форнарины! — сказал Анджело, один из первых весельчаков молодой компании.

И много еще чего наговорили они! Они говорили, что подсказывали им их молодость, разум и желание увлечь молодого художника в круговорот веселья, шалостей — пожалуй, даже сумасбродств. Временами и он сам был не прочь повеселиться: кровь в нем была горячая, душа пылкая, и он мог участвовать в застольных беседах, смеяться от души не хуже других! И все-таки так называемая веселая жизнь Рафаэля казалась ему каким-то чадом, туманом в сравнении с божественным блеском, которым сияны картины великого мастера. А как волновалась его грудь, когда он стоял в Ватикане перед образами нетленной красоты, изваянными из мрамора художниками древних времен! Какой ощущал он тогда подъем духа, какую силу, какой священный огонь жег его сердце! В нем загоралось желание создать из мрамора подобные же образы.

Он хотел воплотить в мраморе то чувство, которое стремилось из глубины его души вознестись к вечному и бесконечному. Но как воссоздать его, в каком образе? Мягкая глина послушно принимала под его пальцами прекрасные формы, но на другой день он, как и всегда, уничижал созданное им накануне.

Однажды он проходил мимо одного из многочисленных роскошных римских палаццо, остановился перед большими открытыми воротами и увидел внутри двора, за расписанными аркадами, садик, полный душистых роз. Сочные зеленые листья змеиной травы купались в мраморном бассейне, наполненном прозрачною водой. Перед ним промелькнуло видение — молодая девушка, дочь хозяина дома. Как она была нежна, воздушна, прелестна! Никогда в жизни не видывал он такой женщины! Ах нет, видел в одном из римских палаццо на картине Рафаэля, в образе Психеи. Там она была написана красками, здесь явилась ему живая.

Она ярко запечатлелась в его сердце и мыслях; вернувшись в свою бедную мастерскую, он принялся лепить из глины Психею — знатную молодую римлянку, и впервые остался доволен своею работою. В ней чувствовалась жизнь, это была она!

Друзья, увидав статую, громко возликовали: в этой работе талант его выразился необычайно ярко; до сих пор его признавали только одни они, теперь его признает весь свет!

Глина прекрасно создает ощущение живого, теплого тела, но не обладает белизной и прочностью мрамора. Психея должна была ожить в мраморе, и у художника даже имелся этот драгоценный материал: во дворе с давних пор лежала мраморная глыба, принадлежавшая еще его родителям. На ней валялся разный мусор, осколки стекла, обрезки овощей; все это грязнило, пачкало ее снаружи, но внутри мрамор сиял снежною белизною; из него-то и должна была восстать Психея.

В один прекрасный день — звезда об этом ничего не рассказывает, она не видала этого, но мы-то знаем, что оно было так — узенькую, бедную улицу посетило знатное общество. Посетители оставили карету неподалеку от дома и пешком прошли к жилищу художника. Явились они посмотреть на его работу, о которой случайно услышали. Кто же такие они были? Бедный юноша! Или лучше:

слишком счастливый юноша! В его студии стояла она, сама молодая красавица! И как улыбнулась она, когда отец ее сказал: «Да ведь это ты, как живая!» Эту улыбку нельзя было передать, этого взора удивления нельзя было изобразить! Он поднимал, облагораживал и — повергал во прах!

— Психею нужно изваять из мрамора! — сказал знатный посетитель. И слова эти вызвали к жизни мертвую глину и тяжелую мраморную глыбу, равно как и самого взволнованного художника. — Когда работа будет окончена, я покупаю ее! — прибавил знатный римлянин.

Словно новая эра настала в бедной мастерской; в ней закипели жизнь, веселье, работа. Сияющая утренняя звезда созерцала, как работа подвигалась вперед. Сама глина, казалось, ожила, с тех пор как побывала здесь она, и послушно принимала под рукою художника желаемые формы, передавала знакомые черты. Скоро они засияли высшею, совершеннейшею красотою.

— Теперь я знаю, что такое жить! — ликовал художник и к. — Это значит — любить, увлекаться возвышенным, восхищаться прекрасным! То же, что называют жизнью мои товарищи, — обман, пузыри, вскакивающие на бродящей гуще, а не чистый, небесный напиток, приобщающий человека к истинной жизни!

Мраморная глыба была поднята на подставку, и от нее начали откалывать кусок за куском. Художник мерил, ставил черточки и точки, и мало-помалу грубая работа была выполнена, камень стал принимать формы живого тела, очертания божественно-прекрасного образа молодой девушки. Тяжелый камень превратился в воздушную, порхающую прелестную Психею, улыбающуюся небесною улыбкою, навеки запечатлевшуюся в сердце молодого ваятеля.

Звезда, сиявшая на румянном утреннем небе, видела все это и, право, поняла, что творилось в душе молодого человека, поняла и краску, вспыхивавшую на его щеках, и блеск его глаз в то время, как он воплощал в мраморе создание божье.

— Ты мастер, какие жили во времена древних греков! — говорили ему восхищенные друзья. — Скоро весь свет будет дивиться твоей Психее!

— Моей Психее! — повторил он. — Моей! Да, она и должна быть моею! И я такой же художник, как мои великие предшественники. Милосердый господь даровал



мне талант, превознес меня, как своего избранника! Я не ниже кровных аристократов!

И он упал на колени и со слезами благодарил бога, потом опять забывал его ради нее, ради ее мраморного изображения, ради Психеи, словно вылепленной из снега и разрумяненной утренним солнцем.

Но ему предстояло увидеть ее живую, прекрасную, воздушную, предстояло опять услышать ее музыкальный голос! Он должен был явиться в роскошное палаццо с известием о том, что мраморная Психея исполнена. Он и явился туда; прошел по двору мимо мраморного бассейна, куда бежала вода из пасти дельфинов и где в изобилии росли змеиная трава и свежие, пышные розы, а затем вступил в обширную, высокую переднюю. Стены и потолок ее были расписаны картинами и гербами. Разодетые слуги, гордые, увешанные погремушками, как лошади во время карнавала, ходили вниз и вверх по лестницам, некоторые лениво развалились на резных скамьях; сдавалось, что господа в доме — они! Молодой человек сказал, зачем пришел, и его повели по гладкой мраморной лестнице, устланной мягкими коврами; по обеим сторонам ее стояли статуи. Затем молодой человек прошел через анфиладу роскошных, изукрашенных картинами покоев с блестящими мозаичными полами. При виде всей этой роскоши ему стало как-то не по себе, у него захватило дух, но скоро он преодолел это чувство, и ему опять стало легко. Старый знатный господин принял его очень ласково, почти дружески и, поговорив с ним, предложил ему пройти к молодой синьоре, — она тоже желала видеть художника. Слуги опять повели его по роскошным покоем и залам, и вот он очутился в комнате синьоры, лучшим украшением которой была она сама.

Она заговорила с ним; никакое «Miserere», никакой церковный гимн не могли бы так потрясти сердце, так взволновать душу! Он схватил ее руку и прижал к своим губам; рука была мягче, нежнее лепестка розы, но от этого лепестка исходил огонь! Он прожег молодого человека насквозь, поднял его высоко-высоко!.. И из уст его полились слова, в которых он и сам не отдавал себе отчета. Разве знает кратер, что выбрасывает раскаленную лаву? Он высказал ей свою любовь. Она стояла пораженная, негодующая, гордая и с таким презрением и гадливостью смотрела на него, как будто внезапно дотронулась до мок-

рой лягушки. Щеки ее горели огнем; губы совсем побелели; черные, как ночь, глаза метали молнии.

— Безумец! — сказала она. — Прочь! Прочь! — и повернулась к нему спиною. Прекрасное лицо приняло выражение знаменитой окаменелой головы с змеями вместо волос.

Упавший духом, осунувшийся, беспомощный, побрел он по улицам, как лунатик. Очнулся он только у себя дома и тут, в приливе бешенства и отчаяния, схватил молоток, замахнулся и хотел раздробить прекрасную мраморную статую. Он и не заметил, что друг его Анджело стоял позади него. Анджело с силою схватил его за руку.

— С ума ты сошел?! Что с тобою?

Началась борьба. Анджело был сильнее, и молодой ваятель, тяжело дыша, бросился на стул.

— Что случилось? — продолжал Анджело. — Приди в себя! Говори!

Но что он мог сказать? Что мог рассказать? Анджело ничего не понял из его сбивчивых объяснений и махнул рукой.

— У тебя просто кровь сгустилась от твоих вечных мечтаний! Будь же человеком, как мы все, не живи одними идеалами — не выдержишь! Хлебни вина, увидишь, как чудесно заснешь! Возьми себе в доктора красивую девушку. Девушки Кампаньи прелестны, не хуже принцесс из мраморных палаццо: и те и другие ведь дочери Евы, и в раю их не различишь! Пойдем со мною! Я буду твоим ангелом-хранителем! А придет время — состаришься, тело одряхлеет, и в один прекрасный день, когда все кругом будет веселиться на солнце и ликовать, ты будешь валяться, как высохшая былинка, которой больше уж не расти! Я не верю тому, что говорят патеры, — будто за могилую нас ждет другая жизнь; это прекрасная мечта, детская сказка, довольно утешительная, если верить в нее. Но я не предаюсь мечтам, я живу действительностью. Пойдем со мною! Будь человеком!

И он увлек его с собою; ему удалось это в данную минуту: в крови молодого ваятеля горел огонь, в душе произошел переворот, пробудилось непреодолимое желание порвать со всем старым, привычным, отрешиться от своего прежнего «я». Вот почему он и последовал за Анджело.

На одной из окраин Рима находился излюбленный трактирчик художников. Устроен он был в уцелевшей

части древних терм; старые желто-красные стены скрывались за темною, блестящею зеленью лимонных деревьев, сквозь которую сверкали золотистые крупные плоды. Трактир помещался под глубоким сводом, так что напоминал пещеру. Внутри перед образом богоматери горела лампада; в очаге пылал огонь; тут жарили, варили и пекли; в саду под тенью лимонных и лавровых деревьев стояло несколько накрытых столиков.

Друзья встретили вновь пришедших с распростертыми объятиями, и закипело веселье. Закусили немножко, порядочно выпили — это веселит и подбадривает — и принялись петь и играть на гитарах. Зазвучала сальтарелла, и начались танцы. Две молодые римлянки, натурщицы художников, закружились в пляске. Две прелестные вакханки! Да, они не были похожи на Психею, не были нежными, прекрасными розами, но свежими, сочными, пышными гвоздиками.

Какая жара стояла в этот день! Даже на закате она не спала! Огонь в крови, огонь в воздухе, огонь во взглядах! Воздух отливал золотом и розами. Казалось, и вся жизнь полна золота и роз!

— Ну, наконец-то и ты с нами! Отдайся же течению жизни!

— Никогда еще не был я таким здоровым и веселым! — сказал молодой художник. — Ты прав, вы все правы: я был глупцом, мечтателем! Человек принадлежит действительной жизни, а не фантазии!

С пением под аккомпанемент гитар вышли молодые люди из трактира и направились по переулкам города; вечер был ясный, звездный. Обе роскошные гвоздики, дочери Кампаньи, сопровождали их.

В комнатке Анджемо, заваленной разбросанными повсюду эскизами, листками и картинами, изображавшими сцены, полные красоты и вдохновения, голоса зазвучали глуше, но так же весело и страстно. На пол полетели рисунки, изображавшие дочерей Кампаньи; рисунки дышали жизнью и красотой, но сами девушки были еще куда красивее. Канделябр о шести свечах пылал всеми огнями, и при их свете красота девушек выступала еще ярче; из телесного образа просвечивал образ божества.

«Аполлон! Юпитер! Я возношусь к вам, на небо! В моем сердце как будто распускается цветок жизни!»

Да, цветок распустился... поблек и опал, распространяя одуряющие испарения. Лицо побледнело, мысли спутались... Фейерверк страстей погас, и наступила тьма.

Он добрался до своего дома, бросился на постель и тогда только немного собрался с мыслями. «Тьфу! — вырвалось из его уст, из глубины его сердца. — Безумец! Прочь! Прочь!» И он горько, глубоко вздохнул.

«Прочь! Прочь!» Эти слова живой Психеи не переставали раздаваться в его сердце, срывать с его уст. Он уронил голову на подушку, мысли его спутались, и он заснул.

На заре он проснулся и стал припоминать вчерашнее. Что такое случилось накануне? Не во сне ли все это было? И ее жестокие слова, и пирушка в трактире, и вечер, проведенный в обществе пунцовых гвоздик Кампаньи? Нет, все это было наяву, было действительностью, новой для него действительностью!

На алеющем небе светилась яркая звезда; лучи ее упали на ваятеля и на мраморную Психею. И он задрожал, взглянув на этот нетленный образ: ему казалось, что его нечистый взгляд не смел больше смотреть на нее. Он торопливо набросил на статую покров; потом опять было хотел снять его и раскрыть Психею, но нет! Он был не в силах больше смотреть на свое создание!

Тихий, угрюмый, весь уйдя в себя, просидел он весь этот длинный день, не сознавая, что творилось вокруг, и никто не знал, что творилось в нем самом.

Дни шли за днями, недели за неделями; особенно долго тянулись ночи. Однажды утром яркая звезда увидела, как он, смертельно бледный, дрожащий, словно в лихорадке, вскочил с постели, подбежал к мраморной статуе, сдернул с нее покров, посмотрел на свое творение долгим скорбным взглядом и затем, почти изнемогая под тяжестью статуи, стащил ее в сад. Там был глубокий высохший колодец, скорее яма; в нее-то он и опустил свою Психею, забросал ее землю, а свежую могилу прикрыл хворостом и крапивою.

«Прочь! Прочь!» Коротка была надгробная речь.

Звезда видела все это с румяного небосклона, и лучи ее задрожали в двух крупных слезах, скатившихся по бледным щекам молодого человека, заболевшего лихорадкою — заболевшего смертельно, — говорили о нем, когда он слег.

Монах, брат Игнатий, явился для него другом и врачом. Он явился к одру больного со словами религиозного утешения, заговорил о мире, о счастье, даруемых церковью, о греховности человеческой, о милосердии бога и спасении через него.

Слова его были солнечными лучами, падавшими на влажную вспаханную почву, и над нею стали подыматься испарения, превращавшиеся в облака — в мысленные образы, бывшие в то же время и действительными. С этих-то воздушных, скользящих в пространстве островов молодой человек и стал смотреть вниз на жизнь человеческую; вся она была обман, разочарование, по крайней мере для него! Самое искусство было волшебницею, вовлекающею нас в грех суетного земного тщеславия! Мы лжем и самим себе, и друзьям, и богу. Змея, скрывающаяся в нас, твердит нам: «Вкуси и станешь подобным богу!»

Теперь только — казалось ему — он понял самого себя, уразумел путь к истине и миру. В церкви был свет божий и ясный мир, в монашеской келье — покой; там только древо человеческой жизни могло возрасти для вечности!

Брат Игнатий укрепил в нем эти мысли, и он решил: дитя света стало слугою церкви, молодой ваятель отрехся от мира, ушел в монастырь.

Как сердечно, любовно приветствовала его братия! Как торжественно было посвящение! Сам господь, казалось ему, присутствовал в церкви, в озарявших ее солнечных лучах, в сиянии, окружавшем лики святых и кресты. И, стоя вечером, на закате солнца, у открытого окна в своей маленькой келье, он окинул взором старый Рим, разрушенные храмы, величественный, но мертвый Колизей, узрел все это в весеннем уборе цветущих акаций, свежей зелени плюща, пышных роз, золотистых апельсинов и роскошных веерных пальм и ощутил в своей груди такую полноту блаженства, какой никогда еще не знал прежде! Открытая тихая долина Кампани убегала к блестящим, покрытым снегом горам, точно нарисованным на небе. Все сливалось, дышало миром и красотой, все как будто грезило, расплывалось в мечтах, весь мир был мечтою!

Да, мир был мечтою, а мечта может покорить человека на час, много — на два, затем опять вернуться на некоторое время, жизнь же в монастыре должна была длиться годы, многие, долгие годы!

И ему пришлось сознаться, что изнутри человека выходит многое, оскверняющее его! Что это за огонь жег его временами? Что это был в нем за источник зла, которое вырывалось наружу, несмотря на его сопротивление? И он бичевал свою плоть, но источник зла не иссякал. Что такое заставляло его ум обвиваться змеею вокруг его совести и заползать вместе с нею под плащ божественной любви? Чей это голос шептал ему: «Святые ведь молятся за нас!» В силу ли ребячества или легкомыслия он отдавался под покровительство высшей ми-



лости и чувствовал себя превознесенным над прочими людьми? Как же! Он ведь оттолкнул от себя мирскую суету, стал сыном церкви!

Однажды, спустя много лет, он встретился с Анджело; тот узнал его.

— Ну вот! — сказал Анджело. — Так это ты! Что ж, счастлив ты теперь? Ты согрешил против бога, отбросил его дар, загубил свой талант! Прочти притчу о доверенных талантах! Учитель, рассказавший ее, принес в мир истину! Ну, чего же ты добился, чего достиг? Не создал ли ты себе жизнь праздного мечтателя? Не создал ли ты себе собственную религию, как и все монахи? А что, если все это лишь мечта, фантазия, прекрасные вымыслы?

— Отойди от меня, сатана! — сказал монах и пошел прочь от Анджело. — Это сам дьявол! Я видел его сегодня воочию! — шептал монах. — Я протянул ему однажды палец, а он схватил всю мою руку!.. Нет! — вздыхал он потом. — Зло во мне самом! В этом человеке тоже есть зло, но он не падает под его бременем, носит голову высоко, счастлив! А я ищу счастья в утешениях религии... А что, если это и впрямь только утешение?.. Что, если и это, как все то, от чего я отказался в мире, лишь красивый вымысел, обман, как красота розовых вечерних облаков, как голубая волнующаяся даль за горами?! Ведь вблизи все оказывается иным! О, вечность! Ты, как великий, безграничный, безмятежный океан, манишь, зовешь к себе, наполняешь нашу душу предчувствиями, а дойдешь до тебя и, может быть, погрузишься в бездну, исчезнешь, умрешь... перестанешь существовать! Обман! Прочь! Прочь!

Без слез, углубившись в самого себя, стоял он на своем жестком ложе, преклонив колена — перед кем? Перед каменным распятием, вделанным в стену? Нет, только привычка заставляла его преклонить колена!

Чем глубже заглядывал он в свою душу, тем она казалась ему темнее; пустота внутри, пустота вне! «Даром загубил свою жизнь!» И мысли катились и росли, словно ком снега, росли, давили, стирали его с лица земли.

«И никому не смею я открыть этого червяка, гложущего мою душу! Моя тайна — мой пленник; выпущу я его — я стану его пленником!»

И частица божественного духа в нем продолжала страдать и бороться.

— Господи, господи! — молился он в отчаянии. — Сжался надо мною, пошли мне веру!.. Я зарыл в землю твой дар — свой талант! У меня не хватило сил, ты не дал их мне! Бессмертная Психея в моей груди... Прочь, прочь!.. И ее предадут земле, как ту, лучший проблеск моей жизни!.. Никогда не восстанет она из своей могилы!

Звезда сияла на румяном небе. И она когда-нибудь потухнет, исчезнет, а души все будут вечно жить и сиять! Дрожащий луч ее упал на белую стену, но не начертил на ней ничего о величии бога, о его милости и любви, отголоски которых звучат в душе каждого верующего.

— Нет, Психея тут, во мне, никогда не умрет!.. Жить сознательно?.. Может ли сбыться непостижимое?.. Да,

да! Непостижимо — мое «я»! Непостижим и ты, господи! Весь твой мир непостижим! Он чудо твоей силы, великолепия и любви!..

Глаза его засияли и потухли навеки. Звуки колокола проводили его в могилу. Он был зарыт в землю, привезенную из Иерусалима и смешанную с прахом благочестивых умерших.

По истечении нескольких лет остов вынули, как и остова всех умерших до него монахов, закутали его в темную рясу, надели на руку четки и поставили его в нишу, сложенную из человеческих костей, найденных на монастырском кладбище. Туда светило солнце, доносился благоуханный дым ладана, звуки молитв.

Прошло много лет.

Кости скелетов рассыпались; черепа собрали и сложили в ряды, так что они образовали целую ограду вокруг церкви. В числе прочих лежал тут под жгучими лучами солнца и череп ваятеля; много-много было их тут, но никто не знал, кому они принадлежали, не знали и его имени. И вот однажды при свете солнца в глазных впадинах черепа мелькнуло что-то живое. Что это было? В пустой череп пробралась пестрая ящерица и шмыгала взад и вперед через пустые глазные впадины. И так, в голове опять была жизнь, в той самой голове, где некогда бродили великие мысли, сияли мечты, любовь к искусству, ко всему прекрасному, откуда катились жгучие слезы, где жила надежда на бессмертие! Ящерица выпрыгнула и пропала; череп истлел; стал прахом во прахе.

Прошли столетия. Яркая звезда светила по-прежнему, все такая же светлая, крупная, какою была тысячелетия. Небо отливало пурпуром, нежным, как пурпур роз, алым, как кровь.

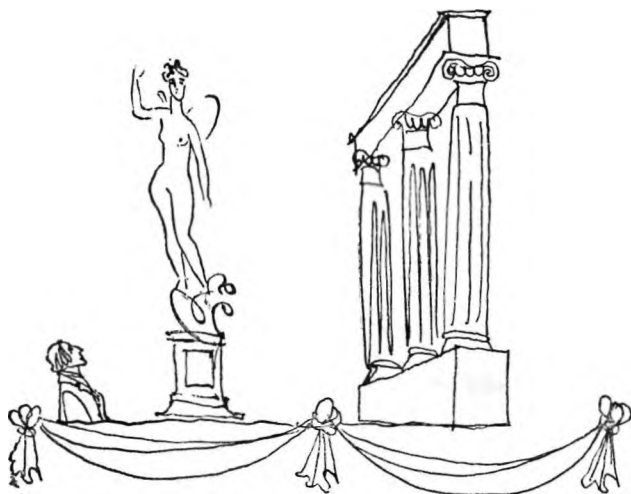
Там, где некогда проходила узенькая улица, на которой находились развалины храма, была теперь площадь, а на ней возвышался женский монастырь. В саду рыли могилу; умерла молодая монахиня, и в это утро ее хотели похоронить. Вдруг заступ наткнулся на камень, сверкавший ослепительно белизною. Показался белый мрамор; он округлился в плечо, потом обнажилась и вся рука. Стали действовать заступом осторожнее, и из земли показалась женская голова, потом крылья бабочки... Из могилы, куда хотели зарыть тело молодой монахини, извлекли при свете розовой утренней зари чудную статую



Психеи, изваянную из белого мрамора. «Как она преле-стна! Какое совершенство! Памятник искусства лучших времен! — говорили люди. — Кто создал ее?» Никто не знал этого, никто, кроме сияющей тысячелетия утренней звезды. Она одна знала земную жизнь творца Психеи, его испытания, его слабость и веру в человеческое достоинство. Бренная оболочка его распалась в прах, как и должно, но результат его стремлений, воплощение таившейся в нем искры божьей — Психея — осталась!.. И она никогда не умрет, она переживет самую память о своем творце, будет служить здесь, на земле, проблеском его бессмертной души! И вот ее нашли, оценили и полюбили!

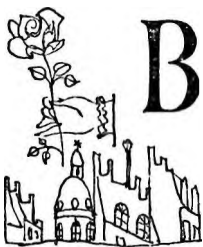
Ясная утренняя звезда, горевшая на румянном небе, обливала своим дрожащим светом Психею и освещала блаженно улыбавшиеся уста и глаза зрителей, созерцавших в немом восторге душу, изваянную из мрамора.

Все земное истлевает, рассыпается в прах, забывается. Помнит о нем лишь звезда, свидетельница бесконечных времен; все же небесное само сияет и живет в памяти. Но и эта память может угаснуть, тогда как Психея живет вечно!





## УЛИТКА И РОЗОВЫЙ КУСТ



**В**округ сада шла живая изгородь из орешника; за нею начинались поля и луга, где паслись коровы и овцы. Посреди сада цвел розовый куст; под ним сидела улитка. Она была богата внутренним содержанием — она содержала самое себя.

— Пойдите, придет и мое время! — сказала она. — Я дам миру кое-что поважнее этих роз, орехов или молока, что дают коровы и овцы!

— Я многого ожидаю от вас! — сказал розовый куст. — Позвольте же узнать, когда это будет?

— Время терпит! Это вот вы все торопитесь! А торопливость ослабляет впечатление!

На другой год улитка лежала чуть ли не на том же месте, на солнышке, под розовым кустом, снова покрытым бутонами. Бутоны распускались, розы цвели, отцветали, а куст выпускал все новые и новые.

Улитка наполовину выползла из раковины, вытянула рожки и опять подобрала их.

— Все то же да то же! Ни шагу вперед! Розовый куст остается при своих розах, ни на волос не подвинулся вперед!

Лето прошло, настала осень, розовый куст цвел и благоухал, пока не выпал снег. Стало сыро, холодно, розовый куст пригнулся к земле, улитка уползла в землю.

Опять настала весна, снова зацвели розы, выползла и улитка.

— Теперь вы уж стары! — сказала она розовому кусту. — Пора бы вам и честь знать! Вы дали миру все, что могли дать; многое ли — это вопрос, которым мне некогда заниматься. А что вы ровно ничего не сделали для своего внутреннего развития — это ясно! Иначе из вас вышло бы кое-что другое. Что вы скажете в свое оправдание? Вы скоро ведь обратитесь в сухой хворост! Понимаете вы, что я говорю?

— Вы меня пугаете! — сказал розовый куст. — Я никогда об этом не думал!

— Да, да, вы, кажется, мало затрудняли себя думаньем! А вы пробовали когда-нибудь заняться этим вопросом, дать себе отчет: почему, собственно, вы цветете и как это происходит, почему так, а не иначе?

— Нет! — сказал розовый куст. — Я радовался жизни и цвел — я не мог иначе! Солнце так грело, воздух так освежал меня, я пил живую росу и обильный дождь, я дышал, я жил! Силы поднимались в меня из земли, вливались из воздуха, я жил полною жизнью, счастье охватывало меня, и я цвел, — в этом была моя жизнь, мое счастье, я не мог иначе!

— Да, вы таки жили не тужили, нечего сказать!

— Да! Мне было дано так много! — сказал розовый куст. — Но вам дано еще больше! Вы одна из глубокомыслящих, высокоодаренных натур!.. Вы должны удивить мир!

— Была охота! — сказала улитка. — Я знать не знаю вашего мира! Какое мне до него дело? Мне довольно самой себя!

— Да, но мне кажется, что все мы обязаны делиться с миром лучшим, что есть в нас!.. Я мог дать миру только розы!.. Но вы? Вам дано так много! А что выдали миру? Что вы дадите ему?

— Что я дала? Что дам?! Плюю я на него! Никуда он не годится! И дела мне нет до него! Снабжайте его розами — вас только на это и хватит! Пусть себе орешник даст ему орехи, коровы и овцы — молоко, у них

своя публика! Моя же — во мне самой! Я замкнусь в себе самой и — баста! Мне нет дела до мира!

И улитка заползла в свою раковину и закрылась там. — Как это грустно! — сказал розовый куст. — А я так вот и хотел бы, да не могу замкнуться в самом себе; у меня все просится наружу, я должен цвести! Розы мои опадают и разносятся по ветру, но я видел, как одну из них положила в молитвенник мать семейства, другую приютила у себя на груди прелестная молодая девушка, третью целовали улыбающиеся губки ребенка!.. И я был так счастлив! Вот мои воспоминания, в них — моя жизнь!

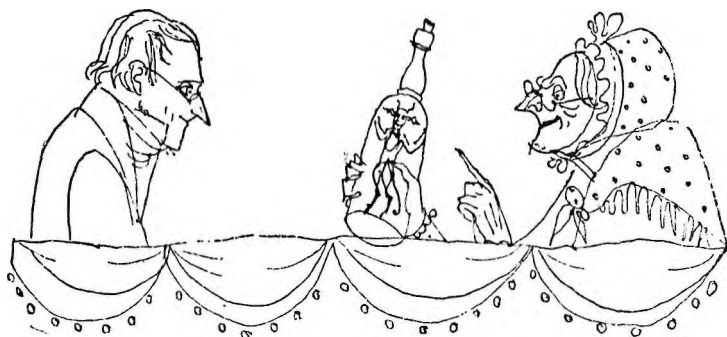
И розовый куст цвел и благоухал, полный невинной радости и счастья, а улитка тупо дремала в своей раковине, — ей не было дела до мира.

Года шли за годами.

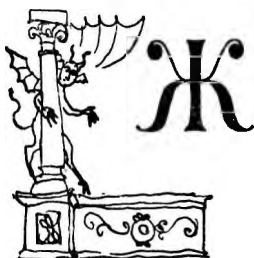
Улитка стала землей в земле, розовый куст стал землей в земле, роза воспоминания истлела в молитвеннике... Но в саду цвели новые розовые кусты, под ними ползали новые улитки; они заползали в свои домики и плевались — им не было дела до мира!

Не рассказать ли эту историю сначала? Она не меняется!





### «БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ В ГОРОДЕ!»



ил-был человек. Он когда-то знал много-много новых сказок, но теперь запас их, по словам его, истощился. Сказка, которая является сама собою, не приходила больше и не стучалась к нему в двери. Почему? По правде-то сказать, он сам несколько лет не вспоминал о ней и не поджидал ее к себе в гости. Да она, конечно, и не приходила:

была война, и в стране несколько лет стояли плач и стон, как и всегда во время войны.

Аисты и ласточки вернулись из дальнего странствования, — они не думали ни о какой опасности; но явиться-то они явились, а гнезд их не оказалось больше: они сгорели вместе с домами. Границы страны были почти стерты, неприятельские кони топтали древние могилы. Тяжелые, печальные то были времена! Но и им пришел конец.

Да, им пришел конец, а сказка и не думала стучаться в двери к сказочнику; и слуха о ней не было!

«Пожалуй, и сказкам пришел конец, как многому другому! — вздыхал сказочник. — Но нет, сказка ведь бессмертна!»

Прошел год с чем-то, и сказочник стал тосковать.

«Неужели же сказка так и не придет, никогда больше не постучится ко мне?» И она воскресла в его памяти, как живая. В каких только образах она ему не являлась! То в образе прелестной молодой девушки, олицетворенной весны, с сияющими, как глубокие лесные озера, очами, увенчанной диким яминником, с буковой ветвью в руке. То в образе коробейника, который, открыв свой короб с товарами, развеивал перед ним ленты, испещренные стихами и преданиями старины. Милее же всего было ему ее появление в образе старой, убеленной сединами бабушки с большими, умными, светлыми глазами. Вот у нее так был запас рассказов о самых древнейших временах, куда древнее тех, когда принцессы еще пряли на золотых прялках, а их сторожили драконы и змеи! И она передавала их так живо, что у слушателя темнело в глазах, а на полу рисовались кровавые пятна. Жутко было слушать, и все-таки куда как занятно! Все это было ведь так давно-давно!

«Неужели же она так-таки и не постучится больше?» — спрашивал себя сказочник, не сводя взгляда с двери. Под конец у него потемнело в глазах, а на полу замелькали черные пятна; он и сам не знал, что это — кровь или траурный креп, в который облеклась страна после тяжелых, мрачных дней скорби.

Сидел он, сидел, и вдруг ему пришла мысль: а что, если сказка скрывается, как принцесса добрых старинных сказок, и ждет, чтобы ее разыскали? Найдут ее, и она засияет новой красою, лучше прежнего!

«Кто знает! Может быть, она скрывается в брошенной соломинке, колеблющейся вон там, на краю колодца? Тише! Тише! Может быть, она спряталась в высохший цветок, что лежит в одной из этих больших книг на полке?»

Сказочник подошел к полке и открыл одну из новейших просветительных книг. Не тут ли сказка? Но там не было даже ни единого цветка, а только исследование о Хольгере Датчанине. Сказочник стал читать и прочел, что история эта — плод фантазии одного французского монаха, роман, который потом взяли да перевели и «тиснули на датском языке», что Хольгера Датчанина вовсе и не существовало никогда, а следовательно, он никогда и не появится опять, о чем мы поем и чему так охотно верим. Итак, Хольгер Датчанин, как и Вильгельм Телль,

оказывался одним вымыслом! Все это было изложено в книге с подобающею ученостью.

— Ну, а я во что верю, в то и верю! — сказал сказочник. — Без огня и дыма не бывает!

И он закрыл книгу, поставил ее на полку и подошел к живым цветам, стоявшим на подоконнике. Не тут ли спряталась сказка? Не в красном ли тюльпане с желтыми краешками, или, может быть, в свежей розе, или в яркой камелии? Но между цветами прятались только солнечные лучи, а не сказка.

«Цветы, росшие тут в тяжелое, скорбное время, были куда красивее, но их срезали все до единого, сплели из них венок и положили в гроб, который накрыли распущенным знаменем. Может быть, с теми цветами схоронили и сказку? Но цветы знали бы о том, самый гроб, самая земля почувствовали бы это! Об этом рассказала бы каждая пробившаяся из-под земли былинка! Нет, сказка умереть не может! Она бессмертна!..

А может быть, она и приходила сюда, стучалась в дверь, но кому было услышать ее стук, кому было дело до нее? В то мрачное время и на весеннее солнышко-то смотрели чуть ли не с озлоблением, сердились, кажется, даже на щебетание птишек, на жизнерадостную зелень! Язык не поворачивался тогда пропеть хоть одну из старых, увядающих народных песен, их схоронили вместе со многими, что было так дорого сердцу! Да, сказка отлично могла стучаться в двери, но никто не слышал этого стука, никто не пригласил ее войти, она и ушла!

Придется пойти поискать ее!

Скорее за город! В лес, на берег моря!»

За городом стоит старый замок; стены сложены из красного кирпича, на башне развевается флаг. В тонковырезной листве букowych деревьев пост соловей, любующь на цветы яблони и думая, что перед ним розы. Летом здесь суетятся пчелы, носясь гудящим роем вокруг своей царицы, а осенью бури рассказывают о дикой охоте, об увядающих и опадающих человеческих поколениях и листьях. На рождестве сюда доносится с моря пение диких лебедей, а в самом старом доме в это время так уютно, так приятно сидеть у изразцовой печки и слушать сказки и предания!

В нижней, старой части сада находилась каштановая аллея, так и манившая своим полумраком. Туда-то и направился сказочник. Здесь некогда прогудел ему ветер о Вальдемаре До и его дочерях, а дриада, обитавшая в дереве — это и была сама бабушка-сказка, — рассказала последний сон старого дуба. Во времена прабабушки здесь росли подстриженные кусты, теперь же — только папоротник да крапива. Они разрослись над валявшимися тут обломками старых каменных статуй. Глаза статуй заросли мхом, но видели они не хуже прежнего, а вот сказочник и здесь не увидел сказки.

Куда же, однако, она девалась?

Высоко над его головой и над старыми деревьями носились стаи ворон и каркали: «Кра-кра! Прочь! Прочь!»

Он и ушел из сада на вал, окружавший дом, а оттуда — в ольховую рощу. Здесь стоял шестиугольный домик, при котором был птичий двор. В горнице сидела старуха, смотревшая за птицею; у нее было на счету каждое снесенное яйцо, каждый вылупившийся цыпленок, но все-таки она не была сказкой, которую разыскивал наш сказочник, — на это у нее имелись доказательства: метрическое свидетельство и свидетельство о привитии оспы; оба хранились в ее сундуке.

Неподалеку от домика возвышался холм, поросший терном и желтой акацией. Тут же лежал старый могильный памятник, привезенный сюда много лет тому назад со старого кладбища как память об одном из честных отцов города. Памятник изображал его самого, а вокруг него были высечены из камня его супруга и пять дочерей, все со сложенными руками и в высоких стоячих воротничках. Долгое, пристальное созерцание памятника действовало на мысли, а мысли, в свою очередь, действовали на камень, и тот начинал рассказывать о старине. Так по крайней мере бывало с человеком, разыскивавшим сказку. Придя сюда, он увидел на лбу каменного отца города живую бабочку. Вот она взмахнула крылышками, полетела-полетела и уселась на травку неподалеку от памятника, как бы желая обратить внимание сказочника на то, что там росло. А рос там четырехлиственный клевер; да не одна такая былинка, а целых семь, одна подле другой. Да, счастье коли привалит, так уж привалит разом! Сказочник сорвал их все и сунул себе в карман. Счастье ведь не хуже наличных, но новая хорошая сказка была бы,



однако, еще лучше, думалось сказочнику. Сказки-то он, однако, так и не нашел.

Солнце садилось, большое, красное; луга дымились — болотница варила пиво.

Свечерело. Сказочник был один в своей комнате и смотрел через сад и луг на болото и морской берег. Ярко светил месяц; над лугами стоял такой туман, что луг казался огромным озером. Он и был им когда-то, гласили предания; теперь же благодаря лунному свету предание превратилось в действительность. Сказочнику вспомнилось то, что он прочел сегодня в книге о Вильгельме Телле и Хольгере Датчанине — будто они никогда не существовали. Они, однако, жили в народном поверье, как вот и это озеро, вновь ставшее вдруг действительностью! Значит, и Хольгер Датчанин может воскреснуть!

В эту минуту что-то сильно стукнуло в окно. Что это? Птица, летучая мышь, сова? Ну, таким гостьям не отворяют, даже если они стучатся в дом! Но вдруг окно распахнулось само собою, и в него просунулась старушечья голова.

— Это еще что? — спросил сказочник. — Кто это? И как она может заглянуть в окно второго этажа? Что она, на лестнице стоит?

— У вас в кармане четырехлистный клевер! — отозвалась старуха. — У вас даже целых семь таких былинков, и одна из них шестилистная!

— Кто ты? — спросил ее сказочник.

— Болотница! — ответила она. — Болотница, что варит пиво. Я и возилась с пивом, да один из болотных чертенят расшалился, выдернул из бочки втулку и бросил ее сюда во двор, прямо в окно. Теперь пиво так и бежит из бочки, а это невыгодно.

— А скажите... — начал было сказочник.

— Пойдите маленько! — прервала его болотница. — Теперь у меня есть дело поважнее! — И она исчезла.

Сказочник только что собрался затворить окно, как старуха показала опять.

— Ну вот дело и сделано! — сказала она. — Остальную половину пива я доварю завтра, коли погода будет хороша. О чем же вы хотели спросить меня? Я вернулась потому, что всегда держу слово, да к тому же у вас в кармане семь былинков четырехлистного клевера, из которых

одна даже шестилистная, — это внушает уважение! Такой четырехлистник — что твой орден; правда, он растет прямо у дороги, но находит-то его не всякий! Так что же вы хотели спросить? Ну, не мямлите же, я тороплюсь!

Сказочник и спросил о сказке, спросил, не встречала ли ее болотница.

— Ох ты, пиво мое, пиво! — сказала старуха. — Вы все еще не сыты сказками? А я так думаю, что они всем уж набили оскомину. Теперь у людей есть чем заняться другим! Даже дети-то, и те переросли сказки. Теперь подавайте мальчикам сигары, а девочкам кринолины, вот что им по вкусу! А то сказки?! Нет, теперь есть чем заняться поважнее!

— Что вы хотите сказать? — спросил сказочник. — И что вы знаете о людях? Вы ведь имеете дело только с лягушками да блуждающими огоньками!

— Да, берегитесь-ка этих огоньков! — сказала старуха. — Они теперь на воле! Вырвались! Об них-то мы и поговорим с вами! Только приходите ко мне на болото, а то меня там дело ждет. Там я и расскажу вам обо всем. Но торопитесь, пока ваши четырехлистные да одна шестилистная былинки клевера не завяли и месяц не зашел.

И болотница исчезла.

Башенные часы пробили двенадцать, и не успели еще они пробить четверть первого, как сказочник, выйдя из дома и миновав сад, стоял на лугу. Туман улегся. Болотница кончила варку пива.

— Долгонько же вы собирались! — сказала ему она. — Нечистая сила куда проворнее людей; я рада, что родилась болотницею!

— Ну, что же вы мне скажете? — спросил сказочник. — Что-нибудь о сказке?

— Вы ни о чем другом и говорить не можете? — ответила старуха.

— Так речь пойдет о поэзии будущего?

— Только не залетайте слишком высоко! — сказала болотница. — Тогда я и буду с вами разговаривать. Вы только и бредите поэзией, говорите только о сказке, точно она всему миру голова! А она хоть и постарше всех, да считается-то самою младшею, вечно юною! Я хорошо знаю ее! И я когда-то была молода, а молодость ведь не то, что детская болезнь. И я когда-то была хорошенькою лесною девой, плясала вместе с подругами при лунном свете, заслушивалась соловья, бродила по лесу и не раз

встречала девицу-сказку, — она вечно шатается по свету. То она ночует в полураспустившемся тюльпане, то в желеде, то шмыгнет в церковь и закутается там в креп, ниспадающий с подсвечников на алтарь!

— Да, вы очень сведущи! — заметил сказочник.

— Должна же я знать по крайней мере с ваше! — отозвалась болотница. — Поэзия и сказка — обе одного поля ягоды, и пора им обeim убираться подобру-поздорову! Их теперь можно отлично подделать; и дешево и сердито выходит! Хотите, я дам вам их сколько вам угодно задаром! У меня полный шкаф поэзии в бутылках. В них налита эссенция, самый экстракт поэзии, извлеченный из разных корней — и горьких и сладких. У меня имеются все сорта поэзии, в которой нуждаются люди. По праздникам я употребляю эти эссенции вместо духов — лью несколько капель на носовой платок.

— Удивительные вещи вы рассказываете! — проговорил сказочник. — Так у вас поэзия разлита по бутылкам?

— И у меня ее столько, что вам и не переварить! — ответила старуха. — Вы ведь знаете историю о девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать новых башмачков? Она и написана и напечатана.

— Я сам рассказал ее! — сказал сказочник.

— Ну, так вы знаете ее и знаете, что девочка провалилась сквозь землю, ко мне в пивоварню, как раз в то время, когда у меня была в гостях чертова прабабушка; она пришла посмотреть, как варят пиво, увидела девочку и выпросила ее себе в истуканы, на память о посещении пивоварни. Чертова прабабушка получила что желала, меня же отдала такую вещь, которая мне совсем не ко двору! Она изволила подарить мне дорожную аптечку, шкаф, полнехонький бутылок с поэзией! Прабабушка сказала, где надо поставить шкаф, — там он и стоит до сих пор. Взгляните! У вас в кармане семь четырехлистных былинки клевера, из которых одна даже шестилистная, так вам можно взглянуть!

И в самом деле, посреди болота лежало что-то вроде большого ольхового пня, но оказалось, что это-то и есть прабабушкин шкаф. Он был открыт для самой болотницы и для всякого, кто только знал, где должен стоять шкаф<sup>1</sup>, сказала болотница.

---

<sup>1</sup> «Он знает, где должен стоять шкаф», — говорят у датчан о человеке, который твердо знает, чего он хочет.

Шкаф открывался и спереди и сзади, со всех сторон и углов. Прехитрая штука! И все же на вид он был ни дать ни взять старый ольховый пенёк! Тут имелись в искусных подделках всевозможные поэты, но преобладали все-таки наши, местные. Из творений каждого был извлечен самый их дух, квинтэссенция их содержания; затем, добытое было раскритиковано, обновлено, сконцентрировано и закупорено в бутылку. Руководимая высоким инстинктом, — как принято говорить в тех случаях, когда нежелательно назвать это гениальностью, — чертова прабабушка отыскивала в природе то, что отзывалось тем или другим поэтом, прибавляла немножко чертовщины и таким образом запасалась поэзией данного рода.

— Ну, покажите же мне эту поэзию! — попросил сказочник.

— Сперва вам надо послушать кое о чем поважнее! — возразила болотница.

— Да ведь мы как раз у шкафа! — сказал сказочник и заглянул в шкаф. — Э, да тут бутылки всех размеров! Что в этой? Или в этой?

— В этой так называемые майские духи. Я еще не нюхала их, но знаю, что стоит чуть плеснуть из этой бутылки на пол, и сейчас перед тобой будет чудное лесное озеро, поросшее кувшинками и дикой мятой. Если же капнуть всего капельки две на тетрадку ученика, хотя бы из самого младшего класса, в тетрадке окажется такая душистая комедия, что хоть сейчас ставь ее на сцену да засыпай под нее — так сильно от нее пахнет! На бутылке написано: «По рецепту болотницы» — вероятно, из вежливости ко мне!

А вот бутылка со скандальной поэзией. С виду в ней налита одна грязная вода. Так оно и есть, но к этой воде подмешан шипучий порошок из городских сплетен, три лота лжи и два грана истины, все это перемешано березовым прутом — не из розог, помоченных в рассоле и обрызганных кровью преступника, даже не из пучка школьных розог, нет, просто из метлы, которою прочищали сточную канаву.

Вот бутылка с минорно-набожною поэзией. Каждая капля издает визг, напоминающий скрипение ржавых петель в воротах ада; извлечена же эта эссенция из пота и крови самобичующихся. Поговаривают, правда, что это только голубиная желчь, но другие спорят, что голубь —

птица благочестивая, и в ней даже желчи нет; видно, что эти мудрецы не учились естественной истории!

Потом сказочник увидел еще бутылку. Вот так была бутылка! Из бутылок бутылка! Она занимала чуть не половину шкафа; это была бутылка с «Обыкновенными историями». Горлышко ее было обвязано свиною кожей и обтянуто пузырем, чтобы эссенция не выдохлась. Каждый народ мог добыть из нее свой национальный суп, — все зависело от того, как повернуть и тряхнуть бутылку. Тут был и старинный немецкий кровяной суп с разбойничьими клецками, и жиденький датский супец, сваренный из настоящих надворных советников вместо корней; на поверхности его плавали философские жирные точки. Был тут также и английский гувернантский суп, и французский *rotage à la Cosc*, сваренный из петушьей ноги и воробьиного яйца и на датском языке носящий название суп канкан. Лучшим же из всех супов был копенгагенский. Так по крайней мере считали сами копенгагенцы.

В бутылке из-под шампанского содержалась трагедия; она могла и должна была вышибать пробку и хлопать; комедия же была похожа на мелкий-мелкий песок, пыль, которую можно было бы пустить людям в глаза; это была, конечно, высокая комедия. Низкая комедия, впрочем, тоже имелась в особой бутылке, но она состояла из одних афиш будущего репертуара, в которых название пьесы играло главную роль. И тут попадались замечательные названия; например: «В морду!», «Душка-скотина!», «Пьяна в стельку!»

Сказочник слушал, слушал и совсем задумался, но мысли болотницы забегали вперед, и ей хотелось поскорее положить этому думанью конец.

— Ну, теперь насмотрелись на это сокровище! Знаете теперь, в чем тут дело! Но есть кое-что поважнее, чего вы еще не знаете: блуждающие огоньки в городе! Это поважнее всякой поэзии и сказки. Мне бы следовало, конечно, держать язык за зубами, но судьба сильнее меня, на меня точно нашло что-то, язык так вот и чешется! Блуждающие огоньки в городе! Вырвались на волю! Берегитесь их, люди!

— Ни слова не понимаю! — сказал сказочник.

— Присядьте, пожалуйста, на шкаф! — сказала старуха. — Только не провалитесь в него да не перебейте бутылки! Вы ведь знаете, что в них. Я расскажу вам сей-

час о великом событии; случилось оно не далее, как вчера, но случалось и прежде. Длиться же ему еще триста шестьдесят четыре дня. Вы ведь знаете, сколько дней в году? — И она повела рассказ. — Вчера в болоте была такая суета! Праздновали рождение малюток! Родилось двенадцать блуждающих огоньков из того сорта, что могут по желанию вселяться в людей и действовать между ними как настоящие люди. Это великое событие в болоте, вот почему по болоту и лугу и началась пляска. Плясали все блуждающие огоньки — и мужского и женского пола. Среди них есть и женский пол, но о нем не принято упоминать. Я сидела на шкафу, держа на коленях двенадцать новорожденных огоньков. Они светились, как светлячки, начинали уже подпрыгивать и с каждой минутой становились все больше и больше. Не прошло и четверти часа, как все они стали величиной со своих папаш или дядюшек. По древнему закону блуждающие огоньки, родившиеся в такой-то час и минуту, при таком именно положении месяца, какое было вчера, и при таком ветре, какой дул вчера, пользуются особым преимуществом принимать человеческий образ и действовать как человек — но, конечно, сообразно с своею натурой — целый год. Такой блуждающий огонек может обежать всю страну, даже весь свет, если только не боится упасть в море или погаснуть от сильного ветра. Он может прямехонько вселиться в человека, говорить за него, двигаться и действовать по своему усмотрению. Он может избрать для себя любой образ, вселиться в мужчину или женщину, действовать в их духе, но сообразно своей натуре. Зато в продолжение года он должен совратить с прямого пути триста шестьдесят пять человек, да совратить основательно. Тогда блуждающий огонек удостоивается у нас высшей награды: его жалуют в скороходы, что бегут перед парадною колесницей черта, одевают в огненно-красную ливрею и даруют ему способность изрыгать пламя прямо изо рта! А простые-то блуждающие огоньки глядят на это великолепие да только облизываются! Но честолюбивому огоньку предстоит тоже немало хлопот и забот и даже опасностей. Если человек разгадает, с кем имеет дело, и сможет задуть огонек — тогда этот пропал: полезай назад в болото! Если же сам огонек не выдержит срока испытания, соскучится по семье, он тоже пропал: не может уже гореть так ярко, скоро потухает,

и — навсегда. Если же год пройдет, а он не успеет за это время совратить с пути истинного триста шестьдесят пять человек, его наказывают заключением в гнилушку: лежи себе там да свети, не шевелись! А это для шустрого блуждающего огонька хуже всякого наказания. Все это я знала и рассказала двенадцати молодым огонькам, которых держала на коленях, а они так и бесились от радости. Я сказала им, что вернее, удобнее всего отказаться от чести и ничего не делать. Но огоньки не захотели этого: все они уже видели себя в огненной ливрее и с пламенем изо рта! «Оставайтесь-ка дома!» — советовали им некоторые из старших. «Подурачьте людей! — говорили другие. — Люди осушают наши луга! Что будет с нашими потомками?»

— Мы хотим гореть, пламя нас возьми! — сказали новорожденные огоньки, и слово их было твердо.

Сейчас же устроился минутный бал, — короче балы уже не бывают! Лесные девы сделали по три тура со всеми гостями, чтобы не показаться спесивыми; вообще же они охотнее танцуют одни. Потом начали дарить новорожденным на зубок, как это называется. Подарки летели со всех сторон, словно в болото швыряли камушки. Каждая из лесных дев дала огонькам по клочку от своего воздушного шарфа.

— Возьмите их, — сказали они, — и вы сейчас же выучитесь труднейшим танцам и изворотам, которые могут понадобиться в минуту трудную, а также приобретете надлежащую осанку, так что не ударите лицом в грязь в самом чопорном обществе!

Ночной ворон выучил всех новорожденных огоньков говорить: «Браво! Браво!» — и говорить всегда кстати, а это ведь уж такое искусство, которое никогда не остается без награды. Сова и аист тоже кое-что обрели в болото, но «о такой малости не стоит и говорить», — заявили они сами, мы и не будем говорить. Тут как раз мимо пронеслась «дикая охота короля Вальдемара». Господа узнали, что за пир у нас идет, и прислали в подарок двух лучших собак; они мчатся с быстротою ветра и могут снести на спине хоть трех блуждающих огоньков. Две старые бабы-кошмарихи, которые промышляют ездой, тоже присутствовали на пиру и научили огоньков искусству пролезать в замочную скважину, — таким образом, перед ними были открыты все двери. Они предложили

также отвезти молоденьких огоньков в город, где знали все ходы и выходы. Обыкновенно кошмарихи ездят, сидя верхом на собственных косах, — они связывают их концы узелком, чтобы сидеть тверже. Теперь же они уселись верхом на диких охотничьих собак, взяли на руки молоденьких огоньков, которые отправлялись в свет соблазнять людей, и — марш! Все это было вчера ночью. Теперь блуждающие огоньки в городе и взялись за дело, но как, где? Да, вот скажите-ка мне! Впрочем, у меня большой палец на ноге что твой барометр и кое о чем да дает мне знать.

— Да это целая сказка! — воскликнул сказочник.

— Нет, только присказка, а сказка-то еще впереди! — ответила болотница. — Вот вы и расскажите мне, как ведут себя огоньки, какие личины на себя надевают, чтобы совращать людей?

— Я думаю, что об огоньках можно написать целый роман в двенадцати частях, по одной о каждом, или, еще лучше, народную комедию! — сказал сказочник.

— Ну и напишите! — сказала старуха. — Или лучше отложите попечение!

— Да, оно, пожалуй, и удобнее и приятнее! — отозвался сказочник. — По крайней мере тебя не будут трепать в газетах, а от этого ведь приходится иной раз так же тяжело, как блуждающему огоньку — от сидения в гнилушке!

— Мне-то все едино! — сказала старуха. — А лучше все-таки предоставьте писать об этом другим — и тем, кто может, и тем, кто не может! Я же дам им старую втулку от моей бочки; ею закрыт теперь шкаф с поэзией, разлитую по бутылкам. Пусть черпают оттуда все, чего у них самих не хватает. Ну, а вы, милый человек, помоему, довольно попачкали себе пальцы чернилами, да и в таких уже годах, что пора вам перестать круглый год гоняться за сказкой! Теперь есть чем заняться поважнее. Вы ведь слышали, что случилось?

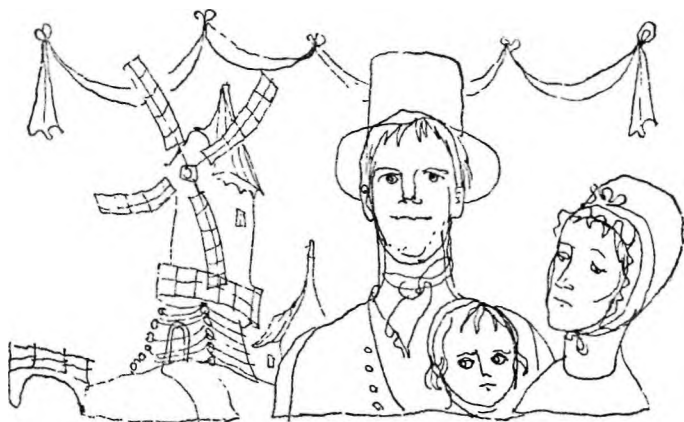
— Блуждающие огоньки в городе! — ответил сказочник. — Слышать-то я слышал и понял! Но что же мне, по-вашему, делать? Меня забросают грязью, если я скажу людям: «Берегитесь, вон идет блуждающий огонек в почетном мундире!»



— Они ходят и в юбках! — сказала болотница. — Блуждающие огоньки могут принимать на себя всякие личины и являться во всех местах. Они ходят и в церковь — не ради молитвы, конечно! Пожалуй, кто-нибудь из них вселится в самого пастора! Они произносят речи и на выборах, но не ради пользы страны и государства, а ради своей собственной пользы. Они вмешиваются и в искусство, но удастся им утвердить там свою власть — прощай искусство! Однако я все болтаю да болтаю, язык у меня так и чешется, и я говорю во вред своей же семье! Но мне, видно, на роду написано быть спасительницей рода человеческого! Конечно, я действую не по доброй воле и не ради медали! Что ни говори, однако, я творю глупости: рассказываю все поэту — скоро об этом узнает и весь город!

— Очень ему нужно знать это! — сказал сказочник. — Да ни один человек и не поверит этому! Скажи я людям: «Берегитесь! Блуждающие огоньки в городе!» — они подумают, что я опять сказки рассказывать принялся!





## ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА



**Н**а холме горделиво возвышалась мельница; она таки и была горда.  
— И вовсе я не горда! — говорила она. — Но я очень просвещена и снаружи и внутри. Солнце и месяц к моим услугам и для внутреннего и для наружного употребления; кроме того, у меня есть в запасе стеариновые свечи, лампы с ворванью и сальные свечи. Смею сказать, что я просвещена! Я существо мыслящее и так хорошо устроена, что просто люблю. В груди у меня отличный жернов, а на голове, прямо под шляпой, четыре крыла. У птиц же всего по два крыла, и они таскают их на спине! Я голландка родом — это видно по моей фигуре, — «летучая голландка!» «Летучий голландец», я знаю, явление сверхъестественное, но во мне нет ничего неестественного! Вокруг живота у меня идет целая галерея, а в нижней части — жилое помещение. Там живут мои мысли. Главная, которая всем заправляет, зовется остальными мыслями «хозяином». Он знает, чего хочет, стоит куда выше крупы и муки, но и у него есть ровня: зовут

ее «хозяйкою». Она — душа всего дела; у нее губа вообще не дура, она тоже знает, чего хочет, и знает, что ей по силам; нежна она, как дуновение ветерка, сильна, как буря, и умеет добиваться своего исподволь. Она моя чувствительная сторона, хозяин же — положительная; но оба они составляют, в сущности, одно и зовут друг друга «своею половиной». Есть у них и малютки, маленькие мысли, которые могут со временем вырасти. Малыши эти поднимают порою такую возню! На днях, я умно и рассудительно позволила хозяину и его подручному исследовать в моей груди жернова и колеса, — я чувствовала, что там что-то неладно, а ведь нужно же знать, что происходит в тебе самой! Так вот, малыши подняли тогда такую возню! А это некстати, если стоишь так высоко, как я! Надо же помнить, что стоишь на виду и при полном освещении; суд людской — то же освещение! Да, что, бишь, я хотела сказать? Ах да, — малыши ужасно развозились! Самый младший добрался до моей шляпы и принялся трещать языком так, что у меня зашекотало внутри. Но маленькие мысли могут вырасти, я это испытала. Да и извне могут прийти мысли, и не совсем моей породы: я, как далеко ни смотрю кругом, нигде не вижу себе подобной, никого, кроме себя! Но и в бескрылых домах, где мелют без жерновов, одними языками, тоже водятся мысли. Эти мысли приходят к моим и выходят за них замуж — как они это называют. Удивительно! Да, много есть на свете удивительного. Вот, например: со мной или во мне что-то совершилось, что-то как будто изменилось в механизме. Мельник как будто переменял свою половину на более нежную, молодую, любящую и сам стал оттого мягче душою; половина его как будто изменилась, а в сущности, осталась тою же самою, только смягчилась с годами. И вот все горькое улетучилось, и дело пошло еще лучше. Дни идут за днями, все вперед да вперед, на радость и счастье, и вот наконец — да об этом и сказано и написано в книгах — придет день, когда меня не станет, и все-таки я останусь! Я разрушусь, чтобы восстать вновь в еще лучшем виде. Я перестану существовать — и все-таки буду продолжать существовать. Стану другою — и в то же время останусь сама собою! Мне трудно понять это, как ни просвещена я солнцем, луною, стеарином, ворванью и салом! Но я твердо знаю, что мои старые бревна и кирпичи восстанут из мусора. Надеюсь, что я сохраню и свои старые

мысли: хозяйина, хозяйку, всех больших и малых, всю семью, как я называю их, всю мыслящую компанию, — без них я не могу обойтись! Надеюсь тоже, что я останусь самую собою, такую, какова я есть, с жерновом в груди, крыльями на голове и галереею вокруг живота, а не то и я не узнаю самое себя, да и другие не узнают меня и не скажут больше: «Вот у нас на холме гордо возвышается мельница, но сама-то она вовсе не горда!»

Так вот что говорила мельница; говорила она и еще много чего, но это главное.

И дни шли за днями, и последний из них был для нее последним.

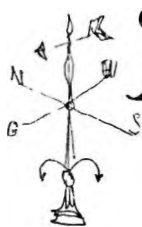
Мельница загорелась. Пламя вспыхнуло, бросилось наружу, внутрь, лизнуло бревна и доски, а потом и пожрало их все. Мельница обрушилась, и от нее осталась одна зола; пожарище еще дымилось, но скоро ветер развеял дым.

С живыми обитателями мельницы ничего не случилось при этой оказии; они только выиграли. Семья мельника — одна душа, много голов, составлявших одно целое, — приобрела новую, чудесную мельницу, которою могла быть вполне довольна. Мельница была с виду точь-в-точь такая же, как старая, и о ней тоже говорили: «Вон на холме гордо возвышается мельница!» Но эта была устроена лучше, более современно, — все ведь идет вперед. Старые же бревна, источенные червями, ислели, превратились в прах, в золу, и тело мельницы не восстало из праха, как думала она. Она понимала все сказанное в буквальном смысле, а нельзя же все понимать буквально!





## СЕРЕБРЯНАЯ МОНЕТКА



**Ж**ила-была монетка. Она только что вышла из чеканки, чистенькая, светленькая, покатилась и зазвенела: — Ура! Теперь пойду гулять по белу свету! — И пошла.

Ребенок крепко сжимал ее в своем тепленьком кулачке, скряга тискал холодными, липкими пальцами, люди постарше вертели и поворачивали и руках много раз, а молодежь живо ставила ребром и катила дальше. Монетка была серебряная, меди в ней было очень мало, и вот она уже целый год гуляла по белу свету, то есть по той стране, где была отчеканена. Потом она отправилась путешествовать за границу и оказалась последнею родной монеткою в кошельке путешественника. Но он и не подозревал о ее существовании, пока она сама не попалась ему под руку.

— Вот как! У меня еще осталась одна наша родная монетка! — сказал он. — Ну, пусть едет со мною путешествовать! — И монетка от радости подпрыгнула и зазвенела, когда он сунул ее обратно в кошелек. Тут ей

пришлось лежать с иностранными товарками, которые все сменялись: одна уступала место другой, а наша монетка все оставалась в кошельке; это уж было некоторого рода отличием!

Прошло много недель. Монетка заехала далеко-далеко от родины, но куда — не знала. Она только слышала от соседок, что они француженки или итальянки, что они теперь в таком-то или таком-то городе, но сама не имела о том никакого представления: не много увидишь, сидя в мешке, как она! Но вот однажды монетка заметила, что кошелек не закрыт; ей вздумалось хоть одним глазком поглядеть на мир, и она проскользнула в щелочку. Не следовало бы ей этого делать, да она была любопытна, ну и это не прошло ей даром! Она упала в карман брюк. Вечером кошелек из кармана вынули, а монетка осталась лежать там, где лежала. Брюки вынесли в коридор чистить, и тут монетка вывалилась из кармана на пол; никто не слышал, никто не видал этого.

Утром платье опять внесли в комнату; путешественник оделся и уехал, а монетка осталась. Вскоре ее нашли на полу, и ей предстояло опять поступить на службу; она очутилась вместе с тремя другими монетками.

«Вот славно-то! Опять пойду гулять по свету, увижу новых людей, новые обычаи!» — подумала монетка.

— Это что за монетка? — послышалось в ту же минуту. — Это не наша монета. Фальшивая! Никуда не годится!

Тут-то и началась для монетки история, о которой она сама потом рассказывала.

— «Фальшивая! Никуда не годится!» Меня так и пронизало насквозь! — рассказывала она. — Я же знала, что я чисто серебряная, хорошего звона и настоящей чеканки! Верно, люди ошиблись, — не могли они так отзываться обо мне! Однако они говорили именно про меня! Это меня называли фальшивою, это я никуда не годилась! «Ну, я сбуду ее с рук в сумерках!» — сказал мой хозяин и сбыл-таки. Но при дневном свете меня опять принялись бранить: «Фальшивая!», «Никуда не годится!», «Надо ее поскорее сбить с рук!»

И монетка дрожала от стыда и страха всякий раз, как ее подсовывали кому-нибудь вместо местной монеты.

— Ах, несчастная я монетка! Что толку в моем серебре, в моем достоинстве, чеканке, когда все это ни к

чему! В глазах света останешься тем, за кого он тебя примет! Как же, должно быть, ужасно иметь нечистую совесть, пробиваться вперед нечистыми путями, если мне, ни в чем не повинной, так тяжело потому только, что я кажусь виновного!.. Переходя в новые руки, я всякий раз трепещу того взгляда, который упадет на меня сейчас: я ведь знаю, что меня сейчас же отшвырнут в сторону, бросят, точно я обманщица!

Раз я попала к одной бедной женщине; она получила меня в уплату за тяжелую поденную работу. Но ей-то уж никак не удавалось сбить меня с рук, — никто не хотел брать меня; я была для бедняги сущим несчастьем.

«Право, поневоле придется обмануть кого-нибудь! — сказала женщина. — Где мне, при моей бедности, беречь фальшивые деньги! Отдам-ка ее богатому булочнику, он-то не разорится от этого! Но все-таки нехорошо это! Сама знаю, что нехорошо!»

«Ну, вот теперь я буду лежать на совести у бедной женщины! — вздохнула я. — Неужели же я в самом деле так изменилась от времени?»

И женщина отправилась к богатому булочнику, но он слишком хорошо знал все монеты, и мне не пришлось долго лежать там, куда меня положили, — он швырнул меня бедной женщине в лицо. Ей не дали за меня хлеба, и мне было так грустно, так грустно сознавать, что я отчеканена на горе другим! Это я-то, я, когда-то такая смелая, уверенная в себе, в своей чеканке, в хорошем звоне! И я так пала духом, как только может пасть монетка, которую никто не хочет брать. Но женщина принесла меня обратно домой, добродушно-ласково поглядела на меня и сказала:

«Не хочу я никого обманывать! Я пробью в тебе дырку, пусть каждый знает, что ты фальшивая... А впрочем... Постой, мне пришло на ум — может быть, ты счастливая монетка? Право, так! Я пробью в тебе дырочку, продерну шнурок и повешу на шейку соседкиной девочке — пусть носит на счастье!»

И она пробила во мне дырочку. Не особенно-то приятно быть пробитою, но ради доброй цели можно перенести многое. Через дырочку продернули шнурок, и я стала похожа на медаль. Меня повесили на шейку малютки; малютка улыбалась мне, целовала меня, и я всю ночь провела на тепленькой невинной детской груди.

Утром мать девочки взяла меня в руки, поглядела на меня и что-то задумала, — я сейчас же догадалась! Потом она взяла ножницы и перерезала шнурок.

— Счастливая монетка! — сказала она. — Посмотрим! — И она положила меня в кислоту, так что я вся позеленела, потом затерла дырку, немножко почистила меня и в сумерках пошла к продавцу лотерейных билетов купить на счастье билетик.

Ах, как мне было тяжело! Меня точно в тисках сжимали, ломали пополам! Я ведь знала, что меня обзовут фальшивую, осрамят перед всеми другими монетами, что лежат и гордятся своими надписями и чеканкою. Но нет! Я избежала позора! В лавке была такая толпа, продавец был так занят, что, не глядя, бросил меня в выручку, к другим монетам. Выиграл ли купленный за меня билет — не знаю, но знаю, что на другой же день меня признали фальшивую, отложили в сторону и опять отправили обманывать — все обманывать! А ведь это просто невыносимо при честном характере — его-то уж у меня не отнимут! Так переходила я из рук в руки, из дома в дом больше года, и всюду-то меня бранили, всюду-то на меня сердились. Никто не верил в меня, и я сама больше не верила ни в себя, ни в свет. Тяжелое выдалось для меня времечко!

Но вот однажды явился путешественник; ему, конечно, сейчас же подsunули меня, и он был так прост, что взял меня за здешнюю монету. Но когда он, в свою очередь, хотел расплатиться мною, я опять услышала крик: «Фальшивая! Не годится!»

«Мне дали ее за настоящую! — сказал путешественник и вгляделся в меня пристальнее. Вдруг на лице его появилась улыбка; а ведь глядя на меня уже давно никто не улыбался. — Нет, что же это! — сказал он. — Ведь это наша родная монетка, хорошая, честная монетка с моей родины, а в ней пробили дырку и зовут ее фальшивую! Вот забавно! Надо будет сберечь тебя и взять с собою домой!»

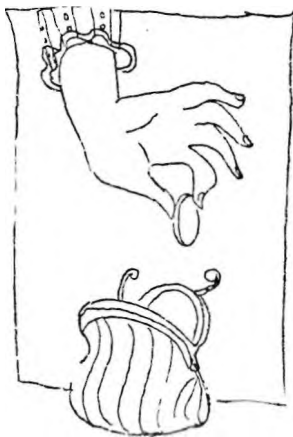
То-то я обрадовалась! Меня опять называют хорошею, честной монеткою, хотят взять домой, где все и каждый узнают меня, будут знать, что я чисто серебряная, настоящей чеканки! Я бы засверкала от радости искрами, да это не в моей натуре: искры испускает сталь, а не серебро.

Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими монетами и не затерять; вынимали



меня только в торжественных случаях, при встречах с земляками, и тогда обо мне отзывались необыкновенно хорошо. Все говорили, что я очень интересна. Забавно, что можно быть интересною, не говоря ни слова!

И вот я попала домой! Миновали мои мытарства, потекла счастливая жизнь. Я ведь была чисто серебряная, настоящей чеканки, и мне совсем не вредило, что во мне была пробита дырка, как в фальшивой: что за беда, если на самом деле ты не фальшивая! Да, надо иметь терпение: пройдет время, и все встанет на свои места. Уж в это я твердо верю! — Заключила свой рассказ монетка.





## ЕПИСКОП БЁРГЛУМСКИЙ И ЕГО РОДИЧ



**В**от мы и на севере Ютландии, севернее Дикого болота. Тут уже слышится вой моря. Слышно, как с грохотом катятся волны. Море ведь отсюда близехонько, но его загораживает от нас высокий песчаный холм. Холм этот давно у нас перед глазами, но мы все еще не доехали до него, медленно подвигаясь вперед по глубокому песку. На холме возвышается большое старинное здание — это бывший Бёрглумский монастырь. В самом большом флигеле его до сих пор церковь. Мы доберемся до вершины холма лишь поздно вечером, но погода стоит ясная, ночи светлые, так что можно видеть на много-много миль кругом. С холма открывается вид на поля и болота, на Ольборгский фиорд, на степи и луга и на темно-синее море.

Ну, вот мы и на холме, с грохотом катимся между гумном и овином и заворачиваем в ворота старого замка. Вдоль стен его — ряды лип; тут они защищены от ветра и непогоды и разрослись так, что почти закрыли все окна.

Мы поднимаемся по каменной витой лестнице, проходим по длинным коридорам под бревенчатыми потолками. Как странно гудит здесь ветер: снаружи или внутри — не разберешь. Жутко... А тут еще эти рассказы... Ну, да мало ли что рассказывают, мало ли что видят, когда боятся сами или хотят напугать других. Рассказывают, что давно умершие монахи скользят по коридорам в церковь, где идет обедня; звуки молитв прорываются сквозь вой ветра. Наслушаешься таких рассказов, и душою овладевает странное настроение: начинаешь думать о старине и так задумаешься, что невольно перенесешься в те времена.

О берег разбился корабль; слуги епископа уже на берегу; они не щадят тех, кого пощадил море: море смыывает с берега красную кровь, струящуюся из проломленных черепов. Выброшенный морем груз становится добычей епископа, а груза тут немало. Море выкатывает на берег бочки и бочонки с дорогим вином; все идет в погреба епископа, и без того битком набитые бочками с медом и пивом. Кухня его полным-полна биткою дичью, колбасами и окороками, в прудах плавают жирные лещи и караси. Богат и могуществен епископ Бёрглумский! Много у него земли и поместий, но ему все мало! Все должно преклоняться перед Олуфом Глобом!

В Тю умер его богатый родич. «Родич родичу хуже врага» — справедливость этой пословицы может подтвердить вдова умершего. Муж ее владел всеми землями в крае, кроме монастырских. Единственный сын находился в чужих краях; он был отослан туда еще мальчиком познакомиться с чужими нравами и обычаями, к чему так лежала его душа, но вот уже несколько лет о нем не было ни слуха ни духа. Может быть, он давно лежит в могиле и никогда не вернется больше на родину хозяйничать там, где хозяйничает его мать.

— Что смыслит в хозяйстве баба? — сказал епископ и послал ей вызов на народный суд — тинг. Но что из того толку? Вдова никогда не преступала законов, и сила права на ее стороне.

Епископ Олуф Бёрглумский, что замышляешь ты? Что пишешь на гладком пергаменте? Что запечатываешь восковою печатью и перевязываешь шнурком? Что за грамоту

отсылаешь с рыцарем и оруженосцем далеко-далеко, в папскую столицу?

Начался листопад, завывли бури, настала пора кораблекрушений, а вот и зима на дворе.

Два раза приходила она; в конце второй вернулись посланцы. Они вернулись из Рима с буллой от папы, предававшей проклятию вдову, оскорбительницу благочестивого епископа. «Пусть ляжет проклятие на нее и на все ей принадлежащее! Она отлучается от церкви и от людей! Да не протянет ей никто руки помощи, родные и друзья да бегут от нее, как от чумы и проказы!»

— Не гнется дерево, так его ломают! — сказал епископ Бёрглумский.

Все отвернулись от вдовы, но она не отвернулась от бога — он остался ее покровителем и защитником.

Только одна служанка, старая дева, осталась ей верна, и госпожа сама ходила вместе с нею за плугом. И хлеб уродился, даром что земля была проклята папою и епископом.

— Ах ты исчадие ада! Постой! Будет же по-моему! — говорит епископ. — Рукою папы я достану тебя и привлеку на суд!

Тогда вдова впрягает в телегу двух последних волов, садится на нее вместе со служанкою и едет по степи прочь из датской земли, в чужую страну, где все и всё ей чуждо: и люди, и язык, и нравы, и обычаи. Далеко-далеко заехала она, туда, где тянутся высокие зеленые горные склоны, растет виноград. Купцы, едущие с товарами, боязливо озираются со своих нагруженных возов, опасаясь нападения разбойничьих рыцарских шаек. А две бедные женщины на жалкой телеге, запряженной двумя черными волами, едут по опасной дороге и по густым лесам совершенно спокойно. Они теперь во Франции. Тут встречается им богато одетый рыцарь в сопровождении двенадцати оруженосцев. Он останавливается и смотрит на странную повозку, затем спрашивает женщин, откуда, куда и зачем они едут. Младшая из них называет датский город Тю, рассказывает про свое горе и обиду. Но тут и конец ее невзгодам! Так было угодно богу! Чужестранный рыцарь — сын ее! Он протягивает ей руки, обнимает ее, и мать плачет от радости, а она не плакала вот уже много лет — только кусала себе губы до крови.

Начался листопад, завывли бури, настала пора кораблекрушений; море катит в погреба епископа бочки с вином.

На вертелех в кухне жарится дичь. Уютно, тепло в замке, а на дворе мороз так и кусает. И вот разносится весть: Йенс Глоб из Тю вернулся домой вместе с матерью, Йенс Глоб вызывает епископа на суд божий и людской!

— Много он возьмет этим! — говорит епископ. — Оставь-ка лучше печенье, рыцарь Йенс Глоб!

Опять начался листопад, снова завывли бури, опять настала пора кораблекрушений; вот и зима на дворе. В воздухе порхают белые пчелы и жалят в лицо, пока не растают.

— Холодно сегодня! — говорят люди, побывав на дворе, Йенс Глоб стоит у огня, думает думу и прожигает большую дыру на своем широком плаще.

— Ну, епископ Бёрглумский! Я таки осилю тебя! Закон не может достать тебя под плащом папы, но Йенс Глоб достанет!

И он пишет своему зятю Олуфу Хасе Саллингскому письмо, назначает ему в сочельник утром свидание в Видбергской церкви. Епископ сам будет служить мессу, для чего и отправляется из Бёрглума в Тю. Йенс Глоб знает это.

Луга и болота покрыты льдом и снегом. Лед и снег окрепли настолько, что могут сдерживать лошадей со всадниками, целый поезд; то едет епископ с канониками и слугами. Они едут кратчайшею дорогою между хрупким тростником; печально шелестит в нем ветер.

Труби в свой медный рог, трубач в лисьей шубе! Звучи гулко разнесутся в морозном, ясном воздухе. Поезд подвигается вперед по степям и болотам, где летом расстилаются луга фата-морганы; направляется он к югу, к Видбергской церкви.

А ветер трубит в свой рог сильнее трубача. Вот завывла буря, разыгралась непогода. Путь епископа лежит к божьему дому. Дом божий стоит крепко, как ни свирепствует вокруг него над полями, над болотами, над фиордом и морем страшная буря. Епископ Бёрглумский доехал до церкви вовремя, а вот Олуфу Хасе вряд ли это удастся, хоть он и гонит лошадь изо всех сил. Он спешит со своей свитой на помощь Йенсу Глобу, вызвавшему епископа на суд всевышнего. И вот Олуф Хасе подъезжает к фиорду... Скоро дом божий станет судилищем, престол — судейским столом, в тяжелых медных подсвечниках затеплятся свечи, буря прочтет жалобу и приговор. Отголоски их разнесутся ко воздуху — над болотами, степью и бурным морем. Но через фиорд в такую погоду нет переправы!

Олуф Хасе останавливается у Оттесунда, отпускает своих людей, дарит им лошадей и вооружение, дает отпускные листы и велит сvezти поклон своей супруге. Один хочет он довериться бушующим волнам, а слуги пусть засвидетельствуют, что не его вина, если Йенс Глоб останется в Видбергской церкви без подкрепления. Но верные слуги не хотят отстать от своего господина и бросаются вслед за ним в глубокие волны. Десятеро из них тонут, но сам Олуф Хасе и еще двое отроков выплывают на противоположный берег. Им остается еще четыре мили пути.

За полночь. Канун рождества. Ветер улегся; церковь освещена. Яркий свет льется сквозь окна на луга и степь. Заутреня давно отошла. В церкви тишина; слышно, как каплет воск со свечей на каменный пол. Является Олуф Хасе.

В притворе встречает его Йенс Глоб.

— Здравствуй! Я помирился с епископом!

— Вот как! — отвечает Олуф. — Так ни ты, ни епископ не выйдете живыми из церкви!

И меч Олуфа Хасе сверкает из ножен, вонзается и расщепляет дверь, которую успел захлопнуть между собой и зятем Йене Глоб.

— Повремени, дорогой зять! Погляди сперва, каково примирение! Я убил епископа со всеми его людьми! Ни слова больше не проронят они, да и я не стану больше говорить о той обиде, что понесла моя мать!

Фитили восковых свечей горят красными языками; еще краснее свет разливается по полу. Тут плавает в крови епископ с раздробленным черепом; убиты и все его спутники. Тихо, безмолвно в Видбергской церкви в ночь под рождество.

На третий день праздника в Бёрглумском монастыре зазвонили в колокола. Убитый епископ и его слуги выставлены напоказ в церкви; тела покоятся под балдахином, кругом стоят обернутые крепом подсвечники. В парчовой ризе, с посохом в безжизненной руке, лежит епископ, некогда могущественный повелитель края. Курится ладан, монахи поют. В пении их звучат жалоба, злоба и осуждение. Ветер подтягивает им и разносит эти звуки по всей стране. Ветер утихает, успокаивается на время, но не навеки. Снова и снова он просыпается и опять принимается за свои песни. Он распевает их и в наше время,

поет здесь, на севере Ютландии, о епископе Бёрглумском и его родиче. Песни его слышатся темною ночью; испуганно внемлет им крестьянин, проезжающий по тяжелой песчаной дороге мимо Бёрглумского монастыря; внемлет им и бессонный обитатель толстенных покоев Бёрглума. Вот почему так странно и шелестит по длинным, гулким коридорам, ведущим к церкви. Вход в нее давно заложен, закрыт, но не для суеверных очей. Им мерещатся открытые двери: ярко горят свечи в паникадилах, курится ладан, церковь блещет прежним великолепием, монахи отпевают умершего епископа, что лежит в парчовой ризе, с посохом в бессильной руке. На бледном гордом челе зияет кровавая рана; она горит, как огонь; это пылают огнем грехи и дурные помыслы.

Прочь! Скройтесь в землю, покройте мраком забвения, ужасные воспоминания старины!

Прислушайся к порывам ветра; они заглушают шум катящихся волн морских. Разыгралась буря. Многим людям будет она стоить жизни! Нрав моря не изменился с годами. В эту ночь оно является всепоглощающею пастью, утром же, может быть, опять станет ясным оком, в котором можно видеть себя, как в зеркале. Так же бывало и в старину, которую мы только что схоронили. Спи же спокойно, если можешь!

Вот и утро.

Новые времена светят в нашу комнату вместе с лучами солнца. Ветер все еще бушует. Приносит весть о кораблекрушении, — то же бывало и в старину.

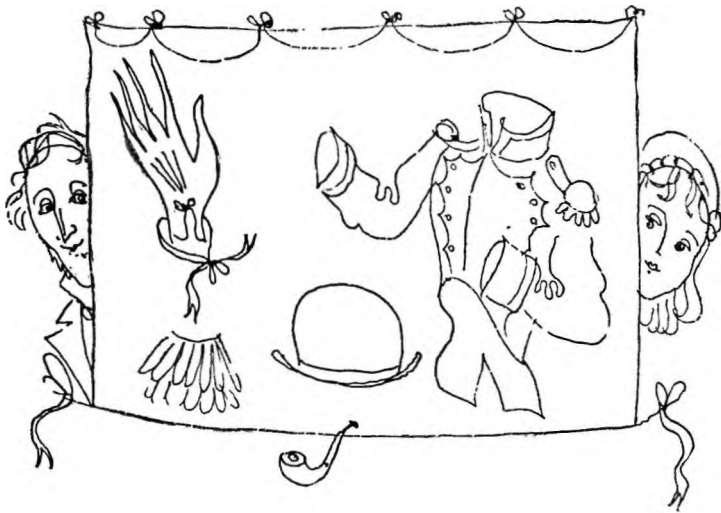
Ночью у Лёкке, маленькой рыбацкой слободки, застроенной домиками с красными черепичными крышами — ее видно отсюда, из окон, — разбился корабль. Он сел на мель далеко от берега, но спасительная ракета перебрала мост между тонущим судном и твердою землею. Все спасены, все на берегу и нашли себе приют и ночлег у рыбаков. Сегодня же их перевели в Бёрглумский монастырь. В уютных покоях их встречает радушный прием и привет на родном языке. С клавиш льются звуки родных мелодий, и не успеют еще они замереть, как зазвучит иная струна, безмолвная и в то же время полная звуков: вестник мыслей сообщит семьям потерпевших крушение в

чужой земле об их спасении. Родные успокоены; с души спасенных сваливается бремя, и в замке Бёрглум поднимаются пляс и веселье. Протанцуем же старинный вальс, споем песни о Дании и о «храбром ополченце» нового времени!

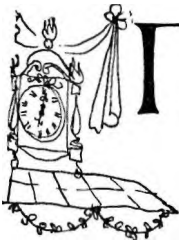
Благословенно будь ты, новое время! Вступай в страну, как новое лето! Свети своими лучами в сердца людей! Быстро промелькнут на твоём светлом фоне воспоминания о старых, суровых, жестоких временах!







## В ДЕТСКОЙ



**П**апаша с мамашей и все братья и сестры уехали в театр; дома остались маленькая Анна да ее крестный.

— Мы тоже устроим себе театр! — сказал он. — Сейчас же начнем представление.

— Да ведь у нас нет театра! — возразила Анна. — И представлять некому! Мои старая кукла не годится, она стала

такая гадкая, а новую нельзя взять — платьице изомнешь!

— Актеры всегда найдутся, если только не брезговать тем, что есть под рукой! — сказал крестный. — Ну, построим сначала театр. Вот сюда одну книжку, сюда другую, сюда третью, все три поставим вкось. Теперь по другую сторону еще три — вот и кулисы готовы. А этот старый ящик будет заднею стеною — мы повернем его сюда дном. Сцена, как всякий видит, представляет комнату. Теперь дело за актерами! Посмотрим-ка, не найдется ли чего подходящего в ящике с игрушками. Сначала надо отыскать действующих лиц, а потом уж сочинить пьесу; одно ведет

за собою другое, и выходит чудесно! Вот трубка без чубука, а вот перчатка без пары; пусть это будут папаша и дочка!

— Так это всего только два лица! — сказала Анна. — А вот старый мундирчик брата. Нельзя ли и его взять в актеры?

— Отчего же нет? Ростом-то он для этого вышел. Он будет у нас женихом. В карманах у него пусто — вот уж и интересная завязка: тут пахнет несчастною любовью!.. А вот еще половинка щипцов для орехов — ну, совсем сапог со шпорою. Топ, топ! То-то лихо он танцует мазурку! Он топает и прищелкивает! Он будет у нас немым женихом. Ну, какую ж пьесу ты хочешь? Драму или комедию из семейного быта?

— Комедию! — сказала Анна. — Все так любят комедии. А ты знаешь какую-нибудь?

— Целую сотню! — ответил крестный. — Самый большой успех имеют французские, но они неподходящи для девочек. Мы возьмем лучше какую-нибудь из своих: они все ведь на один лад. Ну, я встряхиваю мешок! «Кукареку! Обновись!» Вот теперь все комедии обновились! Слушай же, что написано в афише. — И крестный взял газету и стал читать, как будто по афише:

### «ТРУБКА И УМНЫЙ МАЛЫЙ»

*Комедия в одном действии*

Действующие лица:

Господин Трубка — отец.

Госпожа Перчатка — дочь.

Господин Мундир — милый.

Фон Сапог — немилый.

— Теперь начнем! Занавес поднят — у нас его нет, ну, значит, он поднят. Все лица налицо. Я поведу речь за папашу. Он сегодня сердит, — видишь, потемнел весь от курения!

«Вздор, вздор, ерунда! Я хозяин в доме! Я отец своей дочери! Извольте слушаться меня! Фон Сапог такая персона, что хоть глядись в него, как в зеркало! Он из сафьяна, да еще со шпорою! Трин-бринь! Тринь-бринь! Он и женится на моей дочери!»

— Теперь следи за Мундиром, Анна, — продолжал крестный. — Теперь он начнет. Он носит отложной воротничок, очень скромн, но сознает собственное достоинство и имеет право говорить так:

«На мне нет ни одного пятна! Добрые качества тоже надо принимать в расчет. А я ведь из самой добротной материи, да еще с галунами!»

«Ну, они только до свадьбы и продержатся. В стирке полиняють. — Это говорит опять господин Трубка. — Фон Сапог — тот непромокаем, из крепкой и в то же время тонкой кожи, может скрипеть, шелкать шпорою и похож на Италию!»

— Но они должны говорить стихами, — заметила Анна. — Будет так красиво!

— Можно и так, — ответил крестный. — Захочет публика, актеры заговорят и стихами. Ну, гляди же на барышню Перчатку, гляди, как она ломает пальчики:

«Лучше век мне быть без пары,  
Только бы избегнуть кары —  
Жизнь с постылым проводить!  
Мне того не пережить!  
Ох, ох, ох!  
Лопну, лопну, вот вам бог!»

«Вздор!» — Это уж отвечает папаша Трубка. А вот теперь говорит господин Мундир:

«Перчатка-душа,  
Ты так хороша!  
Ты мне суждена,  
Моей быть должна!»

Тут фон Сапог шаркает, топает, шелкает шпорою и опрокидывает три кулисы разом.

— Чудо как хорошо! — воскликнула Анна.

— Тсс! — сказал крестный. — Молчаливое одобрение говорит о высокой степени воспитанности зрителей первых рядов. Теперь барышня Перчатка сплет свою большую арию с руладами:

«Я так убита,  
Так сердита,



Что вам клянусь:  
Я разреву-у-усь!..»

Теперь самый интересный момент, Анна! Видишь, господин Мундир расстегивается и обращает свою речь прямо к тебе, чтобы ты похлопала ему! Но ты не хлопай! Так бонтоннее! Послушай, как он шуршит: «Чаша терпения моего переполнилась! Берегитесь! Я начну интригу! Вы — Трубка, а я — малый с головой! Фьють! И — нет вас!» Гляди, Анна! Это самая интересная сцена во всей комедии! Мундир схватывает Трубку и засовывает к себе в карман — лежи тут! — а затем говорит: «Вы теперь у меня в кармане и не выйдете оттуда, пока не обещаете соединить меня узами брака с вашей дочерью, Перчаткой с левой руки! Я протяну ей свою правую».

— Ужасно хорошо! — опять воскликнула Анна.

— А старая Трубка отвечает:

«Что делать мне?  
Горю, как в огне!  
Ах, где ж мой чубук?  
Ведь я как без рук!  
О, сжальтесь, простите,  
Меня отпустите!  
Я дочь вам отдам,  
Венчаю вас сам!»

— И конец? — спросила Анна.

— Что ты! — ответил крестный. — Конец только для фон Сапога. Жених и невеста опускаются на колени.

Первая поет:

«Отец, оживаю!»

Второй:

«Я вас отпускаю!»

Господин Трубка благословляет их, а вся мебель пост хором:

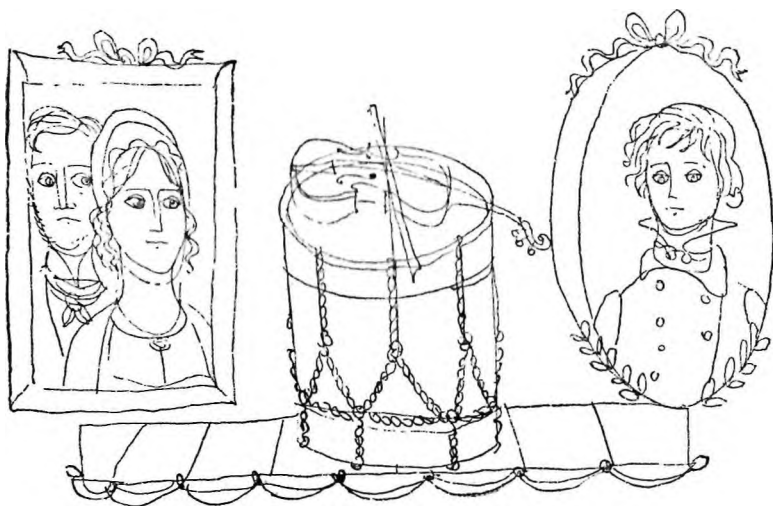
«То-то любящий отец!  
Он повел их под венец!  
Тут и пьесе всей конец!»

Вот теперь похлопаем! — прибавил крестный. — И вызовем их всех, вместе с мебелью: она ведь красного дерева!

— А что, наша комедия так же хороша, как та, что идет в настоящем театре? — спросила Анна.

— Она еще лучше! — ответил крестный. — Она короче, даром доставлена нам прямо на дом и помогла скоротать время до чаю!





## ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК



**Ж**ена барабанщика была в церкви и смотрела на новый алтарь, украшенный картинами и резными херувимчиками. Какие они были хорошенькие! И те, с золотым сиянием вокруг головок, что были нарисованы на холсте, и те, что были вырезаны из дерева, а потом раскрашены и вызолочены. Волоски у них на солнце отливали золотом; чудо как было красиво! Но солнечные лучи были еще красивее! Как они сияли между темными деревьями, когда солнышко садилось! Какое блаженство было глядеть в лик божий! И жена барабанщика загляделась на красное солнышко, думая при этом о малютке, которого скоро принесет ей аист. Она ждала его с радостью и, глядя на красное солнышко, желала одного: чтобы блеск его отразился на ее малютке; по крайней мере, чтобы ребенок походил на одного из сияющих херувимов с алтаря!

И вот, когда она наконец действительно держала в объятиях новорожденного малютку и подняла его показать отцу, оказалось, что ребенок в самом деле был похож

на херувима: волосы у него отливали золотом, на них как будто легло сияние закатившегося солнышка.

— Золотой мой мальчик, сокровище, солнышко мое! — воскликнула мать и поцеловала сияющие кудри.

В комнате барабанщика словно загремела музыка, раздалось пение, воцарились радость, веселье, шум! Барабанщик принялся выбивать на своем барабане такую дробь, что держись! Барабан — большой пожарный барабан — так и гремел: «Рыжий! У мальчишки рыжие волосы! Слушай, что говорит барабанная кожа, а не мать! Трам-там-там!»

И весь город повторял это.

Мальчика снесли в церковь и окрестили. Ну, против имени сказать было нечего: ребенка назвали Петер. Весь город и барабан звали его рыжий барабанщиков Петер, но мать целовала золотистые волосы сына и звала его золотым мальчиком.

На глинистом откосе у дороги было выцарапано много имен.

— Слава! Она что-нибудь да значит! — сказал барабанщик и выцарапал там свое имя и имя сына.

Прилетели ласточки, они видели в своих странствиях надписи попрочнее, вырезанные на скалах и на стенах храмов в Индостане, надписи, вещавшие о могучих, славных владыках, но они были такие древние, что никто уже не мог прочесть их, никто не мог выговорить этих бессмертных имен.

Слава! Знаменитое имя!

Ласточки устраивали себе на откосе гнезда, выкапывая в мягкой глине ямки. Дождь и непогода тоже помогали стирать выцарапанные там имена. Скоро исчезли и имена барабанщика и Петера.

— Петера имя все-таки продержалось полтора года! — сказал отец.

«Дурак!» — подумал пожарный барабан, но сказал только: — «Дур-дур-дур-дум-дум-дум-дом!»

Рыжий барабанщиков Петер был мальчик живой, веселый. Голос у него был чудесный. Он мог петь и пел, как птица в лесу, не зная никаких мелодий, — и все-таки выходила мелодия.

— Он будет певчим! — говорила мать. — Будет петь в церкви, стоять под теми прелестными вызолоченными херувимчиками, на которых так похож!



— Рыжий кот! — говорили городские остряки. Барабан часто слышал это от соседок.

— Не ходи домой, Петер! — кричали уличные мальчишки и . — А то ляжешь спать на чердаке, а в верхнем этаже загорится! Вашему пожарному барабану будет дело!

— Берегитесь-ка вы барабанных палок! — сказал Петер и, как ни был мал, храбро пошел прямо на мальчишек и ткнул кулаком в брюхо первому подвернувшемуся. Тот полетел вверх ногами; остальные — давай бог ноги!

Городской музыкант, такой важный, знатный — он был сыном придворного буфетчика, — очень полюбил Петера, часто призывал его к себе, давал в руки скрипку и учил его играть. Руки у мальчика оказались золотые; из него должно было выйти кое-что получше простого барабанщика — городской музыкант!

— Солдатом я буду, — говорил сам Петер.

Он был еще маленьким мальчуганом, и ему казалось, что лучше всего на свете — это носить мундир и саблю да маршировать под команду: раз-два, раз-два!

— Выучишься ходить под барабан! Трам-там-там! — сказал барабан.

— Хорошо, кабы он дошел до генерала! — сказал отец. — Но тогда надо войну!

— Боже упаси! — сказала мать.

— Нам-то нечего терять! — заметил отец.

— А мальчугана нашего? — возразила мать.

— Ну, а подумай, если он вернется с войны генералом!

— Без руки или без ноги! Нет, пусть лучше мой золотой мальчик останется целым!

«Трам-там-там!» — загремел пожарный барабан, загремели и все барабаны: началась война. Солдаты выступили в поход, с ними ушел и барабанщиков Петер, рыжая макушка, золотой мальчик. Мать плакала, а отец уже видел сына знаменитым; городской же музыкант находил, что Петеру следовало не ходить на войну, а служить искусству дома.

«Рыжая макушка!» — говорили солдаты, и Петер смеялся, но если кто-нибудь говорил «лисья шкура», он закусывал губы и смотрел в сторону, пропуская эти слова мимо ушей.

Мальчик был шустрый, прямой и веселый, а «веселый нрав — лучшая походная фляжка», — говорили его старшие товарищи.

Часто приходилось ему проводить ночи под открытым небом, мокнуть в дождь и непогоду, но веселость не покидала его, барабанные палки весело выбивали: «Трам-там-там! В поход!» Да, он и впрямь рожден был барабанщиком!



Настал день битвы. Солнце еще не вставало, но заря уже занялась; воздух был холодный, а бой шел жаркий. Стоял густой туман, но пороховой дым был еще гуще. Пули и гранаты летали над головами и в головы, в тела, в руки и ноги, но солдаты всё шли вперед. То тот, то другой из них падал, пораженный в висок, побелев как мел. Но маленький барабанщик не бледнел, пули его не задевали, и он весело посматривал на полковую собаку, прыгавшую впереди так беззаботно, как будто кругом шла игра, как будто ядра были только мячиками!

«Марш! Вперед!» Эта команда была переложена на барабан, и такой команды не берут назад, но тут ее пришлось взять назад — разум приказывал! Вот и велено было бить отбой, но маленький барабанщик не понял и

продолжал выбивать «марш! вперед!» И солдаты повиновались барабанной коже. Да, барабан потратил немало сил, но он вернул силы тем, кто собирался отступить.

Битва многим стоила жизни; гранаты рвали мясо в клочья, поджигали вороха соломы, в которые заползали раненые, чтобы лежать там брошенными много часов, может быть — всю жизнь! Но что пользы думать о таких ужасах! И все же о них думается — даже далеко от поля битвы, в мирном городке. Барабанщик с женою тоже не переставали о них думать: Петер был ведь на войне!

— И надоело же мне это хныканье! — сказал пожарный барабан.

Дело было в самый день битвы. Солнце еще не вставало, ко было уже светло. Барабанщик с женою спали, — они долго не засыпали накануне, разговаривая о сыне: он был ведь там, «в руках божьих». И вот отец увидал во сне, что война кончена, солдаты вернулись, и у Петера на груди серебряный крест. Матери же приснилось, будто она стоит в церкви, смотрит на резных и нарисованных херувимов с золотыми кудрями и видит среди них своего милого золотого мальчика. Он стоит в белой одежде и поет так чудесно, как поют разве только ангелы! Потом он стал возноситься вместе с ними на небо, к солнцу, ласково кивая матери головою...

— Золотой мой мальчик! — вскрикнула она и проснулась. — Ну, значит, господь отозвал его к себе! — И она прислонилась головою к полу, сложила руки и заплакала. — Где-то он покоится теперь? В огромной общей могиле? Может быть, в глубоком болоте? Никто не знает его могилы! Никто не прочтет над нею молитвы! — И из уст ее вырвалось беззвучное «Отче наш». Потом голова ее склонилась на подушку, и усталая мать задремала.

Дни проходили; жизнь текла, сны пролетали!

День клонился к вечеру; над полем сражения перекинулась радуга, упираясь одним концом в лес, другим в глубокое болото. Народ верит, что там, куда упирается конец радуги, зарыт клад, золото. Тут и действительно лежало золото — золотой мальчик. Никто не думал о маленьком барабанщике, кроме его матери, вот почему ей и приснился такой сон.

Дни проходили; жизнь текла, сны пролетали!

Но с его головы не упало ни единого волоска, ни единого золотого волоска!



«Трам-там-там, вот и он сам!» — мог бы сказать барабан, могла бы пропеть мать, если бы она ожидала сына или увидала во сне, что он возвращается.

С песнями, с криками «ура», увенчанные свежью зеленью, возвращались солдаты домой. Война кончилась, мир был заключен. Полковая собака бежала впереди, описывая большие круги, словно ей хотелось удлинить себе дорогу втрое.

Проходили дни, проходили недели, и вот Петер вступил в комнатку родителей. Он загорел, как дикарь, но глаза и лицо его так и сияли. Мать обнимала, целовала в губы, в глаза, в рыжие волосы. Мальчик ее опять был с нею! Он, правда, вернулся без серебряного креста на груди, как снилось отцу, но зато целым и невредимым, чего и не снилось матери. То-то было радости! И смеялись и плакали вместе. Петер даже обнял старый барабан.

— Ты все еще тут, старина! — сказал он, а отец выбил на барабане громкую, веселую дробь.

— Подумаешь, право, в доме пожар! — сказал пожарный барабан. — Макушка вся в огне, сердце в огне, золотой мальчик вернулся! Трам-там-там!

А потом? Потом что? Спроси-ка городского музыканта!

— Петер перерос барабан! Петер перерастет и меня! — говорил он, даром что был сыном придворного буфетчика!

Но все, чему он выучился за целую жизнь, Петер прошел в полгода.

В сыне барабанщика было что-то такое открытое, сердечное. А глаза и волосы у него так и сияли, — этого уж никто не мог отрицать.

— Ему бы следовало красить свои волосы! — говорила соседка. — Вот дочери полицмейстера это отлично удалось, и она сделалась невестою!

— Да, но ведь потом волосы у нее позеленели, как тина, и ей вечно придется краситься!

— Так что ж! Средств у нее на это хватит! — отвечала соседка. — И у Петера они есть! Он вхож в самые знатные семейства, даже к самому бургомистру — обучает игре на фортепьяно барышню Лотту!

Да, играть-то он умел! Он вкладывал в игру всю свою душу, и из-под его пальцев выливались чудные мелодии, которых не было ни на одной нотной бумаге. Он играл напролет все ночи — и светлые и темные. Это было просто невыносимо, по словам соседей и барабана.

Он играл, а мысли уносили его высоко-высоко, чудные планы роились в голове... Слава!..

Дочка бургомистра Лотта сидела за фортепьяно. Изыщные пальчики бежали по клавишам и ударяли прямо по струнам Петерова сердца. Оно как будто расширилось в груди, становилось таким большим-большим! И это было не раз, не два, а много раз, и вот однажды Петер схватил эти тонкие пальчики, эту прекрасную руку, поцеловал ее и заглянул в большие карие глаза девушки. Бог знает, что он сказал ей при этом! Мы можем только догадываться. Лотта покраснела до ушей, но не ответила ни слова: как раз в эту минуту в комнату вошел посторонний, сын статского советника; у него был большой, гладкий лоб, доходивший до самого затылка. Петер долго сидел с ними, и Лотта так умильно улыбалась ему.

Вечером, придя домой, он заговорил о чужих краях и о том кладе, который лежал для него в скрипке.

Слава!

— Трум-тум-тум! Туммелум! — сказал барабан. — Он совсем спянул! Право, в доме как будто пожар!

На другой день мать отправилась на рынок.

— Знаешь новость, Петер? — спросила она, вернувшись оттуда. — Славная новость! Дочка бургомистра Лотта помолвлена вчера вечером с сыном статского советника!



— Не может быть! — воскликнул Петер, вскакивая со стула. Но мать сказала «да», она узнала эту новость от жены цирюльника, а муж той слышал о помолвке от самого бургомистра.

Петер побледнел как мертвец и упал на стул.

— Господи боже! Что с тобой? — воскликнула мать.

— Ничего, ничего! Только оставь меня! — ответил он, а слезы так и побежали у него по щекам ручьем.

— Дитяtko мое милое! Золотой мой! — сказала мать и тоже заплакала. А барабан напевал, конечно, про себя: «Вот и песенке конец!»

Но песенка не кончилась: в ней оказалось еще много строф, чудных, золотых строф!

— Ишь, ломается, из себя невесть что строит! — оговаривала соседка мать Петера. — Весь свет должен читать письма ее золотого мальчика да слушать, что пишут газеты о нем и о его скрипке. Он и денег ей высылает немало, а это ей кстати теперь — овдовела!

— Он играет перед королями и императорами! — говорил городской музыкант. — Мне этого не выпало на долю, но он мой ученик и не забывает своего старого учителя.

— Отцу когда-то снилось, что Петер вернулся с войны с серебряным крестом на груди, но на войне трудно заслужить его! Зато теперь у него командорский крест! Вот бы отец дожил! — рассказывала мать.

— Он — знаменитость! — гремел пожарный барабан.

И весь родной город повторял: сын барабанщика, рыжий Петер, бегавший мальчиком в деревянных башмаках, бывший барабанщик, музыкант, игравший на вечеринках танцы, — знаменитость!

— Он играл у нас раньше, чем в королевских дворцах! — говорила жена бургомистра. — В те времена он без ума был от нашей Лотты. Он всегда мегил высоко! Но тогда это было с его стороны просто дерзостью! Муж мой так смеялся, узнав об этой глупости. Теперь наша Лотта — статская советница!

Золотые были сердце и душа у бедного мальчугана, бывшего маленького барабанщика, который заставил идти вперед и победить тех, кто уже собрался отступить.

В груди у него был золотой клад, неисчерпаемый источник звуков. Они лились со скрипки, словно она была целым органом, словно по струнам ее танцевали эльфы

летней ночи. В этих звуках слышалось и пение дрозда и полнозвучный человеческий голос. Вот почему были так очарованы его слушатели, вот почему слава его прогремела далеко за пределами его родины. Он зажигал в сердцах огонь, пламя, пожар восторга.

— И как он хорош собою! — восторгались и молодые и старые дамы. Самая пожилая из них даже завела себе альбом для локонов знаменитостей ради того только, чтобы иметь предлог выпросить прядь роскошных волос молодого скрипача.

И вот он вернулся в бедную комнатку барабанщика, разодетый, как принц, счастливый, как король! Глаза и лицо его так и сияли, как солнце. Мать целовала его и плакала от радости, а он обнимал ее и ласково кивал головою всей знакомой мебели — и сундуку, на котором стояли чайные чашки и цветы в стаканах, и деревянной скамье, на которой спал мальчиком. А старый барабан он вытащил, поставил посреди комнаты и сказал:

— Отец непременно выбил бы теперь на нем дробь! Так я сделаю это за него! — И он выбил на барабане такую дробь, что твой град! А барабан был так польщен этим, что кожа на нем взяла да и лопнула.

— Кулак-то у него здоровый! — заметил барабан. — Теперь у меня на всю жизнь останется воспоминание о нем! Да и мать-то того и гляди лопнет от радости, глядя на своего золотого мальчика!

Вот и вся история о золотом мальчике.







## О ТОМ, КАК БУРЯ ПЕРЕВЕСИЛА ВЫВЕСКИ

**В** старину, когда дедушка был еще совсем маленьким мальчиком и разгуливал в красных штанишках, красной курточке с кушаком и шапочке с пером, — а надо вам сказать, что тогда детей именно так и одевали, когда хотели их нарядить, — так вот, в те далекие, далекие времена все было совершенно иначе, чем теперь.

Ведь какие, бывало, торжества устраивались на улицах! Нам с вами таких уже не видать: их давным-давно упразднили, так как они, видите ли, вышли из моды. Но до чего же занятно теперь послушать дедушкины рассказы об этом — вы и представить себе не можете.

Что это было за великолепие, когда, скажем, сапожники меняли помещение цеха и переносили на новое место цеховую вывеску. Во главе процессии величественно колыхалось шелковое знамя с изображением большого сапога и двуглавого орла. Младшие подмастерья торжественно несли заздравный кубок и большой ларец, а на рукавах у них развевались по ветру красные и белые ленты.

Старшие подмастерья держали в руках обнаженные шпаги с насаженными на острия лимонами. Музыка гремела так, что небо сотрясалось, и самым замечательным инструментом в оркестре была «птица» — так называл дедушка длинный шест, увенчанный полумесяцем и обвешанный всевозможными колокольчиками и бубенчиками, — настоящая турецкая музыка! Шест поднимали и раскачивали из стороны в сторону, колокольчики звенели и бренчали, а в глазах просто рябило от золота, серебра и меди, сверкавших на солнце.

Впереди всех бежал арлекин в костюме из разноцветных лоскутков: лицо у него было вымазано сажей, а колпак украшен бубенчиками — ни дать ни взять лошадь, запряженная в сани! Он размахивал палкой направо и налево, но это была палка-хлопушка: она только громко хлопала и пугала людей, а вреда от этого никому не было. Люди толпились и толкались, стараясь протиснуться одни — вперед, другие — назад; мальчишки и девчонки спотыкались и летели прямо в канаву, а пожилые кумушки отчаянно работали локтями, сердито озирались по сторонам и бранились. Всюду слышались говор и смех. Люди стояли на лестницах, высовывались из окон, а иные даже забирались на крышу. На небе ярко светило солнышко. Правда, случалось, что на процессию попрыскает небольшой дождик, но ведь дождь крестьянину не помеха: пусть хоть весь город насквозь промокнет, зато урожаи будут богаче!

До чего хорошо рассказывал наш дедушка, просто заслушаешься. Ведь еще маленьким мальчиком он сам все это видел своими глазами. Старший цеховой подмастерье всегда залезал на помост, построенный под самой вывеской, и говорил речь — да не как-нибудь, а в стихах, словно по вдохновенью. Впрочем, тут и вправду не обходилось без вдохновенья: ведь речь он сочинял вместе с двумя друзьями, и работу они начинали с того, что осушали целую миску пунша, — для пользы дела, конечно. Народ встречал эту речь криками «ура». Но еще громче кричали «ура» арлекину, когда он тоже вылезал на помост и передразнивал оратора. Все хохотали до упаду, а он попивал себе мед из водочных рюмок и бросал рюмки в толпу, и люди ловили их на лету. У дедушки была такая рюмочка: ее поймал какой-то штукатур и подарил ему на

память. Да, вот это было веселье так веселье! А вывеска, вся в цветах и зелени, красовалась на новом месте.

— Такого праздника не забудешь, хоть до ста лет живи, — говорил дедушка.

Да он и вправду ничего не забыл, хотя каких только не перевидал празднеств и торжеств на своем веку. Много кое-чего мог он порассказать, но забавнее всего рассказывал о том, как в одном большом городе переносили вывески.

Дедушка был еще совсем маленьким, когда приехал с родителями в этот город, самый большой в стране. На улицах было полным-полно народа, и дедушка даже подумал, что здесь тоже будут торжественно переносить вывески, которых, к слову сказать, здесь оказалось великое множество, — сотни комнат можно было бы заполнить этими картинами, если бы их вешали не снаружи, а внутри дома. На вывеске портного было изображено разное платье, и если бы он захотел, то мог бы перекроить даже самого неказистого человека в самого красивого. А на вывеске торговца табаком — хорошенькие мальчики с сигарами в зубах, эдакие озорники! Были тут вывески с маслом и селедками, были вывески с пасторскими воротничками и гробами, а сколько всюду висело объявлений и афиш — видимо-невидимо! Ходи себе целый день взад и вперед по улицам да любуйся сколько душе угодно на эти картинки; заодно узнаешь, и что за люди живут на улице, — ведь они сами вывесили свои вывески.

— К тому же, — говорил дедушка, — когда ты попал в большой город, и полезно и поучительно знать, что кроется за толстыми каменными стенами домов.

И надо же было, чтобы вся эта кутерьма с вывесками приключилась как раз в тот день, когда в город приехал дедушка. Он сам рассказывал об этом, и очень складно, хоть мама и уверяла, что он морочит мне голову. Нет, на этот раз дедушка говорил всерьез.

В первую же ночь, когда он приехал в город, здесь разыгралась страшная буря, до того страшная, что такой ни в газетах никогда не описывали, ни старожилы не помнили. Ветер срывал черепицу с крыш, трещали и валились старые заборы, а одна тачка вдруг взяла да и покати́лась по улице, чтобы убежать от бури. А буря буше-

вала все сильнее и сильнее, ветер дико завывал, ревел и стучал в ставни, стены и крыши. Вода в каналах вышла из берегов и теперь просто не знала, куда ей деваться. Буря неслась над городом, ломала и уносила трубы. А сколько старых высокомерных церковных шпилей согнулось в эту ночь — просто не сосчитать! И они так никогда и не выпрямились.

Перед домом почтенного брандмайора, который прибывал на пожар, когда от строения оставались только



головешки, стояла караульная будка, — так вот, буря почему-то захотела лишить его этого скромного символа пожарной доблести и, опрокинув будку, с грохотом покатила ее по улице. Как ни странно, будка остановилась перед домом бедного плотника — того самого, который во время последнего пожара вынес из огня трех человек, — да так и осталась там стоять, но, конечно, без всякого умысла.

Вывеску цирюльника — большой медный таз — ветер забросил на подоконник дома советника юстиции. Вот это было сделано уж явно не без умысла, поговаривали соседи, ибо все-все, даже самые близкие приятельницы его жены, называли госпожу советницу «бритвой». Она была

такая умная, такая умная, что знала о людях куда больше, чем они сами о себе знали.

А вывеска с нарисованной на ней вяленой треской перелетела на дверь редактора одной газеты. Подумать только, какая нелепость! Буря, как видно, забыла, что с журналистом шутки плохи: ведь в своей газете он сам себе голова, и никакой закон ему не писан.

Флюгерный петух перелетел на крышу соседнего дома, да там и остался, — с каким-то злым умыслом, конечно, говорили соседи. Бочка бондаря очутилась под вывеской «Дамские моды». Меню, висевшее у входа в кухмистерскую, ветер перенес к подъезду театра, в который редко кто заходил. Ничего себе, забавная получилась афиша: «Суп из хрена и фаршированная капуста». Публика валом повалила в театр.

Лисья шкурка с вывески скорняка повисла на шнурке колокольчика у дверей одного молодого человека, который исправно ходил в церковь, вел себя тише воды, ниже травы, стремился к истине и всем служил примером, по словам его тетки.

Доска с надписью: «Высшее учебное заведение» — оказалась на бильярдном клубе, а на этом заведении появилась вывеска детского врача: «Здесь дети приучаются к бутылочке». И вовсе это было не остроумно, а просто невежливо! Но уж если буря захочет что-нибудь натворить, то натворит непременно, и ничего ты с ней не поделаешь.

Да, ну и выдалась же ночка! Наутро — только подумайте! — все вывески в городе поменялись местами, а кое-где получилось такое безобразие, что дедушка, уж как ни хотелось ему рассказать об этом, только помалкивал да посмеивался про себя, — я это сразу заметил, — а значит, на этот раз у него уж что-нибудь да было на уме.

Каково же было жителям этого города, а особенно приезжим! Они совершенно сбились с толку и ходили как потерянные. Да иначе и быть не могло: ведь они привыкли искать дорогу по вывескам! Например, кто-нибудь хотел попасть на заседание деятелей, обсуждающих важнейшие государственные вопросы, а попадал в школу к мальчишкам, которые изо всех сил старались перекричать друг друга и только что не ходили на головах.

А были и такие, что из-за вывески вместо Церкви падали — о ужас! — в театр.

Теперь подобных бурь больше не бывает: такую только дедушке довелось повидать, и то когда он был еще мальчишкой. Да и вряд ли такая буря повторится при нас; разве что при наших внуках. А мы дадим им благой совет: «Пока буря перевешивает вывески, сидите-ка лучше дома».





## СКРЫТО — НЕ ЗАБЫТО



**С** тоял старый замок, окруженный тинистыми рвами, вел к нему подъемный мост, который чаще бывал поднят, чем опущен, — не всякий гость приятен! В стенах под крышей были бойницы; из них стреляли, лили кипяток и даже расплавленный свинец на головы врагов, если те подступали чересчур близко. Потолки в замковых покоях были высокие, и хорошо, что так, — по крайней мере было куда деваться дыму, выходящему из камина, где шипели огромные сырые коряги. По стенам висели портреты закованных в латы мужчин и гордых дам в платьях из тяжелой материи. Но стройнее и величественнее всех была сама нынешняя владелица замка, Метте Могенс.

Раз вечером на замок напали разбойники, убили трех слуг и цепную собаку, а вместо нее посадили на цепь госпожу. Сами же расселись в зале и начали бражничать, попивая доброе вино и пиво из погребов замка.

И вот госпожа Метте сидела на цепи и даже лаять не могла.

Вдруг явился слуга разбойников; он подкрался к ней потихоньку, чтобы не заметили разбойники, — они бы убили его.

— Госпожа Метте Могенс! — сказал он. — Помнишь ли ты, как твой муж посадил на кобылку моего отца? Ты просила за него, но просьбы не помогли, он должен был сидеть, пока не искалечится; тогда ты подкралась к нему, как я теперь к тебе, и сама подложила ему камешек сперва под одну, потом под другую ногу, чтобы дать ему отдохнуть. Никто не заметил этого, или все сделали вид, что не заметили, — ты была ведь молодою доброю госпожой их! Вот что рассказывал мне мой отец, и я скрыл это в моем сердце, скрыл, но не забыл! Теперь я освобожу тебя, госпожа Метте Могенс.

Они вывели из конюшни лошадей и помчались в дождь и ветер прочь от замка, за помощью.

— Ты щедро платишь за мою маленькую услугу старику! — сказала Метте Могенс.

— Скрыто — не забыто! — сказал слуга.

Разбойников повесили.

Стоял старый замок; стоит он и посейчас, но владеет им не Метте Могенс, а другой дворянский род.

Было это уже в наше время. Золоченые шпили башен сияли на солнце, маленькие лесные островки выглядывали из воды словно букеты, а вокруг них плавали белые лебеди. В саду цвели розы, но сама владетельница замка была свежее, прекраснее лепестка розы. Она вся сияла от радости, от сознания сделанного ею доброго дела. Добрые дела ее не кричат о себе по свету, но находят себе приют в сердцах людей; там они скрыты, но не забыты.

Вот она идет из замка к одинокой лачужке в поле. В ней живет бедная параличная девушка. Единственное окошечко ее каморки было обращено на север, и солнце не заглядывало к ней никогда. Она видела в окно только краешек поля, ограниченного высокою насыпью. Но сегодня в комнатке сияет солнышко, теплое господне солнышко! Оно светит с юга в новое окошко, прорубленное в прежде глухой стене.

Параличная сидит и греется на солнышке, любит лесом и берегом морским; свет вдруг так расширился для



нее, приобрел новую красоту, и все это — по одному слову ласковой владетельницы замка.

— Мне ничего не стоило сказать его и сделать это маленькое доброе дело! — говорит она. — А оно доставило мне такую огромную, бесконечную радость!

Вот почему она и продолжает творить добро, думать обо всех нуждающихся в утешении и в бедных хижинах и в богатых домах — и там находятся такие. Добрые дела ее остаются скрытыми, но не забытыми господом богом.

В большом, шумном городе стоял старый дом. В нем было много комнат и зал, но мы туда не пойдем, а останемся в кухне. Тут светло, уютно, чисто и мило. Медная посуда так и блестит, стол чисто выскоблен, лоханка тоже. Все это дело рук служанки. Она одна служанка в доме и все-таки находит еще время, убравшись по дому, придется, словно собирается в церковь. На голове у нее чепчик с черным бантиком; это означает траур, скорбь. Но у нее нет никого, о ком бы ей печалиться, — ни отца, ни матери, ни родственников, ни милого; она бедная одинокая девушка. Когда-то, впрочем, у нее был жених, такой же бедняк, как и она сама; они горячо любили друг друга, но вот однажды он сказал ей:

— У нас с тобой нет ничего! А богатая вдова-трактирщица давно нашептывает мне ласковые слова. Она хочет мне добра! Но мое сердце полно тобою! Что ты советуешь мне?

— Делай так, как, по-твоему, будет для тебя лучше! — сказала она. — Будь добр и ласков с нею, но помни, что, раз мы расстанемся, больше уж не увидимся!

Прошло несколько лет; и вот она встретила на улице своего прежнего жениха. Он выглядел так плохо, что она не могла пройти мимо него, не спросив:

— Что с тобою? Как тебе живется?

— Хорошо и богато! — ответил он. — Жена моя добрая, славная женщина, но в моем сердце одна ты. Я отстрадал свое, скоро конец! Мы свидимся теперь только на том свете!

Прошла неделя, и сегодня утром в газете появилось извещение о его смерти; вот почему у девушки черный бантик на чепчике. Жених ее умер, «потерян для жены и

трех пасынков», — как сказано в извещении. Звучит-то оно как-то фальшиво, но самый колокол из чистого металла.

Черный бантик говорит о горе; лицо девушки говорит о нем еще сильнее. В сердце ее он скрыт и никогда не будет забыт!

Вот и все три истории, три листка, выросшие на одном стебельке. Хочешь еще таких трилистников? Их много хранится в памятной книжке сердца.

Многое там скрыто, но не забыто!





## СЫН ПРИВРАТНИКА



**Г**енеральская семья проживала в бельэтаже, семья привратника — в подвале. Их разделяло большое расстояние — весь первый этаж да табель о рангах. Но все же обе семьи жили под одну крышу, и из обоих жилищ открывался вид на ту же улицу и на тот же двор. На дворе была лужайка, а на ней росла цветущая акация — цветущая в пору цветения. Под нею часто сиживала в летнее время разряженная кормилица с еще более разряженною генеральскою дочкой, «малюткой Эмилией». А перед ними выплясывал босоногий черноглазый, темноволосый синишка привратника. Малютка улыбалась ему и протягивала ручонки; случилось увидеть в окно такую картинку самому генералу, он кивал головой и говорил: «Charmant!» Молодая же генеральша — она была так молода, что могла бы быть дочкой своего мужа от раннего брака — никогда не смотрела из окна во двор, но раз навсегда отдала кормилице приказание, чтобы она позволяла мальчику из подвала забавлять малютку, но отнюдь не дотрагиваться до нее. И кормилица строго соблюдала приказ.

А солнышко одинаково светило и в бельэтаж и в подвал. Акация цвела, потом цветы опали, но на следующий год появлялись новые. Дерево цвело из года в год, цвел и привратников сынишка — ни дать ни взять свежий тюльпан!

Генеральская же дочка была бледненькая, нежненькая, как бледно-розовый лепесток акации. Теперь она редко появлялась во дворе под деревом, — она дышала свежим воздухом в карете, катаясь вместе с татап. Увидя из окна кареты привратникова Георга, она всегда кивала ему головкою и даже посылала воздушные поцелуи, пока мать не объявила ей, что она уже слишком велика для этого.

Раз утром Георгу пришлось подняться к генералу с газетами и письмами. Проходя мимо чуланчика под лестницей, он услышал там какой-то писк и подумал было, что туда забился цыпленок. Но оказалось, что там всхлипывает генеральская дочка в кисее и кружевах.

— Только не говори папе и маме — они рассердятся! — сказала она.

— О чем, барышня? — спросил Георг.

— Все сгорит! — ответила она. — Там горит!

Георг отворил дверь в детскую; оконные занавески почти все обгорели, карниз пылал. Георг подпрыгнул, сорвал занавески, созвал людей. Не будь его, вспыхнул бы настоящий пожар.

Генерал и генеральша подвергли Эмилию допросу.

— Я только взяла одну спичку, чиркнула, она сейчас загорелась — и занавеска тоже! Я стала плевать на нее, чтобы потушить, плевала, плевала, но у меня не хватило слюней... Тогда я убежала и спряталась, — я боялась, что рара и татап рассердятся!

— Плевала, плевала! — заметил генерал. — Это еще что за слово? Ты его слышала когда-нибудь от рара или от татап? Это все оттуда, из подвала!

Маленькому Георгу все-таки дали целых четыре скиллинга. Он спустил их не в булочной, а в копилку, и скоро там набралось их столько, что он мог купить себе ящичек с красками — раскрашивать свои рисунки, а рисовал он много. Картинки как будто сами собой сыпались на бумагу с кончика его карандаша. Первые же раскрашенные рисунки пошли в подарок Эмилии.

— Charmant! — изрек генерал, и даже генеральша признала, что вполне можно догадаться, что именно

хотел изобразить мальчуган. «В нем есть талант!» Вот с каким известием вернулась в подвал жена привратника.

Генерал и генеральша были люди знатные; на карете их красовалось целых два герба, — у каждого из супругов был свой. Генеральшин герб красовался и на всем ее белье, даже на ночном чепчике и туалетном мешке. Ее герб был такой ценный! Он стоил ее папаше много блестящих червонцев, — ни папаша, ни даже дочка не родились с гербом. Она появилась на свет за семь лет до приобретения его папашею. Это отлично помнили все, кроме них самих. Герб же генерала был древний и крупный. И один-то герб довольно тяжело носить на себе, а тут их было целых два, — поневоле затрепишь по всем швам! И не мудрено, что разряженная, гордая генеральша выезжала на придворные балы с таким шумом и треском.

Генерал был стар и сед, но хорошо держался в седле. Он это знал и ежедневно выезжал верхом в сопровождении слуги — на почтительном расстоянии. Являясь в общество, он тоже держал себя так, как будто смотрел на всех с высоты седла. Орденов у него было столько, что просто уму непостижимо; сам он, впрочем, был тут ни при чем. Он вступил на военное поприще еще очень молодым человеком и участвовал во всех больших осенних маневрах. От этой эпохи у него сохранилось еще воспоминание, анекдот, единственный, который он знал и рассказывал. Его унтер-офицер отрезал и взял в плен одного из принцев, и тому пришлось со своим маленьким отрядом въехать в город позади генерала в качестве его военнопленного. Об этом-то незабвенном происшествии генерал и рассказывал вот уже многие годы, никогда не упуская случая привести памятные слова, которые были при этом сказаны. Генерал, возвращая принцу шпагу, сказал: «Только мой унтер-офицер мог взять в плен ваше высочество; я — никогда!» А принц ответил: «Вы неподражаемы!» На настоящей же войне генерал никогда не бывал; когда шла война, он шел дипломатического дорогой и прошел три иностранных двора. По-французски он говорил так хорошо, что почти забыл свой родной язык, отлично танцевал, ездил верхом, и ордена вырастали у него на груди, точно грибы. Солдаты отдавали ему честь, и одна из первых красавиц отдала ему честь — сделалась гене-

ральшею. Скоро у них появилась прелестная дочка, словно упавшая с неба — так она была прелестна! Едва она начала понимать, сынишка привратника стал выплясывать перед нею во дворе, а потом, когда она подросла, дарить ей все свои раскрашенные картинки. Она принимала их, играла ими и рвала в клочки. Она была такая миленькая, нежненькая!

— Мой розовый лепесток! — говорила генеральша. — Ты рождена для принца!

А принц-то уж стоял за дверями, только никто не знал этого. Люди не видят дальше порога.

— А наемни наш мальчуган поделился с нею бутербродом! — сказала жена привратника. — Он был без сыра, без мяса, но понравился ей, что твой ростбиф! То-то бы шум поднялся, узнай об этом генерал с генеральшею! Но они ничего не видели!

Да, Георг поделился с Эмилией бутербродом; он бы поделился с ней и своим сердцем, знай только, что это доставит ей удовольствие. Он был мальчик добрый, развитой, умный, и уже посещал вечерние рисовальные классы, чтобы хорошенько научиться рисовать. Эмилия тоже преуспевала в науках: она говорила по-французски с своею бонной и брала уроки у танцмейстера.

— К пасхе Георг наш будет конфирмован! — сказала жена привратника. Вот как успел вырасти Георг.

— Хорошо бы потом отдать его в учение! — заметил отец. — Надо только выбрать ремесло почище. Ну, и нам легче будет, одним ртом меньше!

— Но он все же будет ведь приходиться домой ночевать! — возразила мать. — Нелегко-то найти мастера, который бы взял его к себе совсем. Одевать его нам, значит, тоже придется. Так уж найдется у нас для него и кусок хлеба: пара печеных картошек — он и доволен! Учится же он и теперь задаром. Пусть его идет своею дорогою; увидишь, как он порадует нас! Это ведь и профессор говорит!

Платье для конфирмации было готово; мать сама сшила его, кроил же портной, а он хорошо кроил, даром что должен был но бедности своей пробиваться починкой старой одежды. Поставь он себя иначе да будь в состоянии

держат мастерскую и подмастерьев, говорила жена привратника, он мог бы стать придворным портным!

Итак, платье сшили, и Георг конфирмовался. В день конфирмации он получил от самого богатого из своих крестных отцов, старого приказчика, большие томпаковые часы. Старинные они были, испытанные и имели привычку забегать вперед, но это лучше, чем отставать. Это был дорогой подарок! От генеральской семьи тоже явился подарок — псалтырь в сафьяновом переплете. Прислана она была от имени барышни, которой Георг дарил картинки. На первой, чистой страничке книги было написано его имя и ее имя с прибавлением «благосклонная»: «Георгу на память — благосклонная Эмилия». Написано это было под диктовку генеральши. Генерал прочел и сказал: «Charmant».

— В самом деле, это большое внимание со стороны таких важных господ! — сказала жена привратника, и Георга, как он был — в новом наряде и с псалтырем в руках, — послали благодарить господ.

Генеральша сидела вся закутанная — она страдала своею обычною «ужасною мигренью», как и всегда, когда ей было скучно. Но все-таки она взглянула на Георга очень ласково и пожелала ему всего хорошего, а также — никогда не страдать такую головную болью, как она.

Генерал рассказывал в халате, в ермолке и в русских сапогах с красными отворотами. Он прошелся по комнате раза три, предаваясь собственным мыслям и воспоминаниям, потом остановился и сказал:

— Итак, Георг стал теперь полноправным членом христианского общества! Будь же честен и уважай начальство! Состарись — можешь сказать, что этому учил тебя генерал!

Длиннее этой речи генералу никогда не приходилось держать. Проговорив ее, он опять углубился в себя и принял важный вид.

Из всего виденного наверху сильнее всего запечатлелась в памяти Георга барышня Эмилия. Как она была мила, нежна, воздушна, изящна! Если нарисовать ее, так уж разве на мыльном пузыре. От ее платья, от золотистых локонов пахло духами, ни дать ни взять как от только что распутившейся розочки! И с нею-то он когда-то делился бутербродом! Она уничтожила свою порцию с жадностью, не переставая благодарно кивать ему головкой, — говорить с набитым ртом было неудобно.

Помнит ли еще она об этом? Конечно! Красивая книжка была ведь подарена ему «на память». И вот в первое же новолуние после Нового года он вышел на двор с хлебом, медным скиллингом и псалтырем и раскрыл книгу наугад — что-то ему выйдет? Книга раскрылась на благодарственном псалме. Он опять закрыл псалтырь, чтобы загадать на Эмилию, но постарался при этом не открыть книги в том месте, где были похоронные псалмы. И все-таки она открылась как раз там! Конечно, верить этому было нечего, но он все-таки струсил порядком, когда вслед за тем Эмилия слегла и к воротам стал каждый день подъезжать экипаж доктора.

— Не вылечить им ее! — говорила жена привратника. — Господь бог знает, кого ему прибрать к себе!

Но ее удалось вылечить! И вот Георг опять принялся рисовать и отсылать ей картинки. Между прочим, он нарисовал царский дворец, древний московский Кремль с башенками и куполами, похожими на гигантские зеленые и вызолоченные огурцы, — так по крайней мере выходило по рисунку Георга. Эмилию эти картинки очень развлекали, и через неделю Георг прислал ей еще несколько. На всех были





нарисованы разные здания: глядя на них, она могла дать волю фантазии — сама рисовать себе, что происходит там за стенами и окнами.

В числе рисунков был и китайский домик в шестнадцать этажей, весь увешанный колокольчиками, и два греческих храма, окруженных стройными мраморными колоннами и террасами, и норвежская церковь причудливой постройки, вся из бревен, украшенных резьбой; лучше же всего был «Эмилиин замок». В нем она должна была жить сама. Георг придумал для него особый стиль — смесь всего красивого из всех других стилей. От норвежской церкви он взял покрытые резьбой бревна, от греческого храма — мраморные колонны, от китайского домика — колокольчики, а от царского Кремля — зеленые и золотые купола.

Такому замку позавидовали бы все дети! И под каждым окошком было подписано: «тут Эмилия спит», «тут танцует», «тут играет в гости» и т. д. Вот-то весело было разглядывать все это! И рисунок таки разглядывали.

— Charmant! — сказал генерал.

Но старик граф (был еще старый граф, куда важнее самого генерала, владевший замком и поместьем) не сказал ничего, хотя при нем и говорили, что рисунок придуман и нарисован маленьким сынишкой привратника. Не очень-то он, впрочем, был мал, — он ведь уже конфирмовался. Старик граф только посмотрел на рисунки и намотал себе все слышанное на ус.

И вот один серенький, ненастный день оказался самым радостным, светлым днем в жизни Георга. Профессор Академии художеств призвал его к себе.

— Послушай, дружок! — сказал он. — Поговорим-ка! Господь одарил тебя способностями, он же посылает тебе и добрых покровителей. Старик граф, что живет на углу, говорил мне сегодня о тебе. Я тоже видел твои рисунки... Ну, на них-то мы поставим крест — в них много найдется погрешностей! А вот теперь ты можешь два раза в неделю приходиться в мою рисовальную школу и скоро учишься рисовать получше. Я думаю, однако, что в тебе больше задатков для архитектора, чем для художника. Ну, да со временем сам увидишь! Но смотри, сегодня же сходи на угол, к графу, поблагодари его, да поблагодари и бога за такого покровителя!

На углу стоял огромный дом, над окнами красовались лепные слоны и верблюды; все носило отпечаток стари-

ны. Но старый граф предпочитал наше время со всем, что в нем было хорошего, не разбирая, откуда оно идет — из бельэтажа, из подвала или с чердака.

— Право, кажется, чем кто знатнее, тем тот и прощай! — сказала жена привратника. — Как просто держит себя старый граф! Говорит ну вот как ты да я! Генерал с генеральшею так не могут! Георг вчера в себя прийти не мог от восторга, так ласково граф с ним обошелся! Да и я сегодня, после милостивого приема его сиятельства, тоже сама не своя! Ну, не хорошо ли, что мы не отдали Георга в учение? У него такие способности!

— Да, но им нужна поддержка! — заметил отец.

— Поддержка у него будет! — ответила мать. — Граф насчет этого так ясно и милостиво выразился!

— А все-таки вышло-то все благодаря генеральской семье! — заметил отец. — Ее тоже надо поблагодарить.

— Отчего же не поблагодарить! — ответила мать. — Только, по-моему, не за что особенно! А вот господа бога так я поблагодарю от всего сердца! Поблагодарю его и за то, что барышня Эмилия поправляется!

Да, генеральская дочка быстрыми шагами шла вперед по пути выздоровления; шел быстрыми шагами вперед и Георг. В тот же год он удостоился малой серебряной медали, а затем, попозже, и большой.

— Ох, лучше бы мы отдали его в учение! — со слезами причитала жена привратника. — Тогда по крайней мере он остался при нас! И что ему делать в Риме? Никогда-то нам больше не свидеться с ним, хоть бы он и вернулся!.. Да он и не вернется, мое дитяtko!

— Да ведь все это для его же счастья и славы! — уговаривал ее муж.

— Спасибо тебе, дружок! — отвечала жена. — Ты только говоришь так, а и сам тому не веришь! И тебе так же горько, как мне!

Так оно и было. Отцу и матери горько было расстаться с сыном, а все только и твердили: «Какое счастье выпало молодому человеку!»

И вот Георг простился со всеми; отправился прощаться и наверх, к генералу. Генеральша не показала — у нее опять была мигрень. Генерал же на прощание рассказал

молодому человеку единственный свой анекдот о том, что он сказал принцу и что принц ему, а затем протянул Георгу два пальца.

Эмилия тоже подала Георгу ручку и выглядела как будто печальною, но сам Георг был еще печальнее.

Время идет и в деле и в безделье; время проходит одинаково, только не с одинаковою пользой. Для Георга оно проходило с пользою и совсем не казалось долгим, исключая тех минут, когда он вспоминал о своих. Как-то они там поживают все — и нижние и верхние? Положим, он получал из дома письма, а в письма можно вложить многое, из них льются в сердце солнечные лучи, от них же на сердце ложится тяжелая мгла. Такая мгла легла на сердце молодого человека, когда он получил письмо, извещавшее о смерти его отца. Мать осталась вдовой. Эмилия была для нее ангелом-утешителем, спускалась к ней в подвал, писала мать, и сама устроила так, что должность привратницы осталась за вдовою покойного.

Генеральша вела дневник. Она описывала каждый прием, каждый бал, на которых она была, а так же все визиты знакомых к ней. Иллюстрациями к дневнику служили карточки дипломатов и других высокопоставленных особ. Генеральша гордилась своим дневником, и он все рос да рос в объеме с течением времени — в течение многих, многих дней, мигреней и бессонных ночей, то есть придворных балов. Наконец и Эмилию повезли на придворный бал. Мамаша была в розовом с черными кружевами — в испанском вкусе! Дочка — вся в белом, такая прозрачная, изящная! В золотых локонах вилась, словно водоросль, зеленая шелковая лента, на головке красовался веночек из белых кувшинок. Глазки у девушки были такие голубые, ясные, ротик нежный, пунцовый — ну, ни дать ни взять морская царевна; прелесть что такое! Три принца танцевали с нею; конечно, не все зараз, а по очереди. У генеральши целую неделю не было мигрени.

Но первый бал был не последний, а Эмилии это оказалось не по силам. Хорошо, что подоспело лето и можно было отдохнуть на лоне природы.

Вся генеральская семья была приглашена погостить в графский замок.

Графский сад стоило посмотреть. Одна часть его была разбита в старинном вкусе: всюду шли, точно зеленые ширмы, прямые подстриженные живые изгороди, а в них были понаделаны круглые отверстия вроде слуховых окошечек; буки и тисовые деревца были подстрижены в виде звезд и пирамид; там и сям виднелись обложенные раковинами гроты, а в глубине их били фонтаны; всюду красовались статуи из гранита, — это видно было и по драпировкам и по лицам. Каждая цветочная клумба также имела свою форму — рыбы, герба, инициала. Эта часть сада была во французском вкусе. Из нее же попадали в свежий роскошный парк, где деревья росли, как хотели, и потому разрослись на славу, густые, огромные! Трава тут так и зеленела, и по ней можно было ходить, даром что за нею всячески ухаживали. Это было уж в английском вкусе.

— Старина и современность! — говорил граф. — Тут они отлично гармонируют друг с другом! А вот года через два и вся усадьба примет иной вид, будет предпринято столько разных перемен и улучшений! Я покажу вам чертежи и рисунки, да и самого архитектора, кстати. Он сегодня обедает у меня!

— Charmant! — сказал генерал.

— Тут просто рай земной! — сказала генеральша. — А вот и древний замок!

— Это птичник! — сказал граф. — В башне помещаются голуби, во втором этаже — индейки, а в первом живет сама повелительница этого птичьего царства, старуха Эльза. Из ее помещения во все стороны идут двери в помещения ее постояльцев. Наседки на яйцах помещаются особо, наседки с цыплятами особо, а для уток сделан даже особый ход к воде!

— Charmant! — сказал генерал.

И все отправились любоваться на эту прелесть.

Старуха Эльза стояла среди горницы, а рядом с нею архитектор Георг. Вот где довелось ему встретиться с Эмилией после стольких лет разлуки — в птичнике.

Да, он стоял тут, и на него можно было залюбоваться — такой красивый! Открытое, энергичное лицо, черные блестящие волосы и плутовская усмешка на губах, так и говорившая: «Знаю я вас всех вдоль и поперек!»

Старуха Эльза заблаговременно сняла свои деревянные башмаки и осталась в одних чулках из почтения к знатым гостям. Куры кудахтали, петухи кричали, утки крякали: «кряк! кряк!» Изящная молодая девушка, подруга детства, генеральская дочка, стояла тут же, и на ее обыкновенно бледных щечках цвели розы, глазки так и сияли, уста говорили без слов, и она поклонилась молодому архитектору так мило, как только может этого пожелать молодой человек, если он не в родстве с молодой девушкой или не танцевал с нею очень часто на балах. А Георг ведь ни разу не танцевал с Эмилией.

Граф пожал ему руку и представил гостям:

— Наш молодой друг, господин Георг, не совсем чужой вам!

Генеральша поклонилась, дочка чуть было не протянула ему руку.

— Так это наш господин Георг! — сказал генерал. — Как же, мы старые знакомые, соседями были! Charmant!

— Вы совсем превратились в итальянца! — заметила генеральша. — И, верно, говорите по-итальянски, как уроженец Италии?

Сама генеральша, заметил генерал, только пела по-итальянски, а не говорила.

За столом Георг сидел по правую руку Эмили. Вел же ее к столу сам генерал, а граф вел генеральшу.

Господин Георг вел беседу, рассказывал, и прекрасно рассказывал. Он был душой общества, хотя граф тоже мог бы постоять за себя в этом отношении. Эмилия молчала, вся превратившись в слух, а глаза ее так и блестя.

После обеда она и Георг очутились на террасе; высокие кусты роз скрывали их от взоров остального общества. Георг заговорил первый.

— Позвольте поблагодарить вас за ваше дружеское отношение к моей матери! — начал он. — Я знаю, что в ночь смерти моего отца вы не оставляли ее, пока он не закрыл глаза. Благодарю вас!

И он взял ручку Эмили и поцеловал. Что ж, это было вполне объяснимо. Девушка вся вспыхнула, но все-таки пожала в ответ его руку и взглянула на него своими славными голубыми глазами.

— Ваша матушка была такая милая! Как она любила вас! Она давала мне читать все ваши письма, так что

я, пожалуй, немножко знаю вас!.. Как вы были добры ко мне в детстве, дарили мне картинки!..

— А вы их рвали! — подхватил Георг.

— Нет, «мой замок» еще цел! — ответила она.

— Теперь я могу построить вам настоящий! — сказал Георг с увлечением.

Генерал и генеральша разговаривали в своей комнате о сыне привратника. Как он умел держать себя, как говорил, какие приобрел познания!

— Он мог бы быть информатором! — сказал генерал.

— Гений! — сказала генеральша и больше не прибавила ни слова.

Хорошее выдалось лето. Господин Георг был в графском замке частым и желанным гостем. О нем скупали, если он не являлся.

— Как щедро одарил вас господь в сравнении с нами, бедными! — говорила ему Эмилия. — А цените ли вы это как следует?

Георгу очень льстил такой взгляд, и он сам считал прелестную молодую девушку необыкновенно даровитой натурой.

А генерал все больше и больше убеждался в том, что Георг не мог быть такого низкого происхождения.

— Но, конечно, мать его была женщина вполне почтенная! — прибавлял он. — Надо отдать справедливость покойной!

Лето прошло, наступила зима, и господин Георг опять заставил о себе говорить. Он был принят в лучших домах, у самых знатных особ. Генерал встретил его даже на придворном балу. Для Эмилии тоже предполагали дать бал. Пригласить ли на него Георга?

— Кого приглашает король, может пригласить и генерал! — сказал генерал и выпрямился так, что вырос на целый вершок.

Георга пригласили, и он был на балу. Были там и принцы и графы. Один танцевал лучше другого, но Эмилии удалось протанцевать только первый танец: она как-то неловко ступила на ногу и, хотя повредила ее не опасно, должна была все-таки побережться и не танцевать больше.

Пришлось сидеть да любоваться на других. Она и сидела и любовалась, а господин архитектор стоял возле.

— Вы, пожалуй, распишете ей весь собор святого Петра! — сказал генерал, проходя мимо и благосклонно улыбаясь.

С тою же благосклонною улыбкою принял он господина Георга и несколько дней спустя. Молодой человек явился, разумеется, поблагодарить за приглашение на бал, а то зачем же? Но... о ужас, о безумие! Генерал не верил



своим ушам. Господин Георг ударился в «вышую декламацию», просьба его была неслыханная! Он просил руки Эмилии!

— Молодой человек! — сказал генерал, покраснев как рак. — Я вас не понимаю! Что вы говорите? Чего вы хотите?.. Я вас не знаю!.. Господин!.. Молодой человек!.. Вы врываетесь в мой дом!.. Я здесь хозяин или вы?.. Куда мне деться?..

И он, пятась, дошел до дверей своей спальни, переступил порог и запер за собою дверь на ключ, оставив Георга одного. Молодой человек постоял с минуту, потом вернулся и ушел. В коридоре его встретила Эмилия.

— Что он сказал? — спросила она дрожащим голосом.

Георг пожал ей руку.

— Он убежал от меня! Но будем надеяться на лучшие времена!

У Эмилии выступили на глазах слезы; в глазах же молодого человека светились уверенность и мужество. А солнце озаряло обоих, словно благословляя их.

Генерал сидел в своей комнате, точно ошпаренный. В груди у него так и kloкотало еще. «Безумие! Привратничье сумасшествие!..»

Не прошло и часа, как генеральша узнала от супруга обо всем, позвала Эмилию и усадила ее возле себя.

— Бедное дитя! Так оскорбить тебя! Оскорбить нас! Ты тоже плачешь!.. Слезы так идут к тебе! Ты прелестна в слезах! Ты похожа на меня в день моей свадьбы! Плачь, плачь, моя дорогая!

— И буду плакать, — ответила Эмилия, — если вы с папой не дадите своего согласия!

— Дитя! — воскликнула генеральша. — Ты нездорова! Ты бредишь! Ах, у меня опять разболится голова! Этот удар!.. Не заставь свою мать умереть от горя, Эмилия! Тогда у тебя не будет матери!

И у генеральши навернулись слезы — она совсем не выносила мысли о своей смерти.

В газетах было опубликовано о разных назначениях; между прочим, и о назначении профессором и возведении в чин архитектора Георга.

— Жалко, что родители его уж в могиле и не могут прочесть этого! — сказали новые привратник и привратница, жившие в подвале под генералом. Они знали, что профессор увидел свет в их камерке.

— Теперь его занесут в табель о рангах, и ему придется платить налог! — заметил муж.

— Да, это много значит для сына таких бедняков! — сказала жена.

— Восемнадцать талеров в год! — сказал муж. — Конечно, деньги немалые.

— Нет, я не о том, я насчет почета! — возразила жена. — Что ему эти деньги! Он их заработает много раз за год! И, уж конечно, возьмет богатую невесту. Будь у нас дети, муженек, наш сын тоже бы мог стать архитектором и профессором!

Хорошо отзывались о Георге в подвале; хорошо отзывались о нем и в бельэтаже, там это позволил себе старый граф.



Поводом послужили детские рисунки архитектора. Почему же о них зашел разговор? Да вот, заговорили о России, о Москве, ну, дошли и до Кремля, который когда-то нарисовал и подарил Эмилии Георг. Он дарил ей много картинок, но из них особенно запечатлелась в памяти у графа одна: «Эмилиин замок», с комнатами, где «она спала», «танцевала» и «играла в гости». И вот граф высказал, что профессор одарен большим талантом и, наверно, умрет в высоком чине. В этом нет ничего невозможного! Так почему ж бы ему и в самом деле не построить замка для молодой девицы?

— Граф был сегодня необыкновенно шутивно настроен! — заметила генеральша по уходе графа. Генерал покачал головой, выехал на прогулку верхом в сопровождении лакея — на почтительном расстоянии, — и посадка его была еще величественнее обыкновенного.

Настал день рождения Эмили; посыпались цветы, книги, письма, визитные карточки. Генеральша поцеловала дочь в губки, генерал — в лоб: они были нежные родители. Семью осыпали в этот день посещениями высокие гости — двое из принцев. Говорили о балах, о театре, о дипломатических назначениях, о политике. Говорили и о выдающихся деятелях — и чужих и своих; тут уж и молодой профессор сам собой подвернулся на язык. «Он вступит в храм бессмертия! Вступит, вероятно, и в одну из лучших наших фамилий!» Вот что было, между прочим, сказано о нем.

— В одну из лучших фамилий! — повторил генерал, когда остался один с генеральшею. — В какую же бы это?

— Я знаю, на какую намекали! — ответила генеральша. — Но не скажу! И думать не хочу! Конечно, один бог знает... Но я буду очень удивлена!

— И я тоже! Я даже и представить себе ничего не могу!.. — сказал генерал и стал выжидать минуту просветления.

А ведь, в самом деле, невыразимая сила кроется в милости свыше, в благоволении двора, знаменующем и божье благоволение! И благоволение это выпало на долю Георга в самых широких размерах. Но мы забыли день рождения!..

Комната Эмили утопала в цветах, присланных от друзей и подруг; на столе лежали прекрасные подарки, свидетельствовавшие о памяти и дружбе. Но от Георга

не было и не могло быть ничего, да и зачем? Дом и без того был полон воспоминаниями о нем. Цветок воспоминаний выглядывал даже из чуланчика под лестницей, где плакала Эмилия, когда в детской загорелись занавески, а Георг опередил всех пожарных. Из окна была видна акация, тоже воскрешавшая воспоминания детства. На ней не было теперь ни цветов, ни листьев, только бахрома из инея, так что дерево напоминало гигантскую коралловую ветвь. Месяц просвечивал между ветвями, все такой же большой, яркий! Он, несмотря на всю свою изменчивость, ничуть не изменился с того времени, когда Георг делился с Эмилией бутербродом.

Молодая девушка вынула из ящика рисунки «Кремль» и «Эмилиин замок» Они тоже говорили о Георге, и она загляделась на них. Много дум пробудили в ней они! Ей припомнилось, как она тайком от родителей спустилась вниз к жене привратника, лежавшей на смертном одре, как села возле нее, взяла ее за руку и приняла ее последний вздох, ее последнюю молитву: «Георг... благословляю!..» Мать думала только о сыне, но Эмилия вложила в ее слова особенный смысл. Да, Георг провел-таки с Эмилией день ее рождения!

На другой день тоже случилось рождение — рождение самого генерала. Он родился днем позже своей дочери — конечно, многими годами раньше. Опять посыпались подарки. В числе их было превосходное, необыкновенно удобное и дорогое седло; такое имелось пока только у одного из принцев. Кто бы это мог прислать его? Генерал был от него в полном восхищении. К седлу была приложена записка. Гласи она: «Спасибо за вчерашнее!» — все догадались бы, от кого оно было, но она гласила: «От лица, которого господин генерал не знает!»

— Кого же я не знаю в свете? — сказал генерал. — Всех знаю! — И мысли его отправились гулять по большому свету. Нет, там он знал всех. — Это от жены! — решил он наконец. — Она вздумала интриговать меня! Charmant!

Но она и не думала интриговать его — миновала та пора.

Опять готовилось празднество, но уж не у генерала, а у одного из принцев. Назначен был костюмированный бал: разрешалось быть и в масках.

Генерал изображал Рубенса, он был в испанском костюме, с небольшим стоячим воротником, при шпаге и

щеголял своєю осанкой. Генеральша изображала супругу Рубенса и задыхалась от жары в закрытом черном бархатном платье с жерновом на шее — то есть с большим плоским воротником. Костюм был скопирован с картины фламандского художника, принадлежавшей генералу; на картине особенно хороши были руки, а руки генеральши были точь-в-точь такие же.

Эмилия, вся в тюле и кружевах, изображала Психею. Она напоминала порхающую лебязью пушинку и совсем не нуждалась в крылышках, составлявших принадлежность костюма Психеи.

Что это было за бал! Что за блеск, что за великолепие! Какие цветы, сколько вкуса! Глаза разбегались, — где уж тут было смотреть на руки прекрасной супруги Рубенса!

Черное домино с веткой акации на капюшоне танцевало с Психеей.

— Кто это? — спросила генеральша.

— Его королевское высочество! — ответил генерал. — Я уверен в этом; я сразу узнал его по рукопожатию!

Генеральша сомневалась. Генерал Рубенс ничуть, — подошел к черному домино и начертил на его ладони инициалы принца. Тот отрицательно покачал головой, но дал намек:

— Записка при седле! Лицо, которого генерал не знает!

— Но тогда я вас знаю! — сказал генерал. — Это вы прислали мне седло!

Домино подняло правую руку и исчезло в толпе.

— Кто это черное домино, Эмилия? — спросила генеральша. — Ты сейчас с ним танцевала!

— А я не спросила его имени! — ответила дочь.

— Потому что знала его! Это профессор!.. Ваше протеже, граф, здесь! — продолжала генеральша, обращаясь к графу, стоявшему возле. — Черное домино с веткой акации!

— Очень возможно! — ответил он. — Впрочем, один из принцев одет точно так же!

— Я узнал его по рукопожатию! — настаивал генерал. — От принца же я получил и седло. Я так уверен в этом, что приглашу его к нам обедать!

— Что ж, сделайте так! Если это принц — он придет! — ответил граф.

— А если это тот... другой, он не придет! — сказал генерал и приблизился к черному домино, которое только что кончило беседовать с королем. Генерал обратился к домино с почтительным приглашением, выражая желание познакомиться с ним поближе. Генерал говорил так громко, отчетливо, так самоуверенно улыбался при этом, — он знал ведь, кого приглашал!

Домино сняло маску: это был Георг.

— Повторит ли генерал свое приглашение? — спросил он.

Генерал словно вырос на целый вершок, осанка его стала еще величественнее; он отступил на два шага назад, потом сделал шаг вперед, точно в менюэте, и на лице его появилось самое знаменательное выражение, какое только он вообще мог придать своим благородным генеральским чертам.

— Я никогда не беру своих слов назад! Профессор приглашен!

И он удалился, косясь на короля, который, наверное, слышал весь разговор.

Обед у генерала состоялся; приглашены были только старик граф да его протеже.

«Теперь лед сломан!» — думал Георг. И лед действительно был сломан при самой торжественной обстановке.

Да, молодой человек снова появился в доме генерала и говорил и держал себя совсем как человек из лучшего общества — генерал не мог этого не видеть. Кроме того, он оказался в высшей степени интересным собеседником, так что генералу несколько раз пришлось прибегнуть к своему восклицанию: «Charmant!» Генеральша не преминула рассказать об этом обеде в обществе, и одна из самых умных и уважаемых придворных дам выразила генеральше желание обедать у нее в следующий же раз, как будет приглашен молодой профессор. Пришлось снова пригласить его. Он принял приглашение и был опять в высшей степени мил; оказалось даже, что он играет в шахматы!

— Положительно он не подвального происхождения! — сказал генерал. — Наверное, он сын знатной особы! Таких много, и молодой человек тут ни при чем.

Профессор, бывавший при дворе у короля, мог, конечно, бывать и у генерала, но предполагать, что он пустит

в семье корни?!. Об этом не могло быть и речи — в городе же только о том и говорили.

Он и пустил-таки корни!

Милость свыше пролилась на него, и когда он сделался статским советником, Эмилия сделалась статскою советницею, что никого не удивило.

— Жизнь либо трагедия, либо комедия! — сказал генерал. — В трагедии влюбленные умирают, в комедии сочетаются браком.

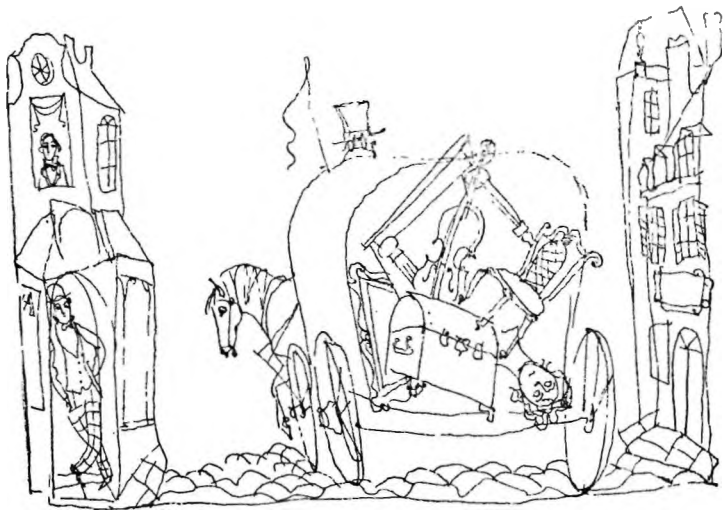
Георг с Эмилией сочетались, и у них родились трое славных мальчуганов — не зараз, конечно.

Милые детки, бывая в гостях у дедушки и бабушки, ездили по всем комнатам и залам верхом на палочках, а за ними гарцевал на палочке и сам генерал — «в качестве жокея маленьких статских советников!»

Генеральша же сидела на диване и улыбалась, глядя на внуков, даже в те дни, когда страдала своею «ужасною мигренью».

Так вот как далеко пошел Георг. Да он пошел и еще дальше, иначе не стоило бы и разговор заводить о сыне привратника!





### «ДЕНЬ ПЕРЕЕЗДА»



**Т**ы ведь помнишь колокольного сторожа Оле! Я рассказывал тебе о двух своих посещениях Оле, теперь расскажу и о третьем, но еще не последнем.

Обыкновенно я навещал его около Нового года, но на этот раз взбрался на колокольню в самый «день переезда». Внизу, на улицах, в этот день пренеприятно: всюду сор, осколки, черепки, обломки, не говоря уже о ворохах соломы, выкинутой из негодных матрацев!.. Шагашь, шагашь по ним!.. Да! Пришлось-таки мне пошагать! И вот вижу: в опрокинутой мусорной бочке играют двое ребятешек. Они затеяли игру «в спанье», — бочка так и манила улечься в нее. Они и влезли туда, зарылись в гнилую солому и накрылись вместо одеяла куском старых, ободранных обоев — то-то любо! Но с меня было уже довольно, и я поспешил наверх, к Оле.

— Сегодня «день переезда!» — сказал о н . — Улицы и переулки превращаются в гигантские мусорные бочки,

а мне довольно бывает и одного ящика: я и из него могу выловить кое-что, и выловил-таки однажды, вскоре после сочельника. Я спустился на улицу; было сыро, грязно, серо и холодно. Мусорщик остановился со своим возом у одного дома. Ящик его был полнехонек и мог бы послужить примерным образцом того, во что превращаются копенгагенские улицы в «день переезда». Сзади на возу торчала елка, совсем еще зеленая, на ветвях уцелела мишура; она покрасовалась в сочельник, а затем ее выбросили на улицу, и вот мусорщик водрузил ее на свой воз. Смеяться было или плакать, глядя на эту картину? Это зависит, конечно, от того, что думать при этом. Я смотрел на нее и думал; думали, вероятно, и кое-какие из сваленных в кучу предметов, или по крайней мере могли думать, а это ведь почти одно и то же. Лежала там, между прочим, разорванная дамская перчатка. О чем она думала? Сказать ли вам? Она лежала, указывая мизинчиком прямо на елку, и думала: «Мне жаль это деревцо! И я тоже была создана блистать при свете огней! И моя жизнь продолжалась одну бальную ночь! Пожатие руки — и я лопнула! Тут обрывается нить моих воспоминаний; больше мне не для чего было жить!» Вот что думала или могла думать перчатка!

«Глупая эта елка! — думал черепок от горшка. Черепки всегда и все находят глупым. — Уж раз попала в мусорную кучу, нечего нос задирать и чваниться своею мишурой! Я-то вот знаю, что приносил пользу на свете, не то что эта зеленая розга!»

Что ж, и такое мнение имеет много сторонников, но елка все-таки выглядела очень красиво, вносила хоть немножко поэзии в эту мусорную кучу, а сколько таких куч на улицах в «день переезда»!.. Мне стало тяжело бродить по улицам, и потянуло вверх, на колокольню. Тут я сажу себе да благодушно посматриваю вниз.

Вот теперь добрые люди играют там в перемену квартир! Они возятся, перетаскивают свое добро, а домовый сидит на возу и переезжает вместе с ними: домашние дрезги, семейные неурядицы, печали и заботы — все перебирается из старого жилища в новое. Так какой же смысл во всей этой кутерьме? В «Справочной газете» давным-давно как-то было напечатано старое доброе изречение: «Помни о великом переезде в страну вечности!»





Вот серьезная мысль, и, надеюсь, вам не будет неприятно послушать кое-что на эту тему? Смерть, несмотря на кучу дел, была и останется самым исправным чиновником. Вы когда-нибудь думали об этом?

Смерть — кондуктор, паспортист, выдающий нам аттестаты, и директор великой сберегательной кассы человечества. Понимаете вы меня? Все наши земные деяния, и большие и малые, составляют наш вклад в эту кассу, а вот, когда Смерть подъедет к нам со своим дилижансом, в котором мы должны отправиться в страну вечности, она выдаст нам на границе вместо паспорта наш аттестат! Вместо же суточных кормовых денег мы получим из сберегательной кассы то или другое наиболее характерное деяние наше. Для иного это очень приятно, для иного же ужасно!

Никто еще не избежал этого переезда в дилижансе Смерти. Правда, рассказывают, что был один такой — иерусалимский башмачник, которому не позволили сесть в него. Ему пришлось бежать позади дилижанса. Но, случись ему попасть туда, он бы ускользнул от поэтов! Загляните же когда-нибудь мысленно в дилижанс Смерти. В нем самое смешанное общество! Тут сидят рядом и король и нищий, гений и идиот. Всем приходится пуститься в дальний путь налегке, без всякого багажа, без денег, с одним аттестатом, да с тем, что выдаст им из сберегательной кассы Смерть. Какое же из всех деяний человека вынимает она из сберегательной кассы и дает ему в дорогу? Может быть, самое маленькое, незаметное, как горошинка? Но ведь из горошинки вырастает длинный цветущий стебель!

Жалкий горемыка, сидевший всю жизнь в углу на косячком скамейке и знавший только толчки да пинки, получит, может быть, в дорогу эту самую скамейку. Но она сейчас же превратится в паланкин, в золотой трон или в цветущую беседку, в которой беднягу и отнесут в страну бессмертия.

Тот же, кто постоянно пил из роскошной чаши наслаждения, чтобы забывать содеянное им зло, получит в дорогу простую плошку с чистым, прозрачным питьем, проясняющим мысли. Человек пьет его и видит то, чего прежде не хотел или не мог видеть. Наказание его в том гложущем черве совести, который никогда не умирает.

Если на чаше земных наслаждений была надпись — «забвение», то на этой плошке будет написано — «воспоминание».

Когда я читаю хорошую книгу, историческое сочинение, я всегда задумываюсь над тем, какое деяние вынула Смерть из сберегательной кассы и дала в дорогу такому-то или такому-то лицу, о котором я читаю. Вот, например, жил один французский король; имя его я позабыл, — имена добрых всегда забываются, но дела их нет-нет, да и всплывут в памяти. Этот король явился в голодный год благодетелем своего народа, и народ воздвиг ему памятник из снега с надписью: «Помощь твоя являлась быстрее, чем тает этот памятник!» Я думаю, что Смерть дала этому королю одну снежинку из его памятника, которая никогда не может растаять, и она проводила короля, порхая над его головой белою бабочкою, в страну вечности. А вот еще жил другой король, Людовик XI; его имя я помню — люди не забывают зла. Мне особенно памятно одно его деяние, и всякий раз, как я вспоминаю о нем, мне так и хочется назвать историю ложью. Он велел казнить своего коннетабля; ну, это он мог, справедливо или несправедливо — его дело; но у коннетабля были невинные дети, один восьми, другой семи лет; так король велел и их привести на эшафот и обрызгать теплою кровью отца! Затем он приказал посадить детей в Бастилию, в железную клетку; бедняжкам не дали даже одежды, чтобы покрываться ночью. А король присылал к ним каждую неделю палача, которому было приказано вырывать у детей по зубу, чтобы им жилось «не слишком вольготно». И старший мальчик сказал однажды палачу: «Матушка умерла бы с горя, если бы знала, что мой маленький брат так страдает! Выдерни же лучше два зуба у меня и оставь его в покое!» У палача выступили на глазах слезы, но воля короля была сильнее слез, и королю еженедельно продолжали подавать на серебряном блюде по два детских зуба. Он требовал их и получал. Так вот, я думаю, что эти-то два зуба Смерть и вынула из сберегательной кассы человечества и вручила их королю Людовику XI в дорогу, когда он отправился в страну вечности. И зубы невинных детей летели над ним двумя огненными пчелами, жгли, жалили его всю дорогу!

Да, серьезный путь предстоит нам в день великого переезда в дилижансе Смерти! Когда-то он придет за нами?

Вспомнишь, что мы можем ожидать его каждый день, каждый час, каждую минуту, и невольно призадуматься. Которое-то из наших деяний вынет тогда Смерть из сберегательной кассы и даст нам в дорогу? Да, поразмыслим-ка об этом! День этого последнего переезда не обозначен ведь в календаре!





## ПОДСНЕЖНИК



**З**авывал зимний ветер, а в домике было тепло и уютно. В этом домике укрывался цветок. Он укрывался в своей луковице под землей и снегом. Потом выпал дождь. Капли пробили снежное покрывало и застучали по цветочной луковице. Они говорили о светлом наземном мире, и вслед за ними сквозь снег пробился нежный и настойчивый солнечный луч и пригрел луковицу.

— Кто там? Войдите! — сказал цветок.

— Не могу! — сказал солнечный луч. — Мне никак не отворить дверь. Подожди до лета, тогда я наберу силу.

— А когда будет лето? — спросил цветок и повторял этот вопрос всякий раз, как новый солнечный луч пробивался под землю. Но до летней поры было еще далеко, повсюду лежал снег, и каждую ночь вода подергивалась ледком.

— Как мне это надоело! — сказал цветок. — Все тело ноет! Я должен потянуться, выпрямиться и выйти на

волю, я должен поклониться лету и пожелать ему доброго утра. Ах, какое это будет счастье!

Цветок встал, потянулся и приналег на свою облочку, размякшую от теплой земли, талой воды и солнечных лучей. Он рванулся вверх, неся на зеленом стебле бледно-зеленый бутон, бережно прикрытый узкими плотными листочками, и очутился в снегу. Снег был холодный, но весь просвечивал, и пробиваться сквозь него было куда легче, а солнечные лучи были теперь совсем близко, так близко, как никогда прежде. Они звенели и пели:

— Добро пожаловать! Добро пожаловать!

И цветок поднялся из снега навстречу светлому солнечному миру.

Лучи гладили и целовали его так нежно, что он совсем раскрылся. Он стоял, белый как снег, украшенный зелеными полосочками, смущенно и радостно склонив голову.

— Прекрасный цветок! — пели солнечные лучи. — Как ты нежен и свеж! Ты первый! Ты единственный! Любимый ты наш! Ты несешь в города и селенья весть о лете, о теплом лете. Весь снег растает, улетят холодные ветры! Придет наша пора! Все зазеленеет. И у тебя появятся друзья: сирень, ракатник, а потом розы, но ты у нас первый, такой нежный, такой прозрачный!

Ему было так радостно, словно пел весь воздух, словно лучи света пронизали все его листики и стебель, и цветок стоял нежный и хрупкий и вместе с тем сильный в своей юной красе. Он стоял в бело-зеленом наряде и славил лето. Но до лета было все еще далеко, тучи закрыли солнце, и подул резкий холодный ветер.

— Рановато ты явился! — сказали Непогода и Ветер. — Мы еще покажем тебе нашу силушку! Ты еще нас узнаешь! Сидел бы лучше дома и не выскакивал на улицу щеголять нарядами. Не пришла еще твоя пора!

И снова наступили холода. Потянулись хмурые дни без единого солнечного луча. Погода стояла такая, что маленькому, слабому цветку впору было промерзнуть насквозь. Но он и сам не знал, какой он сильный: ему прибавляла сил жизнерадостность и вера в то, что лето все равно придет. Он хранил ему верность, а солнечные лучи подтверждали, что ждать стоит. И так стоял он, испол-

ненный любви, веры и надежды, в белом наряде на белом снегу и склонял голову, когда густо падали снежные хлопья и дули ледяные ветры.

— Ты сломишься, — говорили они. — Замерзнешь, засохнешь! Что ты здесь искал? Зачем доверился солнечному лучу? Он обманул тебя. И поделом тебе, безумец. Эх ты, вестник лета!

— Безумец! — повторил цветок, когда настало морозное утро.

— Вестник лета! — обрадовались дети, которые выбежали в сад. — Полюбуйтесь, какой он славный, какой красивый, самый первый, единственный!

И от этих слов цветку сделалось так хорошо, как от теплых солнечных лучей. На радостях цветок даже не заметил, что его сорвали. Он лежал в детской руке, и детские губы целовали его, он очутился в теплой комнате, на него смотрели добрые глаза, его поставили в воду, такую бодрящую, такую живительную, что цветку почудилось, будто вдруг настало лето.

У хозяйской дочери, которая недавно конфирмовалась, был любезный дружок-подмастерье, который тоже недавно конфирмовался.

— Закружу-ка я ему голову! — сказала она; затем, взяв нежный цветок, вложила его в надушенный листок бумаги, на котором были написаны стихи, стихи о цветочке. Они начинались словами: «Подснежник говорит: «Настало лето вновь!» и кончались этими же словами, а внизу была еще такая приписка: «А я тебе скажу, что к нам пришла любовь!»

Хорошенькая барышня тоже обещала тепло и солнце. Об этом было написано в стихах, которые затем были посланы вместе с цветком по почте. Ему показалось, что он снова очутился в луковице, так сделалось вокруг темно. И подснежник отправился в путешествие: он ехал в почтовом мешке, со всех сторон на него жали и давили, и это не доставляло ему никакого удовольствия. Но всему когда-нибудь приходит конец. Закончилось и путешествие. Любезный друг распечатал и прочел письмо, да так обрадовался, что поцеловал цветочек; потом цветок вместе со стихами был положен в шкатулку, где лежало много красивых писем, только все они были без цветов, он был первым и единственным, как его

называли солнечные лучи, и было приятно думать об этом.

И уж думать об этом он мог предостаточно, он думал все лето и всю долгую зиму, а когда опять настало лето, цветок попался на глаза молодому человеку. На сей раз молодой человек несколько ему не обрадовался: он схватил письмо и так швырнул стихи, что цветок упал на пол. Правда, цветок высох и сплюснулся, но из этого вовсе не следовало, что его надо было бросать на пол. Тем не менее здесь было лучше, чем в огне, где пылали стихи и письма. Что же случилось? Да лишь то, что нередко случается.

Ранней весной подснежник оказался обманщиком, возвестив о лете, но это была невинная шутка. Девушка оказалась тоже обманщицей, возвестив о любви, и это была уже злая шутка. А когда и в самом деле пришло лето, она выбрала себе другого.

Утром солнечный луч осветил маленький сплюснутый подснежник, который выглядел нарисованным на полу. Служанка, подметавшая пол, подняла его и положила в одну из книг, так как ей показалось, что он выпал оттуда, когда она обметала пыль. И цветок снова очутился среди стихов, среди стихов напечатанных, а они куда благороднее, чем рукописные, и уже по крайней мере стоят они дороже.

Годы шли. Книга стояла на полке; затем ее взяли, раскрыли и прочли. Это была хорошая книга: стихи и песни датского поэта Амброзиуса Стуба, они стоили того, чтобы с ними ознакомились. И человек, читавший книгу, перевернул страницу.

— Ах, — сказал он, — здесь подснежник, самый первый и безрассудный цветок! Мне кажется, его положили сюда неспроста! Бедный Амброзиус Стуб! Он сам был как слишком ранний подснежник, и поэтому на его долю выпали злые ветры, снег и холод. Он странствовал по родному острову Фюн от одного помещицкого дома к другому, словно подснежник в стакане воды, словно цветок в любовном письме, и никто не принимал всерьез самого безрассудного, наивного, чудаковатого, и притом самого первого, единственного, вечно юного датского поэта. Да, маленький подснежник, оставайся здесь как напоминание, тебя сюда вложили неспроста!

И подснежник снова очутился в книге. Ему было лестно сознавать, что лежит он в прекрасной книге песен неспроста и что юноша, воспевший его, был тоже безрассуден и тоже бросал вызов зиме. Цветок понял все это на свой лад, как и мы склонны все понимать на свой лад.

Вот и конец сказке о маленьком безрассудном подснежнике.







## ТЕТУШКА



**З**нали бы вы тетушку — прелесть что такое! То есть прелесть не в обыкновенном смысле слова, не красавица, а милая, славная и по-своему презабавная. Вот над кем можно было пошутить, посмеяться! Хоть сейчас сажай ее в комедию! И все это потому только, что она жила лишь театром и всем, что к нему относится.

Вообще же тетушка была особа почтенная, даром что агент Болман, или «болван», как звала его тетушка, величал ее «театральной маньячкой».

— Театр — моя школа, — говаривала она, — источник моих познаний. Благодаря театру я освежила свое знание священной истории: «Моисей», «Иосиф и его братья» — это все ведь оперы! Благодаря театру я познакомилась и со всемирною историей, и с географией, и с психологией! Из французских пьес я узнала парижскую жизнь; легкомысленна она, но в высшей степени интересна! Как я плакала над «Семейством Рикебур»! Подумать только — герой допивается до смерти, чтобы героиня могла выйти замуж за любимого человека!

Да, много слез я пролила за те пятьдесят лет, что абонируюсь!

Тетушка знала каждую пьесу, каждую кулису, каждого актера, который выступал на сцене теперь или прежде. Она жила, собственно говоря, только девять месяцев в году; летние три месяца, театральные каникулы, прямо-таки старили ее, тогда как один вечер в театре, затягивавшийся за полночь, просто молодил. Она не говорила, как другие люди: «Вот скоро придет весна!» «Аист прилетел!», «В газетах уже пишут, что появилась земляника!» Она, напротив, приветствовала осень: «Видели, абонемент уже открыт?.. Скоро начнутся представления!»

Достоинство и удобство квартиры она измеряла близостью ее к театру. Как горько было ей оставить маленький переулочек, проходивший позади театра, и пересечь на большую улицу немного подальше, да вдобавок поселиться в доме, напротив которого был пустырь.

— Я и дома хочу иметь свою ложу — окошко! Нельзя же все с самою собою рассуждать, надо и на людей поглядеть! А вот теперь я живу, точно в деревне, в захолустье! Если мне вздумается посмотреть на людей, придется идти на кухню и влезать на стол — только оттуда я и вижу соседей. То ли дело было в переулке! Там из моего окошка открывался вид прямо на квартиру торговца льном, да и до театра было всего три шага, а теперь целых три тысячи, и каких еще — гвардейских!

Случалось тетушке и захворать, но как бы плохо она себя ни чувствовала, пропустить представление все-таки не могла. Раз доктор предписал ей поставить себе вечером к ногам кислое тесто. Она поставила, но в театр все-таки поехала и высидела все представление с тестом на ногах. Умри она в этот вечер, она была бы даже довольна. Ведь умер же в театре Торвальдсен, и такую смерть она называла блаженною.

Тетушка и рая не могла себе представить без театра. Конечно, нам этого не обещано, но ведь довольно же правдоподобно, что для прекрасных актеров и актрис, которые отправлялись туда до нас, найдется и там арена деятельности!

В комнатку тетушки был проведен из театра своего рода телеграф; телеграмма являлась каждое воскресенье к кофе. Телеграфом служил господин Сивертсен, театраль-

ный машинист, подававший сигналы к поднятию занавеса, перемене декораций и прочее.

От него-то тетушка и получала краткие, но вразумительные сведения о репертуаре. «Бурю» Шекспира он звал чертовщиной: столько хлопот с ней! В первом же действии — «море вплоть до первой кулисы»! Это он хотел объяснить, как далеко должны были заходить волны морские. Если же сцена во всех пяти действиях изображала все одну и ту же комнату, он называл такую пьесу разумною, толково написанною, на которой можно отдохнуть. Она, дескать, играет сама собой, без всяких фокусов.

В прежние времена — то есть лет тридцать тому назад, когда и сама тетушка и вышепоименованный господин Сивертсен, уже и тогда служивший машинистом, были помоложе, он, по словам тетушки, был настоящим благодетелем для нее. В те времена в единственном большом городском театре существовал обычай допускать зрителей на особые места, находившиеся под потолком по обеим сторонам сцены. Каждый машинист предполагал там местом или двумя. И места эти зачастую бывали битком набиты самую избранную публикую; говорили даже, что туда жаловали генеральши и коммерции советницы. Ведь так интересно было заглянуть за кулисы, увидеть, как держат себя герои сцены после того, как занавес опустится!

Тетушка частенько бывала там, когда шли трагедии и балеты. В этих пьесах участвовала наибольшая часть труппы, и на них-то особенно интересно было смотреть сверху. Зрители сидели там в потемках, но очень удобно; почти все запасались закуской на ужин, и однажды в темницу Уголино, где он должен был умереть с голода, упали колбаса и три яблока! В публике, конечно, надорвали животики со смеху. Вот эта-то колбаса и была одною из главнейших причин, по которым дирекция закрыла для зрителей места наверху.

— Но я все-таки успела побывать там тридцать семь раз! — говорила тетушка. — И никогда я не забуду этого господину Сивертсену!

В последний вечер, когда места под потолком еще были открыты для публики, давался «Суд Соломона»; тетушка отлично помнила это. В этот раз она благодаря любезности господина Сивертсена достала входной билет

для агента Болмана, хоть он и не заслуживал этого за свое зубоскальство и вечные насмешки над театром. Но ему очень хотелось видеть «театральную канитель с изнанки». Он именно так и выразился, и это было куда как похоже на него, говорила тетушка.

И вот он смотрел, смотрел «Суд Соломона» сверху, да и заснул там. Право, точно он пришел в театр с большого обеда, за которым было провозглашено пропасть тостов! И так, он заснул, проспал конец представления, и его заперли в темном, пустом театре.

— Когда я проснулся, — рассказывал он потом (тетушка, впрочем, не верила ни единому его слову), — «Суд Соломона» был кончен, все лампы и свечи потушены, весь народ разошелся, но тогда-то и началось настоящее представление — эпилог. И это было всего интереснее! Все ожило, пошел уже не «Суд Соломона», а «Страшный суд в театре».

И подобной ерундой агент Болман думал морочить тетушку в благодарность за то, что она устроила его под потолок!

Все, что рассказывал агент, могло со стороны показаться довольно забавным, но, в сущности-то, за всем этим скрывалась одна злая насмешка.

— Темно там было наверху! — рассказывал он. — Но вот началось волшебное представление «Страшный суд в театре». У дверей стояли контролеры и требовали у каждого из зрителей аттестат, чтобы удостовериться, имеет ли он право входить в театр не связанный по рукам и без намордника. Господа, являющиеся в театр слишком поздно, — трудно ведь сообразоваться с временем! — привязывались у входа и подковывались войлочными подошвами, чтобы могли без шума войти в театр в начале следующего действия. Кроме того, на них надевались намордники. Затем начался «Страшный суд».

— Все только ехидничанье и злость, неугодные господа богу! — ворчала тетушка.

Агент же продолжал:

— Декоратор, желавший попасть на небо, должен был взбираться на него по им самим нарисованной лестнице, а лестница-то эта являлась сплошным отрицанием всяких законов перспективы! Заведующий же монтажной частью, прежде чем попасть на небо, должен был перенести в подходящие места все здания и растения,

водворенные им в не соответствующие страны, — и все это раньше, чем пропоет петух!

— Господину Болману следовало бы лучше заботиться о том, как бы самому-то попасть на небо!

Вообще все, что он рассказывал об актерах — и комических и драматических, о певцах и балетных танцорах, было, по словам тетушки, со стороны Болмана (болвана!) черною неблагодарностью! Он не заслуживал счастья попасть наверх! Тетушка не желала даже повторять его сквернословия. А он уверял, что все это записано и попадет в печать после его смерти — не раньше! Не то тетушка, пожалуй, загрызет его!

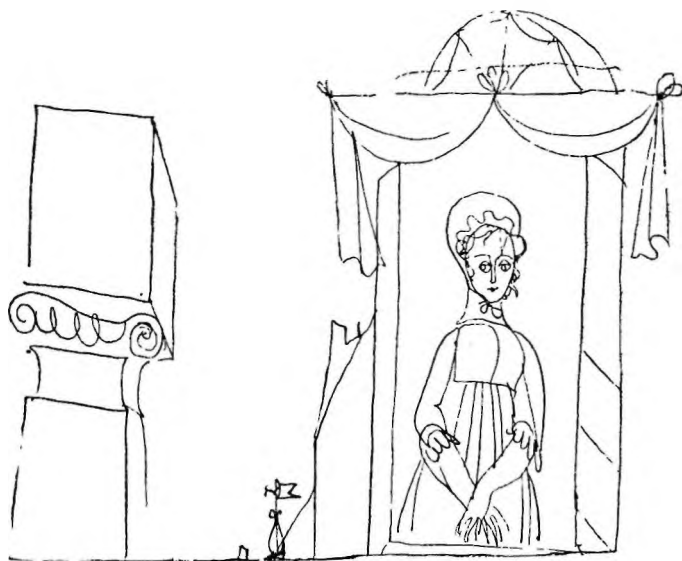
Только один раз довелось тетушке набраться страха в своем храме блаженства — театре. Дело было зимою, в один из коротких, «двухчасовых», серых дней. На дворе стоял холод, шел снег, но тетушке непременно надо было попасть в театр. Давали «Германа фон Унна», небольшую оперу и большой балет, да еще пролог и эпилог вдобавок. Спектакль должен был затянуться до поздней ночи. Как же пропустить такое представление? К тому же квартирант тетушки снабдил ее парой высоких меховых сапог, заходивших ей за колена.

Тетушка явилась в театр, уселась в ложу, но сапогов не сняла, хоть ей и жарко было в них. Вдруг закричали: «Пожар!» Из-за одной кулисы и под потолком показался дым. Поднялся переполох. Тетушка осталась последней в своей ложе второго яруса с левой стороны; оттуда декорации кажутся красивее, говорила тетушка, их ведь ставят так, чтобы они смотрелись лучше из королевской ложи! Наконец и тетушка добралась до двери, но оказалось, что зрители, выскочившие раньше, заперли ее за собою впопыхах. Тетушка очутилась в западне. Прямо в коридор выйти было нельзя, через соседнюю ложу тоже — перегородка была слишком высока. Тетушка закричала — никто не услышал. Она заглянула вниз, в следующий ярус, там тоже было пусто, но до него было близко, просто рукой подать. Тетушка от страха вдруг помолодела, почувствовала себя такою легонькою, проворною и совсем уж собралась было перелезть через барьер вниз, даже перекинула через него одну ногу, а другую поставила на скамейку. Так она и сидела, словно верхом на лошади, такая нарядная, в платье с цветочками, свесив вниз ногу в необъятном меховом сапожище!

То-то была картина! Когда на нее обратили внимание, услышали и крики тетушки, и она была спасена от опасности сгореть... со стыда, так как театр и не думал гореть.

По ее словам, это был самый памятный вечер в ее жизни. И хорошо, что она тогда не могла видеть самое себя, — она бы умерла со стыда.

Благотель ее, машинист Сивертсен, приходил к ней каждое воскресенье, но от воскресенья до воскресенья



долго было ждать, и вот тетушка стала в последнее время приглашать к себе по средам «кормиться» (то есть пользоваться остатками от стола) маленькую девочку. Девочка участвовала в балетах и тоже нуждалась в пище. Выступала она в ролях эльфов и пажей; труднейшею же ролью ее была роль «задних лап льва» в «Волшебной флейте». Потом она выросла и до передних лап, но за них ей платили уже только три марки разовых, тогда как задние лапы оплачивались целым риксдалером. Зато, исполняя их, ей приходилось сгибаться в три погибели и задыхаться! Все это тетушку живо интересовало.

Ей бы прожить до самого закрытия старого театра, но нет, не выдержала! Не пришлось ей и умереть в театре! Умерла она чинно и благородно в собственной постели. Последние слова ее были, впрочем, довольно-таки характерны. Она спросила: «А что идет завтра?»

После тетушки осталось что-то около пятисот риксдалеров. Так мы заключаем из процентов на капитал, составлявших двадцать риксдалеров. Их завещала тетушка в виде пожизненной пенсии достойной старой безродной девице, с тем чтобы она абонировалась на одно место в ложе второго яруса с левой стороны и непременно на субботние представления, — тогда даются лучшие пьесы. На пенсионерку налагалось лишь одно обязательство — поминать по субботам в театре покойную тетушку.

Так вот чему поклонялась и служила тетушка всю свою жизнь!





## ЖАБА



**К**олодец был глубокий, поэтому веревка была длинная. Когда вытаскивали полное ведро, ворот двигался туго. Солнцу никак не удавалось отразиться в прозрачной колодезной воде, хоть и была она совсем чистая, а там, куда солнечные лучи все-таки доставали, между камнями рос зеленый мох.

Тут-то и располагалось большое семейство жаб. В колодце их считали переселенцами. Собственно говоря, первой, и при этом вверх тормашками, переселилась сюда самая старая жаба — прабабушка, она была жива и до сих пор. Зеленые лягушки, испокон веков обитавшие в колодце, отлично чувствовали себя в воде, они признали в жабе родственницу и стали называть ее семейство «дачниками, приехавшими на купанья». А дачникам пришлось здесь по душе, и они удобно обосновались «на суше», — так называли они мокрые колодезные стены.

Бабушка лягушек однажды совершила путешествие — она попала в ведро, когда его поднимали. Но наверху



оказалось слишком светло, и у нее началась резь в глазах. Счастье еще, что ей удалось вовремя выкарабкаться из ведра! Она шумно плюхнулась в воду и три дня не вставала, так у нее разболелась спина. О мире наверху она могла поведать не много, но, во всяком случае, и она сама и все остальные знали, что колодец — это еще не весь мир. Конечно, о том, что наверху, могла бы рассказать прабабушка-жаба, но она никогда не отвечала на вопросы, и поэтому ее не спрашивали.

— Ух, и противная эта старуха толстуха! — негодовали юные лягушки. — Вот уж уродина! И дети ее будут такими же уродами, и внуки!

— Вполне возможно, — отзывалась жаба-прабабка. — Но у кого-то из них, а может быть, и у меня самой, спрятан в голове драгоценный камень.

Зеленые лягушки слушали ее, выпучив глаза, но такие речи им были не по вкусу, они скорчили гримасу и нырнули на дно. А молодые жабы гордо выгигивали задние лапки. Каждая из них воображала, что драгоценный камень именно у нее. Они старались даже не двигать головой, но в конце концов спросили старую жабу, чем, собственно, им следует гордиться и что за штука этот драгоценный камень.

— Он такой красивый и такой дорогой, — сказала старуха, — что я даже описать его не могу. А носят его, чтобы самому было приятно, а другим завидно. Но больше ни о чем не спрашивайте, я на вопросы не отвечаю.

— Ну, у меня-то драгоценного камня нет, — сказала самая маленькая жаба, такая безобразная, что дальше некуда, — да и зачем мне такая красота? А если другие завидуют, что же здесь приятного? Нет, я мечтаю совсем не об этом, мне бы хоть разок подняться к краю колодца и выглянуть наружу. Наверху, наверно, красота неопишная!

— Сиди где сидишь! — вмешалась старуха жаба. — Здесь ты всех знаешь и тебя все знают. Да берегись ведер, как бы тебя не раздавили! А уж коли попадешь в ведро, так скорее выскакивай. Правда, не всем удастся упасть так удачно, как мне, — и кожа и кости целы.

— Квак! — сказала маленькая жаба, а это все равно, что «Ах!» по-нашему.

Ей так хотелось добраться до края колодца и выглянуть наружу! Так хотелось увидеть зелень и траву! И ко-

гда на следующее утро ведро, полное воды, на мгновение случайно задержалось возле камня, где она сидела, сердце маленькой жабы дрогнуло, она бросилась в ведро и при-таилась на дне, а его подняли наверх и тут же выплеснули.

— Вот не повезло! — сказал какой-то человек, увидев жабу. — Ну и уродина! Я такой еще не видел! — И он пнул ее ногой в деревянном башмаке и чуть не искалечил. Хорошо, что жаба успела забиться в высокую крапиву. Она осмотрела каждый стебелек, поглядела наверх: солнце просвечивало сквозь крапивные листья, и они казались совсем прозрачными. Здесь, в крапиве, жаба чувствовала себя так же, как мы, люди, в большом лесу, где солнце едва пробивается сквозь листву и ветви.

— Тут гораздо красивее, чем в колодце! Здесь можно остаться на всю жизнь, — сказала маленькая жаба. Она просидела в крапиве час, просидела два. — Интересно, а что там дальше? Уж если сюда добралась, надо осмотреть все вокруг.

И она заторопилась, заковыляла и очутилась на дороге. Солнце светило ей в глаза, пыль припудривала, а она знай себе шлепала через дорогу.

— Вот где действительно суша. Какая красота кругом! Как хорошо! У меня даже внутри щекочет!

Скоро она доползла до канавы. Здесь голубели незабудки и цвела таволга. Вокруг канавы, словно живая изгородь, тесно росли бузина и боярышник. Белый вьюнок вился, как лиана. Сколько тут пестрело цветов! Над ними порхала бабочка. Жаба решила, что это тоже цветок — он оторвался от стебля и хочет полетать по свету. Кто-кто, а она его прекрасно понимала.

— Вот если бы и я могла двигаться так же быстро, — вздохнула жаба. — Квак! Ах! Какая красота!

Жаба провела в канаве восемь дней и восемь ночей, еды было вдоволь. А на девятый день решила: «Вперед! Вперед!»

От добра добра не ищут, что же она надеялась найти? Разве что встретить другую маленькую жабу или пару зеленых лягушек? В последнюю ночь ей показалось, что ветер принес знакомые звуки; видно, родственники были где-то поблизости.

— Жизнь прекрасна! Как хорошо вылезти из колодца, посидеть в крапиве, проползти по пыльной дороге и

отдохнуть в сырой канаве! Но вперед, вперед! Надо разыскать лягушек или жаб. Без друзей не проживешь, одной природы мало!

И жаба снова пустилась странствовать.

Она перебралась через поле, допрыгала до большого пруда, окруженного камышом, и заглянула в заросли.

— Вам здесь не слишком сыро? — спросили ее лягушки. — Но мы вам очень рады. Вы кавалер или дама? Впрочем, все равно, будьте как дома.

Вечером ее пригласили на домашний концерт. Тут все было совершенно как у людей — шуму много, а голоса никуда. Ужином не угощали, зато напитки были бесплатные — целый пруд, пей на здоровье!

— Ну, я отправляюсь дальше, — заявила маленькая жаба, точно ее тянуло к лучшему.

Она видела, как мерцают звезды, большие и ясные, как сияет молодой месяц, как встает солнце и поднимается высоко в небо.

— Я все еще в колодце, только он больше прежнего. А мне надо подняться наверх. Меня так и влечет туда, места себе не нахожу!

А когда луна стала полной и круглой, бедняга подумала: «Может, это такое большое ведро? Его опустят сюда, я смогу забраться в него и подняться еще выше! А может, солнце — ведро? Вон оно какое огромное, сверкающее. Мы все в нем поместимся. Нужно следить, не пропустить случай. Ах, какой свет! Наверно, даже драгоценный камень не горит так ярко. Но камня у меня нет, и не надо — мне он ни к чему. Нет, я хочу подняться выше, ближе к блеску, к счастью! Я уже решила, но мне как-то страшно, шутка ли сделать такой шаг! Но раз надо, так надо. Вперед, вперед на дорогу!

И она прыгнула так далеко, как не всякая жаба сумеет, и очутилась на проселочной дороге. Кругом жили люди. Всюду были сады и огороды. Жаба остановилась отдохнуть под капустой.

— Сколько же вокруг удивительных созданий, а я и не подозревала. Ах, как велик мир и до чего в нем интересно! Надо только не сидеть сиднем, а постараться разглядеть все как следует.

И она прыгнула в огород.

— Какая здесь зелень! Какая благодать!

— Еще бы! — сказала гусеница, сидевшая на капу-

стном листе. — А мой лист здесь самый большой! Он закрывает полмира, но я прекрасно обхожусь и так.

— Ко-ко-ко! — услышала жаба, это приближались куры, семена по огороду. Курица, выступавшая впереди, была дальнзоркая. Она сразу же заметила гусеницу на кудрявом капустном листе и нацелилась на нее клювом. Но гусеница свалилась на землю и давай извиваться и корчиться. Курица посмотрела на нее сначала одним глазом, потом другим: она не понимала, к чему это кривлянье.

«Это она не по доброй воле», — подумала курица и приготовилась клюнуть еще раз. Жаба пришла в такой ужас, что прыгнула прямо на обидчицу.

— Ах вот как, да у нее тут подкрепление! — воскликнула курица. — Взгляните, какая уродина! — И она отвернулась. — Очень мне нужен этот зеленый объедок, от него только в горле першит.

Другие куры были того же мнения и удалились с огорода.

— Вот как я вывернулась! — сказала гусеница. — Хорошо, что я всегда сохраняю присутствие духа. Но самое трудное впереди — как вернуться на мой капустный лист? Где он?

Маленькая жаба подскочила к ней выразить свое участие. Она так рада, что ее уродство сослужило гусенице службу, отпугнуло врагов.

— Что вы имеете в виду? — спросила гусеница. — Я вывернулась сама, без вашей помощи. А на вас ужасно неприятно смотреть. И вообще, нельзя ли меня оставить в покое в моем собственном доме? О, я чую запах капусты! Теперь я знаю, где мой лист. Нет ничего прекраснее, чем собственный дом. Только надо забраться повыше.

«Да, да, повыше, — сказала себе жаба. — И гусенице хочется наверх, совсем как мне. Просто она не в настроении. Еще бы, ее так перепугали! Всем нам хочется повыше». — И она запрокинула голову, а жабе это нелегко.

На крыше крестьянского домика квартировали аисты. Аист-отец и аистиха-мать тараторили без умолку.

— Как высоко они живут, — удивилась жаба, — вот бы туда забраться!

А в домике жили два молодых студента. Один был поэт, другой изучал природу. Один воспевал божьи творения, которые с радостью созерцала его душа, воспевал

в коротких, чистых и звучных стихах. Другой хотел докопаться до сути каждого явления, вскрыть все связи, если понадобится. Для него вселенная была сложной арифметической задачей, он вычитал, умножал, жаждал до всего дознаться, обо всем судить с умом, восхищался тем, как мудро все устроено, и говорил обо всем разумно и с увлечением. Словом, оба студента были веселыми, славными малыми.



— Смотри-ка, отличный экземпляр жабы, — сказал естествоиспытатель, — надо бы ее заспиртовать.

— У тебя ведь уже есть две, — возразил поэт, — оставь ее, пусть наслаждается жизнью.

— До чего она безобразна, просто прелесть! — воскликнул второй.

— Вот если бы я был уверен, что у нее в голове драгоценный камень, — сказал поэт, — тогда и я согласился бы ее вскрыть.

— Драгоценный камень у жабы! — засмеялся его друг. — Недурно же ты разбираешься в естествознании.

— А разве не прекрасно это народное поверье, что в голове жабы — безобразнейшего животного — часто скрыт драгоценный камень? Возьми людей, и к ним это можно отнести. Вспомни Эзопа, Сократа!

Больше жаба ничего не услышала, да и из услышанного половину не поняла. Друзья прошли мимо, и она избежала опасности угодить в банку со спиртом.

— И они тоже говорили про драгоценный камень! — удивилась ж а б а . — Какое счастье, что у меня его нет, а то не миновать бы мне неприятностей.

На крыше дома затараторили еще громче. Это аист-отец читал своему семейству лекцию, а семейство, скосив глаза, смотрело на двух молодых людей в огороде.

— Человек — это самое тщеславное животное, — учил аист. — Послушайте только, как они болтают! А что толку от их трескотни? Они столько мнят о своем красноречии, о богатстве своего языка. А что это за язык? Стоит им переехать из одного места в другое, и они уже друг друга не понимают. То ли дело мы! Наше наречие для всех нас понятно, во всех уголках земли, и в Дании, и в Египте. Эх, люди! Они даже летать не умеют! Правда, теперь они стали передвигаться быстрее, придумали какую-то железную дорогу, но сколько народу на ней шею ломает! Даже мороз по клюву пробегает, как подумаешь об этом! Нет, без людей было бы куда лучше. Мы прекрасно проживем без них, были бы только лягушки да дождевые черви.

«Какая великолепная речь! — подумала маленькая жаба. — Видно, он особа выдающаяся, и как высоко он сидит! Никого еще не видела на таком высоком месте. А как он плавает!» — воскликнула она, когда аист распростер крылья и поднялся в воздух.

А аистиха продолжала болтать, сидя в гнезде. Она рассказывала птенцам про Египет, про воды Нила, про изумительный ил, которого так много в этой чудесной стране. Для маленькой жабы все это было ново и захватывающе.

— Придется ехать в Египет, — сказала она. — Вот если бы аист взял меня с собой или кто-нибудь из его птенцов. А потом я заплачу им, послужу им в день их свадьбы. Ах, наверно, я попаду в Египет, мне ведь так везет! Как приятно испытывать такую тягу, такие стремления! Куда приятнее, чем носить в голове драгоценный камень.

А драгоценный-то камень как раз в ее голове и скрывался! Что может быть драгоценнее этого вечного стремления вперед, все дальше и дальше! Оно горело у нее в душе, озаряло ей жизнь, приносило радость.

Вот тут-то к ней и подошел аист. Он увидел жабу в траве, спустился и схватил беднягу, да не слишком

учтиво. Клюв сомкнулся, в ушах у жабы засвистел ветер. Это было пренеприятно, но ведь ее подняли вверх, ее несли в Египет! Глаза у жабы заблестели, из них брызнули искры.

— Квак — ах!

И маленькой жабы не стало. Но куда же делись искры, брызнувшие из ее глаз?

Их подхватил солнечный луч, солнечный луч унес драгоценный камень из головы жабы. Но куда?

Естествоиспытателя об этом не спрашивай, спроси лучше поэта. Он расскажет тебе настоящую сказку и про гусеницу и про семейство аистов. Подумай только! Гусеница превратится в красивую бабочку. Аисты отправятся за моря и горы в далекую Африку, а потом снова кратчайшей дорогой вернуться в Данию, на то же место, на ту же крышу. Но все это только кажется сказкой, а на самом деле сущая правда. Спроси у естествоиспытателя, и он подтвердит. Да ты и сам это знаешь — не раз видел.

А где же драгоценный камень из головы жабы? Пойщи его на солнце, попробуй разглядеть его там.

Правда, солнце светит слишком ярко, наши глаза еще не могут выдержать все великолепие, сотворенное господом богом. Но когда-нибудь мы и этому научимся. Вот это будет чудеснейшая из сказок — ведь она будет про нас.





## ЗЛОЙ КНЯЗЬ

*Предание*



**Ж**

ил-был злой, высокомерный князь. Он только и думал о том, как бы покорить себе весь свет, на всех нагнать страх одним своим именем. И вот он шел в чужие земли с огнем и мечом; воины его топтали нивы и зажигали крестьянские дома; красные языки лизали листья на деревьях, а плоды поджаривались на обуглившихся ветвях. Часто бедная мать укрывалась с голеньким грудным малюткой за дымившимися стенами, но воины рыскали повсюду, находили их, и начиналась дьявольская потеха! Злые духи не могли поступать хуже. Но князю казалось, что дела шли как должно. День от дня росло его могущество, имя его наводило ужас на всех, и удача сопровождала его во всех его деяниях. Из покоренных городов вывозил он золото и богатые сокровища, и в столице его скопились несметные богатства: нигде в свете не было ничего подобного. Он повелел строить великолепные дворцы, церкви и арки, и все, видевшие эти чудные постройки, говорили: «Какой великий князь!» Они не думали о бедствиях, в какие он



поверг чужие земли, не слышали стонов и жалоб, раздававшихся в ограбленных и сожженных городах.

Сам князь смотрел на свое золото, на великолепные здания и думал, как другие: «Какой я великий князь! Но мне еще мало всего этого! Хочу большего! Ничья власть в мире не должна равняться с моею, не то что превосходить ее!»

И он пошел войной на всех своих соседей и всех покорил.

Пленных королей он велел приковывать золотыми цепями к своей колеснице всякий раз, как собирался проехаться по улицам столицы. Когда же он сидел за столом, они должны были лежать у ног его и его придворных и хватать куски хлеба, которые им бросали.

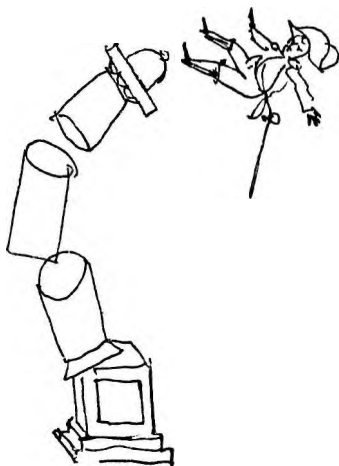
Наконец, князь повелел воздвигнуть себе на площадях и во дворцах статуи; он хотел было поставить их в храмах, перед алтарем господя, но священники сказали: «Князь, ты велик, но бог выше тебя, мы не смеем сделать этого».

— Ладно! — сказал злой князь. — Так я покорю и бога!

И, ослепленный безумною гордостью, он приказал строить диковинный корабль, на котором можно было носиться по воздуху. Корабль был расписан разными красками и походил на павлиний хвост, усеянный тысячами глазков, но каждый глазок был ружейным дулом. Князь сел на корабль; стоило ему нажать одну пружину, из ружей вылетали тысячи пуль, а ружья сейчас же сами собой заряжались вновь. Сто могучих орлов были впряжены в корабль, и вот он взвился в воздух, к солнцу. Земля едва виднелась внизу, горы и леса казались сначала вспаханном дерном, затем нарисованными на плоской ландкарте и наконец вовсе исчезали в облачном тумане. Все выше и выше подымались орлы; тогда бог выслал одного из своих бесчисленных ангелов, но злой князь встретил его ружейным залпом. Пули отскочили от блистающих крыльев ангела, как градинки; только одна-единственная капелька крови вытекла из белоснежного крыла и упала на корабль, где сидел князь. Она глубоко въелась в дерево и надавила на дно корабля с страшною силой, словно тысячепудовая глыба свинца. Корабль полетел вниз с невероятною быстротою; могучие крылья орлов переломились; ветер так и свистел в ушах у князя; облака, собравшиеся из дыма от сгоревших городов, теснились вокруг и принимали чудовищные формы: огромных раков, протягивавших к князю сильные клешни, катя-

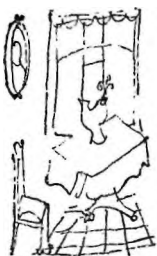
щихся обломков скал и огнедышащих драконов. Князь лежал на дне корабля полумертвый от страха. Наконец корабль застрял в густых ветвях лесных деревьев.

— Я одолею бога! — сказал князь. — Я дал себе клятву одолеть его, и быть по сему! — И он приказал строить новые воздушные корабли; строили их семь лет. Велел он также ковать молнии из твердейшей стали, чтобы взять твердыню неба приступом, и собрал воинов со всех концов своего государства; войска покрыли пространство в несколько квадратных миль. Воины готовы были сесть на корабли, князь подошел к своему, но бог выслал на него рой комаров, один только маленький комариный рой. Насекомые жужжали вокруг князя и жалили его в лицо и руки. Он злобно выхватил меч, но рубил им лишь воздух, в комаров же попасть не удавалось. Тогда он велел принести драгоценные ковры и укутать себя ими с ног до головы, чтобы ни один комар не мог достать до него своим жалом. Приказ его был исполнен, но один комар ухитрился пробраться под самый нижний ковер, заполз в ухо князя и ужалил его. Словно огонь разлился по крови князя, яд проник в его мозг, и он сорвал с себя все ковры, разодрал на себе одежды и голый принялся метаться и прыгать перед толпой своих свирепых солдат, а те только потешались над безумным князем, который хотел победить бога и был сам побежден комариком!





## ДВА БРАТА



**Н**а одном из датских островов, где среди хлебных полей лежат полукругами камни, обозначающие места древних тингов<sup>1</sup>, а в лесах зеленеют мощные буки, есть городок; застроен он низенькими домишками, крытыми красною черепицей. В одном из домиков на очаге пылали уголья и стряпалось что-то диковинное: в стеклянных сосудах что-то варилось, что-то такое мешали, перегоняли, в ступке толклись коренья... Заправлял всем делом пожилой человек.

— Надо добиваться настоящего! — говорил он. — Настоящего, истинного, самой истины во всем и всюду! Добиваться и крепко держаться ее.

В горнице сидели возле доброй хозяйки двое сыновей; они были еще малы, но развиты умственно не по летам. Мать тоже постоянно твердила им о настоящем, истин-

<sup>1</sup> Тинг — вече.

ном добре, учила держаться истины, — в ней ведь отражается на земле лик самого господа.

Взор старшего мальчугана блестел смышленостью и смелостью; больше всего любил он читать о силах природы, о солнце, о звездах. Никакая сказка не занимала до такой степени его воображения. Ах, какое счастье пуститься в далекие странствования по белу свету, совершать открытия или изобрести крылья, подобные птичьим, на которых бы можно было летать! Вот это значит «дойти до настоящего»! Отец и мать правы: истинною держится мир.

Младший брат был тише, замкнутее, весь зарывался в книги. Читая об Иакове, надевшем козью шкуру, чтобы выманить у отца благословение на первородство, он сжимал кулачки в гневе на обманщика. Читая о тиранах, о несправедливости и злых деяниях, что творятся на свете, он готов был заплакать. Его всецело поглощала мысль, что торжествовать в мире должно одно настоящее, сама истина.

Раз вечером мальчик улегся в постель, но половинки полога были задернуты неплотно, к нему проникал луч света, и он мог еще читать. Он и улегся в постель с книгой: ему непременно надо было дочитать историю о Солоне. И мысли унесли мальчугана далеко, далеко. Кровать стала кораблем, который поплыл на всех парусах. Во сне это все было, или?.. Корабль скользил по волнам, по могучим волнам времени, и мальчик явственно услышал голос Солона; понятно, хотя и на чужом языке, прозвучал девиз Дании: «Законом строятся государство!»

Гений человечества витал в эту минуту в бедной комнате над постелью ребенка и целовал его в лоб: «Будь тверд и честен, крепок в борьбе с жизнью! Будь хранителем истины на земле и стремись в царство вечной истины!»

Старший брат еще не ложился, а стоял у окна и смотрел на туман, подымавшийся с лугов. Это не эльфы водили хороводы, хоть так и говорила ему старая честная служанка. Нет, мальчик знал, что это пар: он теплее и легче воздуха, оттого и подымается вверх. Вдруг с неба скатилась светлая звездочка, и мысли мальчика мгновенно перенеслись от земных испарений к блестящему метеору. Звезды небесные сияли; от них как будто тянулась к земле длинная золотая нить. «Летим со мною!» —

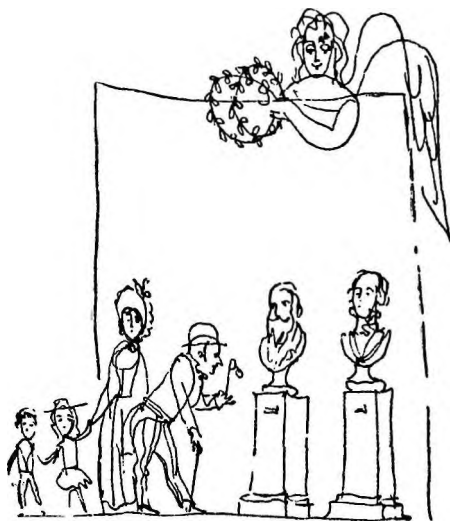
зазвучало в сердце мальчика, и могучий гений человечества унес его в бесконечное пространство, где вращаются связанные между собою световыми лучами планеты. Они унеслись туда быстрее птицы, быстрее стрелы, быстрее всякого земного существа. Наша земля двигалась, окруженная слоем тонкой атмосферы; города как будто жались один к другому. И вот прозвучало: «Что значит «близко», что значит «далеко», если тебя поднимает на своих крылах могучий гений духа!»

И ребенок опять очутился у окна, где стоял и смотрел на туман; младший брат лежал в постели; мать окликнула обоих: «Андерс, Ганс Христиан!»

Дания знает эти имена; знает и весь свет двух братьев Эрстедов<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Братья Эрстед. — Андерс Санде Эрстед (1778—1860) — датский юрист и государственный деятель; Ганс Христиан Эрстед (1777—1851) — датский физик.





## СТАРЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ КОЛОКОЛ



**В** немецкой земле, в Вюртемберге, где весною так чудесно цветут придорожные акации, а осенью яблоневые и грушевые деревья гнутся под изобилием зрелых плодов, есть городок Марбах. Он из числа маленьких, неважных городков, но расположен очень живописно у реки Неккар, что стремглав бежит мимо городов, старых рыцарских замков и зеленых виноградников, торопясь слить свои воды с гордым Рейном.

Стояла поздняя осень; виноградные листья окрасились в красноватый цвет; лили дожди, дул холодный ветер; для бедняков наступило не особенно веселое время. Дни стояли серенькие, мрачные, а еще мрачнее было внутри старых городских домишек. Один из этих домишек был обращен к улице не лицевой, а боковой стеной, с низенькими окошечками; неказист, беден был он с виду. Не богаче была и семья, обитавшая в нем, хотя честная, трудолюбивая и богобоязненная. Скоро господь должен был подарить им еще ребенка. Настал час, мать лежала в муках, вдруг на колокольне ударили в большой

колокол, — был торжественный час богослужения. Глубоко отдался этот звук в сердце матери и наполнил его благоговейною верою. Мысли ее устремились к богу, и в тот же момент бог послал ей радость — у нее родился сын. Церковный колокол, казалось, звонил о радости матери на весь город, на всю страну. На мать глядели ясные детские глазки, кудри ребенка отливали золотом. Ребенок был встречен при своем вступлении в жизнь, в темный ноябрьский день, колокольным звоном. Мать и отец поцеловали сына и занесли в свою Библию: «Десятого ноября 1759 года господь даровал нам сына»; позднее было приписано, что при крещении он получил имя Иоганна Христофа Фридриха.

Что же вышло из маленького парнишки, из бедного мальчугана, уроженца городка Марбаха? Да тогда-то еще никто не знал, что из него выйдет; не знал даже сам старый колокол, как ни высоко он висел и как ни громко звонил, приветствуя появление того, кто впоследствии сам спел чудеснейшую «Песнь о колоколе».

Мальчик подрастал, выросал в его глазах и весь мир. Родители переехали в другой город, но друзья их остались в Марбахе, поэтому мать с сыном и приехали туда однажды в гости. Мальчику было тогда всего шесть лет, но он уже знал кое-что из Библии, знал псалмы и часто слушал, сидя на своем плетеном креслице, как отец читал по вечерам басни Геллерта и «Мессиаду». У мальчугана навертывались на глаза слезы; сестра его, двумя годами старше, тоже плакала, слушая о том, кто принял крестную смерть ради нашего спасения.

Город, на взгляд тех, кто вернулся сюда в гости, не особенно изменился, да и времени-то с их отъезда прошло не бог весть сколько. Дома по-прежнему выставляли напоказ свои остроконечные кровли, покрякивающие стены и низенькие окна, только на кладбище прибавились новые могилы, а у самой стены, в густой траве, лежал старый колокол. Он упал с колокольни, получил трещину и не годился больше к службе; на его месте висел уже новый.

Мать с сыном прошли на кладбище, остановились перед старым колоколом, и мать стала рассказывать мальчику, как колокол этот в продолжение столетий делал свое дело, звонил и к крестинам, и к свадьбе, и к погребению, возвещал и о праздничной радости и об ужасах





пожара, словом — сопровождал звоном все важнейшие моменты человеческой жизни! И ребенок запомнил рассказ матери; он звучал в детском сердце, пока мальчик не вырос и сам не воспел колокол. Мать рассказала также, как этот колокол утешил, обрадовал ее своим звоном в час скорби и страха, приветствуя рождение ее маленького сына. И мальчик посмотрел на огромный старый колокол с чувством, близким к благоговению, потом наклонился и нежно поцеловал его, даром что он был стар, надтреснут и валялся, брошенный, в крапиве.

Колокол запечатлелся в памяти мальчика, росшего в бедности. Худой он был, длинный, с рыжими волосами, весь в веснушках; зато у него были чудесные, ясные, глубокие, как море, глаза. Как же жилось ему? Хорошо, завидно хорошо! Он по особой высшей милости был принят в военную школу, в отделение, где воспитывались все дети знатных особ. Это была для него такая честь, такое счастье! Он носил штиблеты, высокий галстук и напудренный парик. И обучали его всему под звуки: «Марш! Стройся! Во фронт!» Как не выйти проку из такого обучения?

Старому колоколу, конечно, суждено было попасть в переливку; а что же из него должно было выйти? Ну, этого предсказать было невозможно, как нельзя было предсказать и того, что выйдет из колокола, звучащего в груди юноши. Этот колокол был из чистого металла, и звон его должен был разнестись по всему свету! И чем громче звучал он в груди юноши, тем теснее становилось тому в школьных стенах, тем оглушительнее раздавались в его ушах эти «марш!», «стройся!», «во фронт!». Он и воспел этот колокол в кругу товарищей, но песня унеслась далеко за пределы страны! Но не за это же давались юноше воспитание и образование, одежда и пища! Он был занумерованным винтиком и должен был, как и все мы, приносить осязаемую пользу в огромном часовом механизме. Что ж, если мы и сами-то зачастую не понимаем самих себя, как же требовать, чтобы понимали нас другие, хотя бы и лучшие люди в свете! Но алмаз образуется ведь именно высоким давлением; недостатка в давлении здесь не было, только суждено ли было свету узреть со временем алмаз?

Столица той страны праздновала большое торжество; горели тысячи лампочек, вспыхивали ракеты; весь этот блеск вспоминается еще и поныне благодаря юноше, который в это время в слезах и горе пытался незаметно пе-

ребраться в чужую страну. Он должен был выбрать одно из двух: покинуть свое отечество, мать, всех близких или заклебнуться в общем течении.

Старому колоколу было хорошо: он стоял в укромном месте, защищенный церковною стеною. Над ним гулял ветер и мог рассказать ему о том мальчишке, чье рождение колокол приветствовал своим звоном. Ветер мог рассказать, каким холодом обдавал путника, устало опустившегося на землю в лесу соседней страны, путника, все богатство которого, все надежды на будущее заключались в исписанных листах, повествовавших о Фиеско. Он мог бы рассказать и о единственных ценителях — всё ведь художниках, — которые улизнули из комнаты во время чтения этого произведения и занялись игрою в кегли! Он мог бы рассказать о бледном беглеце, жившем недели, месяцы на бедном постоялом дворе, где сам хозяин пил и бушевал, где царило буйное веселье, в то время как юноша воспевал идеалы. Тяжелые, мрачные дни! Но сердце должно выстрадать все, о чем ему суждено петь.

Мрачные дни, холодные ночи пронесли и над старым колоколом, но он-то не чувствовал их, как чувствует тяжесть своего земного испытания колокол в человеческой груди. Как же жилось молодому человеку? Как жилось старому колоколу? Да, колокол отправился в далекий путь, куда дальше, чем разносился когда-то с колокольни его звон, а звон колокола, звучащего в груди молодого человека, разнесся еще куда дальше — дальше, чем когда-либо ступала нога юноши, дальше, чем видел его глаз; звон этот разносится по всему свету еще и до сих пор. Но послушай сперва о церковном колоколе. Его увезли из Марбаха, продали, как старую медь, в Баварскую землю. Как же он туда попал и когда? Об этом пусть расскажет он сам, коли может; это не важно. Нам довольно знать, что он попал в столицу Баварии. Много лет прошло с тех пор, как он упал с колокольни; пора было его перелить, и вот из него решили отлить часть памятника великому сыну немецкого народа и страны. Послушай же, что вышло! Какие чудесные совпадения бывают на белом свете! В Дании, на одном из зеленых островов, где шумят буковые леса, где такое множество курганов, жил-был бедный, бедный мальчик; он ходил в деревянных башмаках и носил в стареньком платочке обед своему отцу, резчику, работавшему на верфи. Этот бедный мальчик сделался гордостью

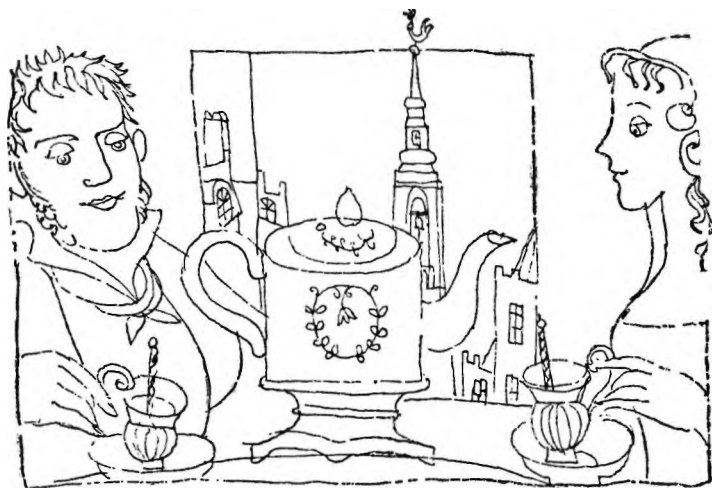
своей родины — он высекал из мрамора чудные статуи, дивившие весь мир. Ему-то именно и выпало на долю вылепить из глины прекрасный, величавый образ, который потом отлили из металла, изображение того, чье имя отец занес в свою Библию, Иоганна Христофа Фридриха.

И металл раскаленную струею полился в форму. Из старого колокола — да никто и не вспомнил о его происхождении и умолкнувшем звоне! — вышли голова и грудь статуи, которая теперь красуется в Штутгарте перед старым замком, на той самой площади, по которой ходил при жизни тот, кого изображает статуя. Да, по ней ходил терпевший тяжелый гнет нужды и борьбу со светом мальчик из Марбаха, воспитанник военной школы, беглец, великий, бессмертный немецкий поэт, воспевший освободителя Швейцарии и вдохновенную французскую девственницу.

Стоял чудный солнечный день; на башнях и крышах домов в Штутгарте развевались флаги, все колокола торжественно и радостно звонили. Только один колокол безмолвствовал — лицо и грудь статуй блистали на солнце. В этот день как раз минуло сто лет с того дня, как марбахский колокол зазвонил на радость и утешение страждущей матери, рождавшей ребенка. Ребенок родился в бедном доме, в бедной обстановке, но стал впоследствии великим обладателем сокровищ, которые благословляет весь мир. Кто же он?

Поэт, воспевший благородные женские сердца, певец всего великого и прекрасного, Иоганн Христоф Фридрих Шиллер.





## ЧАЙНИК



**Ч**айник был-таки горденек; он гордился и фарфором своим, и длинным носиком, и широкой ручкою — всем. У него была приставка и спереди и сзади; спереди — носик, сзади — ручка; об этом-то он и говорил. О том же, что крышка у него была разбита и склеена, — молчал. Это ведь недостаток, а кто же любит говорить о своих недостатках, — это и другие сделают. Чашки, сливочник, сахарница, словом — весь чайный прибор, конечно, больше помнили и охотнее говорили о недостатке чайника, нежели о его прекрасной ручке и о великолепном носике. Чайник знал это.

«Знаю я их! — рассуждал он сам с собою. — Знаю и сознаю и свой недостаток — я скромн, смиренен! Недостатки у всех у нас есть, но у каждого есть зато и свои преимущества. У чашек есть ручка, у сахарницы — крышка, а у меня и то и другое, да еще кое-что сверх того, чего у них никогда не будет, — носик. Благодаря ему я — король всего чайного стола! Сахарнице и сливочнику тоже выпало на долю услаждать вкус, но я — главный; я

утоляю жажду людей; во мне кипящая безвкусная вода перерабатывается в китайский ароматный напиток!»

Все это говорил чайник в пору беспечальной юности. Тогда он стоял на накрытом столе; чай разливала тонкая, изящная ручка. Но неловка она была: чайник выскользнул из нее, упал, и — носика как не бывало, ручки тоже, о крышке же и говорить нечего, — о ней сказано уже довольно. Калека чайник без чувств лежал на полу, горячая вода бежала из него ручьем. Ему был нанесен тяжелый удар, и тяжелее всего было то, что смеялись-то не над неловкою рукою, а над ним.

«Этого мне никогда не забыть! — говорил чайник, рассказывая впоследствии свою биографию самому себе. — Меня прозвали калекою, ткнули куда-то в угол, а на другой день подарили женщине, получавшей обыкновенно остатки со стола. Пришлось мне попасть в бедную обстановку, стоять без пользы, без всякой цели — и внутренней и внешней. Но вот стоял я, стоял, и вдруг для меня началась новая, лучшая жизнь. Да, бываешь тем, а становишься совсем иным. Меня набили землею — для чайника это то же, что быть зарытым в землю, но в эту землю посадили цветочную луковицу. Кто посадил, кто подарил ее мне, не знаю, но она была дана мне взамен китайской травки, взамен кипятка, взамен отбитых ручки и носика. Луковица лежала в земле, лежала во мне, стала моим сердцем, моим живым сердцем, какого прежде во мне никогда не бывало. И во мне зародилась жизнь, закипели силы, забился пульс; луковица пустила ростки; она готова была лопнуть от избытка мыслей и чувств. Они и вылились в цветке! Я любовался на него, я держал его в своих объятиях, я забывал себя самого ради его красоты. Какое блаженство забывать себя самого ради других! А цветок даже не сказал мне за то спасибо, он и не думал обо мне, — ему все удивлялись, им все восхищались, и если я был так рад этому, то как же должен был радоваться он сам? Но вот однажды я услышал слова: «Такой цветок достоин лучшего горшка!» Меня разбили... Ужасно было больно! Зато цветок пересадили в лучший горшок! Меня же выбросили на двор, и я теперь валяюсь там, как старый черепок, но воспоминаний моих у меня никто не отнимет!»



### ПТИЦА НАРОДНОЙ ПЕСНИ



**З**имняя пора. Земля покрыта снежной корою, словно пластом мрамора, высеченного из скалы; небо ясное, чистое; ветер колет, как острие выкованного гномами меча; деревья похожи на белые кораллы, на цветущие миндальные деревья; свежо здесь, как на вершинах Альп. Чудная ночь озаряется северным сиянием и мерцанием бесчисленных звездочек.

Завыли бури, облака собираются на небе стаями и отряхают свое лебединое оперение; снежные хлопья порхают в воздухе и усыпают дорогу, дом, открытое поле и глухие перелуки. А мы-то сидим у себя в уютной комнате, у пылающей печки и слушаем рассказы о старине — сагу.

«У открытого моря возвышается могильный курган; на нем появляется в полночный час призрак погребенного там героя, конунга. Золотой обруч блестит на его челе, волосы развеваются по ветру, грудь закована в латы. Он печально поник головою и глубоко, горько вздыхает, словно дух, обреченный на муки.

Мимо плывет корабль. Мореплаватели бросают якорь и пристают к берегу. Между ними скальд; он подступает к призраку и вопрошает его: «О чем ты скорбишь и страждешь?»

Мертвец отвечает: «Никто не воспел моих подвигов; они забыты, умерли вместе со мною. Песнь не разносит мою славу по свету, не говорит о ней сердцам людей — вот отчего я не знаю покоя в могиле!»

И он поведал о своих славных делах и подвигах, оставшихся невоспетыми в его время, — не было скальда.

Старый скальд схватывает свою арфу, ударяет по струнам ее... И льется песнь о мужестве героя в юности, о силе его в годах зрелости, о всех его великих и добрых деяниях! Лицо умершего проясняется, словно край облака, освещенный луною. Яркое сияние озаряет призрак... Мгновение — и оно погасает, словно сноп северного сияния, а вместе с ним исчезает и самый призрак.

На том месте остался только зеленый холм да голые камни, без надписей. Но над ними взвилась, одновременно с последним ударом скальда по струнам, прелестная птичка. Она как будто вылетела из самой арфы. Это певчая птичка; она рассыпает трели, как звонкий дрозд, поет и задушевым человеческим голосом; в ее пении слышатся родные отголоски. Птичка понеслась над скалами, над долинами, над полями и лесами; то была бессмертная птица народной песни!

Мы слушаем ее пение, слушаем его сейчас, сидя вечернею порою в теплой комнате; на дворе же в это время летают белые пчелы и вост буря. Птичка поет нам не только суровые богатырские песни, но и нежные мелодии о любви и верности северян. Она знает их без конца, без счета. Знает она и сказки, и пословицы, и поговорки в стихах; она истолковывает нам на нашем родном языке руны — язык мертвцов, заставляет говорить умершие поколения, и мы узнаем их житье-бытье; оно воскресает перед нами.

В древние языческие времена, во времена викингов, гнездо птицы качалось на струнах арфы скальда. А в рыцарскую эпоху, когда кулак склонял чаши весов правосудия, когда сила была правом, когда крестьян меняли на собак, — тогда где находила себе приют птица народной песни? Невежеству и мелочности не до нее было, но в оконной нише сидела за пергаментом благородная вла-

детельница замка и записывала старые предания в песнях, которые сказывала ей старушка из крестьянской хижины или странствующий коробейник, и вот тут-то вилась и щебетала бессмертная птичка! Птица народной песни ведь не умрет, пока на земле остается для нее хоть единая точка опоры!

Теперь она поет нам в теплой, уютной комнате, а на дворе бушует снежная метель, царит мрак. Птица переводит на наш язык древние руны, и благодаря ей мы познаем свою родину. Сам бог говорит нам на нашем родном языке устами птички. Старые предания восстают из могил, потускневшие краски освежаются. Песня и сказание — благодатный напиток, возвышающий душу и мысль. Простой зимний вечер становится рождественским сочельником! Вьюга крутится, лед трещит, буря бушует; она сильна, она господствует над землей, но над нею есть еще господин.

Зимняя пора; ветер колет, как острие меча, выкованного гномами; вьюга крутится; сдается, что она крутится уже целые дни, недели, что весь город погребен под снежными сугробами и погружен в тяжелый зимний сон. Все занесено снегом; над белою насыпью возвышается только золотой крест церкви, символ веры, и сияет под лучами солнца.

И вот над погребенным городом пролетают птички небесные, большие и малые. Они щебечут, поют, каждая по-своему.

Прежде всех являются воробьи. Они чирикают о малых мира сего, обитающих в улицах и переулках, гнездах и домах. Они знают, что творится и в больших особняках и в маленьких флигелях. «Знаем мы этот погребенный город! — говорят они. — Все живое в нем чирикает по-своему! Пип! Пип!»

Над белою снежною пеленой пролетают и черные вороны и вороны. «Кар! Кар! — кричат они. — Город похоронен! Но там все-таки найдется еще чем набить зобы! А это ведь первое дело! Так думает большинство, а оно всегда пра-пра-право!»

Пролетают, шумя крылами, и дикие лебеди и поют о всем великом и прекрасном, что еще пробивается из сердец и мыслей людей, обитающих в этом занесенном снегом городе.

Но не смерть там царит; там кипит жизнь. Мы внемлем ей; она выливается в звуках, мощных, как звуки



церковного органа, хватающих за сердце, как мелодии из «Лесного холма», как песнь Оссиана, как бурный «Полет валькирий»! Какие созвучия! Они говорят нашему сердцу, возвышают мысли, — мы внемлем им в пении птицы народной песни! Мы внемлем ее пению, и с неба веет теплым дыханием божьим, ледяная кора дает трещины, в них проникают лучи солнца, вестники шествующей весны, прилетают птицы — новые птицы все с теми же старыми, родными песнями! Слушай же, слушай эпос года! Неистовство снежной бури, тяжелый сон зимней ночи — все исчезает, все забывается при звуках чудного пения бессмертной птицы народной песни!





## ЗЕЛЕННЫЕ КРОШКИ



**Н**а окне стоял розан; недавно еще он был так свеж, а теперь что-то начал чахнуть, хиреть.

У него завелись постояльцы, которые стали пожирать его, постояльцы, впрочем, очень почтенные, носившие зеленый мундир.

Я имел разговор с одним из них. Ему было всего три дня от роду, а он уже имел правнуков. И знаете, что он сказал мне? Он говорил о самом себе и о прочих постояльцах и говорил одну правду.

— Мы замечательнейшее войско в мире. В теплое время года мы производим живых малюток; погода в это время хороша, и они сейчас же сватаются и играют свадьбы. В холодное же время года мы кладем яички — малюткам тепло в них. Мудрейшие создания, муравьи — мы питаем к ним глубочайшее уважение, — изучают нас, ценят нас. Они не пожирают нас тотчас же, а берут наши яички, уносят их в свою семейную кучу, в самый нижний этаж, и укладывают там очень толково по номерам, рядышком,

слоями, так, чтобы каждый день иметь новорожденного малютку. Потом муравьи ставят нас в хлев и щекочут, то есть доят. После того мы уж умираем. То-то хорошо! Муравьи называют нас прелестнейшим именем — «сладкими дойными коровками!» Все животные, одаренные муравьиным разумом, зовут нас так, все, кроме людей! И это такая обида для нас. Просто впору лишиться всей своей сладости! Не можете ли вы написать что-нибудь против этого, не можете ли как-нибудь усовершенствовать этих людей! Они смотрят на нас так глупо, злятся, что мы поедаем листья розана, а сами пожирают на земле все живое, все, что только растет и зеленеет! Они дают нам самое презренное, самое отвратительнейшее имя! Я не произнесу его! У! Как подумаю только, у меня внутри все преворачивается! Я не могу выговорить его, по крайней мере — в мундире, а я всегда в мундире.

Я родился на листке розана. Я и весь наш полк живем им, но он, в свою очередь, оживает в нас, а мы ведь принадлежим к высшему разряду творений. Люди нас не терпят, приходят и смывают нас мыльной водою. Прескверный напиток! Право, мне все кажется — где-то пахнет им?! И какво перенести такое мытье, если природа твоя совсем не терпит мытья!

Человек! Ты смотришь на меня такими сердитыми мыльными глазами, но вспомни наше место в природе, наше искусное устройство: мы кладем яйца и производим живых малюток! Вспомни, что и нам дан завет «плодиться и размножаться!» Мы родимся на розах и умираем на розах; вся наша жизнь — чистейшая поэзия. Не клейми же нас позорным, гнусным именем, которого я не произнесу ни за что! Зови нас «дойными коровками муравьев», «гвардией розана», «зелеными крошками»!

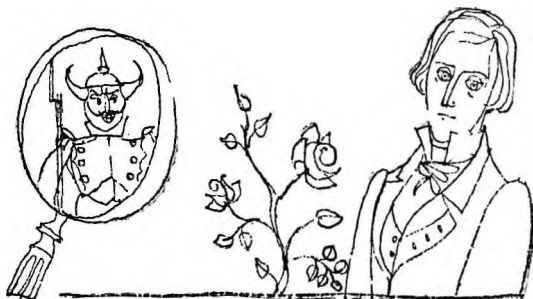
А я, человек, стоял и смотрел на розан и на «зеленых крошек», которых не назову по имени, чтобы не оскорбить граждан розана, большое семейство, кладущее яйца и производящее живых малюток. Мыльную же воду, которую я хотел смыть их — я явился именно с этим злым намерением, — я решил вспенить: буду пускать мыльные пузыри и любоваться роскошью их красок! Как знать, может быть, в каждом пузыре сидит сказка?

И вот я выдул пузырь, большой, блестящий, отливающий всеми цветами радуги; на дне его как будто лежала серебристая жемчужина. Пузырь колебался несколь-

ко мгновений на конце трубочки, потом вспорхнул, полетел к двери и лопнул. В ту же минуту дверь распахнулась, и на пороге показалась сама бабушка-сказка!

Ну, она лучше меня расскажет вам сказку о — нет, я не назову их — о зеленых крошках!

— О травяных вшах! — сказала бабушка-сказка. — Каждую вещь следует называть настоящим именем, и если уж бояться это делать в действительной жизни, то пусть не бояться хоть в сказке!





## ДОМОВОЙ И ХОЗЯЙКА



**Т**ы знаешь домового. А хозяйку знаешь? Жену садовника? Она была начитанна, знала наизусть много стихов и даже бойко сочиняла их сама. Вот только рифмы — «спайки», как она их называла, давались ей не без труда. Да, у нее был и писательский талант и ораторский; она могла бы быть хоть пастором, по крайней мере — пасторшею!

— Как хороша земля в воскресном уборе! — сказала она и поспешила облечь эту мысль в стихи со «спайками», очень красивые и длинные.

Семинарист, господин Киссеруп — имя тут, впрочем, ни при чем, — сын сестры садовника, гостивший у них, услышал стихи хозяйки и заявил, что они очень, очень хороши!

— Да, на вас лежит печать гения, сударыня! — прибавил он.

— Экий вздор! — сказал садовник. — Не вбивайте ей ничего такого в голову! Женщина прежде всего должна обладать наружностью, прилично наружностью, и дело

ее — смотреть за тем, чтобы каша в горшке не прикипела да не подгорела!

— Пригар я очищу древесным углем! — ответила жена: — А накипь на душе у тебя сниму поцелуем! Подумаешь, право, что у тебя на уме одна капуста да картофель, а ты ведь любишь и цветы! — И она поцеловала его. — Цветы — это и есть поэзия! — прибавила она.

— Смотри за кашей! — повторил он и ушел в сад: у него была своя каша, за которою следовало смотреть.

А семинарист остался сидеть с хозяйкой. Ее слова: «Как хороша земля!» — он развил в целую проповедь в своем духе:

— Земля прекрасна; «наследуйте землю», — было сказано людям, и они стали господами на земле. Один добился этого благодаря своим духовным дарованиям, другой — физическим; один был пущен в свет вопросительно-восклицательным знаком, другой — многоточием, так что невольно спрашиваешь: зачем он, в сущности, явился? Один становится епископом, другой остается бедным семинаристом, но все на свете устроено одинаково премудро. Земля прекрасна и всегда в праздничном уборе! Это стихотворение пробуждает столько дум, сударыня! Оно полно чувства и знания географии.

— На вас тоже лежит печать гения! — заметила хозяйка. — Уверяю вас! Беседа с вами, начинаешь ясно понимать себя!

И они продолжали беседу в том же прекрасном, возвышенном духе. А в кухне тоже кто-то вел беседу — домовой! Домовой в сером балахоне и красненькой шапочке. Ты знаешь его! Он был в кухне, обозревал там горшки. Он тоже говорил, но его никто не слушал, кроме большого черного кота — «сливкокрада», как величала его хозяйка.

А на нее домовый был очень сердит, — он знал, что она не верит в его существование. Правда, она и не видала его никогда, но все же была, кажется, достаточно просвещена, чтобы знать о его существовании и оказывать ему хоть некоторое внимание. Ей вот небось не приходило на ум угостить его в сочельник хоть ложкой каши! А ее получали все его предки, даром что хозяйки их были совсем неученые! И какую кашу! Она так и плавала в масле и в сливках!

У кота даже слюнки потекли при одном упоминании о сливках.

— Она называет меня «понятием»! — говорил домовой. — Ну, это выше всех моих понятий. Она прямо-таки отрицает мое существование. Я уж раз подслушал ее речи и теперь опять хочу пойти подслушивать. Ишь, сидит и шушукается там с этим семинаристом! А я повторю за хозяином: «Смотри лучше за кашей!» Но она и не думает об этом. Постой же, я заставлю кашу кипеть, да так, что она поползет через край! — И домовый раздул огонь. У! Как зашипело, загорелось! Каша так и побежала из горшка а . — А теперь пойду и понаделаю дыр в чулках хозяина! — продолжал он. — Больших дыр и в пятках и в носках. Будет ей тогда чем заняться, если останется досуг от рифмоплетства! Штопай-ка лучше мужнины чулки, сударыня поэтесса!

Кот в ответ на это чихнул; он простудился, хоть и ходил в шубе.

— Я открыл дверь в кладовую! — сказал домовой. — Там стоят кипяченые сливки, густые, что твой кисель! Хочешь вылакать? Не то я сам вылакаю!

— Нет, уж коли терпеть побои, так было бы за что! Я вылакаю! — ответил кот.

— Потешь язычок, а потом тебе почешут спинку! — сказал домовой. — Теперь я пойду в комнату семинариста, повешу его подтяжки на зеркало, а носки суну в умывальный таз с водою, — пусть думает, что пунш был чересчур крепок и что у него в голове шумело. Сегодня ночью я сидел на дровах возле собачьей конуры. Мне ужасно нравится дразнить цепную собаку, я и давай болтать ногами. Собака, как ни прыгала, не могла достать до них, злилась и лаяла. А я-то себе болтаю да болтаю ногами! То-то потеха была! Семинарист проснулся от шума, три раза вставал с постели и смотрел в окно, но меня-то уж ему не увидеть, даром что в очках. Он и спит в них!

— Ты мяукни, когда хозяйка придет! — сказал кот. — А то я не услышу — у меня сегодня уши болят.

— Язычок у тебя болит, вот что! Ну, лакай — выздоравливай скорее! Только оботри рыльце, а то сливки с усов капают. Ну, а теперь я пойду подслушивать.

И домовой подкрался к двери, а дверь-то стояла полувотворенною. В комнате не было никого, кроме хозяйки и семинариста. Они говорили о том, что семинарист так

прекрасно называл «печатью гения» и ставил выше всяких горшков и каш в любом хозяйстве.

— Господин Киссеруп! — начала хозяйка. — Я хочу воспользоваться случаем, показать вам что-то, чего еще не показывала ни единой живой душе, особенно мужчинам. — мои маленькие стишки. Некоторые из них, впрочем, несколько длинноваты! Я назвала их «Спайки дщери Дании»; я, знаете, люблю больше старинные слова.

— Так и подобает! — сказал семинарист. — Немецкие же слова следует совсем изгнать из датского языка.

— Вот, я так и делаю! Я никогда не говорю «бутерброд» или «фефферкухен», а всегда «хлеб с маслом» и «пряники».

И она вынула из ящика стола тетрадь в светло-зеленой обложке, на которой красовались две кляксы.

— В этой тетрадке очень много серьезного! — сказала она. — Меня все больше тянет к печальному. Вот «Ночные вздохи», «Моя вечерняя заря», вот «Наконец я твоя, мой Клеменсен!» Это стихотворение посвящено моему мужу, но его можно пропустить, хотя оно и очень прочувствовано и продумано. Вот «Обязанности хозяйки» — это лучшая вещь! Но все стихи грустны — в этом моя сила. Тут есть только одна вещь в шутовском духе. Я излила в ней свои веселые мысли — находят на человека и такие — мысли о... Да вы не смейтесь надо мною! Мысли о положении поэтессы! До сих пор об этом знала только я да мой ящик, а теперь узнаете вот вы. Я люблю поэзию, и на меня часто находит поэтическое настроение. В такие минуты я сама не своя. Все это я и высказала в «Крошке домовом»! Вы ведь знаете старинное народное поверье о домашнем духе, который вечно проказит в доме? И вот я изобразила себя домовым, а поэзию, волнуящее меня поэтическое настроение — домовым. Я воспела могущество и величие «Крошки домового»! Но вы должны дать мне слово никогда не проговориться об этом моему мужу или кому бы то ни было. Читайте вслух — я хочу видеть, разбираете ли вы мой почерк!

И семинарист читал, а хозяйка слушала; слушал и домовый. Он ведь, как ты знаешь, собирался подслушивать и подошел как раз в ту минуту, когда прочли заглавие «Крошка домовый».

— Э, да речь-то идет обо мне! — сказал он. — Что она могла написать про меня? Постой же, дойму я тебя! Буду воровать у тебя яйца, цыплят, выгонять жир из телянка! Вот что, сударыня хозяйка! Скажите, пожалуйста!



И он наворстил уши. Но вот он слышит о величии и могуществе домового, о его власти над хозяйкой, — она ведь подразумевала под домовым поэтическое настроение, но домовый понял все это буквально — и лицо его стало расплываться в улыбку, глазки заблестели от удовольствия, губы сложились в важную мину; он даже невольно привстал на цыпочки и вырос на целый вершок! Ах, он был в таком восторге от всего сказанного о «Крошке домовом»!

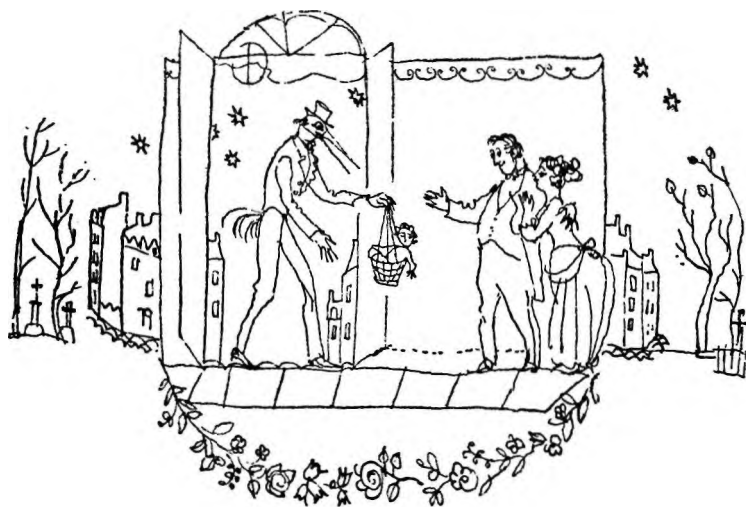
— А в хозяйке-то и впрямь сидит гений! И как она образованна! Я был ужасно несправедлив к ней! Она поместила меня в свои «спайки»; их напечатывают и прочтут!.. Ну, уж полно теперь коту лакать хозяйкины сливки — я сам буду лакать их! Один все же выпьет меньше, чем двое, вот и экономия! Я и буду теперь соблюдать ее, буду почитать и уважать хозяйку!

«Сколько, однако, в нем человеческого! — подумал старый кот. — Стоило хозяйке польстивее мяукнуть ему, и он сейчас запел на иной лад! Хитра она, хозяйка-то!»

Но она вовсе не была хитра; хитер-то был домовый — в нем было много человеческого!

Если ты не понимаешь этой истории, то попроси объяснения — только не у домового, да и не у хозяйки.





## ПЕЙТЕР, ПЕТЕР И ПЕР



**У**дивительно, как хорошо разбираются во всем нынешние дети! Трудно сказать, чего только они не знают! Старую сказку о том, как аист нашел их в колодце или в мельничном пруду и принес папе с мамой, они и слушать не хотят, а между тем сказка эта — истинная правда.

Вот только вопрос — откуда дети берутся в колодцах или в мельничных прудах? Не всякий на это ответит, но кос-кому и это известно. Если ты внимательно глядел на небо в звездную ночь, то, конечно, видел множество падающих звезд. Кажется, будто звезды скатываются с неба и исчезают. Самые ученые люди не могут объяснить того, чего не понимают, но если знаешь, в чем дело, объяснить нетрудно. Звезды падают с неба, как маленькие елочные свечки, и гаснут; это искры божьи, что летят вниз, на землю. Как только они попадают в наш густой, плотный воздух, сияние их меркнет, и наши глаза перестают различать их,

потому что они нежнее и воздушнее самого воздуха. Теперь это уже не звезда, не искра, а небесное дитя, маленький ангел без крыльев, которому предстоит превратиться в человека. Тихо скользит он по воздуху, ветер подхватывает его и опускает в чашечку цветка — то в ночную фиалку, то в одуванчик, то в розу, а то в гвоздику. Там дитя лежит и набирается сил. Оно такое легкое и воздушное, что муха может унести его на своих крыльях, а пчела и подавно. И те и другие так и вьются над цветком в поисках сладкого нектара. Если воздушное дитя им и мешает, то столкнуть его на землю они все равно не решаются, а переносят его на большие круглые листья кувшинок и оставляют лежать на солнышке. Малыш потихоньку сползает с листа в воду, дремлет там и все растет, растет, пока не станет таким большим, что аист увидит его, выловит и принесет людям, в какую-нибудь семью, где уже давно мечтают иметь такого милого ребенка. Вот только будет он милым или нет, зависит от воды. Хорошо, если вода в колодце, где он лежал, была чистая, но бывает, что малютка наглотается тины и грязи, и тогда добра не жди. Аист ведь хватает первого, кто попадет на глаза, не разбирая. И разносит детей, куда придется: один может попасть в хорошую семью, к безупречным родителям, другой — к людям грубым и таким несчастным, что лучше бы аист вовсе не вытаскивал малыша из пруда.

Дети больше не помнят, как они дремали под листом кувшинки, как лягушки по вечерам пели им хором «Ква-ква-ква!», что по-нашему означает: «Спите крепко, пусть вам приснятся хорошие сны!» Не помнят дети и о цветке, в который упали с неба, не помнят даже его запаха, и все-таки, когда они становятся взрослыми, что-то заставляет их выбирать себе любимый цветок, как раз тот, где они лежали, прилетев на землю.

Аист живет до глубокой старости, но не забывает о малышах, которых приносил людям, он следит за ними, узнает, как им живется. Правда, изменить их жизнь не в его власти, да и помочь им он ничем не может — у него и со своими детьми забот хватает. Но из головы его эти малыши не выходят.

Я знаком с одним старым, умудренным опытом аистом, очень почтенным. Он наносил людям уже множество детей, о каждом из них может рассказать целую историю, и в

каждой будет немного тины и грязи из мельничного пруда. Я попросил его рассказать хоть об одном из этих младенцев, а он преподнес мне не одну, а целых три истории, и все о семье Петерсенов.

Прекрасное это было семейство. Глава семьи был одним из тридцати двух отцов города, а это большая честь. И самому ему как раз исполнилось тридцать два. Тут-то и появился аист и принес маленького Пейтера — так называли мальчика. На следующий год аист принес еще одного ребенка, ему дали имя Петер, а когда аист прилетел с третьим, его нарекли Пером, потому что имена Пейтер, Петер и Пер очень подходят к фамилии Петерсен.

Вот и стали расти три брата, три небесные искры. Каждый из них вырос в своем цветке, каждый дремал под своим листом кувшинки в мельничном пруду, пока аист не принес его в семью Петерсенов, что живет на углу. Ну, да ты и сам прекрасно знаешь их дом.

Братья росли, умнели и мечтали сделаться кем-нибудь поважнее, чем их отец.

Пейтер мечтал стать разбойником. Он посмотрел в театре «Фра-Дьяволо» и решил, что разбойничье дело самое приятное на свете. Петер хотел стать жестянщиком и целый день греметь железом: то-то будет музыка! А Пер был примерный, тихий мальчик, пухлый и румяный. Он, правда, грыз ногти, но это был его единственный недостаток. Пер мечтал сделаться «как папа». Так они все отвечали, когда их кто-нибудь спрашивал, кем они собираются стать, когда вырастут.

Пошли они в школу. Один стал первым учеником, другой — последним, а третий — середка на половинку. Но разве в отметках дело? Все равно все трое были умными, прекрасными мальчиками — так по крайней мере утверждали их весьма образованные родители.

Братья ходили на детские праздники, покуривали, когда никто не видел, набирались ума-разума.

Пейтер с малолетства был упрям, как и подобает будущему разбойнику. Он был ужасно непослушный, но мать говорила, что это от глистов, которые его мучают. У всех непослушных детей глисты, виной тому тина в желудке! Скоро мать испытала на своем новом платье, до чего он строптив и непокорен.

— Не толкни стол, ягненок! — сказала она. — Опрокинешь сливки и посадишь пятно на мое новое платье.

Тут «ягненок» спокойно поднял молочник и преспокойно вылил сливки прямо матери на колени. Она только приговаривала:

— Ягненок, милый, что с тобой? Опомнись!

Но ей пришлось признать, что у ребенка есть воля. А воля свидетельствует о твердости характера, что очень приятно для матери.

Пейтер вполне мог стать разбойником, но получилось не совсем так. С виду-то он был настоящий разбойник: волосы длинные, лохматые, шея голая, шляпа нахлобучена на самый нос. Так одеваются художники, он и хотел стать художником, только дальше костюма дело не пошло. Все, кого он рисовал, выходили похожими на мальву, такие же длинные, тощие. Он и сам был в точности мальва. Понятно, что он так любил этот цветок, сказал аист, ведь мальва была его колыбелью.

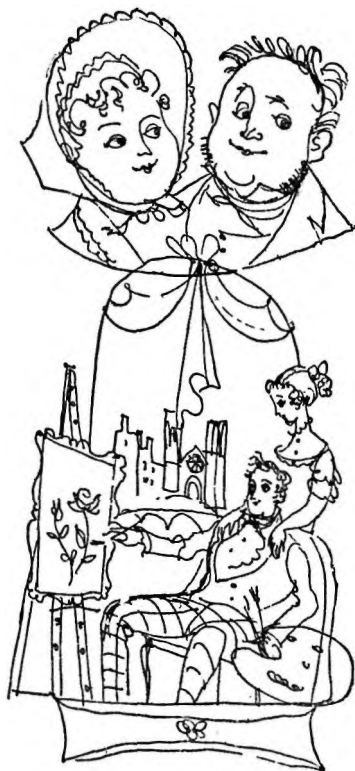
Петера же нашли в цветке масличного дерева. Губы у него так и блестели, как намащенные, желтая кожа лоснилась; казалось, ушипни его за щеку, масло так и брызнет. Ему бы торговать маслом, сам себе служил бы рекламой. Но в душе он как был, так и остался жестянщиком: один из всего семейства Петерсенов он пошел по музыкальной части.

— И слава богу, что один старается за всех, — говорили соседи.

За неделю он мог состряпать семнадцать полек, а из них слатать оперу с лязгом и скрежетом. Опера получалась хоть куда!

Пер был белолиц и розовощек, ростом невелик и ничем не выделялся — ведь его баюкала скромная ромашка. Если его били другие мальчишки, он никогда не давал сдачи. Он говорил, что он самый разумный, а разумные всегда уступают. Сначала он коллекционировал грифели, потом почтовые штемпели, а потом обзавелся уголком натуралиста, где хранился скелет корюшки, три слепых крысенка в банке со спиртом и чучело крота. Пера влекло к наукам, да и природу он чувствовал. А как это было приятно и ему самому и его родителям! Пер охотнее ходил в лес, чем в школу, предпочитал естественность строгому воспитанию. Его братья уже были помолвлены, а он все еще мечтал только об одном, как бы довести до со-

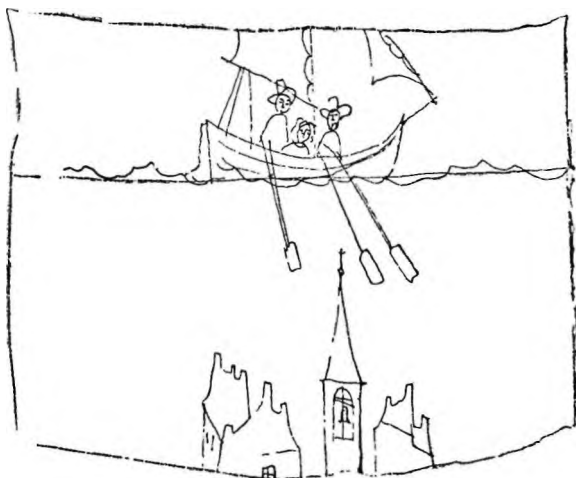
вершенства свою коллекцию — он собирал яйца водоплавающих птиц. Животных он знал гораздо лучше, чем людей, и даже считал, что звери далеко опередили человека в самом святом — в любви. Пер заметил, что пока соловыха-мать сидит на яйцах, соловей-отец всю ночь напролет поет для своей любимой подруги, и какие трели выводит! Перу ни за что бы так не спеть, и пробовать не стоит. А аисты? Когда аистиха с аистятами сидит в гнезде, аист-отец всю ночь охраняет их, стоя на одной ноге. Да Перу так и часу не простоять! А после того, как он однажды хорошенько рассмотрел паутину, сплетенную пауком, он навсегда оставил мысли о браке. Господин паук без усталости трудится над своей паутиной, ловит в нее беззаботных мух, молодых и старых, тощих и налитых кровью. Он для того и живет, чтобы плести свои сети и обеспечивать семейство пропитанием. А мадам паучиха живет только для дорогого мужа. Она так любит супруга, что пожирает его живьем, с головой, сердцем и желудком, только длинные, тонкие ноги остаются торчать в паутине, которую он плел на радость своей семье. Вот вам правдивая история из жизни животных! Пер понаблюдал все это и решил: «Вот



это любовь! Как надо страстно любить, чтобы проглотить собственного мужа со всеми потрохами! Нет, люди так далеко не заходят, да и нужно ли это?»

И Пер дал себе слово никогда не жениться, никогда никого не целовать и самому не получать поцелуев, ведь поцелуй — это первый шаг к брачным узам. И все же одного поцелуя ему избежать не удалось, он достается нам всем рано или поздно — долгий поцелуй смерти. Поживет человек на земле, и смерть получает приказ: «Поцелуй его!» — и человек погиб. С неба блеснет луч света, да такой яркий, что у человека темнеет в глазах. И душа человека, некогда звездочкой упавшая на землю, снова устремляется вверх, на небо. Больше ей не качаться в чашечке цветка, не дремать под листом кувшинки. Ее ждут дела поважней. Она уносится в великую страну вечности. А какова эта страна, где она и что в ней, никто не знает. Никто ее не видел, даже аист, хоть у него глаза зоркие и он знает все на свете. Поэтому и о Пере ему больше ничего не известно, а вот о Пейтере и Петере он мог бы порассказать, но я о них вдоволь наслушался, да и ты, наверно, тоже. И я вежливо поблагодарил аиста и сказал, что на этот раз с меня хватит. А он за эту короткую историю, в которой к тому же нет ничего особенного, требует с меня трех лягушек и одного ужонка. Он, видите ли, принимает плату съестными припасами. Ну как, ты согласен с ним расплатиться? Я — нет! У меня нет ни ужей, ни лягушек.





## ВЕН И ГЛЕН



**Б**лиз зеландского берега, напротив Хольштейнского замка, лежали когда-то два лесистых островка Вен и Глен с селами и поселками. Они и от твердого берега лежали недалеко и друг от друга тоже.

Но вот один островок исчез. Ночью разразилась страшная буря, море поднялось так высоко, как и не запомнили старики. Буря свирепела все больше и больше. Казалось, наступало светопреставление, разверзлась земля, колокола на колокольнях раскачивались и звонили сами собою.

В эту-то ночь остров Вен и исчез в морской глубине, и следа от него не осталось. Но часто потом в летние тихие ночи, когда море ясно и прозрачно, рыбаки, выслеживавшие угрей при свете укрепленного на носу лодки фонаря, видели (особенно более зоркие) в прозрачной глубине остров Вен, белую колокольню его церкви и высокие церковные стены.



И вот у жителей другого островка сложилось поверье, будто «Вен дожидается Глена»! Рыбаки рассказывали, что видели исчезающий остров, слышали даже звон его колоколов, но это им только чудилось. Это, верно, пели дикие лебеди, которые часто нежатся тут на водной поверхности, их жалобные крики напоминают собой отдаленный колокольный звон.

Было время, когда многие старики из жителей Глена хорошо помнили ту бурную ночь, помнили еще и то время, когда они детьми переезжали во время отлива узенький пролив, отделявший их остров от Вена, как теперь переезжают пролив, отделяющий Зеландию от Глена, — вода ведь достигает только оси телеги.

«Вен дожидается Глена» — сложилось поверье, и все знали, что придет время, когда оно оправдается.

Не мудрено, что многие мальчики и девочки часто думали в бурные ночи: «А вдруг сегодня ночью Вен придет за Гленом!» В страхе принимались они читать «Отче наш», потом сладко засыпали, а наутро Глен со своими лесами, полями, приветливыми крестьянскими домиками, увитыми хмелем, оказывался на своем прежнем месте. В лесу распевали птички, резвились лани, и крот, как ни остро у него обоняние, не чуял еще запаха морской воды.

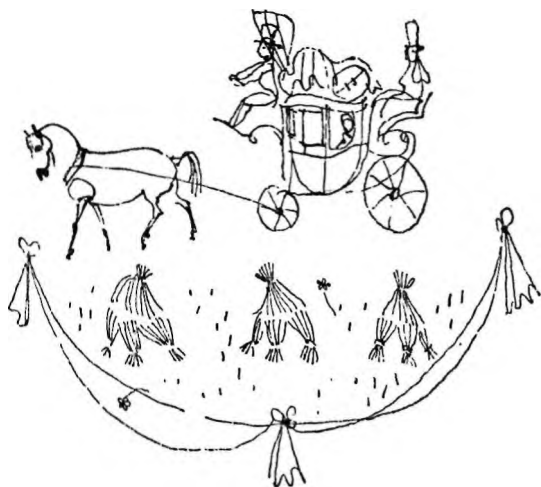
И все-таки дни острова сочтены. Мы не можем сказать наверное, сколько именно времени осталось еще существовать ему, но тем не менее дни его сочтены: в одно прекрасное утро остров исчезнет.

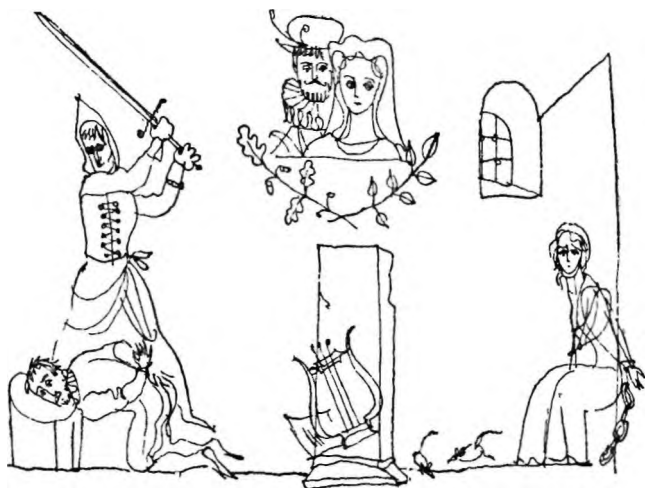
Может быть, ты еще вчера только был на берегу и любовался на диких лебедей, нежившихся на воде между Зеландией и Гленом, смотрел, как скользила вдоль лесистого берега лодка с распущенными парусами, сам переезжал на остров вброд — другой дороги ведь не было, — и лошади шлепали прямо по воде, которая плескалась о колеса.

Но вот ты уезжаешь оттуда, путешествуешь, быть может, по белу свету и возвращаешься на родину лишь через несколько лет. Глядишь — перед тобою огромный зеленый луг, окруженный лесом; перед нарядными крестьянскими домиками благоухают стога сена. Куда же ты попал? Хольштейнский замок по-прежнему блещет своими золочеными шпилями, но он уже не на самом берегу, а далеко от него! Ты идешь по лесу, по полю, на берег моря... Где же Глен? Перед тобой нет никакого острова, одно откры-

тое море! Неужели Вен пришел за Гленом, как говорило поверье? Когда же разыгралась эта ночная буря, когда случилось такое землетрясение, что древний Хольштейнский замок передвинуло на много тысяч петушиных шагов в глубь страны?

Такой бурной ночи и не было. Случилось все при свете солнца, днем. Человеческий ум устроил плотины, выкачал воду из пролива и соединил Глен с твердой почвою. Пролив стал зеленым лугом, покрытым сочною травю, Глен крепко прирос к Зеландии. Старый замок стоит на прежнем месте. Это не Вен пришел за Гленом, а Зеландия притянула его к себе своими руками-плотинами, выкачала воду, разлучавшую ее с островом, и произнесла заклинание, соединившее их брачными узами. И остров принес с собою приданое — Зеландия обогатилась многими десятинами земли! Все это правда, об этом даже написано в газетах. Так вот поверье-то и оправдалось — остров Глен исчез.





## АЛЬБОМ КРЕСТНОГО



**У**мел крестный рассказывать сказки, длинные да помногу, умел он и картинки вырезать и рисовать; под рождество он брал толстый альбом с чистыми листами и наклеивал на них картинки из газет и книжек, а если подходящей для рассказа картинки не находилось, то он возьмет да и сам нарисует. В детстве я получил от него в подарок несколько таких альбомов с картинками, но лучше всего был все-таки альбом «того знаменательного года, когда Копенгаген вместо прежних, масляных фонарей обзавелся газовым освещением», — так и было написано на титульном листе.

— Смотри береги эту книжку, — сказали папа с мамой, — по пустякам ее лучше не вынимай.

А крестный-то вот что на ней написал:

Если разорвешь ты книжку, не беда!  
Хуже делали мальчишки иногда.

Но веселей всего было смотреть эту книжку, когда крестный сам ее показывал, читал вслух, что там было

написано, и стихи и все остальное, да сколько еще в придачу и сам расскажет! Словом, тогда только сказка и становилась настоящей сказкой.

На первой странице была картинка, вырезанная из «Летучей почты», на ней был нарисован Копенгаген с Круглой башней и церковью богородицы, слева была картинка со старым подвесным уличным фонарем, а под ней надпись — «ворвань», а справа стоймя поставленный на столбе фонарь, и под ним подпись — «газ».

— Видишь, вот афиша, — сказал крестный. — А дальше начинается история, которую ты сейчас услышишь. Из нее получилось бы даже комическое представление, кабы можно было представлять, — «Ворвань и газ, или Жизнь и дела Копенгагена». Очень хорошее название! А в самом низу странички есть еще одна картинка, догадаться, что там нарисовано, не просто, так я тебе сам сейчас объясню: это конь-мертвяк<sup>1</sup>, ему бы полагалось появиться только в самом конце книги, а он забежал вперед, чтобы рассказать, что в ней, мол, ни начало, ни середина, ни конец равно никуда не годятся: он-то мог бы и получше сделать, кабы мог. Днем, видишь ли, коня-мертвяка держат в газете, там он пасется на полосах, как это у них называется, зато по вечерам удирает оттуда, прибегает к дому, где живет поэт, и принимается ржать у него под дверью, что, дескать, хозяин скоро помрет, да только тот не помирает, если по-настоящему живой. Конь-мертвяк чаще всего какой-нибудь горемыка, который и в себе самом-то как следует разобраться не может и прокормиться не умеет, а оттого тем только и дышит и кормится, что шатается повсюду да ржет. Уж я-то наверняка знаю, что «Альбом крестного» ему не нравится, но это совсем не значит, что на альбом только зря бумагу перевели.

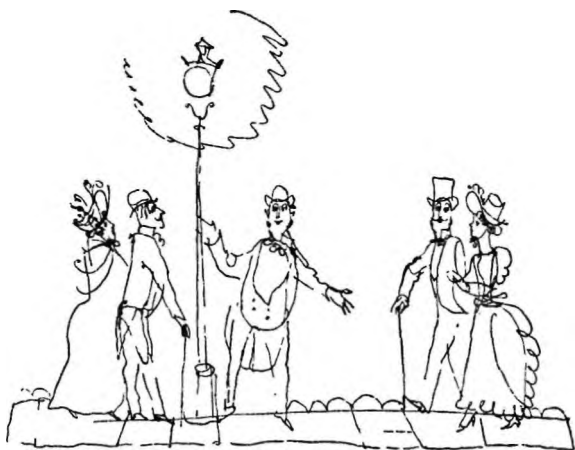
Ну, вот ты и рассмотрел первую страничку в книжке — афишу!

— Дело было в тот вечер, когда старые масляные фонари горели в самый последний раз, город перешел на газовое освещение, и новые фонари светили так ярко, что старые рядом с ними совсем померкли.

---

<sup>1</sup> Конь-мертвяк — по народному поверью, призрак лошади, которую зарывали под фундамент строящейся церкви. Появление коня-мертвяка возле жилья предвещало чью-то смерть.

— Я и сам был в тот вечер на улице, — сказал крестный. — Народ не спеша прогуливался и любовался на старое и новое освещение. Людей было много, а ног вдвое больше, чем голов. Фонарщики стояли грустные-прегрустные, потому что гадали, когда их тоже заодно со старыми фонарями отправят в отставку. А старые фонари вспоминали далекое прошлое, о будущем-то они и думать не смели. Сколько тихих вечеров и темных ночей сохранилось у них в памяти. Я прислонился к старому фонарному столбу, — сказал крестный, — фитиль в нем шипел и брызгался жиром, и вот я услышал, что говорит фонарь, сейчас и ты услышишь.



«Мы сделали все, что могли, — сказал фонарь. — В свое время и мы были хороши, светили на радость и на горе, и чего только не перевидали на своем веку: ведь мы, можно сказать, были ночными глазами Копенгагена. Пускай теперь новые фонари придут нам на смену и займут нашу должность, а уж долго ли им доведется светить и что они будут освещать, это уж поживем — увидим. Светят они и впрямь поярче, чем мы, старики, да велика ли в том заслуга, когда тебя от самого рождения так и отлили газовым фонарем, а притом еще имеешь такие родственные связи, у них ведь круговая порука, трубы от них во все стороны тянутся, и течет по ним сила отовсюду, не только из города! Зато мы, масляные фонари, светим соб-

ственными силами, каждый обходится своим запасом, у родни помощи не ищем. А светим мы и наши деды городу Копенгагену с давних, незапамятных времен. Ну, а раз уж нынче вечером нам осталось светить в последний раз, и стоим мы как бы во втором ряду за вами, яркие наши товарищи, то мы не станем ни хмуриться, ни завидовать, а, напротив, порадуемся за вас от души. Мы — старые часовые, которым на смену пришли молодые рекруты в новых, нарядных мундирах. Мы вам поведаем, что перевидал на своем веку наш род, начиная с самого первого пра-прапрадедушки, и расскажем всю историю Копенгагена. А вам и вашим потомкам, кончая самым последним газовым фонарем, мы желаем повидать столько же, чтобы и вам было о чем порассказать, когда придет ваш черед идти в отставку, — ведь и вам настанет когда-нибудь время уйти на покой. Вы уж заранее к этому приготовьтесь. Люди непременно выдумают освещение ярче газового. Я слышал от одного студента, будто и теперь уже поговаривают, чтобы морскую воду жечь».

При этих словах фитиль так зашипел, словно уже сейчас водой поперхнулся.

Все это крестный выслушал со вниманием и решил, что старые фонари замечательно придумали рассказать в вечер перехода с масляного освещения на газовое всю историю Копенгагена.

— А дельными мыслями не след бросаться, — сказал крестный. — Вот я и подхватил ее, отправился домой и сделал для тебя этот альбом с картинками, и рассказы-вается в нем о старине такой глубокой, что масляные фонари просто не могут о ней ничего знать.

Вот книжка, а вот и сама история: «Жизнь и дела Копенгагена». Начинается она с тьмы кромешной, вот тебе черная как сажа страничка — это тьма веков.

— Давай-ка перевернем страничку! — сказал крестный. — Видишь картинку? Только бурное море да свирепый норд-ост, и гонит он перед собой льдины, а на них плывут одни только огромные валуны, которые скатились с далеких норвежских гор и упали на лед. Гонит норд-ост громадные льдины, потому что захотелось ему показать немецким горам, какие глыбы водятся на дальнем севере. Вот уже ледовая флотилия доплыла до Зунда, как раз

к зеландским берегам, туда, где теперь стоит Копенгаген, а тогда никакого Копенгагена и в помине не было. На этом месте тянулись длинные подводные мели, на одну из них и наткнулись льдины с огромными валунами. Вся флотилия остановилась, и норд-ост никак не мог снять ее с мели, тогда он рассвирепел по своему обычаю и проклял эту мель, эту «воровскую землю», как он ее назвал, и поклялся, что если она когда-нибудь поднимется из моря, то поселятся на ней воры да разбойники, и подымутся на этой земле дыбы и виселицы.

Но покуда он ругался и сыпал проклятиями, из-за туч выглянуло солнышко, а на его лучах заплясали и закачались благостные гении — дети света. Едва коснулись они легкими стопами холодных льдин, как льдины растаяли, а огромные валуны потонули и легли на дно.

«А, негодные исчадия солнца! — сказал норд-ост. — Разве это по-товарищески да по-родственному? Ну, уж я этого ввек не забуду, уж я вам это припомню. Вот как проклянущу сейчас!»

«А мы благословим, — пропели дети света. — Мель поднимется, мы будем ее хранить! И воцарятся здесь истина, добро и красота.»

«Чушь и ерунда!» — сказал норд-ост.

— Вот об этом-то старые масляные фонари и не могли бы рассказать, — сказал крестный. — Зато я про это знаю, и все это очень важно для жизни и дел Копенгагена.

— Перевернем страницу! — сказал крестный. — Прошло много-много лет, мель поднялась, морская птица присела на первый показавшийся из воды камень. Вот, можешь сам посмотреть на картинке. Годы все шли да шли. Море повыбрасывало на песок уснувших рыб, и вот выросла неприхотливая трава песчанка, потом завяла, сгнила, удобрила почву, появилось много других трав и растений, и превратилась мель в зеленый островок. Высадились на берег викинги. Место тут было удобное для единоборства, а вдобавок около этого островка, лежавшего рядом с Зеландией, оказалась хорошая якорная стоянка.

Зажглась первая масляная лампа; по-моему, на ней жарили рыбу, рыбы тут водилось видимо-невидимо. Сельдь плыла через пролив такими громадными косяками, что даже задерживала бег кораблей, и море тогда сверкало

так, словно под водой загорались зарницы, и казалось, что в пучине морской играют сполохи. Зунд был обилён рыбой, и вот на берегах Зеландии стали строить дома, стены ставили дубовые, из коры настилали крышу — лесу-то было вдоволь. В гавань стали заходить корабли, среди такелажа на них раскачивались масляные фонари, норд-ост дул и выл: «Уууйдидии!» Если на островке загорался фонарь, то не иначе как воровской. Воры и контрабандисты облюбовали «воровской остров».

«Вон сколько прибавилось зла; раз я захотел, его будет сполна. А скоро и дерево вырастет, уж я потрясу на нем плоды».

— А вот и дерево, — сказал крестный. — Видишь, это виселица на «воровском острове». Висят на ней закованные в железные цепи разбойники и душегубы, так все и было на самом деле. Ветер дул с такой силой, что висащие рядами скелеты то и дело стучались друг об дружку, а месяц лил на них ласковый свет, точно так, как теперь он светит на ночной бал в лесу. И солнышко светило ласково, высушивало кости, а на его лучах дети света распевали:

«Мы знаем, мы знаем! Станет здесь чудесно в грядущие дни! Будет здесь хорошо, будет красиво!»

«У-у, писк цыплячий», — сказал норд-ост.

— А теперь перевернем страницу! — сказал крестный.

— Зазвонили колокола в городе Роскилле, жил там епископ Абсалон<sup>1</sup>, умел он и Библию читать и мечом воевать; могуч он был и силен. И вот надумал Абсалон защитить прилежных рыбаков, чье селение выросло вокруг гавани и превратилось в торговый город. По его указу нечестное место окропили святой водой, дали «воровскому острову» честный герб, и принялись там за работу каменщики да плотники, и выросло на нем по велению епископа здание. Солнечные лучи ласкали растущие стены.

Встал на острове дом Акселя:

Башни на диво  
Стройны, красивы,  
Льют до зари  
Свет фонари.  
Славный дворец,

---

<sup>1</sup> Абсалон, или Аксель (1128—1201) — архиепископ Лундский и епископ Роскильский, был в то же время министром и главнокомандующим при Вальдемаре I. Дом Акселя — укрепленный замок.



Зодчих венец!  
Ветер-колдун  
Щеки надул,  
Воет ужасно —  
Только напрасно:  
Крепкий дворец,  
Зодчих венец!

А перед домом была Гавань — купеческая Гавань:

В роще зеленой и водяной  
Выстроен терем русалки морской.

Стал ездить сюда народ из дальних стран, рыбу покупать, понастроили лавок и домов с бычьим пузырем в окнах — стекло-то было дорогое; выросли склады с высокими островерхими крышами, с лебедками для подъема тяжестей. Видишь, в лавках сидят старики приказчики? Жениться им было нельзя, торгуют они имбирем да перцем, вот и зовут их перечными холостяками.

Как ворвется в улочки да закоулочки норд-ост, как закрутит пыль, сорвет соломенную крышу! По канавам пасутся коровы да поросята.

«Разнесу, разорю, — кричит норд-ост, — налечу на Акселев двор, моя взяла — зовут его замок «застенек на воровском острове!»»

И тут крестный показал его на картинке, которую он сам нарисовал. По всей стене плотно торчали колья, и на каждом колу торчало по голове пойманного пирата, торчала и скалила зубы.

— Так оно и было, — сказал крестный, — и знать об этом полезно, да и разобраться стоит.

Сидит епископ Абсалон в своей горнице и как слышит сквозь тонкие степы, что пиратский корабль показался, так мигом выскочит на крыльцо и прямо на свой корабль, затрубит в рог, созовет команду, и вот уже в спины разбойникам вонзаются стрелы, спешат они уйти подобру-поздорову, стрелы им в руки впиваются, а им и вытаскивать недосуг, гребут изо всех сил. Возьмет епископ в плен всех, кто в живых остался, и головы им поотрубает и насадит на колья, что на замковой стене. Дует норд-ост во все щеки — непогоду раздувает, как говорили моряки:

«Уж тут я улягусь, да с часок отдохну, да полюбуюсь, что тут делается».

Уляжется-то на часок, а бушует целыми днями. Шли годы.

Вошел на башню замка дозорный, поглядел на запад и на восток, поглядел на север и на юг.

— Вот тебе картинка, — сказал крестный и показал ее. — Дозорного ты здесь видишь, а уж что он увидел, я сам тебе расскажу.

От стен замка-застенка до Кёгской бухты раскинулось море, широкая морская дорога пролегла к берегам Зеландии. А напротив Серрийслевского поля и поля Сольбьбергского, где стоят большие деревни, все растет и растет новый город с островерхими каменными домами в бревенчатых перекладинах. Есть в нем целые улицы башмачников, кожевников, торговцев пряностями и маслом, есть и торговая площадь и дом гильдий, а на самом берегу, где прежде был островок, стоит великолепная церковь святого Николая. Есть на ней башенки и шпили необычайной высоты, стоит она и красуется, отражаясь в чистой воде. Неподалеку стоит церковь богородицы, там поют и служат мессы, кадят ладаном, жгут восковые свечи. Гавань купеческая — город Копенгаген стал епископским городом, царит в нем и правит епископ Роскильский.

В доме Акселя поселился епископ Эрландсен. На кухне у него парят да жарят, рекою льются пиво и кларет, гремит барабан, заливаются скрипки. Горят свечи и масляные лампы, замок залит таким светом, словно светить ему надо на всю страну, на все королевство. Бьется норд-ост об стены и башни, но прочно стоят они, трясет норд-ост старые городские укрепления с западной стороны, там ограда старая, деревянная, а тоже крепко стоит. А по ту сторону ограды стоит король датский Христофор I. Мятежники победили его под Скьельскером, и пришел он просить убежища в городе епископа.

Ветер гудит и вторит за епископом: «Не пушу, не пушу. Ворота не отворю».

— Настали времена смутные, дни тяжелые, всяк за себя стоит. Голштинское знамя развеивается на башне замка.

Всюду стон и плач, мрак и страх, по всей стране усобицы да черная смерть, ночь стоит беспросветная, и вот явился Вальдемар Аттердаг.

Град епископский стал ныне королевским, в нем дома с островерхими крышами, дома каменные в бревенчатых перекладинах, улочки узки, есть в городе и сторож и

ратуша, есть виселица каменная у западных ворот. Не всяк такой чести сподобится, чтоб его на ней повесили, надо быть здешним жителем, чтобы тебя повесили на такой высоте, откуда видать купеческие корабли, и большие и малые.

«Хороша виселица! — говорит норд-ост. — Ишь как растет красота!» — да как засвищет, как загудит.

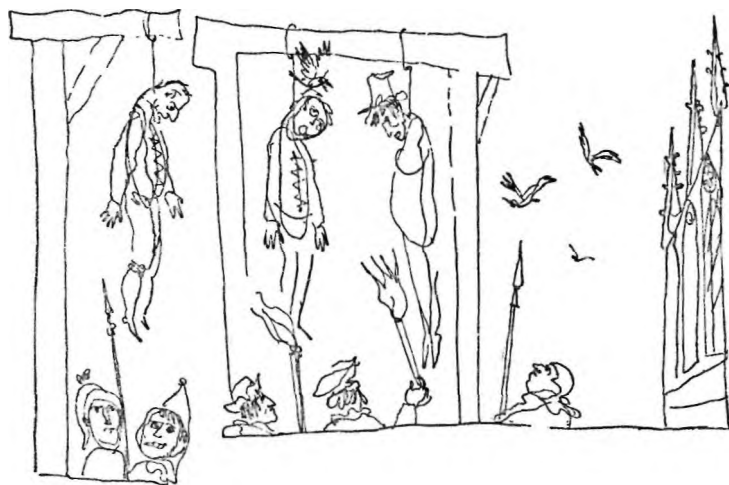
Принесло беду из Германии.

— Пришли ганзейцы, — сказал крестный. — Пришли торговцы да лавочники, богатеи купцы из Востока, Любека и Бремена и решили захватить побольше, чем сумел захватить сам золотой гусь с башни Вальдемара. Стали они сильнее, чем датский король, и начали править в его столице, пришли они на боевых кораблях, никто не был готов к встрече, да и не хотелось королю Эрику воевать с немецкими родичами: уж больно много народу с ними пришло, больно сила набралась великая. Король Эрик со своими придворными впопыхах выскочил из западных ворот и умчался в город Сорё, там они затаились на берегу озера, за зелеными лесами; вино себе попивают да про любовь песни распевают.

И лишь один человек с королевской душой и сердцем королевским остался в Копенгагене. Вот ты видишь здесь на картинке молодую женщину — стройную, нежную, глаза у нее как море синие, волосы как лен светлые. Это королева Дании, английская принцесса Филиппа. Осталась она в перепуганном городе, где по узеньким переулкам да закоулкам, на крутых лестницах, по сараям да тесным лавкам толпились горожане, не зная, как им быть. Сердце у королевы было отважное, мужественное, воззвала она к горожанам и крестьянам, стала их ободрять, к борьбе призывать, и вот корабли подняли паруса, воины заняли блокгаузы, грянули мортиры, кругом дым и огонь, в душах отвага — господь не покинет Данию. Солнце озарило все сердца, у всех засияло в глазах победным блеском. Благословенна будь Филиппа! Она и в доме богатом и в хижине убогой — повсюду ухаживает за ранеными.

— Я вырезал веночек и наклеил его вокруг этой картинки, — сказал крестный. — «Благословенна будь королева Филиппа!»

— А теперь перескочим сразу через несколько лет! — сказал крестный. — Копенгаген тоже через них перескочил. Король Кристиан I побывал в Риме, получил от папы



благословение, на всем пути домой его встречали с почестями и славой. У себя на родине он выстроил большой дом из обожженного кирпича, чтобы жила в нем ученость, обучать там будут по-латыни. Сюда и бедняцких детей — от топора и от плуга — пустят. Если допросятся себе такой милости, оденут и их в длинную черную шелковую мантию, пускай поют под дверями горожан.

А рядом с храмом науки, где признана только латынь, стоит маленький домик, а в нем царит все датское — и язык и обычай. На завтрак тут едят пивную похлебку с хлебушком, обедают утром, в половине десятого. Светит в решетчатые окошки солнышко, лучи его падают на шкаф с едой и на шкаф с книгами, а в книжном шкафу лежат рукописные сокровища: там и «Росенкрантс» и «Божественные комедии» Миккельса, лечебник Хенрика Харпенстранга и «Датская рифмованная хроника» брата Нильса из Сорё; хозяин дома говорит, что знать эти книги должен каждый датчанин. Он первый книгопечатник Дании, голландец Готтфред ван Гемен. И творит он благое черное искусство — искусство книгопечатания.

И вот входят книжки и в замок королевский и в дом горожанина. Увековечены пословицы и поговорки. О чем не смеет вымолвить человек в радости или в горе, о том поет вольная птица народной песни, поет она на языке

потаенном и все же понятном, далеко-далеко залетает она в привольном своем полете, залетит и в комнату горожанина и в рыцарский замок, соколом сядет на руку благородной барышни и запоет, мышонком малым прошмыгнет в конуру крепостного крестьянина и там пищит.

«Погодка какая нынче голосистая!» — говорит суровый норд-ост.

«Это весна идет, — говорят солнечные лучи. — Вон уж сколько зелени показалось!»

— Перевернем-ка еще страничку альбома! — сказал крестный. — Какой блеск в Копенгагене! Турниры, игры, пышные шествия, сколько славных благородных рыцарей в латах, сколько знатных дам в шелках и в золоте! Король Ганс выдает замуж дочку свою Елизавету за курфюрста Бранденбургского. Как молода она, как счастлива! Она ступает по бархатным коврам, все мысли ее о будущем, о счастье семейной жизни. Рядом с нею стоит ее брат Кристьерн<sup>1</sup>, принц с грустными глазами и горячей, кипучей кровью. Горожане любят его, знает он про их беды, думает, как помочь беднякам!

Но судьба в божьих руках!

— Перевернем-ка еще страничку в книжке! — сказал крестный. — Во всю ночь задувает ветер, поет он про мечи булатные, про времена смутные, немирные времена.

День стоит ледяной, апрельский. Зачем сбежался к замку народ, туда, где около старой таможни стоит корабль, украшенный флагами? В окнах, на крышах — повсюду толпится народ. По всему городу царит тревога и печаль, страх и беспокойство. Все глядят на замок, где прежде шло веселье, где плясали в раззолоченных залах при свете факелов и где ныне так тихо, так безлюдно. Все взоры обращены на окошко, откуда часто выглядывал король Кристиан, чтобы за дворцовым мостом, за узенькой замковой улицей увидеть дом своей голубки, голландской девушки, которую он привез из Бергена. Ставни закрыты. Толпа глядит на замок, вот открылись ворота,

---

<sup>1</sup> Принц Кристьерн — впоследствии датский король Кристиан II (1513—1523).

опустился подъемный мост. Выходит король со своей верной супругой, не покинула она в тяжелой беде супруга своего и государя.

В крови у него горел огонь, огонь был в его мыслях, хотел он покончить с прежними временами, хотел сломить иго, придавившее крестьянина, желал добра горожанам, хотел подрезать крылья жадным коршунам, да слишком много их оказалось — одному не справиться. И вот он покидает страну, уезжает из Дании, чтобы искать на чужбине поддержку у друзей и родственников. С ним вместе жена и верные слуги, в этот прощальный час у всех на глазах слезы.

В песне веков переплелись разные голоса, одни за него, другие против, хор трехголосый. Слушай слова дворянства, они напечатаны черным по белому:

«Горе тебе, Кристьерн Злой! Вопиет против тебя кровь, пролитая на площади в Стокгольме, горе тебе и проклятие!»

И суд монахов гласит также:

«Бог отринет тебя, как мы тебя отринули! Ты призвал в страну Лютерово учение, ты дал ему церкви и кафедры для проповедей, ты допустил сатанинское слово. Горе тебе, Кристьерн Злой!»

Зато горько рыдали крестьяне и горожане:

«Кристьерн, ты радетель народный! Нельзя продавать крестьянина, как скотину, нельзя обменять на охотничьего пса! По этому закону и судить о тебе!» Но глас бедняка — мякина на ветру.

Проплывает корабль мимо замка, бегут на городской вал горожане, чтобы в последний раз поглядеть на королевский корабль.

— Годы еле бредут, годы горе несут, не опора в беде родня, не защита в беде друзья.

В Киле дядюшка королевский сам задумал стать королем.

Стоит под Копенгагеном войско короля Фредерика. Видишь, картинка — «Верный город Копенгаген». Вокруг черные тучи, а на них тьма картинок, рассмотри хорошенько каждую! Это звучащая картинка, до сих пор живет память о ней в песнях и преданиях; тяжкие годы, горькие годы принесло время.

А что случилось с вольной птицей, с королем Кристьяерном? Об этом птицы пели — они летали далеко, за моря дальние, в земли чужие. Аист ранней весной прилетел с юга, из германской земли, он-то и видел то, что дальше рассказано:

«На чужбине видел я, как проезжал по вересковой степи беглец король Кристьяерн, повстречалась ему в пути жалкая повозка, запряженная одной лошастью, сидела в ней женщина, сестра короля Кристьяерна, маркграфиня Бранденбургская. За верность Лютерову учению выгнал ее из дому супруг. В темной степи повстречались изгнанники — королевские дети. Годы еле бредут, годы горе несут, не опора в беде родня, не защита в беде друзья».

Прилетела из замка Сёндерборг ласточка, жалобно запела:

— Предали короля Кристьяерна. Сидит он в башне глухой, как колодец, от шагов его тяжких протоптана в камне дорожка, от пальцев его остались вмятины на твердом мраморе.

Язык бессилён рассказать  
О том, что камень нам поведал.

От синего моря прилетел морской орел, море привольно, нет в нем запоров, летит по морю корабль, плывет на нем храбрый человек с острова Фюн — Сёрен Нордбю. Удача ему сопутствует, да только непостоянна удача, переменчива, как ветер.

В Ютландии и на Фюне раскричались вороны и галки: «В дорогу пора! Вон сколько добра! Там трупов гора, и конских и человеческих!» Время немирное, идет графская усобица. Крестьянин взялся за дубинку, горожанин за нож и громко вскричали: «Перебьем волков! Изведем волчье племя!» Тучами повалил дым от спаленных городов.

Король Кристьяерн сидит в плену в замке Сёндерборг, не вырваться ему на волю, не видать Копенгагена в горькой беде. На Северном выгоне стоит Кристиан III, стоит на том месте, где некогда стоял его отец. В столице страх, мор и глад в Копенгагене.

А у церковной стены вся в лохмотьях сидит исхудалая женщина, она мертва; на коленях у нее лежат два живых младенца и сосут кровь из груди покойницы.

Нет больше надежды, нет больше мужества, о верный Копенгаген!

— Заиграли трубы. Слышишь — фанфары звучат, слышишь барабанную дробь!

В шелках да в бархате, в пышных перьях, верхом на конях скачут знатные дворяне, кони в золоченой сбруе, едут они на старый рынок. Что там такое — карусель или турнир по обычаю? Потянулись туда же горожане да крестьяне в лучших своих нарядах. На что глядеть там будут? Костер ли там будут жечь из папистских книг, или палач там стоит, как стоял он у костра, на котором сожгли Слагхука<sup>1</sup>? Король, государь страны — лютеранин, пускай повсюду разнесется об этом весть.

Знатные дамы, благородные барышни сидят у раскрытых окон в высоких воротниках, в шитых жемчугом шапочках и любят на пыльное зрелище. На ковре под балдахином в старинной одежде восседает рядом с тронем королевский совет. И вот оглашают перед народом волю короля и совета, и внимают горожане суровым словам, возвещающим кару за бунт против благородного дворянства. Унижен горожанин,



<sup>1</sup> Слагхук Дидрих — врач, один из приближенных Кристиана II; казнен в 1522 году.



крестьянин превращен в раба. И вот звучат грозные слова, обращенные против епископов Дании. Все имущество церквей и монастырей переходит в руки короля и дворянства.

Пышно расцвели злоба и суета, тщеславие и подлость.

Нищенка-птица, тиха и пуглива,  
Лапки едва волочит.  
Птица-богачка, нагла и спесива,  
Крыльями бьет и кричит.

Смутное переходное время грядет в черных тучах, но порой, бывает, мелькнет и солнечный луч; засияло солнце над домом учености и над домом студентов, засияли там имена, которые до сих пор не забыты. Ганс Таусен — бедняк, сын кузнеца с Фюна.

Помнит Ганса мальчиком Биркен-городок,  
Знает ныне Таусена каждый на зубок:  
Звали датским Лютером сына кузнеца,  
Искрометным словом он пленял сердца.

Сияет имя Петруса Палладиуса — так оно звучит по-латыни, а по-датски — Педер Пладе, епископ Роскилльский; и он был сыном бедного кузнеца из Ютландии. А среди дворянских имен сияет имя Ганса Фриса, государственного канцлера. Он сажал студентов за свой стол, заботился о них, а заодно и о гимназистах. Но прежде всего честь и хвала другому:

Пока листают книгу рьяно  
В столице пальцы школяра,  
Повсюду славит Кристиана  
Победно-звонкое «ура».

Вот и пробилась солнечные лучи из-за туч смутного времени.

— Перевернем страницу!

Какие звуки, какая песня разносится над Большим Бельтом у берегов Самсё? Выплывает из глубин морских русалка с волосами цвета зеленых водорослей и говорит крестьянину: «Родится принц, и станет он королем великим и могучим».

Родился он в поле под цветущим боярышником, по сю пору цветет его имя в песнях и преданиях, в рыцарских замках, во дворцах и повсюду.

Выросла биржа с башенками и шпилями, поднялся Росенборг и выглянул из-за вала. Студенты получили дом, а рядом с ним выросла и по сей день стоит Круглая баш-

ня — столп Урании, она глядит в ту сторону, где красовался прежде Ураниеборг<sup>1</sup>. Его золотые купола светились в лучах луны, а русалки пели о человеке, который жил там, к которому приходили на поклон короли и люди именитые, об умнейшем человеке знатного рода, о Тихо Браге. Он вознес честь Дании так высоко, что имя ее вспоминают, горю о звездном небе, во всех просвещенных странах.

Но Дания изгнала его. Себе в утешение он пел:

Коли небо есть повсюду,  
Что еще тогда мне нужно?

Песня его живет в народе, как песня русалки о короле Кристиане IV.

— А вот на эту страничку посмотри хорошенько! Картинок на ней целая тьма, столько же, сколько в балладе строф. Баллада начинается весело, а кончается грустно. Вот танцует принцесса в королевском дворце, собой хороша и мила! Сидит она у короля на коленях, это любимая дочка Кристиана IV Элеонора. Учат ее добрым обычаям, женским добродетелям. Жених ее — самый знатный из дворян: сам Корфиз Ульфельд. Она еще дитя. Порою строгая наставница наказывает ее розгами, а она бежит к жениху жаловаться, что без вины наказана. Какая она умница, как учена, как образованна, знает и латынь и греческий, поет по-итальянски, на лютне играет, рассуждает о папе и о Лютере.

Почил король Кристиан в королевской гробнице в соборе города Роскилле, новым королем стал брат Элеоноры. При дворе в Копенгагене блеск и роскошь, сколько там умниц и красавиц — всех не перечесать, и первая среди них королева София Амалия Люнебургская. Кто сравнится с такой наездницей, кто в речах может соперничать с датской королевой?

— Элеонора Кристина Ульфельд! — сказал посол Франции. — Умом и красотой она затмила всех.

И вот, словно чертополох, выросла на зеркальном паркетe королевского дворца черная зависть, как репей прицепилась и пошла сеять обиды и насмешки. Велено, чтобы коляска Элеоноры останавливалась, не доезжая двор-

<sup>1</sup> Ураниеборг — обсерватория, основанная на острове Вен в 1576 году, в ней работал знаменитый датский астроном Тихо Браге (1546—1601).

цового моста: где королева едет в карете, там простая женщина должна ходить пешком. И пошли сплетни, да разговоры, да ложь.

Темной ночью взял Ульфельд жену за руку. Ключи от городских ворот хранились у него, отомкнул он ворота, и помчались их кони. Прискакали они на берег моря и поплыли на корабле в шведскую землю.

— Мы страничку перевернем — вот так и от них счастье отвернулось.

Осень настала, дни стали коротки, ночи долги, дожди да ненастье, ветер холодный все крепчает. Гудят ветки деревьев на валу городском, облетают листья с деревьев в усадьбе Педера Оксена, стоит она опустелая — уехали хозяева. Ветер мчится в Кристиансхавн, завывает вокруг дома Кая Люкке. В нем теперь тюрьма. Хозяин в изгнании, герб его расколот, его изображение вздернуто на самую высокую виселицу — вот как наказан он за шутку, за необдуманные речи о ее величестве королеве Дании. Громко свищет ветер, проносясь над пустырем, где прежде стояла усадьба королевского гофмейстера, остался от нее один только камень. «Я сам примчал его сюда на плавучей льдине, — гудит ветер, — где камень лег на дно, там вырос потом «воровской остров», я проклял его, а камень потом затесался на двор к графу Ульфельду, где пела графиня, играя на звонкой лютне, читала книжки по-гречески и по-латыни, красовалась в гордыне своей, а теперь один только камень красуется здесь своей надписью:

*ПРЕДАТЕЛЮ КОРФИЦУ УЛЬФЕЛЬДУ  
НА ВЕЧНЫЙ СРАМ, ПОЗОР И ПОНОШЕНИЕ.*

А где она-то, хозяйка высокородная? Ууу-ууу, — свищет ветер пронзительным свистом. — В Синей башне на задворках замка, там, где морские волны ударяются об осклизлые стены, там уж который год сидит она. В комнате дыму больше, чем тепла, оконце узкое, да и то под самым потолком. У балованной дочки короля Кристиана IV, у самой изящной среди знатных девиц и дам, — какое жалкое теперь жилище!»

Воспоминания увешивают занавесями и обоями закоптелые тюремные стены. Вспоминает она счастливую пору детства, ласковую улыбку на лице отца, вспоминает свое

чудесное свадебное шествие — дни, прожитые в славе, и дни страданий в Голландии, Англии и на Борнхольме.

В тяжелый час любовь приободрит жену,  
Когда она верна супругу своему.

Но нет, ведь тогда она была с ним вдвоем, а теперь одна, одна навеки! Где его могила — не знает она, и никто не знает!

Всю жизнь была верна супругу,  
И в этом вся ее вина.

Как поется в песне:

Хранила верности обет  
Она в нужде и в годы бед.

— Видишь эту картинку? — спрашивает крестный. — Стоит зима. Мороз, как нарочно, навел мост от Лоланда до Фюна, и шведский король Карл Густав неудержимо стремится вперед. Кругом, по всей стране грабежи и пожары, ужас и страдания.

Шведы подошли под стены Копенгагена. Мороз трескучий, метет метель, но верные королю, верные родной стране мужчины и женщины — все готовы к бою. Вышли на городской вал ремесленники и лавочники, студенты и магистры — все до единого. Никто не страшится огненных пушечных ядер. Король Фредерик поклялся, что умрет в родном гнезде. Вон он скачет вместе с королевой. Все полны отваги, любви к отечеству, все готовы к бою. А ну-ка, пусть только попробуют шведы в белых саванах подползти по снегу, пусть только пойдут на приступ! Сверху на них полетели бревна и камни, даже женщины, и те тащат котлы и льют на атакующих кипящую смолу.

В ту ночь король и народ сплотились в единую могучую силу. И вот спасение, победа! Колокольный звон, благодарственные молебны. Народ Копенгагена, сейчас ты завоевал рыцарские шпоры!

— А что было дальше? Посмотри-ка на эту картинку!

Жена епископа Сване едет в закрытой карете. На это имеют право только знать, весильное дворянство. И вот гордые дворяне разносят коляску в щепки. Придется жене епископа пешком возвращаться домой.

Так-таки тем дело и кончилось? Скоро сломают вещь покрупнее, сломлена будет власть предрассудков.

Бургомистр Ганс Нансен с епископом Сване рука об руку взяли за дело во имя господне. Стали они речи держать разумные и честные и в церкви и в доме у бургомистра. И вот уже заперты ворота, гудит набат, вся власть безраздельно отдана в руки короля, который в час опасности не покинул родного гнезда: теперь он один царит над малыми и над великими!

Это время единовластия.

— А теперь перевернем страничку и увидим другое время.

«Улюлю!» Заброшен плуг, поля поросли вереском, зато охота хороша! «Улюлю!» Слышишь, охотничий рог трубит, слышишь, заливается охотничья свора? Видишь охотников? А вот и сам король Кристиан V, он молод и весел! Веселье в замке, веселье в городе. В замке горят восковые свечи, на дворе — факелы, а на городских улицах появились фонари. Кругом все сверкает, новенькое точно с иголочки. Новое дворянство, из Германии призванное, графы да бароны у короля в милости, в чести нынче чины, да титулы, да немецкий язык.

И вот раздастся голос такой исконно датский: это сын ткача — он стал епископом. То голос епископа Кинго, он поет дивные псалмы.

Есть и другой, тоже сын незнатного человека, сын винодела, ум его сверкал в правоведении и законах, свод его законов стал золотым зеркалом королевского имени, и пребудет он на долгие времена. Сын простых людей, самый могущественный человек в Дании, заслуживший дворянский герб; но заодно он нажил и врагов, и вот взмахнул палач мечом над головою Гриффенфельда. В этот миг ему было даровано помилование и вечная тюрьма. Отправили его на скалистый остров Мункхольм против Тронхейма. Мункхольм — Святая Елена Дании.

А в дворцовых залах по-прежнему танцуют, там блеск и роскошь, веселье и смех, танцуют кавалеры и дамы.

— И вот настало время Фредерика IV.

Взгляни, как гордо реют над кораблем победные флаги! Взгляни на бегущие волны! Да, им есть что порассказать о величии Дании, о ее славе. Мы помним много имен — победителя Сеестедта и Гюльденлеве! Мы помним

Видтфельдта, который ради спасения датского флота взорвал свой корабль и вместе с датским флагом взвился под небеса. Мы помним войны тех времен и героя, который родился в норвежских горах и стал защитой Дании, — Торденшельда! В огромном море, в грозном море гремит его имя, доносясь до дальних берегов:

Сорвала в гневе молнии рука  
С голов лощеных пудры облака.  
Портняжка, бросив нитки и иглу  
Как божий гром, рассеял вражью мглу.  
И вновь выиграл дух викингов стальной  
Над северной клокочущей водой.

А вот повеял ветерок от берегов Гренландии, принес аромат святой земли: он поведал о том, как несут свет Евангелия Ганс Эгед и его жена.

Поэтому одна страница здесь вся золотая, а вторая, в знак траура, вся серая, как пепел, с черными пятнами, словно прожженная искрами, словно от мора и болезни.

В Копенгагене свирепствует чума. На улицах безлюдно, все двери на запоре, и повсюду мелом нарисованы кресты — это значит, в доме чума, а если крест черный, то, значит, все уже умерли.

По ночам собирают покойников, колокола молчат, заодно из домов выволакивают и умирающих, грохочут телеги, они доверху полны трупами. А из пивных несется безобразное пение и дикие пьяные крики. Там поют, чтобы позабыть о страшной беде, хотят забыть, хотят, чтобы все кончилось! Всему когда-нибудь приходит конец. Вот кончается и страничка о новой напасти и испытаниях, обрушившихся на город Копенгаген.

Еще жив король Фредерик IV, голова его побелела от прожитых лет. Выглядывает он из окна своего замка: за окном ненастный день; уже поздняя осень.

В маленьком домишке у западных ворот играет в мячик маленький мальчик, мяч залетает на чердак. Малыш берет стеариновую свечку и идет искать мячик, и вот в доме загорается пожар, пожар охватывает всю улицу. Такой свет разливается по небу, что даже тучи сверкают. Гляди, как взвивается пламя! Пищи для огня много, тут и солома и сено, сало и смола, поленицы дров, припасенных на зиму. И все горит. Плач и стон стоят вокруг, сумятица. И среди этого столпотворения едет на коне король, утешает, отдает приказания. Взрывается порох, рушатся дома. Вон загорелся северный район, горят церкви

святого Петра, богородицы! Слышишь, орган в последний раз играет: «Отврати свой гнев, милостивый господи».

Одна только Круглая башня да замок остались нетронуты. Вокруг дымится пепелища. Король Фредерик IV любит народ, он утешает и кормит голодных, он помогает бездомным. Благословен будь Фредерик IV!

— Посмотри на этот листок!

Видишь золоченую карету, по бокам слуги, спереди и сзади скачут вооруженные всадники, карета едет из дворца, железная цепь протянута на площади перед дворцом, чтобы не подпускать народ. Проходя через площадь, простой люд должен снимать шапку, но мало видно народу, все обходят площадь стороной. Вон идет кто-то, потупя взор, шляпу держит в руке, как раз его-то мы славим, говоря об этом времени.

Он будущего был предтечей,  
Ценой словесного труда  
Он звуки чужеземной речи  
Прогнал со сцены навсегда.

Он — само веселье, само остроумие: это Людвиг Хольберг. Датский театр, дворец, где он царил, закрыт, словно обитель зла. Веселье похоронено, танцы, пение и музыка — под запретом, в изгнании. Настали времена мрачного христианства.

— Принц Датский — так называла его мать. Настало его время, он принес с собой солнышко, птичье пение, веселье, датскую речь и радость — королем стал Фредерик V. Сняты цепи с дворцовой площади, открыт снова датский театр, всюду смех и веселье, всем радостно. Крестьяне приезжают летом в город! За постом и унынием пришло веселье. Расцветает красота, и зреют ее плоды в музыке, живописи, скульптуре. Слышишь музыку Гретри? Видишь, на сцене играет Лондемани? И королева любит все датское. Луиза Английская, добрая и прекрасная, да благословит тебя господь! Солнечные лучи радостно поют славу королевам датской страны: Филиппе, Елизавете, Луизе!

— Бренная плоть давным-давно похоронена, зато души и имена живы. Снова приехала из Англии принцесса, невеста короля — Матильда, такая юная, а потом такая одинокая! Тебя долго будут воспевать поэты, они поведают

о юном сердце, о тяжких испытаниях. А сила песен велика, беспредельна во времени. Смотри, как горит замок короля Кристиана! Спасать надо самое драгоценное. Видишь, люди тащат корзину с серебром и драгоценностями, там целое богатство, и вдруг они видят за раскрытыми дверьми среди бушующего пламени бюст короля Кристиана IV. И вот они бросают драгоценности, которые несли, — его изображение им дороже, его-то надо спасти, как ни тяжело нести! Ведь об этом короле они знают из песен Эвальда на прекрасную мелодию Хартманна.

Велика власть слова и песни, и с той же силой прозвучит в них имя бедной королевы Матильды!

— Перевернем-ка следующую страничку!

На площади Ульфельда стоял позорный камень; где еще на свете возвышался подобный? У западных ворот воздвигли колонну; много ли на свете таких?

Солнечные лучи целовали камень, на котором теперь воздвигли памятник свободы. Звонили все колокола, развевались флаги, народ ликовал и славил кронпринца Фредерика. У всех от мала до велика одни и те же имена на уме — Бернсторф, Ревентлов, Кольбьерсон. Сияют глаза, сердца полны благодарности у тех, кто читает надпись на памятнике:

«Король повелел: крепостное право кончилось, отныне в силу входит закон, дабы свободный крестьянин стал смелым и просвещенным, прилежным и добрым, честным гражданином и счастливым человеком!»

Какой солнечный день! Какое «лето в городе»!

Духи света пели: «Добро растет! Красота растет! Скоро падет камень, воздвигнутый на площади Ульфельда, зато «памятник свободы» будет стоять на солнце, благословляемый богом, королем и народом!»

У нас есть древняя дорога:  
На край земли она ведет.

Открытое море, оно открыто другу и недругу, и вот недруг пришел. Приплыли его корабли — могучий английский флот, держава великая ополчилась на маленькую. Борьба неравная, но народ был полон мужества.

Каждый без страха бился за нас,  
Смерть принимая в гибельный час.



Он завоевал восхищение врага и вдохновил певцов Дании. День битвы до сих пор отмечается флагами — Дания вспоминает славную битву на рейде, которая произошла в страстной четверг второго апреля.

Минуло много лет. Показался на Зунде флот. Против кого он выступит — против России или против Дании? Этого никто не знал, даже английские матросы.



Бытует в народе такой рассказ — в то утро, войдя в пролив, вскрыли запечатанный конверт, и тогда стал известен приказ, который гласил: захватить датский флот. И вот перед начальником встал молодой капитан, сын Британии, честный в мыслях и в поступках, и сказал: «Я присягал, что до самой смерти буду сражаться за английский флаг, но в открытом, честном бою, а не против слабых».

И с этими словами кинулся в море.

Плывет к Копенгагену флот океанный,  
Английские флаги над морем седым,  
На дне опочил капитан безмянный,  
И черные волны сомкнулись над ним.  
А шведы в сырой, бесприютной постели  
Нашли невзначай капитана того,  
На берег снесли, и тихонько звенели  
На легком ветру эполеты его.

Враг подошел к Копенгагену, город горел, мы потеряли свой флот, но не утратили мужества и веры в бога, он наказует, но он же и спасает, он ввергнет в бездну, но он же вызовет. Раны врачуются как у богатырей. В истории Копенгагена нетрудно найти утешение.

Истари верил датский народ  
В то, что господь ему друг и оплот.  
Крепко держаться нам в годы невзгод —  
Бог нас поддержит, и солнце взойдет.

И скоро засияло солнце над вновь отстроенным городом, тучными нивами, разумом и талантом, взошел благодатный мирный летний день, и поэзия возвела рукою Эленшлегера свой сверкающий прекрасный воздушный замок.

И в науке тоже появилось открытие, более великое, чем находка золотых рогов древности: найден был мост золотой, «мост мысли».

Молнией мысли летят по мосту  
Всем временам и народам навстречу.

И там вписал свое имя Ганс Христиан Эрстед.

Смотри-ка! Вон перед дворцом, ближе к церкви, строят жилище, на которое даже последний бедняк с радостью отдает свои медяки.

Ты ведь помнишь начало книжки — там были древние валуны, свалившиеся с норвежских гор; льдины принесли их сюда, они поднялись из глубин морских и по велению Торвальдсена превратились в прекрасный мрамор, как они хороши!

Вспомни, что я тебе рассказал — песчаное дно поднялось из моря, защитило гавань, на нем стоял дом Акселя, замок епископа, королевский дворец, а теперь на нем стоит храм красоты. Слова проклятия развеялись по ветру, а все, что пели о будущем радостные дети солнца, исполнилось.

Столько бурь миновало, могут налететь новые, но и те минуют. А истина, добро и красота остаются.

На том и книжка кончена, а история Копенгагена еще не закончилась. Кто знает, что ты сам еще увидишь!

Не раз небо заволакивали черные тучи, налетала буря, но солнышка она не развеяла, оно остается! А сильней самого сильного солнца — бог! Господь держит в руке своей не только наш Копенгаген.

Так сказал крестный и дал мне книжку. У него даже глаза светились, так он был уверен в своей правоте. А я

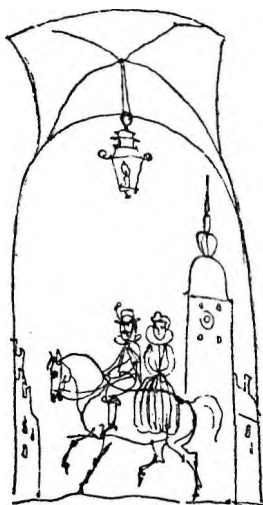
был так рад и с такой же гордостью и так же осторожно взял книжку, как недавно брал на руки младшую сестричку.

А крестный сказал:

— Кому хочешь можешь показывать эту книжку. Можешь говорить, что я ее сделал, склеил и разукрасил картинками. Но самое важное — это чтобы они сразу узнали, как я ее придумал. Ты ведь знаешь, вот и расскажи! Мысль эту подсказали мне старые масляные фонари, когда их зажгли в последний раз, а они показали в воздушных картинах все, что видел их род, начиная с первого фонаря и кончая этим вечером, когда Копенгаген осветился сразу и старыми, ворванными, и новыми, газовыми фонарями.

Можешь показывать книжку кому угодно — конечно, людям с добрым глазом и дружественными мыслями, а если явится какой-нибудь конь-мертвяк, то закрой

«Альбом крестного».





## ДРИАДА



**М**ы едем в Париж на Всемирную выставку!

Раз-два, и мы во Франции! Ну и путешествие было, настоящий полет, и никакого волшебства: просто пар мчал нас сначала по морю, потом по суше.

Ведь наше время — время сказок!

И вот мы уже в центре Парижа, в большой гостинице. Лестница вся украшена цветами, по ступеням стелются мягкие ковры.

У нас уютный номер, балконная дверь широко распахнута, и видна площадь. А на ней поселилась весна, она приехала в Париж, вступила в него в одно время с нами. Она явилась, приняв облик высокого молодого каштана, на котором только что распустились нежные листья. Он оделся в красивый весенний наряд раньше всех деревьев на площади. Одно из них уже нельзя причислить к живым, оно выкопано с корнями и лежит на земле. Там, где оно росло, посадят молодой каштан.

Пока же он покоится на большой телеге, которая сегодня утром привезла его в Париж, привезла издалека, из

сельского приволья. Там каштан много лет рос рядом с могучим дубом, под которым частенько сживал почтенный старый священник, рассказывая детворе разные истории. Как внимательно слушали его дети! Молодой каштан тоже слушал, слушала и дриада, которая жила в нем. Ведь она сама была ребенком и еще помнила время, когда каштан был таким маленьким, что едва-едва поднимал голову над высокой травой и папоротником. Они-то выше уже не могли вырасти, а дерево все тянулось и тянулось вверх. Свежий воздух и солнечный свет поили его, дождь и роса умывали, а сильный ветер время от времени задавал ему хорошую взбучку — без этого какое же воспитание!

Дриада радовалась своему житью-бытью, радовалась солнцу и пению птиц, но приятнее всего ей было слушать людей, она понимала их язык так же хорошо, как язык животных.

Бабочки, стрекозы, мухи — все, кто умеет летать, прилетали к дриаде в гости. Вот-то начиналась болтовня! Они наперебой рассказывали про город, про виноградники и леса, про старый замок и парк с каналами и прудами, где водятся живые существа, которые тоже умеют летать, но только под водой, и перелетают там с места на место. Эти создания славятся глубокомыслием и мудростью, никогда и словом не обмолвятся — вот какие умные!

Ласточка, которая ныряла в воду, рассказывала о прелестных золотых рыбках, о жирных лещах, толстых линиях и о старых, замшелых карасях. Ласточка описывала их очень хорошо, однако прибавляла, что лучше посмотреть все собственными глазами. Только разве могла дриада увидеть эти поразительные создания? Ей оставалось довольствоваться красивым видом, что открывался перед ней, да наблюдать за беспокойной жизнью людей.

Все это было интересно, но интереснее всего казались дриаде рассказы старого священника. Сидя под дубом, он знакомил своих учеников с историей Франции, с подвигами ее сыновей и дочерей, чьи имена навсегда покрыты славой.

Дриада услышала о юной пастушке Жанне д'Арк и о Шарлотте Корде, о царствовании Генриха IV и Наполеона I, о старых временах и о величии настоящего. Славные имена, которые называл священник, пробуждали гор-

дось в сердцах людей, ведь Франция — великая страна, оплот разума, очаг свободы.

Крестьянские ребятишки не пропускали ни слова из того, что говорил священник. Дриада тоже, она как бы превращалась в их сверстницу, в школьницу. Она смотрела на плывущие по небу облака, и в их очертаниях вставали перед ней, сменяя одна другую, картины того, что она слышала.

Облака заменяли ей книжку с картинками.

Она радовалась, что рождена в прекрасной Франции, и все же чувствовала, что птицам и всем существам, способным летать, открыто то, что недоступно ей. Даже муха может увидеть куда больше, чем дриада со своего дерева.

Широко и величаво раскинулась Франция, а дриада знала только один ее маленький уголок. Далеко-далеко разбросала страна свои виноградники, леса, огромные города, и самым большим, самым прекрасным из них был Париж. Но дриаде не суждено было его увидеть, туда могут долететь разве что птицы.

Среди крестьянских детей была маленькая девочка, бедная и оборванная, но такая красивая — глаз не оторвешь. Она всегда пела, всегда смеялась и вплетала в свои черные волосы красные цветы.

— Смотри не ездь в Париж! — говорил ей старый священник. — Стоит тебе попасть туда, и ты погибнешь, бедняжка.

И все-таки она уехала.

Дриада часто вспоминала о ней, ведь им обоим так хотелось в этот великий город!

Прошла весна, наступило лето, потом осень и зима. Прошло несколько лет.

На каштане, в котором жила дриада, впервые распустились цветы, и об этом, не умолкая, щебетали птицы, греясь на ярком солнце. Вдруг на дороге показалась роскошная коляска, в ней сидела важная дама, она сама прядила красивыми, быстрыми лошадьми, а сзади примостился нарядный маленький слуга. Дриада сразу узнала приезжую, узнал ее и старый священник. Он печально покачал головой и сказал:

— Ты все-таки уехала в Париж, бедняжка Мари! Вот он и погубил тебя.

— Она-то бедняжка? — удивилась дриада. — Да как она преобразилась! Нарядная, словно герцогиня! Это волшебный Париж так изменил ее! Ах, если бы и мне попасть туда, увидеть весь этот блеск и великолепие! Даже ночью стоит над Парижем зарево, я вижу его, когда смотрю в ту сторону.

Каждый вечер, каждую ночь смотрела дриада в сторону Парижа и видела на горизонте радужную дымку. Как не хватало ее дриаде в светлые, лунные ночи! Как не хватало плывущих по небу облаков, что рисовали ей картины из истории города!



Дети тянутся к книжке с картинками, дриада тянулась к облакам в небе, они были для нее увлекательной книгой.

Безоблачное летнее небо казалось ей чистой страницей, и вот уже много дней подряд на нем не появлялось ни облачка.

Лето стояло жаркое, днем палило солнце, не было даже легкого ветерка, листья и цветы поникли, словно в дремоте, сон одолевал и людей.

Но вот на том краю неба, где радужная дымка по ночам возвещала: «здесь Париж!», появились тучи.

Тучи поднимались все выше, теснились, как горы, быстро неслись вперед, и скоро дриада увидела, что все небо обложено ими до самого горизонта.

Словно мощные черно-синие утесы, громоздились тучи друг на друга высоко над головой дриады. Из туч вырыва-

лись молнии. «И они тоже слуги господни!» — учил священник. Вдруг сверкнул такой яркий, такой ослепительный луч, словно само солнце прорвалось сквозь толщу утесов. Молния ринулась вниз и сразила могучий дуб, расщепила старое дерево до самых корней, рассекла его крону и ствол. Дуб рухнул, раздавшись пополам, словно желая заключить в объятия посланницу небес.

Ни один пушечный залп в честь рождения наследника престола не гремел так оглушительно, как прогремел гром при кончине старого дуба. С неба хлынули потоки дождя, подул освежающий ветер, и скоро непогода миновала, снова воцарились мир и покой. Вокруг поверженного дуба собрались люди, старик священник сказал речь в его честь, а художник зарисовал дерево на память.

«Все уходит! — подумала дриада. — Все уходит, как плывущие облака, и ничему нет возврата».

Старый священник больше не появлялся рядом с каштаном, крыша его школы рухнула, кафедры не стало. Не приходили и дети. Но пришла осень, пришла зима, а за ними весна. Времена года сменяли друг друга, а дриада все не отводила глаз от горизонта, где по вечерам вставала над Парижем радужная дымка. Там гудели паровозы, туда мчались поезд за поездом, стуча и грохоча днем и ночью, утром и вечером. И каждый поезд вез множество людей из всех стран света. Их влекло в Париж новое чудо.

Что же это было такое?

— На бесплодном песке Марсова поля распустился роскошный цветок, взлелеянный искусством и промышленностью, — рассказывали одни. — Исполинский подсолнечник, по лепесткам которого можно изучать географию, статистику, знакомиться с творениями мастеров своего дела, вникать в тайны искусства и поэзии, познавать величину и величие разных стран мира.

— Сказочный цветок, — говорили другие, — причудливый цветок лотоса, распростерший над песком свои зеленые листья, словно бархатные покрывала, расцвел ранней весной. Лето застанет его во всем великолепии, а осень развеет, унесет прочь, не останется ни листьев, ни корней, ни даже следа их.

Перед зданием военного училища раскинулась площадь для военных упражнений в мирное время, поле, на котором нет ни травинки, ни былинки, клочок песчаной



пустыни, перенесенный из Африки, где фата-моргана возводит призрачные замки и висячие сады. Но на Марсовом поле возникли сады и замки еще краше, еще удивительнее: ведь их превратил в реальность гений человечества.

— Воздвигнут замок Аладина нашего времени, — восхищались трети, — с каждым днем, с каждым часом растет он и хорошеет. Мрамором и яркими красками блистают бесчисленные залы. В огромном круглом машинном зале царит мастер «Бескровный», здесь работают его стальные и железные мышцы. Искусные изделия из металла, камня и тканей знакомят нас с духовной жизнью всех стран мира. Картинные галереи, изысканные цветники — все, что могут сотворить умелые руки человека в союзе с талантом, все выставлено на обозрение. Здесь же встретимся мы и с памятниками древности, привезенными из старых замков, извлеченными из топей торфяных болот.

— Невозможно обозреть, осмыслить и описать все это грандиозное пестрое зрелище! Чтобы охватить его одним взглядом, его надо уменьшить, свести к размерам игрушки.

На Марсовом поле, словно на громадном столе, уставленном рождественскими подарками, висится дворец Аладина, сооруженный наукой и искусством. А вокруг разместились дары из разных стран мира. Каждая нация создала здесь свой уголок, напоминающий о величии ее родины.

Вот дворец египетского фараона и караван-сарай из далекой пустыни. Мимо него спешит на своем верблюде сын страны солнца — бедуин. В русских конюшнях бьют копытами горячие степные скакуны. Вот маленький крытый соломой крестьянский домик, над ним развевается датский флаг Даннеброг, а рядом деревянный, весь в резьбе, дом Густава Вазы<sup>1</sup> из Швеции. Американские хижины, английские коттеджи, французские павильоны, театры, беседки, церкви причудливо перемешались вокруг. Повсюду зеленеет свежая трава, журчит прозрачная вода, красуются цветущие кусты и редкостные деревья, а попав в оранжерею, оказываешься в тропическом лесу. Под другой кры-

---

<sup>1</sup> Густав Ваза (1496—1560) — шведский король, освободивший Швецию из-под владычества Дании.

шей приютился целый сад роз, привезенных из Дамаска; какие краски, какой аромат!

Искусственные сталактитовые пещеры окружают водоемы с пресной и соленой водой. Здесь открывается вид на подводное царство, словно вдруг оказываешься на дне морском среди рыб и полипов.

Все это, говорят, можно увидеть на Марсовом поле, и на этом огромном, богато накрытом праздничном столе снуют, словно полчища суетливых муравьев, толпы людей, кто пешком, кто в маленьких повозках, — не у всех ноги выдержат столь утомительную прогулку.

Посетители идут сюда с самого раннего утра до позднего вечера. Пароход за пароходом, набитые людьми, скользят по Сене. С каждым часом все больше подъезжает колясок, все больше появляется людей пешком и верхом. Дилижансы и omnibusы переполнены, увешаны пассажирами, и все эти толпы стремятся к одной цели — на Всемирную парижскую выставку.

Входы ее украшены французскими национальными флагами, над павильонами разных стран развеваются флаги всех наций, шум и гул вырываются из машинного зала, с башен разносится мелодичный звон колоколов, из церквей слышатся звуки органа, а ко всему этому примешивается хриплое, гортанное пение из восточных кофеен. Вавилонское столпотворение, вавилонское смешение языков — это новое чудо света.

Вот что говорили повсюду о выставке, кто не слышал этих рассказов? Слышала об этом новом чуде в столице столиц и дриада.

— Летите туда, птицы, летите и возвращайтесь скорей, чтобы рассказать мне о том, что вы увидели, — умоляла она птиц.

Ее мечта превратилась в безудержное стремление, в цель жизни. И вдруг однажды тихой, безмолвной ночью дриада увидела, как от полной луны, сиявшей в небе, отделилась искра. Она сверкнула, как падучая звезда, и вот уже перед деревом, ветви которого заколыхались, как в бурю, предстало блистающее величественное видение. Раздался голос, и звуки его были ласкающими и мощными, словно трубный глас, что пробуждает к жизни и призывает к ответу в день Страшного суда.

— Ты попадешь в этот сказочный город. Пустишь там корни, вкусишь его шум, его воздух, его солнце. Но знай,

что жизнь твоя сократится. Долгие годы, что ожидали тебя здесь, на воле, там, в городе, станут всего лишь днями. Бедная дриада, там ждет тебя погибель. Но жажда твоя утронется, стремление, снедающее тебя, удесятерится, твой каштан покажется тебе тюрьмой, ты покинешь свою оболочку, изменишь своей природе, смешаешься с людьми. И тогда отведенный тебе на земле срок станет меньше, чем жизнь поденки: ты проживешь одну только ночь. А потом дыхание твое остановится, листья каштана завянут, их развеет ветер, и все будет кончено.

Не успели отзвучать эти слова, как видение угасло, но не угасли мечты дриады, ее страстное стремление попасть в Париж. Она вся дрожала от нетерпения, от волнующих предчувствий.

— Я попаду туда, в этот великий город! — ликовала она. — Начинается новая жизнь, вот она близится, быстро, как облако. Кто знает, куда она умчит меня?

На рассвете, когда побледнела луна и порозовели облака, настал час свершения, пророчество сбылось.

Пришли люди с заступами и лопатами, они принялись выкапывать дерево, добрались до самых корней. Подъехала телега, запряженная лошадьми, каштан с корнями и с комом земли вокруг них подняли, закутали в циновки, будто в одеяло, и взвалили на телегу. Дерево крепко привязали, ведь путь был неблизкий — ему предстояло отправиться в Париж, расти и жить в величайшем городе Франции, в городе городов.

Телега тронулась, каштан покачнулся и затрепетал всеми ветвями и листьями, затрепетала от нетерпения и дриада.

«В путь! В путь!» — стучало ее сердце.

— В путь! В путь! — повторяла она дрожащим голосом.

Дриада даже забыла проститься с родным лугом, с травами, качающимися под ветром, с простодушными ромашками, которые всегда смотрели на нее снизу вверх, считая ее важной особой в господнем цветнике, юной принцессой, которая разыгрывала здесь, на лоне природы, простую пастушку.

Каштан махал с телеги ветками, словно говоря: «Прощайте!», а может быть, «В путь!» Дриада не слушала. Все

ее помыслы были об одном — о чудесном, незнакомом и в то же время уже известном будущем, навстречу которому она спешила. Ни ребенок в невинной радости, ни пылкий мечтатель в порыве чувств не бывают так поглощены своими переживаниями, как наша дриада, когда она начинала свое путешествие в Париж.

«Прощайте!» — звучало в ее ушах, а губы шептали: — В путь! В путь!

Колеса телеги быстро вертелись, и то, что виднелось вдали, приближалось и оставалось позади. Поля сменяли друг друга, словно облака. Виноградники, леса, маленькие города, дачи и сады возникали на горизонте, придвигались, уплывали вдали. Каштан уезжал все дальше, все дальше ехала и дриада. Поезд за поездом с грохотом проносились мимо. Паровозы оставляли за собой облака дыма, облака сливались в картины, рисовали Париж, откуда они мчались и куда спешила дриада.

Казалось, все вокруг понимали, не могли не догадываться, куда лежит ее путь. Ей чудилось, что каждое встречное дерево тянется к ней ветвями и молит: «И меня возьми с собой, и меня!» Ведь в каждом из них тоже жила дриада, которой страстно хотелось посмотреть мир.

Вдруг все переменялось, и как неожиданно будто из-под земли выросли дома, их становилось все больше и больше. Они жались друг к другу тесней и тесней. Печные трубы, словно цветочные горшки, рядами выстроились на крышах. Дома пестрели огромными надписями, аршинные буквы и целые картины покрывали стены от фундамента до карниза.

— Уж не Париж ли это? Может, я уже приехала? — спрашивала себя дриада.

Людей вокруг все прибывало, суета и спешка нарастали, одна за другой катились коляски, торопились пешеходы, проносились всадники, мелькали магазины и, не умолкая, звучали песни, восклицания, музыка, говор.

Дриада со своим каштаном очутилась в самом центре Парижа.

Тяжелая телега остановилась на маленькой площади, обсаженной деревьями, окруженной высокими домами с балконами. На балконах стояли люди и смотрели вниз на приехавший издалека молодой каштан, который скоро поднимется на площади вместо старого, высохшего дерева, лежащего на земле. Прохожие останавливались и с

улыбкой любовались свежей весенней листвой. Другие деревья, покрытые еще не распустившимися почками, покачивали ветками и шелестели: «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» А фонтан высоко подбрасывал в воздух свои струи, и они громко звенели, падая в широкую чашу. Он хотел, чтобы ветер подхватил его прозрачные капли и поднес их зеленому гостю вместо освежающего приветственного кубка.

Дриада почувствовала, как ее каштан подняли с телеги и отнесли на его новое место. Корни засыпали землей, а сверху обложили свежим дерном. Вокруг посадили цветочные кусты и поставили ящики с цветами — посреди площади вырос маленький сад. Выкорчеванное из земли старое дерево, задушенное запахами газа, еды и другими убийственными испарениями, что насыщают городской воздух, взвалили на телегу и увезли. Вокруг каштана собрались люди; дети и старики уселись на скамейку под только что посаженным деревом и смотрели сквозь его листья наверх, на небо. А мы, рассказывающие вам эту историю, стояли на балконе и смотрели вниз на юного вестника весны, переселенного сюда с вольных просторов, и повторяли то, что непременно сказал бы старый священник:

— Бедная дриада!

«До чего же я счастлива! — думала в это время дриада. — Только все еще поверить не могу, что я здесь. Слов нет, чтобы передать, как я счастлива. Все точно так, как я себе представляла, и в то же время совсем по-другому!»

Дома были такие высокие, они обступили дриаду со всех сторон. Солнце освещало только одну стену, она была заклеена афишами и объявлениями, возле которых толпился народ. Мимо пролетали экипажи, легкие и тяжелые, проезжали омнибусы, переполненные людьми, словно дома на колесах. Проносились всадники на лошадях, от них не отставали коляски и кареты.

«Интересно, — думала дриада, — скоро ли эти так высоко выросшие дома раздвинутся? Скоро ли изменят они свои очертания, как облака в небе, и отплывут в сторону?»

Тогда она сможет разглядеть весь Париж, каждый его уголок. Ведь она не видела еще Нотр-Дам, Вандомскую колонну и того чуда, ради которого сюда съехалось столько гостей со всех концов света.

Но дома не двигались с места.

Еще не стемнело, а уже зажгли фонари, газовый свет из окон магазинов освещал ветви каштана, совсем как летнее солнце. На небе высыпали звезды, те самые, что дриада видела в родном краю. Ей показалось, что потянуло воздухом с полей, свежим, душистым. Она сразу воспрянула духом, повеселела, почувствовала всеми кончиками корней, как из каждого листа вливаются в нее бодрость и силы. Наконец-то она среди людей, она ловила на себе их ласковые взгляды, вокруг кипела жизнь, все спешили, куда-то торопились, сверкали огни, пестрели краски.

Из переулка доносились звуки духового оркестра и песенка шарманки, так и манившая танцевать, веселиться, наслаждаться жизнью.

Да, вот это была музыка! Казалось, не только люди, но и лошади, и дома, и коляски, и деревья — все готовы пуститься в пляс, да не умеют. Душу дриады переполнила пьянящая радость:

— Как замечательно! Какое счастье! — ликовала она. — Я в Париже!

Прошел день, прошла ночь, прошли еще одни сутки, а вокруг ничего не менялось: те же дома, то же небо, та же суэта, та же жизнь на площади, непрерывно меняющаяся и все-таки всегда одинаковая.

— Я уже знаю каждое дерево, каждый цветок на этой площади! Я знаю все дома, все до единого балконы, все магазины в этом тесном углу. Они заслонили от меня огромный, великолепный город. Где же Триумфальная арка, бульвары, где новое чудо света? Неужели я их не увижу? Здесь, среди высоких домов, я как в клетке, я уже наизусть выучила все вывески, афиши, надписи, все это назойливое пустословие уже приелось. Где же все то, о чем я столько слышала, к чему так рвалась, ради чего приехала сюда? Чего же я добилась, что получила, что нашла? Я тоскую, как прежде! Вокруг кипит жизнь, и я хочу стать ее частицей! Хочу быть среди людей, хочу окунуться в их жизнь с головой, полететь, словно птица, все увидеть, все испытать, стать совсем-совсем как человек. За половину срока жизни поденки я готова отдать годы скучных, тягостных будней. Здесь я прозябаю, угасаю,

вяну и в конце концов исчезну, растаю, как туман над лугами. Я хочу сверкать, словно облако, сиять в живительных лучах солнца, все видеть, как видят облака, пролететь, как они, и исчезнуть неведомо где.

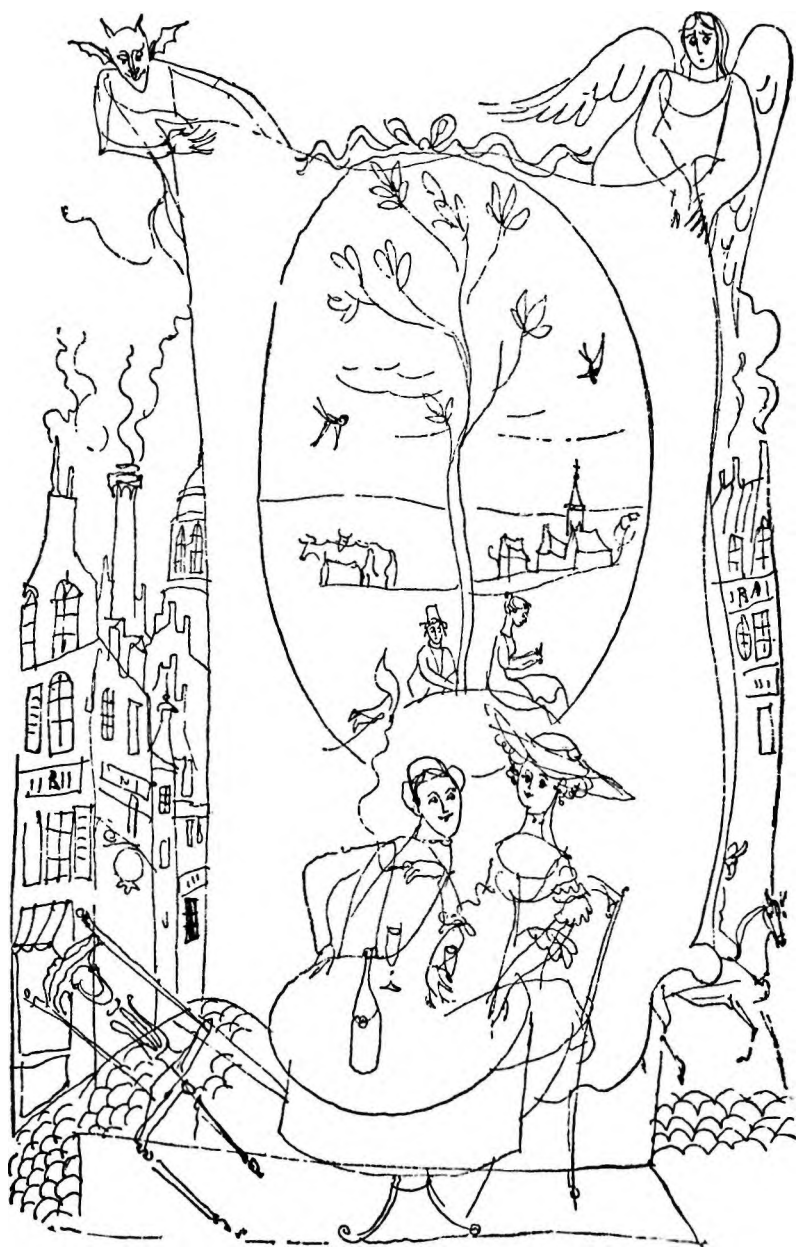
И дриада взмолилась:

— О, возьми годы моей жизни! Дай мне половину срока жизни мухи-поденки! Освободи меня из заточения, подари мне человеческое счастье, пусть хоть на короткий миг, на одну только ночь, а потом покарай, как хочешь, за мою дерзость, за жажду жизни. Уничтожь меня, пусть моя оболочка — этот свежий, юный каштан — увянет, упадет, превратится в пепел, пусть его развеет ветром!

И вот листва каштана зашелестела, дерево затрепетало, дрожь прошла по всем листьям, словно его опалило огнем, сильный порыв ветра потряс крону, и среди ветвей поднялась женская фигура — это была сама дриада. В ту же секунду она очутилась внизу, под деревом, освещенная газовым светом, юная, прекрасная, как несчастная Мари, которой говорили: «Бедная, этот город тебя погубит!»

Дриада сидела под деревом, словно под дверью своего дома, которую она заперла за собой навсегда, а ключ забросила. Как она была молода, как прекрасна! Звезды глядели на нее и улыбались ей, газовые фонари сияли и переливались, подмигивая. Она была нежной, но полной сил, ребенок и в то же время взрослая девушка. На ней был наряд из тончайшего шелка, зеленый, словно свежие листья, в каштановых волосах запутался только что раскрывшийся цветок ее родного дерева. Она казалась юной богиней Весны.

Всего одну минуту сидела она неподвижно, потом вскочила с легкостью газели, пересекла площадь и свернула за угол. Дриада скользила, летела, мелькала, неуловимая, как солнечный зайчик, что вспыхивает то здесь, то там. Уследить за ней было невозможно, но, если б это удалось, удивительная обнаружилась бы вещь. Стоило ей задержаться где-то на миг, и ее облик, ее одежда — все менялось. В одном месте она была одна, в другом — другая, словно приноравливалась к окружению, к свету ламп, падавшему из окон домов.





Вот она на бульварах. Здесь море огней, горят газовые фонари, светом залиты магазины и кафе. Рядами стоят деревья, молодые и стройные, и в каждом от лучей искусственного света прячется своя дриада. Весь длинный бульвар как большой бальный зал: всюду накрытые столы, уставленные прохладительными напитками, тут и шампанское, и шартрез, и даже обычные кофе и пиво. Всюду, куда ни глянь, цветы, картины, скульптуры, книги и пестрые ткани.

Затерявшись в толпе у высоких домов, дриада со страхом смотрела на поток, движущийся под деревьями. Словно в шумном водовороте, неслись, перегоняя друг друга, коляски и кабриолеты, фиакры, омнибусы и дрожки, проносились всадники, маршировали солдаты. Как тут целым и невредимым перебраться на другой берег, на ту сторону улицы? Вот замелькали какие-то синие огни, потом все снова озарилось газовым светом, в небо вдруг взвилась ракета. Откуда? Зачем?

Поистине здесь была главная артерия этого великого города.

В одной стороне звенели нежные итальянские напевы, в другой — под щелканье кастаньет пели по-испански, но все заглушали звуки шарманки, игравшей залихватский канкан. Такой музыки не слыхивал Орфей, не знала ее Прекрасная Елена, но под нее, казалось, заплясала бы даже тачка на своем единственном колесе! Танцевала и дриада, она порхала, кружилась, и у каждого дома, у каждого фонаря цвет ее наряда менялся, как оперение у колибри в лучах солнца. Словно сияющий цветок лотоса, сорванный со стебля и увлекаемый потоком, неслась она все дальше, с каждым шагом, с каждым поворотом другая. Никто не мог бы заметить дриаду, уследить за ней, рассмотреть ее.

Все вокруг плыло мимо нее, словно облака. Одно лицо сменялось другим, но все они были ей незнакомы, ни одного родного и близкого. Она вдруг вспомнила чьи-то лучистые глаза, на ум ей пришла бедняжка Мари, веселое дитя в лохмотьях, с красным цветком в черных волосах. Ведь она тоже здесь, в этом великом городе, и, наверно, такая же нарядная, сияющая, как тогда, когда проезжала мимо священника, мимо дриады, мимо старого дуба.

Конечно, она здесь, среди этого оглушающего шума и суматохи. Не она ли это выходит из подъехавшего роскошного экипажа? Тут уже стояло много карет, кучера были с галунами, слуги в шелковых чулках. Из карет появлялись богатые, нарядные дамы — одни дамы. Они проходили в открытые решетчатые ворота и поднимались по высокой лестнице с широкими ступенями, которая вела в здание с белоснежными мраморными колоннами. Не это ли всемирное чудо? Не здесь ли Мари?

«Sancta Maria» неслось из-за дверей, под высокими расписными позолоченными сводами клубился дымок от ладана, сверху царил полумрак.

Это была церковь святой Магдалины.

Знатные дамы, все в черном, медленно двигались по блестящему полу. Их дорогие платья были сшиты по последней моде. На серебряных застежках молитвенников, переплетенных в бархат, красовались гербы, гербы были вышиты и на тончайших надушенных носовых платках, обшитых редкостными брюссельскими кружевами. Одни дамы в безмолвной молитве преклоняли колена перед алтарем, другие скрывались в исповедальнях.

Тревога и беспокойство вдруг охватили дриаду, словно она оказалась в каком-то запретном месте. Ее пугала эта обитель тишины, здесь царила тайна, здесь говорили только шепотом, неслышно поверяли заветные мысли.

Дриада окинула себя взглядом; она уже была закутана в шелк и вуаль и ничем не отличалась от других знатных и благородных дам. Быть может, и они томилась той же неуемной жадной жизни, что и она сама?

В церкви раздался вздох, глубокий и горестный. Откуда он шел? Из угла, где совершалась исповедь, или из груди самой дриады? Она закрыла лицо вуалью. Среди церковных благовоний ей не хватало свежего воздуха. Нет, здесь ей было не место.

Дальше, дальше, не теряя времени, не зная отдыха! Разве отдыхают поденки? Их жизнь сплошной полет!

И вот дриада снова очутилась на улице, залитой ярким газовым светом, у великолепного фонтана.

— Однако всей этой воде не смыть невинной крови, что пролилась здесь! — услышала дриада.

Кругом толпились иностранцы, все разговаривали громко и оживленно — так не смели говорить в обители тайн, которую только что покинула дриада.

Вот приподняли и отодвинули в сторону большую каменную плиту мостовой. Дриада не могла понять, что это значит. Она увидела люк, ведущий в подземелье, люди стали спускаться туда, уходя от звездного неба, от ярких, как солнце, газовых фонарей, от бьющей ключом жизни.

— Мне страшно! — воскликнула какая-то женщина. — Я боюсь спускаться. И не хочу смотреть на эти чудеса. Не пойдем, останемся!

— Как! — удивился мужчина. — Вернуться домой, уехать из Парижа, не посмотрев самое интересное, настоящее чудо нашего времени, созданное умом и волей одного человека?

— Нет, я не пойду! — твердила женщина.

«Чудо нашего времени», — сказал этот человек. Дриада слышала его слова. Она поняла: цель ее мечтаний достигнута, нужно только спуститься под землю, оставить Париж над головой. Не таким представляла она себе это чудо, но раз так говорят, раз все спускаются вниз, спустится в подземелье и она.

Чугунная винтовая лестница была широка и удобна. При входе горела лампа, ниже — другая.

Посетители оказались в лабиринте бесконечных, пересекающих друг друга сводчатых залов. Здесь, словно в матовом стекле, отражались все парижские улицы и переулки, на табличках можно было прочесть их названия, указывались и номера домов, стоявших наверху. Их фундаментам уходили глубоко под безлюдные, засыпанные щебнем тротуары, которые шли вдоль широкого канала, где клокотал поток грязи. Выше под сводами текла по трубам свежая вода, а еще выше, словно сети, переплетались газовые трубы и телеграфные провода. Вдали мерцали лампы, словно отсвет огней огромного, раскинувшегося наверху города. Оттуда, сверху, по временам доносился глухой грохот — это проезжали над входом в подземелье тяжелые повозки.

Куда же попала дриада?

Знаете ли вы, что такое катакомбы? Так вот, они лишь слегка похожи на этот новый подземный мир, чудо нашего века — на клоаки Парижа. Здесь-то и оказалась дриада, а совсем не на Всемирной выставке.

Она слышала вокруг возгласы удивления, восхищения, признательности.

— Вот от чего зависит жизнь и здоровье тысяч и тысяч людей наверху! — говорили вокруг. — Наше время — поистине время прогресса, благословенное время.

Так рассуждали, так думали люди, но иного мнения придерживались крысы, которые родились и ютились здесь. Их писк громко и отчетливо доносился до дриады, и она отлично понимала его.

Старый отец семейства с откушенным хвостом пронзительно негодовал, брюзжал и доказывал, что только он один говорит правильно, а его семья подхватывала каждое его слово.

— Мне тошно от их мяуканья, от мяуканья этих неведж! Скажите пожалуйста, как тут прекрасно при газовом свете и керосине. Да на что они нужны, я не ем ни того, ни другого! Здесь теперь так светло и чисто, что стыдишься самого себя, а с чего, собственно? Разве так жили во времена сальных свечей? То была, как теперь говорят, эпоха романтизма.

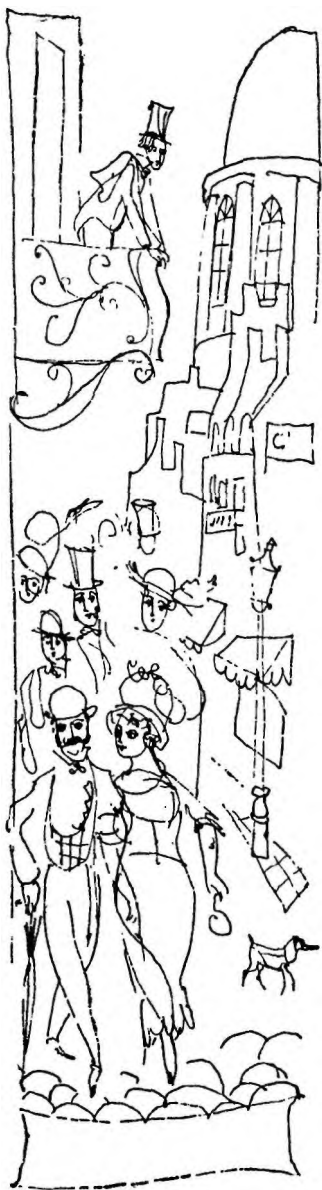
— Что ты говоришь? — спросила дриада. — Таких, как ты, я еще не встречала. О чем ты рассказываешь?

— О безвозвратно минувших днях, — ответила крыса. — О прекрасных временах, когда благоденствовали наши прадедушки и прабабушки. Тогда спуститься сюда было подвигом. Здесь простиралось крысиное царство побольше самого Парижа. Тут властвовала матушка чума, людей она убивала, но крыс не трогала. Здесь укрывались разбойники и контрабандисты, находили прибежище интереснейшие личности. Где теперь таких увидишь? Разве что на сцене, в мелодрамах. Да, время романтизма прошло и для нас, для крыс. Чего уж ждать, когда тут свежий воздух и керосин!

Вот что пицала крыса — она ругала наше время и восхваляла прежнее — царство матушки чумы.

Подали экипаж вроде открытого омнибуса, в него были запряжены маленькие быстрые лошадки. Все уселись и отправились по Севастопольскому бульвару, который тянулся под землей так же далеко, как над ним тянулся самый многолюдный бульвар Парижа, его тезка.

Экипаж исчез в полутьме, исчезла и дриада — она снова поднялась наверх, на свежий воздух, к свету газовых фонарей. Здесь, а не внизу, где переплетаются душные



сводчатые коридоры, будет она искать чудо света; это чудо должно сиять ярче газовых фонарей, ярче луны, как раз выплывшей на небо. Ведь ради него она променяла всю свою жизнь на короткую ночь!

Вот и оно! Впереди дрожало сияние, оно блистало и переливалось, как звезда Венера на небе.

Дриада остановилась перед ярко освещенным входом в сад, весь залитый светом. Оттуда неслись звуки веселого танца. Газовые фонарики, словно живая изгородь, обрамляли маленькие тихие пруды, на недвижной воде плавали причудливо изогнутые и яркие цветы из фольги, они искрились в лучах газового света и выбрасывали высоко в воздух струи воды. Красивые плакучие ивы, настоящие, а не искусственные, уже по-весеннему нарядные, склоняли свои нежные ветки к самой воде, словно прозрачную, но непроницаемую для глаз зеленую вуаль. В кустах пылал костер, и красные отблески пламени падали на тихие, полутемные беседки, а над ними гремела музыка, оглушая, маня, увлекая. Музыка, от которой кровь огнем бежала по жилам.

Дриада увидела молодых девушек, прелестных, нарядных, с доверчивой улыбкой на губах, опьяненных весельем и легкомыслием молодости. Все

они походили на Мари: те же цветы в волосах, нет только коляски и маленького нарядного слуги. Как они исступленно метались, как кружились в неистовом танце! Развевались волосы, мелькали руки. Словно ужаленные тарантулом, они летали, смеялись, ликовали, захлебываясь от блаженства, готовые обнять весь мир.

Танец увлек и дриаду. Вдруг она заметила, что ее маленькие нежные ноги уже обуты в шелковые туфельки, каштаново-коричневые, как и лента, что сбегала с волос на непокрытые плечи. Зеленое, словно листья, платье падало тяжелыми складками, но не скрывало стройных ног с маленькими ступнями, которые только что не выписывали в воздухе магические круги перед танцующим с дриадой кавалером.

Где же она была? Что за волшебный сад Армиды? Как зовется это место?

Название его пылало огненными буквами: «Mabille».

Звенели голоса, гремели рукоплескания, трещали ракеты, журчала вода, с хлопаньем вылетали пробки из шампанского, увлеченные буйным танцем, все быстрее кружились пары. Месяц, проплывавший по небу, косился на это веселье не очень одобрительно. Небо было чистое, ясное, безоблачное; казалось, до него рукой подать.

Безумная, испепеляющая жажда жизни, как огнем, охватила дриаду, будто она накурилась опиума. Глаза ее что-то говорили, губы шептали, но свист флейт и пение скрипок заглушали слова. Ее кавалер нашептывал ей на ухо, покачиваясь в такт канкану, она не понимала его слов, не поймем их и мы. Он протянул руки, желая заключить ее в объятия, но обнял только прозрачный, пронизанный газовым светом воздух.

Воздушный поток подхватил и унес дриаду, как ветер подхватывает лепесток розы. Прямо перед собой она увидела пылающий факел, яркое пламя на высокой башне. То была ее заветная цель, навстречу ей вспыхивал и сверкал красный маяк на Марсовом поле, маяку у входа в царство фата-морганы. Вот куда принес дриаду весенний ветер. Она облетела башню и стала спускаться, а рабочие внизу подумали, что это первая весенняя бабочка, которая появилась слишком рано и поэтому ей суждено скоро погибнуть.

Над павильонами и постройками всех наций светила луна, горели газовые фонари и факелы. Они освещали лужайки, обсаженные дерном, скалы и утесы, созданные умелыми руками людей, со скал срывались водопады, послушные мастеру «Бескровному». Морские пещеры, тихие речные заводы, целое царство рыб открывалось здесь взору. Казалось, будто в стеклянном водолазном колоколе опускаешься на дно моря или на дно глубокого пруда. Со всех сторон на толстые стеклянные стены давит вода. Извивающиеся полипы, длинные, как кишки, гибкие, как угри, то поднимались, то опускались, как живые дрожащие руки, цеплялись за стекла и снова присасывались ко дну.

В сторонке задумчиво расположилась большая камбала, распласталась по дну, развалилась с удобством. Краб, похожий на гигантского паука, спотыкаясь, перелезал через нее, а вокруг носились креветки, словно морская моль или бабочки.

В пресной воде росли кувшинки, камыши и белые лилии. Золотые рыбки выстроились рядами, будто рыжие коровы на лугу, у всех головы повернуты в одну сторону, все разевают рты навстречу течению. Тучные, жирные лини, прижавшись носами к стеклу, тарасили глупые глаза. Они знали, что находятся на парижской выставке, помнили, какое утомительное путешествие им пришлось проделать, чтобы попасть сюда. Их привезли в бочках по железной дороге, и они мучились от сухопутной болезни, как мучаются от морской болезни люди, путешествуя по морю. Рыбы приехали сюда посмотреть выставку и теперь с любопытством разглядывали ее из соленых и пресных водоемов. Глазели на беспокойный людской поток, текущий мимо с раннего утра до позднего вечера. Ведь все страны прислали на выставку своих представителей, чтобы старые лини и лещи, юркие окуни и покрытые тиной карпы полюбовались этими непонятными созданиями, поразмышляли о них и обменялись мнениями.

— Это особы из разряда чешуйчатых, — сказала перемазанная илом маленькая плотичка, — они меняют чешую два, а то и три раза в день. Ртом они издают звуки — у них это называется разговаривать. Мы чешую не меняем и объясняемся друг с другом гораздо проще — движением рта и глаз. Нет, мы намного совершеннее людей!

— А плавать они уже выучились, — заметила другая маленькая рыбка. — Я живу в большом озере. Туда в жару часто приходят люди и кидаются в воду, но чешую оставляют на берегу, плавают без нее. Учились-то они, видно, у лягушек: задними лапами оттолкнутся, передними гребут, эдак на воде долго не продержишься. Стараются они, бедняги, во всем подражать нам, да ничего не выходит!

И рыбы продолжали таращиться: им казалось, что людской поток, который они наблюдали при свете дня, все еще течет мимо. Да, да, они просто уверены были, что различают лица и фигуры тех, кто, если можно так выразиться, раз и навсегда поразил их воображение.

Маленький красавец окунь тигровой раскраски со спинкой, выгнутой всем на зависть, уверял, что «человеческая пена» еще здесь, он только что их видел.

— И я! И я! — подхватил линь, золотистый, словно от желтухи. — Ясно вижу эту стройную представительницу людей, «красавицей», что ли, ее называют. Рот у нее совсем как у нас, и глаза рыбы, сама вся увешана бахромой из ряски, разными побрякушками и безделушками, а перед собой держит закрытый зонтик. Если б она сняла это все и осталась в том виде, что мы, как создала ее природа, из нее получилась бы недурная камбала, если только люди вообще способны походить на нас — рыб!

— А где же тот, что попался на удочку?

— Ах, этот, что держал в руках бумагу, чернила и перо и все записывал и переписывал без конца? Кто он такой? Они называют его репортером.

— Да он до сих пор здесь, — ответила замшелая девица карасиха со следами житейских битв в глотке — однажды она проглотила крючок и до сих пор терпеливо с ним плавала, но, естественно, хрипела при разговоре. — Репортер, — объяснила она, — это по-нашему, по-рыбьи, что-то вроде каракатицы — так же брызгается чернилами!

И рыбы продолжали беседовать на своем языке. Но здесь, в этом искусственном, заполненном водой гроте, слышались и людские голоса. Это пели, стуча молотками, рабочие, они торопились и трудились даже ночью, чтобы к утру все наладить. Песнь их врывалась в грезы дриады, которая заглянула в грот, чтобы тут же устремиться дальше и исчезнуть.



— Так вот вы какие, золотые рыбки! — сказала она и кивнула им головой. — Все-таки я вас увидела. Да, да, я вас знаю, давно уже про вас слышала. Мне рассказывала о вас там, на родине, ласточка. Какие вы красивые, блестящие, прелесть просто! Так бы вас всех и расцеловала! Я и других рыб узнаю. Вот это, наверно, толстый карась, вон там вкусный лещ, а вот и покрытые тиной карпы! Я-то вас знаю, а вот вы меня нет!

Рыбы тарачили глаза, вглядывались в полумрак, но не понимали ни слова.

А дриады уже не было в гроте, она выпорхнула на свежий воздух. Здесь струились удивительные запахи: новое чудо света — исполинский цветок — источал ароматы всех стран мира. Тут пахло ржаным хлебом, одеколоном, русской кожей, розовым маслом, вяленой рыбой — благоуханный букет!

Когда после бала мы полусонные возвращаемся под утро домой, в ушах у нас еще ясно звучат мелодии, которые мы слышали ночью. Мы даже можем пропеть их все до одной. И как глаза убитого запечатлевают на время то, что он видел в последнее мгновение перед смертью, так и здесь, на выставке, в ночной тишине еще жили, не умолкая, отзвуки дневной жизни, гама и блеска. Дриада улавливала их и сознавала, что в этих звуках рождается завтрашний день.

Дриада задержалась среди душистых роз. Ей казалось, что она узнала их, они росли в ее родном краю, в старом парке и в саду священника. Узнала она и красный цветок граната, точно такой, какой Мари вплетала в свои черные как смоль волосы.

Воспоминания детства, проведенного на лоне природы, пронеслись у нее в голове, пока она жадно впивала все, что видела вокруг, а лихорадочное нетерпение влекло ее все дальше и дальше, через залы, полные чудес.

Вдруг она почувствовала, что устала, и эта усталость становилась все сильнее и сильнее. Ее тянуло прилечь отдохнуть на раскинутых повсюду мягких восточных ков-

рах и подушках, тянуло склониться вместе с ивой к прозрачной воде и окунуться в ее прохладу.

Но мухи-поденки не знают покоя, а время, отпущенное ей для жизни, истекало через несколько минут.

Мысли не слушались ее, не слушались и ноги. В изнеможении опустилась она на траву у журчащей воды.

— Ты бежишь из-под земли, ты вечно обновляешься! — сказала она. — Освежи мне уста, оживи меня.

— Я не живая вода, — отвечал поток, — меня гонит машина.

— Поделись со мной своей свежестью, зеленая трава, — взмолилась дриада, — отдай мне один твой душистый цветок!

— Мы гибнем, когда нас срывают, — отвечали цветы и трава.

— Поцелуй меня, живительный ветер, подари мне один лишь поцелуй, он вернет меня к жизни!

— Скоро солнце поцелует облака, и они зарумянятся, — отвечал ветер. — А тебя уже здесь не будет, ты уйдешь в страну мертвых, исчезнешь, как исчезнет все это великолепие. Не пройдет и года, как я снова смогу резвиться здесь на просторе, играть легким, сыпучим песком, нести по земле пыль, засыпать пылью воздух. Везде пыль и прах, все обращается в прах!

Дриада содрогнулась от ужаса, как женщина, что, лежа в ванне, вскрыла себе вены, но, исходя кровью, вновь страстно захотела жить. Она приподнялась, сделала несколько шагов и снова бессильно опустилась на землю возле маленькой церкви. Двери были открыты, в алтаре горели свечи, играл орган.

Какая музыка! Дриада никогда не слышала таких мелодий и все же различала в них родные голоса. Казалось, они возникали из души самой вселенной.

Ей чудилось, что она слышит шум старого дуба и голос священника. Он говорит о подвигах, о прославленных героях, о том, что должен свершить каждый сын божий во имя грядущего, чтобы самому завоевать право на бессмертие.

Звуки органа нарастали, взмывали вверх, пели дриаде:

«Твоя жажда жизни, твое беспокойство с корнем вырвали тебя из родной почвы. Вот что погубило тебя, бедная дриада».

Мягкие, нежные звуки будто плакали и затихали, как плач.

На небе зарозовели облака. Зашумел ветер:

— Сгиньте, мертвые тени, солнце встает!

Первый луч солнца упал на дриаду. Она засветилась всеми цветами радуги, словно мыльная пена, словно мыльный пузырь перед тем, как лопнуть, превратиться в слезу, в каплю влаги, упасть на землю, не оставляя следа.

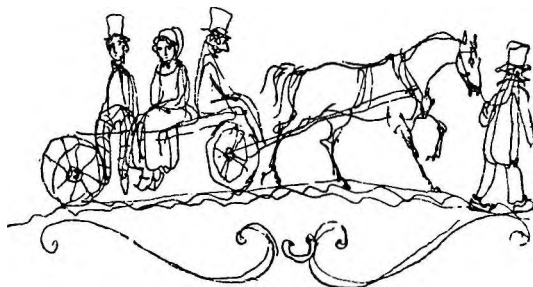
Бедная дриада! Каплей росы, слезой сверкнула она по земле и исчезла.

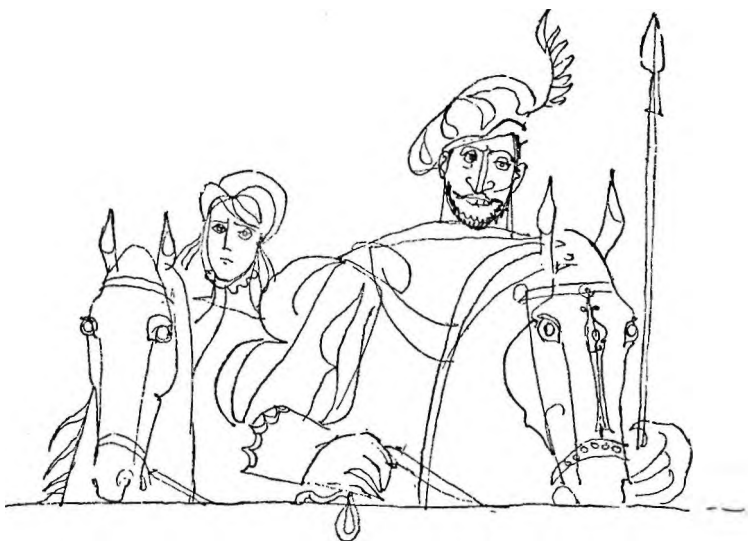
Солнце сияло над замками фата-морганы на Марсовом поле, сияло над маленькой площадью, зажатой высокими домами, на которой росли деревья и плескался фонтан. Светило солнце и на каштан, но ветви его поникли, листья увяли, а ведь еще вчера дерево зеленело так свежо, так радостно, точно сама весна.

«Каштан погиб, — говорили люди, — исчезла дриада, промелькнула, как легкое облачко, неизвестно куда».

На земле валялся увядший, смятый цветок каштана, и даже живой воде не удалось бы вернуть его к жизни. Скоро на него наступила чья-то нога, и его втоптали в песок.

Все это произошло на самом деле во время Всемирной выставки в Париже в 1867 году. Случилось это в наши дни, в дни чудесных, сказочных перемен, и мы сами были тому свидетелями.





#### ПРЕДКИ ПТИЧНИЦЫ ГРЕТЫ



**П**тичница Грета одна только и жила в новом нарядном домике, выстроенном для уток и кур на господском дворе. Стоял домик там же, где некогда высился старинный господский дом с башнями, с зубчатым фасадом, с крепостными рвами и подъемным мостом. А рядом была дремучая чаща; когда-то здесь был сад, тянувшийся до самого озера, которое теперь превратилось в болото. Над вековыми деревьями кружили и галдели несметные стаи ворон, грачей и галок; хотя по ним и палили, но их становилось не меньше, а скорее больше. Слышно их было даже в птичнике, а в птичнике сидела старая Грета, и утята лазали по ее деревянным башмакам. Птичница Грета знала каждую курицу, каждую утку с той самой поры, как они вылупились из яйца; она гордилась своими курами и утками, гордилась и нарядным домиком, выстроенным для них. В комнатке у нее было чисто и опрятно, этого требовала сама госпожа, хозяйка птичника; она часто навевывалась сюда вместе со своими

важными и знатными гостями и показывала им «куриноутиную казарму», как она выражалась.

В комнатке у Греты стояли и платяной шкаф, и кресло, и даже комод, а на нем начищенная до блеска медная дощечка с единственным выгравированным на ней словом — «Груббе». А имя это и было как раз именем старинного дворянского рода, обитавшего некогда в прежнем господском доме. Медную дощечку нашли, когда здесь копали, и пономарь сказал, что она и гроша ломаного не стоит, только что память о старине. Пономарь знал все про здешние места и про старину; навывчитывал он об этом из книг, да и в столе у него лежала уйма разных записей. Весьма был сведущ пономарь, но самая старая из ворон знала, пожалуй, побольше его и орала об этом повсюду на своем наречии, да ведь наречие то было воронье, а как ни учен был пономарь, а по-вороньи не понимал.

Летом, в жару, случилось, над болотом к вечеру поднимался густой туман, словно озеро разливалось до тех самых старых деревьев, над которыми летали грачи, вороны и галки. Так было здесь, когда тут жил рыцарь Груббе и когда здесь стоял старинный дом с толстыми кирпичными стенами. Собака сидела тогда на такой длинной цепи, что иной раз выбегала и за ворота; в господские покои из башни вела мощенная камнем галерея. Окна в доме были узкие, стекла мелкие, даже в главной зале, где устраивались танцы. Правда, никто не мог припомнить, чтобы при последнем Груббе там танцевали, хотя в зале еще лежал старый барабан, без которого не бывает и музыки. Стоял здесь и резной шкаф искусной работы, в нем хранились луковицы редкостных цветов, потому что госпожа Груббе любила садовничать: сажала деревья и разводила всякую зелень. А муж ее предпочитал ездить на охоту и стрелять волков да кабанов; и всегда его сопровождала маленькая дочка Мария. Пяти лет от роду она уже гордо восседала на лошади и бойко поглядывала вокруг большущими черными глазами. Ей страсть как нравилось разгонять плеткой собак, хотя отец предпочитал, чтобы она разгоняла крестьянских мальчишек, которые сбегались поглазеть на господ.

У крестьянина, который жил в землянке рядом с господской усадьбой, был сын Сёрен, ровесник благородной барышни; он был мастер лазать по деревьям, и Мария

вечно заставляла его таскать ей птичьи гнезда. Птицы орали что есть силы, а как-то раз одна, покрупнее, клюнула его чуть повыше глаза, кровь так и хлынула, и все испугались, как бы вместе с кровью не вытек глаз, но обошлось. Мария Груббе звала мальчика «мой Сёрен»; милость то была немалая, — пригодилась она как-то и отцу Сёрена, бедняку Иону. Однажды он в чем-то провинился и в наказание должен был ехать верхом на деревянной кобыле, стоявшей во дворе. Спина кобыле служила одна-единственная острая узенькая дощечка, а ногами — четыре деревянные подпорки; верхом на этой кобыле и поехал Ион, а чтобы ему не слишком удобно сиделось, к ногам его привязали тяжелые кирпичи. Лицо крестьянина страдальчески сморщилось, Сёрен стал плакать и умолять маленькую Марию заступиться за его отца; она велела сейчас же спустить Иона с кобылы, а когда ее не послушались, затопала ногами и так рванула своего отца за рукав, что рукав лопнул. Уж если Мария чего хотела, так хотела, и она умела добиться своего. Иона отпустили.

Тут подошла к ним госпожа Груббе, погладила дочку по головке и ласково на нее посмотрела; Мария так и не поняла — за что.

Ей больше хотелось пойти к охотничьим собакам, чем гулять с матерью, и та одна отправилась в сад и спустилась вниз, к озеру, на котором цвели водяные лилии — кувшинки и кубышки; над водой колыхались дудки камыша и белокрыльник. Госпожа Груббе залюбовалась свежестью пышных цветов.

— Какая благодать! — сказала она.

В саду росло редкое по тем временам дерево, которое она сама посадила; называлось оно кровавый бук и казалось среди других деревьев мавром — листья на нем были совсем бурые. Кровавому буку нужно было жариться на припеке, в тени он стал бы таким же зеленым, как и другие деревья, и оттого утратил бы свою необычайность. На могучих каштанах, да и в кустарнике, и в высокой траве — всюду гнездились великое множество птиц. Птицы будто знали, что в саду им не опасно, что тут никто не посмеет палить по ним из ружья.

Но вот появилась маленькая Мария вместе с Сёреном — он, как мы знаем, умел лазать на деревья, разорять птичьи гнезда и доставать из них яйца и пушистых, неоперив-

шихся птенчиков. Заметались испуганные, растревоженные птицы, и малые и большие. Запищали в траве чиби-сы, загалдели на высоких деревьях грачи, вороны и галки, они кричали, каркали и вопили без умолку — таким криком и поныне еще кричит весь их пернатый род.

— Что же вы делаете, дети! — ужаснулась кроткая госпожа. — Это же безбожно!

Сёрен смутился, а благородная барышня сперва опустила было глаза, но тут же угрюмо буркнула:

— Отец разрешает!

— Прочь отсюда! Прочь! — крикнули огромные черные птицы и улетели, но на другой день все-таки вернулись — ведь здесь был их дом. А тихая, кроткая госпожа недолго прожила в своем доме. Господь призвал ее к себе, и там, на небесах, она оказалась куда более у себя дома, нежели в здешней усадьбе. Торжественно звонили колокола, когда тело ее везли в церковь, а глаза бедняков наполнились слезами — она была так добра к ним.

С тех пор, как она умерла, некому стало заботиться о ее посадках, и сад заглох.

Говорили, что господин Груббе — человек крутой, но дочка, как ни была она мала, умела укротить его нрав: рассмешит отца и добьется своего. Было ей уже двенадцать лет; рослая, сильная, она смело смотрела своими черными глазами людям в лицо, скакала верхом, как мужчина, а стреляла из ружья, как заправский охотник.

Приехали тут в их края высокие гости, самые знатные люди в стране — молодой король и его сводный брат и верный друг Ульрик Фредерик Гюльденлёве; вздумалось им поохотиться на кабанов и погостить денек в замке господина Груббе.

За столом Гюльденлёве сидел рядом с Марией Груббе; обхватив ее голову, он одарил девочку поцелуем, словно она ему была родня. Она же отдала его шлепком по губам и сказала, что терпеть его не может. Все рассмеялись, будто это невесть какая приятная шутка.

Может, и в самом деле ее слова пришлись ему по вкусу, потому что пять лет спустя, когда Марии минуло семнадцать, прискакал гонец с грамотой: господин Гюльденлёве просил руки благородной барышни. То-то!

— Он самый знатный и обходительный кавалер во всем королевстве! — сказал господин Груббе. — Нечего тут ломаться.

— Не больно-то он мне нравится, — ответила Мария Груббе, но ломаться не стала и не отказала самому знатному человеку в стране, наперснику самого короля.

Серебряная утварь, шерстяная одежда и белье, столовое и постельное, были отправлены в Копенгаген морем: сама Мария доехала туда посуху за десять дней. То ли ветра попутного не было, то ли вовсе стояло безветрие, но только приданое пришло в Копенгаген лишь четыре месяца спустя, когда госпожи Гюльденлёве уже и след простыл.

— Лучше спать на грубой холстине, чем на его шелковой постели! — сказала она. — Лучше буду ходить босиком по дорогам, чем разъезжать с ним в карете!

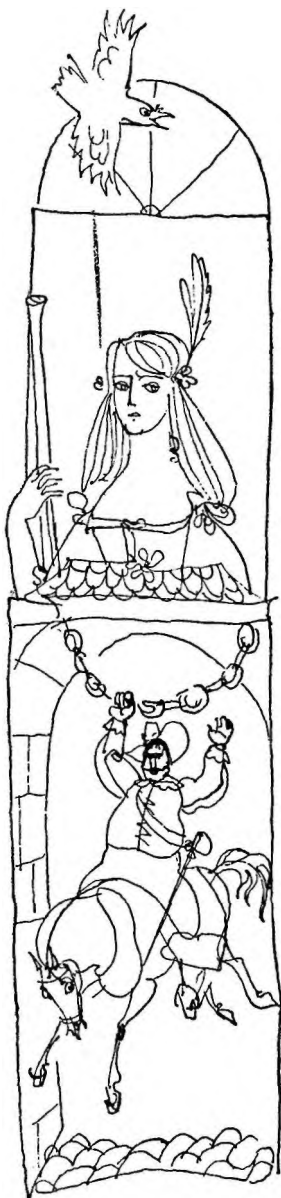
Поздним ноябрьским вечером в город Орхус приехали две женщины: то были жена господина Гюльденлёве Мария Груббе со своею служанкой; прибыли они верхом из Вейле, а туда приплыли из Копенгагена на корабле. Они въехали в обнесенную каменными стенами усадьбу господина Груббе. Неприветливо принял беглянок рыцарь. Встретил дочку грубой бранью, но комнату для ночлега все же отвел; наутро накормил ее пивной похлебкой с черным хлебом, но застольные его речи не были вкусной похлебке под стать. Крутой нрав отца обернулся теперь против дочери, а она к этому не привыкла; Мария и сама была не из кротких и не осталась перед отцом в долгу — как аукнется, так и откликнется! Со злостью и ненавистью вспоминала она о своем супруге, о том, с кем не желала долгие жить, — для этого она слишком добродетельна и честна.

Так минул год, и радости он не принес. Случалось отцу с дочерью меж собой и злым словом перемолвиться, а это уж последнее дело. Злые слова до добра не доведут. Кто знает, чем бы все это кончилось!

— Не жить нам с тобой под одной крышей! — сказал наконец отец. — Отправляйся в нашу старую усадьбу, да гляди, держи язык за зубами, не то сплетен не оберешься.

На том они и расстались: она переехала со своею служанкой в старый дом, где родилась и выросла, где в церковном склепе покоилась тихая и кроткая госпожа, ее мать; в доме жил старый пастух — вот и вся челядь. В покоях повсюду висела паутина, черная, отяжелевшая от пыли, в саду все росло как попало, хмель и вьюнок





соткали густые сети меж деревьями и кустарниками; цикута да крапива заполонили весь сад. Кровавый бук затенили густые заросли, и листья его сделались такими же зелеными, как листья других, обычных деревьев — пришел конец его красе! Грачи, вороны и галки несметными стаями кружили над макушками могучих каштанов; они так каркали и галдели, будто хотели поведать друг другу великую новость:

— Вернулась та девчонка, которая заставляла разорять наши гнезда и красть яйца и птенцов! А воришка, который их доставал, лазает теперь на голое, безлистое дерево, карабкается на самую верхушку мачт, а если что не так, ему задают трепку!

Эту историю поведал уже в наши дни пономарь; он вычитал ее в забытых старых книгах и рукописях; теперь вместе с другими записями в его столе хранилась и история Марии Груббе.

— Судьба то вознесет, то низвергнет, так уже повелось на этом свете, — говаривал он. — Диву даешься, слушая такие истории!

Давайте и мы послушаем о том, что случилось с Марией Груббе, да не забудем при этом и про птичницу Грету, что сидит в своем нарядном птичнике в наши дни на том месте, где в прежние дни сживала в своей усадьбе Мария Груббе, только нрав у Марии был совсем не таков, как у птичницы Греты.

Минула зима, минули весна и лето, снова настала ветреная осенняя пора с холодными и сырыми морскими туманами. Скучно, одиноко жилось в здешней усадьбе.

Как-то взяла Мария Груббе ружье и отправилась в вересковую пустошь; она стреляла зайцев да лис, стреляла всякую птицу, какая только попадалась. На пустоши ей не раз встречался знатный дворянин Палле Дюре из усадьбы Нёрребек; он тоже бродил там с ружьем да собаками. Рослый и сильный, он всегда похвалялся своими доблестями, когда ему случалось беседовать с Марией. Он-де мерялся силами с покойным владельцем усадьбы Эгескоу, что на острове Фюн, господином Брокенхюсом, о подвигах которого и поныне трезвонит молва. По его примеру и Палле Дюре велел повесить у себя в воротах на железной цепи охотничий рог; въезжая верхом в усадьбу, он хватался за цепь, подтягивался вместе с лошастью и трубил в рог.

— Приезжайте сами посмотреть, госпожа Мария! — приглашал он. — Увидите, в Нёрребекке воздух свежий!

Когда она приехала к нему в усадьбу, нигде не записано, но на подсвечниках в нёрребекской церкви прежде можно было прочесть, что они пожертвованы Палле Дюре и Марией Груббе из усадьбы Нёрребек.

Палле Дюре был детина дюжий и сильный, всасывал он в себя спиртное, как губка, как бездонная бочка, которую никак не налить до краев, храпел, как стадо свиней, а лицо у него было красное и распаренное.

— Бесстыжий, как боров, шkodливый, точно кот, — говорила о муже госпожа Палле Дюре, дочь господина Груббе.

Жизнь с Палле ей вскоре надоела, но лучше от этого им не стало.

Однажды в усадьбе накрыли на стол, да только кушанья простыли: Палле Дюре охотился за лисицами, а госпожу, сколько ни искали, так и не нашли. Палле Дюре вернулся домой среди ночи. Госпожа Дюре не вернулась ни в ночь, ни наутро. Она покинула усадьбу Нёрребек и уехала, не попрощавшись.

Погода стояла ненастная, серая; дул холодный ветер, стая черных птиц с карканьем кружилась над головой Марии, но даже птицы не так были бесприютны, как она.

Сначала Мария отправилась к югу и захала в самую Неметчину — несколько золотых перстней с самоцветами были обращены там в деньги; оттуда она направилась на во-

сток, потом снова повернула на запад. Жила она без цели, враждуй с целым миром, даже с богом — столь жалкой и слабой стала ее душа; а вскоре такой же сделалась и ее плоть; она едва волочила ноги. Чибис взметнулся со своей кочки, когда Мария, падая на землю, чуть не задавила его.

— Чюв! Чюв! Ах ты воровка! — пискнул чибис — чибисы всегда так пищат.

Мария никогда не присваивала добра ближнего своего, но еще маленькой девочкой заставляла разорять гнезда, доставать с болотных кочек и деревьев птичьи яйца и птенчиков; об этом она теперь вспомнила.

С того места, где лежала Мария, видны были прибрежные дюны; там жили рыбаки, но она так ослабела, что добраться туда уже не могла. Большие белые береговые чайки кружились над ней и кричали так же, как дома над садом кричали, бывало, грачи, вороны и галки. Птицы подлетали к ней совсем близко, ей почудилось, что они из белых стали черными, как смола, в глазах у нее потемнело, будто наступила ночь.

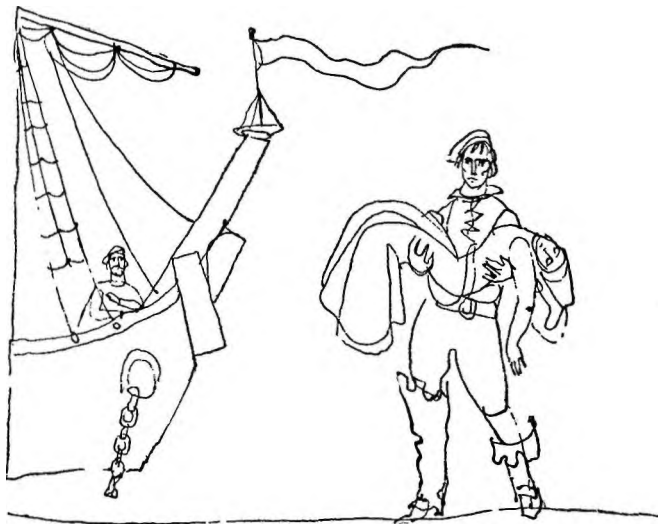
Очнувшись, она почувствовала, что кто-то поднял ее и несет: она лежала на руках у рослого и сильного малого. Она взглянула на его обросшее бородой лицо, над глазом у него был шрам, который словно пополам рассек его бровь. Отнес он ее, такую несчастную, на шхуну, а там шкипер наградил его за доброе дело грубой бранью.

На другой день шхуна подняла паруса и ушла в море. Мария Груббе на берег не высадилась; стало быть, и она отправилась в плавание. Но ведь потом она вернулась? Вернуться-то вернулась, да вот только когда и куда?

И об этом мог бы поведать пономарь, и всю эту необычайную историю он придумал не сам, а вычитал ее из достоверного источника, из одной старой книги, которую мы с вами можем взять да прочесть.

Датский сочинитель Людвиг Хольберг, написавший столько замечательных книг и забавных комедий, в которых словно живые предстают перед нами его век и люди того времени, рассказал в своих письмах о Марии Груббе и о том, где и на каких дорогах свела его с нею судьба. Историю эту стоит послушать, а слушая ее, мы не забудем и про птичницу Грету, что сидит в своем нарядном птичнике по-прежнему веселая и всем довольная.

Шхуна подняла паруса и ушла в море, а на ней уплыла Мария Груббе; на этом мы остановились.



Минули годы и еще годы.

Настал 1711 год, в Копенгагене свирепствовала чума. Королева Дании уехала на родину в Германию, король тоже покинул свою столицу, да и все, кто мог, бежали из города. Старались выбраться из Копенгагена и студенты, даже те, кто жил на казенном коште. Наконец последний студент, дольше всех задержавшийся в так называемой Борховской коллегии, что рядом с Регенсен, тоже собрался уехать из города. Захватив ранец, набитый больше книжками да записями, чем платьем, он в два часа ночи вышел на улицу. Сырой, промозглый туман окутал город; на улице не было видно ни души, а кругом на всех дворах и воротах были понаставлены кресты; в этих домах либо буйствовала чума, либо все уже перемерли. Пустынной была и более широкая, извилистая Чёдманнергаде — так тогда называлась улица, ведущая от Круглой башни к королевскому дворцу. Мимо прогромыхали большие похоронные дроги, груженные трупами; возчик щелкал кнутом, лошади неслись во весь опор. Молодой студент поднес к носу латунную коробочку, в которой лежала пропитанная спиртом губка, и глубоко вдохнул острый запах.

Из погребка в одном из переулков неслись громкое пение и дикий хохот горожан, бражничавших там ночь напролет; они старались забыть, что чума притаилась за дверью и не успеешь оглянуться, как она и тебя швырнет на дроги вместе с другими мертвецами. Студент направился к причалам возле Дворцового моста, где пришвартовалось несколько маленьких шхун; одна из них как раз выбирала якорь, торопясь отчалить от зачумленного города.

— Коли, бог даст, будем живы да дождемся попутного ветра, пойдем в Грёнсунд к Фальстеру, — сказал шкипер и спросил студента, желавшего отправиться с ними, как его зовут.

— Людвиг Хольберг! — назвался студент.

Это имя прозвучало тогда, как и всякое другое, ничем не примечательное, теперь-то оно — одно из самых славных имен в Дании; а в ту пору Хольберг был молодым, никому не известным студентом.

Шхуна миновала дворец. Еще не забрезжил рассвет, как она вышла в открытое море. Налетел легкий ветерок, паруса надулись, молодой студент сел лицом навстречу свежему ветру и заснул; пожалуй, он поступил не очень-то благоразумно.

А уже на третье утро шхуна бросила якорь у Фальстера.

— Не знаете ли вы, кто за небольшую плату пустит постояльца? — спросил корабельщика Хольберг.

— Пожалуй, вам лучше всего пойти к паромщице на перевозе Буррежюс, — ответил шкипер. — Коли захотите быть пообходительней, так зовите ее матушкой Сёрен Сёренсен Мёллер. Но смотрите, не будьте слишком учтивы, а то ей и осерчать недолго. Муж-то ее взят под стражу за какое-то злодейство, паром она водит сама, и ручищи у нее здоровенные.

Студент подхватил свой ранец и отправился к сторожке паромщицы. Дверь была не заперта, ручка легко поддалась, и он вошел в комнату с каменным полом, в убранстве которой самым примечательным была постель — широкая деревенская лавка, накрытая огромной, сшитой из шкур периной.

Белая насадка с выводком цыплят, привязанная к лавке, опрокинула плошку с водой, и вода разлилась по полу. Ни в этой, ни в соседней комнате не было ни души, если не считать младенца в люльке. Но вот показался паром,

в нем сидел человек, закутанный с ног до головы в широкий плащ с капюшоном, под которым мудрено было разобрать, мужчина это или женщина. Паром пристал к берегу.

Вскоре в комнату вошла женщина, еще видная собой, осанистая; из-под черных бровей гордо смотрели черные глаза. Это и была матушка Сёрен — паромщица; грачи, вороны и галки выкрикнули бы, впрочем, другое, более знакомое нам имя.

Глядела она угрюмо и была не очень-то щедра на слова, но все же сговорила со студентом, что берет его в дом нахлебником до тех пор, покуда в Копенгагене не кончится мор.

Из ближнего городка в сторожку паромщицы частенько заглядывали то один, то другой честный горожанин. Заглядывали и Франц Ножовщик с Сивертом Таможенником;<sup>1</sup> они выпивали в сторожке по кружке пива и толковали с молодым студентом; человек он был понятливый и, по их словам, дело свое разумел — читал по-гречески, по-латыни и знал всякие ученые премудрости.

— Чем меньше знаешь, тем легче тягаться с жизнью, — заметила как-то матушка Сёрен.

— Вам-то трудненько достается! — сказал ей однажды Хольберг, глядя, как она стирает белье в едком щелоке и сама колет дрова.

— А это уж моя забота! — сказала она.

— Вы что, с малых лет так надрываетесь?

— Неужто по рукам не видать? — сказала она, показывая ему свои маленькие, сильные руки, хотя и огрубевшие и с обгрызенными ногтями. — Попробуйте прочитайте по рукам. Читать-то вы мастер!

Под рождество поднялись сильные вьюги; мороз крепчал, и ветер дул сердито, словно собирался плеснуть в лицо людям царской водкой. Матушку Сёрен не страшил никакая погода, только, бывало, в плащ поплотней завернется да капюшон на самые брови надвинет. Уже в полдень в сторожке совсем стемнело. Подбросив в очаг хвороста и торфа, она принялась подшивать подошвы к чулкам, — сапожничать на острове было некому. Под вечер она разговорилась со студентом и вообще стала куда словоохотливее, чем было в ее обычае; а заговорила она о своем муже.

---

<sup>1</sup> Франц Ножовщик и Сиверт Таможенник — персонажи одной из пьес Л. Хольберга.

— Он ненароком убил одного шкипера из Драгёра, и за это теперь ему вышел приговор — три года каторжных работ в кандалах на Хольме. Он ведь простой матрос, и поблажки ему ждать неоткуда, все будет по закону.

— Закон для всех один, и для знати тоже, — возразил Хольберг.

— Это по-вашему так! — сказала матушка Сёрен и помолчала, глядя в огонь; потом снова повела разговор. — А вы слышали о Кае Люкке? Как он приказал снести у себя одну из церквей? Так вот, когда пастор Мадс неистово поносил его за это с церковной кафедры, Люкке повелел заковать пастора в кандалы, предал суду и приговорил его своею властью к расплате головой, которую господину Мадсу тут же и отрубили; это вам не убийство ненароком, это куда хуже, а меж тем Кай Люкке как был тогда вольной птицей, так и остался.

— По тем временам и суд! — сказал Хольберг. — Зато теперь все переменялось.

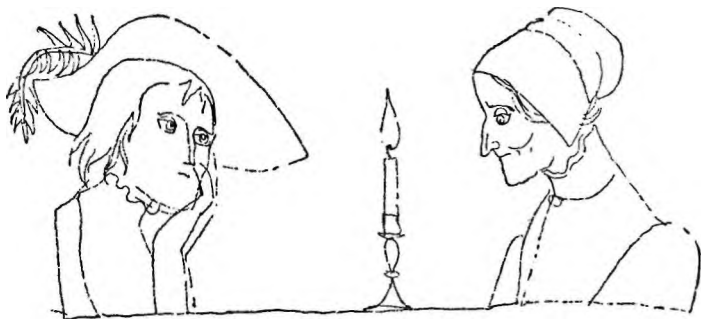
— Рассказывайте сказки дуракам! — ответила матушка Сёрен.

Она поднялась и пошла в соседнюю горницу, где лежал ее ребенок — девчонка, как она ее называла. Хозяйка прибрала там и уложила ребенка поудобней, потом постелила студенту на лавке; перину она отдала ему, он быстрее зябнул, чем она, хоть и родился в Норвегии.

Новогоднее утро выдалось на редкость ясное и солнечное, стоял мороз, да такой крепкий, что снег смерзся, затвердел и по нему можно было ходить, как по ледяному насту. Колокола в городе зазвонили к обедне. Студент Хольберг завернулся в грубый шерстяной плащ и собрался в город.

Над перевозом Буррехюс, галдя и каркая, кружили грачи, вороны и галки; их громкий крик заглушал даже звон колоколов. Матушка Сёрен, выйдя из сторожки, набивала латунный котел снегом, чтобы потом растопить его на огне и приготовить питьевую воду; поглядела она на спящих над головой ее птиц и задумалась о чем-то своем.

Студент Хольберг отправился в церковь; дорога туда вела мимо дома Сиверта Таможенника, что стоял у городских ворот, и на обратном пути его пригласили отведать пивной похлебки с патокой и имбирем; речь зашла о матушке Сёрен, но Таможенник мало что знал о ней, да и немногие, верно, знали больше. Знал он только, что она не здешняя, не с Фальстера, что когда-то, видно, жила



в достатке, что муж ее — простой матрос, горяч нравом, застрелил шкипера из Драгёра.

— Он и старуху свою поколачивает, а она его все равно защищает.

— Я бы такого обращения терпеть не стала, — сказала жена Таможенника. — Я ведь тоже не из простых! Мой отец был королевским чулочником.

— То-то и замужем вы за королевским чиновником, — сказал Хольберг и учтиво откланялся.

Вот подошел и вечер, а в новогодний вечер празднуется память трех восточных царей, пришедших на поклонение младенцу Иисусу. Матушка Сёрен поставила перед Хольбергом и зажгла «свечу трех царей», то есть, попросту говоря, светец с тремя огарками, которые сама вылила из сала.

— Каждому мужу — по свечке, — сказал Хольберг.

— Каждому мужу? — переспросила женщина, пристально глядя на него.

— Ну да, каждому из трех мудрых восточных мужей! — пояснил Хольберг.

— Вон что! — сказала она и надолго умолкла.

Но в тот праздничный вечер студенту все же удалось вызнать у нее побольше, чем прежде.

— Вы горячо любите того, за кем замужем, — сказал Хольберг матушке Сёрен. — А вон ведь люди говорят, будто он вас, что ни день, обижает.

— А это их не касается! — ответила она. — Били бы меня в детстве так, была бы от этого польза, ну а теперь мне это, видать, за грехи наказание. А сколько он мне добра сделал, про то знаю я одна, — с этими словами она выпрямилась. — Когда я валялась больная на открытой



всем ветрам пустоши и никому-то не было до меня дела, разве что грачам да воронам, которым хотелось меня заклевать, он на руках отнес меня на шхуну, и в награду досталась ему за такой улов грубая брань. Я не из хворых, вот и оправилась. У всякого свои обычаи, и у Сёрена — свои; клячу по узде не судят. С ним мне жилось куда веселей, чем с тем, кого называли самым обходительным и самым знатным из всех королевских подданных. Я ведь побывала замужем за наместником Гюльденлёве, королевским сводным братом; потом вышла за Палле Дюре. Оба друг дружку стоили, всяк по-своему, а я — по-моему! Заболталась я, зато теперь вы все знаете.

И она вышла из комнаты.

То была Мария Груббе: диковинная выпала ей планида.

Немного еще праздников трех восточных царей довелось ей увидеть; Хольберг записал, что умерла она в июне 1716 года. Но он не записал, да он и не знал про это, что, когда матушка Сёрен, как ее называли, лежала в гробу, стаи огромных черных птиц кружили над перевозом Буррехюс; они не кричали, словно понимая, что похоронам приличествует тишина. Лишь только тело матушки Сёрен предали земле, птицы исчезли, но тем же вечером в Ютландии, над старой усадьбой появились несметные стаи грачей, ворон и галок. Они галдели наперебой, словно спешили всем, всем о чем-то рассказать — то ли о нем, крестьянском мальчишке, который разорял их гнезда, таская птичьи яйца и неоперившихся пушистых птенцов, а теперь томится в железных кандалах на королевском острове Хольм, то ли о ней, благородной барышне, что кончила свою жизнь паромщицей у Грёнсунда.

— Карр, карр! Кррасота! Кррасота! — галдели они.

А когда сносили старый замок, все потомки их тоже кричали:

— Карр, карр! Кррасота! Кррасота!

— Они и сейчас выкрикивают то же самое, хотя кричать им больше не о чем, — сказал пономарь, поведав эту историю. — Дворянский род Груббе вымер, замок снесли, на месте его стоит теперь нарядный птичник с вызолоченными флюгерами, а в нем сидит старая птичница Грета. Не нарадуется она своему славному жилищу! Не попади она сюда, пришлось бы ей в богадельне век доживать.

Над нею воркуют голуби, вокруг клохчут индюки и крикают утки.

— Никто про нее ничего не знает! — говорят птицы. — Безродная она. Держат ее здесь из милости. Нет у нее ни папаша-селезня, ни мамаша-утки, нет и выводка птенцов.

И все же родня у Греты была, только сама она про нее не знала и пономарь тоже не знал, хотя и хранил уйму разных записей в столе. Но одна из старых ворон знала про Гретиных предков и рассказывала про них. От матери своей и от бабки слышала она о матери птичницы Греты и о ее бабушке; вот ее-то и мы с вами знаем, помним, как она девочкой скакала верхом по подъемному мосту, гордо оглядываясь кругом, словно она всему миру и всем птичьим гнездам на свете хозяйка. Видели мы ее и на вересковой пустоши близ прибрежных дюн, а под конец — на перевозе Буррехюс. Внучка ее, последняя в роду, снова вернулась домой, туда, где некогда стояла старая усадьба, где кричали черные дикie птицы. Но она-то сидела среди ручных, домашних птиц, она знала их, и они знали ее. Птичнице Грете нечего было желать, она рада была ч умереть, зажилаь она на свете.

— Грррб! Грррб! — кричали вороны.

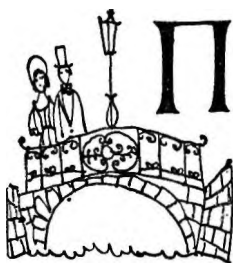
И птичницу Грету положили в гроб и похоронили, а где — никто не помнит, кроме старой вороны, если она еще жива.

Теперь и мы знаем историю старой усадьбы, старинного дворянского рода и всех предков птичницы Греты.





## СУДЬБА РЕПЕЙНИКА



**П**еред богатую усадьбой был разбит чудесный сад с редкостными деревьями и цветами. Гости, наезжавшие в усадьбу, громко восхищались садом; горожане и окрестные деревенские жители нарочно приезжали сюда по воскресеньям и праздникам просить позволения осмотреть его; являлись сюда с тою же целью и ученики разных школ со своими учителями.

За решеткой сада, отделявшею его от поля, вырос репейник; он был такой большой, густой и раскидистый, что по всей справедливости заслуживал название репейного куста. Но никто не любовался на него, кроме старого осла, возившего тележку молочницы. Он вытягивал свою длинную шею и говорил репейнику:

— Как ты хорош! Так бы и съел тебя!

Но веревка была коротка, и ослу не удавалось дотянуться до репейника.

Как-то раз в саду собралось большое общество: к хозяевам приехали знатные гости из столицы, молодые люди, прелестные девушки, и между ними одна барышня

издалека, из Шотландии, знатного рода и очень богатая. «Завидная невеста!» — говорили холостые молодые люди и их маменьки.

Молодежь резвилась на лужайке, играла в крокет; затем все отправились гулять по саду; каждая барышня сорвала цветок и воткнула его в петлицу одного из молодых людей. А юная шотландка долго озиралась кругом, выбирала, выбирала, но так ничего и не выбрала: ни один из садовых цветков не пришелся ей по вкусу. Но вот она глянула за решетку, где рос репейник, увидела его иссиня-красные пышные цветы, улыбнулась и попросила сына хозяина дома сорвать ей один из них.

— Это цветок Шотландии! — сказала она. — Он красуется в шотландском гербе. Дайте мне его!

И он сорвал самый красивый, уколол себе при этом пальцы, словно цветок рос на колючем шиповнике.

Барышня продела цветок молодому человеку в петлицу, и он был очень польщен этим, да и каждый из остальных молодых людей охотно бы отдал свой роскошный садовый цветок, чтобы только получить из ручек прекрасной шотландки хоть репейник. Но уж если был польщен хозяйский сын, то что же почувствовал сам репейник? Его как будто окропило росой, осветило солнышком.

«Однако я поважнее, чем думал! — сказал он про себя. — Место-то мое, пожалуй, в саду, а не за решеткою. Вот, право, как странно играет нами судьба! Но теперь хоть одно из моих детищ перебралось за решетку, да еще угодило в петлицу!»

И с тех пор репейник рассказывал об этом событии каждому вновь распускавшемуся бутону. Не прошло затем и недели, как репейник услышал новость — не от людей, не от щебетунный птишек, а от самого воздуха, который воспринимает и разносит повсюду малейший звук, раздавшийся в самых глухих аллеях сада или во внутренних покоях дома, где окна и двери отворены настежь. Ветер сообщил, что молодой человек, получивший из прекрасных рук шотландки цветок репейника, удостоился наконец получить и руку и сердце красавицы. Славная вышла парочка, вполне приличная партия.

— Это я их сосватал! — решил репейник, вспоминая свой цветок, попавший в петлицу. И каждый вновь

распускавшийся цветок должен был выслушивать эту историю.

— Меня, конечно, пересадят в сад! — рассуждал репейник. — Может быть, даже посадят в горшок; тесновато будет, ну, да зато почетно!

И репейник так увлекся этою мечтою, что уже с полною уверенностью говорил: «Я попаду в горшок!» — и обещал каждому своему цветочку, который появлялся вновь, что и он тоже попадет в горшок, а может быть, даже и в петлицу, — выше этого уж попасть было некуда! Но ни один из цветов не попал в горшок, не говоря уже о петлице. Они впивали в себя воздух и свет, солнечные лучи днем и капельки росы ночью, цвели, принимали визиты женихов — пчел и ос, которые искали приданого, цветочного сока, получали его и покидали цветы.

— Разбойники этакие! — говорил про них репейник. — Так бы и проколол их насквозь, да не могу!

Цветы поникали головками, блекли и увядали, но на смену им распускались новые.

— Вы являетесь как раз вовремя! — говорил им репейник. — Я с минуты на минуту жду пересадки туда, за решетку.

Невинные ромашки и мокричник слушали его с глубоким изумлением, искренно веря каждому его слову.

А старый осел, таскавший тележку молочницы, стоял на привязи у дороги и любовно косился на цветущий репейник, но веревка была коротка, и он никак не мог добраться до куста.

А репейник так много думал о своем родиче, шотландском репейнике, что под конец уверовал в свое происхождение из Шотландии и в то, что именно его-то родители и красовались в гербе страны. Великая то была мысль, но отчего бы такому большому репейнику и не иметь великих мыслей?

— Иной раз происходишь из такой знатной семьи, что не смеешь и догадываться о том! — сказала крапива, росшая неподалеку, у нее тоже было какое-то смутное ощущение, что при надлежащем уходе и она могла бы превратиться в кисею!

Лето прошло, прошла и осень, листья с деревьев пооблетели, цветы приобрели более яркую окраску, но почти

утратили свой запах. Ученик садовника распевал в саду по ту сторону решетки:

Вверх на горку,  
Вниз под горку  
Времечко бежит!

Молоденькие елочки в лесу начали уже томиться пред-рождественскою тоской, но до рождества было еще далеко.

— А я-то все еще здесь стою! — сказал репейник. — Никому как будто и дела до меня нет, а ведь я устроил свадьбу! Они обручились, да и поженились вот уже неделю тому назад! Что ж, сам я шагу не сделаю — не могу!

Прошло еще несколько недель. На репейнике красовался уже только один цветок, последний, но большой и пышный. Вырос он почти у самых корней, ветер обдавал его холодом, краски его поблекли, и чашечка, такая большая, словно у цветка артишока, напоминала теперь высеребренный подсолнечник.

В сад вышла молодая парочка, муж с женою. Они шли вдоль садовой решетки, и молодая женщина взглянула через нее.

— А вот он, большой репейник! Все еще стоит! — воскликнула она. — Но на нем нет больше цветов!

— Нет, видишь вон блаженную тень последнего! — сказал муж, указывая на высеребренный остаток цветка.

— А он все-таки красив! — сказала она. — Надо велеть вырезать такой на рамке вокруг нашего портрета.

И молодому мужу опять пришлось перелезть через решетку и сорвать цветок репейника. Цветок уколол ему пальцы — молодой человек ведь обозвал его «блаженною тенью». И вот цветок попал в сад, в дом и даже в залу, где висел портрет молодых супругов, написанный масляными красками. В петлице у молодого был изображен цветок репейника. Поговорили и об этом цветке и о том, который только что принесли; его решено было вырезать на рамке.

Ветер подхватил эти речи и разнес их далеко-далеко по всей окрестности.

— Чего только не приходится пережить! — сказал репейник. — Мой первенец попал в петлицу, мой последний попадет в рамку! Куда же попаду я?

А осел стоял у дороги и косился на него:

— Подойди же ко мне, сладостный мой! Я не могу подойти к тебе — веревка коротка!

Но репейник не отвечал; он все больше и больше погружался в думы. Так он продумал вплоть до рождества и наконец расцвел мыслью:

«Коли детки пристроены хорошо, родители могут постоять и за решеткою!»

— Вот это благородная мысль! — сказал солнечный луч. — Но и вы займете почетное место!

— В горшке или в рамке? — спросил репейник.

— В сказке! — ответил луч.

Вот она, эта сказка!





## ЧТО МОЖНО ПРИДУМАТЬ



**Ж**ил-был молодой человек; он усердно готовился в поэты и хотел стать поэтом уже к пасхе, потом жениться и зажечь творчеством. Это вовсе нетрудно; все дело в том, чтобы придумывать да придумывать, но что именно? То-то вот и есть! Опоздал он родиться! Все сюжеты уже были разобраны до его появления на свет, все уже было описано, воспето в поэзии.

— То-то счастье было тем, что родились тысячу лет тому назад! — сказал он. — Им-то легко было обессмертить себя! Да, счастливы были и те, что явились на свет лет за сто до нашего времени, и тогда еще оставалось кое о чем писать. Но теперь все на свете давно воспето и перепето, о чем же петь мне?

И он так усердно ломал себе голову, что наконец захворал, бедняга. Никакой доктор не мог ему помочь, одна оставалась надежда на знахарку. Она жила в маленьком домике у околицы, которую и должна была отворять для возов и проезжих. Но она годилась кое на что и



поважнее — умом-то она ведь заткнула бы за пояс любого доктора, что ездит в собственном экипаже и платит государственный налог за чин!

— Надо пойти к ней! — решил молодой человек.

Жила знахарка в маленьком, чистеньком, но скучном на вид домике: ни деревца вокруг, ни цветочка! Перед дверями только улей — вещь полезная, да картофельное поле — тоже вещь очень полезная, да еще канава, обросшая кустами терновника. Терновник уже отцвел и был осыпан ягодами, которые сводят рот, если вздумаешь есть их, прежде чем их хватит морозом.

«Точная картина нашего времени, лишенного всякой поэзии!» — подумал молодой человек. Вот уж, значит, он и нашел у дверей знахарки жемчужное зернышко, — у него блеснула идея!

— Запиши ее! — сказала старуха. — И крошки ведь тот же хлеб! Я знаю, зачем ты пришел! Ты не можешь ничего придумать, а все-таки хочешь выйти к пасхе в поэты!

— Все сюжеты уже разобраны! — сказал он. — Наше время — не то, что доброе старое время!

— Нет! — ответила старуха. — В то время знахарок сжигали, а поэты разгуливали с пустым желудком да с драными локтями. Наше время именно самое лучшее время! Но ты не умеешь смотреть на вещи как следует, ты не изошрял своего слуха и мало читал по вечерам «Отче наш». Есть о чем петь и рассказывать и в наше время, умей только взяться за дело! Черпай мысли откуда хочешь — из трав и злаков земных, из стоячих и текучих вод! Но для этого, конечно, нужно обладать даром разумения, уметь, как говорится, поймать солнечный луч! На вот, попробуй-ка надеть мои очки, приставь к уху мой слуховой рожок, призови на помощь господа бога да перестань думать о самом себе!

Последнее-то уж было чересчур трудно; нехстати бы такой умной женщине и требовать этого!

Молодой человек вооружился очками, слуховым рожком, и знахарка поставила его посреди картофельного поля, вручив ему предварительно большую картофелину. Картофелина издавала звуки. Он прислушался и услышал целую песню о жите-бытье картофелины, «обыкновенную историю» в десяти частях. А и десяти строк было бы довольно!



Так о чем же пела картофелина?

Она пела о самой себе и своей семье, о прибытии первых картофелин в Европу и о тех испытаниях и мытарствах, через которые они прошли, пока их признали куда большею благодатью для края, нежели золотые самородки.

— Нас разослали, согласно королевскому приказу, по всем городским ратушам; всем было объявлено о нашем великом значении, но в него не верили, не знали даже, как обращаться с нами. Кто выкапывал яму и бросал в нее всю меру картофеля зараз, кто рассаживал картофелины там и сям по полю и ждал, что из них вырастут деревья, с которых можно будет отряхивать картофелины! Ну, вот и выросла зелень, на ней распустились цветы, потом появились водянистые плоды, но затем все растение увядало, и никому в голову не приходило, что настоящая-то благодать лежит в земле — самые-то картофелины. Да, много мы перетерпели, вынесли, то есть не мы, а наши предки, но это все едино!

— Вот так история! — сказал молодой человек.

— Ну, теперь довольно! — сказала старуха. — Посмотри на терновник!

— У нас тоже есть близкая родня на родине картофеля, — заговорил терновник, — но несколько севернее, чем растет он. Туда явились норманны; они плыли навстречу туманам и бурям и попали в неведомую страну, где под снегом и льдом нашли разные травы, растения и кусты с темно-синими ягодами, похожими на виноград, из которых тоже можно делать вино. То был терновник; его ягоды созревают на морозе, как и мои. И вся страна получила имя «винной страны», «зеленой страны» — Гренландии!

— Да это целая поэма! — сказал молодой человек.

— Да, а теперь иди-ка вот сюда! — сказала знахарка и подвела его к улью.

Он заглянул туда. Что за жизнь, какое движение! Во всех проходах сидели пчелы и махали крылышками, чтобы проветрить эту огромную фабрику, — это была их обязанность. А в улей все прибывали новые и новые пчелы, нагруженные провизией; они приносили на щеточках ножек цветочную пыль, отряхали ее, сортировали, — часть шла на мед, часть на воск. Пчелы прилетали и улетали; царица тоже хотела было улететь, но за нею пришлось бы улететь и всем, а не время было, и вот они взяли да и откусили ее величеству крылышки, — пришлось ей остаться на месте!

— Подымись теперь на насыпь, что возле канавы! — сказала знахарка. — Погляди на дорогу и на добрых людей!

— Да там их тьма-тьмущая! — воскликнул молодой человек. — Шум, гам! История на истории! Ох, у меня в глазах темнеет! Как бы не упасть!

— Ничего, смело иди вперед! — сказала старуха. — Иди прямо навстречу жизни, в самую густую толпу, да насторожи и глаза, и уши, и сердце! Тогда живо придумаешь что-нибудь! Но сперва отдай мне мои очки и слуховой рожок, а там и ступай себе!

И она взяла у него и то и другое.

— Теперь я ровно ничего не вижу! — сказал молодой человек. — И ничего не слышу!

— Ну, видно, не сделаться тебе поэтом к пасхе! — сказала знахарка.

— А когда же? — спросил он.

— Ни к пасхе, ни к троице! Тебе никогда ничего не придумать!

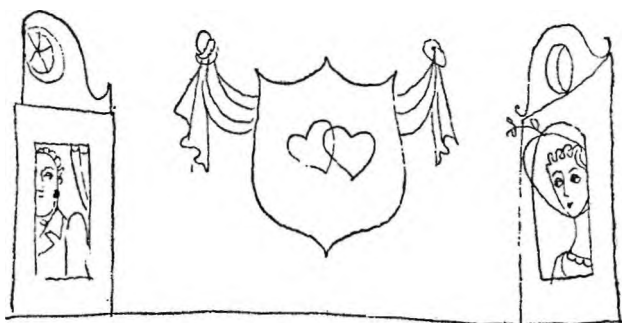
— Так за что же мне взяться, что делать, если я хочу жить творчеством?

— Ну, этого-то ты можешь добиться и к масленице! Засади поэтов в бочку да и колоти по ней! Колоти по их творениям, это все одно, что колотить их самих! Только не падай духом, колоти хорошенько и сколотишь себе деньжонки! Хватит на прокорм и тебе и жене!

— Вот что можно придумать! — сказал молодой человек и принялся колотить поэтов одного за другим, раз уж ему самому не удалось сделаться поэтом.

Мы узнали все это от знахарки; она-то уж знает, что можно придумать!





## ТРЯПЬЕ



**П**еред бумажною фабрикою были свалены вороха тряпок, собранных отовсюду. У всякой тряпки была своя история, каждая держала свою речь, но нельзя же слушать всех зараз! Некоторые были здешние, другие заграничные. Одной датской тряпке случилось лежать рядом с норвежской; первая была мягкой, датской, вторая — суровой,

норвежской закваски. И вот это-то и было самое забавное в них, с чем, наверно, согласится всякий благоразумный норвежец и датчанин.

Они узнали друг друга по языку, хотя датский и норвежский языки — по словам норвежской тряпки — так же различны, как французский и еврейский.

— Мы берем свой язык из недр народа в сыром, первобытном виде, а датчане создают себе искусственно приторный, пошлый язык! — прибавила норвежская тряпка.

Разговор вели ведь тряпки, а тряпка так уж и есть тряпка, из какой бы страны ни была; значение они приобретают лишь в ворохах, как тряпье.

— Я дочь Норвегии! — продолжала первая. — И этим, я думаю, сказано довольно! Я крепка волокнами, как древние скалы старой Норвегии, страны свободной, конституционной, которая не уступит Америке! У меня волокна так и чешутся при одной мысли о том, кто я. И мысли мои звонко выливаются в гранитных словах!

— Но мы имеем литературу! — сказала датская тряпка а. — Понимаете вы, что это значит?

— Понимаете? — повторила норвежская тряпка. — Ах ты дочь низменной страны! Поднять, что ли, тебя на скалы и осветить северным сиянием, тряпка ты этакая! Когда лед тает от лучей норвежского солнца, к нам приходят датские суденышки с маслом да сыром — благородные товары, нечего сказать! — а вместо балласта привозят с собою и датскую литературу! Мы же в ней не нуждаемся! Не диво обойтись без выдохшегося пива там, где бьет свежий ключ! Наша литература — что твой родник, а не пробуравленный колодец! И европейскою известностью своею она обязана самой себе, а не широким газетным глоткам, не кумовству, не шлянью авторов за границу! В нас говорит «нутро», и датчанам пора привыкать к этому свободному голосу, да они и так уж цепляются в своих скандинавских симпатиях за нашу гордую скалистую страну, древнейшую кочку вселенной!

— Так не позволит себе говорить ни одна датская тряпка! — сказала представительница Дании. — Это не в нашем характере. Я хорошо знаю себя, а таковы, как я, и все наши датские тряпки. Все мы добродушны, скромны, мало верим в самих себя. Этим, конечно, много не возьмешь, но мне лично это все-таки больше по сердцу! Могу, однако, уверить вас, что я вполне сознаю свою добротность, но только не говорю о ней. В самохвальстве меня уж никто не обвинит! Я мягка, податлива, вынослива, независтлива, обо всех отзываюсь хорошо, хотя и мало кто этого заслуживает, но это уж их дело, а не мое! Мне-то что? Я только посмеиваюсь себе, как натура богато одаренная!

— Ах, замолчите! Меня просто тошнит от вашего мягкого, липкого, клейстерного языка! — сказала норвежка и перелетела по ветру в другой ворох.

Обе стали бумагою, и случай распорядился так, что норвежская тряпка стала листком бумаги, на котором

один норвежец написал любовное письмо датчанке, а датская тряпка — бумагой, на которой датчанин написал оду в честь величавой красавицы — Норвегии,

И из тряпок может выйти что-нибудь путное, раз они выберутся из общей кучи да переродятся к лучшему, просветятся, — в этом вся суть.

Вот и вся история. Она довольно забавна и никого не задевает, кроме тряпок.





## БЛОХА И ПРОФЕССОР



**Ж**ил-был воздухоплаватель. Ему не повезло: шар его лопнул, и сам он упал и разбился. Сына же своего он за несколько минут перед тем спустил на парашюте, и это было счастьем для мальчика — он достиг земли целым и невредимым. В нем были все задатки, чтобы сделаться таким же воздухоплателем, как отец, но у него не было ни шара, ни средств на приобретение его.

Жить, однако, чем-нибудь да надо было, и он занялся фокусничеством и чревоуещанием. Он был молод, красив собою и, когда возмужал да отпустил себе усы и стал ходить в хороших платьях, мог сойти хоть за природного графа. Дамам он очень нравился, а одна девица так прямо влюбилась в него за его красоту и ловкость и решила разделить его скитальческую жизнь по чужим странам. Там он присвоил себе титул профессора, — меньшим уж он не мог довольствоваться.

Заветною мечтою его было приобрести себе воздушный шар и подняться на нем вместе с молодою женой, да вот беда — денег не было.



— Ну, когда-нибудь да они придут к нам! — говорил он.

— Если только захотят! — отвечала жена.

— Что ж, люди мы ведь еще молодые, а я уже профессор! И крошки ведь тот же хлеб!

Жена всячески помогала мужу, сидела у дверей и продавала билеты на представления, а холодное это было удовольствие зимою! Помогала она ему также и в одном фокусе. Он прятал ее в ящик стола, — стол был огромный, а она оттуда перебиралась в задний ящик, и в переднем ее уже не оказывалось. Выходил как будто обман зрения.

Но однажды вечером, когда он выдвинул ящик, оказалось, что жена исчезла взаправду! Ее не было ни в переднем ящике, ни в заднем, не было во всем доме — исчезла без следа! Это уж был ее фокус! Она так и не вернулась к нему больше; жене наскучила эта жизнь. а муж стал так скучать по Жене, что утратил свой веселый нрав, не мог больше шутить и паясничать, и публика перестала ходить на его представления. Заработки стали плохие, платье износилось; под конец из всего имущества осталась у профессора одна большая блоха — память о жене; не мудрено, что он души не чаял в этой блохе! Он выдрессировал ее и обучил разным штукам: делать на караул ружьем и стрелять из пушки — конечно, из маленькой.

Профессор гордился своею блохою, а она гордилась собою: она ведь обучилась кое-чему, в ней текла человеческая кровь, и, кроме того, она побывала в разных городах, показывала свои фокусы перед принцами и принцессами и удостаивалась их высокого одобрения. Об этом говорилось и в газетах и в афишах. Блоха сознавала себя знаменитостью, знала, что в состоянии прокормить не только своего профессора, но хоть целую семью.

Она была горда, знаменита, но — увы! — путешествуя со своим профессором по железным дорогам, всегда занимала место в четвертом классе! Что ж, и в четвертом едешь ведь не тише, чем в первом! Блоха и профессор вступили друг с другом в крепкий, хотя и молчаливый союз, дали друг другу молчаливый обет никогда не разлучаться, никогда не жениться. Блоха решила остаться холостяком, профессор — вдовцом. Одно стоило дру-

— Туда, где произвел наибольший фурор, нельзя заглядывать второй раз! — говаривал профессор; он знал людей, а это ведь тоже кое-что значит.

Но вот наконец он побывал во всех странах, кроме страны дикарей, и решил отправиться туда. Правда, он знал, что дикари поедают христиан, но сам он был не настоящий христианин, а блоха не настоящий человек, так



он и порешил, что они могут отважиться на такое путешествие и даже заработать там хорошие денюжки.

Часть пути они сделали на пароходе, часть на парусном судне; блоха проделывала свои штуки, и таким образом дорога окупилась. Наконец они прибыли в страну дикарей.

Страною правила маленькая принцесса; ей было всего восемь лет, но она уже правила. Принцесса просто-напросто отняла власть у отца и матери, — она была страсть какая своевольная, да к тому же на диво миленькая и непослушная.

Как только блоха показала свои штуки: сделала ружьем на караул и выстрелила из пушки, принцесса влюбилась в нее и воскликнула:

— Она или никто! Я выйду за нее замуж!

Принцесса совсем одичала от любви, а и без того-то уж была дикая.

— Милое, дорогое дитяtko! Умница ты наша! — заговорил ее отец. — Да если бы можно было сначала сделать из блохи человека!

— Не твое дело, старый! — отрезала принцесса, и это было с ее стороны не очень-то красиво — она ведь говорила с отцом. Но уж такая она была дикая!

Она посадила блоху себе на руку и сказала ей:

— Теперь ты человек и царствуешь вместе со мною! Но ты должна делать, что я хочу, иначе я убью тебя и съем профессора!

Профессору отвели большую залу. Стены были из сахарного тростника — знай лижи себе вволю, но он не был лакомкой. Вместо же постели ему дали висячую койку, и он покачивался в ней, как в корзине воздушного шара, о котором не переставал мечтать.

Блоха осталась у принцессы, сидела на ее маленькой ручке и на шейке; принцесса выдернула у себя из головы волос и велела профессору обвязать его вокруг ножки блохи, другой же конец волоса прикрепила к большому куску коралла, красовавшемуся у нее в ухе.

То-то настало блаженное времечко для принцессы, да и для блохи тоже — по мнению принцессы. Но профессор не был доволен: он был путешественник в душе, любил странствовать из города в город и читать в газетах похвалы своему терпению и ловкости, которые помогли ему обучить блоху разным человеческим штукам. Изю дня в день качался он в своей койке, ничего не делая, только ел да пил. Пища ему отпускалась хорошая: свежие птичьи яйца, слоновьи глаза и жареные ляжки жирафа. Людоеды питаются не одним человеческим мясом; оно у них только считается самым изысканным блюдом.

— Особенно хороши детские плечики под острым соусом! — говорила мать принцессы.

Профессор скучал и рвался вон из страны дикарей, но не мог же он оставить здесь свою блоху — она ведь была его славой и кормилицей. Да как же заполучить ее? Задача не легкая!

Он напряг все свои мыслительные способности и наконец воскликнул: «Нашел!»

— Принцессин отец! Разреши мне заняться чем-нибудь! Разреши обучить всех жителей страны делать на караул! В величайших странах мира это служит признаком высшей образованности!

— А чему ты можешь научить меня? — спросил отец принцессы.

— Моему высшему искусству! — сказал профессор. — Искусству палить из пушки так, что вся земля начнет дрожать, а с неба посыплются вкуснейшие жареные птицы! Вот как!

— Давай сюда пушку! — сказал отец принцессы.

Но во всей стране не нашлось ни одной пушки, кроме той, которую привезла с собою блоха, но эта была чересчур мала.

— Я отолью большую! — сказал профессор. — Только дайте мне материалы! Мне нужны тонкая шелковая материя, иголка и нитки, канаты и веревки, а также желудочные капли для воздушных шаров — они раздувают, поднимают шары на воздух, они же производят и взрыв в желудке пушки.

Все, что он потребовал, было ему выдано.

Все жители страны сбежались посмотреть на большую пушку. Но профессор позвал их не раньше, чем шар был совсем готов наполниться газом и подняться.

Блоха сидела на руке принцессы и тоже смотрела. Шар наполнился газом, он раздулся, и его еле удерживали — он совсем одичал.

— Мне надо будет подняться на воздух, чтобы пушка остыла! — сказал профессор и уселся в корзину, прикрепленную под шаром. — Но одному мне не справиться! Мне нужен знающий помощник! Кроме же блохи никто не годится!

— Не очень-то я охотно отпускаю ее! — молвила принцесса, но все-таки отдала блоху профессору. Тот посадил ее себе на руку.

— Теперь отпустите веревки и канат! — закричал он народу. — Игрушка подымается!

А дикарям послышалось «пушка подымается».

И вот шар стал подыматься все выше да выше к облакам и улетел из земли дикарей.

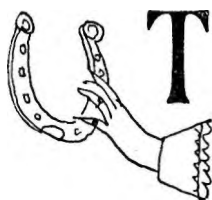
А принцесса, ее мать, отец и весь народ все стояли да ждали. Они ждут и посейчас, а не веришь, поезжай сам в страну дикарей, — там каждый ребенок говорит

о блохе и профессоре и верит, что они вернуться, когда пушка остынет. Но они и не думают возвращаться: они давно дома, на своей родине, и разъезжают по железным дорогам уже в первом, а не в четвертом классе. Теперь они много зарабатывают — у них свой большой воздушный шар. Никто не спрашивает, как и где они его добыли, — они ведь теперь люди со средствами, всеми уважаемые — и блоха и профессор.





И В ЩЕПКЕ ПОРОЮ СКРЫВАЕТСЯ СЧАСТЬЕ!



**Т**еперь я расскажу вам историю о счастье. Все знакомы со счастьем, но иным оно улыбается из года в год, иным только в известные годы, а бывают и такие люди, которых оно дарит улыбкою лишь раз в их жизни, но таких, которым бы оно не улыбнулось хоть раз, — нет.

Я не стану рассказывать о том, что маленьких детей присылает на землю господь бог, что он кладет их прямо к груди матери, что это может случиться и в богатом замке, в уютной комнате, и в чистом поле, на холоде и ветре, — это знает всякий. Но вот что знает не всякий, а между тем это вернее верного: господь бог, ниспосылая на землю ребенка, ниспосылает вместе с ним и его счастье. Только счастье это не кладется на виду, рядом с ребенком, а прячется обыкновенно в каком-нибудь таком местечке, где меньше всего ожидают найти его. Найдись же оно всегда, рано или поздно, найдется, и это лучше всего! Оно может скрываться в яблоке, как, например, счастье одного великого ученого по имени Ньютон.

Яблоко шлепнулось перед ним на землю, и он нашел в нем свое счастье. Если ты не знаешь этой истории, то попроси рассказать тебе ее того, кто знает, я же хочу рассказать другую историю — о груше.

Жил-был бедняк; он и родился и вырос в нужде и в приданое за женою взял нужду. По ремеслу же он был токарь и точил главным образом ручки да колечки для зонтиков, но работа эта только-только позволяла ему перебиваться с семьей.

— Нет мне счастья! — говаривал он.

История эта — настоящая боль; я мог бы даже назвать и страну и местность, где жил наш токарь, но не все ли равно?

Первым и главным украшением его садика служила красная кислая рябина, но росло в саду и одно грушевое дерево, да только без плодов. И все же счастье токаря скрывалось как раз в этом дереве, в его невидимых грушах!

Раз ночью поднялась сильная буря; в газетах писали даже, что ветер подхватил большой дилижанс и швырнул его оземь, как щепку. Не мудрено, что таким ветром обломило и сук у грушевого дерева.

Сук принесли в мастерскую, и токарь, ради шутки, выточил из него большую грушу, потом поменьше, еще меньше и, наконец, несколько совсем крохотных.

— Пора было дереву принести груши! — сказал он шутя и роздал груши детям — пусть играют.

К числу вещей, необходимых в сырых, дождливых странах, относится, конечно, зонтик, но вся семья токаря обходилась одним зонтиком. В сильный ветер зонтик выворачивало наизнанку, иногда даже ломало, но токарь сейчас же приводил его в порядок. Одно было досадно — пуговка, на которую застегивалось колечко шнурка, охватывавшего сложенный зонтик, часто выскакивала или ломалось самое колечко.

Раз пуговка отскочила, токарь стал искать ее на полу и нашел вместо нее одну из маленьких точеных груш, которые отдал играть детям.

— Пуговки теперь не найти! — сказал токарь. — Но можно воспользоваться вот этою штучкой! — И он про сверлил в груше дырочку, продернул сквозь нее шнурок, и маленькая груша плотно вошла в полуколечко. Так хорошо застежка еще никогда не держалась!

Посылая на следующий год в столицу ручки для зонтиков, токарь послал также вместо застежек и несколько

выточенных груш с полуколючками к ним и просил хозяина магазина испробовать новые застёжки. Последние попали в Америку; там скоро смекнули, что маленькие груши лучше, удобнее всяких пуговок, и потребовали от поставщика, чтобы впредь и все зонтики высылались с такими застёжками.

Вот когда закипела работа! Груш понадобились тысячи! Токарь принялся за дело, точил, точил, все грушевое дерево пошло на маленькие груши. А груши приносили скиллинги и далеры!

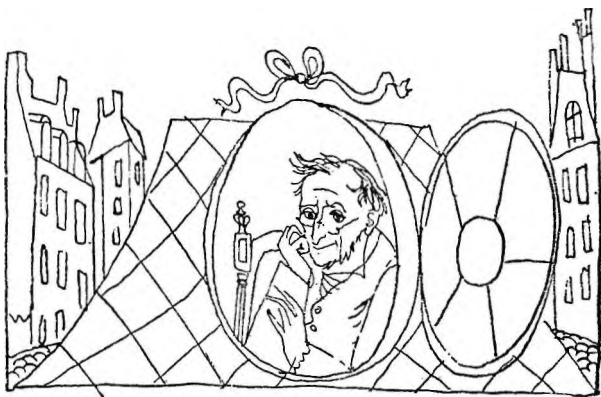
— Так счастье мое скрывалось в грушевом дереве! — сказал токарь. У него теперь была уже большая мастерская, он держал подмастерьев и учеников, вечно был весел и приговаривал: «И в щепке порою скрывается счастье!»

Скажу то же самое и я.

Говорят же ведь: «Возьми в рот белую щепочку и станешь невидимкою!» Но для этого нужно взять настоящую щепочку, которая дается нам на счастье от господ бога. Вот и мне дана такая, и я тоже могу извлечь из нее, как и токарь, звонкое, блестящее, лучшее в свете золото, то золото, что блестит огоньком в детских глазках, звенит смехом из детских уст и из уст их родителей. Они читают мои сказки, а я стою посреди комнаты невидимкою, — у меня во рту белая щепочка! И если вижу я, что они довольны моею сказкою, я тоже говорю: «Да, и в щепке порою скрывается счастье!»







## КОМЕТА



**И** вот на небе появилась комета, ядро ее сияло, хвост грозил розгой. На нее смотрели и из богатых замков и из бедных домов, глазели и целые толпы, устремляя взор и одинокий путник, проходивший по безлюдной степи, и каждый при этом думал свое.

— Идите смотреть на небесное знамение! Какое великолепие! — сказал кто-то, и все повысыпали из дома смотреть на комету.

Но в одной горнице еще остались двое: маленький мальчик с матерью. На столе горела сальная свечка, и мать увидала, что на фитиле образовался нагар в виде стружки, а это означало, по народному поверью, скорую смерть мальчика, — стружка ведь наклонилась в его сторону.

Мать верила в эту старинную примету. Но мальчику суждено было прожить на земле долгие годы и увидеть комету во второй раз, более шестидесяти лет спустя.

Мальчик не замечал нагара на свечке, не думал о комете, появившейся при нем впервые. Перед ним стояло

на столе склеенное блюдечко с мыльной водой, он погружал в нее маленькую глиняную трубочку, брал в рот другой конец ее и пускал мыльные пузыри — и большие и маленькие. Они колебались и переливались всеми цветами радуги, из желтых становились красными, из лиловых — голубыми, а потом вдруг окрашивались в ярко-зеленый цвет листьев, залитых в лесу лучами солнышка.

— Дай бог прожить тебе столько лет, сколько пустишь пузырей! — сказала мать.

— Ох, как много! — воскликнул мальчик. — Этой мыльной воды хватит на век!

И он продолжал выпускать пузырь за пузырем.

— Вот летит год! Вот еще! Гляди, как они летят! — приговаривал он. Два пузыря взлетели ему прямо в глаза; как их защипало, закусало — до слез! И в каждом пузыре мальчик видел блестящую, ослепительную картину будущего.

— Вот когда ее отлично видно! — кричали между тем соседи. — Идите же смотреть комету! Что вы засели там!

Мать взяла мальчика за руку; пришлось ему положить трубочку, расстаться со своею игрою, — надо было посмотреть на комету.

И мальчуган смотрел на ее сияющее ядро и на блестящий хвост. Кто говорил, что он длиною в три аршина, кто — что он в три миллиарда... Всякий ведь мерит на свой аршин.

— И дети и внуки наши успеют умереть, прежде чем она появится на небе опять! — толковали люди.

Большинства из них и действительно уже не было в живых, когда она появилась вторично, но мальчик, которому нагар на свечке предвещал, по мнению матери, близкую смерть, был еще жив, хотя и очень стар, весь седой. «Седые волосы — цветы старости!» — гласит поговорка, и у него была полная голова этих цветов. Он уж был старым школьным учителем.

Школьники говорили, что он страсть какой умный и ученый, знает и историю, и географию, и все, что только можно знать о телах небесных.

— Все повторяется! — говаривал он. — Только примечайте хорошенько лица и события и увидите, что они постоянно повторяются, возвращаются обратно, только в иных костюмах, в иных странах.

И школьный учитель указывал на историю о Вильгельме Телле, которому пришлось стрелять в яблоко, положенное на голову его собственного сына. Прежде чем выстрелить, он припрятал за пазуху другую стрелу — для злого Геслера. Происходило это в Швейцарии, но за много лет до этого то же самое случилось в Дании. Пальнатоку<sup>1</sup> тоже пришлось стрелять в яблоко, положенное на голову его сына, и он тоже спрятал за пазуху другую стрелу, чтобы отомстить за себя. А больше, чем за тысячу лет до того — читаем мы в старинных рукописях, — происходила такая же история в Египте! Да, и события и лица повторяются, возвращаются, как кометы.

И он начинал рассказывать об ожидаемой комете, которую уже видел однажды в своем раннем детстве. Школьный учитель много знал о небесных телах, много думал о них, но не забывал оттого ни истории, ни географии.

Сад свой он разбил в виде карты Дании. Каждая часть, каждая провинция изображалась цветами и растениями, которые были ей наиболее свойственны.

— Ну-ка, достаньте мне гороха! — говорил он, и ученики направлялись к грядке, представлявшей Лолланн. — Достаньте мне гречихи! — и те шли к Лангеланну. Чудесные голубые горечавки можно было найти на севере, на Скагене, блестящий Христов терн — возле Силькеборга. Города изображались статуэтками. Святой Кнуд, поражающий дракона, означал город Оденсе; Абсалон с епископским посохом в руке — Сорё; маленькое весельное судно — город Орхус, и так далее. Да, по саду школьного учителя можно было изучить карту Дании, но, конечно, предварительно надо было поучиться у него самого, а это было превесело!

Так вот, опять ожидали комету, и он рассказывал о ней и о толках людских, вызванных ее первым появлением, которое он так хорошо помнил.

— В год появления кометы вино бывает крепче! — говорил он. — Виноторговцы могут разбавлять его в о д о ю, — никто не заметит! Оттого-то они, как говорят, очень жалуют такие годы!

Но небо было покрыто облаками вот уже целых две недели, так что кометы не было видно, хотя она и появилась.

---

<sup>1</sup> Пальнато́к — сказочный датский герой. Предание о нем послужило сюжетом для известной трагедии Эленшлегера.



Престарелый учитель сидел в своей каморке рядом с классной комнатой. В углу стояли большие старинные борнхольмские часы, доставшиеся ему еще от родителей. Тяжелые свинцовые гири уже не поднимались и не опускались больше, маятник не двигался, маленькая кукушка, которая прежде выскакивала и куковала, уже много лет молчаливо сидела взаперти; все в часах замерло, притихло, они не шли больше. Но старые клавикорды, тоже времен родителей учителя, все еще сохраняли в себе жизнь. Струны еще могли звучать, правда хриловато, но все же из них можно было извлечь мелодии, которые учитель слышал на своем веку. И много воспоминаний будили эти мелодии в старом школьном учителе — и веселых и печальных. Много пережил он за этот длинный ряд годов, с тех пор как видел комету маленьким мальчиком и до ее вторичного появления на небе. Он помнил, что сказала его мать, увидя нагар на свечке, помнил чудесные мыльные пузыри, которые пускал тогда... Каждый означал — как он говорил — год его будущей жизни, и какие они были блестящие, радужные! Они сулили ему столько чудес и радостей, детские игры, юношеские наслаждения! Весь свет лежал перед ним, озаренный лучами солнца! То были мыльные пузыри будущего! Теперь он был уже старик и извлекал из струн клавикордов мелодии прошлого — это были уже пузыри, окрашенные цветами воспоминаний. Вот раздалась песня бабушки, которую она напевала, быстро шевеля чулочными спицами:

Вестимо, уж не амазонка  
Связала первый нам чулок!

А вот песня, которую напевала ему, когда он был ребенком, их старая служанка:

Ах, сколько испытаний  
Готовит свет тому,  
Кто млад и глуп, — известно  
Лишь богу одному!

Потом раздалась мелодия первого бала, менуэт, моли-наски<sup>1</sup>, за ними зазвучали нежные, грустные звуки, вызвавшие на глаза старика слезы, затем раздался военный марш, затем псалмы, а там опять веселые, игривые звуки. Они сменяли друг друга, следовали один за другим, как мыльные пузыри, что он пускал мальчиком.

<sup>1</sup> Молинаски — старинный танец.

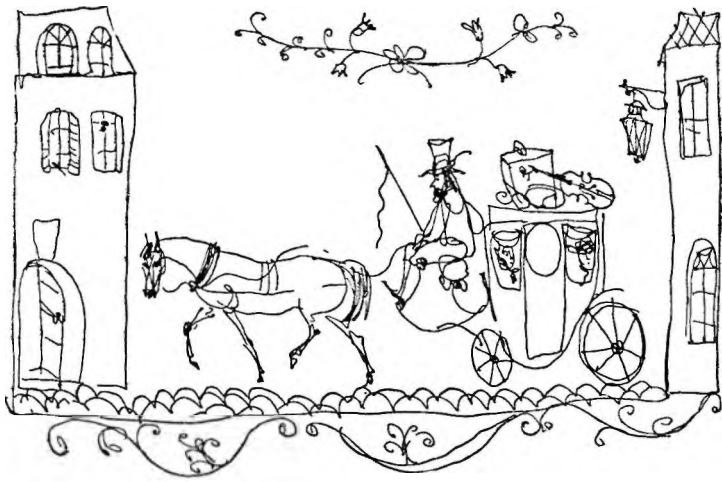
Он устремил взор в окно; облака, застилавшие небо, вдруг разошлись, и он увидел комету, ее сияющее ядро и блестящий туманный шлейф.

Он как будто видел ее в первый раз только вчера, а на самом-то деле между этими двумя вечерами легла целая человеческая жизнь, богатая воспоминаниями! В тот вечер он был ребенком и видел в мыльных пузырях будущее, теперь они показывали ему прошлое. И душа его прониклась детскою верою, глаза засияли, рука упала на клавиши... Раздался звук, словно порвалась струна!

— Идите же смотреть на комету! — кричали ему соседи. — Небо чудо какое ясное! Идите, теперь ее отлично видно!

Но старый школьный учитель не отвечал; он унесся в заоблачные высоты, чтобы хорошенько поглядеть на комету! Душа его готовилась пролететь пространство куда больше, обширнее, нежели пролетает комета. А на комету опять смотрели и из богатых замков и из бедных домов, глазели и целые толпы, устремлял взор и одинокий путник, проходивший по безлюдной степи. На душу же учителя смотрел теперь сам господь и опередившие его на небе дорогие, близкие его сердцу, о которых он так тосковал на земле!





## ДНИ НЕДЕЛИ



ням недели тоже хотелось хоть разок собраться вместе и попить. Но каждый из них был на счету, они были так заняты круглый год, что это им никак не удавалось. Им нужно было выждать лишний день, а такой выдается только раз в четыре года — в феврале високосного года; его прикидывают для уравнивания счетов.

Так вот, в этот-то день они и порешили собраться и попить, а так как в феврале празднуется масленица, то они решили кстати явиться ряжеными, сообразно вкусу и значению каждого. Решено было плотно поесть, здорово выпить, говорить речи и без церемонии высказывать друг другу приятные и неприятные истины, как оно и подобает в дружеском кружке. Герои древности перебрасывались за столом обглоданными костями, а дни недели готовились перебрасываться плохими каламбурами да разными ехидными остротами, какие только могут прийти в голову во время невинных масленичных забав.

Итак, день настал, и они собрались.

Господин Воскресенье, глава дней недели, явился в черном шелковом плаще. Благочестивые люди подумали бы, что он надел пасторское облачение и собирается в церковь, дети же мирской суеты увидели бы, что он просто напроsto накинул на себя домино и собирается веселиться, а яркая гвоздика, красующаяся у него в петличке, означает красный фонарик, который выставляется у театральных касс и гласит: «Все билеты проданы, веселитесь же на славу!»

Понедельник — молодой человек, близкий родственник Воскресенья, большой любитель удовольствий, следовал за первым. Он бросал — как рассказывал сам — мастерскую всякий раз, как у дворца происходила смена караула, сопровождающаяся музыкой.

— Я люблю освежиться, послушать музыку — особенно оффенбаховскую! Она не отягощает мозга, не затрагивает сердца, а только слегка щекочет под коленками, — так и подмывает пуститься в пляс, кутнуть, поддаться и осветить себе дорогу домой фонарем под глазом, а потом всхрипнуть хорошенько! Вот на другой день — с богом и за работу, пожалуй, — я же первенец недели!

Вторник, как известно, был посвящен у древних северян Тьюру, богу силы.

— Да, это ко мне и подходит! — сказал он. — Я ретивый работник, привязываю к сапогам купцов крылья Меркурия, осматриваю, хорошо ли смазаны и вертятся ли как следует колеса на фабриках, слежу за тем, чтобы портной сидел на верстаке, а каменщик на мостовой, чтобы каждый занимался своим делом! Я смотрю за порядком, вот почему я в полицейском мундире! Коли это не остроумно придумано, так попробуйте вы придумать что-нибудь поострее!

— А вот и я! — сказала Среда. — Я стою в середине недели, меня так и зовут серединою. Я, как приказчик среди магазина, как цветок в середине букета, стою, окруженная другими почтенными днями недели. Если мы идем все в ряд, друг за другом, то у меня три дня в авангарде и три в арьергарде. Смеею думать, что я самая первая персона в неделе!

Четверг — день, посвященный богу грома и молнии Тору, — был одет кузнецом и держал в руках атрибуты этого бога: молот и медный котел.

— Я самого знатного происхождения! — сказал он. — Я из языческого божественного рода! В северных странах



меня посвятили Тору, в южных — Юпитеру, а они оба мастера греметь и сверкать молнией. Это уж наша фамильная черта!

И он ударил молотом по котлу, чтобы доказать свое высокое происхождение.

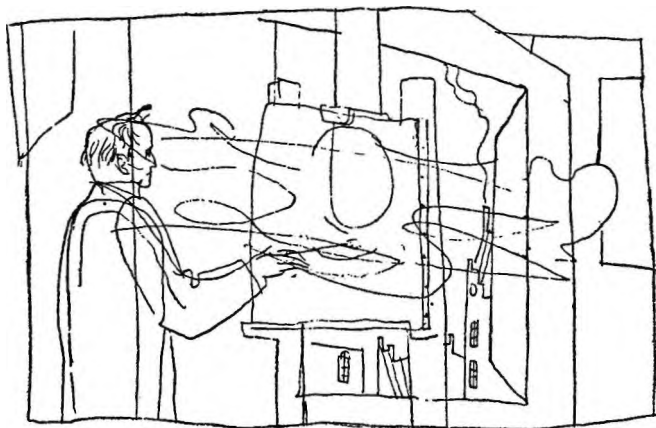
Пятница была одета, как и подобает молодой девушке, жрице Фрейи — в северных странах и Венеры — в южных. Она, по ее собственным словам, отличалась тихим, мягким нравом и только сегодня развернулась: сегодня ведь было двадцать девятое февраля, а этот день, согласно обычаям, являлся в старину днем свободы для женщин, — они могли свататься сами, не дожидаясь, когда к ним присватаются!

Суббота оделась старою ключницею, с метлой и прочими атрибутами чистки. Любимым блюдом ее был черствый хлеб, сваренный на пиве, но она все-таки не требовала, чтобы это блюдо было подано при сем торжественном случае всем; она готова была съесть его одна — и съела.

И затем дни расселись по местам.

Так вот они и обрисованы здесь все, и могут послужить образцами для живых картин в домашних спектаклях! Там могут изобразить их в таком смешном виде, в каком только сумеют. Мы же, изображая их, имели в виду только карнавальную шутку: Февраль — единственный месяц в году, которому прикидывают иногда лишний день, месяц карнавала!





## РАССКАЗЫ СОЛНЕЧНОГО ЛУЧА



**Т**еперь я начну! — заявил ветер.

— Нет, уж позвольте! — сказал дождь. — Теперь мой черед! Довольно вы стояли на углу да выли что было мочи!

— Так вот ваше спасибо за то, что я в честь вас вывертывал да ломал зонтики тех господ, что не желали иметь с вами дела!

— Слово за мною! — сказал солнечный луч. — Смирно!

И это было сказано с таким блеском и величием, что ветер сейчас же растянулся во всю длину. Но дождь все еще не хотел уняться, теребил ветер и говорил:

— Неужели мы это потерпим? Он вечно прорвется вперед, этот господин! Не станем его слушать! Вот еще, очень нужно!

А солнечный луч начал:

— Пролетал над бурным морем лебедь; перья его блестя, словно золотые; одно перо выпало и упало на большой торговый корабль, скользивший по морю на всех парусах. Перо запуталось в курчавых волосах молодого человека, надсмотрщика за товарами. Перо птицы счастья

коснулось его чела, превратилось в его руке в писчее перо, и он вскоре стал богатым купцом, которому ничего не стоило купить себе золотые шпоры, сменять бочку золота на дворянский щит. Я сам сверкал на этом щите! — прибавил солнечный луч.

— Пролетал лебедь и над зеленым лугом; в тени старого одинокого дерева лежал пастушок, семилетний мальчуган, и посматривал на своих овец. Лебедь поцеловал на лету один из листьев дерева, лист упал в руку пастушка, и из одного листка сделалось три, десять, целая книжка! Мальчик читал в ней о чудесах природы, о родном языке, о вере и знании, а ложась спать, прятал ее себе под голову, чтобы не позабыть прочитанного. И вот книжка та привела его сначала на школьную скамью, а затем и на кафедру науки. Я прочел его имя среди имен ученых! — добавил солнечный луч.

— Лебедь полетел в чашу леса и спустился отдохнуть на тихое, темное лесное озеро, поросшее кувшинками; на берегу росли тростник, лесные яблони, а в их ветвях куковала кукушка, ворковали лесные голуби.

Бедная женщина собирала здесь хворост; на спине у нее была целая вязанка, у груди же лежал маленький ребенок. Она увидела золотого лебеда, лебеда счастья, который вылетел из тростника. Но что же такое блестело там? Золотое яйцо! Женщина положила его за пазуху, и яйцо согрелось, в нем зашевелилось живое существо. Оно уже стучало носиком в скорлупку, а женщина-то думала, что это бьется ее собственное сердце.

Придя домой, в свою бедную хижину, она вынула золотое яйцо. «Тик-так!» — слышалось из него, точно яйцо было золотыми часами, но это было настоящее яйцо, и в нем билась жизнь. Вот скорлупка треснула, и из яйца высунул головку маленький лебедь, покрытый золотым пушком. На шейке у него было четыре золотых кольца, и так как у женщины было еще трое сыновей, кроме того, который был с нею в лесу, то она сразу догадалась, что кольца эти предназначались ее детям. Только что она сняла кольца — золотой птенец улетел.

Женщина перецеловала кольца, дала каждому ребенку поцеловать свое кольцо, приложила их к сердцу каждого и затем надела на пальчики детей.

— Я видел все это! — прибавил солнечный луч. — Видел и то, что из этого вышло.

Один из мальчиков копался в канаве, взял комок глины, начал мять его между пальцами, и вышла статуя Ясона, добывшего золотое руно.

Другой мальчуган сейчас же побежал на луг, поросший чудными, пестрыми цветами, набрал там целую горсть цветов, крепко стиснул их в ручонке, и цветочные соки брызнули ему прямо в глаза, омочили его золотое кольцо... В мозгу мальчика что-то зашевелилось, в руках тоже, и несколько лет спустя в большом городе заговорили о новом великом живописце.

Третий мальчуган так крепко стиснул свое кольцо зубами, что оно издало звук, отголосок того, что таилось в сердце мальчугана, и с тех пор чувства и думы его стали выливаться в звуках, подниматься к небу, как поющие лебеди, погружаться в бездны мысли, как лебеди погружаются в глубокие озера. Мальчик стал композитором; каждая страна может считать его своим.

— Четвертый же мальчик был заморыш, и на языке у него, как говорили, сидел типун; его надо было угощать маслом с перцем, как больных цыплят, да хорошими трепками, ну, его и угощали! Я же дал ему свой солнечный поцелуй! — сказал солнечный луч. — Да не один, а десять! Мальчик был поэтической натурой, и его то дарили поцелуями, то угощали щелчками, но он все-таки владел кольцом счастья, данным ему золотым лебедем, и мысли его взлетали к небу золотыми бабочками, а бабочка — символ бессмертия!

— Длинная история! — сказал ветер.

— И скучная! — прибавил дождь. — Подуй на меня, я в себя прийти не могу!

И ветер принялся дуть, а солнечный луч продолжал:

— Лебедь счастья пролетал и над глубоким заливом, где рыбаки закидывали сети. Беднейший из рыбаков сопристался жениться и женился.

Лебедь принес ему кусок янтаря. Янтарь притягивает, и этот кусок притянул сердца к дому рыбака. Янтарь — чудеснейшее благовонное курение, и из дома рыбака стало исходить благоухание, как из храма; это было благоухание самой природы! Бедная чета наслаждалась семейным счастьем, была довольна своею скромною домашнею обстановкой, и вся жизнь ее прошла как один солнечный день!

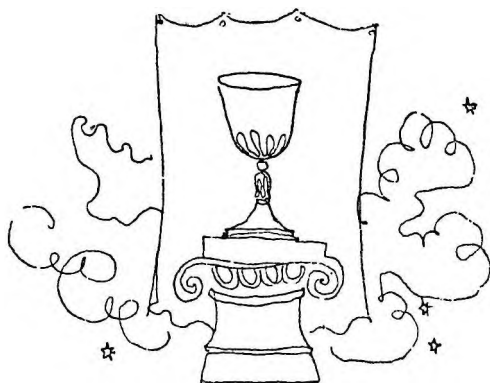
— Не пора ли прервать его! — сказал ветер. — Довольно уж он болтал! Я соскучился!

— И я тоже! — сказал дождь.

А что же скажем мы, прослушав эти истории?

Мы скажем:

— Ну, вот и конец им!





## ПРАДЕДУШКА

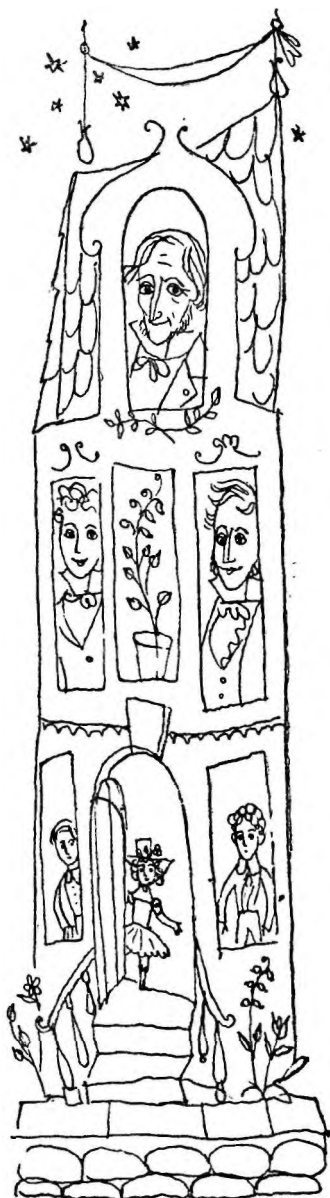


**П**радедушка был такой славный, умный и добрый, все мы так любили и уважали его. Сначала-то, с тех самых пор, как я себя помню, его звали дедушкой, но вот у моего старшего брата Фредерика родился сынок, и дедушку произвели в прадедушки. Выше этого звания ему уж не подняться было в жизни. Он очень любил нас всех, но наше время не особенно-то жаловал.

— То ли дело было в доброе старое время! — говорил он. — То время было солидное, степенное! А теперь все несутся сломя голову, все идет вверх дном! Молодежь ораторствует, говорит о королях так, как будто они им ровня! Любой господин с улицы может обмакнуть свою тряпку в грязную лужу да выжать ее над головой почтенного деятеля!

И, говоря это, прадедушка весь краснел, но потом опять успокаивался, улыбался своею обычною ласковою улыбкой и говорил:

— Ну! Я, может быть, и не вполне прав! Но я человек старого времени и не могу попасть в ногу с новым! Предоставим же господа богу вести его!



Слушая рассказы прадедушки о старых временах, я как будто сам переживал их: разъезжал мысленно в золотой карете с гайдуками, видел церемонии перенесения цеховой вывески с музыкой и знаменами, участвовал в забавных святочных развлечениях и играх. Правда, и в те времена было много дурного и ужасного: колеса, дыбы, кровопролитие, но даже и эти ужасы таили в себе что-то заманчивое! Много и хорошего узнавал я из рассказов прадедушки: узнал, например, о датских дворянах, освободивших крестьян, о датском кронпринце, прекратившем торговлю рабами.

Да, словно было послушать рассказы прадедушки о днях его молодости, но предшествовавшее тому время было все-таки еще лучше — такое сильное, могучее!

— Жестокое, варварское! — отозвался брат Фредерик. — Слава богу, что оно миновало!

Он так прямо и заявил это прадедушке! Не совсем-то это было хорошо с его стороны, но я все-таки очень уважал Фредерика. Он был моим старшим братом, «мог бы даже быть моим отцом», — говорил он сам; такой чудак! Он блестяще сдал свой студенческий экзамен, а в конторе у отца занимал-

ся так прилежно, что скоро его допустили к участию в делах фирмы. Он был любимцем прадедушки, но они вечно спорили друг с другом. «Эти двое никогда не поймут друг друга, никогда не столкнутся», — говорила о них вся семья, а я, как ни мал был, все-таки заметил, что эти двое и обойтись друг без друга не могут!

Когда Фредерик рассказывал или читал при прадедушке о новых научных открытиях и изобретениях, знаменующих наше время, глаза старика так и светились.

— Люди становятся умнее, но не добрее! — говаривал он, однако, вслед за тем. — Они изобретают на гибель друг другу ужаснейшие орудия истребления.

— Зато тем скорее и войне конец! — возражал Фредерик. — Теперь уж не приходится ждать мира по семи лет! Мир страдает полнокровием, и пускать ему время от времени кровь необходимо!

Раз Фредерик рассказал прадедушке о происшествии, действительно случившемся в одном городке. Часы бургомистра, большие часы на башне ратуши, устанавливали время для всего города. Часы шли не совсем верно, но все же весь город сообразовался с ними. Но вот провели железную дорогу; она была связана с железнодорожной сетью других стран, и тут уж приходилось точно рассчитывать время, а то поездам недолго было и столкнуться! На вокзале были установлены свои солнечные часы; они указывали время верно, не то что бургомистровы, и вот все жители города стали проверять свои часы по железнодорожным.

Я засмеялся — история показалась мне забавною.

Но прадедушка и не думал смеяться; напротив, он стал еще серьезнее.

— В твоём рассказе есть кое-что! — начал он, обращаясь к Фредерику. — И я понимаю, зачем ты это рассказал мне. Твои часы очень поучительны. Они приводят мне на память другие часы, старые, простые борнхольмские часы с тяжелыми свинцовыми гирями, принадлежавшие моим родителям. По этим часам жили мои родители, жил и я, когда был ребенком. Может быть, они шли и не совсем верно, но все-таки шли, а мы смотрели на стрелку и верили ей, не заботясь о колесах внутри. Так-то вот обстояло тогда дело и с государственным механизмом: люди спокойно верили тому, что показывали стрелки. Теперь же государственный механизм стал часами из стекла; все



устройство их на виду; видишь, как вертятся и жужжат колеса, боишься за каждый зубчик, за каждое колесико, сомневался, верно ли бьют часы, ну, и прежнего детского доверия уже нет! Вот слабость нашего времени!

И прадедушка кончал тем, что начинал горячиться. Они с Фредериком никак не могли столковаться, но и разлучить их было трудно — «как прошлое с настоящим». Это поняли они оба и вся семья, когда Фредерику пришлось отправиться по делам фирмы в далекий путь, в Америку. Тяжело было прадедущке перенести такую разлуку — далеко ведь отправлялся Фредерик, за море, в другую часть света!

— Каждые две недели ты будешь получать от меня по письму! — сказал Фредерик. — А еще быстрее всякого письма прилетит к вам от меня весточка по телеграфной проволоке. Вместо дней понадобятся часы, вместо часов — минуты!

Первый привет пришел от Фредерика по телеграфу из Англии; он послал его, садясь на корабль, отплывавший в Америку. А затем быстрее всякого письма — хоть бы его взялись доставить сами несущиеся облака — пришел привет из Америки, где Фредерик высадился всего несколько часов тому назад!

— Наше время озарила поистине божественная мысль! — сказал тогда прадедущка. — Телеграф — благоденствие для человечества!

— И Фредерик говорил мне, что первое открытие этих сил сделано у нас на родине! — сказал я.

— Да! — ответил прадедущка и поцеловал меня. — Да, и я сам глядел в те ласковые глаза, которые первые проникли в тайны этой новой силы природы! В них светилась такая же детская душа, как в твоих! Довелось мне и пожать ему руку!

Тут прадедущка опять поцеловал меня.

Прошло более месяца, и вот мы получили от Фредерика письмо, извещавшее о его помолвке с молодой прелестною девушкой, которую, конечно, полюбит вся семья. В письмо была вложена ее фотографическая карточка, и мы рассматривали ее на все лады — и простым глазом и сквозь увеличительное стекло. То-то ведь и хорошо в этих фотографических снимках, что их можно рассматривать сквозь самые сильные увеличительные стекла, и сход-

ство выступает только еще сильнее! А этого не могли добиться художники-портретисты, даже самые величайшие из старинных мастеров!

— Обладая этим изобретением старое время, мы могли бы теперь видеть перед собою лицом к лицу всех великих людей и благодетелей человечества! — сказал прадедушка. — Как, однако, эта девочка мила и добра на вид! — И он опять впился глазами в карточку, лежавшую под увеличительным стеклом. — Теперь я узнаю ее, как только она ступит на порог!

Но этого могло и не случиться никогда! Чуть-чуть было не произошла беда! К счастью, мы узнали об опасности, только когда она уже миновала.

Молодые новобрачные счастливо и весело достигли Англии, а оттуда отправились на пароходе в Копенгаген. Они уже видели датские берега и белые песчаные дюны западной Ютландии, как вдруг поднялась буря, пароход налетел на риф и сел. Волны вздымались горами и грозили разбить его; нельзя было даже спустить спасательных лодок. Настала ночь; но вот ночной мрак прорезала яркая ракета, пущенная на погибающий пароход с берега. Ракета перебросила на пароход канат, и между судном и берегом установилось сообщение. Скоро над темными бурными волнами заскользила по канату спасательная корзина с красивой молодой женщиной. Она была высажена на твердую землю, спасена! И как же была она счастлива, когда возле нее очутился и молодой ее муж! Все пассажиры и команда парохода были спасены таким же способом еще до рассвета.

А мы-то сладко спали у себя в Копенгагене, не думая ни о какой опасности, и только когда мы все сидели за утренним кофе, до нас дошла полученная в городе по телеграфу весть о гибели английского корабля у западного берега. Сердце у нас так и упало. Но в ту же минуту подоспела и телеграмма от дорогих наших молодых: они спаслись и скоро должны были быть у нас!

Все плакали; плакали и я и прадедушка. Потом он набожно сложил руки и — я уверен — благословил новое время.

В тот же день он пожертвовал двести риксдалеров на памятник Гансу Христиану Эрстеду.

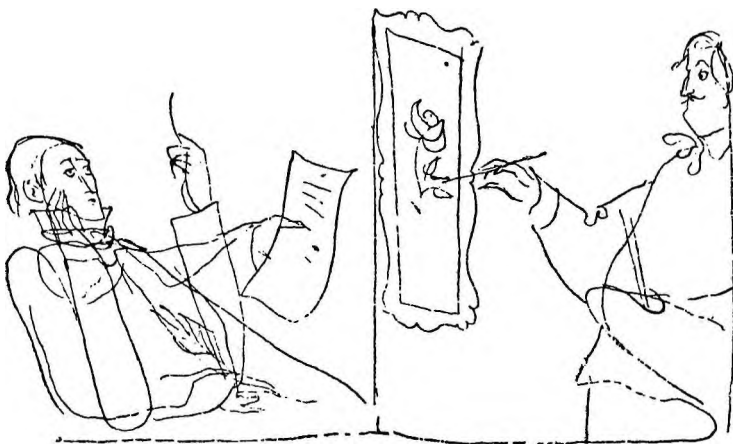
Когда вернулся со своею молодою женою Фредерик и услышал об этом, он сказал:

— Вот это дело, прадедушка! Теперь я, кстати, прочту тебе, что писал много лет тому назад о старом и новом времени сам Эрстед!

— Он, конечно, был твоего мнения? — спросил прадедушка.

— Еще бы! — ответил Фредерик. — Да и ты теперь того же мнения — иначе бы ты не внес своей лепты на памятник ему!





### КТО ЖЕ СЧАСТЛИВЕЙШАЯ?



**К**акие чудные розы! — сказал солнечный луч. — И каждый бутон распустится и будет такую же чудною розою! Все они — мои детки! Мои поцелуи вызвали их к жизни!

— Нет, это мои детки! — сказала роса. — Я кропила их своими слезами!

— А мне так кажется, что они мои родные детки! — сказал розовый куст. —

Вы же только крестные отец и мать, одарившие моих деточек кто чем мог.

— Мои прелестные детки! — сказали все трое в один голос и пожелали каждому цветку всякого счастья. Но только один из них мог оказаться самым счастливым из всех и один — наименее счастливым.

Кто же именно?

— А вот я узнаю это! — сказал ветер. — Я летаю повсюду, проникаю в самые узкие щели, знаю, что делается и внутри и снаружи домов.

Каждая роза слышала, каждый бутон понял сказанное.

В сад пришла печальная мать в трауре и сорвала одну свежую полураспустившуюся розу, которая показалась ей прекраснейшею из всех. Мать принесла цветок в тихую, безмолвную комнату, в которой несколько дней тому назад резвилась ее веселая, жизнерадостная дочка. Теперь же девочка покоилась, словно спящее мраморное изваяние, в черном гробу. Мать поцеловала умершую, поцеловала и полураспустившуюся розу и положила ее на грудь девочки, как бы надеясь, что свежий цветок, освященный поцелуем матери, заставит снопа забиться ее сердечко.

И роза так и расцвела вся, пышно развернула свои лепестки, колебавшиеся от радостной мысли: «Какою любовью озарился путь моей жизни! Я как будто стала человеческим ребенком — мать поцеловала меня и благословила в путь — в неведомую страну! И я отправлюсь туда, покоясь на груди умершей! Конечно, я счастливейшая из всех моих сестер!»

Потом пришла в сад старая полольщица гряд; она тоже залюбовалась красотой куста и глаз не могла оторвать от самой большой, вполне распустившейся розы. Капля росы да один жаркий день еще — и лепестки опадут! Вот как рассуждала женщина и нашла, что роза по-красовалась довольно — пора было извлечь из нее и пользу. И вот она сорвала цветок, завернула его в газетную бумагу и отнесла домой, чтобы набальзамировать солью вместе с другими розами и смешать с засушенной голубой лавандой — выйдет чудесная душистая смесь! Такой чести, как бальзамирование, устаиваются только розы да короли!

— Мне выпал на долю высший почет! — сказала роза, которую сорвала полольщица. — Я — счастливейшая! Меня набальзамируют!

Затем явились двое молодых людей: один — художник, другой — поэт. Каждый сорвал себе по прекрасной розе.

Художник изобразил цветущую розу на холсте, так что она увидела себя как в зеркале.

— Таким образом, — сказал художник, — она будет жить многие годы, в продолжение которых успеют завянуть и умереть миллионы и миллионы роз!

— Мне посчастливилось больше всех! — сказала роза. — Я достигла высшего счастья!

Поэт полюбовался на свою розу и написал о ней стихи, целую поэму, в которой высказал все, что прочел на ее лепестках. Вышла бессмертная поэма — «Альбом любви».

— Он обессмертил меня! — сказала роза. — Я счастливейшая!

Но среди этой массы прекрасных роз была одна, которая как-то заслонялась Другими; по воле случая — может быть, и счастливого — у нее был изъян: она криво сидела на стебельке, лепестки ее были расположены не совсем симметрично, и из середины чашечки выглядывал маленький свернутый зеленый листок. Случаются подобные изъяны и у роз.

— Бедное дитя! — говорил ветер и целовал ее в щеку, а роза думала, что он приветствует, чувствует ее. Она сама чувствовала, что сложена как-то иначе, нежели другие розы, что из чашечки ее выглядывает зеленый листок, но смотрела на это не как на изъян, а как на отличие. Вот на нее вспорхнул мотылек и поцеловал ее лепестки; это был жених, но она не стала удерживать его. Потом явился огромный кузнечик; он уселся на другую розу и принялся влюбленно потирать ножки — это признак влюбленности у кузнечиков. Роза, на которой он сидел, не поняла этого; зато поняла роза с изъяном — свернутым зеленым листком; на нее-то как раз и устался кузнечик, а глаза его так и говорили: «Съел бы я тебя от пущей любви!» А уж известно, дальше этого никакая любовь не может идти: один исчезает в другом! Но роза не имела ни малейшего желания исчезнуть в этом прыгуне.

Звездною ночью запел соловей.

— Это он для меня поет! — сказала роза с изъяном — или с отличием. — И за что это меня во всем постоянно отличают от других сестер! Почему именно мне выпало на долю это отличие, благодаря которому я стала счастливейшею?

Тут в сад зашли два господина; они курили сигары и вели разговор о розах и табаке: правда ли, что розы не переносят табачного дыма — зеленеют? Надо было произвести опыт. Но они пожалели красивейшие розы и взяли для опыта розу с изъяном.

— Вот новое отличие! — сказала она. — Я уж чересчур счастлива! Я счастливейшая из счастливейших!

И она вся позеленела от этого сознания и табачного дыма.

Одна из роз, едва начавшая распускаться и, может быть, самая прекрасная на всем кусте, заняла почетное место в искусно подобранном садовником букете. Букет отнесли важному молодому господину, владельцу дома и сада, и тот повез его с собою в карете. Роза сидела между другими цветами и зеленью, словно царица красоты. И вот она очутилась на блестящем празднике. Повсюду сидели разряженные мужчины и дамы, залитые светом тысяч ламп. Музыка гремела, театр утопал в море света. При восторженных криках зрителей на сцену выпорхнула юная танцовщица — любимица публики, и к ногам ее посыпался целый дождь цветов. Упал к ее ногам и букет с розой, сиявшей в его середине как драгоценный камень. Роза чувствовала всю честь, все безмерное счастье, выпавшие ей на долю, но вот букет коснулся пола, стебелек ее переломился, она выскочила из букета и покатилась по полу. Не пришлось ей попасть в руки виновницы торжества — она откатилась за кулисы. Там увидел ее машинист и поднял. Она была так хороша, так чудно пахла, но стебелек у нее не было! Он взял и положил ее прямо в карман, а потом отнес домой. Там роза очутилась в рюмке с водою и пролежала в ней всю ночь. Рано утром ее поставили на стол перед старою бабушкою, беспомощно сидевшею в кресле. Как она любовалась прекрасною розою без стебелька, как наслаждалась ее запахом!

— Да, ты не попала на роскошный стол важной барышни, попала к бедной старухе! Зато здесь ты заменяешь целый розовый куст! Как ты хороша!

И старушка с детскою радостью смотрела на цветок, вероятно вспоминая при этом свою давно минувшую юность.

— В оконном стекле была дырочка! — рассказывал ветер. — Я легко пробрался через нее и видел, каким молодым блеском сияли глаза старушки, любовавшейся на розу без стебелька в рюмке с водою. Я знаю, которая из роз была счастливее всех! Я могу рассказать это!

У каждой розы была, таким образом, своя история, каждая верила, что она счастливейшая, а ведь блажен, кто верует!.. Но последняя из роз на кусте все-таки считала себя самую счастливейшею.

— Я пережила всех! Я последнее, единственное, любимейшее дитя у отца!

— И я — отец им всем! — сказал розовый куст.

— Нет, я! — возразил солнечный свет.

— Нет, я! — сказали в один голос ветер и погода.

— Каждый имеет на них свои права! — сказал ветер. — И каждый получит свою долю! — И он развеял лепестки, окропленные сиявшими в лучах солнца каплями росы. — И мне кое-что досталось! — прибавил он. — Я узнал историю каждой розы и разнесу их по всему свету!

Так вот, которая же из роз счастливейшая? Да, скажите-ка это мне вы, я уже сказал довольно!







### САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ



**Т**от, кто сделает самое невероятное, возьмет за себя принцессу, а за ней в приданое полкоролевства!

Как только объявили это, все молодые люди, да и старики за ними, принялись ломать себе головы. Все из кожи вон лезли: двое объелись, двое опились до смерти — в надежде совершить самое невероятное на свой лад, да не так взялись за дело! Уличные мальчишки всячески изворачивались, чтобы плюнуть самим себе в спину, — невероятнее этого они ничего и представить себе не могли.

Назначен был день для представления на суд всего того, что каждый считал самым невероятным. В число судей попали люди всех возрастов, от трехлетних детей до девяностолетних старцев. Взорам судей представилась целая выставка невероятных вещей, но скоро все единогласно решили, что самую невероятную из них были большие столовые часы удивительного и внутреннего и внешнего устройства. Каждый раз, как часы били, появлялись живые картины, показывавшие, который час. Таких картин было

двенадцать, каждая с движущимися фигурами, пением и разговорами.

— Это самое невероятное! — говорили все.

Было час — и показывался Моисей на горе и чертил на скрижали первую заповедь.

Было два — взорам представлялся райский сад; жилище Адама и Евы, двух счастливых, утопавших в блаженстве, хоть у них и не было ничего — даже шкафа для платья; ну, да они в нем и не нуждались!

В три часа появлялись трое царей, шедших с востока на поклонение Иисусу; один из них был черен, как голенище, но не по своей вине, — это солнце так наваксило его! Все трое держали в руках драгоценные дары и благовонные курения.

В четыре показывались четыре времени года: весна с только что распутившеюся буковою ветвью, на которой сидела кукушка; лето с колосом спелой ржи, к которому прицепился кузнечик; осень с пустым гнездом аиста, означавшим, что все птицы улетели; и зима со старою вороной-сказочницей, умевшею рассказывать в уголке за печкою старые предания.

Часы били пять — выходили пять чувств: зрение — в образе оптика, слух — медника, обоняние — продавщицы фиалок и дикого яминника, вкус — повара, а осязание, или чувствительность — распорядителя похоронной процессии в траурной мантии, спускавшейся до самых пят.

Было шесть — выскакивал игрок, подбрасывал костьверху, она падала и показывала высшее очко — шесть.

Затем следовали семь дней недели, или семь смертных грехов; насчет этого шли разногласия, да и впрямь трудно было различить их.

После этого выходил хор монахов — восемь человек — и пел заутреню.

Было девять — и являлись девять муз; одна занималась астрономиею, другая служила в историческом архиве, а остальные посвятили себя театру.

Было десять — и опять выступал Моисей с двумя скрижалями, на которых были начертаны все десять заповедей.

Было одиннадцать — и выскакивали одиннадцать мальчиков и девочек и начинали играть в игру под названием «пробил одиннадцатый час»!

Наконец било двенадцать — и являлся ночной сторож, в шлеме, с «утреннюю звезду» в руках, и пел старинную песенку ночных сторожей:

Полночь настала,  
Спаситель родился!

А в то время как он пел, вокруг расцветали розы и превращались в головки ангелочков, парящих на радужных крылышках.

Было тут что послушать, на что посмотреть! Вообще часы являлись настоящим чудом, «самым невероятным» — по общему мнению.

Художник, творец часов, был человек еще молодой, сердечный, с детски веселою душою, добрый товарищ и примерный сын, заботившийся о своих бедных родителях. Он вполне заслуживал и руки принцессы и полкоролевства.

День присуждения награды наступил; весь город убрался по-праздничному; сама принцесса сидела на троне; подушки его набили новым волосом, но трон от этого не стал ни удобнее, ни покойнее. Судьи лукаво поглядывали на юношу, который должен был получить награду, а он стоял такой веселый, бодрый, уверенный в своем счастье, — он ведь сделал самое невероятное.

— Нет, это вот я сейчас сделаю! — закричал высокий, мускулистый парень. — Я совершу самое невероятное!

И он занес над чудесными часами тяжелый топор.

Трах! — и все было разбито вдребезги! Колеса и пружины разлетелись по полу, все было разрушено!

— Вот вам я! — сказал силач. — Один удар, и я поразил и его творение и вас всех! Я сделал самое невероятное!

— Разрушить такое чудо искусства! — толковали судьи. — Да, это самое невероятное!

Весь город повторил то же, и вот принцесса, а с нею и полкоролевства должны были достаться силачу, — закон остается законом, как бы он ни был невероятен.

С вала, со всех башен города было оповещено о свадьбе. Сама принцесса вовсе не радовалась такому обороту дела, но была чудно хороша в подвенечном наряде. Церковь была залита огнями; венчание назначено было поздно

вечером — эффектнее выходит. Знатнейшие девушки города с пением повели невесту; рыцари тоже с пением окружили жениха, а он так задирает голову, словно и знать не знал, что такое споткнуться.

Пение умолкло, настала такая тишина, что слышно было бы падение иголки на землю, и вдруг церковные двери с шумом и треском растворились, а там... Бум! Бум!.. В двери торжественно вошли чудесные часы и стали между женихом и невестою. Умершие люди не могут встать из могилы — это мы все хорошо знаем, но произведение искусства может возродиться, и оно возродилось: вдребезги была разбита лишь внешность, форма, но идея, одухотворявшая произведение, не погибла.

Произведение искусства вновь стояло целым и невредимым, как будто рука разрушителя и не касалась его. Часы начали бить, сначала пробил час, потом два, и так далее — до двенадцати, и картина являлась за картиною. Прежде всех явился Моисей; от чела его исходил пламень; он уронил тяжелые скрижали прямо на ноги жениха и пригвоздил его к месту.

— Поднять их снова я не могу! — сказал Моисей. — Ты обрубил мне руки. Стой же, где стоишь!

Затем явились Адам и Ева, восточные цари и четыре времени года; каждое лицо обратилось к нему со справедливым укором:

«Стыдись!»

Но он и не думал стыдиться.

Остальные фигуры и группы продолжали выступать из часов по порядку и вырастали в грозные гигантские образы; казалось, что скоро в церкви не останется места для настоящих людей. Когда же наконец пробил двенадцать и выступил ночной сторож в шлеме и с «утреннею звездой», в церкви произошло смятение: сторож прямо направился к жениху и хватил его своим жезлом по лбу.

— Лежи! — сказал он. — Мера за меру! Теперь и мы отомщены и художник! Исчезнем!

И произведение искусства исчезло, но свечи в церкви превратились в большие светящиеся цветы; золотые звезды, рассыпанные по потолку, засияли; орган заиграл сам собою. И все сказали, что вот это-то и есть «самое невероятное»!

— Так не угодно ли вызвать сюда настоящего виновника торжества! — молвила принцесса. — Моим мужем и господином будет художник, творец чуда!

И он явился в церковь в сопровождении всего народа. Все радовались его счастью, не нашлось ни одного завистника. Да, вот это-то и было «самое невероятное»!





## ВЕЛИКИЙ МОРСКОЙ ЗМЕИ



**Ж**ила-была маленькая морская рыбка из хорошей семьи. Как она называлась, я не помню, если хочешь узнать, обратись к ученым. У рыбки было тысяча восьмьсот братьев и сестер, и все близнецы. Ни отца, ни матери своих они не знали, с первых же дней сами о себе заботились и плавали, где хотели, а что может быть приятнее? Воды у них было предостаточно — целый океан. О пище они тоже не беспокоились — она сама шла в рот. Каждый из близнецов мог жить по-своему, каждого ждала своя история, но пока ни один из них об этом не думал.

Сверху светило солнце, освещало рыбок, освещало весь подводный мир. Кого тут только не было! Диковинные попадались создания, и некоторые такие громадные, страшные! Им ничего не стоило разинуть хищную пасть и сразу проглотить всех тысячу восьмьсот братьев и сестер. Но об этом близнецы тоже не думали, их ведь пока еще никто ни разу не глотал.

Они держались стайкой, поближе друг к другу, как сельди или макрель. И вот однажды, когда они преспокойно

плавали и ни о чем не думали, сверху, расшвыряв их в разные стороны, стало опускаться со страшным шумом какое-то длинное тяжелое чудовище. Конца ему не было видно. Оно вытягивалось все дальше и дальше и если задевало кого-нибудь из рыбок, то так расплющивало и калечило их, что они уже не могли оправиться. Все рыбы, и маленькие, и большие, и те, что плавают на поверхности, и те, что лежат на дне, в ужасе бросились врассыпную. А тяжелое буйное чудовище опускалось все глубже и глубже, становилось все длиннее и длиннее, тянулось по всему морю.

Рыбы и улитки, все, что плавает, все, что ползает, все, что просто движется по течению, сразу узнали об этом чуде, об этом бесконечном, невиданном морском угре, который, откуда ни возьмись, свалился им на голову.

Что же это была за штука? Ну, нам-то это известно! Это был длиннейший телеграфный кабель, который люди проложили по дну моря между Европой и Америкой.

Ужас, какой переполох поднялся среди мирных обитателей моря, когда кабель укладывали на дно. Летающие рыбы взвились над морской гладью одна выше другой, а морской петух пулей взлетел в воздух — на такие проделки он мастер. Другие рыбы кинулись на дно, да так спешили, что очутились там раньше кабеля и насмерть перепугали треску и камбалу, которые безмятежно плавали в глубине и поедали своих ближних.

Несколько морских огурцов со страху выплюнули свои желудки, но остались живы. Кто еще способен на подобный фокус? Омары и крабы повылезали из своих прочных панцирей — пришлось им, правда, заодно расстаться и с ногами.

Не мудрено, что в этой панике и суматохе тысячу восемьсот близнецов разметало в разные стороны, и больше они никогда не виделись, а если и встречались, то не узнавали друг друга. Только с полдюжины рыбок остались вместе, они притаились на несколько часов, но потом, когда первый страх прошел, ими овладело любопытство.

Они огляделись, посмотрели вверх, посмотрели вниз и там, в глубине, различили страшное чудовище, которое всех так напугало, и маленьких и больших. Чудовище лежало на морском дне и тянулось вдаль, насколько хватало глаза. Оно было тонкое-тонкое, но кто его знает, подумали близнецы, вдруг да оно раздуется и станет огром-

ной машиной. Оно лежало тихо-тихо, но, может быть, это просто хитрая уловка?

— Пусть себе лежит, где лежит! Нас это не касается, — решила самая осторожная из рыбок.

А самая маленькая из них сгорала от желания узнать, что же это за штука. Чудовище спустилось сверху, значит и узнавать о нем надо наверху, поэтому рыбешки поплыли к поверхности моря, где была тишь да гладь, ни всплеска, ни ветерка.

Там они повстречали дельфина. Этот ветрогон, морской бродяга, только и знает, что кувыркаться над водой. Однако глаза-то у него есть, и он должен был все видеть. Рыбки спросили его про чудовище. Но дельфин был занят лишь собой да своими прыжками. Он ничего не видел, ничего не знал, так что промолчал и принял гордый вид.

Тогда они поплыли к тюленю, который как раз нырнул под воду. Этот, хоть и питался мелкими рыбками, был любезнее — сейчас он был сыт. Он знал побольше дельфина.

— Много ночей пролежал я на мокрых камнях и всматривался в далекий берег. Там водятся коварные существа, на своем языке они называют себя людьми. Они преследуют нас, но чаще всего нам удается ускользнуть. Вот и морскому угрю, о котором вы спрашиваете, удалось от них вырваться. Он был у них в плену с незапамятных времен. Его держали на одном материке, а потом решили перевезти на корабле в другую далекую страну. Я видел, как трудно им было справиться с угрем, но все-таки они его одолели. Оно и понятно: он ослаб, пока жил на суше. Они складывали его кругами и кольцами, я слышал, какой стоял лязг и звон. И вдруг он вырвался из их рук и бросился в море. Они изо всех сил вцепились в него, надеясь удержать, но он все-таки ускользнул и ушел на дно, а теперь, верно, лежит там и набирается сил.

— Он какой-то тонкий! — сказали рыбки.

— Еще бы, его морили голодом, — объяснил тюлень. — Но ничего, скоро он все наверстает, снова станет могучим и грозным. Я думаю, это тот самый великий морской змей, которого так боятся люди. Они только и говорят о нем. Мне его видеть не приходилось, поэтому раньше я не верил людям, думал, что змея нет. А теперь я в него верю, — и тюлень вынырнул.



— Какой он умный! И как хорошо рассказывает! — говорили рыбки. — Мы никогда не слышали таких умных речей. Надеемся, все это правда.

— Давайте поплывем вглубь и все разузнаем, — предложила самая маленькая рыбка, — а по дороге послушаем, что другие говорят.

— Еще чего, мы и плавником не шевельнем, чтобы что-то узнать! — сказали ее братья и сестры и унеслись прочь.

— А я хочу знать! — сказала маленькая рыбка и пустилась вниз, в глубь моря. Но до места, где пряталось «длинное чудовище, упавшее сверху», было далеко. Чего только она не нагладелась, пока добралась до самого дна!

Она и не подозревала, что подводный мир так велик. Большие косяки сельди проплывали мимо, блестя и переливаясь, словно громадные серебряные лодки. За ними тянулись макрели, они были еще великолепнее. Разные рыбы мелькали вокруг. Каких только тут не было очертаний, какие расцветки, какие узоры! Медузы, словно прозрачные цветы, покачивались, колеблемые течением. Со дна поднимались гигантские морские растения, длинные водоросли и даже целые деревья, похожие на пальмы. Их листья были усыпаны блестящими раковинами.

Наконец рыбка различила внизу длинную темную полосу и направилась к ней. Оказалось, что это не рыба и не кабель, а просто борт большого затонувшего корабля. Под напором волн у него провалились обе палубы — и верхняя и нижняя. Рыбка заплывла внутрь. Вода смыла всех людей, погибших при крушении, и теперь тут лежали только двое — молодая женщина с ребенком на руках. Волны тихонько приподнимали и баюкали их, казалось, они спят. Рыбка очень испугалась — она не знала, что они никогда больше не проснутся. Водоросли, словно лианы, свешивались с борта над матерью и ребенком, заснувшими вечным сном. Здесь было так одиноко, так тихо. Рыбка скорее поспешила прочь, туда, где воду освещали солнечные лучи, туда, где сновали рыбы. Но не успела она отплыть подалее, как встретила молодого кита, ужасно большого.

— Смотри не проглоти меня! — сказала рыбка. — Ведь я такая маленькая, меня тебе и на один зуб не хватит! А мне так нравится жить!

— Что ты здесь делаешь, на такой глубине? — удивился кит. — Ваш брат сюда не заплывает.

И рыбка рассказала ему об удивительном длинном угре, или кту он там был на самом деле, который спустился сверху и распугал даже самых храбрых морских обитателей.

— Хо-хо! — сказал кит и так втянул в себя воду, что, будь он на поверхности, он выдохнул бы ее высоким фонтаном. — Хо-хо! — повторил он. — Значит, это та самая штука, что пощекотала мне спину, когда я поворачивался! А я-то думал, это корабельная мачта, еще хотел воспользоваться ею как зубочисткой! Только это чудище не здесь. Оно далеко отсюда. Поплыву-ка я, пожалуй, с тобой да разберусь, что это такое. Все равно мне делать нечего.

И они поплыли — кит впереди, а рыбка сзади. Она старалась держаться подальше, потому что, когда большой кит набирает скорость, вода вокруг так и бурлит!

Навстречу им попались акула и старая рыба-пила. Они тоже слышали про морского угря, длинного, длинного и тонкого, тонкого. Видеть они его не видели, но очень хотели посмотреть.

А потом к ним подплыл морской кот.

— И меня возьмите! — сказал он, ему тоже хотелось посмотреть.

— Если этот морской змей не толще якорного каната, я перекушу его в два счета, — и морской кот разинул пасть и всем показал, что зубы у него растут в шесть рядов. — Если уж я оставляю отметины на корабельных якорях, то такую фитюльку я и подавно перегрызу!

— Вот он! — вдруг воскликнул кит. — Я его вижу! — он вообразил, что видит лучше всех. — Смотрите, смотрите, как он изгибается, как извивается. Ишь, как петляет.

Но это был вовсе не морской змей, а огромный морской угорь длиной в несколько метров. Он плыл прямо на них.

— Этого-то я знаю. Мы с ним встречались, — сказала рыба-пила. — Он шума в море не поднимает и больших рыб не трогает.

Они рассказали ему про нового угря и спросили, не хочет ли он тоже заняться расследованием.

— Неужели он длиннее меня? — спросил морской угорь. — Как бы он не наделал нам бед.

— Пусть только попробует, — сказали остальные, —

вон нас сколько, мы ему покажем! — И они поплыли дальше.

Но дорогу им преградило что-то необъятное, оно было больше их всех, вместе взятых, ни дать ни взять плавающий остров, который не может удержаться наверху.

Это был древний-древний кит, голова его обросла водорослями, на спине кишмя кишела всякая тварь, а моллюсков и ракушек на нем было столько, что черные бока казались сплошь усеянными белыми пятнами.

— Поплыли с нами, старик! — предложили ему рыбы. — В море появилось какое-то чудовище, и мы его не потерпим.

— Уж лучше я буду лежать, где лежу, — ответил старый кит. — Оставьте меня в покое, не приставайте! Ох, ох! Я тяжело болен. Только одно мне и помогает — всплыть наверх да высунуть спину из воды. Тогда ко мне слетаются добрые морские птицы и чистят меня. Это очень приятно, если только они не вонзают клюв слишком глубоко. А то бывает, они добираются до самого мяса. Вот полюбуйтесть! У меня на спине и сейчас торчит птичий скелет, целехонький. Птица запустила когти слишком глубоко и не смогла их вытащить, когда я погрузился на дно. А потом мелкие рыбешки пообщипали ее. Посмотрите только на нее и на меня. Видите, как я тяжело болен!

— Все это от мнительности, — сказал молодой кит. — Я вот никогда не болею. Рыбы вообще не болеют.

— Нет, извините, — возразил старый кит, — у угрей бывают кожные болезни, у карпов — оспа, а уж от глистов все мы мучимся.

— Чушь! — сказала акула, ей уже надоело слушать старика, да и другим тоже, у них было дело поважней.

Наконец они добрались до того места, где лежал телеграфный кабель. Он тянулся по всему морскому дну от Европы до Америки, через песчаные отмели и илистые глубины, через рифы и чащи водорослей, через целые леса кораллов. А вокруг него переплетались течения, кипели водовороты, проносились рыбы — стаи рыб, их было куда больше, чем птичьих стай в пору перелета. Повсюду в глубине бурлило и булькало, гудело и шумело. Отголоски этого гула можешь различить и ты, если прижмешь к уху большую морскую раковину.

Тут они и нашли то, что искали.

— Вон лежит это чудище, — сказали большие рыбы, и маленькая рыбка сказала то же самое. Кабель лежал перед ними, но ни начала его, ни конца не было видно.

Губки, полипы и медузы колыхались на дне, то поднимались и заслоняли кабель, то опускались и открывали его. Морские ежи, улитки и морские черви копошились вокруг, а вдоль кабеля важно расхаживали чудовищные пауки с целым полчищем паразитов на спинах. Темно-синие морские огурцы, или как там называют эту нечисть, что заглатывает пищу сразу всем туловищем, затаились и приюхивались к новому зверю, объявившемуся на дне морском. Камбала и треска поворачивались во все стороны, стараясь услышать, кто что сказал. Морская звезда, та самая, которая всегда зарывается глубоко в ил и выставляет наружу только глаза на двух стебельках, и тут тарасилась изо всех сил, стараясь не прозевать, чем же кончится вся эта сумятица.

Телеграфный кабель лежал неподвижно, но в нем шла жизнь, кипели мысли, взад и вперед мчались по нему мысли людей.

— Он только прикидывается тихим, — сказал кит, — а вдруг он развернется и ударит меня прямо в живот, ведь у меня это слабое место!

— А вот мы его сейчас проверим, — предложил полип. — У меня руки длинные, пальцы цепкие, я уже до-трагивался до него, а теперь сожму крепче.

И он протянул свои длинные цепкие руки вниз, к кабелю, и крепко обхватил его.

— Чешуи у него нет, — заметил полип, — и кожи нет! По-моему, он не сможет родить живых детенышей.

Морской угорь подплыл к кабелю и вытянулся вдоль него во всю длину.

— Он длинней меня, — сказал он. — Но одной длины мало, надо еще кожу иметь, и живот, и гибкость.

Молодой и сильный кит опустился к самому кабелю, так глубоко он не опускался еще ни разу.

— Ты кто — рыба или растение? Или ты просто из тех, кого делают наверху и кто у нас не приживается? — спросил он.

Но телеграфный кабель не ответил — разговаривать было не по его части. По нему передавались мысли, человеческие мысли, за одну секунду они пробежали много сотен миль из одной страны в другую.

— Будешь ты отвечать или нет? А то мы тебя раздавим! — сказала прожорливая акула, и другие большие рыбы тоже крикнули:

— Говори, или мы тебя раздавим!

Кабель не шевелился, он думал свою думу, и это не удивительно, раз он был битком набит всякими мыслями.

«Ну и пусть меня раздавят, — размышлял он, — тогда меня поднимут наверх и починят. Так уже не раз бывало с моими братьями в фарватерах поменьше».

Поэтому он не стал отвечать, а продолжал заниматься своим делом — передавал телеграммы, нес государственную службу на дне морском.

Наверху солнце садилось, как принято говорить у людей, оно стало красным, как огонь, и все облака на небе запылали пламенем, одно ярче другого.

— Ну, вот нам дали красное освещение, — сказали полипы, — теперь эту штуку лучше видно, хотя, впрочем, это все равно.

— Бей его, бей! — закричал кот и оскалил зубы, все шесть рядов.

— Бей его! — закричали рыба-меч, кит и угорь.

И все бросились на кабель, морской кот впереди. Но только он собрался вцепиться зубами в чудовище, как рыба-пила в горячке полоснула его пилой по спине. Ужасное случилось недоразумение, у кота уже не хватило сил кусаться.

Ух, что тут поднялось! Вода замутилась, в головах у всех помутилось, рыбешки, рачки и ракушки полезли друг на друга и давай драться и толкаться, пожирать друг друга живьем. Только кабель лежал, не шелхнувшись, и делал свое дело, а это всегда самое правильное.

Наверху землю окутала темная ночь, а в море заблестели миллионы, даже целые миллиарды огоньков. Это светились малюсенькие рачки, величиной с булавочную головку. Чудеса да и только, но так уж это устроено.

Морские жители посмотрели на кабель.

— Что же это все-таки за штука?

Да, задали им загадку.

Тут к ним приблизилась старая морская корова. Люди называют такие создания по-разному: то русалками, то водяными. У морской коровы была отвислая грудь, хвост и две маленькие ручки, чтобы грести, а на

голове красовались водоросли, в которых кишели клещи, чем она очень гордилась.

— Хотите научиться уму-разуму? — спросила она. — Тогда слушайте, только я одна и могу вам все объяснить. Но за это я требую, чтобы мне и моим родственникам обеспечили безопасность на всех морских пастбищах. Я и рыба, как вы, но и ползать умею, будто краб, жизнь всему научит. Здесь, в море, я самая умная. Я знаю обо всем, что копошится на дне морском, и обо всем, что делается наверху. Эта штука, над которой вы головы ломаете, свалилась сверху. А все, что сверху упало, либо уже мертво, либо умрет здесь и никакой силы не имеет. Оставьте ее, пусть себе лежит. Это все человеческие проделки.

— А мне кажется, это не совсем так, — сказала маленькая рыбка.

— Попрдержжи язык, макрель! — крикнула старая морская корова.

— Килька! — сказали остальные, а это было уж совсем обидно.

Потом морская корова объяснила рыбам, что этого страшного зверя, который, впрочем, до сих пор не проронил ни звука, люди забросили сюда нарочно. И она прочла небольшую лекцию о коварстве людей.

— Они хотят нас всех переловить, — сказала она. — Только ради этого и живут. Они плетут сети, закидывают крючки с наживкой, чтобы нас заманить. И эта штука просто-напросто длинная леска! Они думают, что мы поймемся на эту удочку. Вот чудаки! Но мы не так глупы. Только не прикасайтесь к этой дурацкой леске, она сама размочалится, станет илом и грязью. Все, что сверху, всегда с вывихом, с подвохом и никуда не годится.

— Не годится, — согласились с мнением морской коровы все морские жители — ведь надо же иметь какое-то мнение.

Но маленькая рыбка стояла на своем:

— Может статься, что эта длинная тонкая, бесконечная змея — самая удивительная рыба в нашем море. Такое у меня предчувствие.

— Да, самая удивительная, — согласился с нею и мы, люди, и скажем это со знанием дела и с полной убежденностью.

Ведь это и есть великий морской змей, тот самый, о котором слагали в старину песни и предания.

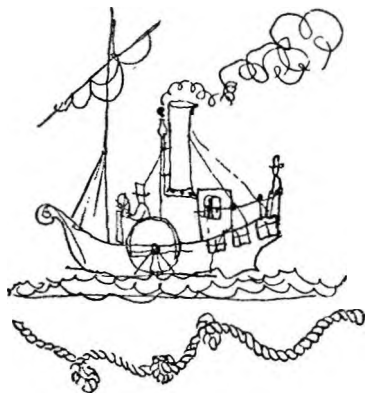
Он выношен и рожден человеческим гением, гений человека опустил его на дно морское, протянул с востока на запад, стал направлять по нему сообщения, что летят быстрее, чем свет солнца долетает до земли. Этот змей все растет, набирается сил, с каждым годом тянется все дальше по морям и океанам, обегает всю землю, прокладывает себе путь в бурных волнах и под тихой, зеркальной гладью, где капитану кажется, будто он плывет по воздуху, — так прозрачна вода, так хорошо видны рыбы, снующие в глубине, словно фейерверк всех цветов радуги.

Глубоко, глубоко под водой залегают этот змей, словно сказочный змей Мидгордсорм<sup>1</sup>. Он опоясал землю и уже вцепился в собственный хвост. Рыбы и морские гады разбивают об него лбы, им никак не понять, что за чудо спустилось сверху: гудящий мыслями всего человечества, говорящий на всех языках мира и все же безмолвствующий, мудрый змей, вестник добра и зла, чудо из чудес мирового океана —

великий морской змей нашего времени.

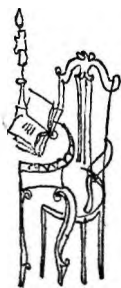
---

<sup>1</sup> Мидгордсорм — в скандинавской мифологии огромный змей, живущий в море, окружающем обиталище людей Мидгорд. Он такой длинный, что может обвиться вокруг земли и укусить себя за хвост.





## САДОВНИК И ГОСПОДА



**В** миле от столицы, посреди старинной усадьбы, стоял красивый барский дом с массивными стенами, башенками и фронтонами. В этом доме жили муж и жена — богатые и знатные дворяне. Они, правда, приезжали сюда только летом, но это было самое любимое их поместье. Дом был красив снаружи, удобен и уютен внутри. Высеченный из камня родовой герб хозяев украшал парадный подъезд. Прекрасные розы обвивали этот герб и поднимались вверх по стене, а перед домом расстился густой ковер зелени. Рядом с белым и красным боярышником здесь красовались редкостные цветы, которые цвели не только в оранжевое, но и под открытым небом.

Недаром у хозяев усадьбы служил хороший садовник. Цветник, фруктовый сад, огород — все это было делом его рук и радовало глаз. За огородом еще сохранялись остатки старого сада, заросшего кустами букса, которые были подстрижены в виде шаров и пирамид. А дальше высились два огромных старых дерева, почти совсем высохших.



Издали казалось, что внезапный порыв урагана сверху донизу облепил их голые сучья густыми комьями навоза. На самом деле это был не навоз, а птичьи гнезда.

В этих гнездах с незапамятных времен жили крикливые стаи ворон и грачей, которые устроили тут настоящий птичий городок и безраздельно царили в усадьбе. Они ведь были первыми поселенцами в здешних краях, исконными владельцами поместья, его подлинными хозяевами. Двуногих обитателей усадьбы они просто презирали, хоть и мирились волей-неволей с существованием столь низменных созданий. А те иной раз палили в птиц из ружей, и тогда стаи взъерошенных, перепуганных ворон и грачей взлетали с криком: «Карр! Карр!»

Садовник не раз говорил господам, что надо бы срубить эти деревья, — они портят вид сада; а как только их не станет, из сада улетят и крикливые птицы. Но господа и слышать не хотели о том, чтобы лишиться деревьев и птичьего гомона. В старых деревьях и в карканье птиц они видели особую прелесть — печать старины, которую хотели сохранить во что бы то ни стало.

— Деревья перешли к птицам по наследству от предков, так пусть же птицы и владеют ими, добрейший Ларсен! — говорили хозяева.

(Ларсеном звали садовника, но для нашей истории это не имеет значения.)

— Разве вам мало места, добрейший Ларсен? В вашем распоряжении цветники и теплицы, фруктовый сад и огород.

Садовник действительно мог распоряжаться цветниками, теплицами, садом и огородом, и он ухаживал за ними, возделывал и пестовал их с усердием и любовью. Господа были этим очень довольны, но не скрывали от садовника, что в других домах их часто угощают такими фруктами и показывают им такие цветы, до которых далеко их собственным цветам и фруктам. Эти слова огорчали садовника, потому что он всем сердцем желал, чтобы сад у его господ был лучший в мире, и ради этого трудился не покладая рук. Руки у него были умелые, а сердце доброе.

Однажды господа пригласили к себе садовника и сказали ему ласково и снисходительно, как и подобает господам, что вчера они были в гостях у своих знатных друзей, и те угостили их яблоками и грушами, да такими сочными, такими ароматными, что сами они, хозяева Ларсена, и все остальные гости пришли в восхищение.

— Конечно, — сказали господа, — те фрукты привезены из-за границы. Но отчего бы Ларсену не попытаться вырастить такие же в их усадьбе. Вот только смогут ли нежные плоды приспособиться к местному климату? По слухам, яблоки и груши, которые господа ели в гостях, были куплены в городе у самого крупного торговца фруктами; к нему-то господа и послали садовника, чтобы разузнать, из какой страны прибыли эти плоды, и выписать оттуда черенки.



Садовник хорошо знал этого торговца, так как по приказу господ продавал ему излишки фруктов из хозяйского сада.

И вот он поехал в город и спросил у торговца, откуда тот получил хваленые яблоки и груши.

— Из вашего собственного сада! — ответил торговец и показал Ларсену яблоки и груши, которые тот сразу узнал.

Ну и обрадовался садовник! Он поспешил к своим господам и сказал, что яблоки и груши, которые они ели в гостях, — из их собственного сада.

Господа ушам своим не верили.

— Быть не может, Ларсен! — говорили они. — Если

вы хотите убедить нас, что это правда, принесите собственноручную расписку торговца фруктами.

И Ларсен принес ее господам.

— Удивительно! — воскликнули они.

Теперь каждый день к господскому столу подавали большие вазы с чудесными яблоками и грушами из их собственного сада. Целыми корзинами рассылались эти фрукты друзьям по соседству, в другие города и даже за границу. Господам это было очень приятно. Однако они никогда не упускали случая напомнить садовнику, что последние две осени погода особенно благоприятствовала фруктовым садам и у всех садоводов был хороший урожай.

Прошло немного времени. Однажды господа были приглашены на обед во дворец. На следующий день они вызвали к себе садовника и рассказали ему, что к королевскому столу подавали необыкновенно сочные и сладкие дыни из собственных королевских теплиц.

— Подите к придворному садовнику, любезный Ларсен, и попросите его дать вам семена этих необыкновенных дынь, хоть немножко.

— Но ведь королевский садовник сам получил от меня эти семена! — радостно воскликнул Ларсен.

— Если так, значит он сумел вырастить из них превосходные дыни, — заявили господа, — дыни, поданные к столу, были одна другой лучше!

— Выходит, гордиться надо мне, — сказал Ларсен. — В нынешнем году у королевского садовника дыни не удались; и вот он увидел, какие чудесные дыни растут в саду вашей милости, отведал их и заказал несколько штук для королевского стола.

— Уж не воображаете ли вы, Ларсен, что за королевским столом подавались дыни из нашего сада?

— Ничуть в этом не сомневаюсь, — ответил Ларсен.

Он пошел к королевскому садовнику и получил у него свидетельство, в котором было сказано, что дыни, подававшиеся за обедом в королевском замке, были доставлены из сада, принадлежащего господам Ларсена.

Господа были поражены. Они рассказывали об этом случае всем и каждому и всякий раз показывали свидетельство королевского садовника. А семена дынь, как прежде черенки яблонь и груш, они стали рассылать во многие страны.

Тем временем из разных мест приходили вести, что посланные черенки привились, яблони и груши приносят отменные плоды, которые названы по имени родовой господской усадьбы. Название усадьбы писали теперь на английский, немецком и французском языках.

Прежние хозяева усадьбы и мечтать об этом не могли.

— Лишь бы только садовник не возомнил о себе невесть что, — встревожились господа.

Но Ларсен думал совсем о другом: он стремился к тому, чтобы сохранить за собой славу одного из лучших садовников в стране и каждый год создавать какой-нибудь новый отличный сорт плодов или овощей. И он создавал их, но в благодарность за его труды ему часто приходилось слышать, что первые его прославившиеся фрукты — яблоки и груши — были все-таки самыми лучшими, а все остальные уже не могли с ними сравниться. Дыни, правда, очень вкусны, но все же далеко не так, как яблоки и груши. Клубника тоже хороша, но не лучше той, которую подают у других господ. А когда однажды у садовника не уродилась редиска, то господа только и говорили, что о неудачной редиске, словно позабыв обо всех других овощах и фруктах своего сада.

Можно было подумать, что господам приятно говорить: «В этом году у вас все уродилось плохо, добрейший Ларсен!» Они были просто счастливы, твердя: «Ах, как плохо все у вас уродилось нынче!»

Несколько раз в неделю садовник приносил в комнаты свежие букеты, подобранные с удивительно тонким вкусом; в этих букетах каждый цветок, сочетаясь с другими цветами, становился как будто еще прекраснее.

— У вас хороший вкус, Ларсен, — говорили господа. — Но не забудьте, что этим даром вы обязаны не самому себе, а господу богу.

Однажды садовник принес господам большую хрустальную вазу, в которой плавал лист кувшинки, а на этом листе, опустив в воду длинный плотный стебель, покоился ярко-голубой цветок величиной с подсолнечник.

— Индийский лотос! — воскликнули господа.

В жизни они не видывали подобного цветка. Они приказали днем выставлять его на солнце, а вечером освещать искусственным светом. И каждый, кто видел этот цветок, приходил в восторг, называя его чудом. Так

назвала его даже знатнейшая дама королевства — молодая принцесса. Она была умная и добрая девушка.

Господа сочли для себя честью преподнести принцессе голубой цветок, и она взяла его с собой во дворец. А они спустились в сад посмотреть, нет ли там другого такого же цветка, но не нашли того, что хотели. Тогда они позвали садовника и спросили, где он достал голубой лотос.

— Мы искали, но не нашли таких цветов ни в оранжерее, ни на клумбах в саду, — сказали они.

— Там их и нет, — улыбнулся садовник. — Этот скромный цветок растет на грядках в огороде. Но, правда, он необыкновенно красив! Он похож на голубой кактус, а на самом деле это всего лишь цветок артишока.

— Как же вы не сказали нам этого раньше? — возмутились господа. — Мы думали, что это редкий заморский цветок! Вы осрамили нас перед принцессой! Она пришла в восторг, как только взглянула на цветок, и сказала, что никогда не видела такого растения, а ведь она прекрасно разбирается в ботанике. Но теперь понятно, почему она его не узнала: науке нечего делать в огороде. И как вам могло прийти в голову, милейший Ларсен, принести в комнаты подобный цветок? Теперь над нами будут потешаться!

И прекрасный голубой цветок, сорванный на грядке, был изгнан из господских покоев, где он оказался не к месту. А господа отправились к принцессе извиниться и объяснить, что цветок был обыкновенным огородным растением, которое садовник вздумал поставить в вазу, за что и получил строгий выговор.

— Это грешно и несправедливо! — укоризненно проговорила принцесса. — Он открыл для нас цветок, о котором мы ничего не знали, показал нам красоту там, где мы и не думали ее искать! Пока артишоки в цвету, я прикажу придворному садовнику каждый день ставить их в вазу в моей комнате.

Так она и сделала.

Тогда господа объявили садовнику, что он снова может поставить в вазу свежий цветок артишока.

— В сущности, цветок и в самом деле красив, — сказали они. — Да, красив, как это ни странно! — И они даже похвалили садовника.

— Он любит, когда его хвалят, — говорили господа. — Он у нас — балованное дитя!

Как-то раз осенью поднялась буря. К ночи она так разбушевалась, что вырвала с корнем несколько могучих деревьев на опушке леса. И к большому горю господ (они так и говорили: «Какое горе!»), но к великой радости садовника, она повалила оба высоких дерева с птичьими гнездами. Слуги потом рассказывали, что к завыванию бури примешивались крики грачей и ворон, которые бились крыльями в оконные стекла.

— Ну, теперь вы, наверное, рады, Ларсен, — сказали господа. — Буря сломала деревья, и птицы улетели в лес. Ничто здесь больше не напоминает о старине; от нее не осталось и следа. Нас это глубоко огорчает!

Садовник ничего не ответил господам. Он молча лежал мечту о том, как он возделает теперь прекрасный, солнечный участок земли, к которому прежде не смел прикоснуться, и превратит его в украшение всего сада на радость своим господам.

Вырванные бурей деревья, падая, смяли и поломали старые буксовые кусты, и садовник посадил на их месте простые полевые и лесные растения родной земли.

Ни один садовник, кроме Ларсена, не решился бы посадить в господском саду подобные растения. А Ларсен каждому отвел подходящий для него участок на солнце или в тени — как кому было нужно. Землю он возделывал с любовью, и земля щедро отблагодарила его.

Здесь поднялся уроженец шотландских пустошей — можжевельник, похожий цветом и очертаниями на итальянский кипарис. Расцвел блестящий колючий терновник, одетый зеленью и зимой и летом. А кругом пышно разросся папоротник разных видов, то напоминавший миниатюрные пальмы, то казавшийся предком нежного прекрасного растения, которое мы называем венерины волосы. Здесь цвел и репейник, который люди обычно презирают, но напрасно, потому что его свежие цветы могут служить украшением любого букета. Репейник рос на сухой почве, а ниже, на более влажном месте, зеленел лопух, тоже презираемое всеми растение, хотя его крупные, мощные листья придают ему своеобразную красоту. Королевская свеча — полевое растение с высоким стеблем и яркими цветами — тянулась ввысь, похожая на огромный много-свечный канделябр. Цвели здесь также ясенник, первоцвет, лесной ландыш, белокрыльник и нежная трехлистная кислица. Любо-дорого было смотреть на всю эту красоту!

А впереди всех, у самой проволочной ограды, расположился ряд карликовых грушевых деревьев, привезенных из Франции. Погода стояла солнечная, уход за ними был заботливый, и они вскоре стали приносить крупные, сочные плоды — такие же, как и у себя на родине.

На месте двух старых засохших деревьев садовник во-друзил два длинных шеста: один из них был увенчан Даннеброгом — датским флагом, а другой шест летом и осенью был обвит душистыми побегами хмеля; зимой же к нему подвешивали кормушку, чтобы птицам небесным было чем поживиться на рождество.

— Наш Ларсен становится сентиментальным на старости лет, — пожимали плечами господа. — Но он служит нам преданно и честно.

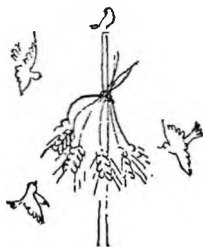
В новогоднем номере одного столичного иллюстрированного журнала появилась гравюра, изображавшая старое поместье. На ней виден был и Даннеброг и кормушка с рождественским угощением для птиц, а подпись гласила: «Какая это прекрасная мысль — возродить давний обычай, столь характерный для подобной старинной усадьбы!»

— Что бы наш Ларсен ни придумал, об этом сейчас же развоняют по всему свету! — удивлялись господа. — Прямо счастливцев какой-то! Право, нам, чего доброго, придется еще гордиться тем, что он служит у нас.

Но они, разумеется, и не думали этим гордиться, ибо никогда не забывали, что они знатные господа, а значит, могут в любую минуту прогнать Ларсена, если им вздумается. Но они его не прогоняли, это были добрые люди, а таких добрых людей на белом свете очень много, к счастью для разных там Ларсенов.

Вот и вся история о садовнике и господах.

Поразмысли-ка о ней на досуге.





### О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЛА СТАРАЯ ЙОХАННА



**В**етер шумит в ветвях старой ивы. Сдается, что внемлешь песне; поет ее ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старую Йоханну из богдельни; она все знает, она ведь родилась тут, в окрестности.

Много лет тому назад, когда мимо ивы еще проходила большая столбовая дорога, ива была уже большим, могучим деревом. Стояла она, где и теперь стоит, близ пруда, перед выбеленным домиком портного. Пруд этот в те времена был так велик, что к нему пригоняли на водопой скотину, а в теплые летние дни в нем полоскались голые деревенские ребятишки. Под самым деревом стоял тогда большой камень, изображавший верстовой столб; теперь он свалился и оброс побегами ежевики.

Новую большую дорогу провели по ту сторону богатой крестьянской усадьбы, а старая стала проселочною, пруд же превратился в подернутую зеленою плесенью лужу. Бухнется в нее лягушка — зелень разойдется, и пока-



жется грязная, черная вода. По краям ее росли и растут осока, тростник и желтые ирисы.

Домишко портного покосился от старости; крыша превратилась в рассадник мха и дикого чеснока. Голубятня обветшала, и в ней свил себе гнездо скворец, а под крышей налепили себе гнезда ласточки, словно домик был приютом счастья.

Когда-то оно так и было; теперь же в нем тишина и запустение. Живет в нем или, вернее, прозябает, Дурачок Расмус, как его прозвали. Он родился в этом доме, играл тут ребенком, прыгал по полю, лазил через изгородь, полоскался в пруде и карабкался на старую иву.

Она и теперь еще подымает к небу свои роскошные, красивые, большие ветви, как и тогда. Но буря слегка погнула ее ствол, время проделало в нем трещину, ветер занес в нее землю, и из нее сами собою выросли трава, зелень и даже маленькая рябинка.

Ласточки возвращаются сюда каждую весну, начинают летать вокруг дерева и над крышей и чинить и чистить свои старые гнезда; Расмус же махнул рукою на свое гнездо, никогда не чистил и не чинил его. «К чему? Что толку?» — вот какая была у него поговорка, унаследованная от отца.

И он оставался в своем гнезде, а ласточки улетали, но на следующую весну возвращались опять — верные птички! Скворец посвистывал, улетал, опять возвращался и опять насвистывал свою песенку. Когда-то и Расмус свистал с ним взапуски; теперь он и свистать и петь разучился.

Ветер шумел в ветвях старой ивы, шумит и посейчас; сдается, что внемлешь песне; поет ее ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старуху Йоханну из богадельни: она все знает, может порассказать о том, что было здесь в старину, она — живая хроника.

Дом был еще нов и крепок, когда в него перебрались на житье деревенский портной Ивар Эльсе с женою Марен, люди честные, работающие. Старуха Йоханна была в то время еще девчонкою; отец ее, выделявавший деревянные башмаки, считался чуть ли не последним бедняком в околотке. Много перепало девочке славных кусков хлеба с маслом от доброй Марен, — у этой-то еды всегда было вдоволь. Она пользовалась большою благосклонностью помещицы, вечно смеялась, вечно была

весела, никогда не вешала носа, болтала без умолку, но, работая языком, не покладала и рук. Иголка в ее руках двигалась так же быстро, как язычок во рту; кроме того, она смотрела и за хозяйством, и за детьми, а их была без малого дюжина — целых одиннадцать; двенадцатый так и не явился.

— У бедняков вечно полно гнездо птенцов! — ворчал помещик. — Топить бы их, как котят, оставляя лишь одного или парочку из тех, что покрепче, так бед-то было бы меньше!

— Упаси боже! — говорила жена портного. — Дети — благословение божье, радость в доме! За каждого лишнего ребенка прочтешь лишний раз «Отче наш» — вот и все! А если и туго приходится и трудно кормить столько ртов, так стоит приналечь маленько на работу и выйдешь из беды честь честью! Господь не забудет нас, коли мы его не забываем!

Помещица одобряла Марен, ласково кивала ей головой и часто трепала ее по щеке. А было время, что она даже целовала Марен, но это тогда еще, когда сама была маленькою девочкой, а Марен — ее нянькой. Обе очень любили друг друга, и добрые отношения между ними не порывались.

Каждый год, к рождеству, в доме портного появлялся запас провизии на зиму: бочка муки, свиная туша, два гуся, бочонок масла, сыр и яблоки. Все это шло с помещичьего двора и помогало пополнить кладовую. Ивар Эльсе глядел тогда веселее, но скоро опять затягивал свой вечный припев: «Что толку?»

В домике портного было чисто, уютно; на окнах занавески, на подоконниках цветы: гвоздики да бальзамины. На стене в рамке висела азбука, вышитая Марен, а рядом стихотворение, тоже ее собственной работы — она умела даже подбирать рифмы.

— Все-таки преимущество перед другими! — говаривала она смеясь.

Она всегда была в духе, никогда не говорила, как муж: «Что толку?» У нее была своя поговорка: «Надейся на бога, и сам не плошай!» Так она и делала, и весь дом держался ею. Детишки росли здоровыми, подрастали, покидали родное гнездо, становились сами на ноги и вели себя хорошо. Самый меньшой из них, Расмус, ребенком был просто красавчик, так что один из лучших живописцев

в городе даже взял его раз моделью, но нарисовал совсем голеньким, как мать родила! Картинка эта висела теперь в королевском дворце; помещица видела ее и сейчас признала маленького Расмуса, даром что он был без платья.

Но вот настало тяжелое время. Портной схватил ревматизм в обеих руках; руки распухли; ни один доктор не мог ничего поделывать, даже сама знахарка Стине.

— Не надо вешать носа! — сказала Марен. — В этом толку мало! Теперь у нас парюю здоровых рук меньше, так задам побольше дела моим! Да и Расмус умеет держать иглу в руках!

Он уже и в самом деле сидел на столе, насвистывал и шил; веселый он был мальчик!

Но целыми днями ему не след было сидеть за работою, говорила мать, грешно так мучить ребенка; надо было дать ему и побегать и порезвиться!

Первою подругою Расмуса была Йоханна; она была еще из более бедной семьи, чем Расмус, красотою не отличалась, ходила босиком и в лохмотьях, — некому было о ней заботиться, самой же зашить свои дыры ей в голову не приходило. Она была еще ребенок и весела, как птичка, порхающая на солнышке.

Чаще всего играли дети под большой ивой у каменного столба.

Расмус задавался великими замыслами; он мечтал сделаться важным портным и поселиться в городе, где живут такие мастера, что держат по десяти подмастерьев, — это он слышал от своего отца. Вот к такому-то мастеру Расмус и поступит в подмастерья, а потом сам станет мастером. Тогда Йоханна непременно должна прийти к нему в гости, а если к тому времени выучится стряпать, то может остаться у них и навсегда — готовить им кушанье, и тогда ей отведут свою комнату.

Йоханна не совсем-то этому верила, но Расмус был вполне уверен, что все оно так и сбудется.

Так они сидели вместе под старым деревом, а ветер шумел в ветвях, словно пел песню, ива же пересказывала ее.

Осенью все листья опали; с голых ветвей закапал дождь.

— Они снова зазеленеют на будущий год! — говорила матушка Эльсе.

— Что толку? — ответил муж. — Новый год — новые печали, новые заботы о куске хлеба!

— Кладовая наша полна! — возразила жена. — Спасибо доброй барыне! Я здорова, сил мне не занимать, — грех нам и жаловаться!

Рождество семья помещика проводила в имении, но через неделю после Нового года перебиралась обыкновенно в город, где весело проводила зиму, посещая разные балы и собрания и бывая даже при дворе.

Госпожа выписала себе из Парижа два дорогих платья, из такой материи, такого покроя и такой работы, что Марен сроду не видывала ничего великолепнее. Она и выпросила у госпожи позволение прийти в замок еще раз вместе с мужем, чтобы и он мог полюбоваться на платья.

— Ничего такого ни одному деревенскому портному ведь и во сне не снилось! — сказала она.

И вот он увидел платья, но не сказал ни слова, пока не вернулся к себе домой, да и тут сказал лишь то, что говорил всегда: «Что толку?» И на этот раз слова его оказались вещими.

Господа переехали в город, начались балы и праздники, но тут-то как раз старый помещик и умер. Не пришлось молодой госпоже и пощеголять в своих великолепных платьях! Она была очень огорчена, оделась с ног до головы в траур, не позволяла себе надеть даже белого воротничка. Все слуги тоже были одеты в траур, а парадную карету обили тонким черным сукном.

Была ясная морозная ночь; звезды сияли на небе, снег так и сверкал, когда к воротам усадебной церкви подъехала колесница с телом помещика; его привезли сюда из города, чтобы схоронить в фамильном склепе. Управляющий помещьем и деревенский староста, оба верхом, с факелами в руках, встретили гроб у калитки кладбища. Церковь была освещена, священник встретил гроб в дверях. Затем гроб внесли на возвышение перед алтарем, священник сказал приличное случаю слово, а присутствующие пропели псалом. Сама госпожа тоже находилась в церкви; она приехала в парадной траурной карете, обитой черным сукном и внутри и снаружи; ничего такого деревенские жители сроду не видывали.

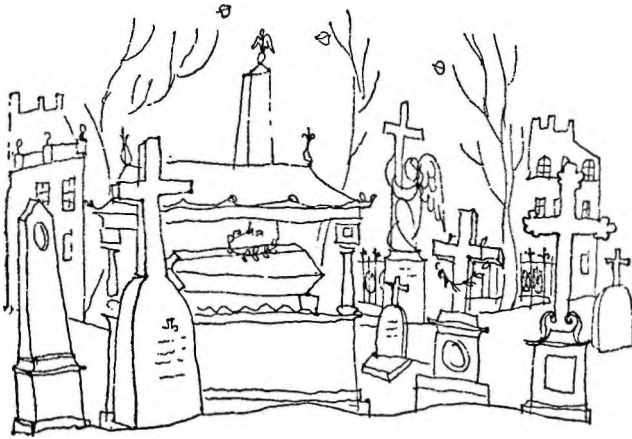
Всю зиму толковали они о печальной, но пышной церемонии. Да, вот это так были господские похороны!

— Сейчас видно, какой человек умер! — говорили они. — Родился он знатным баринном, и схоронили его как знатного барина!

— Что толку? — сказал опять портной. — Теперь у него ни жизни, ни имени! У нас хоть жизнь-то осталась!

— Да не говори же таких слов! — прервала его жена. — Он ведь обрел вечную жизнь в царствии небесном!

— А кто тебе это сказал? — возразил муж. — Мертвое тело — хорошее удобрение для земли, и только! А этот



господин даже и удобрением-то послужить не может, он слишком знатен для этого — будет себе гнить в склепе!

— Да оставь ты свои безбожные речи! — вскричала жена. — Говорю тебе: он обрел вечную жизнь!

— А кто тебе сказал это, Марен? — повторил портной.

Но Марен набросила передник на голову маленького Расмуса — ему не след было слушать такие речи — увела его в сарай и там принялась плакать.

— Это говорил, Расмус, не отец твой, а злой дух! Он забрался в дом и овладел языком твоего отца! Прочти «Отче наш»! Прочтем вместе! — И она сложила ручки ребенка. — Ну, теперь у меня отлегло от сердца! — сказала она. — Надейся на бога, и сам не плошай!

Год скорби подходил к концу, вдова ходила уже в полутрауре, а в сердце ее печаль давно сменилась полной радостью.

Поговаривали, что к ней присватался жених, и она уже подумывает о свадьбе. Марен знала об этом кое-что, а священник и того больше.

В вербное воскресенье, после проповеди, он должен был огласить предстоящее бракосочетание вдовы. Жених ее был какой-то не то каменотес, не то резчик по камню, толковали в народе. Как называть его — никто хорошенько не знал: в те времена Торвальдсен и его искусство еще не были знакомы народу.

Новый помещик был не из знатного рода, но вид у него был очень важный, и занимался он чем-то таким, о чем никто не имел настоящего понятия; знали только, что он имеет дело с глиной да с камнем, что он большой мастер своего дела и к тому же молод и красив.

— Что толку? — говорил, однако, Ивар Эльсе.

И вот в вербное воскресенье, после проповеди, состоялось оглашение: затем пропели псалмы и приступили к причащению. Портной, Марен и Расмус были в церкви; родители подошли к причастию, мальчик остался сидеть на своем месте, — он еще не был конфирмован.

В последнее время в доме портного ощущался сильный недостаток в одежде; старые платья все изнасились, их уж вывертывали, перешивали и чинили не раз. В этот же день все трое — и муж, и жена, и сын — были в новых платьях, но из черной, траурной материи, словно собрались на похороны, — на платья им пошла траурная обивка кареты. Мужу вышли из нее сюртук и брюки, жене — платье и Расмусу — полный костюм, да еще на рост, чтобы платье пригodiлось и к конфирмации. На все это, как сказано, пошла и внутренняя и наружная обивка траурной кареты. Никому, собственно, не было нужды добираться до первоначального употребления материи, но люди все-таки живо добрались, и знахарка, умная баба Стине, да еще несколько таких же умниц, которые, однако, не промышляли своим умом, объявили, что эти платья накличут на головы семьи несчастье: «Раз вырядился в обивку траурной кареты — сам отправишься на кладбище!»

Йоханна заплакала, услышав такие речи, и так как случилось, что с того самого дня портному стало хуже, то скоро должно было выясниться, на чью именно голову падет несчастье.

Наконец оно и выяснилось.

В первое же воскресенье после троицы портной Эльсе умер. Теперь Марен осталась одна, — как знаешь, так и справляйся! Она и справлялась: надеялась на бога, и сама не плошала!

Через год Расмус подтвермовался. Пришла пора отдать его в город в учение к настоящему портному, хоть и не к такому, который держал двенадцать подмастерьев. Этот держал только одного, мальчика же Расмуса можно было считать разве за пол-подмастерья. Расмус был весел, рад тому, что отправляется в город, но Йоханна плакала; она любила его больше, чем сама подозревала. Мать Расмуса осталась в доме одна и продолжала заниматься своим ремеслом.

В это-то время и была открыта новая проезжая дорога, старая же, что шла мимо ивы и дома портного, стала проселочною; пруд зарос, превратился в подернутую зеленою плесенью лужу; верстовой столб свалился — ему незачем было больше стоять, но дерево стояло по-прежнему, все такое же крепкое и красивое, и ветер по-прежнему шумел в его ветвях.

Ласточки улетели, улетел и скворец, но весною все они вернулись опять, потом опять улетели и опять прилетели, когда же вернулись в четвертый раз, вернулся домой и Расмус. Он стал подмастерьем и выравнялся в красивого, но худощавого и слабого здоровьем парня. Он хотел было немедля вскинуть котомку на плечи и пуститься в чужие страны, куда его давно тянуло, но мать стала его удерживать: дома, дескать, лучше! Все дети ее разлетелись из гнезда, он был младшим, дом должен был достаться ему; работы же он и здесь мог достать вдоволь: пусть только сделается странствующим портным, переходит из дома в дом по всей окрестности, работая недели по две то тут, то там, — чем не путешествие? Расмус сдался.

И вот он опять спал под родною кровлею, опять сидел под старою ивою и прислушивался к шуму ветвей.

Он был красив, свистал, как птица, умел петь и новые и старинные песни и скоро стал желанным гостем во многих богатых крестьянских домах, особенно же в доме Клауса Гансена, чуть ли не первого богача в окрестности.

Дочка его Эльза цвела как роза; улыбка не сходила с ее уст, и находились-таки злые люди, поговаривавшие, что она смеется только для того, чтобы показывать свои хорошенькие зубки. Что ж, такая уж она была хохотунья, вечно готова дурачиться, шутить! К ней все шло.

Она полюбила Расмуса, а он полюбил ее, но ни он, ни она не обмолвились о том друг другу ни словом.

И вот он стал задумываться и грустить; в его характере было больше отцовского, нежели материнского. Весел он был только в присутствии Эльзы; тогда они оба смеялись и шалили напрадалую, но, хотя и не раз при этом представлялся удобный случай, Расмус так и не признался Эльзе в своей любви. «Что толку? — думал он. — Родители ищут ей богатого жениха, а у меня ничего нет. Так лучше бежать от нее!» Но на это у него не хватало сил; Эльза как будто держала его на привязи и могла заставить его петь и свистать, словно ручную птицу.

Йоханна служила у Клауса Гансена в работницах; на ней лежала разная черная работа по дому; она возила на поле молочную бочку и доила там вместе с другими работницами коров, возила туда и навоз, когда надо было. Она не бывала в хозяйских горницах и не часто видала Расмуса или Эльзу, но слышала от других, что они чуть ли не жених и невеста.

«Расмус идет в гору! — думала она. — И дай ему бог!» Но глаза ее при этом наполнились слезами, хотя, казалось бы, о чем тут плакать?

В городе была ярмарка; Клаус Гансен отправился туда с дочерью, а с ними и Расмус. Он сидел рядом с Эльзой всю дорогу, и туда и обратно. Сердце его было переполнено любовью, но он не сказал о том Эльзе ни слова.

«Должен же он, однако, объясниться со мною! — думала девушка вполне резонно. — А не заговорит сам, так я расшевелю его!»

И скоро в доме стали поговаривать, что за Эльзу сватается самый богатый крестьянин в окрестности. Так оно и было, но никто не знал, что ответила ему Эльза.

У Расмуса и голова кругом пошла.

Однажды вечером Эльза надела на пальчик золотое кольцо и спросила у Расмуса, что оно означает.

— Обручение! — ответил тот.

— А с кем, по-твоему? — спросила она.

— С тем богачом, что сватался за тебя!

— Угадал! — сказала она, кивнула головкой и скрылась.

Скрылся и он, пришел домой к матери совсем вне себя и сейчас же принялся завязывать свою котомку:



«В путь-дорогу! Куда глаза глядят!» Не помогли и слезы матери.

Он вырезал себе палку из ветви старой ивы и так навистывал при этом, словно у него и невеста как весело было на душе, — чего-чего ведь не насмотрится он теперь на белом свете!

— Для меня-то это большое горе! — сказала мать. — Но для тебя, конечно, самое лучшее уехать, так и мне надо примириться с этим. Но надейся на бога, да не плошай и сам, и я увижу тебя опять молодцом!

Он пошел по новой дороге и увидел издали Йоханну, которая везла на поле навоз. Она еще не успела заметить его, а ему и не хотелось этого, и он присел за изгородью у канавы. Йоханна проехала мимо.

Расмус отправился бродить по белу свету, но где бродил — никому не было известно. Мать, впрочем, надеялась, что не пройдет и года, как он вернется домой. «Теперь ведь он увидит столько нового, будет ему чем поразвлечься, ну, он мало-помалу и войдет в старую колею. Да в характере больно много отцовского, лучше бы он был в меня, бедное дитячко! Но он все-таки вернется домой — не может же он бросить и меня и дом!»

И мать собиралась ждать год; Эльза прождала только месяц, а потом отправилась тайком к знахарке Стине; та и полечивала и на картах и на кофейной гуще ворожила.

Она, конечно, сейчас же узнала, где находится Расмус, — только в кофейную гущу поглядела. Он находится в чужом городе, но названия его она не могла прочесть. В городе том было много солдат и красивых девушек, и он собирался или стать под ружье, или жениться на одной из девушек.

Тут Эльза не выдержала и заявила, что отдала бы всю свою копилку с деньгами, только бы вернуть Расмуса, но... никто не должен был знать об этом!

И старуха обещала вернуть Расмуса; она знала одно средство, правда, очень опасное, так что прибегать к нему следовало только в крайних случаях. Надо было заварить кашу и поставить ее на огонь: каша будет кипеть, и Расмусу — где бы он ни был — придется вернуться, вернуться туда, где кипит каша и ждет его возлюбленная. Пройдут, может быть, месяцы, прежде чем он вернется, но вернуться

он должен, если только жив. Он будет спешить домой без оглядки, без отдыха, день и ночь, через моря и горы, во всякую погоду, несмотря ни на какую усталость. Его будет неудержимо тянуть домой, и он вернется домой!

Была первая четверть луны, а это-то как раз, по словам Стине, и требовалось для ворожбы. Погода стояла бурная, старая ива так и трещала. Стине отломила от нее веточку, связала ее узлом — узел этот должен был притянуть Расмуса — и бросила ее в горшок. Затем знахарка набрала с крыши дома мху и дикого чеснока, положила в горшок и их, поставила горшок на огонь и велела Эльзе вырвать листок из молитвенника. Та случайно вырвала листок с опечатками. «Все едино!» — сказала Стине и бросила и его в кашу.

И много еще всякой всячины пришлось бросить в кашу, которая должна была кипеть не переставая, пока Расмус не вернется домой. Черному петуху старой Стине пришлось расстаться со своим красным гребешком, а Эльзе — со своим толстым золотым кольцом. И оно пошло в кашу; Эльза так никогда и не получила его обратно; впрочем, Стине заранее предупредила ее об этом. Страсть какая была умная эта Стине! Да и не перечесть всех вещей, какие попали в кашу, которая не сходила с огня, или с горячих угольев, или с теплой золы. Знали же о том только Стине да Эльза.

Месяц нарождался и убывал, а Эльза все навевалась к Стине с тем же вопросом: «Что, все еще не видать его?»

— Много знаю я! — отвечала Стине. — Много вижу, но сколько еще остается ему идти — не вижу. Впрочем, он уже перешел первые горы! Теперь он в море и терпит непогоду! Но долго еще идти ему через дремучие леса! Ноги его покрылись волдырями, тело его треплет лихорадка, а он все должен идти, идти без конца, без отдыха!

— Ах нет, нет! — сказала Эльза. — Мне жалко его!

— Ну, уж теперь его нельзя остановить! А остановив — он упадет мертвым на дороге!

Прошел год. Стояло полнолуние; ветер шумел в ветках ивы; на небе, при свете месяца, показалась радуга.

— Вот это хороший знак! — сказала Стине. — Значит, Расмус скоро придет!

Но он не приходил.

— Да, коли ждешь, время тянется ой-ой как долго! — говорила Стине.

— Ну, а мне надоело ждать! — сказала Эльза, стала заходить к Стине все реже и реже и перестала приносить ей новые подарки.

На душе у Эльзы становилось все легче, и вот в одно прекрасное утро все узнали, что Эльза согласилась выйти за богача крестьянина.

Она отправилась взглянуть на его двор и земли, на скот и прочее добро; все оказалось в добром порядке, и свадьбу незачем было больше откладывать.

Отпраздновали ее на славу; пировали целых три дня. Плясали под звуки скрипок и кларнетов. Никто из окрестных жителей не был обойден приглашением; была на свадьбе и матушка Эльсе, и, когда веселье кончилось, дружки поблагодарили гостей за честь, а музыканты сыграли в последний раз, она пошла домой с полною корзинкой остатков от свадебного угощения.

Дверь дома она приперла снаружи, продев в колечки щепку, но, подходя к дому, она заметила, что щепка выдернута и дверь стоит настежь. В горнице сидел Расмус! Он вернулся домой, вернулся в этот самый час. Но, боже, на нем не было лица! Как он пожелтел, похудел — одни кости да кожа!

— Расмус! — вскричала мать. — Тебя ли я вижу? Жалость берет, глядя на тебя! Но как же я рада, что ты вернулся!

И она угостила его вкусными кушаньями, которые принесла с пира: куском жаркого и свадебным пирожным.

А он сказал, что часто вспоминал в последнее время мать, свой дом и старую иву. Диво просто, как часто снились ему это дерево и босоногая Йоханна!

Об Эльзе он и не упомянул. Он был болен и слег в постель; мы-то не подумаем, что в болезни его и возвращении была виновата каша Стине, это думали только сама Стине да Эльза, но и они молчали о том.

У Расмуса сделалась горячка; болезнь была заразная, и никто не заглядывал в домик портного, кроме Йоханны. Она горько плакала, глядя на больного.

Доктор прописывал ему лекарства, но он не хотел их принимать.

— Что толку? — говорил он.

— Как что? Поправишься! — уговаривала его мать. — Надейся на бога, да и сам не плошай! Я бы жизнь

отдала, только бы мне увидеть тебя опять здоровым и веселым, услышать твой свист и пение!

И Расмус избавился от болезни, но зато передал ее матери, и господь отозвал к себе ее, а не его.

Пусто стало в доме; хозяйство пришло в упадок.

— Плох он! — говорили про него соседи. — Совсем дурачком стал!

Бурную жизнь вел он во время своих странствований, вот что высосало из него жизненные соки, а не каша! Волосы его поредели и поседели; к настоящему труду он был уже негоден. «Да и что толку?» — говорил он и охотнее заглядывал в кабачок, чем в церковь.

Однажды ненастным осенним вечером он с трудом тащился по дороге из кабачка к себе домой; матери его давно не было в живых; ласточки и скворец улетели; все покинули его, кроме Йоханны. Она догнала его и пошла с ним рядом.

— Возьми себя в руки, Расмус! — сказала она.

— Что толку? — возразил он.

— Дурная у тебя поговорка! — продолжала она. — Вспомни-ка лучше поговорку матери: «Надейся на бога, и сам не плошай!» Ты вот этого не делаешь, Расмус, а надо! Никогда не говори: «Что толку?» Этим ты подрываешь в корне всякое дело!

Она проводила его до дверей дома и ушла, но он не вошел в дом, а присел под старую ивою на повалившийся верстовой столб.

Ветер шумел в ветвях дерева; слышалась не то песня, не то речь, и Расмус отвечал на нее, но никто не слышал его, кроме дерева да шумящего в ветвях ветра.

— Брр! Как холодно! Верно, пора в постель! Уснуть, уснуть!

И он пошел, да не домой, а к пруду, там споткнулся и упал. Дождь так и лил, ветер обдавал его холодом, но он ничего не чувствовал. Встало солнышко, к пруду стали слетаться вороны, и Расмус очнулся, но тело его почти зачоченело. Упади он туда, где теперь лежали его ноги, головою, ему бы не встать вовеки, болотная плесень стала бы его саваном!

Днем в дом портного зашла Йоханна; не будь ее, плохо бы пришлось Расмусу: она свезла его в больницу.

— Мы знаем друг друга с детских лет! — сказала она. — Мать твоя поила и кормила меня; никогда мне не

воздать ей за это! Но я надеюсь, что ты выздоровеешь и опять станешь человеком!

И господу богу угодно было поднять его на ноги. Но в здоровье его, и телесном и духовном, пошли с тех пор скачки — то лучше, то хуже.

Ласточки и скворец по-прежнему улетали и прилетали; Расмус состарился преждевременно. Одиноким бобылем жил он в своем доме, который ветшал все больше и больше. Совсем обнищал Расмус, стал беднее Йоханны.

— Веры у тебя нет! — говорила она. — А коли у нас нет веры в бога, так что же у нас есть? Следовало бы тебе сходить к причастию! Ты ведь не причащался с самой конфирмации.

— Что в этом толку? — ответил он.

— Ну, коли ты так рассуждаешь, так лучше и не ходи! Но вспомни свою мать, свое детство! Ты был тогда добрым, набожным мальчиком. Хочешь, я прочту тебе псалом?

— Что толку? — молвил он.

— Меня псалмы всегда утешают! — сказала она.

— Йоханна, ты стала святошей! — И он посмотрел на нее усталым, тусклым взглядом.

А Йоханна прочла псалом — не по книге, у нее не было ее, а наизусть.

— Прекрасные слова! — сказал он. — Но я не могу хорошенько вникнуть в них. Голова у меня такая тяжелая.

Расмус стал стариком, но и Эльза была уже немолода. Упомянем о ней к слову, Расмус же никогда не упоминал о ней. Она была уже бабушкой. Резвая маленькая внучка ее играла раз с другими деревенскими детьми, а Расмус проходил мимо, опираясь на палку. Увидав детей, он остановился и с улыбкой стал смотреть на их игру, — в памяти его воскресло былое. Но внучка Эльзы указала на него пальчиком и закричала: «Дурачок Расмус!» Другие девочки подхватили: «Дурачок Расмус!» — и пустились преследовать старика.

Тяжелый то был, пасмурный день; за ним потянулись такие же, но в конце концов ненастье всегда сменяется солнышком.

Утро в день троицы выдалось чудесное; церковь вся была убрана зелеными березками; пахло точно в лесу; солнышко играло на церковных стульях; большие свечи

у алтаря так и сияли. Приступили к причащению; Йоханна была в числе причастниц, но Расмуса не было. Как раз в это утро господь отозвал его к себе.

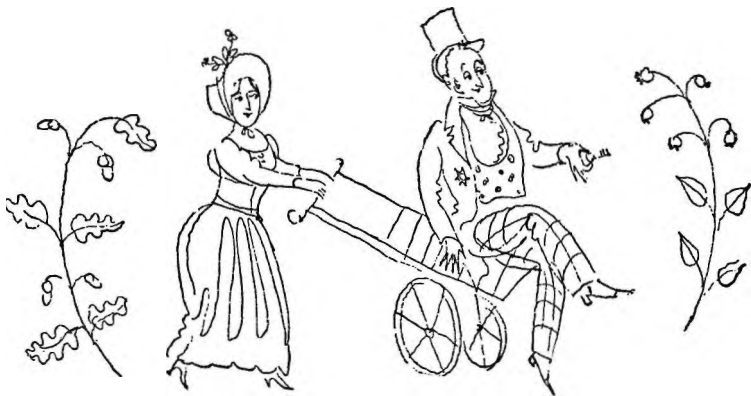
А у бога всякий найдет и милосердие и сострадание!

Прошло много лет; дом портного все еще стоит, все еще держится, но в нем уже никто не живет — он, пожалуй, упадет в первую же бурю. Пруд весь зарос тростником и трилистником.

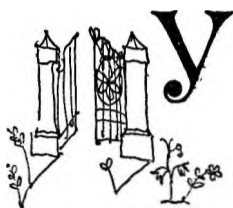
Ветер шумит в ветвях старого дерева. Сдается, что внемлешь песне; поет ее ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старую Йоханну из богадельни!

Она живет там, поет свой псалом, который пела Расмусу, вспоминает о нем и молит за него творца — верная душа! Она-то вот и может рассказать тебе о былом, растолковать, о чем шумит ветер в ветвях старой ивы!





## КЛЮЧ ОТ ВОРОТ



**У** каждого ключа своя история, и самих-то ключей много: есть камергерские ключи, есть часовые, есть ключи святого Петра и много других. Мы могли бы рассказать кое-что обо всех, но теперь расскажем только о ключе надворного советника.

Ключ этот делал слесарь, но самому-то ключу могло показаться, что его ковал кузнец — так тот неистово колотил и пилил его. Ключ был чересчур велик для брючных карманов — приходилось носить его в сюртучном. Тут он частенько полеживал в потемках; обычное же место его было на стене, рядом с силуэтом, изображавшим советника в детском возрасте; лицо советника напоминало сдобную лепешку, окруженную курчавыми волосами.

Говорят, что в характере и манерах всякого человека есть нечто, напоминающее о созвездии, под которым он родился, например — о созвездии Быка, Девы, Скорпиона. Но советница не ссылалась ни на одно из созвездий, поименованных в календаре, а говорила, что муж ее

родился под никому неизвестным созвездием Тачки — его вечно надо было подталкивать. Отец толкнул его на службу, мать толкнула жениться, а жена дотолкала до чина надворного советника, о чем, впрочем, никогда не проговаривалась. Она была рассудительная, честная женщина, умела и помолчать кстати и толкнуть вовремя.

Советник был господином в годах и довольно полным — «в пропорцию», как выражался сам. Был он также человеком начитанным, добродушным и к тому же отличался «ключевою мудростью». Смысл последнего выражения поймем потом. Он всегда был в духе, любил всех людей, охотно болтал со всеми, и уж если, бывало, уйдет из дому, да еще без жены, которая вечно подталкивала его, то залучить его опять домой было мудрено. Ему надо было поговорить с каждым встречным знакомым, а знакомых у него была пропасть, так время-то и уходило, а дома всё ждали да ждали хозяина обедать.

Советница караулила мужа у окна.

— Ну, идет! — говорила она кухарке. — Подогрей суп!.. Ах нет, отставь — переварится! Советник остановился и говорит с кем-то!.. Ну, вот теперь идет! Подогревай!

Но советник и не думал приходить.

Он был способен дойти до самых ворот своего дома, кивнуть жене головою и застрять на самом пороге, если завидит на улице знакомого. Как не перекинуться словечком-другим! А случись ему в то же время завидеть еще знакомого, он брал за пуговицу пальто первого, протягивал руку второму и уже окликал проходящего мимо третьего.

Вот был настоящий искус для советницы!

— Советник! Советник! — кричала она. — Нет, этот человек положительно рожден под созвездием Тачки: сам сдвинуться с места не может, все надо его подталкивать!

Советник очень любил также заходить в книжные лавки и рыться в книгах и журналах. Он даже платил своему знакомому книгопродавцу небольшую сумму за право пробегать все новые книги, разрезая их только вдоль, а не поперек, — иначе их нельзя было бы потом продать. Он стал, не в обиду ему будь сказано, «ходячей газетой»: знал обо всех помолвках, свадьбах и похоронах, о всяких сплетнях, и устных и печатных, и даже иногда таинственно намекал на что-то такое, о чем не знал никто, кроме



него самого. Подобные секретные сведения он получал от своего ключа.

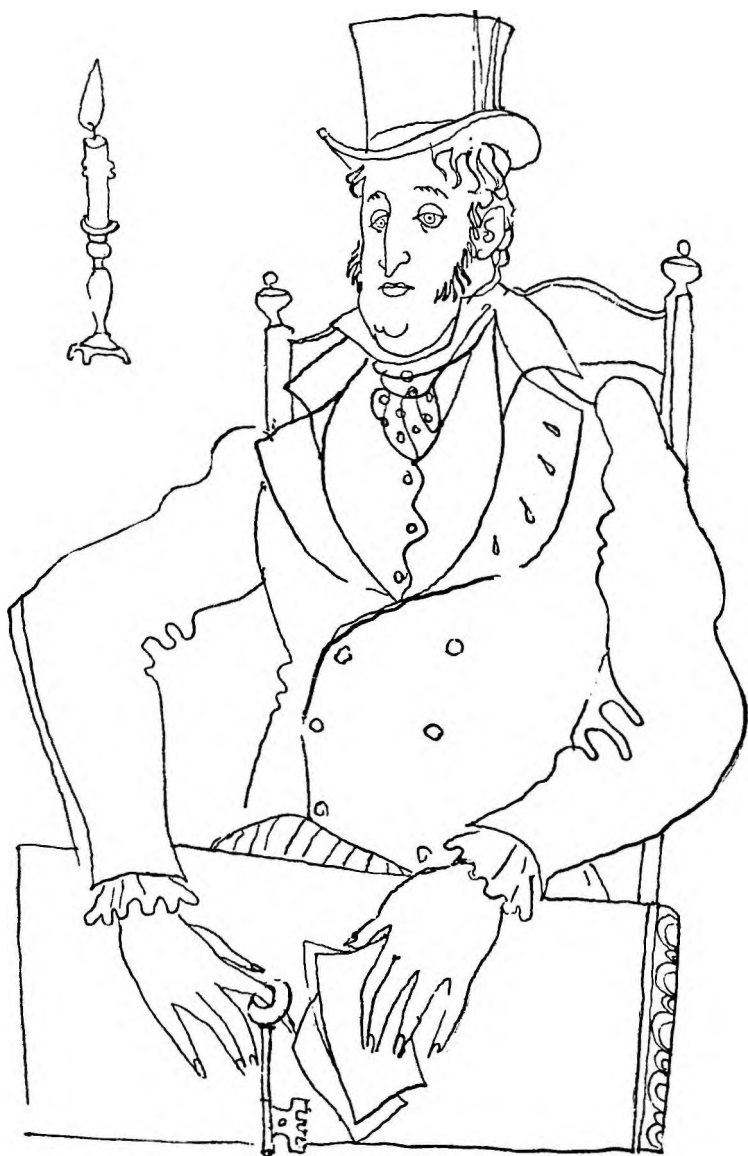
Советник и советница с самой женьтьбы своей жили в собственном доме, и за все это время у них был все один и тот же ключ от ворот, но сначала-то никто и не подозревал о чудесных свойствах ключа; они обнаружались гораздо позже.

Было это в царствование короля Фредерика VI. Копенгаген в то время не имел еще газового освещения, а только ворванное; не было тогда и Тиволи, не было и «Казино», не было ни дилижансов, ни конно-железных дорог. Сравнительно с настоящим по части развлечений было тогда бедно. По воскресеньям обывателям столицы предоставлялось на выбор: или предпринять прогулку за город на кладбище, почитать там надгробные надписи, потом усесться на травку, распаковать корзинку со съестными припасами, выпить да закусить, или же отправиться в Фредериксбергский сад, где на площадке перед дворцом играла полковая музыка, а в аллеях толпился народ, смотревший, как королевская фамилия катается в лодке по узким каналам. Старый король сам правил рулем, рядом с ним сидела королева, и оба приветливо отвечали на поклоны всех подданных, не разбирая сословий и чинов. В Фредериксберг стекались по преимуществу люди посостоятельнее и распивали тут чай. Кипяток можно было достать в крестьянском домике, что стоял в поле против сада, но чайники приходилось приносить свои.

В один прекрасный воскресный день советник с советницей и отправились после обеда в Фредериксбергский сад; служанка шла впереди с чайником и корзиною со съестным и водочкою.

— Захвати с собой ключ от ворот! — сказала советница. — Не то нам трудно будет попасть в дом, если мы запоздаем. Ты знаешь, ворота запираются, как только стемнеет, а проволока колокольчика вчера оборвалась!.. А ведь мы непременно запоздаем! Из Фредериксберга мы пойдем в театр смотреть пантомиму «Арлекин — старшина молотильщиков». Там еще люди спускаются на землю на облаке! И вход стоит две марки с персоны!

И вот они отправились в Фредериксберг, слушали там музыку, любовались королевскими лодками, изукрашенными флагами, видели старого короля и белых лебедей.



Напившись чаю и закусив, они заторопились в театр, но все-таки опоздали к началу представления.

Хождение по канату и пляска на ходулях уже кончились, и началась пантомима. Советник с советницей опоздали, как и всегда, и, разумеется, по вине советника: ему поминутно надо было останавливаться и болтать со знакомыми! Он и в театре встретил добрых друзей, и когда представление окончилось, ему с женой пришлось принять настойчивое приглашение одного знакомого семейства, жившего неподалеку от театра. Приглашали их только на стаканчик пунша, что могло задержать их разве минут на десять. Но, конечно, эти минуты растянулись за разговорами в целый час. Особенно заинтересовал всех один барон — шведский ли, немецкий ли, советник не запомнил, но зато навсегда сохранил в памяти то, чему научил его барон, проделывавший разные фокусы с ключом. Это было необыкновенно занимательно! Барон мог заставить ключ отвечать на все вопросы, которые ему задавали, каких бы секретных предметов они ни касались. Особенно пригодным оказался для этих фокусов советников ключ от ворот — у него была тяжелая бородка. Барон надевал кольцо ключа на указательный палец правой руки, а бородка висела свободно; малейшее биение пульса могло привести ее в движение, и она повертывалась; если же нет, то барон умел незаметно заставить ее повернуться, куда ему хотелось. Каждый поворот бородки означал какую-нибудь букву азбуки; когда называли наконец настоящую букву, бородка повертывалась в обратную сторону. После того начинали отгадывать следующую букву, и так выходили целые слова, а затем и целые предложения — ответы на вопросы. Конечно, все это был один обман, но очень забавный. Так сначала отнесся к делу и сам советник, но потом переменял мнение и всерьез увлекся проделками ключа.

— Муж, а муж! — крикнула вдруг советница. — Западные ворота запираются ведь в двенадцать часов! Мы не попадем в город, останется всего четверть часа!

Пришлось спешить; по дороге их то и дело обгоняли пешеходы, тоже торопившиеся попасть в город вовремя. Наконец они добрались до крайней сторожевой будки, но в ту же минуту пробило двенадцать, и ворота захлопнулись! Целая толпа людей осталась за воротами: между ними и советник с советницей и служанкой, которая

тащила чайник и пустую корзину. Некоторые опешили, другие рассердились; каждый отнесся к случившемуся по-своему. Что же, однако, было делать?

К счастью, в последнее время было отдано распоряжение оставлять незапертыми на всю ночь одни из городских ворот — Северные; через них-то пешеходы и могли пробраться в город.

Не близко было до Северных ворот, но погода стояла хорошая, ясное небо было усеяно звездами, то и дело скатывались падающие звездочки, в канавах и прудах квакали лягушки, и путники тоже мало-помалу распелось. Но советник не пел и не смотрел не только на звезды, но и себе под ноги, ну, и растянулся во весь рост на краю канавы! Можно было подумать, что он выпил лишнее, но дело было вовсе не в пунше, а в ключе, который не переставал вертеться у него в голове.

Наконец добрались и до будки у Северных ворот, перешли мост и очутились в городе.

— Ну, вот теперь отлегло от сердца! — сказала советница. — Вот и наши ворота!

— Да, только где же ключ от них? — спросил советник.

Ключа не оказалось ни в заднем кармане, ни в боковых.

— Ах, господи боже мой! — сказала советница. — Так у тебя нет ключа? Верно, ты потерял его там, с этими баронскими фокусами! Как же мы попадем теперь домой? Проволока колокольчика оборвана, у сторожа другого ключа нет — просто беда!

Служанка принялась хныкать; один советник сохранил присутствие духа.

— Надо выбить стекло в подвале у мелочного торговца! — сказал он. — Пусть он отворит нам ворота!

И он выбил одно стекло, потом другое, просунул туда ручку зонтика и закричал: «Петерсен!» Изнутри послышался крик дочери мелочного торговца. Сам торговец распахнул двери лавки и закричал: «Караул!» И, прежде чем лавочник успел хорошенько рассмотреть и признать хозяев да впустить их во двор, сторож уже дал свисток, ему откликнулся другой из соседней улицы, из окон начали выглядывать люди, посыпались вопросы: «Где пожар? Где скандал?» и продолжались еще, когда советник давно уже был у себя дома, снял сюртук и... нашел в нем

ключ от ворот. Ключ лежал не в кармане, а между материею и подкладкой: в кармане была дыра, хотя ей вовсе и не полагалось быть там.

С того вечера ключ от ворот стал предметом особого внимания, и не только когда советник с советницей уходили по вечерам прогуляться, но и когда сидели дома, — советник показывал свое искусство, заставляя ключ отвечать на разные вопросы.

Он заранее придумывал наиболее подходящий ответ и затем заставлял ключ давать его, но под конец как-то и сам уверовал в способности ключа. А вот аптекарь, молодой человек и близкий родственник советницы, так ничему не верил.

Умный человек был этот аптекарь и с критической жилкой. Он еще на школьной скамье зарабатывал деньги — писал рецензии и на книги и на театральные представления, причем никогда не подписывал своих статей, — так выходит внушительнее. В нем, как говорится, преобладал эстетический дух, но сам он ни в каких духов, особенно в духов, обитающих в ключах, не верил.

— Впрочем, нет, я верю! — говорил он. — Верю, добрейший господин советник! Верю в ваш ключ от ворот и во всех духов ключей так же твердо, как и в новейшую науку, что открыла духов в старой и новой мебели и занимается столоверчением! Вы слышали о ней? Я слышал! Я сомневался было — вы ведь знаете, я из числа скептиков, — но теперь стал прозелитом новой веры, прочитав в одной достойной доверия заграничной газете ужасную историю. Я, впрочем, за что купил ее, за то и продаю! Представьте же себе, советник! Двое умных детей видели, как родители их вызывали духов из большого обеденного стола. Детишки остались одни и захотели, в свою очередь, попробовать пробудить жизнь в старом комод. Жизнь-то они в нем пробудили, духи проснулись, но не захотели слушаться ребячьей команды, поднялись — комод затрещал, выдвинул ящики и уложил в них своими ножками обоих ребят, затем выбежал в открытую дверь, спустился по лестнице на улицу, прямо к каналу, да и утопился там вместе с детьми. Тела детей предали христианскому погребению, а комод отправили в ратушу и присудили за убийство детей к сожжению живьем на костре. Вот что я вычитал в иностранной газете и передаю

вам, ничего не прибавляя от себя! Ключ меня побери, если я выдумываю! Видите, я даже поклялся!

Но советник нашел, что это было со стороны аптекаря уж чересчур грубой шуткой. Не стоило и говорить с ним о ключе: аптекарь был глуп, как самый последний ключ!

Сам же советник все более и более изошрялся в «ключевой мудрости». Ключ и забавлял его и поучал.

Однажды вечером советник уже собирался лечь в постель и стоял в спальне полураздетый, как вдруг в дверь из коридора постучали. Поздним гостем оказался лавочник, тоже полураздетый. И он было совсем уже собрался спать, да вдруг ему пришла в голову важная мысль, и он побоялся забыть ее за ночь!

— Дело-то идет о дочке моей Лотте Лене. Она девушка красивая, конфирмована, и мне хотелось бы теперь пристроить ее получше!

— Да ведь я еще не вдовец! — усмехнулся советник. — И сына у меня нет, за которого бы я мог посватать ее!

— Ну, вы поймете, в чем дело, господин советник! — сказал лавочник. — Она играет на фортепьяно, умеет петь — небось слышно по всему дому! Но вы еще не знаете всего, на что эта девочка способна. Она умеет подражать разговору и походке всякого! Она просто создана для театра, а это хорошая дорога для красивых молодых девушек из порядочных семейств! Им удастся иной раз подхватить в мужья графов! Ну, да об этом-то пока ни я, ни Лотта Лена не думаем! Так вот, она умеет петь, играть на фортепьяно, и на днях я пошел с нею в школу пения. Она спела, но оказалось, что у нее нет ни такого пивного баса, ни канаресчного визга, которые нынче требуются от певиц. Ну, ей и отсоветовали идти в певицы. «Что ж, — подумал я, — коли не в певицы, так в актрисы! Для этого нужно только уметь говорить». И сегодня я завел об этом речь с «инструктором», как он там у них называется. «А она начитанна?» — спрашивает он, — «Нет, — говорю, — совсем нет!» — «Ну, а это необходимо для актрисы!» — «Что ж, начитанность-то она еще приобрести может! — подумал я и пошел себе домой. — Пусть Лотта Лена запишется в библиотеку и перечитает все, что там есть!» Но вот сижу это я сейчас, раздеваюсь, и вдруг мне пришло на ум: зачем же платить за чтение, коли можно иметь его даром! У советника пропасть книг, пусть он

даст их Лотте Лене почитать — вот тратиться-то и не придется!

— Лотта Лена — славная девушка! — сказал советник и к. — Красивая девушка. Книги я ей дам! Но есть ли у нее, что называется, огонек, талант? Да и, кроме того, везет ли ей вообще? Счастье ведь тоже вещь очень важная!

— Она два раза выигрывала в лотерею! — ответил лавочник. — Один раз выиграла шкаф для платья, а другой — полдюжины простынь. Разве это не счастье?

— А вот я сейчас спрошу насчет этого ключа! — сказал советник.

И он надел кольцо ключа на указательный палец правой руки себе и лавочнику и заставил ключ вертеться и указывать букву за буквой.

И ключ ответил: «Победа и счастье!» Таким образом, будущее Лотты Лены было определено.

Советник сейчас же вручил лавочнику две книги: трагедию «Дюеке» и «Обхождение с людьми» Книгге. Пусть Лотта Лена читает!

С этого вечера между Лоттой Леной и семейством советника завязалось более близкое знакомство. Она стала бывать у них, и советник нашел ее девушкой очень разумной — она верила и в него и в ключ. И советнице она тоже понравилась. Непринужденность и откровенность, с которыми девушка на каждом шагу сознавалась в своем невежестве, казались советнице чем-то детским, невинным. Словом, оба супруга, каждый по-своему, питали симпатию к Лотте Лене, а она к ним.

— Как у них чудесно пахнет! — говорила она.

В самом деле, в коридоре у них пахло яблоками — советница заготовила на зиму целую бочку, — а по всем комнатам распространялось благоухание роз и лаванды.

— У них все на благородную ногу! — говорила Лотта Лена, любуясь прекрасными комнатными цветами советницы. У той даже зимою цвели в комнатах ветви сирени и вишен. Она ставила срезанные оголенные веточки в воду, и они в тепле скоро одевались листьями, а потом покрывались и цветами.

— Вот можно было подумать, что жизнь совсем покинула эти голые ветви, а поглядите-ка, как они воскресли! — говорила советница.

— Мне никогда ничего такого и в голову не приходило! — отзывалась Лотта Лена. — Какая, однако, эта природа милая!

Советник же показывал ей свою «ключевую книгу», куда были занесены разные замечательные ответы и разоблачения ключа, например — относительно пропажи из шкафа половинки яблочного пирожного как раз в тот вечер, когда у кухарки был в гостях ее друг.

Советник спросил ключ: «Кто съел пирожное — кошка или друг?» И ключ ответил: «Друг!» Советник, впрочем, знал это заранее, да и служанка поспешила сознаться: еще бы, этот проклятый ключ знал решительно все!

— Ну, не замечательно ли это? — спрашивал советник. — Вот так ключ! А на вопрос о судьбе Лотты Лены он ответил: «Победа и счастье!» Ну, вот и посмотрим! Я-то ручаюсь за него!

— Как все это мило! — говорила Лотта Лена.

Сама советница не была так доверчива, но не выражала своих сомнений при муже, а только после как-то призналась Лотте Лене, что муж ее молодым человеком сам без ума был от театра. Толкни его тогда кто-нибудь на сцену, он бы, навер-





но, сделался актером, но родители, напротив, оттолкнули его от этого. Но он все-таки желал как-нибудь пробраться на сцену и даже написал ради этого комедию.

— Я доверяю вам большую тайну, милочка! — говорила советница. — Комедия была недурна, ее приняли на королевскую сцену и — освистали! С тех пор о ней не было ни слуха, ни духа, чему я очень рада. Я ведь жена его и хорошо его знаю! Теперь и вы хотите пойти по той же дороге — желаю вам всего хорошего, но сомневаюсь в успехе! Не верю я в ключ!

А Лотта Лена верила и вполне сходилась в этом случае с советником. Вообще сердца их отлично понимали друг друга, но в пределах честных и благородных отношений.

Девушка в самом деле отличалась многими достоинствами, которых не могла не ценить и сама советница. Лотта Лена умела делать крахмал из картофеля, перешивать старые шелковые чулки на перчатки и обтягивать заново свои шелковые бальные башмачки, даром что у нее хватало средств одеваться во все новое. У нее ведь были, как выражался мелочной торговец, «и монетки в шкатулке и облигации в денежном ящике». Словом, она бы как раз годилась в жены аптекарю, думалось советнице, но она ни сама не заговаривала об этом, ни к ключу не прибегала. Аптекарь должен был в скором времени обзавестись собственной аптечкой в одном из ближайших больших провинциальных городов.

Лотта Лена все еще читала «Дюевеке» и «Обхождение с людьми». Она держала у себя эти книги два года, но зато и выучила наизусть одну — «Дюевеке», выучила все роли, а сама-то собиралась выступить лишь в одной, именно в роли Дюевеке, но выступить не в столице, где всегда столько недоброжелателей и где ее знать не хотели. Лотта Лена решила начать свою «артистическую карьеру», как выражался советник, в провинции.

И вот случилось так, что ей пришлось дебютировать в том самом городе, где обосновался молодой аптекарь в качестве если не единственного, то самого младшего аптекаря.

Наконец настал тот великий, долгожданный вечер, в который Лотта Лена должна была, по предсказанию ключа, завоевать себе победу и счастье. Советник не мог присутствовать на представлении — он лежал в постели, и советница угощала его горячими припарками и липовым чаем — припарками на желудок, а чаем в желудок.



Итак, супруги не были на дебюте Лотты Лены, но аптекарь был и написал о нем своей родственнице советнице.

«Лучше всего был воротник на Дювекке, — писал он. — Будь у меня в кармане советников ключ, я бы вытащил его и свистнул: этого заслуживали и Лотта Лена и сам ключ, бесстыдно напророчивший ей победу и счастье».

Советник прочел письмо и объявил, что все это одно недоброжелательство, «ключененависть», которая отзывалась и на ни в чем не повинной девушке.

И как только он поправился, сейчас же написал аптекарю небольшое, но ядовитое письмецо. Тот, в свою очередь, ответил, но так, как будто принял письмо советника за самую безобидную и веселую шутку: благодарил советника за настоящее, равно как и за всякое будущее разъяснение неподражаемого значения и важности ключа, и признавался, что и сам в свободное от занятий время пишет большой роман о ключах. Все действующие лица в нем — ключи; главным же являлся ключ от ворот. Образцом для него послужил советников ключ, как одаренный даром прозорливости и пророчества. Все остальные ключи вертелись около этого ключа: и старый камергерский ключ, который звал лучшие времена и рассказывал о придворном блеске и празднествах, и часовой ключик, такой изящный и важный, стоящий у часовых дел мастера четыре скиллинга, и ключ от церковных дверей, который, оставшись однажды на ночь в замочной скважине, видел духов, и ключ от кладовой, и ключ от деревянного сарая и от винного погреба. Все они низко склонялись перед ключом от ворот, все вертелись около него. Солнечные лучи серебрили его, «всемирный дух» ветер забирался в него и свистел. Словом, этот ключ всем ключам был ключ: сначала-то он был только ключом от ворот советника, а затем стал ключом от ворот рая, ключом-папою — он ведь непогрешим!»

— Сколько злобы! — сказал советник. — Чудовищной злобы!

Зато он больше и не виделся с аптекарем — до самых похорон советницы.

Она умерла первая.

В доме царили печаль и горе. Даже срезанные веточки вишневых деревьев, пустившие было свежие побеги и покрывшиеся цветами, и те до того опечалились, что завяли; о них позабыли: хозяйка не могла уже ухаживать за ними.

Советник и аптекарь шли за гробом рядом, как близкие родственники; тут было не время и не место сводить счеты.

Лотта Лена обвязала шляпу советника черным крепом. Она уже давно вернулась домой, не завоевав себе ни победы, ни счастья. Но она еще могла завоевать их, — все было еще впереди, недаром же ключ предсказал ей «победу и счастье». Да и советник с ним согласился.

Она стала навещать его. Они беседовали об умершей и плакали вместе, — сердце у Лотты было мягкое. Говорили они также и о театре, но тогда Лотта Лена становилась твердою.

— Жизнь актрисы прелестна! — говорила она. — Но сколько там вздора и зависти! Нет, я лучше пойду своею дорогою! Сначала надо о себе подумать, а потом уж об искусстве!

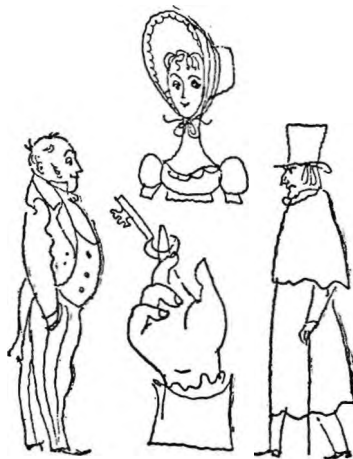
Она убедилась, что Книгге прав в своих суждениях об актерах, а ключ попросту наврал ей, но не проговаривалась об этом советнику — она любила его.

Ключ был ведь истинным его утешением в дни скорби. Советник задавал ему вопросы, а он отвечал. И вот через год, сидя вечером рядом с Лоттою Леной, советник спросил ключ: «Женюсь ли я и на ком?»

Теперь некому было его подталкивать, он сам подталкивал ключ, и тот ответил: «На Лотте Лене!»

И Лотта Лена сделалась советницею.

«Победа и счастье!» Недаром же это было ей предсказано, и предсказано ключом.





## СИДЕНЬ



**В** старой барской усадьбе жили славные молодые господа. Жили они богато, счастливо, себе ни в чем не отказывали и других не забывали — делали много добра: им хотелось всех видеть такими же счастливыми, довольными, какими были сами.

В сочельник в рыцарской зале замка зажигалась великолепно разукрашенная елка; в камине ярко пылал огонь, а рамы старых картин были окружены венками из еловых ветвей. К господам собирались гости, начинались музыка, танцы.

А пораньше, под вечер, рождественское веселье устраивалось и в людской. Тут тоже красовалась большая елка, пестревшая красными и белыми свечками, национальными флагами, бумажными лебедями и сеточками, наполненными сладостями. На эту елку приглашали также всех бедных ребятшек из округа с их матерями. Матери не очень-то заглядывались на елку, а больше все поглядывали на стол с подарками: шерстяными и бумажными материями на платья и штанишки. Туда же смотрели и дети постар-

ше, и только малыши тянулись ручонками к свечам, мишуре и флагам.

Вся эта пестрая компания являлась сюда рано, после полудня, и угощалась рождественскою кашею и жареным гусем с красною капустою; после же того, как все успевали досыта налюбоваться елкой и получить свои подарки, каждому подносили еще по стаканчику пунша да по яблочной пышке.

Затем гости расходились по своим бедным лачугам, и там-то начинались разговоры о том, как славно живет барам — как они сладко едят и пьют, а наговорившись, все принимались еще раз хорошенько разглядывать свои подарки.

В услужении у господ жили также Оле и Кирстина — муж с женою. Они были приставлены к господскому саду в помощь садовнику и получали за свой труд помещение и стол. Кроме того, на их долю каждый сочельник доставались положенные подарки, и всех пятерых детей одевали на свой счет господ.

— Много делают добра наши господа! — говорили муж и жена. — Ну, да ведь на то у них и средства, чтобы доставлять себе этим удовольствие!

— Тут славные платья для четверых ребят! — сказал Оле. — Что же нет ничего для Сидня? Прежде они и его не забывали, хоть он и не бывает на елке!

Сиднем прозвали они старшего сына; звали же его, собственно, Гансом. Малышом он был резвым, крепким ребенком, но потом вдруг с чего-то «ослабел ногами», как они говорили, — не мог больше ни стоять, ни ходить, и вот лежал в постели уже пятый год.

— У меня есть кое-что и для него! — сказала мать. — Только не бог весть что — книжка для чтения!

— Сыт он с нею будет, нечего сказать! — заметил отец.

Зато сам-то Ганс очень обрадовался книжке. Он был мальчик способный, любил читать, да и работать не ленился и трудился, насколько хватало сил и умения. Он не сходил с постели, но руки у него были проворные, и он прилежно вязал шерстяные чулки и даже одеяла, которые госпожа помещица хвалила и покупала.

Книжка, что подарили Гансу господа, оказалась собранием сказок. Было ему теперь что почитать, о чем поразмыслить!

— А в доме-то от нее все-таки пользы мало! — сказали родители. — Ну, да пусть себе почитает от скуки, не все же ему чулки вязать!

Пришла весна; начала пробиваться травка, показались первые цветочки, а с ними и сорные травы, как, например, можно обозвать крапиву, хотя о ней так прекрасно сказано в псалме:

Хотя бы всех земных царей  
Со всех концов земли созвать,  
То все же властью им своей  
Листка крапивы не создать!

В господском саду было поэтому много работы не только самому садовнику и его ученикам, но и Оле и Кирстине.

— Ну и работа! — говорили они. — Только что мы выподем и вычистим все дорожки — их опять затопчут! Гости-то ведь у господ не переводятся! И во что это обходится им! Ну, да и то сказать — куда ж им деньги-то девать?

— Да, мудрено распределено все на свете! — сказал О л е . — Все мы дети одного отца — господа, говорит священник, откуда же такая разница?

— Пошла она с грехопадения! — говорила Кирстина.

Об этом же зашел у них разговор и вечером, когда Сидень лежал и читал свои сказки. От нужды и тяжелого труда огрубели не только руки, но и сердце и мысли бедняков; они не могли переварить своей бедности, не могли взять в толк ее причин и, говоря о том, раздражались все больше и больше.

— Одни живут в довольстве и в счастье, другие век свой должны мыкать горе! И с какой стати нам платить за непослушание и любопытство наших прародителей! Мы бы на их месте ничего такого не сделали!

— Сделали бы! — сказал вдруг Сидень . — Вот тут, в книжке, все сказано!

— Что там сказано? — спросили родители.

И Ганс прочел им старую сказку о дровосеке и его жене. Они тоже бранили Адама и Еву за их любопытство, ставшее виною людского несчастья, а в это время мимо как раз проходил король той страны. «Идите за мною! — сказал о н . — Вы будете жить не хуже меня; на стол вам будут подавать по семи блюд, да еще одно сверх того, но на него вы можете только смотреть. Стоит же вам до-

тронуться до этой закрытой миски — конец вашему сладкому житью!» — «Что бы такое было в этой миске?» — спросила жена. «Это нас не касается!» — ответил муж. «Да я и не любопытствую!» — продолжала жена. — Мне только хотелось бы знать, почему нам нельзя приподнять крышку? Уж, наверно, там что-нибудь отменно вкусное!» — «Только бы не какая-нибудь хитрая механика!» — сказал муж. — Вдруг как выстрелит да всполошит весь дом!» — «Ой-ой!» — сказала жена и не посмела дотронуться до миски. Но ночью ей приснилось, что крышка приподнялась сама собой и из миски запахло чудеснейшим пуншем, какой подают только на свадьбах да на похоронах. Еще в миске лежала серебряная монетка с надписью: «Напьетесь этого пунша и сделаетесь такими богачами, что все остальные люди будут перед вами нищими!» Тут она проснулась и рассказала мужу свой сон. «Ты слишком много думаешь об этом!» — сказал он. «А что, если чуть-чуть приподнять крышку?» — сказала жена. «Только чуть-чуть, смотри!» — сказал муж. Жена приподняла крышку — чуть-чуть... Из миски выскочили два юрких мышонка и шмыгнули в щелочку. «Спокойной ночи!» — сказал король. — Можете теперь отправляться восвояси! Да не браните больше Адама и Еву — вы сами такие же любопытные и неблагодарные!»

— Как эта история могла попасть в книгу? — спросил Оле. — Ведь она точно про нас написана! Да, тут есть над чем призадуматься!

На другой день они опять пошли на работу, и за день-то их и солнцем пожгло и дождиком до костей промочило. Опять накипело у них на душе, опять принялись они пережевывать невеселые думы. Отужинали они за светло, и Оле сказал Гансу:

— Ну-ка, прочти нам опять ту историю о дровосеке!

— Да тут много других хороших! — сказал Ганс. — Вы их еще не знаете!

— И не надо! — ответил отец. — Я хочу слышать ту, которую знаю!

И муж с женою опять прослушали ту же сказку. И не раз еще возвращались они к ней по вечерам.

— Не все-то она мне, однако, распутывает! — сказал раз Оле. — Поди ж ты вот, и с людьми бывает, что с молоком, когда оно скисает: выходят и дорогой сыр и жидкая сыворотка! Иные так уж и родятся на счастье да



на радость, никакого горя, никакой нужды весь век не знают!

Сидень лежал и слушал. Он был слаб ногами, но не умом, и вот взял да в ответ на это и прочел родителям из своей книжки сказку о человеке, который сроду не знал ни горя, ни нужды. Да, где только было искать такого человека? А найти его надо было: король лежал при смерти, и спасти его могла только рубашка с человека, который бы по правде мог сказать, что сроду не знал ни горя, ни нужды. Разослали гонцов во все концы света, по всем замкам и усадьбам, ко всем зажиточным и довольным жизнью людям, но стоило хорошенько порасспросить их, и оказывалось, что все они испытывали и нужду и горе. «А вот я — нет!» — заявил один свинопас; он сидел у канавы и весело распевал песенку. «Я счастливейший человек на свете!» — «Так давай сюда твою рубашку!» — сказали посланные. — Тебе дадут за нее полкоролевства!» Но у него не было рубашки. А он все-таки считал себя счастливым!

— Вот так франт! — вскричал Оле, и оба — и он и жена — принялись смеяться, как не смеялись уже много лет.

А мимо их жилища проходил школьный учитель.

— Ишь, какое у вас сегодня веселье! — сказал он. — Вот редкость-то! В лотерею выиграли, что ли?

— Нет, не то! — сказал О л е . — Это вот Ганс прочел нам сказку о человеке, сроду не знавшем ни нужды, ни горя, а оказалось, что у молодца и рубашки-то на теле не было! Поневоле размякнешь душой, как слушаешь такую историю, да еще прямо из книжки! Правда, знать, у всякого свой крест, никто не избавлен от этого! Все-таки утешение!

— Откуда у вас эта книга? — спросил учитель.

— А ее прошлый год подарили Гансу на елке! Господа подарили. Они знают, что он охотник читать, да и сидень вдобавок! Мы-то было жалели тогда, что они не подарили ему лучше на пару рубах! Но книжка-то оказалась дельною: она словно отвечает тебе на все твои мысли!

Учитель взял книжку и раскрыл ее.

— Ну-ка, пусть он прочтет нам эту историю еще разок! — попросил О л е . — Я не запомнил ее как следует. А потом пусть прочтет и другую — о дровосеке!

Этих двух сказок вполне хватало Оле; они как будто освещали солнышком все жилье и разгоняли тяжелые,

мрачные думы, одолевавшие бедняков. А сам-то Ганс успел прочесть и перечесть всю книжку не раз; сказки уносили его в недоступный ему мир, — ноги ведь не носили бедняжку.

Школьный учитель присел у постели и побеседовал с мальчиком. Беседа эта обоим доставила большое удовольствие, и с того дня учитель часто стал заходить к Гансу, когда родители были на работе. Для мальчика же каждое посещение учителя было настоящим праздником. Как внимательно слушал он рассказы старика о величине земли, о разных странах, о том, что солнце почти в полмиллиона раз больше земли и находится так далеко от нее, что пушенное с солнца пушечное ядро долетело бы до земли только через двадцать пять лет, тогда как луч света достигает до нее всего в восемь минут.

Все это известно в наше время каждому прилежному школьнику, но для Ганса все это было новостью куда более чудесною, нежели все сказки в его книжке.

Раза два в году школьного учителя приглашали отобедать в замке, и вот однажды он воспользовался случаем — рассказал господам, какое значение приобрела для бедняков та книжка, которую они подарили мальчику, какое благотворное, отрезвляющее влияние имели на бедняков какие-нибудь две сказки! Хилый, но умный мальчик вливал своим чтением мир и отраду в сердца родителей и заставлял работать их мысли.

Когда учитель стал прощаться, госпожа вручила ему пару серебряных далеров для маленького Ганса.

— Пусть их возьмут отец с матерью! — сказал Ганс, когда учитель принес ему деньги.

А те сказали:

— Сидень-то тоже, оказывается, приносит нам радость и пользу!

Дня два спустя, днем, когда родители Ганса были на работе, перед жилищем их остановилась господская карета. Это пожаловала навестить Сидня сама добрая госпожа; она была так рада, что ее рождественский подарок доставил столько утехи и удовольствия и родителям и мальчику! На этот раз она привезла ему белого хлеба, фруктов, бутылку сладкого сока и — что всего больше обрадовало Ганса — вызолоченную клетку с маленькою черненькою птичкой. Как она мило насвистывала! Клетку с птичкой поставили на высокий деревянный сундук, непо-

далеку от постели мальчика, чтобы он постоянно мог любоваться на птичку. Пение же ее слышно было даже на улице.

Оле и Кирстина вернулись домой уже после отъезда госпожи. Они хоть и видели, как рад был птичке мальчик, все-таки отнесли к подарку как к лишней обузе в доме.

— Много они понимают, эти баре! — сказали они. — Вот у нас теперь еще новая забота — ходить за птицей! Сам-то Сидень ведь не может! Ну, и кончится тем, что кошка съест ее!

Прошла неделя, прошла другая; кошка за это время много раз побывала в горнице, не выказывая поползновения даже испугать птичку, не то что съест. Но вот случилось удивительное событие. Дело было после обеда, родители и все дети были на работе; дома оставался один Ганс. Он сидел на постели и перечитывал сказку о жене рыбака, все желания которой исполнялись сейчас же. Захотела стать королевой и стала, захотела стать императрицей — тоже, но когда захотела стать самим богом — очутилась опять в грязи, откуда только что выбралась.

История эта не имела ни малейшего отношения ни к птице, ни к кошке; Сидень только читал ее, когда произошло замечательное событие, и навсегда запомнил это обстоятельство.

Клетка помещалась на сундуке; кошка стояла на полу и пристально глядела на птицу своими желто-зелеными глазами. Взгляд ее как будто говорил птичке: «Как ты мила! Так бы и съела тебя!»

Ганс прочел это во взгляде кошки и закричал: «Брысь! Вон из комнаты!» А кошка как будто готовилась к прыжку.

Ганс не мог достать до нее, и под руками у него было ничего, кроме драгоценнейшего его сокровища — книжки со сказками. Но он все-таки бросил ею в кошку; корочки переплета оторвались и полетели в одну сторону, а книжка в другую. Кошка же только слегка отодвинулась и посмотрела на Ганса, словно говоря: «И не суйся лучше, милый мой! Я-то могу и бегать и прыгать, а ты вот нет!»

Ганс следил за каждым движением кошки и весь дрожал от волнения. Птичка тоже заметалась в клетке. Позвать было некого, и кошка точно знала это. Вот она опять стала готовиться к прыжку. Ганс принялся махать на нее своим одеялом — руками-то он мог действовать, — но кошка не обращала на одеяло никакого внимания. На-

конец Ганс даже запустил в нее одеялом, но без всякой пользы; кошка вскочила на стул, а потом на подоконник, откуда было ближе добраться до птички.

Вся кровь прихлынула к сердцу Ганса, но он о том и не думал, он думал только о кошке и птичке. Что же, однако, мог он сделать? Как ему сойти с постели? Он не мог даже встать на ноги, не то что ходить!.. Сердце мальчика как будто перевернулось в груди, когда он увидел, что кошка вдруг прыгнула с окна прямо на сундук и опрокинула клетку набок. Птичка отчаянно забилась. Ганс вскрикнул, по телу его пробежал судорожный трепет, и он, не помня себя, спрыгнул с постели, кинулся к сундуку, скинул на пол кошку, крепко схватил клетку с перепуганной птичкой и выбежал на улицу. Тут у него брызнули из глаз слезы, и он громко закричал: «Я могу ходить! Я могу ходить!»

Он вдруг выздоровел; это иногда случается, случилось и с ним.

Учитель жил рядом. Ганс и кинулся к нему, как был — босой, в одной рубашонке да курточке, с клеткой в руках.

— Я могу ходить! — кричал он. — Господи боже мой! — И он зарыдал от радости.

Да, вот была в тот день радость в доме Оле и Кирстины!

— Счастливее этого дня нам уж не дождаться! — сказали они оба.

Ганса позвали к господам; много лет уже не ходил он по этой дороге, и теперь ему казалось, что и деревья-то все и кусты, которые он так хорошо знал, кивали ему ветвями и говорили: «Здорово, Ганс! Добро пожаловать!» Солнышко так и играло у него на лице и в сердце!

Добрые молодые господа усадили Ганса и так радовались его выздоровлению, словно он был им родной. Особенно радовалась сама госпожа: это она ведь подарила ему и книжку со сказками и птичку. Птичка, правда, околела от испуга, но все-таки была виновницей выздоровления Ганса, а книжка тоже сослужила немалую службу: развлекала и утешала и мальчика и его родителей. Он и не хотел расставаться с нею никогда, хотел беречь и постоянно перечитывать ее, до какой бы глубокой старости ни дожил! Теперь он уже мог быть в помощь своим родителям и собирался научиться какому-нибудь ремеслу —

лучше всего переплетному: тогда ему можно будет читать все новые книги!

Но после обеда госпожа призвала к себе родителей Ганса: она уже поговорила о мальчике с мужем, Ганс был мальчик прилежный, набожный и способный к учению, ну, и господь не оставит его!

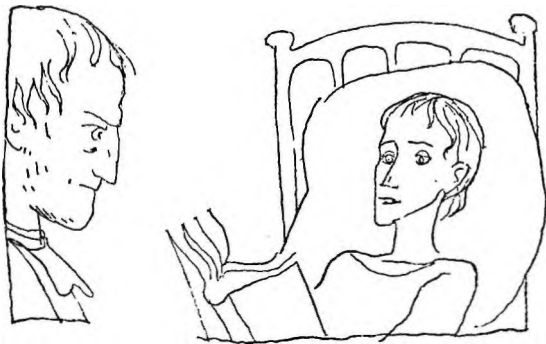
В этот вечер родители Ганса вернулись домой как нельзя более довольные, особенно Кирстина, но через неделю она заливалась горькими слезами, снаряжая своего Ганса в путь. Правда, его одели в хорошее платье, и сам он был мальчик хороший, но теперь его приходилось отправив за море, далеко-далеко! Он поступит в гимназию, и пройдут долгие годы, прежде чем родители опять свидятся с ним!

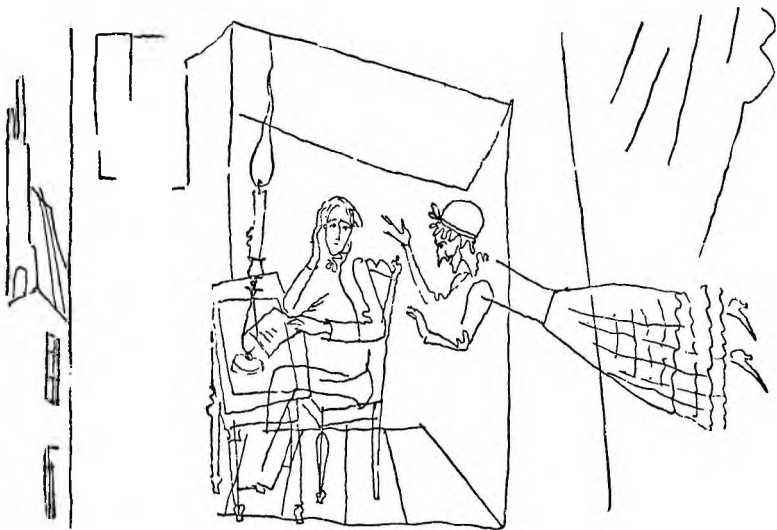
Книжку со сказками ему не дали с собою; родители хотели сохранить ее на память. И отец частенько перечитывал все те же две сказки, — их-то он знал!

И вот от Ганса стали приходиться письма, одно другого радостнее. Он жил у хороших людей, в хорошей обстановке, а лучше всего было то, что он мог посещать школу! Многому мог он там научиться! Теперь у него было только одно желание: дожить до ста лет и когда-нибудь сделаться школьным учителем!

— Дожить бы и нам до этого! — толковали родители, пожимая друг другу руки, словно шли к причастию.

— Да, вот что случилось с Гансом! — говорил О л е . — Господь, значит, печется и о детях бедняков! На нашем-то Сидне это как раз и сказалось. А, право, все-таки это смахивает на сказку! Так вот и кажется, что Сидень только прочел нам обо всем этом из своей книжки со сказками!





## ТЕТУШКА ЗУБНАЯ БОЛЬ

I



**О**ткуда мы взяли эту историю? Хочешь знать?

Из бочки мелочного торговца, что битком набита старою бумагою.

Немало хороших и редких книг попадает в бочки мелочных торговцев, не как материал для чтения, а как предмет первой необходимости: надо же во что-нибудь заворачивать крахмал, кофе, селедки, масло и сыр! Годятся для этого и рукописи. И вот в бочку к лавочнику часто попадает то, чему бы там Сыть вовсе не следовало. Я знаком с подручным из одной бакалейной лавки; он, собственно, сын мелочного торговца из подвала, но сумел подняться оттуда в магазин первого этажа. Молодой человек очень начитан: у него ведь под рукой целая бочка всякого чтения, и печатного и рукописного. И вот мало-помалу у него составилось преинтересное собрание. В собрание это входят, между прочим, кое-какие важные документы из корзинки для ненужных бумаг чересчур занятого или

рассеянного чиновника, и откровенные записочки от приятельниц к приятельницам, содержащие такие скандальные сообщения, о которых, собственно говоря, нельзя бы и заикаться. Боже сохрани! А уж передавать их дальше — и подавно! Собрание моего знакомого — настоящая спасательная станция для многих литературных произведений, и поле его деятельности тем обширнее, что в его распоряжении бочки из двух лавок — хозяйской и отцовской. Много поэтому удалось ему спасти и книг и отдельных страниц, которые стоило перечесть и два раза.

Он и показал мне однажды свое собрание интересных печатных и рукописных произведений, извлеченных главным образом из бочки мелочного торговца. Между прочим я обратил внимание на несколько страниц, вырванных из большой тетради; необыкновенно красивый и четкий почерк сразу бросился мне в глаза.

— Это писал студент! — сказал молодой человек. — Он жил вон в том доме напротив и умер месяц тому назад. Он, как видно из этих страниц, страшно мучился зубами. Описано довольно забавно! Тут осталось не много, а была целая тетрадь; родители мои дали за нее квартирной хозяйке студента полфунта зеленого мыла; но вот все, что мне удалось спасти.

Я попросил его дать мне прочесть эти страницы и теперь привожу их здесь.

Заглавие гласило:

### Тетушка Зубная боль

В детстве тетушка страшно пичкала меня сладкими; однако зубы мои выдержали, не испортились. Теперь я стал постарше, сделался студентом, но она все еще продолжает угощать меня сладким — уверяет, что я поэт.

Во мне, правда, есть кое-какие поэтические задатки, но я еще не настоящий поэт. Часто, когда я брожу по улицам, мне кажется, что я в огромной библиотеке; дома представляются мне этажерками, а каждый этаж — книжною полкою. На них стоят и обыкновенные истории, и хорошие старинные комедии, и научные сочинения по всем отраслям, и всякая литературная гниль, и хорошие произведения — словом, я могу тут фантазировать и философствовать вволю!

Да, во мне есть поэтическая жилка, но я еще не настоящий поэт. Такая жилка есть, пожалуй, и во многих

людях, а они все-таки не носят бляхи или ошейника с надписью «поэт».

И им, как и мне, дана от бога благодатная способность, поэтический дар, вполне достаточный для собственного обихода, но чересчур маленький, чтобы делиться им с другими людьми. Дар этот озаряет сердце и ум, как солнечный луч, наполняет их ароматом цветов, убаюкивает дивными, мелодичными звуками, которые кажутся такими родными, знакомыми, где же слышал их впервые — вспомнить не можешь.

Прошлым вечером я сидел в своей каморке, изнывая от желания почитать, но у меня не было ни книги, ни даже единого печатного листка, и вдруг на стол ко мне упал листок — свежий, зеленый листок липы. Его занесло ко мне в окно ветерком.

Я стал рассматривать бесчисленные разветвления жидкого. По листку ползала маленькая букашка, словно задавшаяся целью обстоятельно изучить его, и я невольно задумался о нас — людях. Ведь и мы все ползаем по маленькому листку, знаем один лишь этот листок и все-таки сплеча беремся читать лекцию о всем великом дереве — и о корне его, и о стволе, и о вершине: мы толкуем и о боге, и о человечестве, и о бессмертии, а знаем-то всего-навсего один листок!

Тут пришла ко мне в гости тетушка Милле. Я показал ей листок с букашкой и передал, что мне пришлось по этому поводу в голову. Глаза у тетушки загорелись.

— Да ты поэт! — вскричала она. — Пожалуй, величайший из современных поэтов! Дожить бы мне только до твоей славы, и я бы охотно умерла! Ты всегда, с самых похорон пивовара Расмусена, поражал меня своею удивительною фантазией! — С этими словами тетушка расцеловала меня.

Кто же такая была тетушка Милле, и кто такой пивовар Расмусен?

## II.

Тетушкою мы, дети, звали тетку нашей матери; другого имени подобрать ей мы не умели.

Она страшно пичкала нас вареньем и сахаром, хотя все это могло испортить наши зубы, но она питала к милым





деткам такую слабость, что считала просто жестоким отказывать им в сладостях, которые они так любят! Зато и мы очень любили тетушку.

Она была старою девой, и с тех самых пор, как я ее помню, все одних лет! Она как будто застыла в одном возрасте.

В молодости тетушка сильно страдала зубами и так часто рассказывала об этом, что остроумный друг ее, пивовар Расмусен, прозвал ее «тетушкой Зубною болью».

В последние годы он уже оставил свое занятие и жил доходами от капитала. Он был постарше тетушки и часто навещал ее. Вот у него так и совсем не было зубов, а кое-где торчали только черные корешки. Дело в том, — рассказывал он нам, детям, — что мальчиком он ел чересчур много сладкого, и вот что из этого вышло!

А тетушка так, должно быть, совсем не ела в детстве ничего сладкого, — зубы у нее были белые-пребелые!

— Зато она и бережет-то их как! — говорил пивовар. — Даже не спит с ними ночью!

Мы, дети, почуяли в этих словах какой-то злой намек, но тетя уверила нас, что это он сказал только так.

Однажды за завтраком она рассказала, что ей приснился дурной сон: будто бы у нее выпал зуб!

— И это означает, — прибавила она, — что я лишусь истинного друга или подруги!

— Ну, а если это был фальшивый зуб, — усмехнулся пивовар, — то, значит, вы лишитесь только фальшивого друга!

— Вы невежливый старый господин! — сердито проговорила тетушка; такую сердитою я не видывал ее никогда, ни прежде, ни после.

По уходе пивовара она, впрочем, сказала нам, что старый друг ее хотел только пошутить, что он благороднейший человек на свете и, когда умрет, станет божьим ангелочком на небе!

Я сильно задумался над этим превращением, спрашивая себя, узнаю ли я пивовара в новом виде?

Когда и тетя и он были еще молоды, он сватался за нее, но она слишком долго раздумывала, ну, и засела в девках, хотя и осталась ему верным другом.

И вот пивовар Расмусен умер.

Его везли на самой дорогой погребальной колеснице; за нею тянулся длинный хвост провожатых; между ними были даже господа в орденах и мундирах!

Тетушка, вся в трауре, смотрела на процессию из окна, собрав около себя всех нас, ребят, кроме младшего братца, которого за неделю перед тем принес нам аист.

Колесница проехала, скрылись из виду и все провожавшие ее; улица опустела, и тетюшка хотела отойти от окна, но я не хотел — я ждал ангелочка: пивовар Расмусен превратился ведь теперь в ангелочка с крылышками и должен был показаться нам!

— Тетя! — сказал я. — Как ты думаешь, ангелочек Расмусен появится сейчас, или, может быть, его принесет аист, когда опять вздумает прилететь к нам с маленьким братцем?

Тетушка была просто поражена моею богатою фантазией и сказала: «Из этого мальчишка выйдет великий поэт!» И она повторяла это все время, пока я ходил в школу, повторяла, когда я уже конфирмовался, и даже теперь, когда я стал студентом.

Да, тетюшка принимала и продолжает принимать живейшее участие и в моем поэтическом и в зубном недуге. Я страдаю по временам припадками и того и другого.

— Только выливай на бумагу все твои мысли! — говорила она. — И бросай их в ящик стола! Так делал Жан-Поль и сделался великим поэтом, хотя я и недолюблюваю его! Он как-то не захватывает! А ты должен захватывать! И будешь!

Всю ночь после этого разговора я провел в муках, старая желанием стать тем великим поэтом, которого видела и угадала во мне тетюшка. Да, я мучился припадком поэтического недуга! Но есть еще худший недуг: зубная боль! Та могла dokonать, уничтожить меня вконец,

превратить в какого-то извивающегося червя, обложенного припарками и шпанскими мушками!

— Мне эта боль знакома! — говорила тетушка, со-  
страдательно улыбаясь, а зубы ее при этом так и сверкали  
белизною.

Но теперь наступает новая глава как в описании моей  
жизни, так и в описании жизни тетушки.

### III.

Я перебрался на новую квартиру, прожил в ней уже  
с месяц и вот как описывал свое жилище в разговоре с  
тетушкой.

— Живу я в «тихом семействе»; хозяева не обращают  
на меня внимания — даже если я звоню три раза подряд.  
В доме нашем постоянный крик, шум, гам и сквозняки.  
Комната моя приходится как раз над воротами, и стоит  
проехать под ними телеге — все картины так и заходят  
по стенам; ворота захлопываются, и весь дом содрогается,  
словно от землетрясения. Если я лежу в постели, сотря-  
сение отдается у меня во всем теле, но это, говорят, ук-  
репляет нервы. В сильный ветер, а у нас тут вечно силь-  
ный ветер, железные болты ставень раскачиваются и бьют  
о стену, а колокольчик на соседнем дворе звонит без  
умолку.

Соседи мои по дому возвращаются домой не все в один  
час, а так, понемножку, один за другим, кто поздним ве-  
чером, кто даже ночью. Верхний жилец, что играет на  
тромбоне, целый день ходит по урокам, возвращается до-  
мой позже всех и ни за что не уляжется, прежде чем не  
совершит маленькую ночную прогулку взад и вперед по  
комнате; тяжелые шаги его так и раздаются у меня в ушах,  
словно сапожищи у него подкованы железом.

В доме нет двойных рам, зато в моей комнате есть  
окно с выбитым стеклом. Хозяйка залепила его бумагою,  
но ветер все-таки пробирается сквозь скважину и гудит,  
словно шмель. Это колыбельная песня. Но едва я наконец  
усну под нее, меня живо разбудит петушиное кукареку.  
Это петухи и куры мелочного торговца возвещают скорое  
наступление утра. Маленькие пони, которые помещаются  
в чуланчике под лестницею — для них не имеется осо-

бого стойла, — лягаются ради моциона и стучат копытами о двери.

Занимается заря; привратник, ночующий со всей семьей на чердаке, грузно спускается по лестнице; деревянные башмаки его стучат, ворота скрипят и хлопают, дом ходит ходуном. Когда же и это все кончено, над головою моею начинаются гимнастические упражнения верхнего жильца. Он берет в обе руки по тяжелой гире, но сдержать их не в силах, и они поминутно падают на пол. В это же время подымается на ноги и вся детвора в доме и с шумом и криком спешит в школу. Я подхожу к окну подышать свежим воздухом — свежий воздух так подкрепляет! Но рассчитывать на него я могу лишь в том случае, если девица, живущая в заднем флигеле, не чистит перчаток бензином, а она этим только и живет! И все-таки это очень хороший дом, и живу я в очень тихом семействе!

Вот как я описал тетушке мое житье-бытье. Описание это вышло в устной передаче еще живее; устное слово всегда ведь свежее, жизненнее написанного!

— Ты положительно поэт! — вскричала тетушка. — Только изложи все на бумаге, и ты тот же Диккенс! А по мне, так и еще интереснее! Ты просто рисуешь словами! Слушая тебя, так вот все и видишь перед собой, сама переживаешь все! Брр! Даже дрожь пробирает! Продолжай же творить! Но вводи в свои описания и живых лиц, людей хороших, милых людей, лучше же всего — несчастных!

Вот я и описал здесь мой дом, каков он есть, со всеми его прелестями, но действующих лиц пока никаких, кроме себя самого, не вывел. Они явятся позже!

#### IV.

Дело было зимою, поздно вечером. Погода стояла ужасная — такая выюга, что с трудом можно было пробираться по улице.

Тетушка отправилась в театр и взяла меня с собой, — я должен был потом проводить ее домой. Но тут и одному-то едва-едва можно было двигаться, а не то что с дамой! Все извозчики были разобраны; тетушка жила далеко от театра, а я, напротив, очень близко; если бы не это, нам с ней пришлось бы засесть в первой сторожевой будке!

Мы вязли в сугробах, нас заносило снегом; я поддерживал, подымал, подталкивал тетушку, и мы упали всего два раза, да и то на мягкую подстилку.

Наконец мы добрались до ворот моего дома и стряхнули с себя хлопья снега, на лестнице отряхнулись опять и все-таки, войдя в самую квартиру, засыпали снегом весь пол в передней.

Затем мы снимали с себя и верхнее и нижнее платье — все, что только можно было снять. Хозяйка моя одолжила тетушке сухие чулки и чепчик — самое необходимое, по словам доброй женщины, — и затем совершенно резонно объявила, что тетушке в такую погоду нечего и думать добраться до дому, так пусть переночует в гостиной, где ей устроят постель на диване возле запертой на ключ двери в мою спальню.

Так все и сделали.

В печке у меня развели огонь, на столе появился чайник, в комнатке стало тепло, уютно, хоть и не так, как у тетушки. У нее зимою и двери и окна плотно завешаны толстыми гардинами, полы устланы двойными коврами, под которыми положен еще тройной слой толстой бумаги, — сидишь словно в закупоренной бутылке, наполненной теплым воздухом! Но и у меня, как сказано, стало очень уютно. За окном выл ветер.

Тетушка говорила без умолку; на сцену выступили старые воспоминания: юные годы, пивовар Расмусен и прочее. Тетушка припомнила даже, как у меня прорезался первый зубок и какая была по этому поводу радость в семье.

Да, первый зубок! Зуб невинности, блестящий, как молочная капелька, молочный зуб!

Прорезался один, за ним другой, третий, и вот выстраиваются целых два ряда, один сверху, другой снизу, чудеснейших детских зубов! Но это еще только авангард, а не настоящая армия, которая должна будет служить нам всю жизнь. Но вот является и она, а за нею и зубы мудрости, фланговые, прорезывающиеся с такою болью и трудом!

А потом они мало-помалу и выбывают из строя, выбывают все до единого, и даже раньше времени, не отслужив всего срока! Наконец настает день: нет и последнего служивого, и день этот уже не праздник, а день печали. С этого дня ты старик, как бы ни был молод душой!

Не очень-то весело думать и говорить о таких вещах, а мы с тетушкой все-таки заговорили о них, вернулись

затем к годам детства и болтали, болтали без конца. Было уже за полночь, когда тетушка наконец удалилась на покой в соседнюю комнату.

— Покойной ночи, милый мой мальчик! — крикнула она мне из двери. — Теперь-я засну, словно на своей собственной постели!

И она угомонилась. Но дом наш и погоду никакой угомон не брал! Буря дребезжала оконными стеклами, хлопала длинными железными болтами ставен и звонила на соседнем дворе в колокольчик; верхний жилец вернулся домой и принялся расхаживать перед сном взад и вперед, потом швырнул на пол свои сапожищи и наконец захрапел так, что слышно было через потолок.

Я не мог успокоиться; не успокаивалась и погода; она вела себя непозволительно резво. Ветер выл на свой лад, а зубы мои начали ныть на свой. Это была прелюдия к зубной боли!

Из окна дуло. Лунный свет падал прямо на пол; временами по нему пробегали какие-то тени, словно облачка, гонимые бурей. Тени скользили и перебегали, но наконец одна из них приняла определенные очертания; я смотрел на ее движения и чувствовал, что меня пробирает мороз.

На полусидело видение — худая длинная фигура, вроде тех, что рисуют маленькие дети грифелем на аспидной доске: длинная тонкая черта изображает тело, две по бокам — руки, две внизу — ноги, и многоугольник наверху — голову.

Скоро видение приняло еще более ясные очертания; обрисовалось одеяние, очень тонкое, туманное, но все же ясно указывающее на особу женского пола.

Я услышал жужжание. Призрак ли то гудел, или ветер жужжал, как шмель, застрявший в оконной скважине?

Нет, это гудела она! Это была сама госпожа Зубная боль, ее окаянное величество, исчадие самого ада! Да сохрани и помилует от нее бог всякого!

— Тут славно! — гудела она. — Славное местечко, болотистая почва! Тут водились комары; у них яд в жалах, и я тоже достала себе жало, надо только отточить его о человеческие зубы! Ишь, как они блестят вон у того, что растянулся на кровати! Они устояли и против сладкого и против кислого, против горячего и холодного, против орехов и сливовых косточек! Так я ж расшатаю их, развинчу, наполню корни сквозняком! То-то засвистит в них!

Ужасные речи, ужасная гостья!

— А, так ты поэт! — продолжала она. — Ладно, я научу тебя всем размерам мук! Я примусь за тебя, прижгу тебя каленым железом, продерну веревки во все твои нервы!

В челюсть мне как будто вонзили раскаленное шило; я скорчился от боли, начал извиваться, как червь.

— Чудесный материал! — продолжала она. — Настоящий орган для игры! И задам же я сейчас концерт! Загрямят и барабаны, и трубы, и флейты, а в зубе мудрости — тромбон! Великому поэту великая и музыка!

И вот она начала играть! Вид у нее был ужасный, нужды нет, что я видел одну ее руку, эту туманную, холодную, как лед, руку с длинными, тонкими, шилообразными пальцами. Каждый был орудием пытки: большой и указательный образовывали клещи, средний был острым шилом, безымянный — буравом и мизинец — спринцовкой с комариным ядом.

— Я научу тебя всем размерам! — опять начала она. — Великому поэту — великая и зубная боль, а маленькому поэту — маленькая!

— Так пусть я буду маленьким! — взмолился я. — Пусть совсем не буду поэтом! Да я и не поэт! На меня только находят временами припадки стихотворного недуга, как находят и припадки зубного! Уйди же! Уйди!

— Так ты признаешь, что я могущественнее поэзии, философии, математики и всей этой музыки? — спросила она. — Могущественнее всех человеческих чувств и ощущений, изваянных из мрамора и написанных красками? Я ведь и старше их всех! Я родилась у самых ворот рая, где дул холодный ветер и росли от сырости грибы. Я заставила Еву одеваться в холодную погоду, да и Адама тоже! Да уж поверь, что первая зубная боль имела силу!

— Верю! — сказал я. — Верю всему! Уйди же, уйди!

— А ты откажешься от желания стать поэтом, писать стихи — на бумаге, грифельной доске, на чем бы то ни было? Тогда я оставлю тебя! Но я вернусь, как только ты опять возьмешься за стихи!

— Клянусь, оставлю все! — сказал я. — Только бы мне никогда больше не видеть, не чувствовать тебя!

— Видеть-то ты меня будешь, только в более приятном и дорогом для тебя образе — в образе тетушки Милле, и я буду говорить тебе: «Сочиняй, мой милый маль-

чик! Ты великий поэт; пожалуй, величайший из наших поэтов!» Но если ты согласишься мне и возьмешься за кропание стихов, я положу твои стихи на музыку и разыграю ее на твоих зубах! Так-то, милый мальчик! Помни же обо мне, беседуя с тетушкой Милле!

Тут она исчезла.

На прощание я получил в челюсть еще один укол раскаленным шилом. Но вот боль начала утихать... Я как будто скользил по зеркальной глади озера, вокруг меня цвели белые кувшинки с широкими зелеными листьями... Они колыхались, погружались подо мною, увядали, попадались в прах, и я погружался вместе с ними, погружался в какую-то тихую бездну... Покой, тишина!.. «Умереть, растаять, как снежинка, испариться, превратиться в облако и растаять, как облако!» — звучало вокруг меня в воде.

Сквозь прозрачную воду я видел сияние великих имен, надписи на развевающихся победных знаменах, патенты на бессмертие, начертанные на крыльях мухи-поденки.

Я погрузился в глубокий сон, без сновидений, и не слышал больше ни воя ветра, ни хлопанья ворот, ни звона колокольчика, ни гимнастики верхнего жильца.

Блаженство!

Вдруг налетел такой порыв ветра, что запертая дверь в комнату, где спала тетушка, распахнулась. Тетушка вскочила, надела башмаки, накинула платье и вошла ко мне. Но я спал, рассказывала она мне потом, сном праведника, и она не решилась разбудить меня. Я проснулся сам; в первую минуту я ничего не помнил, не помнил даже, что тетушка ночевала тут, в доме, но потом припомнил все, припомнил и ужасную ночную гостью. Сон и действительность слились в одно.

— А ты не писал чего-нибудь вечером, после того как мы попрощались? — спросила тетушка. — Ах, если бы ты писал! Ты ведь у меня поэт и будешь поэтом!

Мне показалось при этом, что она лукаво-предукаво улыбнулась, и я уж не знал — любящая ли это тетушка Милле предо мною, или ужасное ночное видение, взявшее с меня слово никогда не писать стихов?

— Так ты не писал стихов, милый мой мальчик?

— Нет, нет! — вскричал я. — А ты... ты тетушка Милле?

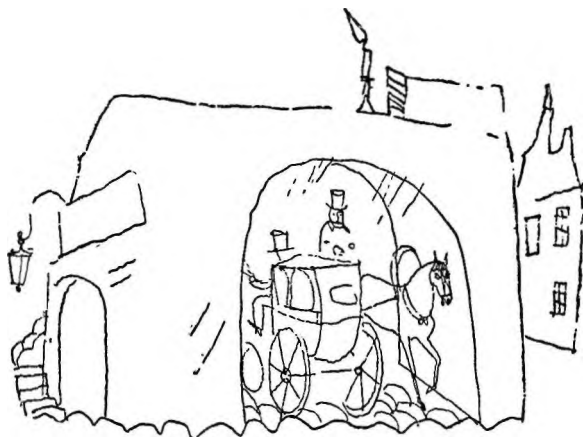


— А то кто же? — сказала она. И впрямь это была тетушка Милле. Она поцеловала меня, взяла извозчика и уехала домой.

Я, однако, решил написать то, что тут написано: это ведь не стихи, да и напечатано никогда не будет!.. »

На этом рукопись обрывалась. Молодой друг мой, будущий приказчик бакалейного магазина, так и не мог добыть остальной части тетрадки; она пошла гулять по белу свету в виде обертки для селедочек, масла и зеленого мыла — выполнила свое назначение!

Пивовар умер, тетушка умерла, сам студент умер, а искорки его таланта угодили в бочку. Вот каков был конец истории — истории о тетушке Зубной боли!





## ЗАТОНУВШИЙ МОНАСТЫРЬ



**Н**еподалеку от Нейенкирха, среди дремучих лесов притаилась одинокая полянка с озерцом; редко кто сюда заглядывает, да и знают-то о ней немногие. В черных елях, окружающих лужайку и озеро, есть какая-то унылость, нечто, навевающее невольный трепет. Они словно окутывают таинственным покровом эти места; здесь не щебечут птицы, сюда не заглядывают солнечные лучи. Само озеро — глубины бездонной, и оттого-то еще больше сторонятся люди этих мест.

В стародавние времена стоял здесь женский монастырь с высокими башнями и с каменными статуями вдоль красных кирпичных стен.

Однажды ненастной зимней ночью набрел на монастырь нищий, больной старик; обессиленный, постучал он в ворота и стал проситься на ночлег. Но сестра привратница была женщина ленивая и жестокосердая, не хотелось ей в стужу спускаться вниз, отмыкать все замки и запоры. И она сердито крикнула старику, чтобы он шел своей дорогой и поискал ночлега в другом месте. Но странник так устал и продрог, что дальше не мог идти; он снова

стал просить, жалобно плакал, но все было напрасно. Ни настоятельницу, ни остальных монахинь не тронуло его горе. Только одна-единственная из сестер, которая еще не дала монашеского обета, сжалилась, видя его слезы, и заступилась за старика. Но монашки только посмеялись над ней, поглумились над ее добротой, да так и оставили беднягу за воротами.

Тут непогода еще пуще разыгралась, а старик прикоснулся своим посохом к стене, и в мгновение ока неприступный монастырь провалился в бездну. Огонь и дым повалили из страшного жерла, которое тут же заполнилось водой. К утру буря стихла, и на том самом месте, где вчера еще солнце играло на золотых крестах высоких колоколен, теперь раскинулось озеро.

Добросердечная сестра послушница, которая пожалела старика, горячо, всей душой любила одного из самых знатных рыцарей тех краев, и потому монастырь казался ей темницей. Не раз ночью порою пробирался рыцарь тайком через лес к уединенному монастырю. Когда все вокруг погрузилось в сон, они переговаривались через решетку на окне ее кельи, и часто, бывало, их свидания кончались лишь на заре.

Пришел он и в ту ненастную ночь. Но какой болью и тревогой наполнилось сердце рыцаря, когда не увидел он больше на прежнем месте монастыря, а лишь услышал, как ревет и клокочет вода, скрытая густыми клубами дыма. Рыцарь стал ломать руки, рыдать и так громко звать любимую, что голос его сквозь бурю разносился далеко вокруг.

— Хоть раз, один лишь раз, — вздыхал он, — приди в мои объятия!

И тут из бездны, над которой пенилось бурное озеро, раздался голос:

— Приходи завтра ночью, в одиннадцатом часу, на это самое место! На волнах ты увидишь алую, как кровь, шелковую нить, потяни за нее!

Голос смолк. В тоске и горе отправился рыцарь домой, не ведая, что уготовит ему рок. Но в назначенный час он снова пришел на берег озера и сделал все, что повелел ему голос.

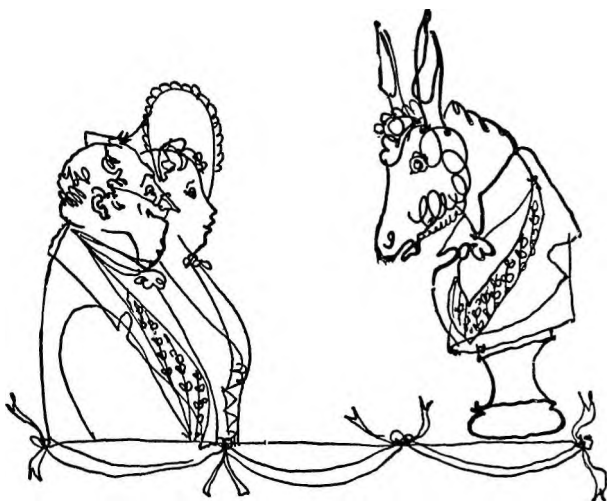
Трепетной рукой схватил он алую, как кровь, нить, потянул за нее — и вот перед ним предстала его возлюбленная.

— Нисповедимый рок, — сказала она, — вверг меня, ни в чем не повинную, в бездну вместе с виноватыми, но мне дозволено всякую ночь от одиннадцати до двенадцати беседовать с тобой; преступать же этот час нельзя; если я хоть раз нарушу условие, ты никогда меня больше не увидишь. И, кроме тебя, никто не должен меня видеть, не то незримая рука перережет нить моей жизни.

Долго, долго продолжались ночные свидания на берегу озера, и всякий раз рыцарь тянул за алую, как кровь, нить, и из синих вод появлялась его возлюбленная. Как счастливы были они оба этими тайными встречами и ничуть не опасались, что их застигнут врасплох в этом безлюдном, внушающем ужас месте. Но зависть и злоба выследили рыцаря, и однажды чужой человек подглядел, как влюбленные рука об руку гуляют по берегу озера. Когда на следующую ночь рыцарь приблизился к милому озеру, воды его в ясном свете месяца алели, будто кровь. Трепетной рукой схватился он за нить, но она побелела и была перерезана.

Стеная, метался рыцарь по берегу, ломал руки, звал свою любимую. Но все было тихо. Тогда безутешный юноша бросился в озеро, и волны над ним сомкнулись.





### ЭТА БАСНЯ СЛОЖЕНА ПРО ТЕБЯ



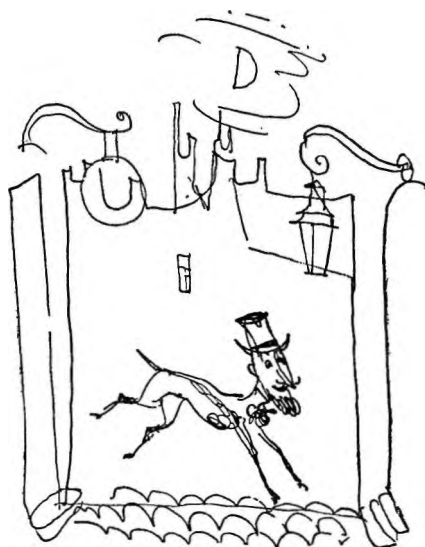
**Д**а, гениальный способ придумали в древности мудрецы, как, не причинив человеку прямой обиды, все же сказать ему правду в глаза. Они давали людям заглянуть в чудесное зеркало, в котором отражались всякие звери и диковинные вещи, являвшие собой зрелище сколь занимательное, столь и поучительное. Мудрецы назвали это зеркало басней, и что бы ни делали звери, все, и разумное и глупое, люди поневоле относили к себе и при этом думали: эта басня сложена про тебя. Поэтому и рассердиться на басню никто не мог.

Приведем пример.

Стояли две высокие горы, а на их вершинах стояло по замку. Внизу, в долине, рыскала голодная собака, обнюхивая землю в поисках мышей или куропаток. Вдруг из одного замка послышался звук трубы; он возвещал, что там вот-вот сядут за стол. Собака тотчас помчалась на гору, надеясь, что и ей перепадет кусочек, но не успела она и полпути пробежать, как там перестали трубить, зато затрубили в другом замке. Тут собака подумала, что в

первый замок ей не успеть, там, видно, уже отобедали, а вот во втором еще только за стол садятся. Она сбежала с этой горы и помчалась на другую. Тут снова затрубили в первом замке, во втором же труба смолкла. Собака снова сбежала вниз и снова помчалась на гору; так она и бегала взад и вперед до тех пор, пока не смолкли обе трубы, потому что и здесь и там уже отобедали.

А ну-ка, догадайся, что хотели сказать этой басней древние мудрецы и кто тот глупец, который бегает, пока не свалится с ног, но так ничего и не находит ни здесь, ни там?





## ТАЛИСМАН



**П**ринц с принцессой праздновали еще свой медовый месяц. Счастливы они были чрезвычайно, и только одна мысль не давала им покоя: им очень хотелось знать, будут ли они так же счастливы всю свою жизнь? Поэтому и стали они мечтать о талисмানে, который оградил бы их от всяческого недовольства в супружестве. А были они очень наслышаны об одном человеке; жил этот человек в лесу, и все уважали его за мудрость. В любой беде и во всяком затруднении мог он дать дельный совет. Отправились к этому мудрецу принц с принцессой и рассказали ему обо всем, что у них было на душе. Выслушал их мудрец и сказал:

— Ступайте странствовать по белу свету, и как встретятся вам счастливые и всем довольные муж с женой, попросите у них лоскуток исподнего, а как раздобудете такой лоскуток, носите его всегда как талисман. Это средство испытанное.

Сели принц с принцессой на коней и отправились в путь; вскоре услышали они от людей об одном знатном рыцаре, который будто бы жил со своей женой счастливее всех других. Поехали они к нему в замок и стали сами супругов расспрашивать, правда ли они так довольны своей жизнью, как говорит про то молва.

— Все правда, — ответили те, — одно только горе: детей у нас нет!

Стало быть, здесь искать талисман было нечего, и пришлось принцу с принцессой отправиться дальше на поиски счастливых и всем довольных супругов.

И вот приехали они в город, где, по слухам, был один честный горожанин, который жил со своей женой в мире, любви да согласии. К нему-то они и пошли и точно так же спросили, правда ли он так счастлив в браке, как о том рассказывают.

— Да, уж что правда, то правда! — ответил муж. — Живем мы с женой душа в душу, вот только детей у нас многовато, а с ними много у нас и забот и горя!

Стало быть, и у него искать талисман было нечего, и принц с принцессой отправились дальше, расспрашивая повсюду, не слышал ли кто про счастливых и довольных супругов. Но такие все не объявлялись.

Однажды, едучи полями и лугами, увидали они неподалеку от дороги пастуха, который весело играл на свирели. И видят, что к пастуху идет женщина с грудным младенцем; другого ребенка, мальчика, она ведет за руку. Как только пастух заметил женщину, он пошел к ней навстречу, поздоровался, взял малютку и стал целовать и ласкать его. А собака пастуха, прыгая и лая от радости, подбежала к мальчику и лизнула ему ручонку. Меж тем жена пастуха достала глиняный горшок, который принесла с собой, и сказала:

— Иди-ка, отец, поешь.

Муж сел на землю и принялся за еду, но первый кусок он отдал малютке, а второй разделил с мальчиком и собакой. Все это видели и слышали принц с принцессой. Подошли они поближе и заговорили с мужем и женой:

— Уж вы-то, наверное, самые что ни на есть счастливые и довольные супруги?

— Да, уж что правда, то правда, — ответил муж. — Слава богу. На свете нет ни одного принца с принцессой счастливее нас.



— Знаете что, — сказал тогда принц, — помогите нам, вы об этом не пожалете! Дайте нам по лоскуточку от рубашки, которую вы носите на теле!

При этих словах пастух с женой как-то чудно переглянулись. А пастух сказал:

— Видит бог, мы бы рады дать вам не то что по лоскутку, но и целую сорочку, будь она у нас. Но у нас и тряпки-то никакой в доме нет.

Пришлось принцу с принцессой отправиться дальше не солоно хлебавши. Под конец долгие напрасные скитания им наскучили, и они повернули домой. Когда принц с принцессой проезжали мимо хижины мудреца, они упрекнули его за то, что он дал им такой плохой совет, и рассказали про свое путешествие.

Улыбнулся на это мудрец и сказал:

— Неужто вы и вовсе понапрасну съездили? Разве не вернулись вы домой умудренные опытом?

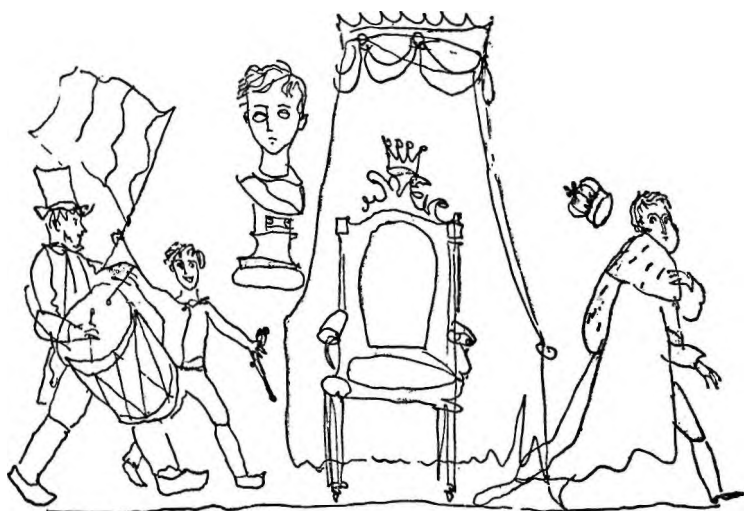
— Да, — ответил принц, — я узнал, что счастье и довольство своей судьбой — редкий дар на этом свете!

— А я, — сказала принцесса, — поняла: чтобы быть счастливым, нужно просто быть довольным своей судьбой, и все!

Протянул тут принц принцессе руки, и поглядели они друг на друга с такой нежной любовью! Благословил их мудрец и сказал:

— В вашем собственном сердце отыскали вы истинный талисман! Храните его бережно, и тогда злой дух недовольственности никогда не овладеет вами.





### ОБОРВЫШ НА ТРОНЕ ФРАНЦУЗСКИХ КОРОЛЕЙ



**К**огда я в 1833 году был в Париже, мой друг, молодой парижанин, повел меня на выставку картин. Одна из них чрезвычайно поразила нас. Там запечатлен был момент из июльских дней, эпизод исторический, возвышенный и прекрасный. Мой провожатый описал мне его в нескольких словах.

В дни Июльской революции, а именно, в блистательный день победы, когда каждый дом был крепостью, каждое окно — бойницей, штурмовали Тюильри. В рядах осаждающих сражались даже женщины и дети; они ворвались в парадные покои и залы дворца. Оборванный подросток храбро дрался рядом со взрослыми и пал, на смерть израненный штыками. Случилось это в тронной зале, и истекающего кровью оборвыша уложили на французский трон, перевязали бархатом его раны; пурпур королевского престола обогрился кровью.

Этот момент и изобразил на своей картине художник — бледное, просветленное лицо мальчика, устремленный ввысь взор, оцепеневшее тело. Обнаженная грудь, убогое



платье и роскошный пурпурный бархат производили сильное впечатление.

Быть может, этому мальчику еще в колыбели предсказали: «Ты умрешь на французском престоле!» Быть может, материнское сердце грезило тогда о снежных укреплениях под Бриенном, и о том, другом мальчике, что стал потом императором Франции? <sup>1</sup> Быть может, мать мечтала о такой же судьбе для своего сына? Но никогда французские короли так глубоко не волновали наши сердца, как этот умирающий мальчик в лохмотьях и царственном пурпуре.

Прошло несколько дней с тех пор, как мы видели эту картину, настали июльские торжества. Предстояло восстановление Наполеоновой статуи, одно народное увеселение должно было сменять другое; но первый день торжеств был посвящен памяти павших. В городе были воздвигнуты алтари, задернутые траурным крепом и убранные трехцветными лентами и знаменами. На улицах звучали хоралы, на домах развевались траурные полотнища и флаги. Один такой алтарь воздвигли на маленьком кладбище подле Лувра; проходим здесь вручали букетики из желтых иммортелей, повитые черным крепом, — их возлагали на могилы. Около одной могилы на коленях стояла какая-то старушка с бледным выразительным лицом.

---

<sup>1</sup> В военной школе в Бриенне учился Наполеон.

— Это его бабушка! — зашептали рядом со мной два француза, с молчаливым уважением глядя на старушку.

Они ушли, потом и она поднялась с колен, а мне никак было не отвести от нее взгляда. У меня из головы не шло, что старушка и есть бабушка того самого мальчика. После я спросил одного из друзей, который тоже видел картину и сам участвовал в июльских боях, где же погребено тело мальчика.

— На площади у Лувра! — ответил он, и моя догадка превратилась в уверенность. Вечером я вновь отправился на кладбище. Нескончаемый людской поток двигался в удивительном молчании. На каждой могиле теплился голубой огонек лампадки. Глубокая тишина брала за душу. Я возложил букет на могилу, сохранив на память один цветок. Он напоминает мне о юном сердце, отданном за родину и свободу.





## КАРТОШКА



**Х**орошему когда-нибудь да быть в чести, — сказала бабушка. — Да вот взять хотя бы картошку; немало порассказала бы она, умеи она говорить!

И впрямь, долгие годы картошку ни во что не ставили. Даже пасторы в церковных проповедях говорили, что, мол, дана она нам на радость и на пользу; а все зря: народ не верил этому. Сами короли раздавали людям картофельные клубни — пусть сажают в землю. А сажал ли их кто?

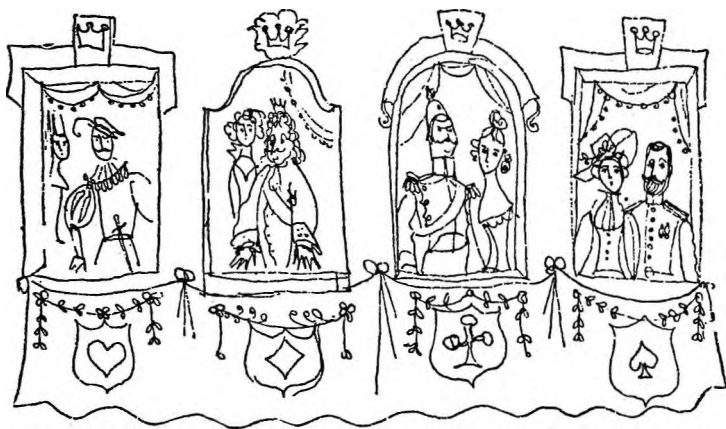
Да вот хоть в Пруссии, был там великий король, Старый Фриц по прозвищу; был он молодец, и он тоже взялся за картофель. Целый воз картофеля пожаловал одному из городов в своем королевстве и приказал бить в барабаны, чтобы созвать всех горожан на площадь. Не кто-нибудь, а отцы города показывали народу диковинные клубни и громко учили, как картофель сажать, как ходить за ним и как его готовить. Да что толку: в одно ухо вошло, в другое — вышло. Люди так и не поняли, что им говорят, и стали пробовать на вкус сырую картошку.

— Тыфу, до чего противная! — говорили они и швыряли картошку в сточную канаву, и видели собственными глазами, что даже собаки брезговали ею. Нашлись и такие, кто попытался посадить картошку: одни закопали картофелины подальше друг от друга и стали ждать, когда из них вырастут деревья и можно будет снимать плоды. Другие побросали их в одну большую яму, где клубни слиплись в ком и дали ботву. На следующий год королю пришлось все начать сначала, и немало утекло воды, пока до людей дошло, что им надо делать.

— И так было всюду! Картофель, этот лучший из плодов, дарованных нам, людям, нигде ни во что не ставили, — сказала бабушка. — Зато нынче цены ему нет! Нынче-то его признали. Всему хорошему когда-нибудь да быть в чести!

Частенько случалось мне видеть, как туго приходится людям на свете; и всякий раз вспоминал я картошку и бабушкины слова.





## КОРОЛИ, ДАМЫ И ВАЛЕТЫ



**К**акие чудесные игрушки можно вырезать и склеить из бумаги! Однажды вырезали и склеили игрушечный замок, такой большущий, что он занял весь стол, а раскрасили его так, будто бы он выстроен из красных кирпичей. У него была блестящая медная крыша, были башни и подъемный мост, вода во рву была словно зеркало, да там и лежало зеркальное стекло. На самой высокой сторожевой башне стоял вырезанный из дерева дозорный с трубой, в нее можно было трубить, но он не трубил!

Хозяином всему этому был мальчик по имени Вильям, он сам поднимал и опускал подъемный мост, заставлял маршировать по мосту оловянных солдатиков, а потом открывал замковые ворота и заглядывал в большую рыцарскую залу, а там, как в настоящих рыцарских залах, по стенам висели портреты в рамах. Только портреты эти были карты-картинки, вынутые из колоды: червонные, бубновые, трефовые и пиковые короли в короне и со скипетром, дамы в покрывалах, ниспадающих на плечи, и с цветком

или веером в руке, валеты с алебардами и развевающимися на беретах перьями.

Однажды вечером мальчик, облокотившись о стол, заглянул через открытые замковые ворота в рыцарскую залу, и тут ему вдруг показалось, будто короли делают на караул скипетрами и будто в руках пиковой дамы шевельнулся золотой тюльпан, а червонная дама даже подняла свой веер. Все четыре королевы милостиво подали Вильяму знак, что он замечен. Мальчуган придвинулся ближе, чтобы лучше видеть, но наткнулся головой на замок, и тот пошатнулся. Тогда все четыре валета — тревовый, пиковый, бубновый и червонный, выставив вперед алебарды, загородили вход в залу, чтобы он и не пытался туда проникнуть.

Малыш понял и дружески кивнул картам: дескать, не беспокойтесь. Не дождавшись ответа, он кивнул еще раз и попросил:

— Скажите что-нибудь!

Но карты не вымолвили ни слова; когда же мальчик кивнул червонному валету в третий раз, валет соскочил со своей карты и встал посредине зала.

— Как тебя зовут? — спросил он малыша. — Глаза у тебя ясные, зубы — белые, вот только руки ты мыть не любишь!

Не очень-то любезно это было с его стороны!

— Меня зовут Вильям, — ответил малыш, — а это мой замок, а ты мой валет червей!

— Я валет червонного короля и червонной королевы, а вовсе не твой! — заявил валет. — Я могу выйти из карты и из рамы, а о знатных господах и говорить не приходится. Мы могли бы странствовать по свету, но он нам надоел; куда покойней и уютней сидеть на карте и оставаться самим собой.

— Значит, вы и вправду раньше были людьми? — спросил малыш.

— Людьми мы были, — ответил червонный валет, — но не очень добрыми. Зажги мне восковую свечку, лучше всего красную, потому что это масть моя и моих господ, и тогда я расскажу нашу историю владельцу замка; ведь ты, по твоим словам, и есть владелец замка. Только смотри не перебивай меня: раз уж я говорю, то все пусть идет, как по писаному.



— Видишь, это мой король, король червей: он самый старший из всей четверки королей, потому что родился первым; родился он с золотой короной на голове и державой в руках. И тут же начал править. Его королева родилась с золотым веером; веер этот ты можешь видеть и сейчас. Жилось им с малых лет просто прекрасно, в школу они не ходили, а только развлекались целый день — строили и сносили замки, ломали оловянных солдатиков и играли в куклы; бутерброд им приносили намазанный маслом с обеих сторон и посыпанный сахарной пудрой. Да, ну и времечко было, доброе старое время, так называемый золотой век, но даже и такое им надоело. Надоело оно и мне. И тогда на смену пришел бубновый король.

Больше валет ничего не сказал; мальчик хотел послушать еще, но валет не произнес больше ни слова; и тогда малыш спросил:

— А потом что было?

Червонный валет не ответил, он стоял навывтяжку и не отрываясь глядел на горящую красную восковую свечу. Малыш стал кивать ему, кивнул еще и еще раз — никакого ответа; тогда он повернулся к бубновому валету, и после третьего кивка тот тоже соскочил со своей карты, вытянулся в струнку и произнес одно лишь единственное слово:

— Свечку!

Малыш тотчас же зажег красную свечку и поставил ее перед ним: бубновый валет сделал алебардой на караул и сказал:

— Итак, явился бубновый король — король со стеклянными окошком-ромбиком на груди; и у королевы было такое же. Заглянешь в окошечко и сразу видишь, что оба супруга сделаны из того же самого теста, что и все другие люди. Это было всем так приятно, что им воздвигли памятник, который простоял целых семь лет, да он и был воздвигнут на века.

Бубновый валет снова сделал на караул и устоялся на свою красную свечку.

Не дожидаясь пригласительного кивка маленького Вильяма, вперед степенно, точно аист, вышагивающий на лугу, прошествовал трефовый валет. Черный трилистник, будто птица, слетел с карты; он перелетел через голову валета, а потом снова вернулся на свое место в углу на карте. Трефовый валет, так и не попросив зажечь восковую свечку, как двое других валетов, заговорил:

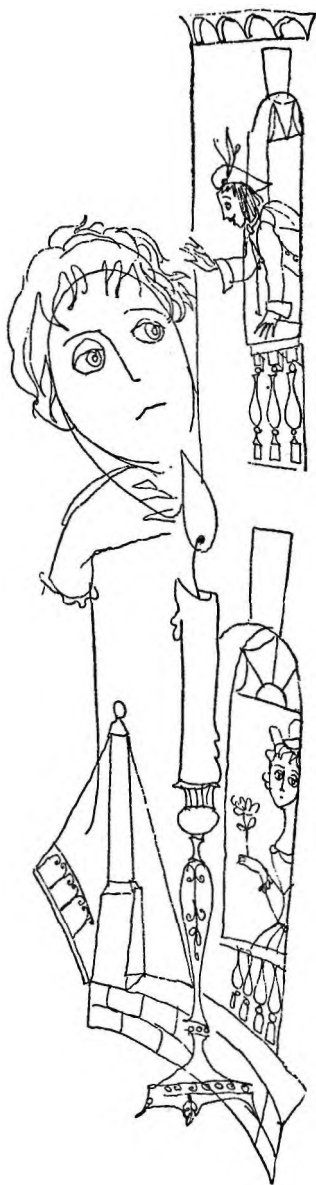
— Не всем достается хлеб, намазанный маслом с обеих сторон. Такой бутерброд не достался ни моему королю, ни королеве; им пришлось ходить в школу и учиться тому, чему прежние короли не учились. И у них было стеклянное окошечко на груди, но никто туда не заглядывал, разве только для того, чтобы убедиться — не испортился ли часовой механизм, а если испортился, то выбрать их за это. Кому знать, как не мне: я служил моим господам много лет, из их воли я не выхожу. Захотят мои господа, чтобы я нынче вечером больше не говорил, я и буду молчать и сделаю на караул.

Вильям и ему зажег свечку, белую-пребелую.

«Фью!» Не успел Вильям зажечь новую свечу, как посередине рыцарской залы стоял уже валет пик, он появился мгновенно; хотя и прихрамывал, будто колченогий. Он не отдал честь; он скрипел, словно разваливался на куски; как видно, немало пришлось ему пережить. Заговорил и он.

— Каждому досталось по свечке, — сказал он, — достанется, верно, и мне, я знаю. Но если нам, валетам, зажигают по одной свечке, то нашим господам нужно зажечь в три раза больше.

А уж моим королю пик с королевой, пиковой дамой, добавает не меньше как по че-



тыре! История их испытаний так печальна! Недаром они носят траур, а в гербе у них, да и у меня тоже, — могильный заступ! Меня даже за это в насмешку прозвали Черный Пер. Есть у меня прозвище и похуже, и выговорить-то его неудобно! — И он прошептал: — Меня называют Выгребатель нечистот. А когда-то я был первым придворным кавалером короля пик, теперь я последняя фигура в колоде игральных карт. Историю моих господ рассказывать не стану. Сам разберись в ней, как знаешь. Лихие настали времена, и хорошего ждать нечего, а кончится тем, что все мы взвьемся на красных конях выше туч.

Маленький Вильям зажег по три свечки каждому королю и каждой королеве, а пиковым королю с королевой досталось по четыре. В большой рыцарской зале стало светло-светло, словно во дворце самого богатого императора, а знатные господа кротко и царственно приветствовали мальчика! Червонная дама обмахивалась золоченым веером, в руке у пиковой дамы колыхался золотой тюльпан, да так, что казалось, будто он извергает пламя. Короли и королевы соскочили со своих карт и из рам в залу и стали танцевать менуэт, и валеты тоже. Они танцевали, озаренные пламенем. Казалось, вся зала горит; огонь трещал, из окон вырывалось пламя, языки пламени лизали стены, весь замок пылал.

Вильям испуганно отпрянул в сторону и закричал:

— Папа! Мама! Замок горит!

Посыпались искры, замок пылал и пламенел, и вдруг в огне раздалось пение:

— Теперь мы взвьемся на красных конях выше туч, как и подобает рыцарственным мужам и дамам. И валеты с нами!

Вот какой конец постиг игрушечный замок Вильяма и фигуры из колоды игральных карт. А Вильям жив до сих пор и часто моет руки.

И не он виноват, что замок сгорел.





### «ЛЯГУШАЧЬЕ КВАКАНЬЕ»



**С**идели лесные птицы на ветвях деревьев, а листьев там было не счесть; и все же все спелись на том, что хорошо бы им обзавестись еще одним новеньким, славным листком, совершенно необходимым, критическим, у людей таких листков столько развелось, что и половины бы хватило.

Каждая певчая птичка мечтала о такой музыкальной критике, где бы ее хвалили, а всех других бранили, если было за что. Но им никак было не спеться: кого же среди птиц выбрать в беспристрастные критики.

— И все же критик должен быть птицей, — изрекла сова; ее избрали председателем собрания, потому что она слыла мудрейшей из птиц. — Вряд ли стоит искать его на стороне, в другом животном мире, разве что среди обитателей моря. Там рыбы летают в воде, словно птицы в воздухе, однако, этим, пожалуй, и ограничивается фамильное сходство. Но ведь между рыбами и птицами есть еще промежуточные существа.

Тут слово взял аист и пошел щелкать клювом:

— Между рыбами и птицами существуют еще и земноводные: дети болота, лягушки — вот за них я голосую. Они неимоверно музыкальны, их хор напоминает звон церковных колоколов в лесной глуши. И меня так и тянет вдаль! — сказал аист. — Крылья чешутся, только они начнут распевать!

— И я голосую за лягушек, — присоединилась к аисту цапля, — правда, они не рыбы и не птицы, но все-таки живут в обществе рыб, а поют как птицы.

— Ну, по музыкальной части договорились, — объявила сова, — но ведь «Листок» должен рассказывать обо всем, что есть прекрасного в лесу, стало быть, нужны сотрудники. Давайте поразмыслим об этом и поищем каждый среди своей родни.

Тут раздалась вольная и чудесная песенка жаворонка:

— Не бывать лягушке хозяйкой в «Листке», нет, я — за соловья.

— Прекратить щебетанье, — ухнула сова, — я призываю к порядку! Знаю я соловья, мы с ним — ночные птицы; всяк поет как умеет. Но выбирать в критики не следует ни его, ни меня, не то листок станет аристократическим или философским, оперно-бравурным листком, где тон будут задавать высокопоставленные лица, а наш орган должен еще защищать интересы простонародья...

Птицам никак было не спеться: будет ли «Листок» называться «Утреннее лягушачье кваканье», или «Вечернее лягушачье кваканье», или просто «Лягушачье кваканье». За последнее и проголосовали.

Теперь оставалось лишь найти дельных, или хотя бы слывущих дельными, сотрудников.

Пчела, муравей и крот обещали писать о промышленности и инженерном деле, они были знатоки по этой части.

Кукушку взяли в поэты-натуралисты, воспевать природу; как певчая птица она не котируется, но тем не менее в жизни простонародья играет огромную роль.

— Кукушка всегда перевозит только самое себя, она самая тщеславная из всех птиц, а так невзрачна с виду, — заметил павлин.

Тут к редактору лесного «Листка» прилетели навозные мухи.

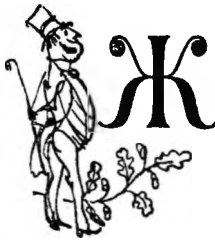
— Предлагаем свои услуги, — заужжали они, — мы хорошо знаем людей, человеческих редакторов, да и человеческих критиков тоже; садись на свежее мясо, откладываешь яички, а завтра, глядишь, оно уже и протухло. Пусть только понадобится редакции, и мы, по долгу службы, изничтожим любой настоящий талант! Если же представлять какую-нибудь партию, то «Листок» обретет такую большую силу, что можно будет позволить себе и наглость. А потеряем подписчика — не беда: взамен найдется десять новых. Будьте бесцеремонны, поносите всех бранными словами, выставляйте к позорному столбу, свистите, сунув пальцы в рот, как члены Союза молодежи, и вы станете силой в государстве.

— Ах ты птица перелетная! — ругнула лягушка аиста. — Лягушонком я, правда, смотрела на него снизу вверх в почтительном трепете, а когда он разгуливал по болоту и рассказывал про Египет, мой кругозор расширился — я узнавала о чужих диковинных странах. Теперь он меня больше не вдохновляет, все в прошлом, я поумнела, стала мыслящей, приобрела влияние, я печатаю критические статьи в «Лягушачьем кваканье». Недаром одну из букв датского алфавита называют, как и меня, «лягушка» или «квакушка». Среди людей тоже попадаются такие. Я написала об этом целый подвал в нашей газете.





## ПИСАРЬ



**Ж**ил-был чиновник, и ему по должности полагалось красиво и четко писать. Дело свое он знал хорошо, а вот писать красиво и четко не умел; тогда он дал объявление в газету, что ищет человека с красивым почерком. Таких людей объявилось хоть пруд пруди! Одними их именами можно было доверху набить бочку. А нужен был только один, и чиновник, не долго думая, нанял первого попавшегося; и верно, почерк у того был, что у живой машинки чистописания. Чиновник был мастер своего дела. И теперь, когда писарь перебелил его бумаги четкими, красивыми буквами, все говорили:

— Написано отменно!

А писарь, который сам по себе и полскиллинга не стоил, рассудил по-своему:

— Писал-то эти бумаги ведь я!

Наслушавшись за неделю, что говорит народ, он возгордился и сам захотел занять должность чиновника.

Ему бы в пору быть хорошим учителем чистописания; надев белый галстук, он имел бы вполне пристойный вид за чайным столом в обществе, а он вдруг вздумал переплюнуть всех других писарей. Стал он писать о художниках и о скульпторах, о поэтах и о тех, кто сочиняет музыку. Он нес несусветную околесицу, а когда чересчур завирался, то на другой день писал, что-де вышла опечатка. А между тем все, что бы он ни писал, была одна сплошная опечатка. Ведь вся его сила была в почерке, но вот беда: в том, что напечатано, красивого почерка-то не разглядишь.

— Захочу — вознесу, захочу — растопчу! — бахвалился писаришка. — Сам черт мне не брат! Я, если хотите, маленький господин бог, а подумать, так не такой уж и маленький!

Все это, конечно, был бред, и он-то его и доконал, о чем появилось сообщение в газете. Быть может, его другу, который умеет сочинять сказки, и следовало немного приукрасить всю эту скучную историю. Но о жизни этого писаришки, о жизни, заполненной всякой чепухой, мерзостью и вздором, как ни старайся, хорошей сказки не напишешь.







## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Суп из колбасной палочки. <i>Перевод К. Телятникова</i> . . . . .	5
Бутылочное горлышко. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	21
Ночной колпак старого холостяка. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	32
Кое-что. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	45
Последний сон старого дуба. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	52
Дочь болотного царя. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	58
Скороходы. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	95
Колокольный омут. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	99
Ветер рассказывает о Вольдемаре До и его дочерях. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	103
Девочка, наступившая на хлеб. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	115
Колокольный сторож Оле. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	124
Анне Лисбет. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	132
Ребьячья болтовня. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	143
Обрывок жемчужной нити. <i>Перевод И. Стребловой</i> . . . . .	146
Перо и чернильница. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	153
Дворовый петух и флюгерный. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	156
«Как хороша!» <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	159
На дюнах. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	167
Тернистый путь славы. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	201
Двенадцать пассажиров. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	206
Навозный жук. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	211
Что муженек ни сделает, все хорошо. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	219
Снеговик. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	225
На утином дворе. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	230
Муза нового века. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	236
Ледяная дева. <i>Перевод П. Карпа</i> . . . . .	244

Мотылек. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	292
Психея. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	296
Улитка и розовый куст. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	303
«Блуждающие огоньки в городе!» <i>Перевод А. Ганзен</i>	312
Ветряная мельница. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	325
Серебряная монетка. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	328
Епископ Бёрглумский и его родич. <i>Перевод А. Ганзен</i>	333
В детской. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	340
Золотой мальчик. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	346
О том, как буря перевесила вывески. <i>Перевод К. Телятникова</i> . . . . .	356
Скрыто — не забыто! <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	362
Сын привратника. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	366
«День переезда» <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	385
Подснежник. <i>Перевод Г. Мирошниковой</i> . . . . .	391
Тетушка. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	396
Жаба. <i>Перевод И. Разумовской и С. Самостреловой</i>	403
Злой князь. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	411
Два брата. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	414
Старый церковный колокол. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	417
Чайник. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	423
Птица народной песни. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	425
Зеленые крошки. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	429
Домовой и хозяйка. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	432
Пейтер, Петер и Пер. <i>Перевод И. Разумовской и С. Самостреловой</i> . . . . .	437
Вен и Глен. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	443
Альбом крестного. <i>Перевод И. Стребловой</i> . . . . .	446
Дриада. <i>Перевод И. Разумовской и С. Самостреловой</i>	471
Предки птичницы Греты. <i>Перевод Л. Брауде</i> . . . . .	495
Судьба репейника. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	510
Что можно придумать. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	515
Тряпье. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	520
Блоха и профессор. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	523
И в щелке порою скрывается счастье! <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	529
Комета. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	532
Дни недели. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	538
Рассказы солнечного луча. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	541
Прадедушка. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	545
Кто же счастливейшая? <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	551
Самое невероятное. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	556

Великий морской змей. Перевод И. Разумовской и С. Самостреловой . . . . .	561
Садовник и господа. Перевод Ю. Яхшиной . . . . .	571
О чем рассказывала старая Йоханна. Перевод А. Ганзен . . . . .	579
Ключ от ворот. Перевод А. Ганзен . . . . .	594
Сидень. Перевод А. Ганзен . . . . .	608
Тетушка Зубная боль. Перевод А. Ганзен . . . . .	617
Затонувший монастырь. Перевод Л. Брауде . . . . .	629
Эта басня сложена про тебя. Перевод Л. Брауде . . . . .	632
Талисман. Перевод Л. Брауде . . . . .	634
Оборвыш на троне французских королей. Перевод Л. Брауде . . . . .	637
Картошка. Перевод Л. Брауде . . . . .	640
Короли, дамы и валеты. Перевод Л. Брауде . . . . .	642
«Лягушачье кваканье». Перевод Л. Брауде . . . . .	647
Писарь. Перевод Л. Брауде . . . . .	650

**Андерсен Г. Х.**

**А-65** Сказки и истории. В двух томах. Т. 2. Пер. с датск. Худож. Г. А. В. Траугот. Л., «Худож. лит.», 1977.

656 с. с ил.

Большинство сказок Андерсена, собранных во втором томе, сравнительно мало известны, хотя среди них встречаются и хорошо всем знакомые: «О том, как буря перевесила вывески», «Что старик ни сделает, все хорошо», «Двенадцать пассажиров» и другие.

А  $\frac{70304-077}{028(01)-77}$  158-77

**И (Дат)**

**Ганс Христиан  
Андерсен**

**СКАЗКИ И ИСТОРИИ, т. 2**

Редактор Н. Снеткова  
Художественный редактор А. Гасников  
Технический редактор М. Шафрова  
Корректор В. Урес

ИБ № 607

Сдано в набор 15/VIII 1969 г. Подписано в печать с матриц 28/XII 1976 г. Бум. тип. № 1. Формат 84X108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. 20, 5 печ. л. 34, 44 усл. печ. л. 33, 729 уч. -изд. л. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1002. Цена 1 р. 27 к.

Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение, 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.





1р.27 н.

